

1Px)
193





А. И. Герценъ въ молодости. (Съ портрета А. Витберга, 1836 г.).

сочиненія А.И.ГЕРЦЕНА.

Томъ І.

193

COYNHEHIA

А. И. ГЕРЦЕНА

И

Переписка съ Н. А. Захарьиной.

ВЪ СЕМИ ТОМАХЪ.

Съ примъчаніями, указателемъ и 8 снимками (7 портретовъ и 1 статуя).

Томъ І.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Изданіе Ф. Павленкова. 1905. 1PK 1193

Переплека съ Н. А. Захаринюй

TXAMOT N'MED TE

areas in persons transport a above on phanetons of

4 & MOT



Типографія М. Меркушева, Невскій, 8.

Оглавленіе І-го тома.

•	Стр.
Витето преднедовія	
Вмѣсто предисловія	
Содержание семи томовъ	-XIV
Легенда о св. Өеодоръ	1
Встръчи	24
Первая встрѣча	25
Вторая встрѣча	37
Это было 22-го октября. 1817 г	44
Записки одного молодого человѣка:	
Вступленіе	47
I. Ребячество	49
II. Юность	62
III, Годы странствованія,	69
Патріархальные нравы города Малинова	72
Лициній и Вильямъ Пенъ:	
Г. Лициній	93
II. Вильямъ Пенъ	101
Кто виновать. Романъ въ 2-хъ частяхъ.	
Къ второму изданію	107
Часть первая:	
 Отставной генераль и учитель, опредыляющійся къмъсту. 	109
II. Біографія ихъ превосходительствъ	114
III. Біографія Дмитрія Яковлевича	126
IV. Житье-бытье	133
V, VI, VII. Владиміръ Вельтовъ.	160
Часть вторая	198
Послѣдній праздникъ дружбы	281
Сорока-Воровка. Повъсть.	292
Докторъ Круповъ. Повъсть.	311
Aphorismata. Но новоду психіатрической теоріи д-ра Крупова	335
Мимовадомъ. (Отрывокъ)	313

Долгъ пр	оежде всего, (Повъсть).				
1.	За воротами,	a	e	,	346
	Дядюшка Левъ Степановичъ				352
III.	Нъжный братецъ покойнаго дядюшки		٠		362
IV.	Троюродные братья				366
V.	Наслъдникъ				374
Поврежд	енный. Повъсть				388
Трагедія	за стаканомъ грока				407
Скуки ра	ади				414
Докторъ,	, умирающій и мертвые:				
1.	Докторъ				446
II.	Умирающій				453
	Мертвые				467
IV°.	. Эпилогъ				473
Приложе	енія:				
	ъ Римскихъ сценъ				476
	рін Р				485
	жду четвертой и пятой частью				486
					457

Погръшность: Въ примъчаніяхъ (стр. 490) къ стр. 88 сказано относительно минеральнаго источника Шпруделя, что онъ выдъляетъ обильный осадокъ углекислоты; слъдуетъ сказать—углекислой извести.

Вмѣсто предисловія.

Настоящее изданіе — первое изданіе собранія сочиненій Александра Ивановича Герпена въ Россіи. Родился Герпенъ 25 марта 1812 г., умеръ 9 января 1870 г. Следовательно, онъ принадлежить не только всецёло прошедшему вёку, но и большею частью своей жизни, и наибольшимъ развитіемъ своихъ силъ-нашей. такъ называемой, дореформенной эпохѣ. Онъ-одинъ изъ самыхъ яркихъ представителей знаменитаго круга людей сороковыхъ годовъ, изъ числа которыхъ русская литература чтитъ высоко и неизмѣнно Бѣлинскаго, Грановскаго, Станкевича и др. По общественнымъ и политическимъ условіямъ то было темное, непроглядно темное время и сильные умы, горячія серпца истекали кровью не столько отъ чрезмърности усилій въ борьбъ съ окружающей ихъ мглой, сколько отъ невозможности приложить и проявить свои силы въ этой несчастной действительности. Въ 1847 г. Герценъ, уже занимавшій тогда довольно зам'ятное положеніе въ русской журналистикъ, оставляеть Россію, уъзжаеть за границу, становится близко къ революціоннымъ движеніямъ Италіи и Франціи; оковы спадають съ мысли и она развертывается во всю ширь. Такой Герценъ былъ не по плечу офиціальной Россіи, онъ слишкомъ далеко ушелъ отъ того, что считала допустимымъ офиціальная Россія того времени. И вотъ онъ, равно какъ нъсколько позже и ближайшій другь его Н. Огаревъ, а также М. Бакунинъ, становится эмигрантомъ, а все то, что онъ писаль, даже и совершенно невинное съ точки зрѣнія тогдашней цензуры, запрещается и воспроизведение не только писаннаго заграницей, но и того, что было напечатано ранбе въ русскихъ журналахъ, делается невозможнымъ. Такъ широкіе круги читающей публики лишились великаго русскаго писателя и лишились надолго, такъ какъ отпечатанные въ одно время его романъ «Кто виноватъ» и сборникъ подъ заглавіемъ «Раздумье» носили совершенно случайный характеръ и появлялись въ видѣ какой-то контрабанды.

Первый ръшительный шагъ къ возвращенію великаго изгнанника на родину сдълалъ покойный изпатель Ф. Ө. Павленковъ. Онъ пріобръль въ 1894 г. право собственности на изданіе сочиненій А. И. Герцена въ Россіи отъ насліпниковъ, его сына, лозанскаго профессора А. А. Герцена, и дочерей. Тогла же многіе удивлялись: какъ-это такой опытный издатель, какъ Ф. Павленковъ, и поступаетъ такъ непрактично, - покупаетъ то, что по условіямъ реализаціи, съ издательской точки зрінія, не стоить ничего. И, дъйствительно, всъ попытки Ф. Павленкова разбивались о цензурныя условія и онъ умеръ въ 1899 г., не доживъ до осуществленія своей завътной мечты. Душеприказчики его, въ лицъ Н. Розенталя, В. Черкасова и В. Яковенко, сочли одной изъ своихъ главивишихъ обязанностей довести это дело до конца. Къ тому времени, благодаря многочисленнымъ статьямъ и замъткамъ, появлявшимся въ періодической цечати и разъяснявшихъ значеніе Герцена, почва была уже болье подготовлена для снятія запрешенія, тяготъвшаго напъ его сочиненіями. и въ концъ 1900 г. послъдовало Высочайшее разръщение на изданіе сочиненій Герцена въ Россіи подъ отвътственностью главного управленія по дёламъ печати и съ указаніемъ въ главнейшихъ чертахъ того, что изъ написаннаго Герценомъ должно быть изъято изъ изданія, печатаемаго въ Россіи.

Теперь, казалось, дёло было поставлено на рельсы и ему оставалось быстро катиться къ нетериёливо ожидавшему читателю. Казалось... Но тутъ Герценъ, его нетлённые останки, бережно переносимые нами, были подхвачены вихремъ событій, переживаемыхъ Россією съ вступленіемъ въ ХХ вёкъ. Всякое, сколько нибудь крупное событіе изъ нашей внутренней жизни за это время отражалось на ходё пересмотра цензурнымъ вёдомствомъ сочиненій Герцена. А смёна министровъ внутреннихъ дёлъ, смёна главныхъ начальниковъ по дёламъ печати... У каждаго свой взглядъ, свои соображенія, и въ результатѣ безконечная затяжка дёла. Наконецъ, издателями было получено въ концѣ 1904 г. разрёшеніе отъ главнаго управленія по дёламъ печати приступить къ печатанію сочиненій Герцена.

Въ основу настоящаго изданія положено десятитомное женевское изданіе «Oeuvres d'Alexandre Herzen. Сочиненія А. ІІ. Герцена», 1875—1879 г.; затёмъ «Сборникъ посмертныхъ статей», изданіе второе 1874 г. и «Колоколъ» за 1857—1865 г., изъ ко-

тораго въ настоящее изданіе вошли лишь немногія статьи. Кром'є того, собраны почти вс'є статьи (за самыми незначительными и сомнительными исключеніями), написанныя Герценомъ въ ранній періодъ его д'єятельности, но напечатанныя уже много спустя посл'є его смерти въ разныхъ русскихъ журналахъ. Наконецъ, напечатана полностью переписка Герцена съ Натальей Александровной Захарьиной, на которой онъ женился въ 1838 г.; переписка эта печаталась въ журналахъ «Русская Мысль» и «Новое Слово», но прервана была на половин'є; въ настоящемъ же изданіи она доведена до конца.

Языкъ Герцена высоко художественный и отличается глубокой оригинальностью. Выступиль онъ на литературное поприще еще въ 30-хъ годахъ. Естественно, что его языкъ изобилуетъ своеобразностями, какихъмы теперь уже не встръчаемъ въ нашемъ современномъ обычномъ литературномъ языкъ. Своеобразности эти обязательно должны быть соблюдены и туть недопустима никакая «репакція». Къ сожальнію, однако, далеко не всегда можно было выполнить это требование въ настоящемъ издании. Подлинныхъ рукописей (кромъ переписки съ Н. А. Захарьиной и нъкоторыхъ юношескихъ произведеній) въ распоряженіи издателей не было, а заграничное издание страдаеть многочисленными оцечатками, на ряду съ которыми, несомнънно, было допущено и искажение второстепенныхъ стилистическихъ особенностей въ слогъ Герцена. Кое-что можно было исправить путемъ сопоставленія текста въ пвухъ заграничныхъ изпаніяхъ (напр., «Былое п Пумы» въ нъкоторыхъ частяхъ); но и такая свърка, вслъдствіе отсутствія подъ рукой всёхъ заграничныхъ изданій и быстроты, съ какой, получивъ, наконецъ, разръшеніе, слъдовало печатать, не могла быть систематически осуществлена. Единственное отступление въ этомъ отношении, сознательно допущенное въ настоящемъ изданіи отъ заграничныхъ текстовъ, касается написанія иностранныхъ словъ и собственныхъ именъ, которыя передавались согласно установившемуся теперь написанію ихъ (такъ, вибсто дипломація печаталось дипломатія, ценсура—цензура, широкко-спрокко, Шведенборгъ-Сведенборгъ и т. д.).

Весь матеріалъ размѣщенъ по такимъ главнѣйшимъ отдѣламъ: 1) повѣсти, разсказы и романы; 2) «Былое и Думы»; 3) публицистическія и критическія статьи; 4) «Дневникъ» и статьи изъ «Колокола» (не на мѣстѣ, такъ какъ разрѣшены къ печатанію уже въ то время, какъ составъ предыдущихъ томовъ опредѣлился) и 5) переписка съ Н. А. Захарьиной. Хронологическій порядокъ въ этихъ отдѣлахъ не всегда соблюденъ, такъ какъ надъ хронологіей произведеній Герцена библіографамъ нужно немало потрудиться для того, чтобы установить ее окончательно.

Къ каждому тому приложены примъчанія, поясняющія давно забытыя или мало извёстныя въ широкихъ кругахъ публики имена и событія раскрывающія намеки, инппіалы (въ нѣкоторыхъ случаяхъ). Непосредственно подъ текстомъ сохранены лишь примъчанія самого Герпена, немногочисленные варіанты (добавляющие что-либо къ содержанию текста) и, наконецъ, касающіяся болье технической стороны изданія и необходимыя для читателя примъчанія издателя. Въ перепискъ съ Н. А. Захарыной введень условный знакъ (прямыя скобки []) во встхъ техъ случаяхъ, когда въ тексте приходилось отмечать что-нибудь недостающее.

Нижеслъдующія произведенія Герпена полготовлены къ печати (т. е. свърены съ рукописями, если таковыя были въ нашемъ распоряжении, или съ печатными текстами) и снабжены примъчаніями М. Гершензономъ: 1) «Отрывки изъ Дневника»; 2) «Легенда о св. Өеодоръ́»; 3) «Встръ́чи»; 4) «Отдъльныя мысли»; 5) «Отдельныя замечанія о русскомь законопательстве»: 6) «Изъ римскихъ сценъ»; 7) «Послъдній праздникъ пружбы»; 8) «Реклама»: 9) «Письмо первое о Москвитянинъ»: 10) Публичныя чтенія г. Грановскаго, 11) «Публичныя чтенія г-на профессора Рулье»; 12) «Трагедія за стаканомъ грока»; 13) «Оба лучте». 14) «Старика Вёдрина крѣпкое до польскихъ братій словио»: 15) «Изъ воспоминаній объ Англіи»; 16) «Изъ писемъ путешественника во внутрь Англіи»: 17) «Русская колонія въ Парижѣ» и 18) «Скуки рали».

Переписка съ Н. А. Захарьиной вся провърена по подлиннымъ письмамъ В. Яковенко; причемъ исправлены погръщности и возстановлены пропуски, сабланные Е. Некрасовой при печатаніи этихъ писемъ въ журналѣ «Русская Мысль», въроятно изъ ложной деликатности, тогда какъ о такихъ дюдяхъ, какъ Герценъ, говоря его же словами, «нечего умалчивать, ихъ ща-

дить нечего».

Примъчанія и указатель составлены библіографомъ Д. Сильчевскимъ.

Собрание сочинений и въ особенности такого писателя, какъ Герценъ, который по истеченіи лишь 35 лътъ послъ смерти является передъ широкими кругами русской читающей публики, должно бы сопровождаться критико-біографическимъ очеркомъ. Издатели признають это всецьло и если такого очерка нътъ при настоящемъ изданіи, то это произошло вследствіе случайныхъ причинъ: неопредъленности, тяготъвшей все время надъ изданіемъ и затёмъ посиёшности, съ которой оно печаталось. Въ последующихъ изданіяхъ этотъ недостатокъ будеть исправленъ. Что касается собственно біографической стороны, то въ произведеніяхъ Герцена (въ «Былое и Думахъ», въ «Дневникѣ», «Перепискѣ») читатель найдетъ такую возвышенную, художественную автобіографію, съ которой едва ли можетъ сравняться «очеркъ», написанный любымъ изъ нашихъ современниковъ.

Большая часть портретовъ, снимки съ которыхъ приложены къ этому изданію, доставлены сыномъ А. И. Герцена, профессо-

ромъ А. А. Герценомъ.

С.-Петербургъ, 28 мая 1905 г.

В. Яковенко.





Содержаніе семи томовъ.

ТОМЪ І. Вмѣсто предисловія. Повѣсти, разсказы и романы. Легенда о св. Феодорѣ.—Встрѣчи.—Это было 22-го октября, 1817 г.—Записки одного молодого человѣка.—Лициній и Вильямъ Пенъ. — Кто виноватъ. — Послѣдній праздникъ дружбы. — Сорока-Воровка. — Докторъ Круповъ. — Арһогіятата.—Мимоъздомъ. —Долгъпрежде всего. —Поврежденный. —Трагедія за стаканомъ грока. — Скуки ради. — Докторъ, умирающій и мертвые. — Приложенія: Изъ римскихъ сценъ. —Маріи Р. —Между четвертой и пятой частью. —Примъчанія.

ТОМЪ II. **Былое и думы.** Ч. І. Дътская и университеть. — Ч. II. Тюрьма и ссылка. — Ч. III. Владиміръ на Клязьмъ. — Ч. IV. Москва. — Петербургъ. — Новгородъ. — **Прибавленія:** Н. Х. К. — Базиль и Армансъ. — Примъчанія.

ТОМЪ III. Вылое и Думы. Ч. V. — Парижъ. — Италія. — Парижъ. — Русскія тѣни. — Англія. — Оп Liberty. — Ворцель. — Ратэт V. Petscherine. — Роберть Оуэнъ. — Дуэль. — Бартелеми. — Сатісіа Rossa. — Апогей и Перигей. — В. Н. Кельсіевъ. — Общій фондъ. — М. В. и Польское дѣло. — Пароходъ Ward-Jackson, R. Weterli et C°. — Lapinski-colonel. — Palles-aide de сатр. — Безъ связи. — Venezia la Bella. — La Belle France. — Приложенія: Примъчанія.

ТОМЪ IV. Публицистическія и критическія статьи: Знамени тые современники. Гоффманъ.—Рѣчь, сказанная при открытіи Вятской публичной библіотеки 6-го декабря 1837 г. — Отдъльныя мысли. — Отдъльныя замъчанія о русскомъ законодательствъ.—Разсказы о временахъ Меровингскихъ.—По поводу одной драмы.—Москва и Петербургъ.—Новгородъ Великій и Владиміръ на Клязьмъ.—Дилетантизмъ въ наукъ. — Публичныя чтенія г. Грановскаго.—Письмо первое о "Москвитянинъ" 1845 г.—Москвитянинъ и вселенная.—Умъ хорошо, а два лучше.—Путевыя записки Вёдрина. — Письма объ изученій природы.—Публичныя чтенія г-ва профессора Рулье.—Истинная и послъдняя эмансипація рода человъческаго отъ затышихъ враговь его.—Капризы и Раздумье.—Станція Едрово.—Нъсколько замъчавій объ историческомъ развитіи чести.—Москвитянинъ о Коперникъ.—Оба лучше.—Изъ писемъ путешественника.—Изъ воспоминаній объ Англіи.—Русская колонія въ Парижъ.—Опытъ бесъды съ молодыми людьми.—Разговоръ съ дѣтьми.—Приложенія: Примъчанія.

ТОМЪ V. Публицистическія и критическія статьи (Продолженіе): *Письма изт Франціи и Ігмаліи.—Ст того берега.*—Русской народъ и соціализмъ. - Крещеная собственность. — Старый міръ и Россія. — Юрьевъ день! Юрьевъ день! — Еще варіація на старую тему. — Лишніе люди и желчевики. — Старика Вёдрина крѣпкое до польскихъ братій словцо. — Концы и Начала. — Императоръ Александръ I и В. Н. Каразинъ. — Еще разъ Базаровъ. — Къ старому товарищу. **Приложенія**: Примъчанія.

ТОМЪ VI. Дневникъ.—Статьи изъ "Колокола": Что сдълано для освобожденія кръпостныхъ людей. — Революція въ Россіи. — Лобное мъсто. —Западныя книги. —Что значить судъ безъ гласности. —"На дняхъ мы получили письмо..."-Черезъ три года.-Розги и розги!..-Матеріалы для некролога Авраамія Сергіевича Норова.—Тамбовское дворянство.—Дворянство Сумскаго убзда.—1 іюля 1858—Опять надежды.—А. Пвановъ.—Насъ упрекають.—Америка и Сибирь.—Обвинительный акть.—Россія и Польша (отвътъ автору статъп о русской типографіи въ Лондонъ).-О бородъ А. А. Иванова. — Генералы отъ цензуры и В. Гюго на батарет Сальванди. — Отвътъ русской дамъ. - Война. - Very dangerous!!! - На углу. - Выговоръ по службъ. -- Миръ -- Русскіе нъмцы и нъмецкіе русскіе. -- Россія и Польша. --(второе письмо). — Библютека дочь Сенковскаго. — Записки И. В. Лопухина. — Розги долой! - Духу не стало! - Манифесть. - Repetitio est mater studiorum. -Mortuos plango.—М. А. Бакунинъ.—Мясо освобожденія.—Сенаторамъ и тайнымъ совътникамъ журнализма. Пичное объяснение. Дурныя оружія. Письмо къ г.г. Каткову и Леонтьеву. - Съ континента. - Ввозъ нечистотъ въ Лондонъ.-- Изъ заведенія А. А. Краевскаго.-- Михаилъ Семеновичъ Щепкинъ.--Письма къ будущему другу.--Письма къ противнику.--П. Ж. Прудонъ.-Приложенія: Примъчанія.

томъ VII. Переписка А. И. Герцена съ Н. А. Захарьиной.

Приложенія: Примъчанія.—Указатель.

повъсти, разсказы и романы.



Легенда о св. Өеодоръ.

Tu, e non è... Non sara tutto tempo senza reda... Del Purgatorio.

(Посвящено сестрю Наташть).

Non enim habemus hic manentem civitatem, sed futuram inquirimus. Ep. ad Hebr. Cap. 13, v. 14.

T

Якоже отреби міру быхомъ, всѣмъ попраніе доселѣ.

Къ Корино. I посл., гл. IV.

Нѣсколько мѣсяцевъ тюрьмы, нѣсколько мѣсяцевъ безъ открытаго неба, безъ чистаго воздуха!.. Тюрьма не есть уединеніе: чувство, что человѣкъ выброшенъ изъ общества, отрѣшенъ отъ всѣхъ его условій, давитъ. Душа сосредоточивается, занимаетъ наименьшее пространство, уменьшается.

Томно шло время и однообразно до крайней степени, — сутки потеряли свое измъреніе: всъ 24 часа превратились въ одну тяжелую сърую массу, въ одинъ осенній вечеръ; изъ моего окна видны были казармы, длинныя, безконечныя казармы, и надъним голубая полоса неба, изръзанная трубами и обезцвъченная дымомъ. Наконецъ, потребность воздуха, солнца, неба превратилась въ болъзнь, въ тоску. Мнъ позволили гулять. Съ какимъ искреннимъ удовольствіемъ вышелъ я на печальный дворъ, отовсюду обставленный солдатами, чистый, илоскій, выметенный, безъ травы, безъ зелени! Правда, но угламъ стояли деревья, но они были печальны: мертвые листья падали съ нихъ, и они казались мнъ то потерянными обдными узниками, грустящими, оторванными отъ родныхъ лъсовъ, то часовыми, которые безъ смъны стерегутъ заключенныхъ. Удовольствіе мое тускло, темнъло; къ этому прибавилась еще причина: кто не былъ въ тюрьмъ, тотъ

врядъ ли пойметь чувство, съ которымъ узникъ смотритъ на своихъ провожатыхъ, которые смотрятъ на него какъ на дикаго звъря. Я хотътъ уже возвратиться въ свою маленькую горпицу, хотътъ опять дышать ея сырымъ, каменнымъ воздухомъ, и съ какою-то ненавистью видътъ, что и это удовольствіе, къ которому я такъ долго приготовлялся, отравлено, какъ вдругъ миъ поналась на глаза бесъдка на краю ограды.

— Можно идти туда?

— «Я думаю», отвъчать офицеръ постъ нъкоторато молчанія. Я взошель и чуть крикъ восторга не вырвался изъ моей груди: пространство болье, нежели на двадцать верстъ, раскрывалось внезапно, нечаянно. Кто не знаетъ чувствованій, съ которыми смотрить человъкъ вдаль съ горы? Я самъ часто испытываль ихъ; но туть явилось что-то новое въ моей груди, сжатой

каменными ствнами, въ груди колодника...

Вся Москва, весь этотъ огромный, пестрый гигантъ, распростертый на сорокъ версть, блестящій своею чешуею, вся эта необъятная узорчатая друза кристалловъ, неправильно оствинхся!.. Я всматривался въ каждую часть города и въ каждой грудъ камней находилъ знакомаго, прінтеля, котораго давно не видалъ. Воть Кремль, воть Воспитательный домъ, вотъ крыша театра, воть такая-то церковь... Осеннее солнце, «какъ итальянская луна», не ослъпляло. Полосами была Москва наводнена его свътомъ, полосами была темна; и эти полосы перебъгали: Москва, казалось, то улыбается, то браздить морщинами чело свое. Вся московская жизнь представлялась мнъ ясно, живо, со всей пустой шумливостью и деятельностью безъ цели; я почти зналъ, что делается вотъ подъ этой зеленой крышею большого дома, на который Москва не позволяеть дунуть вътру, и подъ досчатымъ навъсомъ этой хижины, которую Москва толкаеть въ ръку. Вспомнилась прошедшая жизнь. И святыя минуты чистыхъ восторговъ, п буйныя вакханаліи, п нёмая боль скуки, п ядовитыя объятія разврата, - все, все виднълось мнъ изъ кирпичныхъ массъ.

Не знаю, долго ли бы простоять я туть, или долго ли бы мив позволили простоять; но раздался густой, протяжный, одинокій звукъ колокола съ другой стороны. Звукъ колокола заставляеть трепетать: онъ слишкомъ силенъ для человъческаго уха, слишкомъ силенъ для сердца; въ немъ есть доля угрызенія совъсти и печальный упрекъ; онъ зоветь, но не проситъ; онъ на-

поминаетъ о небъ, но пренебрегаетъ землею.

Доселъ я не обращалъ вниманія на другую сторону: Москва поглотила меня. Страшный звукъ мъди среди этой тишины заставилъ обернуться. Все перемънилось. Печальный, усдиненный Симоновъ монастырь съ черными крышами, какъ на гробахъ, съ

мрачными стънами стояль на общирномъ полъ; небольшая ръка тихо обвивала его, не имъя силъ подвинуть иъсколько остановившихся барокъ; кое-гдъ курились огоньки и около нихъ лежали мужики, голодные, усталые, измокшие, н голосъ мъли вырывался изъ гортани монастыря. Какъ непохожъ Симоновъ монастырь, заключенный со всёхъ сторонъ въ ограды, на Москву, раскрытую со ветхъ сторонъ! Въ немъ было столько типпины и спокойствія, столько святаго и поэтическаго... Печаленъ видъ его и грустенъ его колоколъ: но онъ зналълучий времена, онъ былъ знаменить и славень, торжественно зваль его колоколь тогла: теперь ежели бы онъ не напомнилъ о себъ, можетъ быть, я не замътилъ бы его. Старинная архитектура указывала время его славы; и онъ не хочеть переодъться, такъ, какъ многія желають умереть въ вънчальномъ платът. Тогда ему еще нужны были стъны иля защиты от врага. Счастливое время! На что теперь эти стъны, эти башни? Врагъ умъеть ихъминовать, умъетъ вездъ найти свою жертву. И не въ твоихъ ли оградахъ лежитъ юноша, который такъ много жиль въ своей короткой жизни? Тогда врагь являлся въ видъ вооруженнаго Савла, —можно было ждать обращенія; теперь въ видѣ руды, одна надежда на самоубійство.

Возвратившись въ мою горинцу, я вспомниль всю блестящую эпоху монастырей. Живо представились мив эти люди съ иламенною фантазіей и огненнымъ сердцемъ, которые проводили всю жизнь гимнами Богу, которыхъ обнаженныя ноги сжигались знойными песками Палестины и примерзали ко льдамъ Скандинавіи. Эта жизнь для идеи, жизнь для водруженія креста, для искупленія человѣка казалась мив высшимъ выраженіемъ общественности; ея нѣтъ болѣе и она невозможна теперь. Тогда были вѣка, умѣвшіе вѣровать, умѣвшіе понимать власть идеи, умѣвшіе покоряться, умѣвшіе молиться въ храмѣ и умѣвшіе воздвигать храмы. Великая кисть художника увѣковѣчила на стѣнахъ Ватикана торжественную минуту силы идей: рабъ рабовъ Божіихъ отпраетъ сандаліи свои о вѣнчанное чело цезаря... И тутъ же, казалось, я слышалъ свистъ и смѣхъ, съ которыми встрѣтило XIX столѣтіе религіозное направленіе.

Забудемте, ради Бога, забудемте нашъ въкъ, переселимтесь въ эти времена тихаго созерцанія, въ эти времена неба на землъ!

 Π^{-1}).

Аминь, глаголю тебѣ: диесь со мною будении въ раи. Лук., гл. XXIII, ст. 43.

Юноша въ простой одеждъ вышелъ изъ городскихъ воротъ Александріп и скорыми шагами пробъгалъ некрополисъ, не обращая ни малъйшаго вниманія пи на дивныя пещеры, изсъченныя въ камнъ, ин на дивныя картины, покрывавшія ихъ стъны.

Эта невнимательность отнюдь не происходила отъ одной привычки, пріучающей человіна безъ унивленія смотріть на все, но отъ того, что онъ былъ занять какою-то мыслію, которая ревниво отталкивала весь міръ. Сильныя страсти боролись на его лин'в: мертвая блідность покрывала щеки; иногда слеза тихо скатывалась и онъ не замъчалъ ея. Бълое лицо его было чрезвычайно нѣжно, и, когда онъ отбрасывалъ рукою кудри, падавшія ему на глаза, его можно было принять за дѣву. Большіе черные глаза выражали особое чувство грусти и задумчивости, которое вилимъ въ юныхъ лицахъ жителей юга и востока, столь непохожее на мечтательность въ очахъ съверныхъ дъвъ: туть-небесное, тамъ-рай и адъ чувственности. Во взорахъ юноши проглялывалъ фанатизмъ, что то восторженно-религіозное, принадлежащее его родинъ, колыбели христіанскаго аскетизма и кенобитіи отшельниковъ опванискихъ, глъ самое умерщвление страстей превратилось въ страсть. Удалившись нъсколько отъ города, юноша остановился, долго слушалъ исчезающій раздробленный голосъ города и величественный единый голосъ моря ²). Потомъ, какъ

Метафрастъ писалъ мартирологъ при Константинъ Багрянородномъ, — теперь XIX въкъ!

2) Le Seigneur...

Mêle éternellement dans un fatal hymne Le chant de la nature au cri du genre humain.

V. Hugo.

«Господь безконечно сливаеть въ роковомъ гимиъ пъніе природы съ крикомъ рода человъческаго».

¹⁾ Легенда, предлагаемая здѣсь, находится въ житіп святыхъ за сентябрь мѣсяцъ. Для чего же я переписаль ее? Гёте говоритъ: «Nun erzählt die Gesellschaft dem Wunsche gefällig jene Legende... Hier lernte man das eigentliche Wesen der Sage kennen, wenn sie von Mund zu Mund, von Ohr zu Ohr wandelt. Widersprüche kommen nicht vor, aber unendliche Unterschiede, welche daher entspringen wochten, dass jedes Gemüth einen andern Antheil der Begebenheit genommen (Sanct. Pastor. Fest zu Bingen. 23 Ap. XLIII B.)».

[«]Теперь, согласно желанію, общество услужліво разсказываеть легенду... Въ это-то время, когда она входить изъ усть въ уста, и познается настоящій смыслъ саги. Противорѣчія не возникають, но являются безконечные варіанты вслѣдствіе того, что каждый разсказывающій, смотря по своему настроенію, различно относится къ передаваемому имъ событію».

будто укрѣпленный этой симфоніею, остановиль свой влажный взоръ на едва виднѣющейся Александріи.

Александрія—Греція, возвратившаяся въ Егицеть, памятникъ славы сына Юпитера Аммона, надгробный памятникъ Клеопатры засынала въ золотой пыли, въ туманъ свъта и жара. Усталое солнце только погружало лицо свое въ Средиземныя волны, раскаляя длинную полосу на моръ, которое готово было вспыхнуть. Нѣсколько забытыхъ, опоздалыхъ лучей солнца играли на крестахъ храмовъ христіанскихъ. Александрія была тогда поклонница Христова, придавая чистой религіи его свои неоплатоническіе оттънки и свою мистическую теургію Прокла и Аполлонія. Уже храмъ Сераписа, Кёльнскій соборъ міра языческаго, съ своими сводами, галлереями, портиками, безчисленными колоннадами, мраморными стънами, покрытыми золотомъ, давно быль разрушень, и колоссальная статуя Сераписа, на челъ которой останавливался солнечный лучь, не смёя миновать его, была разбита и превращена въ пепелъ. Но Александрія, еще сильная и могущественная, не лишенная прелестей, коими ее налѣлилъ Динократь, прелестей, коими надълила ее Клеопатра, наряжая себя, пышно и сладострастно смотрела на юношу, не предвидя, что скоро превратится въ Искандери арабовъ.

Грустенъ быль взоръ юноши. Онъ говориль: мы разстаемся, я болъе не гражданинъ твой... Но ему было жаль Александріи: туть онь узналь жизнь, туть онь любиль, туть, можеть быть, быль любимъ, тутъ... Какое-то страшное воспоминание пролетѣло по лицу юноши, какое-то угрызеніе сов'єсти, и онь, обратясь къ востоку, бросился на колъни, и горячія слезы раскаянія сопровождали молитву его. Она была безъ словъ, безъ мыслей, можетъ быть, но она была истинна и глубока; мысли и слова отняли бы всю духовность ея, такъ, какъ они ее отнимають у музыки. Чиста и прелестна молитва невинности, какъ весеннее утро, какъ вода нагорнаго потока; но въ ней есть чувство собственнаго достоинства, требованіе награды. Діва чистая называеть себя невъстою Христа, невъстою Того, котораго Соломонъ называлъ женихомъ церкви. Не такова молитва преступнаго: рыдающій, новерженный въ прахъ, онъ алчетъ одного прощенія; его молитва раздираеть его душу; въ ней вся его надежда и вмъстъ отчаяніе; онъ чувствуетъ свою недостойность, но чувствуеть и безмърную благость Бога, онъ боптся, трепещетъ, уничтожаетъ себя и возрождается, живетъ токмо въ немъ, въ Искупителѣ рода человѣческаго. Сильна и пламенна молитва преступника, какъ потокъ каленаго металла, бросаемаго изъ огнедышащаго жерла къ небу. И не для грѣшника ли создана молитва?.. Праведному—гимнъ.

«Я пришелъ въ домъ твой, и ты воды мнѣ на ноги не далъ,

а она слезами облила мит ноги и волосами головы своей отерла. а потому сказываю тебф: прошаются грфхи ея многіе за то, что она возлюбила много».

Окончивъ свою молитву, юноша всталъ, прощальнымъ взоромъ поцеловалъ Александрію и пошель далде. Темнело, п онъ. углубляясь въ плоскую паль пустыни, едва былъ виденъ и исчезъ наконенъ.

На пругой день проходилъ онъ къ вечеру дикое и пустынное мъсто и, казалось, еще не отныхалъ: шаги спълались тише, дыханіе тяжелье. Въ темноть можно было разглядьть массу еще темнъйшую, которая грубо и тяжело выръзывалась на небосклонъ. Увилъвъ ее, юноша собрадъ послъднія силы, удвоилъ шаги и скоро полошель къ каменной оградъ. Ворота были заперты. Нъсколько разъ польмаль онъ руку, чтобы ностучаться въ окошко привратника; но рука не полнималась.—вилно было, что постунокъ, имъ прешринимаемый, слишкомъ измѣнялъ всю жизнь его, слишкомъ глубокимъ оврагомъ отръзывалъ все прошедшее отъ всего будущаго. Раскаяніе, негодованіе на свою слабость показались на его чертахъ и онъ коснулся до окна. Трепетъ пробѣжалъ по его членамъ: казалось, что стучатъ у него въ сердиб, и съдая голова привратника два раза повторяла уже свое привътствіе сонными устами и спрашивала о причинѣ поздняго прихода, прежде нежели юноша вымолвилъ: «Отецъ мой, иди къ игумну, скажи, что у вороть стоить презрібнный грібшникъ, что онъ умоляеть принять его въ монастырь, что онъ пришелъ обмыть ваши святыя ноги и работать и трудиться».

Съдая голова исчезла. Слова какой-то молитвы коснулись ушей юноши, нотомъ послышались тихіе шаги, которые звучали по камню; потомъ все умерло и ничего не было слышно... Каждый шагъ чувствоваль юноша въ своей груди, — онъ дълалъ его на поприщъ имъ избранномъ, и мысль, къ которой онъ давно приготовлялся, теперь, казалось, была слишкомъ сильна для его груди. Не такъ ли трепещетъ человѣкъ, ведя къ алтарю свою возлюбленную?

Юноша бросился на большой камень; волнение его утишилось, высокое чувство въры восходило подобно солнцу изъ возмущенныхъ волнъ, освъщая ихъ, согръвая, передавая имъ свой свътъ. Онъ отръшался отъ міра земного, — онъ слышалъ гласъ Інсуса, призывавшій его туда, въ обитель любви и надежды, туда, гдъ поють Бога чистые ангелы, гдв души праведныхъ Его видять, гдъ между ними и покаявшіеся гръшники... Долго сидъль онъ неподвиженъ, склонивъ голову на объ руки, по коимъ разсыпались его кудри. И въ это время онъ, казалось, гармонировалъ и съ мертвою тишиною пустыни, и съ мрачною недвижностью монастыря, и съ сухими, печальными растеніями береговъ Африки, и всего болѣе съ своею родиной — Египтомъ, который однажды жилъ, остановился на своихъ обелискахъ и пирамидахъ и стоитъ съ замершею на устахъ нѣмою рѣчью іероглифовъ.

Проходять часы; нёть привратника. По временамъ пронзительный вой шакала раздается протяжно и длинно, не встрѣчая препятствій, подобно голосу военной трубы: онъ ищеть жертвы и вторить, не находя ея. Юноша ничего не замѣчаль. Но воть вблизи его быстрыми скачками, едва дотрогиваясь до земли, пронесся барсъ. Юноша содрогнулся и нѣмое гнетущее чувство одиночества овлалѣло имъ.

Ужасно чувство, съ которымъ человъкъ видитъ, что онъ оставленъ всъмъ свътомъ, когда онъ невольно обращаетъ умоляющій взоръ вокругъ себя, зная, что никто не подасть ему помощи, и когда взоръ его встръчаетъ, вмъсто спасителя, ярящіяся волны океана, улыбающійся взглядъ инквизитора или взглядъ безъ выраженія палача.

Первое движеніе юноши было бёжать, куда, — онъ самъ не зналь; но вёра въ Провидёніе остановила его. Онъ осёнилъ себя крестомъ и спокойно сёлъ на свой камень. Христіанинъ побъдилъ человёка. Ночь прошла, зардёлъ востокъ, но привратникъ не являлся. Ужели онъ не исполнилъ просьбы юноши? Ужели игуменъ не спёшитъ утёшить страждущаго сына?

III.

Двѣ любви создали двѣ веси: любовь къ себѣ до презрѣнія Бога— весь земную; любовь Бога до презрѣнія себя—весь небесную. Св. Августинъ.

Въ бѣдной кельѣ, сложенной изъ огромныхъ кампей, при скупомъ свѣтѣ треножной лампы, на большомъ четвероугольномъ
кускѣ гранита сидѣлъ монахъ лѣтъ за иятъдесятъ. Передъ нимъ
лежалъ развернутый свитокъ Августина. Одна рука поддерживала голову, покрытую черными волосами, перемѣшавшимися съ
сѣдиною, другой онъ придерживалъ свитокъ. Лицо его было
блѣдно и желто; глубокія морщины на лбу и пламенные глаза
показывали, что въ душѣ его горѣли страсти спльныя и что доселѣ онѣ не потухли. Рѣзкое лицо и болѣе строгое, нежели кроткое,
могло показаться холоднымъ съ перваго взгляда, но только съ
перваго. Онъ родился въ Антіохіи и судьба готовила ему съ раннихъ лѣтъ путь особый отъ пути, по которому она гуртомъ толкаетъ людей. Онъ не зналъ любви матери, ни ея нѣжной ласки.

оть которой мягчится сердце: родившись, быль онъ убійцею ея. У него не было ни сестеръ, ни братьевъ, Отецъ, погруженный въ торговые обороты, богатый и налменный, ръдко жившій въ Антіохіп, быль иля него посторонній, Словомь, узы родства, тысячью цёпями привязывающія человёка къ домашней жизни, къ маленькому кругу дъйствій, никогда ему не были извъстны. Сильная, огненная душа юноши, отъ природы чувствительная и возвышенная, жаждала симпатін, любви, и находила одинъ холодъ дъйствительнаго міра. Мрачность черными струями разливалась по его характеру: онъ сталъ скрытенъ, запумчивъ, искалъ отралы въ чтеніи поэтовъ Греніи и не находиль ея. Світлое, яркое небо Эллады, высокое чувство красоты и ея красота ваятельная худо согласовались съ его больной душою. Страшно жжетъ душу огонь ея, когла нътъ отверстій, куда бы онъ вылился, когда нёть вёры, которая одна можеть обратить его къ небу, когла нътъ любви, которая одна можетъ благотворнымъ спълать пламень его.

Долго блуждаль онь, не приставая никуда и терзая свою душу потребностями, которымъ не находилъ удовлетворенія. Перебъгая отъ предмета къ предмету, онъ напалъ на христіанскихъ писателей. Здёсь ему раскрылся новый міръ, исполненный обширности, глубины и силы. Одаренный восточною фантазіей, онъ увлекся африканскимъ краснорфчіемъ Оригена и Тертулліана: наполнилась пустота въ душъ, сильная въра очистила огонь, ее пожиравшій. Но что болже поразило его, --это сами христіане, джятельность ихъ пля развитія идеи, безпредёльная вёра въ нее и чистое, святое самоотверженіе. Надобно вспомнить, что тогда было время великой борьбы противъ аріанизма. Никогда рвеніе христіанскихъ учителей не было общирные. Весь мірь участвоваль въ спорахъ и гонцы сибшили по всему міру передавать мысль Августина, слово Аванасія. Эта д'ятельность съ колоссальною ц'ялью пересоздать общество человъческое, пересоздать самаго человъка, возвратить его Богу и черезъ него всю природу, опираемая на божественное основание Евангелія, волновала юношескую душу. Онъ увидёлъ, что нашелъ свое призваніе, заглушилъ всё страсти, питалъ одну, поклялся сдълать изъ души своей храмъ Христу, то-есть храмъ человъчеству, участвовать въ апостольскомъ посланіи христіанъ, — и сдержалъ слово. Въ груди сильной можеть быть одна страсть! Его ничто не привязывало ни къ родительскому дому, ни къ родинъ. 19-ти лътъ бъжалъ онъ въ Грецію. Много лътъ провелъ въ кельяхъ учителей, собирая манну ихъ словъ, учась ихъ примъромъ и утъшая ихъ строгостью своихъ нравовъ. Наконецъ, учители признали его силу, благословили его н велъни идти, проповъдуя слово Божіе. Мечтая о началъ божественнаго Сіона, явился онъ къ людямъ, и человъчество представилось ему худшею частью своею—Византіею. Византія, которой гніеніе началось вмъсть со славою, развратная, гнусная, должна была ужаснуть юношу. Съ негодованіемъ видъль онъ, что христіанство тамъ ограничивается одними преніями безъ въры, что оно такъ же не идетъ къ Византіи, какъ статуя, которую Констансъ хотълъ туда перевезти изъ Рима и за которую боялся Горданатъ, что ей булетъ тъсно.

Противоположность чистыхъ, высокихъ учителей, простиравшихъ руку всъмъ слабымъ и труждающимся и часто отнимавшихъ ее отъ сильныхъ и богатыхъ, съ міромъ, погрузившимся въ пороки, съ которыхъ спала даже завъса стыда, заживо разлагающимся, сдълала его несправедливымъ. Онъ видълъ одно цълое, хорошее, неповрежденное въ міръ духовенство; ему хотълъ бы онъ отдать и вънецъ, и порфиру; въ немъ полагалъ всъ свои падежды; въ его апостольскомъ призваніи видълъ возможность спасти людей и обратить ихъ. Онъ оставилъ Византію. Римъ, разрушаемый Аларихомъ, страшилъ его; онъ не зналъ, что тамъ нашелъ бы зародышъ исполненія своей мысли, — и удалился въ пустыню Опвандскую. Здъсь, среди аскетизма и восторженности, среди людей, избранныхъ Богомъ, еще больше окръпъ его характеръ и еще больше возгнушался онъ міромъ.

Первое желаніе, явившееся въ груди его, было удаленіе въ пустыню, въ которой бы можно было забыть все и помнить одного Христа; но это худо согласовалось съ мыслью распространенія слова Божія. Не отдёльность нужна для развитія идеи, а совокупность. Онъ возвратился на родину, роздаль бёднымъ богатое наслёдство свое и вступиль въ Октодекадскій монастырь. Вскор'є братія избрала его игумномъ, и онъ былъ пастырь строгій: поучаль приміромъ, наказываль всякую слабость и отр'єзываль

болѣе и болѣе монаховъ отъ міра.

Монастырскій чинъ и устройство христіанскаго духовенства явило дивный примѣръ согласованія двухъ идей, повидимому враждующихъ,—іерархіи п равенства, въ то время, какъ политическая исторія человѣчества показываетъ одно безпрерывное стремленіе къ этому согласованію, стремленіе несчастное, ибо способы, для этого употребляемые, бѣдны и мелки. Имѣя такой примѣръ передъ глазами, люди не умѣли понять его...

Воть къ этому монаху поздно ночью отвориль дверь привратникъ. Сперва онъ постучалъ въ нее, но, не слыша отвъта и думая, что игуменъ спить, онъ вошелъ въ келью. Игуменъ, не замъчая его, продолжалъ чтеніе: онъ былъ въ восторгъ, глаза его
горъли юношескимъ иламенемъ, въ лицъ было столько торжественности, что, казалось, оно распространяетъ лучезарный свътъ

и что ему, какъ Мопсею, нужно покрывало. Красота восторга лучше всѣхъ красотъ человѣческихъ, ибо тогда человѣкъ перестаетъ быть земнымъ и начинаетъ быть небеснымъ; для нея не нужно ни юности, ни украшеній. Наконецъ, онъ поднялъ голову и увидѣлъ пришедшаго.

— У воротъ, св. отецъ, сказалъ привратикъ, благословленный игумномъ, стоитъ юноша, проситъ, чтобъ ты принялъ его въ монастырь; онъ печаленъ, слезы льются изъ его очей, говоритъ о какомъ-то преступленіи. Прикажешь ли пустить его?

Игуменъ молчалъ. Черты его измѣнялись, теряли свою торжественность и превращались въ холодное, недовърчивое и строгое выраженіе, съ которымъ онъ смотрѣлъ на несовершенный міръ; но душа его отстала,—она еще не пришла въ обыкновенное положеніе. «Юноша... — говорилъ онъ самъ съ собою... Прелестное время... Тогда родятся высокія мысли... Гдѣ-то теперь другъ моей юности»?... И воспоминаніе чего-то, давно прошедшаго, навертывалось въ умѣ его и манило къ себѣ; но онъ былъ царемъ души своей, остановилъ порывъ и продолжалъ: «...Минутная злоба на міръ, мечтаемое отчаяніе, которое такъ любятъ юноши,—вотъ что ихъ гонитъ, а пуще всего гордость. Гордость... Ею владѣеть нашъ врагъ. Всякое преступленіе скорѣе гордости искупится. Не уничтожить себя во Христѣ хотятъ они, а возвыситься надъ другими».

Все это говорилъ онъ въ полслуха, потомъ, обращаясь къ

привратнику:

— «Старикъ, поди и лягъ спать. Отвъта не давай ему, не выходи до утра. Ежели останется, ежели смиренно перенесеть это униженіе, тогда увидимъ».

— А дикіе звіри? — замітиль сь жалостливымь видомь ста-

рикъ.

— «Они не растерзали Даніпла въ пещерѣ львиной».

— Но холонъ ночей?

— «Вседержитель умѣетъ хранить избранныхъ, сынъ мой. Да булетъ на тебѣ благословеніе Божіе».

Привратникъ вышелъ, а игуменъ, развлеченный его приходомъ, принялся за свитокъ. Но чтеніе не шло впередъ: то трещала свѣтильня лампы, то горѣла очень тускло, — онъ долженъ былъ прерываться и поправлять. Но это происходило отъ другой причины: его запималъ юноша. Какъ искренно, горячо желалось ему, чтобъ онъ перенесъ униженіе, чтобъ остался вѣренъ пзбранному поприщу; тогда онъ перельетъ въ него всю душу: ему нуженъ чистый, юный человѣкъ. И Богъ знаетъ, какія надежды онъ строилъ на немъ... Но еще искусъ его не долженъ былъ кончиться одною ночью: нѣтъ, скорѣе онъ лишился бы осталь-

ныхъ братій, нежели въ одной іот'й избавить пришельца отъ ц'ълаго ряда трудовъ и униженій.

11.

Шедше убо, научите вся языки, крестяще ихъ во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

Мате, гл. XXVIII, ст. 19.

О семъ разумѣютъ вси, яко мои ученицы есте, аще любовь имате межлу собою.

Іоан, гл. XIII, ст. 35.

Солнце уже склонилось къ западу, пышная природа юга была во всей красъ своего въчнаго лъта, когда въ длинной илатановой аллеъ, обвитой каменной оградой монастыря, показался игуменъ съ юнымъ другомъ своимъ Өсодоромъ. Уже неоднократно изливалъ онъ долго страдавшую душу свою въ этотъ чистый сосудъ, сосудъ церковный, Божій. Старецъ радовался, найдя человъка, который такъ вполнъ понимаетъ его. Въ сотый разъ повъствовалъ онъ ему свою жизнь и свои надежды, и въ сотый разъ съ умиленіемъ и благодарностью слушалъ юноша.

Они сёли на простой скамьё, от'вненной широкими листьями пальмы. Каленый воздухь наносилъ дивный запахъ алоэ и лимонныхъ деревьевъ. Огромные цвёты магнолій, прощаясь съ солицемъ, хвастались своими красивыми в'єнчиками. Ручныя антилопы спокойно щипали траву. Пунцовые ориксы и зеленые голуби перелетали съ в'єтки на в'єтку. Старикъ, казалось, помо-

лодель и такимъ образомъ продолжалъ свой разговоръ:

«Что можетъ быть выше призванія апостольскаго?... Съ живымъ словомъ въ душъ, съ пламенной върой, съ пламенной любовью ко всему человъчеству и къ каждому человъку идетъ онъ въ общество людей. Для ихъ блага переносить гоненія и страданія; въ ихъ души, не отверстыя истинъ, зароняетъ слово въры. И какое наслажденіе, когда слово не погибнеть, разовьется! Сильно живое слово, -- ничто не остановить его. Тщетно земной человъкъ противодъйствуетъ своему спасенію, оно увлечеть его. Посмотри, какъ человъкъ усиливается воздвигнуть башию Вавилонскую и какъ не можеть ничего сдёлать! Римъ, твердейшій столпъ храма земного, сильнъйшее проявление человъка Адамова, послъдняя твердыня его, развъ не нашелъ зародышъ своей гибели въ самомъ развитін своемъ? Бореніе составляло его жизнь, ибо бореніе назначено въ уділь Адаму, — поть, и поть кровавый. Но какъ въ Адамъ всъ умираютъ, такъ во Христъ всъ оживутъ. Господь примиряеть съ собою человтка, и чемъ же? Онъ снизшелъ до человъка, чтобы человъка возвысить до Бога. Море благости и милосердія, онъ не хочеть прямо простить челов'яка: это уронило бы папшаго, грёховнаго: онъ даеть ему самому средство искупленія во Христь 1). И Христосъ, единый правый, страдаетъ за вежхъ виновныхъ. Весь земная надаетъ, весь небесная создается. Что за торжественный день для міра, когда онъ огласился въ первый разъ Евангеліемъ! Міръ, пстерзанный войною, услышаль слово мира, міръ попранный—слово свободы, міръ ненависти — слово любви, міръ невърія — слово въры. Встиь говорило Евангеліе: почезли племена и состоянія, фарисей и садукей отвергнуты, эдлинъ и іупей приняты. Всёхъ манило оно въ лоно Божіе, всёхъ-въ объятія братства. Первый Адамъ сталъ душою живущей, послёдній Адамъ есть духъ животворящій. И чтобы человъкъ остался безотвътенъ гласу апостольскому, никогда, никогда! Нътъ, слишкомъ мрачно смотрълъ любимецъ его съ Патмоса, когда, увлеченный своимъ восторгомъ, онъ писалъ огненныя строки Откровенія. Сіонъ Божій, Весь Христова, еще здісь, на семъ міръ осуществится, она уже началась и всиять идти не можеть: «се дахъ передъ тобою двери отверсты и никтоже можеть затворити ихъ»... Палъ Вавилонъ, палъ Вавилонъ, и не воскреснеть болье. Паль великій городь, облеченный въ виссонь, и порфиру, и багряницу, украшенный златомъ и камнями, и плачуть о немъ купцы, издали всматриваясь въ развалины города, гдь они торговали и муррой, и фуміамомъ, и конями, и тылами, и душами человъческими. Силенъ врагъ, живущій въ развалипахъ, но онъ побъжденъ, и міръ, какъ Савлъ, сдълается изъ гонителя апостоломъ, изъ воина крови—воиномъ Христовымъ. Понятны мнѣ грустные звуки, вырывающіеся изъ души Іоанна, его пламенный нравъ не умълъ ждать; но не правъ онъ: развъ не при немъ началась битва, на которую ангелъ звалъ врановъ ножирать трупы сильныхъ? И онъ, нъкогда склонявшій главу на грудь Его, уже видълъ потрясенный Римъ словомъ Евангелія. И кто же потрясли его? Эти гонимые, униженные, отреби міру, скитающіеся, нагіе, въ то время, какъ о силу его раздробились народы всей земли, — оттого, что голосъ ихъ былъ голосъ Бога, голосъ человъчества, оттого, что они душою предали себя Христу и своему призванію. Этого голоса не сковали темницы, не казнили съкиры, не растерзали тигры. Что противъ этой любви п въры могли легіоны, и патриціи, и цезари? Эти люди въры были сильные сильныхъ міра сего, которые съ улыбкою презрынія говорили о назарянахъ: «Ничего не пивя, по словамъ Павла, и всѣмъ обладая».—Сынъ мой, несмотря на то, что я горько

¹⁾ Это мысль Данта.

обманулся въ лючяхъ, я убъкцень въ скоромъ утверждении парства Христова. Священныя минуты, когда явилась миб впервые мысль этого Сіона, когда я прозрёль ее въ Евангеліи, когда такъ близко казалось мит осуществление ея!.. Насталь иля человтчества день исхожденія изъ Египта. Труденъ путь: и степи, и голодь, и жарь: но снова раздёлить Ісгова намъ Чермное море и ввелеть въ землю обътованную. Мы, можетъ, погибнемъ въ пути, но они перейлутъ. Не постаточно ли одной этой мысли, чтобы съ сладкою надеждой явиться предъ Судіею, исполнивъ долгъ свой? Полго намъ еще странствовать и ужасно теперешнее состояніе. Гоненія остановились, но слабые пали духомь, христіане сділались хуже язычниковъ. Глѣ эта семья, у которой было одно сердце, одна душа, гдф собственности не было, а было все общее, какъ говорить Лука? Гив братство, въ которомъ были и невѣжды, и ремесленники, и нахари, и старыя женшины, и изъ коихъ выбирались вожди церкви Христовой, и какіе вожди? Но не будемъ сътовать; пускай смерпять и раздагаются остатки превняго міра: не изъ развалинъ его построится Сіонъ, —онъ нечисты. Ежели бъ ты зналъ, что такое Византія! Гръхи ея дошли до неба, и Богъ воспомянулъ неправоты ея. На ней совершится громовое пророчество Исаіп: она будеть рабою иноплеменниковъ. И тамъ, въ этой-то Византіи, я видёль великихь свётильниковь церкви: духовенство отдёлилось отъ мірянъ и въ немъ сохраняется весь Христова. Оно-то собиралось въ Никей въ этотъ великій день въры; оно не простило Константина, облитаго тройною кровьюсына, племянника и жены. Да, среди пустынь, за стънами монастырей, возростеть слово Христово: «И свёть во тьмё свётить, и тьма его не объяда». И оттуда пересадится на открытое поле, когда изъ него исторгнутся плевелы. Догнивайте же остатки Вавилона, снъдаемые собственными пороками! Гибните въ сладострастін и сребролюбін, гибинте въ гнусныхъ, позорныхъ рукахъ евнуховъ и женщинъ!»

— Неужели, отецъ мой, ты рядомъ ставишь женщинъ съ этими полулюдьми? спросилъ юноша.

— «Нѣтъ. Но, — сказалъ игуменъ, строго взглянувъ на Өеодора, — бойся женщинъ: ихъ красота — красота Авадонны».

— Но красота отъ Бога и есть проявление его, товоритъ Авгу-

стинъ, который самъ любилъ.

— «Горе теб'й, ежели ты только это нашель въ Августинф, возразилъ старецъ. Далила, обрѣзывающая власы Самсона — вотъ образъ всѣхъ женщинъ. Вспомии, что Спрахъ боялся ихъ, какъ ядовитыхъ скорийоновъ, — болѣе нежели тигра и дракона. Ихъ слабыя души, ихъ нѣжныя тѣла привязываютъ къ землѣ. Не имъ́я силы, онъ коварны; не имъ́я возможности подняться,

онъ держатъ насъ, какъ жена Пентефрія, за край одежды. Женщина требовала главу Іоанна; женщина была первая преступница въ обществъ апостольскомъ... Но, отчего же ты огорчился, Өеодоръ? Но я знаю тебя... Нашъ разговоръ зашелъ далеко, пора готовиться къ девятому часу... Върь мнъ, юноша: скуделенъ сосудъ этотъ и гибельна красота его. Благословимъ память Марка, основавшаго въ твоей родинъ жизнъ монастырскую. Здъсь мы можемъ работать для человъчества и ничто не отвлечетъ насъ. Семья Іисуса были его ученики; семья паша—братія».

Игуменъ кончиль, всталь и пошель по аллев. Юноша долго смотрвль ему вслёдь и быль взволновань. «Женщина требовала главу Іоанна,—думаль онъ,—но два родила Христа. Спрахъ... Спрахъ же говорить, что женщина добродетельная есть солнце, восходящее на небв Господнемь, ясный светильникъ на церковномь подсвечникъ. И кто расияль Его? И кто стояль при креств? О ты, ты одинъ справедливъ, Сынъ Божій, — ты простиль даже преступную»... Но вдругъ лицо его вспыхнуло, слезы налились въ глаза и онъ воскликнулъ: «ты правъ, ты правъ, отецъ святой!»

V.

15. За тъмъ я выпіла раннимъ утромъ пзъ дома, чтобъ найти тебя,—и нашла.
16. Я ложе мое украсила цвътными коврами египетскими.

17. Я облила его муррою, алоо и кинамонами.

Приди насладиться любовью.
 Пр. Соломона, гл. VII.

За нѣсколько лѣть передъ тѣмъ, какъ пгуменъ доказываль Спрахомъ, что женщины страшнѣе дракона, и Өеодоръ оправдываль ихъ Спрахомъ, говоря, что онѣ похожи на солнце, —опустѣлъ домъ одного богатаго гражданина въ Александріп. Этотъ гражданинъ былъ женатъ на прелестной египтянкѣ, любилъ ее, какъ африканецъ, и она любила его до тѣхъ поръ, пока не пріѣхалъ въ Александрію греческій вельможа съ сыномъ. Византійскій юноша, прелестный собою, со всей изысканностью нравовъ падающаго царства, со всею привлекательностію ложнаго просвѣщенія, понравился египтянкѣ; она измѣнила мужу, потомъ сдѣлалась грустна, задумчива, —какая-то сокровенная мысль терзала ее; она не могла смотрѣть на обманутаго и оставила его. Тщетно искалъ онъ ее, —никогда не было ин малѣйшей вѣсти о преступной. Съ того времени нышный домъ его превратился въ гробъ, тоска снѣдала сердце, растерзанное сомнѣніями: онъ не зналъ

объ измѣнѣ и не понималъ причины бѣгства. Худой, убитый, онъ больше походилъ на вызваннаго духа, нежели на человѣка. Много лѣтъ прошло въ нечали и слезахъ, и какъ найболѣе питаютъ надежду люди, не имѣющіе на нее никакого права, такъ и онъ ждалъ безпрерывно то ея возвращенія, то какого нибудь извѣстія, и, не получая никакого, тѣмъ съ большею увѣренностью хватался за всякую тѣнь надежды.

И воть однажды снится ему сонъ, будто ангелъ Господень, съ въчно-юнымъ лицомъ, съ улыбкой на устахъ, летитъ съ неба, летитъ прямо къ нему, останавливаетъ свой полетъ надъ его головою, качается на дивныхъ крыльяхъ и, сказавъ: «Нынче у храма св. Петра»,—летитъ наверхъ пътъ Бога. Онъ проснулся. Сны иногда бываютъ такъ ярки, такъ выразительны, что нельзя имъ не въритъ. Онъ добавилъ къ словамъ ангела смыслъ, который хотълъ, посиъщно одълся и отправился къ храму св. Петра.

Съ ранней зарею сидълъ онъ уже на каменныхъ ступеняхъ, подъ колоннадою храма, осматривая каждаго человъка, какъ таможенный приставъ. Сначала прохожіе были ръдки, потомъ цълыми толнами двигались они по площади. Житель странъ полуденныхъ не умъетъ сидъть дома. Многіе укрывались отъ солнечнаго зноя подъ тъмъ же порталомъ. Но гдъ же она? Никто не обращалъ на него вниманія, никто не говорилъ съ нимъ, и онъ пользовался этимъ уединеніемъ особаго рода, которое ощущаетъ человъкъ въ толиъ людей, когда не дълитъ съ ними ни ихъ желаній, ни ихъ мыслей. Твердо полагаясь на гласъ Божій, онъ ждалъ и ждалъ. Кто-то ъхалъ па ослицъ въ черномъ платьъ; онъ не спускалъ глазъ съ него. Но это былъ монахъ.

Инокъ подъёхалъ къ храму, слёзъ съ ослицы и, какъ бы пораженный неподвижностью сидящаго, дрожащимъ голосомъ сказаль ему едва внятно: «Добрый день, господинъ!»—Онъ не обратиль на него вниманія,—не его искалъ несчастный. Монахъ оставиль ослицу и взошелъ въ храмъ. Потомъ народъ опять началъ рёдёть, уходить. Солнце садилось, ночь наступала, и отчаянный мужъ, второй разъ теряя свою жену, тихими шагами побрелъ домой. Черезъ нёсколько времени вышелъ монахъ, тотчасъ обратиль глаза на то мёсто, гдё сидёлъ несчастный, и, какъ бы обрадованный его уходомъ, посиёшно сёлъ на свою ослицу, вздохнулъ, перекрестился, еще разъ вздохнулъ и поёхалъ къ городскимъ воротамъ.

Было поздно. Спльный вътеръ дулъ со взморья. Черныя тучи, окровавленныя снизу лучами солнца, роняли огромныя капли теплой воды на растрескавшуюся землю. Өеодоръ, взволнованный встръчей и боясь грозы, не хотълъ ъхать далъе и свернулъ въ монастырь Энатъ, лежащій возлъ Александріи. Служитель Божій,

гражданинъ всего міра христіанскаго, въ тѣ времена вездѣ находилъ отворенную дверь, и всюду приходъ его считался счастіємъ, тѣмъ паче въ монастырѣ, куда приходили всѣ бѣдныя п

труждающіяся діти церкви.

Вечерняя молитва началась. Өеодоръ взошелъ въ церковь и удалился въ небольшое углубленіе, бывшее въ стѣнъ; тамъ, никъмъ незримый, хотълъ онъ принесть свою модитву Искупителю. Тихое, стройное пъніе монаховъ едва было слышно, и темъ невещественные, тымь неопредыленные, тымь святые становилась пъснь. Полузвуки согласовались съ полумракомъ, въ которомъ былъ ногруженъ храмъ, своды, казалось, исчезли, ствны-какимито массами тумана; дымъ изъ кадильницъ, віясь около изображеній, придавать имъ таинственное движеніе. И шаги по каменному полу, и мелькание черной рясы, и ея шорохъ увеличивали торжественность, возможную только въ храмъ Божіемъ и которую испыталь всякій, съ чистой душою входившій въ церковь. Тымь сильнъе дъйствовала она на мечтательнаго Өеодора. Его можно было принять за изваяніе: именно онъ, какъ статуя, выражаль одно чувство—чувство молитвы. Иногда слабый вздохъ вырывался изъ груди его, какъ будто онъ упрекалъ себя въ чемъ-то, иногда и слеза навертывалась; но восторгъ все поглощаль, соединяя всѣ мысли въ гимнъ.

Близъ углубленія, гдѣ былъ Өеодоръ, стояла молодая женщина, прелестная собой, какъ тѣ дѣвы Востока, о которыхъ пѣлъ Низами. Сначала молилась и она, но вскорѣ молитва исчезла съ устъ ея,—безпрерывно смотрѣла она на юношу. Освѣщенный послъднимъ остаткомъ свѣта, окруженный мракомъ, Өеодоръ казался ей чѣмъ-то принадлежащимъ не здѣшнему міру; она думала видѣть архангела, принесшаго благую вѣсть Дѣвѣ іудей-

ской. Огнениая кровь египтянки цылала.

Окончилось вечернее моленіе. Өеодоръ ношелъ къ пгумну, не обративъ на нее ни малъйшаго вниманія, сказалъ ему о причинъ прівзда и просилъ дозволенія переночевать. Игуменъ былъ радъ и повелъ Өеодора къ себъ. Первое лицо, встрътившее ихъ, была женщина, стоявшая близъ Өеодора, дочь игумна, который удалился отъ свъта, лишившись жены, и съ которымъ былъ еще связанъ своею дочерью. Она прівхала гостить къ отцу и собиралась вскоръ возвратиться въ небольшой городокъ близъ Александріи, гдъ жила у сестры своей матери.

Въ лѣнивой груди жителя юга бываютъ минуты торжественныя; въ такую минуту онъ переживетъ все, что по мелочи испытаетъ гиперборей. У него страстъ родится, подобно дочери Зевса, въ полномъ вооруженіи; зажженная однажды, она можетъ горѣть и жечь его до гроба. Его страстъ любитъ до упичтоженія пред-

мета любви, пылаетъ местью до уничтоженія самого себя. Это—огненная масса, внезапно воспламеняющаяся и никогда не тухнущая. Египтянка любпла Өеодора пламенно, безвозвратно. Блѣдныя дѣвы сѣвера не повѣрятъ этому, онѣ не знаютъ этого ада страстей, привыкнувшія къ своимъ мечтамъ о духовномъ, о небѣ, то-есть не о настоящемъ небѣ, а о томъ, которое онѣ создали себѣ для бѣгства отъ скупой и туманной природы. Она съ жадностію винвала каждый взоръ его, но этотъ взоръ былъ обращенъ къ небу; съ жадностію слушала каждое слово, но это слово было о Богѣ. «Любовь,—сказалъ онъ,—вотъ основаніе міра, а апостолъ говоритъ, что недостаточно вѣры, ежели нѣтъ любви». Но не о земной любви говорилъ юноша, о земной понимала дѣва.

Вошедши въ келью, для него приготовленную, Феодоръ бросился на скудную постель изъ банановыхъ листьевъ и не тушилъ еще ламны, какъ вдругъ начала отворяться дверь и тихотихо вошла какая-то старуха съ темнымъ, загорѣлымъ лицомъ нашихъ цыганъ, со впалыми щеками и невърнымъ взглядомъ. Украдкой окинувъ горницу, она сказала: «Служитель Христовъ! есть человъкъ, нуждающійся въ твоей помощи, — не откажись идти за мною».

Өеодоръ молча всталъ и пошелъ за нею.

Вышли на дворъ,—все было темно; подошли къ какой-то маленькой двери. Старуха отворила ес, — за нею еще мрачите; пустила его впередъ и исчезла. Но недолго стоятъ Өеодоръ,—его взяль кто-то за руку, и на этотъ разъ не высохшая, костлявая, угловатая рука старухи, а нѣжная, мягкая, трепещущая рука, горячая, какъ каленое желѣзо. Прикосновеніе во мракѣ всегда наводить ужасъ, и Өеодоръ содрогнулся. «Сюда!»—прошенталъ едва внятный голосъ, и онъ смиренно шелъ. Небольшой переходъ оканчивался дверью. Ее отворилъ его путникъ, и въ немъ Өеодоръ узналъ прелестную дочь игумна.

Полунагая, едва одътая легкою тканью, которая болъе обнаруживала ен красоту, нежели скрывала своими фантастическими драпри, трепещущая и огненная, стояла она передъ цимъ, не смън ни поднять на него взора, ни оторвать его отъ нестрыхъ цвътовъ ковра, до котораго чуть касались ен маленькія ножки. Слезы катились изъ ен глазъ, засыхан на разгоръвшихся, воспаленныхъ шекахъ.

— Странникъ, — сказала она, долго принуждая себя сказать то, о чемъ молчать ей казалось такъ трудно, — прости меня... Странникъ, я люблю тебя... Но Бога ради не смъйся надо мною... Я видъла, какъ ты молился: твой вдохновенный взоръ, твое лицо. твой страстный взглядъ нейдутъ молитвъ; твоя душа пламенна, — она не можетъ удовлетвориться молитвою. Ты обманываешь себя...

А. II, Герпенъ. т. I.

Люби меня!.. Можеть, тебъ неизвъстно это море блаженства? Я тебъ раскрою его, мы потонемъ въ его волнахъ; я сожгу тебя монми поцелуями, я обовьюсь какъ эфеу около тебя, я умру, целуя тебя!..

И, говоря это, дёва въ самомь дёлё тонула въ океан'я страстей и, полумертвая, дрожащая, готова была броситься въ объятія юноши; но они не раскрылись. Спокоенъ и тихъ былъ взоръ Өсодора. Такимъ взоромъ смотритъ луна на бъщеную Этну,

иламенемъ раздирающую свою грудь.

— «Дъва, сказалъ онъ ей, благодари судьбу, что ты это говоришь мив, отжившему для міра сего, п не воспользуюсь слабостью овцы гибнущей. Вспомни, что ты христіанка. Я соединю свои молитвы съ твоими, чтобы Господь извелъ изъ тебя злого духа, губящаго душу твою. Дѣва, и я былъ пороченъ, и я зналъ, какъ слабы женщины, твыъ сильнъе будеть молитва моя, твыъ спасительнъе тебъ».

— Какъ, ты любилъ, воскликнула она! — Ты любилъ! — и ревность къ прошедшему взволновала ся грудь, въ которой не было мъста и одной страсти. — Гдъ она?.. Но... можетъ, ея ужъ нътъ? Можетъ, она измънила? Можетъ, въ ней не было этой бъшеной страсти? О, я замъню ее! Я свободна, какъ итица небесная. Бъжимъ въ Грецію, тамъ...

— «Остановись!»—сказалъ Өеодоръ, и ланиты его показали, что онъ еще человъкъ; но что ихъ оцвътило: любовь или воспоминание? «Я Вогу даль клятву и ничто не сокрушить ея».

-- Лицемъръ! дъвъ далъ ты клятву. Обманщикъ! тебъ ли носить монастырское платье! Да, это ясно; теперь все понимаю. Но я умбю метить. Ты видёлъ, какъ необузданны страсти мои? Неужели твое сердце до того принадлежить другой, что нътъ мъста для меня? Одинъ часъ, одну минуту дай насладиться тобою, —и и счастлива, и возьми послъжизнь мою... на что мит она тогда? И въ этой минутъ я солью все—и рай позавидуетъ мнъ... Ты смущенъ?.. Нътъ, нътъ, эта грудь не изъ гранита! — И она бросила лампу на полъ, и душистое масло струями разлилось по ковру, и свётильня, вспыхивая и потухая, и курясь, прожгла его... Судорожная рука обвилась около юноши, дрожащія уста съ своимъ огненнымъ, сладострастнымъ дыханіемъ коснулись устъ Өеодора. Тщетно хотълъ онъ вырваться.

— Нътъ, пътъ, ты мой, я тебя не пущу!--шептала она, цъ-

луя его...

Ясно и душно было утро, когда на ослицѣ тихо подъѣзжалъ Өеодоръ къ Октодекадскому монастырю, везя елей для храма. Черты лица его, утомленныя зноемъ, выражали опять то же спокойное, святое чувство, съ которымъ онъ вытхалъ за два дня изъ этой ограды. По временамъ взоръ его дѣлался мечтателенъ, далеко устремлился въ пространное поле и, казалось, выпрашпвалъ какого-нпбудь предмета или искалъ кого-нпбудь, но тотчасъ приходилъ онъ въ свое всегдашнее положеніе. Молитва виднѣлась на устахъ, молитва во взорѣ, молитва въ немъ самомъ... И привратникъ, тотъ же старецъ, котораго онъ ждалъ цѣлую ночь, но еще старѣе, отворилъ ему ворота, и онъ опять въѣхалъ въ этотъ тихій, умершій дворъ, гдѣ люди не измяли зеленой травы, гдѣ однѣ черныя ризы мелькали межъ бѣлыхъ надгробныхъ камней, гдѣ душистые лимоны и пышныя смоковницы заслоняли однъ черныя рясы и бѣлые надгробные камни.

VI.

 И сказала ему: еврейскій рабъ, котораго Ты привель въ домъ свой, хотѣлъ меня обезчестить.

20. Тогда онъ бросилъ его въ темницу.

21. Но Господь былъ съ нимъ. Монсей, Кн. Бытия, гл. 39.

- «Нѣтъ, это клевета, сказалъ нгуменъ Октодекадскаго монастыря, гнусная, черная клевета!» И тѣнь сомнѣнія уже прокралась на его лицѣ, и онъ, казалось, разувѣрялъ себя болѣе, нежели стоящаго возлѣ монаха.
 - Но поясъ...—возразилъ тотъ.
- «Хорошо. Неси лобзаніе мира нашему брату и скажи, что я спрошу у обвиняемаго, и да падетъ вся строгость на голову преступную».

Монахъ склонился и вышелъ.

Пицо игумна было ужасно; жилы на вискахъ налились кровью и бились. Онъ былъ смущенъ, несмотря на свою обычную твердость, и не зналъ, върить ли, или нътъ какому-то обвиненію, и то укорялъ себя въ сомнѣній, прінскивая наказаніе виновному, то вѣрилъ обвиненію, прінскивая доказательства къ опроверженію его. Онъ то вставалъ и прохаживался, то садился. Наконецъ, обращаясь къ молодому монаху, сказалъ: «Позови брата Өеодора и оставь его со мною наединъ».

Тихая аскетическая жизнь подняла такъ фантазію Өеодора, такъ пріучила его къ созерцательности, что онъ цѣлые часы проводиль, мечтая то о прелестной жизни, которая готовится праведнику въ обители рая, то о содѣланіи всей земли одною паствою Христа, то погружался въ созерцаніе Бога п, долго теряясь въ

безконечномъ, вдругъ спускался на землю. И какъ хороша она ему казалась тогда, какъ ясно выражала Его и какъ понятно говорило и это вътвистое дерево, и эта пернатая итица! Въ такой-то созерцательной минутъ былъ онъ, когда его позвали къ пгумну. Это было такъ обыкновенио, что онъ, нисколько не удивлясь, пошелъ къ нему съ свътлымъ вдохновеннымъ лицомъ, торопясь пересказать все, что чувствовалъ.

Съ холоднымъ и важнымъ видомъ встрътилъ его игуменъ, пристально посмотрълъ на прелестнаго юношу и уже почти

оправлаль его въ лушѣ.

— «Өеодоръ, сказалъ онъ, подавая письмо, прочти его и скажи, правда ли:»

Өеолоръ сталъ читать письмо.

Итуменъ остановилъ на немъ испытующій взоръ; но юноша спокойно прочелъ и твердо сказалъ:

— Видитъ Богъ, что ложъ.

- «Твой ли это поясъ?»
- Мой.
- «Гиъ ты потерялъ его?»
- Не помню, св. отецъ. Я хватился его, возвратясь изъ Александрін, уже дома.
 - «Это поясъ женскій», прибавиль игумень, разсматривая.
- Я съ нимъ пришелъ семь лѣтъ тому назадъ, отвѣтилъ Өеодоръ, не совсѣмъ вѣрнымъ голосомъ и наклоняя голову, чтобы скрыть пурпуръ, покрывавшій щеки его.

Игуменъ не замѣтилъ. Туча пронеслась.

— «Я быль увърень въ твоей невинности, сынъ мой. Нътъ, ты не могъ такъ пасть: Богъ не даетъ порочному такой души; тебя избралъ онъ въ свое воинство». И игуменъ обнялъ его, и

тронутый Өеодоръ, рыдая, целовать въ плечо старика.

Но черезъ нъсколько мъсяцевъ опять явились монахи энатскіе; они принесли съ собой младенца, бросили его середь двора и съ злобной усмъщьой сказали: «Братія, ваше дъло вскормить чадо порочной жизни вашей!» Обиженная братія требовала, чтобы назвали виновнаго. Ей отвъчали именемъ Өеодора. Никто не върилъ, всъ просили игумна, чтобы онъ допросилъ виновнаго, и игуменъ, непоколебимый въ своей довъренности, спокойно сказалъ: «Судите его сами», твердо убъжденный, что одно слово, одинъ видъ Өеодора будетъ полнымъ оправданіемъ. Онъ въ тайнъ даже радовался торжеству своего друга.

Призвали Өеодора. Игуменъ ждалъ съ нетеривніемъ оправданія, ободряль его взглядомъ, улыбкой. И каково же было удивленіе старика, когда Өеодоръ, преклоняя кольна, трепещущій, пре-

рывающимся отъ слезъ голосомъ, едва произнесъ:

— Прости, отецъ святой, простп... я обмануль тебя, ужасно обма нуль!

Старецъ былъ притоптанъ къ землъ, не могъ поднять глазъ, ни вымолвить слова; пятна вышли на его лицъ, рука перестала перебирать четки и судорожно дрожала. Наконецъ, гордо взгляпувъ на братію, онъ сказалъ повелительнымъ голосомъ;

— «Изгнать презрѣннаго обманщика изъ монастыря,—онъ иятнаеть насъ!»

И озлобленная братія, униженная поступкомъ Өеодора, осыпала его насмъшками и бранью: даже нъсколько камней полетьло въ юношу. Все волновалось и кричало; одинъ обвиненный стоялъ спокойно. Минута волненія прошла, — это быль прежній Өеодоръ, тоже вдохновенное лицо, и ясно обращался его взоръ на братио и къ небу. И когда игуменъ, боясь тронуться его виломъ, спросилъ: «Чего же медлите вы?» Тогда Өеодоръ возвелъ очи къ небу, говоря: «Господи! теперь я вижу, что Ты обратился ко мнъ, что гръшная молитва дошла до подножія Твоего». Потомъ упалъ онъ ницъ передъ игумномъ и сказалъ: «Не прощенья молю я, но молись о душт преступной, которая инкогда не забудетъ тебя». Слезы не дозволили ему продолжать. «Молитесь п вы, братія», прибавиль онь, вставая и низко кланяясь имъ. Наконецъ, подошелъ къ ребенку, взялъ его на руки, поцъловалъ н съ видомъ искренней любви сказалъ ему: «Не плачь, дитя, не илачь». Далъе не могъ вытериъть игуменъ: онъ чувствовалъ, что слезы готовы брызнуть изъ глазъ, — онъ всталъ и пошелъ въ келью. Вошедши въ нее, раздраженный и недовольный собою, съть къ окну и смотръть, какъ монахи вели Өеодора къ воротамъ, наперерывъ осыная бранью, какъ вытолкнули его. Все было къ Өеодору немилосердно, даже старый привратникъ ударилъ его тростью. Өеодоръ териълъ все, защищая ребенка и какъ будто взоромъ говоря: «Онъ-то чёмъ виновать?»

«Такъ я никогда не быль обмануть, думаль штумень. Это искушеніе дьявола... Но какъ добръ, какъ восторженъ опъ былъ сначала и всъ семь лъть! Я его любилъ, какъ сына, —болъе, нежели сына... Но какъ же опъ читалъ письмо такъ спокойно? Надобно быть очень порочну, чтобы скрывать пороки. Его погубила, увлекла эта женщина, а онъ еще защищалъ ихъ, порожденіе ехидны, лишившее рая перваго человъка... И въ самое то время, какъ онъ признавался, въ моемъ сердиъ кричалъ голосъ опъ невиненъ». Никогда не надобно довърять этому голосу. А какъ онъ перенесъ стыдъ и наказаніе! Какимъ взоромъ взглянуль на меня!.. О, Өеодоръ, зачъмъ ты палъ? Ты миъ былъ такъ пеобходимъ! Кто замънтъ тебя?.. Но не стыдно ли жалъть о немъ!.. Старикъ, вотъ плоды твоей опытности: мальчишка обма-

пуль тебя».—И онъ смѣялся судорожнымъ смѣхомъ.—«Не правъли я былъ, сомиѣваясь принять его въ монастырь?» Туть онъ остановился: эта мысль мирила его съ собою, и онъ началъ думать не о Феодорѣ, но о новыхъ искусахъ для приходящихъ.— Ужасно хоронить друга, но еще ужасиѣе видѣть свою ошибку въ человѣкѣ, съ которымъ дѣлилъ душу, помыслы: это—кусокъ мяса, оторванный отъ сердца, горячій, кровавый. Игуменъ послѣ этого происшествія сдѣлался еще мрачнѣе, не велѣлъ при себѣ поминать бывшаго друга, старался стереть его въ памяти и не могъ забыть.

Между тыть несчастный беодорь, опозоренный, униженный, пзгнанный, быль встрыбень людьми, которые слышали о его вины и ругались надъ нимъ еще злые монаховъ. Посредственность до того ненавидить все высшее, что для нея торжество—всякое наденіе; сверхъ того, она воображаеть, что, бросая камень въ виновнаго, закроетъ свои пороки. Яростными голосами кричала толиа: «Гды же сынъ живого мертвеца, отказавшагося отъ земли?» беодоръ вынималъ младенца изъ мантіи и говорилъ: «Вотъ онъ». Но въ этомъ не была видна дерзость злодыя, который нагло показываетъ клеймо варнака, но какое-то самоотверженное чувство своего преступленія; казалось, онъ просилъ ихъ наказать себя и былъ готовъ все неренести.

У Өеодора не было ничего. Бъдность грозила ему своими худыми руками, посинъвшими отъ стужи, изсохинми отъ голода. Никто не подаваль ему милостыни. На послъднія деньги купиль онъ молока младенцу, самъ питался кореньями и морскимираковинами. «И хождаше по пустыню скитаяся, очерню же плоть ото зимы и зноя, и очи потемнюща ото горькаго плача, и живяще со звърьми» — этими словами описываеть мартирологь его жизнь.

VII.

Простри длани твоя и прими душу мою, юже въ жертву принесохъ любви ради твоея.

Житіе св. Екатерины.

У гроба Феодорова сидъть грустный игуменъ и съ нимъ тотъ самый алексадріецъ, который такъ усердно ждалъ свою жену у храма Петра. Александріецъ плакать, игуменъ молился; никто не прерывать тишины, — она продолжалась нъкоторое время. Но вдругъ отворилась дверь и вошелъ игуменъ энатскій съ монахомъ, котораго онъ присылалъ обвинять Феодора. Тъло усоншаго было

покрыто. Игуменъ Октодекадскаго монастыря открылъ голову и спросилъ своего собрата:

- «Это ли Өеолоръ».
- Онъ самый. отвѣчалъ тотъ.
- Обезчестившій у насъ дівнцу, —прибавиль монахъ.

Съ горькой улыбкой отдернулъ нгуменъ покрывало и указалъ женскія перси.

- «Это жена его, Өеодора», сказалъ онъ, указывая на александрійца.
- «Воплощенный ангель! прости мнъ, что я, слабый гръшникъ, не постигъ твоего величія, и моли у Всевышняго, да отпустятся мнъ гръхи мол».

Старикъ залился слезами и склонилъ голову свою къ покойницъ. Небесная улыбка видна была на холодныхъ устахъ, которыя, казалось, хотъли открыться еще разъ для того, чтобы сказать игумну: «Я прощаю тебя».

... И написующе тое неточіе на хартіяхъ, но п въ сердцахъ вашихъ, простирахуся къ подвигамъ великимъ и благоугождаху Богу.

Крупнцкія казармы, 1835 г., февраль. Перешісано въ Вяткі 1836 г., марта 12).

Встръчи.

Точкою пересвичнія называется мвсто встрвин двухълиній. Франкеръ, «Курсъ чистой математики». Т. І—«Геометрія».

Говорять, что храмовые рыцари вездѣ узнавали другъ друга, узнавали даже степень свою въ таинствахъ и силу въ орденѣ при первой встрѣчѣ. Это кажется странно, удивительно. Но пусть разберетъ каждый человѣкъ (въ самомъ дѣлѣ!), не случалось ли ему въ продолженіе жизни встрѣтиться съ незнакомцемъ, котораго онъ никогда не видалъ, котораго никогда не увидитъ и въ которомъ съ перваго взгляда открывается близкій родственникъ души,—человѣкъ, котораго онъ хочетъ имѣть другомъ, съ которымъ ему жаль разстаться. Какая-то симпатія, какой-то магнитизмъ влечетъ къ нему, и эта встрѣча остается навсегда въ памяти, ибо существованія ихъ пересѣклись, опять раздвоишсь, но слились въ точкѣ пересѣченія. Чѣмъ буриѣе была жизнь человѣка, чѣмъ болѣе страсти пережигали его душу, тѣмъ болѣе такихъ встрѣчъ.

Итакъ, мы всѣ—храмовые рыцари. Посторонніе не знали знаковъ ордена; такъ и теперь толпа, это постороннее всего одушевленнаго, не понимаетъ людей глубоко чувствующихъ. Помнится, Дидеротова кухарка очень удивилась, услышавъ, что ея господинъ—великій человѣкъ. Сколько Дидеротовыхъ кухарокъ!

Первая встрѣча.

(Посвящено другу Сазонову).

Was die französiche Revolution Gutes oder Böses stiftet, kann ich nicht beurtheilen; so viel weiss ich, dass sie mir diesen Winter einige Paar Strümpfe mehr einbringt.

Göthe

Вошедши въ гостиную, я увидълъ незнакомаго человъка, котораго тотчасъ почелъ за иностранца, ибо нъсколько молодыхъ людей безпрестанно выказывали ему себя, безпрестанно тормошили его. У насъ свой манеръ принимать иностранцевъ, нъчто въ томъ родъ, какъ слъпни принимаютъ лошадь въ лътній день.

Онъ былъ ножилой человъкъ, средняго роста, худой и илъшивый. Молочный свътъ лампы, покрытой тусклымъ колпакомъ,
придавалъ что-то восковое его блъдному лицу, которое, несмотря
на лъта, было такъ нъжно, такъ бъло, какъ видимъ на хорошихъ
бюстахъ изъ каррарскаго мрамора. Сърые глаза его блестъли,
какъ у молодого человъка; ротъ дълалъ нъчто въ родъ улыбки,
которая съ перваго взглядъ могла показаться за добродушіе, но
въ которой второй взглядъ видълъ насмъшку, а смотря далъе—
казалось, что ея совсъмъ нътъ и что этотъ ротъ не можетъ улыбаться. Вообще лицо его было чрезвычайно холодное; но въ этомъ
холодъ видълся огонь, какъ въ холодномъ реверберъ лампы... «Кто
это?»—Мнъ отвътили нъмецкой фамиліей, которую я тутъ же забылъ.

Голосъ звученъ и силенъ, молчать, подавленные толною публицитовъ.

- «Неужели?» сказаль кто-то, готовя что-то.
- Это не тезпсъ, продолжалъ незнакомецъ, перебивая его, который я стану защищать. Я не осмълюсь бороться съ такими защитниками нашего въка, хотя бы чувствовалъ въ себъ всю силу Ринальдо, и потому не трудитесь снимать ваши шелковыя перчатки,—прибавилъ онъ съ улыбкой.

Защитники въка успоконлись, разговоръ потухалъ, и Корина (хозяйка дома) требовала отъ германца, чтобъ онъ что-нибудь раз-

— Что же вамъ разсказать?.. Я былъ въ 91 году въ Парижѣ и въ 1815 въ Италіи, таскался весь этотъ промежутокъ по родинѣ, и теперь, простившись навсегда съ Европою, ѣду на Востокъ отдохнуть отъ нея. Много великихъ событій было у меня передъ глазами, со многими великими людьми сталкивался я...

Его перебили:

— «Ради Бога, встрѣчу съ великимъ человѣкомъ,—близость ихъ какъ-то поднимаетъ насъ».

— Извольте, я возьму на себя роль Карла Нодье, который такъ подробно разсказываеть всѣ встрѣчи свои съ двухлѣтняго возраста.

Молча подвинулись мы ближе, и вотъ его разсказъ.

— Я родплся во Франкфурть, но, прибавилъ онъ съ злою улыбкой, foi d'honnête homme, ни родства, ни знакометва съ Шарлемъ Dupui не имълъ. Семейныя обстоятельства принудили мою мать оставить мужа и тхать со мною въ свою родину-Парижъ. Мий было 16 лютъ, а христіанству 1788. Это переселеніе сдълало во миб чрезвычайный перевороть. Франкфурть досель имъетъ что-то ганзеатическое: кривыя улицы, печальные дома и рынки, рынки и конторы. Его германскій характеръ, съ своими мрачными церквами и безобразной ратушей, съ своими факторіями и Judengasse, отдълялъ его тогда еще болъе отъ Франціи. И вдругъ изъ этого тихаго, смирнаго города, который каждое воскресенье въ праздничномъ кафтанъ ходитъ въ церковь, внимательно слушаеть предику и каждую субботу свъряеть свои приходо-расходныя книги, —изъ тихаго и смирнаго дома моего родителя я попать въ Парижъ. Что тогда было въ Парижѣ, вы знаете. Родственникъ, у котораго мы жили, былъ главою какогото клуба, котораго члены безпрестанно толкались у него въ домф съ яростными взглядами, съ напудренными париками на головъ и съ ужасными ръчами въ устахъ. Я съ трепетомъ и недоумъніемъ смотрѣлъ, какъ они попирають ногами все святое, все прошедшее, какъ низвергають зданіе, подъ крышей котораго живуть. Революція усиливалась; какъ-то 1792 годъ проглядывалъ сквозь туманъ Assemblée nationale, и отецъ мой желалъ, чтобъ я воротился. Онъ даже просилъ своего пріятеля, также германца, снабдить меня деньгами и какъ можно скоръе выслать. Но этотъ пріятель былъ никто пной, какъ Анахаренсъ Клоотсъ, который дёлалъ совежить на-изнанку: требовалъ, чтобъ я остался, и объщалъ меня вести знакомить съ великимъ человъкомъ, который, по его мит-

нію, опереднять всёхуь и не только отвергаеть всякаго рола гражданское устройство, но даже право собственности. Впослудствии я узналь, что этоть великій челов'єкъ-Эберть. Брауншвейгскій между тъмъ издалъ свой смъшной манифестъ, на который ему отвъчали еще болъе смъшнымъ. Выжившій изъ льть старикъ бранился съ дерзкимъ мальчишкой. Иностранцамъ было опасно оставаться и еще опасите тхать. Напрасно просиль я безумнаго Клоотса, онъ и слушать не хотълъ, говорилъ, что одинъ врагъ вода человъческаго можеть тенерь думать объ отътадт, что кто ътетъ, тотъ агентъ Интта и Кобурга, ставилъ себя въ примъръ и, гордо показывая засаленное платье свое, прибавлялъ: «Ты знаешь, какъ я былъ богатъ? Все отдалъ человъчеству и всъмъ для него пожертвую. А ты хочешь бъжать... Стыдись! Взгляни хоть на Сенъ-Жюста: онъ не старбе тебя, а какъ пламенно принимается онъ работать pour la république une et indivisible, pour l'emancipation du genre humain. Онъ будеть великій филантронъ... Вирочемъ, ежели хочешь тхать, я первый выдамъ тебя: надобно очистить родъ человъческій отъ слабыхъ». И все это говориль онъ не шутя и съ полнымъ убъжденіемъ. Послъднее замъчаніе показало миж, что надлежить дъйствовать рышительно, и я всжии неправдами, обманывая и подкупая, нашелъ средство бѣжать въ союзную армію. Жаль мий было оставить Парижъ; я не въ состояніп быль его покинуть явно, оффиціально, и потому душевно быль радъ, что разстался съ нимъ sans adieux, тайкомъ ночью. Разумбется, не безъ приключеній достигь я цѣли бѣгства, и ежели-бъ я былъ настоящій нѣмецъ, то поставиль бы себѣ за святыйшую обязанность издать на скверной бумагь съ еще скверивишею печатью: Reise-Abenteuer eines Flüchtlings aus der Hauptstadt der Franzosen zur Zeit der grossen Umwälzung, Anno 1792 nach Christigeburt. Но я не настоящій німець.

— Voilà vos chiens de Brunswick!—сказать мий эльзасець, проводивши меня къ пикетамъ, и я очутился на родинф, потому что родина моя вздумала очутититься въ Эльзасф. Половину цфии занимали прусскіе солдаты и половину австрійскіе. Я до того отвыкъ отъ ихъ физіономіи, до того привыкъ къ живымъ, одушевленнымъ французамъ, что смотрфлъ съ ифкоторымъ удивленіемъ на длинныя, растянутыя, неуклюжія лица австрійцевъ съ ихъ свинцовыми глазами, съ ихъ усами свфтлфе щекъ и съ ихъ мундирами свфтлфе усовъ. Должно ли дивиться, что они поразили изди Морганъ въ Италіи, гдф насмфшливая судьба перемфшала ихъ съ вороными головами итальянцевъ, въ которыхъ видна какая-то артистическая отдфлка? Прибавьте, что они стояли по колфна въ грязи, оттого что не хотфли переступить за лужу, что ни одинъ мускулъ не двигался на ихъ лицф, что ихъ рты были

полуоткрыты, что это все дурно сділанныя и облитыя грязью статун командора изъ Донъ-Жуана... Съ другой стороны, пруссаки съ карими глазами, съ римскимъ носомъ и коротенькой трубкой, которую нельзя отділить отъ ихъ лица, не испортивъ его, такъ, какъ нельзя отділить ушей, щекъ и проч. У нихъ что-то глубокомысленное снаружи и совершенное отсутствіе мыслей, кром'є повиновенія фельдфебелю, внутри; но крайней мірь, эти двигались, говорили.

Послѣ нѣкоторыхъ вопросовъ и отвѣтовъ, меня отправили къ дежурному генералу, удостовѣрившись, кто я, откуда, зачѣмъ, куда... Но не было никакой надежды ѣхать далѣе, ибо всѣ ло-шади были взяты арміей. Это было то самое критическое время, когда новый Готфридъ увидѣлъ, что онъ за тѣмъ только пришелъ во Францію, чтобъ увеличить ея торжество. Надобно было провести нѣсколько дней въ несчастномъ войскѣ, которое страдало и отъ дождей, и отъ голода, и отъ стыда.

На другой день пригласить меня къ себъ одинъ владътельный князь, въроятно желая знать, какіе новые ужасы сдълали парижскіе антропофаги. Онъ занималь небольшой домъ въ близлежащемъ городъ, и я ввечеру отправился къ нему. Въ залъ было нъсколько полковниковъ, какъ всѣ нъмецкіе полковники,—съ съдыми усами и съ сигарами въ зубахъ,—и нъсколько адъютантовъ, которые все еще не сомпъвались, что имъ придется попировать въ Palais Royal и тамъ оставить и свой здоровый цвѣтъ лица, и способность краснъть, которая только и осталась у нашего юношества. Вездъ мундиры, шпоры, сабли. Наконецъ, взопелъ не-военный.

- «Върно, Шатобріанъ», —сказалъ кто-то мнѣ на ухо.
- Нѣтъ,—отвѣчалъ я,—Шатобріанъ только тогда ѣздитъ во Францію за непріятелемъ, когда ses amis les ennemis бьютъ его соотечественниковъ.

Мужчина хорошаго роста, довольно толстый, съ гордымъ видомъ, въ которомъ выражалось спокойствие и глубокое чувство собственнаго достоинства. Величие и сила въ правильныхъ чертахъ лица, въ возвышенномъ челѣ. Всякий человѣкъ, однажды взглянувъ на него, видълъ, что онъ ему не товарищъ,—такъ подавляла, утнетала его наружность; его взоръ не протягивалъ вамъ руки на дружбу, по заставлялъ васъ быть его вассаломъ, прощалъ вамъ вашу ничтожность. Большие глаза блистали, но блистали такъ, какъ у Наполеона, намекая издали на общирность души. Эти глаза были осѣнены густыми бровями, въ которыхъ я замѣтилъ именно Омировское движение. Всѣ манеры показывали свѣтскаго человѣка и аристократа; но печать германизма исно обнаруживалась въ особыхъ приемахъ, которые мы называ-

емъ steif. Вездѣ, гдѣ онъ проходилъ, вставали, кланялись, признавали его власть. Онъ принималъ знаки уваженія, какъ законную дань, то есть съ той деликатностью, которая еще выше подымаеть его и еще ниже роняеть ихъ. Я не спускалъ съ него глазъ. Онъ сѣлъ возлѣ герцогова сына, долго говорилъ съ нимъ и, наконецъ, обращаясь къ намъ, сказалъ, придавая особую важность своимъ словамъ:

— Нынче поутру только въёзжаю въ лагерь, вижу какого-то генерала верхомъ. Судите о моемъ удивленіи, когда, подъёзжая, узнаю короля прусскаго. Его величество ёхалъ прямо ко мнё. «Чья это карета?» спросилъ его величество лаконическимъ обра-

зомъ. — «Герцога Веймарскаго»...

Онъ продолжалъ говорить, но я не продолжалъ слушать, удивляясь, какъ Зевсова голова попала на плечи къ веймарскому динломату, и завелъ ръчь съ сидъвшимъ возлъ меня эмигрантомъ. Эмигрантъ этотъ былъ военный и, не смотря на бивачную жизнь, нашелъ средства одъться по бальному. Онъ со слезами меня разспрашиваль о судьбахъ Парижа, — не всего Парижа, а Faubourg Saint Germain, — и со слезами мит разсказываль о чувствахъ, наполнившихъ его душу, когда онъ нынче утромъ видълъ, что, несмотря на проливной дождь, одинъ изъ принцевъ крови бхалъ верхомъ съ прусскимъ королемъ въ одномъ легкомъ илащь. Мнь онь показался дотого смышонь, что я забыль на минуту дипломата и съ величайшимъ вниманіемъ слушалъ важный разсказъ о ничтожныхъ предметахъ. Но вдругъ подозвалъ меня герцоговъ сынъ и, подводя къ своему сосъду, сказалъ, что я изъ Парижа и могу разсказать самыя новыя новости. Онъ взглянулъ своимъ страннымъ взглядомъ и мив показалось, что йолон атмавили внем ано

— Правда ли, что генералъ Лафайетъ разсорился съ якобинцами, отсталъ отъ нихъ и теперь соединяется съ королемъ?

- «Лафайсть, отвъчаль я, никогда не принадлежаль къ клубу якобинцевъ. Впрочемъ, не смотря на его ненависть къ бъшенымъ республиканцамъ, онъ, я думаю, не будеть ренегатомъ...»
- То-есть не образумится и не воротится къзаконной власти, хотите вы сказать?

Я закусиль губы и извинился привычкою къ jargon revolutionnaire.

— Что несчастный король?

— «Все еще содержится. Скоро будеть нубличный процессъ его».

— Для меня удивительно, какъ шайка безумныхъмечтателей, какой-нибудь клубъ якобинцевъ, забралъ такую волю, несмотря на омерзеніе, съ которымъ смотрять на нихъ нація.

— Жаль, очень жаль, что эти безпорядки такъ долго продолжаются,—сказалъ онъ, обращаясь къ герцогову сыну. Я собирался бхать во Францію, но я хотѣлъ видѣть Францію—блестящую и пышную монархію, процвѣтающую столько столѣтій, хотѣлъ видѣть тронъ, подъ лиліями котораго возникли великіе геніи и великая литература, а не развалины его, подъ которыми уничтожалось все великое, не второе нашествіе варваровъ. Мое счастіе, что успѣлъ насладиться Италіей,—и она начинаеть перенимать у французовъ. Можеть, еще съѣзжу туда, чтобы взглянуть на страну изящнаго прежде, нежели ее убьють и псковеркають. Впрочемъ, увидите, горячка эта не долго будетъ продолжаться, и ежели сами французы не образумятся, ихъ образумяться.

Послёднее слово онъ произнесъ отдёльно, и маленькая улыбка, и маленькій огонь въ глазахъ показали, какъ герцоговъ сынъ

доволенъ былъ этимъ комилиментомъ.

Кто не знаетъ ужасную откровенность военныхъ, особенно германскихъ? Ихъ изрубленныя лица, ихъ прострѣленныя груди даютъ имъ право говорить то, о чемъ мы имѣемъ право молчать. По несчастію, за герцоговымъ сыномъ стоялъ, опершись на саблю, одинъ изъ сѣдыхъ полковниковъ. Въ наружности его были видны и иять-шесть кампаній, и жизнь, проведенная съ 12 лѣтъ на бивакахъ и въ лагеряхъ, и пезависимость, которая такъ идетъ къ воину, — словомъ, въ немъ было немного Циттена и немного Блюхера.

- «Если и проучать ихъ, такъ, върно, не теперь», —сказалъ онъ съ этой вольностью казармъ, которую породила, можетъ, самая дисциплина ихъ. «Дивлюсь я на эту кампанію: не приготовивъ ничего, бросили насъ осенью въ непріятельскую землю; увърили, что насъ примутъ съ распростертыми объятіями, а намъ скоро придется умереть съ голода, потонуть въ грязи и бытъ выгнанными безъ малъйшей славы. Хоть бы ужъ идти назадъ, пока есть время... Скоръе голову положу на полъ битвы, нежели перенести стыдъ такой кампаніи...»—И онъ жалъ рукою эфесъ сабли и какъ будто радовался, что высказалъ эти слова, давно тяготившія грудь его.
- Счастіе намъ худо благопріятствовало, отвъчаль дипломать; но не совсемь такъ отвернулось, какъ думаєть г. полковникъ. И наша теперешняя жизнь, исполненная недостатковъ и лишеній, послужитъ намъ пріятнымъ воспоминаніемъ, въ ней есть своя поэзія. Знаете, чъмъ утышался любимецъ Людовика Святаго въ плъну, когда всъ унывали? "Nous en parlerons devant les dames", говорилъ онъ.

Герцоговъ сынъ поблагодарилъ взглядомъ, но неумолимый полковникъ не сдался.

— «Хороно утвшенье!»—сказалъ онъ глухимъ голосомъ, гордо улыбаясь и сжимая до того свою сигару, что дымъ пошелъ изъ двадцати мъстъ.—«Боюсь одного, что не мы, а они будутъ разсказывать нашимъ дамамъ объ этой кампанін».

Въ лицѣ его было тогда столько гордости, даже восторга (ибо не одни художники умѣютъ восторгаться), что я увидѣлъ въ немъ соперника лицюмату.

- Охота намъ говорить о войнѣ, о политикѣ, подхватилъ дипломатъ, видя непреклонность воина. Когда, бывало, среди моихъ занятій въ Италіи мнѣ попадались газеты, я видѣлъ себя столь чуждымъ этому міру, что не могъ найти никакой занимательности: это что-то такое временное, перемѣнное и потомъ совершенная принадлежность нѣсколькихъ особъ, конмъ провидѣніе вручило судьбы міра, такъ что стыдно вмѣшиваться безъ призыва. И теперь я далекъ отъ всѣхъ политическихъ предметовъ и такъ спокойно занимаюсь, какъ въ своемъ веймарскомъ кабинетѣ.
- А чёмъ вы теперь занимаетесь? спросилъ герцоговъ сынъ, силясь скрыть радость, что разговорь о войнё окончился.
- Въ особенности теорією цвѣтовъ. Я уже имѣлъ счастіе излагать ее свѣтлѣйшему братцу вашему, и онъ былъ доволенъ. Тенерь и дѣлаю чертежи.

Удивительный человёкть, думаль я: въ 1792 году въ арміи, которую бьють, среди колоссальныхъ обстоятельствъ, которыхъ не понимаеть, — занимается физикою! Я видёлъ, что онъ не дипломатъ и не могъ догадаться.

- Кто это?—спросилъ я у герцогова адъютанта.
- «Про кого вы спрашиваете?»—сказаль съ удивленіемь адъютанть.
- Вотъ про этого высокаго мужчину, который теперь всталъ, во фракъ.
 - «Неужели вы не знаете?—Это Гёте!»
 - Гёте, сочинитель «Гёца»?
 - «Да, да».
 - Вольфгангъ Гёте, сочинитель «Гёца», «Вертера»...

Я обернулся, но онъ былъ уже въ дверяхъ, и я не могъ посмотръть на Гете, какъ на Гете. Воть вамъ моя встръча.

- Вы послѣ его не видали? спросила Корина.
- Одинъ разъ, отвъчалъ онъ, нъсколько недъль спустя. Въ какомъ-то городкъ давали его пьесу. Я забылъ ея названіе; помню только, что это фарсъ надъ революціей, маленькая насмъшка надъ огромнымъ явленіемъ, которое все имъло въ себъ, кромъ смъшного. Тогда уже вполнъ обозначился грозный характеръ переворота и вся мощность его. Разбитое войско возвраща-

лось домой, въ Германію; палачъ ждалъ вънчанную главу. Испуганная, печальная публика не смъялась. И, по-правдъ, насмъшка

была натянута.

Гёте сидъть въ ложъ съ герцогомъ веймарскимъ, сердился, досадовалъ, —Гёте былъ весь авторъ. Я издали смотрълъ на него и ото всей души жалълъ, что этотъ великій человъкъ, развивавшій цълый міръ высокихъ идей, этотъ поэтъ, удивившій весь міръ, испытываетъ участь журналиста, попавшаго не въ тонъ. Печальныя мысли заняли меня до того, что я содрогнулся, услышавъ, что меня взялъ кто-то за руку. Обернувшись, увидътъ и полковника, съ которымъ встрътился у герцогова сына. Онъ былъ совершенно тотъ же, какъ и тамъ, —съ тъмъ же гордымъ видомъ, съ тъмъ же независимымъ лицомъ. Я замътилъ одну перемъну: лъвая рука его была въ перевязкъ.

— «Есть же люди, которые находять улыбку тамь, гдв всв плачуть», — сказаль онь, ножимая плечами и съ негодованіемь крутя сёдой усь свой.—«Неужели это право великаго челов'єка?»—

прибавилъ онъ, помолчавъ.

Я взглянуль на него, взглянуль на Гёте, хотыть сказать очень

много и молча пожалъ его руку.

Туть онь остановился, глаза его прищурились, онь закусиль нижнюю губу, и, казалось, сцена сія со всею точностью повторилась въ его головѣ и онъ чувствоваль все то, что чувствоваль за сорокъ лѣтъ.

— Vous êtez ennemi juré de Goethe,—сказала Корина.

— Вы принадлежите къ партін Менцеля,—прибавиль спекулятивный философъ, другь Корины.

— Я готовъ преклонить кольна передъ творцемъ «Фауста»,

возразилъ германецъ.

— Но разсказъ вашъ, — продолжалъ обиженный философъ, заявленный обожатель Гёте, —разсказъ вашъ набросилъ на этого мощнаго генія какую-то тінь. Я не попимаю, какое право можно иміть, требуя отъ человіка, сділавшаго такъ много, чтобъ онъ былъ политикомъ. Онъ самъ сказалъ вамъ, что все это казалось ему слишкомъ временнымъ. И зачіть ему было выступать діятелемъ въ міріт политическомъ, когда онъ былъ царемъ въ другомъ міріт, —міріт поззіп и искусства? Неужели вы не можете себт представить художника, поэта, безъ того, чтобъ онъ не былъ политикомъ, —вы, германець?

Путешественникъ во время своего разсказа мало-по-малу одушевлялся. Теперь, слушая философа, онъ приняль опять свою

ледяную маску.

— Я вамъ разсказалъ фактъ. Случай показалъ мнѣ Гёте такъ. Не политики, симпатіи всему великому требую я отъ генія. Ве-

ликій человъкъ живеть общею жизнью человъчества: онъ не можеть быть холопень къ сульбамъ міра, къ колоссальнымъ обстоятельствамъ; онъ не можетъ не понимать событій современныхъ,они должны на него дъйствовать, въ какой-бы то формъ нибыло. Сверхъ того, всеобъемлемости человъку не дано, напрасно стремились къ ней Дидро и Вольтеръ. И что можетъ быть изящиве жизни некоторыхъ людей, посвятившихъ все дни свои олному предмету, — жизнь Винкельмана, напримъръ? Посмотрите на это германское дерево, пересаженное на благодатную почву Италіи, на этого грека въ XVIII столътіи, на эту жизнь въ музеумъ н въ свътлой, ясной области изящнаго! Надобно имъть очень дурную душу, то-есть совстыв души не имть, чтобы не придти въ восторгь отъ его жизни. Скажу болбе: я люблю Гоффиана въ питейномъ домъ, но ненавижу пуще всего мистификацію и эгонзмъ. все равно, въ Гёте или въ Гюго. Ужели онъ вамъ нравится придворнымъ поэтомъ, по заказу составляющимъ оды на прівзды и отъбзды, сочиняющимъ прологи и маскарадные стихи?

— Вы забываете, что Гёте жиль въ Германіи, гдѣ доселѣ сохранилось то патріархальное отношеніе между властителями и народомъ, которое служило основою феодализму,—отношеніе, которое, съ одной стороны, заставляло поэта воспѣвать добраго отца семейства, а короля—искать мѣста для скромнаго ордена своего на груди поэта; поэта—праздновать своей лирой торжество властителя, а властителя иллюминовать свой городъ въ день рожденія поэта.

— Извините, я, право, вижу какую-то либеральную arrière pensée въ вашихъ словахъ.

— Напрасно вы принимаете меня за карбонара. Повърьте, мое сердце умъеть биться за Ларошъ-Жаклена, общенаго вандейца, —умъеть сочувствовать старику Малербу, склоняющему главу свою на плаху... Они откровенно одушевлены были любовью къ монархін; они—героц, въ нихъ нътъ мистификацін. Отчего всѣ доселѣ съ восхищеніемъ читаютъ переписку Вольтера съ Екатериной П?—Оттого, что всякій видитъ, что они поняли другъ друга, отдали справедливость, любили другъ друга, — оттого, что душа Екатерины была общирна, какъ ея царство, и душа Вольтера сочувствовала своему вѣку. И отчего же никто не читаетъ стиховъ Гёте на пріѣзды, отъѣзды, разрѣшенія отъ бремени, выздоровленія п т. д.?

— Я не знаю по-русски, но я много слышаль о вашемь Державинь, и именно о томь чувствы искренней преданности, которая доводить его до высочайшаго идеализированія Екатерины. Не зная Державина, я понимаю чувства, одушевлявшія его, понимаю истинность его восторга. Но этой-то истинности и ныть въ Гёте, ея ныть въ большей части его сочиненій, онь паради-

руеть, онъ на сценъ театра при свътъ лампъ, а не на сценъ жизни при свътъ солица... Лафатеръ, увидъвъ въ первый разъ Гёте, не могъ удержаться, чтобъ не сказать: «Я полагалъ, что у васъ совствить не такія черты лица». А Лафатеръ редко ошибался. Читая Гёте, онъ върилъ, что каждая строка его отъ души, и поэтому построилъ въ фантазіи его черты и не нашелъ ихъ въ лицъ его, ибо ихъ не было и въ душъ у Гете, такъ, какъ въ немъ не было ничего восточнаго, несмотря на то, что онъ, насилуя свой мощный геній, написаль "Der West-ostliche Divan", который такъ и лышетъ запахомъ Аллаха, стихами Саади и Низами. Тотъ, кто въренъ себъ, и на челъ, и на устахъ, и во взоръ носитъ отпечатокъ того, чёмъ полны его сочиненія. Какъ часто останавливался я въ Веймаръ передъ бюстомъ Шиллера. Славный Дапнекеръ отвердилъ, такъ сказать, прелестную форму, въ которой обитала прелестная душа. И нътъ возможности Шиллера представить себъ иначе.

— Читайте Гётеву автобіографію, — и вы увидите, что вся жизнь его протекала въ безпрерывныхъ занятіяхъ; тамъ увидите, что онъ пренебрегалъ толпою, —для чего же ему было мистифи-

нировать ее?

— Па. да надобно читать этоть драгоцінный комментарій къ его сочиненіямъ, эту огромную исповъдь эгоизма. Тамъ Гёте весь: тамъ вы увидите, что его «я» поглощаетъ все бытіе; тамъ онъ самъ признается вамъ, какъ въ 1804 году онъ мистифицировалъ m-me Staële, а она его... О, уморительный документь пустоты нашего вѣка!.. Вмѣсто симпатій генія, таланта, славы, этотъ первый мужчина своего въка съ этой первой женщиной встръчаются въ маскахъ, обманываютъ другъ друга. Одинъ представляетъ изъ себя мрачнаго поэта Тевтоніи, мечтающаго о высшемъ мірѣ, и въ душъ смъется; другая представляетъ чувствительное сердце, плачеть о политическихъ событіяхъ, страхъ жалбеть объ убитыхъ, прилаеть себъ виль отчания. — и еще болъе смъется въ душъ. И какъ безжалостно Гёте приводить за кулисы этой комедін! Удивляюсь генію этого человѣка, но любить его не могу... Когда Гёте возвратился изъ Италіи, быль онъ однажды въ большомъ обществъ и, какъ разумъется, въ аристократическомъ обществъ; тамъ собираль онь похвалы и расточаль свои разсказы, придавая огромную важность ветмъ словамъ своимъ и ветмъ поступкамъ. Туть же въ углу сидълъ задумчиво кто-то. Долго и внимательно смотрёль онъ на Гёте своими голубыми глазами, въ которыхъ такъ ярко было написано, что этотъ человъкъ не принадлежитъ землъ и что пуща его груститъ по другому міру, который сознала святая мечта и чистое вдохновеніе. Онъ любиль его за «Вертера» и за «Берлихингена»; онъ нарочно пришелъ, чтобъ увидъть его

и познакомиться съ нимъ. Этотъ кто-то всталъ, наконецъ, и сказалъ: «Съ нимъ мы никогда не сойдемся!»—И знаете ли, что этотъ кто-то былъ никто иной, какъ Шиллеръ?

— Но вспомните, что они послъ сдълались неразрывными

друзьями и любили другъ друга.

— Не върю. Гёте подавилъ своимъ геніемъ и авторитетомъ кроткаго Шиллера, но они не могли искренно любить другъ друга. Я вамъ уже сказалъ, что я готовъ преклонить колъна передъ творцомъ «Фауста», такъ же, какъ готовъ раззнакомиться съ тайнымъ совътникомъ Гёте, который пишетъ комедіи въ день Лейицигской битвы и не занимается біографіей человъчества, безпрерывно занимаясь своею біографіею.

Въ заключение возвращусь къ страшному обвинению, которое вамъ угодно было сдълать послъ моего разсказа: чтобъ я требовалъ отъ Гёте политики, и особенно въ наше время, когда все дышетъ посредственностью, все идетъ къ ней, въ нашъ въкъ, который похожъ на Паскаля,—не на Паскаля всегда (слишкомъ много чести), а на Паскаля въ тъ минуты, когда онъ принималъ

Христову въру по тому, что не отвергалъ ее.

Англійскій корсаръ увезъ съ собою на Беллерофон'в д'ятельное начало нашего в'яка и хорошо сд'ялалъ, — бронзовый бюстъ, доставшійся въ позорныя руки Гудзонъ Ловъ, худо гармонировалъ съ нашими стѣнами подъ мраморъ, съ нашими бюстами изъгииса; для того бюста океанъ и подземный огонь образовали пьедесталъ.

Sagt, wo sind die Vortrefflichen hin, wo find ich die Sänger, Die mit dem lebenden Wort horchende Völker entzückt?.. Doch, noch leben die Sänger, nur fehlen die Thaten die Lyra Freudig zu wecken...

Schiller.

Гёте понялъ ничтожность вѣка, но не могъ стать выше его; онъ самъ осудиль и вѣкъ, и себя, сказавъ: «Древніе искали фактъ, а мы эффектъ; древніе представляли ужасное, а мы ужасно представляемъ»,—тутъ все выражено. Мы восторгаемся для того, чтобы печатать восторги; мы чувствуемъ для того, чтобы изъ чувствъ строить журнальныя статейки; живемъ для того, чтобы писать отрывки нашей жизни, какъ будто дѣйствовать есть что-нибудь низшее, а писать—цѣль человѣка на землѣ; словомъ, мы слишкомъ авторы, чтобъ быть людьми. Знаете ли, какъ генералъ Ламаркъ называлъ нынѣшнее состояніе Франціи?—Hutte dans la boue.

— Върите ли вы въ совершенствование человъка?

— А върите ли вы, что вся природа есть переходъ, исполненный страданія? — спросиль германецъ, быстро взглянувъ на философа.

Философъ улыбнулся.

Разговоръ прекратился. Въ горницъ было душно и я вышелъ на балконъ. Мъсяцъ свътилъ всъмъ лицомъ своимъ и небольшой вътеръ освъжалъ прохлалою и обливалъ запахомъ воздушныхъ жасминовъ. Это была одна изъ тъхъ цяти или шести почей, когла можно въ Москвъ быть на воздухъ, не проклиная ея съверной широты. Что за челов'якъ, думалъ я, этотъ нфиецъ? Нисколько не похожъ онъ на blasés нынъшняго въка, которые сыплютъ насмъшки и ръзкія сужденія, чтобы обратить на себя вниманіе. ругають нынёшній вёкъ и всёхъ великихъ людей, всёмъ недовольны, давая чувствовать, что у нихъ построенъ въ головъ какой-то пантеонъ для всего человъчества, въ то время, какъ у нихъ ничего не построено въ головъ. Отъ него не въяло морознымь хололомъ этихъ лючей... Онъ самъ перервалъ мои мысли, выйня на балконъ. Мнъ весьма хотълось поговорить съ нимъ: но онъ, кажется, вышелъ именно для того, чтобы быть одному. и не говориль ни слова. Отложивъ деликатность въ сторону, я сказаль ему: «Строго осудили вы нашъ въкъ, и я откровенно скажу вамъ, что не могу во всемъ согласиться съ вами. Какой необъятный шагъ сдълало человъчество послъ Наполеона!»

Онъ молчалъ, и еще болъе я замътилъ, что онъ все вниманіе обратиль на луну. Наконець, онъ вздохнуль и, оборотясь ко мив, сказаль: «Я теперь вспомниль предестную ночь, одну изъ самыхъ святыхъ минутъ моей жизни. Года два тому назадъ я жилъ въ Венеціи. Въ мір'є много земель и городовъ, но одна Италія и одна Венеція! Я былъ на балу у эрцгерцога; онъ давалъ его, помнится, по случаю взятія Варшавы. Придворный баль вездів скученъ. Ложный свътъ воска и ложная радость людей нагнали на меня чрезвычайную тоску, — и я ушелъ. Что это за ночь была! Вы меня извините, — ныпътній вечерь одно блюдное подражаніе, даже непохожее; я упивался и луною, и воздухомъ, и видомъ. Левъ Святаго Марка убитъ; но его вдова, красавица Венеція, sara la boignosa (?), все еще также прелестна, также сладострастно илещется въ волнахъ Адріатики. Я бросился въ гондоль къ лагунамъ. Вы, върно, знаете, что тамъ досель встръчаются gondoliery, которые поють стансы изъ Тассо и Аріосто. онинь туть, другой тамъ-далеко... Прежне это бывало часто, теперь Италія начинаеть забывать своихъ поэтовъ. Но въ эту ночь счастіе улыбнулось мив. Издали раздался простой канть, усиливался болье и болье, и я ясно слышаль три последніе стиха, они остались у меня въ намяти:

> Dormi Italia imbriaca, e non ti pesa. Ch' ora di questa gente, ora di quella Che già serva ti fu, sei fatta ancella...

Еще далбе отвѣчали съ другой гондолы слѣдующимъ стансомъ и слабый голосъ, стелясь по волнамъ и смѣшиваясь, и переплетаясь съ ихъ плескомъ, выражалъ и просьбу, и упрекъ. Эта ночь никогда не изгладится изъ моей памяти.

Теперь пришла моя очерель молчать, и я молчать.

- «Но что же будеть далье?»—сказаль я, наконець.
- Знаете ли вы, чёмъ кончилъ лордъ Гамильтонъ, проведя цълую жизнь въ отыскиваніи пдеала изящнаго между кусками мрамора и натянутыми холстами?
 - «Тѣмъ, что нашелъ его въ живой прландкѣ».
 - Вы отвъчали за меня, —сказаль онъ, уходя съ балкона.

Крутицкія казармы. 1834, декабрь. Переписано въ Вяткъв 1836, іюня 20).

Вторая встръча.

Wer nie sein Brod mit Thränen ass, Wer nie die kummervollen Nächte Auf seinem Bette weinend sass, Der kennt euch nicht, ihr himmlichen Mächte.

Göthe, Wilh. Meister's Lehrj.

Холодный ледяной вътеръ дулъ изъ-за Камы. Такъ дышетъ Уральскій хребеть в'ячнымъ льдомъ своихъ вершинь, такъ дыщетъ холодная грудь Сибири на Европу. Кама, широкая и быстрая, муала съ неимовърной скоростью множество тяжело нагруженныхъ судовъ; кое-гдф двигались запоздалыя льдины, поворачиваясь и какъ бы нехотя слъдуя теченію ръки. Порывами вътеръ наносилъ membra disjecta 1) итсенъ бурлаковъ и ихъ громкіе возгласы. Было грустно. Я сид'ыль, закутавшись въ плащъ, на высокомъ берегу. Съ противопожной стороны садилось солнце красное, но холодное. Раны моего сердна были свъжи. Недавно оставиль я родимый городь, хотя давно уже быль оторванъ отъ встахь близкихъ душт моей. Вст подробности 9-го апръля явились въ моемъ воображенія: день свиданія послѣ мрачной разлуки, день разлуки послъ мрачнаго свиданья. Въ этотъ день переломилось мое существованіе... Прощальный поцълуй, облитый слезами, запечативлъ небесной печатью воспоминанія, за кото-

¹ Отрывочные звуки.

рыми пустота и мракъ. Было грустно; мий западобились люди, чтобы разсвяться, люди, —которые мелкимъ нескомъ своихъ словъ могутъ засыпать раны сердца, доколъ порывъ вѣтра не снесетъ его. На дворѣ становилось холоднѣе, Кама почернѣла, барки превратились въ какихъ-то ракообразныхъ животныхъ, съ огромными ребрами; огонь, разложенный на нихъ, казался огненной пастью чудовищъ... Я пошелъ съ тѣмъ, чтобы зайти къ комунибудь изъ знакомыхъ на скорую руку, и зашелъ къ кому-то. Не обращая ни малѣйшаго вниманія на двухъ человѣкъ, бывшихъ въ горинцѣ, я бросился на турецкій диванъ и курилъ сигару.

Разговоръ шелъ безивътный и холодный, какъ всегда между люльми, которыхъ не связывають ни общія иден, ни симпатін души, ни даже привычка. Меня разспрашивали о столиць, мнъ разсказывали о провинціи.—незам'ятно я развлекся. Хозянн'ь грузинъ тъщилъ меня своею ненавистью къ морозу, которая у него á l'oriental доходила до личной вражды. Вдругь ему вздумалось перемёнить тему и на мёсто своей термометрической антипатін разсказывать о томъ, какъ онъ покидалъ отцовскій домъ. Душа моя встрененулась. Холодная маска унала, и я въ пламенныхъ и горячихъ словахъ описываль имъ мое 9-е апраля. Чувства бушевали во мнъ, и радостныя, что нашли отверстіе, лились потокомъ словъ. Я всталъ съ своего мъста и вдругъ взоръ мой встрътился со взоромъ одного изъ тъхъ лицъ, которыхъ я едва замътилъ, входя. Глаза наши столкнулись, и ръчь моя, какъ бы скошенная, остановилась. Мужчина лътъ сорока, въ черной венгеркъ, общитой шнурками, склонивъ голову на руку, опершуюся на диванъ, и крутя другою длинные русые усы, со всёми знаками самаго усиленнаго вниманія смотрідль этимь взоромъ на меня. Грудь его подымалась, ноздри раздувались и крупная слеза тихо катилась по щекъ. Но глаза-теперь вижу ихъ-издавали какой-то свётъ, въ нихъ было что-то отъ иламени молній. Я остановился, и онъ, какъ бы обиженный, грубо обращаясь ко мнъ, сказалъ: «Продолжайте». Мы помънялись взоромъ, и я, чувствуя, что понять, продолжать еще съ большимъ одушевленіемь. Когда кончиль я, онъ всталь, прошель раза два по горницъ, приблизился ко мнъ и, прямо смотря въ глаза, сказалъ: «Мы—друзья!»—«Друзья!»—отвѣчалъ невольный голосъ изъ моей груди, какъ эхо на его вызовъ, какъ инструментъ, невольно издающій звукъ, взятый на другомъ. Потомъ онъ сѣлъ на старое мъсто и принялъ неподвижную фигуру статуи; лицо его сдълалось мрачно, длинные волосы падали на глаза, и онъ не поправляль ихъ, молчалъ и, можетъ, въ мысляхъ перебиралъ свое 9-е апръля. Пора было идти домой. Онъ проводилъ меня съ хозянномъ до дверей, сжалъ мий руку и сказалъ: «Первый лучъ солниа послѣ долгой зимы!»—«Да,—подхватилъ грузинъ, не понимая его словъ,—нынче первый ясный день съ августа мѣсяца. Ужасно! Морозы доходили до 45°». Я ушелъ. Незнакомецъ занималъ меня безпрерывно; я не зналъ, ни кто онъ, ни что онъ, но многое понялъ, догадался. Исторія его сердца должна быть ужасна, но его сердце должно быть высоко. Приготовленія къ дорогѣ, мелочи, хлопоты заставили на время забыть незнакомца. На другой день къ ночи напобно было ѣхать.

Въ самый день отъёзда меня пригласили на большой обёдъ къ одному богачу, и я пошедъ, чтобы взглянуть на beau monde того края. Провиниія запечатл'ьла весь этоть домъ, и хозяннъ въ яхонтоваго цвъта фракъ, съ непомърной величины Анною на шеъ и съ волосами, вгладь вычесанными, такъ же не годился въ модную гостиную, какъ его кресла изъ пъльнаго краснаго дерева, тяжеле 10-фунтоваго орудія, и украшенныя позолоченою різьбою въ виді раковинъ и выгнутыхъ листьевъ... Попарно и съ какимъ-то благоговьніемъ шли въ столовую, гдь дожидался столь длинный. узкій, изогнутый глаголемь. Поскорбе подаль я руку какой-то барышну, которой никто не даеть руки ни къвунцу, ни къ объду. и замкнулъ процессію. Толпа лакеевъ въ сюртукахъ, съ часами на бисерныхъ шнуркахъ, въ пестрыхъ галстукахъ, суетились подъ предводительствомъ дворецкаго, который своею дебелостью доказываль, что ему идеть на пользу дозволение всть съ барскаго стола остатки. Толна мальчишекъ, всѣ въ разныхъ костюмахъ, но не вет въ сапогахъ, мъшали имъ и дрались изъ-за чести, кому за къмъ стоять, не имъя понятія, что мъстничество уничтожено. Но оно и не уничтожено въ провинцін. Провинція см'іло можеть похвастать порядкомъ распредбленія м'єсть за об'єдомъ. это статья изъ адресъ-календаря. Туть-то вполнъ узналъ я, что значить председатель уголовной палаты, которому губернаторъ предлагаеть, и совътникъ губернскаго правленія, которому губернаторъ предсидательствуеть, и земскій исправникъ, которому губернаторъ повелюваето, наконецъ, что такое прокуроръ, партизанъ никому не подчиненный, кромѣ Бога и министра юстиціи. о которомъ губернаторъ даже не аттестуетъ и который губернатору говорить «вы». Такъ все въ провинціи отнесено къ губернатору, понятно, онъ-центръ, остальное — периферіи; онъсолнце, остальное-созв'яздія; словомъ, онъ-необходимая координата, безъ которой нельзя составить уравненія этихъ безконечно малыхъ величинъ. Главное дъйствующее лицо за объдомъ былъ докторъ, сорокъ лѣтъ тому назадъ забывшій медицину, которой учился пятьдесять лізть тому назадъ въ Геттингент, но твердо номнящій вст филистерскія затым. Онъ побхаль въ Россію съ твердымъ убъжденіемъ, что въ Москвъ по улицамъ ходятъ мед-

въди, и, запесенный сюда ивмецкой страстью пытать счастье по всему бълому свъту, остался дожидаться, пока разстройство животной экономій и засореніе vasorum absorbentium превратить его самого въ соръ. Этотъ старикъ, весьма веселый и очень маленькій ростомъ, илъщивый и съ быстрыми глазами, острилъ надо вейми, шутилъ, отпускалъ вольтеровскія замічанія, дивилъ своимъ матеріализмомъ, смѣшилъ своими двусмысленностями. Его вет любили, и онъ ветхъ любилъ. Па и какъ было ему не любить всёхъ? Это поколеніе родилось, выросло, занемогло, выздоровьло при немъ, отъ него: онъ не только зналъ ихъ наружности, но зналъ ихъ внутренности и l'amour de la science заставило любить ихъ. Второе лицо былъ какой-то флотскій капитанъ, который, по несчастію, сидёль возл'є меня и поймавъ новаго человѣка, тѣмъ голосомъ, которымъ кричатъ съ палубы на мачту, разсказываль мив весь обыть, продолжавшійся три добрыхь часа, какъ онъ минутъ двадцать тонулъ у Алеутскихъ острововъ, со всѣми техническими выраженіями, которыя живуть на кораблѣ и приндывають къ материку только въ романахъ Сю и въ повъстяхъ Бестужева. Онъ душевно жедаль, чтобы путь мой былъ въ Березовъ, габ живетъ отставной мичманъ Филиппъ Васильевичъ, который быль свидътель этого происшествія и могь мив прибавить то, чего онъ не помнить, ибо быль безъ памяти нъсколько времени. Я съ пронической улыбкой поблаголариль его за желаніе. Еще кто быль за столомь? Наливки изъ всёхъ растеній, оканчивающихъ ягодою свой цвътъ, старое французское и—place au grand' homme—шампанское, которое лилось не по столичному въ узенькіе бокалы, а въ стаканы, и пребольшіе. Наконецъ, пережиль я объдъ. Всъ торонниво бросились за карты, кромъ доктора, который свято исполняль однажды возложенныя на себя гигіеническія правила: долженъ былъ послів об'єда 25 минутъ ходить по горинцъ для пищеваренія.

Я обнять хозяина, который съ искрепней добротой пожелалъ миъ счастливаго пути, и вышелъ на улицу, улыбаясь и приводя на намять всъ пустые разговоры, которыхъ былъ свидътелемъ. Время было хорошо; хотълось походить, и я отправился на бульваръ, идущій отъ Московской заставы до Сибирской. Бульваръ этотъ превосходенъ. Обхватывая полгорода съ наружной стороны, онъ простирается версты на три: огромныя, толстыя березы, прямыя и вътвистыя, отдъляють его съ одной стороны отъ города, съ другой—отъ общирнаго поля, и чугунныя заставы, какъ черные колоссальные латники, стерегуть его съ объихъ сторонъ. Скупа природа того края: зелень едва видиълась и кое-гдъ вещніе цвъты—блъдные, слабые недоноски, долженствующіе умереть отъ холодныхъ утренниковъ. Несмотря на это, какой-то человъкъ

гербаризпровалъ. Тотчасъ узналъ я вчерашняго незнакомца и пошелъ къ нему. Онъ такъ былъ занятъ своей работой, что долго не замъчалъ меня. Я взялъ его за руку и онъ съ видомъ сильной радости сказалъ, оборачиваясь:

- «Итакъ, мивеще суждено видеть васъ! Благословляю нашу вчерашнюю встречу. Вотъ уже два года не слыхалъ я человеческаго голоса, а вчера ваши слова, какъ симфонія Бетховена, какъ пъснь родины, пробудили мою душу. Вы помирили меня съ людьми, высказывая чувства, которыя бились и въ моей груди... Два года—много времени, и все чужое, кромѣ природы; мы съ нею вдвоемъ и понимаемъ другъ друга. Какъ звученъ языкъ ея и какъ утѣшителенъ! Я всякій день бываю на этомъ полѣ,— я люблю его. Мы—старые знакомые. Вотъ этотъ монтодонъ уже третьяго дня распустился и два раза видѣлись мы. Люблю природу! Говоря съ нею, я отвыкъ отъ человѣческаго языка, а вы миѣ напомнили его. Прелестенъ и онъ, когда выходитъ изъ самаго сердца, когда не запыленъ...» Онъ пріостановился.
- «Вы, върно, много страдали, —сказалъ я, —върно, очень несчастны?»
- -«Па. я много страдаль, по не несчастень: несчастны они въ своемъ счастін, а мы счастливы! Съ гордостью смотрю я на лушу мою, всю въ рубцахъ отъ гоненій и бълствій, ибо совъсть моя чиста. ибо я, какъ воинъ, ни разу не бъжалъ съ ноля несчастія. И вотъ я заброшенъ сюда и безъ куска хлёба, а все тотъ же, какъ былъ. Они ничего не отняли у меня, — душа осталась. Да неужели вы не чувствовали особой сладости страданій высокихь, страданій за пстину? Правда, иныя минуты доводять до отчаянія. Я помню, когда меня оторвали отъ моей жены во время ся родовъ и какъ она — одна безъ помощи служанки, покинутая встми-мучилась смертельною болтанью. Холодный потъ выступаетъ, когда подумаю... Но Богъ печется объ несчастныхъ.—она выздоровѣла. Теперы я безъ куска хлѣба, а былъ богать; бѣдность гнететь иногда, но душа стала выше этихъ предразсудковъ. И можно ли за одно чистое, святое наслаждение созерпательной минуты взять цілую жизнь, спокойную п безмятежную, этой толны, которую ничто не гръеть, ничто не влечеть?.. Часто сажусь я воть на этой горф и перебираю жизнь мою. Какъ ярко напечатлены въ памяти минуты поэтическихъ восторговъ, когла луша, вырываясь изъ цѣией, парила! Эти минуты свѣтять, подобно форосу, по болотистому пути жизни. А мгновенія, когда я услышалъ первое слово любви, --это мощное слово, которое одно можеть нересоздать человъка,—не выкупили ли они впередъ всъ несчастія!... Въ шестнадцать лътъ схватили меня волны и умчали, крутя, въ какой-то bufere infernal. И я, подобно моряку, приставшему

на безплодный утесъ, вспоминаю вст бури, вст волны, бившія о мой корабль, и благодарю провидение, что спасло меня, забывая потери. Счастіе—слово безъ смысла въ нечистыхъ устахъ толны. Иля чего счастіе челов'яку, опаренному дунною высокой, которая внутри себя найдеть блаженство? И когда же были счастливы становившіеся выше узкихъ рамъ, которыми сковались ничтожные люди? Итицы небесныя имбють гибэда и лисы—язвины, убъжище, но Сыпу человъческому негдъ главы преклонить. И развъ Онъ счастіемъ манилъ учениковъ? Развѣ счастіе оставилъ имъ въ наслъдство?-- Нътъ, крестъ! И съ радостію взяли они это наслътство и понесли крестъ Его... Никогда человъкъ въ счастін не узнаеть всей глубины поэзін, въ его душі лежащей; но страданія, вливая силы, разверзнуть цёлый океань ощущеній и мыслей. Когда Данте былъ въ раю? Торжествун ли въ своей Firenze, или будучи въ ссылкъ, «испытывая горечь чужого хлъба и крутизнучужихъ лъстницъ»? Иной всю жизнь провель бы, не зная сокровенныхъ областей души своей, и она не вышла бы изъ своей хризолиды, — такъ искусно толпа умфетъ подавить, задушить чувство лаже въ пругомъ. Но его поражаетъ несчастіе, и душа вспорхнеть, отрясеть прахъ земной, вздетить къ небу. Одна мыслы: я перенесь это — исполняеть гордостью и наслаждениемь. Человъкъ, не согнувний выю свою передъ обстоятельствами, выдержавшій твердую борьбу съ ними, можетъ сознать свое достопнство и посмотръть на людей тъмъ взоромъ, которымъ смотрълъ Марій съ развалинъ Кареагена на Римъ и Наполеонъ изъ Лонгвуда на вселенную. Да, одна мысль эта достаточна, чтобы вознестись надъ толною, которая такъ боится всякихъ ощущеній п лучше соглашается жить жизнію животнаго, нежели теритть несчастія, сопряженныя съ жизнію человѣка...»

Слова незнакомца нашли отзывный звукъ въ моемъ сердцъ. Долго говорили мы. Наконецъ, пора мнъ было собираться въ дорогу.

— «Вамъ не нужно совътовъ: душа ваша не померкнетъ», — сказалъ онъ.

«И если она изнеможеть, возразиль я, подъ ударами судьбы, придеть въ отчаяніе, я вспомню васъ и покраснью за свою слабость». Онъ плакаль.

— «Зачёмъ вы ёдете? Я останусь опять въ моемъ одиночестве... Здёсь сердца холодны, какъ руды изъ Уральскаго хребта, и также жестки. Но сладостно будетъ мнё воспоминаніе нашей встрёчи».

Я бросился въ его объятія и не могъ вымодвить слово благодарности. Онъ сняль чугунное кольцо съ руки и, подавая миъ, сказаль: — «Не бросай его. Ты молодъ, твоя судьба еще перемънится, страданія не подавятъ твоей души. Но ты, можетъ, будешь счастливъ... Тогда береги свою душу; тогда, взглянувъ нечаянно на это кольцо, вспомни нашъ разговоръ». Я былъ тронутъ до крайности, взялъ его кольцо, отстегнулъ запонку съ своей груди и молча подалъ ему.

— «Со мною до гроба», —сказалъ онъ.

Мы разстались и болъе я никогда не видалъ его.

Черезъ часъ кто-нибудь изъ гуляющихъ по тому же бульвару могъ видёть быстро промчавшуюся коляску на почтовыхъ, съ лихимъ усачомъ въ военной шинели на козлахъ, который, безпрерывно поправляя пальцемъ въ своей трубкѣ, погонялъ ямщика.

Въроятно, прохожій остановился; но, когда затихъ колокольчикъ, унялась пыль,—спокойно продолжать свою прогулку 1).

Вятка. 1836, марта 10.

^{— 1)} Въ концѣ статьи сдѣлана приписка: «Посвящено барону Упсальскому ...

— Примвч. издат.

Это было 22-го октября, 1817 г.

T.

Въ большой залъ, мертвой, какъ кладбище, сидътъ на окнъ мальчикъ лътъ инти. Елъдной цвътъ лица, маленькой ростъ, нъжность и хрупкость (grêle) членовъ показывали слабую, болъзненную организацію; но черты его лица были ръзки, и ребячьи глаза искрились огнемъ. Есть дътскія лица, которыя явственно пророчатъ всю будущую жизнь ихъ. Смотря на мальчика, сидъвнаго на окнъ, навърное можно было ему предсказать рядъ страданій, навърное можно было предсказать, что грубыми руками люди захватаютъ, погнутъ, сломаютъ нъжной сосудъ этотъ, сосудъ сильной мысли и сильнаго чувства, и что онъ рано уйдетъ на родину обиженной, оскорбленной, ежели Богъ не подастъ ему руку помощи. И также навърное можно было предсказать, что Богъ эту руку помощи подастъ, потому что онъ никому не отказываетъ, потому что и весь міръ матеріальной ничто иное, какъ рука помощи падшему ангелу.

Мальчикъ задумчиво смотрълъ на небо, можетъ, безъ всякихъ мыслей; можетъ, игривой, пестрой мечтой своего возраста, маленькой Сведенборгъ представлялъ себъ хрустальные домы ангеловъ

съ множествомъ цвътовъ, съ райскими итицами.

H.

А съ неба смотрѣлъ на мальчика Духъ жизни, благодатной путеводитель каждаго смертнаго, всего рода человѣческаго и всей вселенной по стезѣ, начертанной провидѣніемъ. Рои свѣтоносныхъ ангеловъ летали около него. Горестно смотрѣлъ Духъ. — «Жаль мнѣ тебя, молодой гость земли, мало тъла досталось на твой удѣлъ и много души. Толиу страданій обрушитъ на тебя огненной нравъ твой, а нѣтъ въ тебѣ мощной силы, которую вѣрнымъ щитомъ можетъ человѣкъ противоноставить врагу. Странникомъ

будешь ты скитаться между людей, они тебя не признають за родного, а родины не найти тебѣ самому. Огонь въ твоихъ глазахъ — не лазоревой свѣтъ неба, а пурпуръ земного пламени. Мысль гордая унесетъ тебя, какъ дикій конь, а люди бросятъ камни на дорогу, о которые ты разобьешься».

Одинъ изъ ангеловъ, изливавшій кроткое, нѣжное сіяніе, задумался и свѣтилъ голубымъ взоромъ своимъ на мальчика, который между тѣмъ засыналъ.

Духъ обратился къ ангелу и продолжалъ:

— «Среди ужасной бури родился онъ: одинъ изъ разрушающихъ, допотопныхъ переворотовъ, какъ отчаянное усиліе противъ гармоніи и просвътленья, мечомъ и огнемъ пробъгалъ по землъ. Онъ протяпулъ руку изъ колыбели, и непріятельской воинъ, буйной и пьяной, схватилъ за нее; онъ ступилъ на землю и маленькая нога его обагрилась кровью человъческой. Въ сырую осеннюю почь лежалъ онъ на мостовой; море огня, пожиравшее огромной городъ, едва могло отогрътъ посинъвшіе члены младенца, искры сыпались на него, конскія копыты дотрогивались, онъ былъ голоденъ и не могъ кричать, изнуренная грудь матери не имъла для него капли молока. Жизпь начипала тухнуть, ночь распространялась передъ глазами малютки. Я спасъ его, но спасъ тълесно. Душа наслъдовала что-то и отъ бури, и отъ пожара, и отъ крови».

Ангелъ не спускалъ глазъ съ спящаго ребенка, болъзненное выражение стало еще замътнъе, лихорадочныя движения пробъгали по немъ, казалось, что-то чудовищное стоитъ передъ нимъ и стращаетъ его.

«Жаль мив малютку!» сказаль ангель съ первою слезою на ввино радостномь окв.

- -- «Спаси его
- «О, я готовъ!»
- «Но помни. Законы непэмѣнны, путь спасенія всему падшему показанъ: онъ тотъ же для вселенной, для человѣчества и для одного человѣка. Двухъ огромныхъ жертвъ требуетъ онъ: земной жизни и страданія. А какъ утомительна эта жизпь въ оковахъ тѣла, эта зависимость отъ стихій! А какъ жгучи эти земныя несчастія съ ядомъ на губахъ, съ заразой въ дыханіи...»

«Все перенесу, мив жаль падшаго брата, я вижу на челв его не совсемъ стертую печать красоты Люцифера, той красоты, которою онъ увлекъ толны ангеловъ. Какъ хорошъ былъ Люциферъ до своего паденія съ пурпуровымъ свътомъ своимъ, съ высокой, необъятной мыслыю. Ребенокъ этотъ какъ-то напоминаетъ его черты; о, я люблю его, лишь бы благословилъ меня отецъ, и я привелъ бы его въ родительской домъ, домъ радости и молитвы;

чьмы больше страданій, чьмы больше трудностей, тьмы чище бучеть оны!»

— «И такъ да будетъ!»—воскликнулъ Духъ, осѣнивъ ангела таинственнымъ знакомъ. Вдругъ тѣсно стало ему, грудь взволновалась, прозрачная мысль отуманилась, сонъ, неизвѣстный жителямъ неба, оковалъ его, ему казалось, что онъ падаетъ, было душно... онъ пересталъ себя понимать... исчезъ.

III.

Шаги послышались въ ближней комнатѣ, блѣдной мальчикъ проснулся. Уже смерклось. Онъ взглянулъ на небо — лазоревая звъзда низверглась съ быстротою молнін на землю. Ему жаль стало звѣздочки.

Растворилась дверь. Женщина прелестная собой взошла со свъчею въ залу:

«Александръ! Александръ! гдъ ты?»

— Я здѣсь, maman,—отвѣчалъ Александръ.

«Куда ты это спрятался? Я тебъ скажу радость: у тебя родилась маленькая сестрица».

Глаза ребенка сверкнули, будто онъ понялъ всю высокую мистерію этого рожденія.

— Въдь дъти съ неба? — спросилъ онъ.

«Да, ихъ Богъ даетъ».

- Такъ эта свътлая звъздочка, которая сейчасъ упала, дожно быть и есть моя сестра?
 - «Дитя!» сказала мать, улыбаясь.

А писано 22 октября, 1837 года, Вятка.

Записки одного молодого человѣка.

Вступленіе.

Твое предложеніе, другь мой, удивило меня. Нѣсколько дней я думаль о немь. Въ эту грустную, томную, безцвѣтную эпоху жизни, въ этоть болѣзненный переломь, который еще, Богь-вѣсть чѣмъ, кончится, «писать мон воспоминанія». Мысль эта сначала пспугала меня; но когда мало-по-малу образы давно-прошедшіе наполнили душу, окружили радостной вереницей, — мнѣ жаль стало разстаться съ ними, и я рѣшился писать, для того, чтобъ остановить, удержать воспоминанія, пожить съ ними подольше; мнѣ такъ хорошо было подъ ихъ вліяніемъ, такъ привольно... Сверхъ того, думалось мнѣ, пока я буду писать, подольется вешняя вода и смоеть съ мели мою барку.

А странно! Съ начала юности искалъ я дёятельности, жизни полной; шумъ житейскій маниль меня; но едва я началь жить. какая-то bufera infernale завертьла меня, бросила далеко отъ людей, очертила кругъ дъятельности карманнымъ циркулемъ, велъла сложить руки. Мнъ пришлось въ молодости испытать отрану стариковъ: перебирать былое и вийсто того, чтобъ жить въ самомъ дълъ, записывать прожитое. Цълать нечего! Я, вздохнувши, принялся за перо; но едва написалъ страницу, какъ мнъ стало легче; тягость настоящаго делалась менфе чувствительна: моя веселость возвращалась; я оживаль самъ съ прошедшимъ: разстояніе между нами исчезало. Моя работа стала мнѣ нравиться, я увлекался ею и, какъ комаръ Крылова, «изъ Ахиллеса сталъ Омиромъ»; и почему же нътъ, когда я прожилъ свою Илліану?.. Целая часть жизни окончена; я вступиль въ новую область; тутъ другіе нравы, другіе люди: почему же не остановиться, перейдя межу, пока пройденное еще ясно видно? Почему не проотиться съ нимъ по-братски, когда оно того стоитъ? Каждый день насъ отдаляетъ другъ отъ друга, а возвращенія нѣтъ. Моя тетрадка будеть надгробнымъ памятникомъ доли жизни, канувшей въ въчность. Въ ней будеть записано, сколько я схоронилъ себя. Но скучна будетъ Илліада челов'вка обыкновеннаго, ничего несовершившаго, и жизнь наша течетъ теперь по такому прозаическому, гладко-скошенному полю, такъ исполнена благоразумія и осторожности, etc., etc. — Я не върю этому; нътъ, жизнь столько же разнообразна, ярка, исполнена поэзін, страстей, коллизій, какъ житье-бытье рыцарей въ среднихъ въкахъ, какъ житье-бытье римлянъ и грековъ. Да и о какихъ совершеніяхъ идетъ ръчь? Кто жилъ умомъ и сердцемъ, кто провелъ знойную юность, кто человъчески страдалъ съ каждымъ страданьемъ и сочувствовалъ каждому восторгу, кто можеть указать на нее и сказать: «вотъ моя подруга», на него и сказать: «воть мой другь», -- тоть совершиль кое-что. «Каждый человекъ», говорить Гейне, «есть вселенная, которая съ нимъ родилась и съ нимъ умираетъ; подъ каждымъ надгробнымъ камнемъ погребена целая всемірная исторія», и исторія каждаго существованія имбеть свой интересъ. Это понимали Шекспиръ, Вальтеръ-Скотть, Теньеръ, вся фламандская школа. Интересъ этотъ состоитъ въ зрѣдищѣ развитія духа подъ вліяніемъ времени, обстоятельствъ, случайностей, растягивающихъ, укорачивающихъ его нормальное, общее направленіе.

Какая-то тайная сила заставила меня жить; туть моего мало. Для меня избрано время, въ немь мое владѣніе; у меня нѣть на землѣ прошедшаго, ни будущаго не будеть черезъ нѣсколько тѣть. Откуда это тѣло, крѣпости котораго удивлялся Гамлетъ,— я не знаю. Но жизнь — мое естественное право; я распоряжаюсь хозяиномъ въ ней, вдвигаю свое «я» во все окружающее, борюсь съ нимъ, раскрываю свою душу всему, всасываю ею весь міръ, переплавляю его какъ въ горнилѣ, сознаю связь съ человѣчествомъ, съ безконечностью,—п будто исторія этого выработыванія отъ ребяческой неносредственности, отъ этого покойнаго сна на лонѣ матери, до сознанія, до требованія участія во всемъ человѣческомъ, до самобытной жизни — лишена интереса. Не можеть

быть! Но довольно:

> Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten, Die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt; Versuch ich wohl euch diesmal festzuhalten?

Съ восхищениемъ переживу я еще мон 25 лътъ, сдълаюсь опять ребенкомъ съ голой шеей, сяду за азбуку, потомъ встръчусь съ нимъ тамъ, на Воробьевыхъ горахъ, и упьюсь еще разъ

вежмъ блаженствомъ первой дружбы; и тебя вепомню я, «старый домъ»: 1)

Въ отой комнаткѣ—счастье былое, Дружба родилась и выросла тамъ, А теперь запустѣнье глухое, Паутины висятъ по угламъ.

Потомъ и вы, товарищи аудиторіи, окружите меня, и съ тобою, мой ангель, встрьчусь я на клатбишь...

О, съ какимъ восторгомъ встрѣчу я каждое воспоминаніе... Выходите-жъ изъ гроба. Я каждое прижму къ сердцу и съ любовью положу опять въ гробъ...

Владиміръ на Клязьмѣ. Весной 1838.

T.

Ребячество.

Das Hœchste was wir von Gott und der Natur erhalten haben ist das Leben. . . Goethe.

До пяти лътъ я ничего ясно не помню, ничего въ связи... Голубой полъ въ комнаткъ, гдъ я жилъ; большой садъ и въ немъ множество воронъ. Идучи въ садъ, надобно было проходить сарай: туть обыкновенно сидъль кучерь Мосей съ огромной бородой. который ласкаль меня и на котораго я смотрёль съ какимъ-то подобострастіемь; съ нимь, кажется, ни за какія блага въ мірѣ я не рышился бы остаться наединь. Тогда при мнь уже была M-me Proveau, которая водила меня за руку по лѣстницѣ, занималась монмъ воспитаніемъ и, сверхъ того, по дружбі, въ свободные часы, присматривала за хозяйствомъ. Еще года два-три наполнены смутными, неясными воспоминаніями; потомъ мало по малу образы ясньють, какъ деревья и горы, изъ-за тумана выръзываются мелкія подробности дътства и крупныя событія, о которыхъ вей говорили и которыя дошли даже до меня. Помню смерть Наполеона. Радовались, что Богь прибраль это чудовище, о которомъ было предсказано въ апокалипсисъ; проницательные не вфрили его смерти; болбе-проницательные увбряли, что онъ въ Грецін. Всёхъ больше радовалась одна богомольная старушка, скитавшаяся изъ дома въ домъ по бъдности и не работавшая по

¹⁾ Огаревъ «Старый домъ» написалъ въ 1840 году. Стихи оти прибавилъ я, отдавая Бълинскому статью въ концъ сорокового года.

А. И. Герценъ, т. І.

благородству,—она не могла простить Наполеону пожаръ въ Звенигородъ, при которомъ сгоръли двъ коровы ея, связанныя съ нею нъжнъйшей дружбой. Разсказами о пожаръ Москвы меня убаюкивали; сверхъ того, у меня были карты, гдъ на каждую букву находилась каррикатура на Наполеона съ острыми двустишіями, напримъръ:

Шпрокъ французъ въ плечахъ, ничто его нейметъ, Авось-либо моя нагайка зашибетъ.

и съ еще-болъе острыми изображеніями, напр. Наполеонъ вдетъ на свиньъ, и проч. Мудрено ли, что и я радовался смерти его?— Помню умерщвленіе Коцебу. За что Зандъ убиль его, я никакъ не могь понять, но очень помню, что пламянникъ М-те Proveau, гезель въ аптекъ на Моросейкъ, отъ котораго всегда пахло ребарбаромъ съ розовымъ масломъ, человъкъ отчаянный и ученый, приносилъ картинку, на которой былъ представленъ юноша съ длинными волосами, и разсказывалъ, что онъ убилъ почтеннаго старика, что юношъ отрубили голову, и я очень экалълъ, ра-

зумпется, юношу.

Я быль совершенно одинь; игрушки стали скоро мнѣ надоъдать, а ихъ у меня было много: чего-чего не дарилъ мнъ дядюшка! И кухню, въ которой готовился недёли три обёдъ, готовился бы и до сего дня и часа, ежели-бъ я не отклеилъ задней стѣны, чтобъ подсмотрѣть секреть, п избу, покрытую мохомъ, въ которой обиталъ купидонъ, весь въ фольгъ, и lanterne magique, занимавшій меня всего болье.... Воть является на стынь яркое пятно и больше ничего; надумаешься туть, —что-то явится въ этихъ лучахъ славы и вогнутаго стекла... Вдругъ выступаетъ слонъ, увеличивается, уменьшается, точно живой; иной разъ пройдеть вверхъ ногами, чего живому слону и не сдёлать; потомъ Давидъ и Голіаоъ дерутся и двигаются оба вм'єсть; потомъ арапъ, черный какъ моська Карла Ивановича, камердинера дядющки (п она уже умерла, бъдная Крапка!). Весело было смотръть на такое общество и вверхъ головою и вверхъ ногами. Но не доставало важнаго пополненія: некому было мнѣ показать его, и потому я часто покидаль игрушки и просиль Лизавету Ивановну чтонибудь разсказать, смиренно садился на скамеечку и часы цълые слушаль ее съ самымъ напряженнымъ вниманіемъ. Молчаливость не принадлежала къ числу добродътелей M-me Proveau: она не заставляла повторять просьбу и, продолжая вязать свой чулокъ, начинала разсказъ. Вязала она безпрестанно. Я полагаю, если бы сшить вм'яст'в все связанное ею въ 58 л'ять, то вышла бы фуфайка, ежели не шару земному, то лунь (ей же и нужнье для ночныхъ прогулокъ). Дай Богъ ей царство небесное! Недолго

пережила она Наполеона и умерла такъ же налеко отъ своей родины, какъ онъ-только въ другую сторону. Но что же она миъ разсказывала? Во-первыхъ — это была ея любимая тема — какъ покойный мужъ ея былъ какимъ-то метр-д'отелемъ въ масонской ложъ: какъ она разъ зашла туда: все обтянуто чернымъ сукномъ, а на столь лежить черепъ на двухъ шнагахъ... Я дрожалъ, какъ осиновый листь, слушая ее. На стънахъ висять портреты, и ежели кто изменить, стреляють въ портреть, а оригиналь падаеть мертвый, хотя бы онъ быль за тридевять земель, въ трипесятомъ государствъ. Потомъ разсказывала она интересные отрывки изъ исторіи французской революціи: какъ онять-таки покойный сожитель ея чуть не попаль на фонарь, какъ кровь текла по удинамъ, какіе ужасы ділаль Робеспьерь; п отрывки изъ собственной своей исторіи: какъ она жила при детяхъ у одного пом'вщика въ Тверской губерніи, который ув'єриль ее, что у него по саду ходять медвёди. «Ну, воть, я и пошла разъ уфъ садъ; клешу, клешу, идетъ медвъдь престрашучій... Я только ахъ! и въ обморокъ, а почтенный сожитель чуть не выстрелиль въ медвъня: кажется, за тъмъ дъло стало, что съ нимъ не было ружья; а мелвёть быль камеринерь барина, который велёль ему надіть шубу шерстью вверхъ». Господи, какъ нравились миз разсказы эти... Я ихъ послё искалъ въ «Тысячь-Одной Ночи»—и не нашелъ.

Въ русской грамотъ мы оба тогда были недалеки: съ тъхъ норъ я выучился по толкамъ, а Лизавета Ивановна умерла и можетъ

поучиваться изъ первыхъ рукъ у Кирилла и Менодія.

Однако горестное время ученія подступило. Разъ вечеромъ, батюшка говориль съ дядюшкой, не отдать ли меня въ пансіонъ. Фу!.. Услышавъ это ужасное слово, я чуть не умеръ отъ страха, выбъжать въ дъвичью и горько заплакалъ: ночью просыпался, осматривался, не въ пансіонъ ли я, и старался увърить себя, что страшное слово только приснилось. Впрочемъ, батюшка рѣшился восинтывать меня дома. И воспитанье мое началось, какъ разумъстся, съ французской грамоты. М-г Bouchot — первое лицо, являющееся возлѣ Лизаветы Ивановны въ дѣлѣ моего восинтанія; велъдъ за нимъ выступаетъ Карлъ Карловичъ 1). M-r Bouchot быль французь изъ Меца, а Карлъ Карловичъ измецъ изъ Саренты и училь музыкъ. Параллель этихъ людей не безъ занимательности. Мужчина высокаго роста, совершенно илъшивый, кром'й двухъ, трехъ пасмъ волосъ безконечной длины на вискахъ, въчно въ синемъ фракъ толстаго сукна, на стаметовой подкладкъ,таковъ быль M-r Bouchot; важность отпечатл ввалась не только

 $^{^{1})}$ Нванъ Ивановичъ ∂ къ. Онъ давать долго уроки моему брату, но на меня имѣтъ очень мало вліянія. Портреть его вѣренъ.

въ каждомъ поступкъ его, но въ каждомъ движенія (онъ кланялся ногами, улыбался одной нижней губой); голова у него ни разу не гнулась съ тъхъ поръ, какъ перестали его неленать, а это было очень давно, лътъ полтораста тому назадъ. Ко всему этому надобно прибавить французскую физіономію конца прошлаго въка, съ огромнымъ носомъ, нависшими бровями, одну изъ тъхъ физіономій, которыя можно видъть на хорошихъ гравюрахъ, представляющихъ народныя сцены временъ федераціи. Я боялся Бушо, особенно сначала. Карлъ Карловичъ былъ тоже высокъ, но такъ тонокъ и гибокъ, что походилъ на развернутый англійскій футъ, который на каждомъ дюймъ гнется въ объ стороны; фракъ у него былъ сърснькій, съ нерламутровыми путовицами; панталоны черные, какой-то непонятной допотопной матеріи: они смиренно прятались въ сапоги à la Souvaroff, съ кисточками, и ихъ онъ выписывалъ изъ Сарепты; онъ свободно бралъ своими сухими, едва обтянутыми сморщившейся кожицей нальцами около двухъоктавъ на фортепьяно. Им'вя такой р'вшительный талантъ, мудрено ли, что Карлъ Карловичъ посвятилъ себя мусикійскому игранію? Карлъ Карловичь провель свою жизнь въ чистъйшей правственности; это было одно изъ тъхъ тихихъ, кроткихъ нъмецкихъ существъ, исполненныхъ простоты сердечной, кротости и смиренія, которыя, неузнанныя никъмъ, но счастливыя въ своемъ маленькомъ кружочкъ, живуть, любять другь друга, играють на фортецьяно и умирають тихо, кротко, какъ жили. Онъ былъ женатъ въ незапамятныя времена; я пилъ малагу на волотой свадьот его, и право, старичекъ и старушка любили другъ друга, какъ въ медовый мъсяцъ.

Изъ сказаннаго можно себъ составить понятіе о Карлъ Карловичъ: это лицо изъ легендъ реформаціи, изъ времени пуританизма во всей чистотъ его. И Бушо былъ человъкъ добрый, такъ точно, какъ лошадь — звърь добрый, по пнетинкту, и къ нему, однако, какъ къ лошади, не всякій рёшился бы подойти ближе разм'тра ноги и копыть. Онъ убхаль изъ Парижа въ самый разгаръ революціи, и, припоминая теперь его слова и лицо, я воображаю, что citoyen Bouchot не былъ лишнимъ или празднымъ ни при взятін Бастиліи, ни 10 августа; онъ обо всемъ говорилъ съ пренебреженіемъ, кромѣ Меца и тамошней соборной церкви; о революціп онъ почти никогда не говорить, но, какъ-то грозно улыбаясь, молчаль о ней. Холостой, серьезный, важный, онъ со мной не тратилъ словъ, спрягалъ глаголы, диктовалъ изъ les lncas de Marmontel, разстанавливалъ accent grave и aigu, отмъчалъ на полъ сколько ошибокъ, бранился и уходилъ, опираясь на огромную сучковатую палку; его никто никогда не биль і).

¹⁾ Это окончаніе искажено цензурой. Я заключаль очеркъ характеристическимъ анекдотомъ. И. И. Экъ молодымъ человѣкомъ былъ сидѣль-

Не смотря на занимательность педагоговъ, я скучалъ; мнъ некула было пъть мою пъятельность, охоту играть, нотребность раздёлить впечатлёнія и игры съ другими дётьми. Одинъ товаришъ, одна подруга была у меня—Берта, полу-шарлотъ и полупспанская собака батюшки. Много делилъ я съ нею времени, запрягаль ее, бывало, баниль на ней верхомъ, дразниль ее, а въ зимніе ини силълъ съ нею у печки: я пою пъсни, а она спить, — и время идеть незамётно. Тогда она была ужъ очень стара, а все еще кокетничала и носила длинныя уши съ мохнатой коричневой шерстью. Не я одинъ любилъ Берту: лакей нашъ Яковъ Игнатьевичъ не могъ пережить ее, просто умеръ съ горя и съ вина, черезъ недълю послѣ ея смерти. Кромѣ Берты, былъ у меня еще рессурсъ: дъти повара, никогда не утиравшія носъ н въчно валявшіяся гдъ-нибудь въ дряни на дворъ. Но съ ними нграть было мн строго запрещено, и я, побъждая разныя опасности, могь енва на нѣсколько минуть ускользнуть на дворъ, чтобъ порубить съ ними ленъ около кухни зимою, или замараться въ грязи лётомъ. Сверхъ того, я и играть почти не умёлъ съ другими: малъйшая оппозиція меня бъсила, оттого что игрушки не перечили ни въ чемъ, а дъти вообще больше демократы и не терпять товариша, который береть верхъ надъ ними.

Между тѣмъ, важныя обстоятельства совершились. Лизавета Ивановна занемогла. Домовый лекарь сказалъ, что это легкая простуда, затопилъ ей внутренность ромашкой, залѣпилъ болѣзнь мушкой и очень удивился, заставъ однимъ добрымъ утромъ свою выздоравливающую на столѣ. Да, она умерла. Карлъ Карловичъ былъ ея душеприказчикомъ и тогда поссорился съ илемянникомъ Лизаветы Ивановны, каретникомъ Шмальцгофомъ, у котораго носъ былъ красно-фіолетовый. Какъ теперь помню ея похороны: я провожалъ тѣло старухи на католическое кладбище и плакалъ.

Въ жизни моей много перемѣнилось: кончились разсказы Лизаветы Ивановны, кончилось патріархальное царствованіе ея надо мною; кончилась непомѣрная благость, съ которой она вступалась за обиды, нанесенныя мнѣ. Словомъ, весь прежній бытъ ниспровергнулся; во время Лизаветы Ивановны ходила за мною няня, столько же добрая какъ она, Вѣра Артамоновна, какъ двѣ капли воды похожая на пндѣйку въ косынкѣ,—такая же шея въ складочкахъ и морщинахъ, тотъ же видъ ingénu. Теперь приста-

цемъ въ сарептской лавкъ въ Москвъ. Какой-то изъ дикихъ вельможъ того времени разгивался на него и ударитъ его въ щеку. Экъ-кротко и спо-койно-подставитъ другую. Дикой посмотрътъ на него—и вдругъ бросился ему на шею, прося прощения. Съ тъхъ поръ онъ былъ съ нимъ пріятелемъ до конца жизни. Почему цензура выпустила это? (Здъсь, какъ и дальше, говорится объ искаженіяхъ цензуры 40-хъ годовъ).

вили ко мий камердинера Ванюшку, которому я обязанъ первыми основаніями искусства курить табакъ (завертывая его въ мокрую бумажку, свернутую трубочкой) 1) и богатой фразеологіей, въ которой хозяиномъ раскинулся русскій духъ. Время, въ которое ребенка передають съ женскихъ рукъ въ мужскія — эпоха, переломъ; съ мальчикомъ это бываетъ лётъ въ семь, восемь; съ дё-

вочкой лътъ въ семнадиать, восемнадцать.

Ребячество оканчивалось преждевременно; я бросилъ игрушки и принялся читать. Такъ пногда въ теплые дни февраля наливаются почки на деревьяхъ, подвергаясь ежедневно опасности погибнуть отъ мороза и лишить дерево лучшихъ соковъ. За книги принялся я скуки ради, само собою разумфется, не за учебныя. Развившаяся охота къ чтенио выучила меня очень скоро по-французски и по-нъмецки, и съ тъмъ вмъстъ послужила въчнымъ препятствіемъ доучиться. Первая книга, которую я прочелъ соп amore, была «Лолотта и Фанфанъ», вторая «Алексисъ или домикъ въ лъсу». Съ легкой ручки мамзель Лолотты, я пустился читать безъ выбора, безъ устали, понимая, не понимая, старое и новое, трагедіп Сумарокова, «Россіаду», «Россійскій Өеатръ» etc. etc. И повторяю, это неумъренное чтеніе было важнымъ препятствіемъ ученію. Покидая какой-нибудь томъ «Дітей Аббатства» и весь занятый лордомъ Мортимеромъ, могъ ли я съ охотой заниматься грамматикой и спрягать глаголь aimer съ его адъютантами être и avoir, послѣ того какъ я зналъ, какъ спрягается опъ жизнію и въ жизни. Къ тому же романы я понималъ, а грамматику нѣтъ; то, что теперь кажется такъ ясно текущимъ изъ здраваго смысла, тогда представлялось какими-то путами, нарочно выдуманными затрудненіями. Бушо не любилъ меня и съ сквернымъ мийніемъ обо мив увхалъ въ Мецъ. Досадно! Когда повду во Францію, заверну къ старику. Чъмъ же мнъ убъдить его? Онъ измъряетъ человъка знаніемъ французской грамматики и то не какой-нибудь, а именно восьмымъ изданіемъ Ломондовой,—а я только не д'влаю ошибокъ на санскритскомъ языкъ, и то потому, что не знаю его вовсе. Чемь же? Есть у меня доказательство, -- ну ужъ, это мой секреть, а старикъ сдастся, какъ бы только онъ не поторопился на тогъ свътъ. Впрочемъ, я и туда поъду: мнъ очень хочется путешествовать.

Перечитавъ всъ книги, найденныя мною въ сундукъ, стоявшемъ въ кладовой, я сталъ промышлять другія, и провизоръ на Маросейкъ, приносившій когда-то Зандовъ портретъ и всегда запахъ ребарбара съ розой, прислалъ мнъ засаленные и ощипанные томы Лафонтена; томы эти совершенно свели меня съ ума.

¹⁾ Тогда не знали спгаретокъ.

Я началъ съ романа Der Sonderling и пошелъ, и пошелъ!.. Романы поглотили все мое вниманіе: читая, я забывалъ себя въ камлотовой курточкъ и переселялся послъдовательно въ молодого Бургарда, Алкивіада, Ринальдо-Ринальдини и т. д. Но какъ мое умственное обжорство не знало мъры, то вскорт не достало въ фармаціи на Маросейкъ романовъ, а я началъ отыскивать вездъ всякую дрянь, между прочимъ, отрылъ и «Письмовникъ Курганова», этотъ блестящій предшественникъ нравственно-сатирической школы въ нашей литературт. Богатымъ запасомъ истинъ и анекдотовъ украсилъ Кургановъ мою память; даже до сихъ поръ не забыты нъкоторые, наир.: «Нъкій польскій шляхтичъ вътрогоннаго нрава, желая оконфузить одного ученаго, спросилъ его, что значитъ оболъ, параболъ, фариболъ? Сей отвъчаль ему» и т. д... Можете въ самомъ источникъ почеринуть острый отвътъ.

Полезныя занятія Кургановымъ и Лафонтеномъ были вскоръ прерваны новымъ лицомъ. Къ человъку французской грамоты присоединился человъкъ русской грамматики, Василій Евдокимовичъ Пациферскій 1), студенть медицины. Господи, Боже мой, какъ онъ, бывало, стучитъ дверью, когда прійдеть, какъ снимаеть калоши, какъ топаетъ! Волосы носилъ онъ ужасно длинные и никогда не чесалъ ихъ по выходъ изъ рязанской епархіальной семинаріи; на иностранныхъ словахъ ставилъ онъ дикія ударенія школы, а французскія щедро снабжаль греческой х и русскимъ в на концъ. Но благодарность студенту медицины: у него была теплая человъческая душа, и съ нимъ съ первымъ сталъ я заниматься, хотя и не съ самаго начала.

Пока дёло шло о грамматикѣ, которая шла въ корню, и о географіи и ариеметикѣ, которыя бѣжали на пристяжкѣ, Пациферскій находилъ во мнѣ упорную лѣнь и разсѣянность, приводившую въ удивленіе самаго Бушо, не удивлявшагося ничему (какъ было сказано), кромѣ соборной церкви въ Мецѣ. Онъ не зналъ, что дѣлать, не принадлежа къ числу записныхъ учителей, готовыхъ за билетъ часъ цѣлый толковать свою науку каменной стѣнѣ. Василій Евдокимовичъ, краснѣя, бралъ деньги и нѣсколько разъ хотѣлъ бросить уроки. Наконецъ, онъ перемѣнилъ одну пристяжную и, наскоро прочитавши въ Геймѣ, изданномъ Титомъ Каменецкимъ, о ненужной и только для баланса выдуманной части свѣта Австраліи, принялся за исторію, и вмѣсто того, чтобъ задавать въ Шреккѣ до отмътки ногмемъ, онъ мнѣ разсказывалъ, что помнилъ и какъ помнилъ; я долженъ былъ на дру-

¹⁾ Ивань Евдокимовичъ Протопоповъ, онъ быль впослёдствій штабълекаремь въ какомъ-то карабинерномъ полку; носились слухи, что онъ быть убить во время старорусскаго бунта.

гой день ему повторять своими словами и я исторіей началь заниматься съ величайшимъ прилежаніемъ. Пациферскій удивился и, утомленный моею лѣнью въ грамматикѣ, онъ поступиль какъ настоящій студентъ, положить ее къ сторонѣ, и, вмѣсто того, чтобъ мучить меня мѣстничествомъ между е и ю, онъ принялся за словесность. Повторяю, у него душа была человѣческая, сочувствовавшая изящному,—и лѣнивый ученикъ, занимавшійся во время класса вырѣзываніемъ іероглифовъ на столѣ, быстро усвопвалъ себѣ школьно-романтическія воззрѣнія будущаго медикохирурга. Уроки Пациферскаго много способствовали къ раннему развитію мопхъ способностей. Въ двѣнадцать лѣтъ я помню себя совершеннымъ ребенкомъ, не смотря на чтеніе романовъ; черезъ годъ я уже любилъ заниматься, и мысль пробудилась въ душѣ,

жившей дотол'в однимъ д'втскимъ воображеніемъ.

Но въ чемъ-же состояло преподавание словесности Василия Евдокимовича? Мудрено сказать: это было какое-то отрицательное преподавание. Принимаясь за риторику, Василій Евдокимовичъ объявиль мнѣ, что она пустѣйшая вѣтвь изъ всѣхъ вѣтвей и сучковъ древа познанія добра и зла, вовсе ненужная, «кому Богъ не даль способности красно говорить, того ни Квинтиліанъ, ни Цицеронъ не научать, а кому даль, тотъ родился съ риторикой» Послъ такого введенія, онъ началь по порядку толковать о фигурахъ, метафорахъ, хріяхъ. Потомъ онъ мнѣ предписалъ diurna manu nocturnaque переворачивать листы Образцовыхъ Сочиненій, гигантской хрестоматіи, томовъ въ двънадцать, и прибавиль, для поощренія, что десять строкъ «Кавказскаго Пленника» лучше всъхъ образцовыхъ сочиненій Муравьева, Капинста и компаніи. Не смотря на всю забавность отрицательнаго преподаванія, — въ совокупности всего, что говорилъ Василій Евдокимовичъ, проглянываль живой, широкій современный взглядь на литературу, который я умёть усвоить и, какъ обыкновенно дёлають послёдователи, возвелъ въ квадрать и въ кубъ всв односторонности учителя. Прежле я читаль съ одинакимъ удовольствіемъ все, что попадалось: трагедін Сумарокова, сквернійшіе переводы восьмидесятыхъ годовъ разныхъ комедій и романовъ; теперь я сталъ выбирать, цёнить. Нациферскій быль въ восторгі отъ новой литературы нашей, и я, бравши книгу, справлялся тотчасъ, въ которомъ году печатана и бросалъ ее, ежели она была печатана больше пяти лътъ тому назадъ, хотя-бы имя Державина или Карамзина предохраняло ее отъ такой дерзости. За то поклоненіе лоной литературъ сдълалось безусловно, да она и могла увлечь именно въ ту эпоху, о которой идеть ръчь. Великій Пушкинъ явился царемъ-властителемъ литературнаго движенія; каждая строка его летала изъ рукъ въ руки; печатные экземиляры «не

уповлетворяли», списки ходили по рукамъ, «Горе от Ума» напълало болъе шума въ Москвъ, нежели всъ книги, писанныя по русски оть «Путешествія Коробейникова къ Святымь Містамь» по «Плотовъ чувствованій» князя Шаликова, «Гелеграфъ» начиналъ энергически свое поприще и неполными, угловатыми знаками своими быстро перенаваль европензмъ; альманахи съ прекрасными стихами, поэмы сыпались со всёхъ сторонъ; Жуковскій переводиль Шиллера, Козловъ Байрона, и во всемъ, у всёхъ была безппа напежнъ, упованій, върованій горячихъ и сердечныхъ. Что за восторгъ, что за восхишение, когла я сталъ читать только что вышедшую первую главу «Онъгина»! Я ее мъсяца два носиль въ карманъ, вытверпиль на намять. Потомъ, года черезъ полтора я услышаль, что Пушкинь въ Москвъ. О, Боже мой, какъ пламенно я желалъ увилъть поэта! Казалось, что я выросту, поумною, поглядовши на него. И я увидоль, наконець, и всб псказывали, съ восхищениемъ говоря; «воть онг, воть онг».... 1)

Чапкій.

Вы помните?

Софья.

Ребячество?

Чанкій.

Да-съ, а теперь.....

Нътъ лучше промолчимъ, потому что Софья Павловна Фамусова совсъмъ не параллельно развивалась съ нашей литературой...

Бушо убхалъ въ Мецъ; его замѣнилъ Мг. Маршаль. Маршаль былъ человъкъ большой учености (въ французскомъ смыслѣ), нравственный, тихій, кроткій; онъ оставиль во мнѣ память яснаго лѣтняго вечера безъ малѣйшаго облака. Маршаль принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, которые отъ роду не имѣли знойныхъ страстей, которыхъ характеръ свѣтелъ, ровенъ, которымъ дано настолько любви, чтобъ они были счастливы, но не настолько, чтобъ она сожгла ихъ. Всѣ люди такого рода классики раг droit de naissance; его прекрасныя познанія въ древнихъ литературахъ дѣлали его, сверхъ того, классикомъ раг droit de conquête. Отъровенный почитатель изящной, ваятельной формы греческой позіи и вываянной изъ нея поэзіи вѣка Людовика XIV, онъ не зналъ и не чувствовалъ потребности знать глубоко-духовное искусство Германіи. Онъ вѣрилъ, что послѣ трагедій Расина нельзя читать варварскія драмы Шекспира, хотя въ нихъ и проблески-

[.] Цензурный пропускъ.

ваеть таланть; вёриль, что вдохновеніе поэта можеть только выливаться въ глиняныя формы Батё и Лагариа; вёриль, что бездушная поэма Буало есть Corpus juris poeticis; вёриль, что лучше Цицерона никто не писаль прозой; вёриль, что драмё такъ же необходимы три единства, какъ жиду одно обрёзанье. При всемъ этомь, ни въ одномъ словё Маршаля не было пошлости. Онъ сталь со мною читать Расина въ то самое время, какъ я попался въ руки пиллеровымъ «Разбойникамъ»; ватага Карла Моора увела меня надолго въ богемскіе лѣса романтизма. Василій Евдокимовичъ неумолимо помогалъ разбойникамъ, и китайскіе башмаки лагариовскаго возэрёнія рвались по швамъ и по кожё.

Изъ сказаннаго уже видно, что все ученье было безсистемно; оттого я выучился очень немногому и, вмѣсто стройнаго цѣлаго, въ головѣ моей образовалась безпорядочная масса разныхъ свѣдѣній, общихъ мѣстъ, переплетенныхъ фантазіями и мечтами. Наука за то для меня не была мертвой буквой, а живою частью

Наука за то для меня не обла мертвой буквой, а живою частно моего бытія; но это увидимъ послѣ. Ко времени, о которомъ рѣчь, относится самая занимательная статья моего дѣтства. Міръ книжный не удовлеторялъ меня; распускавшаяся душа требовала живой симпатіи, ласки, товарища, любви, а не книгу,—и я вызвалъ, наконецъ, себѣ симпатію, и еще изъ чистой груди дъвушки.

Jetzt mit des Zuckers Linderndem Saft Zachmet die herhe, brennende Kraft. Schiller.

Еще въ тъ времена, когда были живы М-те Прово и М-те Берта, Бушо не убзжалъ въ Мецъ, а Карлъ Карловичъ не улеталь въ рай съ звуками органа, гостила у насъ иногда родственница, прітзжавшая изъ Владимірской губернін; сначала она была маленькая дівушка, потомъ дівушка побольше. Прі взжала она изъ Меленокъ всегда въ сопровождении своей тетки, разительно похожей на принцессу, ангулемскую и на брабантскія кружева; эта тетка имъла пріятное обыкновеніе ежегодно класть деньги въ ломбардъ. У меленковской родственницы была душа добрая, мечтательная; дівицы вообще несравненно экспансивнізе нашего брата, въ нихъ есть теплота всегда грѣющая, есть симпатія всегда готовая любить; у нихъ ръдко чувства подавлены эгоизмомъ и нътъ мужского, разсчетливаго ума. Она въ одинъ изъ прібздовъ своихъ приголубила меня, приласкала; ей стало жаль, что я такъ одинокъ, такъ безъ привъта; она со мною, тринадцати-лётнимъ мальчикомъ, стала обходиться, какъ съ большимъ; я полюбиль ее оть всей души за это; я подаль ей съ горячностью мою маленькую руку, поклялся въ дружбъ, въ любви, и теперь, черезъ 13 другихъ лътъ, готовъ снова протянуть руку, а сколько обстоятельствъ, людей, версть протеснилось между нами!.. Свътлымъ призракомъ прилетала она съ береговъ Клязьмы и надолго исчезала потомъ; тогда я писалъ всякую недёлю эпистолы въ Меленки и въ этихъ эпистолахъ сохранились веж тогдашнія мечты и върованія. Она въ долгу не оставалась, отвъчала на каждое письмо и расточала съ чрезвычайной щедростью существительныя и прилагательныя для описанія меденковскихъ окрестностей, своей комнаты съ зелеными шторочками и съ лиловыми левкойчиками на окнахъ. Но я мало довольствовался письмами и ждаль съ нетеривніемь ея самой; рвшено было, что она прівдеть къ намъ на целые полгода; я разсчитываль по нальцамъ днп... И вотъ, однимъ зимнимъ вечеромъ сижу я съ Васильемъ Евлокимовичемъ: онъ толкуетъ о четырехъ подахъ поэзіп и запиваеть квасомъ каждый родъ. Вдругъ шумъ, поцелуи, громкій разговоръ радости, ея голосъ... Я отворилъ дверь: по залъ таскають узелки и картончики; щеки вспыхнули у меня отърапости, я не слушаль больше, что Иванъ Евдокимовичь говорилъ о дидактической поэзін (можеть, потому и поднесь не нонимаю ея, хотя съ тъхъ поръ и имътъ случай прочесть петрозиліусову поэму «О фарфорѣ»); черезъ нѣсколько минутъ, она пришла ко мнъ въ комнатку и послъ оскорбительнаго: «Ахъ, какъ ты выросъ!»—она спросила, чъмъ мы занимаемся. Я гордо отвъчалъ: «Разборомъ поэтическихъ сочиненій». Даже красное мериносовое платье помню, въ которомъ она явилась тогда передо мною. Но, увы! времена перемънились: она волосы зачесала въ косу; это меня оскорбило,-меня съ воротничками à l'enfant: новая прическа такъ ръзко переводила ее въ совершеннолътнюю. Она знала мою скорбь о локонахъ, и въ мое рожденье, 25-го марта, причесалась опять по-дітски. Чудный день былъ день моего рожденія! Она подарила мит кольцо чугунное на серебрянной подкладкт; на немъ было выръзано ся пмя, какой-то девизъ, какой-то знакъ, змённая голова и проч.; вечеромъ мы читали на память отрывокъ изъ «Фингала», — она была Моина, я Фингалъ (въроятно, я сюрпризомъ для себя твердилъ во дню рожденья стихи), съ тъхъ поръ еще ни раза я не развертывалъ Озерова. Лънивъе онять пошло ученье: живая симпатія мий правилась больше книги. Ни съ къмъ и никогда до нея я не говорилъ о чувствахъ, а между тъмъ ихъ было ужъ много, благодаря быстрому развитио души и чтенію романовъ. Ей-то передаль я первыя мечты, мечты пестрыя, какъ райскія птицы, и чистыя, какъ дітскій лепеть; ей писалъ я разъ двадцать въ альбомъ по-русски, по-французски, по-нъмецки, даже, помнится, по-латынъ. Она пресерьезно выслушивала меня и увъряла еще больше, что я рожденъ быть Роландомъ Роландини или Алкивіадомъ; я еще больше полюбилъ ее за эти удостовъренія. Отогръвался я тогда за весь холодъ моей короткой жизни милою дружбою меленковской пери. Цередавъ другъ другу илоды чувствованій, мы принялись вмъстъ читать сначала разныя повъсти: «Векфильдскаго Священника», «Нуму Поминлія» Флоріана и т. и., обливая ихъ ръками горючихъ слезъ; потомъ принялись за «Анахарсисово Путешествіе», и она имъла самоотверженіе слушать эту, положимъ, чрезвычайно ученую, полезную и умную, но тъмъ не менъе скучную и безжизненную компиляцію въ семь томовъ.

Не знаю, было-ли ся вліяніе на меня хорошо во всёхъ смыслахъ. При многихъ истинныхъ и прекрасныхъ достоинствахъ, маленковская кузина не была освобождена отъ натянутой «сентиментальности,» которая прививается девушкамъ въ дортуарахъ женскихъ пансіоновъ, глу ону выкалывають булавками вензеля на руку, гдѣ дають обѣты годъ не снимать такой-то ленточки; не была она также свободна отъ моральныхъ сентенцій, этой лебеды, наполнявшей романы и комедін прошлаго віка. Она любила, чтобъ ее звали Темирой, и всъ родственники звали ее такъ; ужъ это одно доказываетъ сентиментальность; просто человъкъ не согласится въ XIX въкъ называться Пленирой, Темирой, Селеной, Усладомъ. Я вскоръ взбунтовался противъ классического имени, совѣтовалъ ей, на зло Буало 1), назваться Toinon; а когда вышла вторая книжка «Онътпна», совътовалъ ръшительно остаться Татьяной, какъ священникъ крестилъ. Перемъна имени мало помогла: Таня, по-прежнему, при каждой встръчь съ бльдной подругой земного шара, пълала къ ней лирическое воззвание, по-прежнему сравнивала свою жизнь съ цвётками, брошенными въ «буйныя волны» Клязьмы; любила она въ досужные часы поплакать о своей горькой участи, о гоненіяхъ судьбы (которая гнала ее, вирочемъ, очень скромно, такъ, что со стороны ея удары были вовсе незамътны), о томъ, что «никто въ міръ ея не понимаеть». Этолафонтеновскій элементь. Не лучше его быль и жанлисовски-моральный: она меня, который читалъ чортъ-знаетъ что, умоляла не дотрогиваться до Вертера, рекомендовала правственныя книги и проч. Теперь все это мив кажется смвшно, но тогда Таня была для меня валкирія: я покорно слушался ея прориданій. Она очень хорошо знала свой авторитеть, и потому угнетала меня; когда же я возмущался, и она видела опасность потерять власть, слезы текли у ней изъ глазъ, дружескіе, теплые упреки изъ устъ; мить

I) Et changer, sans respect de l'oreille et du son Lycidas en Pierrot, et Philis en Toinon. — Art Poétique.

становилось жаль ея; я казался себъ виноватымъ, и тронъ ея стоялъ опять незыблемо. Надобно замътить, дъвушки лъть въ 18-ть вообще любять ношколить мальчика, который имъ понадется въ руки и надъ которымъ онъ пробують оружіе, приготовленное для завоеваній болье важныхъ; зато какъ же и ихъ школять мальчики потомъ, лътъ восьмнадцать къ ряду, и чъмъ далъе, тъмъ хуже! Итакъ, я слушался Тани, сентиментальничалъ, и подъчасъ нравственныя сентенціи, блідныя и тощія, служили финаломъ монхъ ръчей. Воображаю, что въ эти минуты я былъ очень смѣшонъ; живой характеръ мой мудрено было обязать конфектнымъ билетомъ ложной чувствительности, и вовсе мнъ не было къ лицу ваять нравственныя сентенціп изъ патоки безъ инбиря, жанлисовской морали. Но что дёлать! я прошелъ черезъ это, а, можеть, оно и не дурно: сентиментальность развела, подсластила «жгучую силу» и, слъдственно, поступила по фармокопеъ Шиллера 1); самый возрасть отчасти способствоваль къ развитію нъжности. Для меня наставало то время, когда ребячество оканчивается, а юность начинается: это обыкновенно бываеть въ 16 летъ. Ребячья напвная красота пропадаеть, юношеская еще не является; въ чертахъ дисгармонія, онъ дълаются грубъе, нътъ граціи, голосъ переливается изъ тонкаго въ толстый, глаза томны, а подъчасъ заискрятся, щеки бледны, а подъ-часъ вспыхнуть, физическое совершеннольтие наступаеть. То же происходить въ душъ: неопределенныя чувства, зародыши страстей, волненіе, томность. чувство чего-то тайнаго, невъдомаго, и вслъдъ за тъмъ юность, восторженный лиризмъ, полный любви, раскрытыя объятія всему міру божьему... Ранній цв втокъ, я скорфе достигь этой эпохи, и распукольки въ моей душт развернулись въ 14 лътъ; я чувствовалъ, что ребячество кончилось, а юность началась, и обижался, что никто не замъчаетъ перелома въ моемъ бытін. По несчастію, замѣтилъ это Василій Евдокимовичъ и началъ въ силу того преподавать мит эстетику, въ которой, не темъ будь помянутъ, онъ быль крайне недалекь, и тогда же заставиль меня писать статьи. Жаль, очень жаль, что, когда мы перефзжали изъ стараго дома въ новый, пропали эти статьи! Съ какимъ наслажденіемъ перечиталь бы я ихъ теперь! Чего я не писаль! Были статьи, писанныя взацуски съ Темирой, были литературные обзоры и въ нихъ я «уничтожалъ» классицизмъ. Василій Евдокимовичъ приходиль въ восторгъ, поправляя (и немудрено, его же мысли повторялись мною). Я перевелъ свои обзоры на французскій языкъ и гордо подаль Маршалю: «Вотъ, молъ, какъ я уважаю вашего Буало». Были и историческія статьи: сравненіе Мароы Посадницы (то

¹⁾ См. эпиграфъ.

есть не настоящей, а той спартанской Мароы, о которой повъсть написалъ Карамзинъ) съ Зиновіей Пальмирской; Бориса Годунова съ Кромвелемъ. Жаль, что я не писалъ моихъ сравненій по-французски, а то я увъренъ, что они были настолько негодны, что понали бы образцами въ Ноэлевъ «Курсъ словесно-

сти», въ отдъление Parallèles et Caractères.

Такъ оканчивался періодъ прозябанія моей жизни. Вотъ предыдущее, съ которымъ я вошелъ въ пропилен юности. Маршаль завъщалъ мнъ любовь къ изящной формъ, любовь къ Греціи и Риму, логическую ясность, исторію французской литературы и art poétique Буало, котораго первую пъснь помно до сихъ норъ; Василій Евдокимовичь завіщаль поклоненіе Пушкину и юной литературй, метафизическую неясность романтизма и тетрадь писанных стиховъ, которые я еще лучше вытвердилъ на память, нежели Буало; Темира—искреннее, теплое чувство любви и дружбы, слезы о «Векфильдскомъ Священникъв» и потомъ о ней самой, когда она осенью убхала въ Меленки. Ergo, съ одной стороны, классицизмъ въ видъ Маршаля, съ другой, романтизмъ въ видъ Пациферскаго, и жизнь въвидъ Темиры, —а въ средоточіе всего я самъ, мальчикъ пылкій, готовый ко всякимъ впечатл'вніямъ, не по літамь умудрившійся, развитый отчасти насильственно, или върнъе, искусственно, чтеніемъ романовъ и въчнымъ одиноче-

Такъ продолжалась моя жизнь до пятнадцатаго года.

Π.

Юность.

Respect vor den Traumen deiner jugend! Schiller

> Gaudeamus igitur Juvenes dum sumus!..

Прелестное время въ развитіи человѣка, когда дитя сознаетъ себя юношею и требуетъ въ первый разъ доли во всемъ человѣческомъ: дѣятельность кипитъ, сердце бьется, кровь горяча, силь много, а міръ такъ хорошъ, новъ, свѣтелъ, исполненъ торжества, ликованія, жизни... Удаль Ахиллеса и мечтательность Позы наполняютъ душу. Время благородныхъ увлеченій, самопожертвованій, платонизма, пламенной любви къ человѣчеству, безпредѣльной дружбы; блестящій прологъ, за которымъ часто, часто слѣдуетъ пошлая, мѣщанская драма.

Разумъ восходить,—но, проходя черезъ облака фантазій, онъ окрашиваеть, какъ восходящее солнце, пурпуромъ весь міръ. Освѣщенье истинное, которое исчезаеть, должно исчезнуть, но прелестное, какъ лѣтнее утро на берегу моря. О, юность, юность!...

И я въ Аркадін родился!

Беззаботно стдался я стремительнымъ волнамъ; онъ увлекли меня далеко за предълы тихаго русла частной жизни! Мив нравились упругія волны, безконечность; будущее рисовалось какимъ-то пподромомъ, въ концъ котораго ожидаетъ стоустая слава и діва любви, вінокъ лавровый и вінокъ миртовый; я предчувствоваль, какъ моя жизнь вплетется блестящей пасмой въ жизнь человъчества, воображалъ себя великимъ, доблестнымъ... Сердце раздавалось, голова кружилась... Право, хороша была юность! Она прошла; жизнь не кипить больше, какъ пънящееся вино; элементы души приходять въ равновъсіе, тихнуть; наступаеть совершеннолътній возрасть, и да будеть благословенно и тогдашнее бъщеное кипъніе, и нынъшняя предвозвъстница гармоніи! Каждый моменть жизни хорошъ, лишь бы онъ былъ въренъ себъ; дурно, если онъ является не въ своемъ видъ Не люблю я скромныхъ, чопорныхъ, образцовыхъ молодыхъ людей, они мнъ напоминаютъ Алексъя Степановича Молчалина; они не постигли жизни, они не питали теплой кровью своего сердца отрадныхъ в рованій, не рвались участвовать въ міровыхъ подвигахъ. Они не жили надеждами на великое призваніе, они не лили слезъ горести при видъ несчастія и слезъ восторга, созерцая изящное, они не отдавались бурному восторгу оргіп, у нихъ не было потребности друга, — и не полюбитъ ихъ дъва любовью истинной; ихъ удълъ утонуть съ головою въ толит. Пусть юноши будуть юношами. Совершеннолътіе покажеть, что провидъніе не отдало такъ много во власть каждаго человъка; что человъчество развивается по своей міровой логикъ, въ которой нельзя перескочить черезъ терминъ въ угоду индивидуальной воли; совершеннолетие покажетъ необходимость частной жизни; почка, принадлежавшая человъчеству, разовьется въ отдъльную вътвь, но, какъ говорить Жуковскій о волнѣ:

Влившися въ море, она назадъ изъ него не польется.

Душа, однажды предавшаяся универсальной жизни, высокимъ интересамъ, и въ практическомъ мірѣ будетъ выше толны, симпатичнѣе къ пзящному; она не забудетъ моря и его пространства... Но я забываю себя; вотъ что значитъ заговорить о юности.

Темира убхала въ Меленки. Я долго смотрълъ на вороты, пропустившія коляско-бричку, въ которой повезли ее; день былъ

мертво-осенній. Исчально воротился я въ свою комнатку и развернуль книгу. Старый другь... опять книга, одна книга осталась товарищемъ; я принялся тщательно перечитывать греческую и римскую исторію. Разумбется, я за исторію принялся не такъ, какъ за книгу народовъ, зерцало того и сего, а онять какъ за романъ и читалъ ее по той же метонъ, то-есть самъ выступая на сцену въ акрополисъ и на форумъ. Еще больше разумъется, что Греція и Римъ, возстановленные по Сегюру, были нелізны, но живы и соотвътствовали тоглашнимъ потребностямъ. Театральныхъ натяжекъ, встхъ этихъ Курціевъ, бросающихся въ пропасти, вовсе не существующія. Спеволь, жгущихъ себь руки по локоть, и пр., я не замъчалъ, а гражданскія добродьтели ихъ понималъ. Напрасно нынче возстають противъ прежней методы пространно преподавать дётямъ древнюю исторію, это эстетическая школа нравственности. Великіе люди Греціи и Рима им'єють въ себ'є ту поражающую, пластическую, художественную красоту, которая навъкъ отпечативвается въ юной пушъ. Оттого-то эти величественныя тъни Өемистокла, Перикла, Александра провожаютъ насъ черезъ всю жизнь, такъ какъ ихъ самихъ провожали величественные образы Зевса, Аполлона. Въ Греціп все было такъ проникнуто изящнымъ, что самые великіе люди ея похожи на художественныя произведенія. Не напоминають ли они собою, напримъръ, свътлый міръ греческаго зодчества? Та же ясность, гармонія, простота, юношество, благодатное небо, чистая дітская совъсть; даже черты лица плутарховыхъ героевъ такъ же дивно изящны, открыты, исполнены мысли, какъ фронтоны и портики Парфенона. Самое тріединое зодчество Греніи пиветь нарадледь съ героями ея трехъ эпохъ: такъ изящное тъсно спаяно было у нихъ съ ихъ жизнію. Гомерическіе героп—не дорическія ли это колонны, твердыя, безъискусныя? Герои персидскихъ войнъ и пелопонезской не сродни ли іоническому стилю, такъ, какъ Алкивіадъ пзибженный-тонкой, кудрявой кориноской колониб? Пусть же встричають эти высоко изящныя статуи юношу при первомъ шагъ его въ область сознанія, съ высоты величія своего вперять ему первые уроки гражданскихъ побродътелей...

Сильно действовало на меня чтеніе греческой и римской исторіп. Я скорбёль о томь, что этоть мірь побродётелей и энергіи давно схороненъ, илакалъ на его могилъ, какъ вдругъ болъе внимательное чтеніе одного автора, бывшаго въ монхъ рукахъ, доказало мнт, что и тоть міръ, который окружаеть меня, въ которомъ я живу, не изъять доблестного и великого. Открытіе это

сдълало переворотъ въ моемъ бытін.

Шиллеръ! благословляю тебя, тебъ обязанъ я святыми минутамп начальной юности! Сколько слезъ лилось изъ глазъ моихъ

на твои поэмы! Какой алтарь я воздвигнулъ тебъ въ пушъ моей! Ты по превосходству поэть юношества. Тоть же мечтательный взоръ, обращенный на одно будущее: «туда, туда!», тъ же чувства благородныя, энергическія, увлекательныя; та же любовь къ людямъ, и та же симпатія къ современности... Однажды взявъ Шиллера въ руки, я не покидалъ его, и теперь, въ грустныя минуты, его чистая пъснь врачуеть меня. Долго ставиль я Гёте ниже его. Иля того, чтобъ умъть понимать Гёте и Шекспира, напобно, чтобъ вет способности развернулись, надобно познакомиться съ жизнію, надобны грозные опыты, надобно пережить долю страпаній Фауста. Гамлета, Отелло. Стремленье къ побродътели, горячая симпатія къ высокому достаточны, чтобъ сочувствовать Шиллеру. Я боялся Гёте: онъ оскорбляль меня своимъ пренебреженіемъ, своимъ несимпатизированіемъ со мною, симпатін со вселенной я понять тогда не могъ. Пусть, думалъ я, Гётеморе, на лив котораго неввсь какія драгоцвиности, я люблю лучше германскую рѣку, этоть Рейнъ, льющійся между феодальными замками и виноградниками, Рейнъ, свидътель тридцатилізтней войны, отражающій Альпы и облака, покрывающія ихъ вершины. Я забывалъ тогда, что ръка вливается тоже въ море, въ землеобнимающій океанъ, равно нераздільный съ небомъ и съ землею. Гораздо послъ, мощный Гёте увлекъ меня; я тогда еще не вполнъ понядъ его, но почувствовалъ его морскую волну, его глубину, его пространство и (болъзнь юности никогда не знать въса и мъры!) на Шиллера взглянулъ иначе, тъмъ взглядомъ, которымъ юноша, прі вхавіній въ отпускъ, смотрить на добрыя черты старца-воспитателя, привыкнувъ къ строгому лицу своего начальника, - немножко внизъ, немножко съ благосклонностью. Но я скоро опомнился, покраситль оть своей неблагодарности и съ горячими слезами раскаянія бросился въ объятія Шиллера. Имъ обонмъ не тъсно было въ міръ, —не тъсно будеть и въ моей груди; они были друзьями, — такими да идутъ въ потомство.

Но въ ту эпоху, о которой идетъ рѣчь, я никакъ не могъ понимать Гёте: у него въ груди не билось такъ человѣчески-нѣжное сердце, какъ у Шиллера. Шиллеръ съ своимъ Максомъ, Донъ-Карлосомъ жилъ въ одной сферѣ со мною, —какъ же мнѣ было не понимать его. Суха душа того человѣка, который въ поности не любилъ Шиллера, завяла у того, кто любилъ да пересталъ!

У меня страсть перечитывать поэмы великихъ maestri: Гёте, Шекспира, Пушкина, Вальтеръ-Скотта. Казалось бы, зачѣмъ читать одно и то же, когда въ это время можно «украсить» свой умъ произведеніями гг. А. В. С.? Да въ томъ-то и дѣло, что это не одно и то же; въ промежутки какой-то духъ мѣняеть очень много въ въчно-живыхъ произведеніяхъ маэстровъ. Какъ Гамлетъ, Фаустъ прежде были шире меня, такъ и теперь шире, не смотря на то, что я убъжденъ въ своемъ расширении. Нътъ, я не оставлю привычки перечитывать, по этому я наглазно изм'яряю свое возрастаніе, улучшеніе, паденіе, направленіе. Прошли годы первой юности и надъ Мооромъ, Позой выставилась мрачная, задумчивая тънь Валленштейна, и выше ихъ парила Дъва Орлеанская; прошли еще годы-и Изабелла, дивная мать, стала рядомъ съ гордой дъвственницей. Гдъ-же прежде была Изабелла? Мъста, приводившія меня пятнадцатильтняго въ восторгъ, поблекли, напр. студентскія выходки, сентенціп въ «Разбойникахъ», а тъ, которыя едва обращали вниманіе, захватывають душу. Да, надобно перечитывать великихъ поэтовъ, и особенно Шиллера, поэта благородныхъ порывовъ, чтобъ поймать свою душу, если она начнеть сохнуть! Человичество своимъ образомъ перечитываетъ цилыя тысячельтія Гомера и это для него оселокъ, на которомъ оно пробуеть силу возраста. Лишь только Греція развилась, —она Софокломъ, Праксителемъ, Зевксисомъ, Еврипидомъ, Есхиломъ повторила образы, завъщанные колыбельной пъснью ея, Иліадой; потомъ Римъ понытался возсоздать ихъ по своему, стоически, Сенекою; потомъ Франція напудрила ихъ и надъла башмаки съ пряжками — Расиномъ; потомъ падшая Италія перечитала ихъ чернымъ Альфіери; потомъ Германія возсоздала своимъ Гете Ифпгенію, и на ней увидъла всю мощь его....

Туть недостаеть нъсколькихъ страницъ... А досадно, должно быть, онт занимательны. Кстати, я не догадался объяснить въ предисловін (можеть быть, потому что его вовсе нѣть), какъ мнѣ попалась эта тетрадь; потому, пользуясь свободнымъ мъстомъ, оставленнымъ выдранными страницами, я объяснюсь въ междусловіи, и притомъ считаю это необходимымъ для предупрежденія догадокъ, заключеній и пр. Тетрадь, въ которой описываются похожденія любезнаго молодого челов'єка, попалась мн въ руки совершенно нечаянно п-чему не всякій пов'єрить-въ Вяткі, окруженной лъсами и черемисами, болотами и исправниками, вотяками и становыми приставами, — въ Вяткъ, засыпанной снъгомъ и всякаго рода дълами, кромъ литературныхъ. Но должно ли дивиться, что какая-нибудь тетрадь попалась въ Вятку?... «Нашъ въкъ, въкъ чудесъ», говаривалъ Фонтенель, жившій въ прошломъ въкъ... Тетрадь молодого человъка была забыта, въроятно, самимъ молодымъ человъкомъ на станціи; смотритель, возивши для ревизованія книги въ губернскій городъ, подарилъ ее почтовому чиновнику. Почтовый чиновникъ далъ ее мнъ,—я ему не отдавалъ ея. Но прежде меня онъ давалъ ее понграть черной quasi-датской собакъ; собака, болъе скромная, нежели я, не присвоивая себѣ всей тетради, выдрала только мѣста, особенно пришедшія на ея quasi-датскій вкусъ; и, говоря откровенно, я не думаю, чтобъ это были худшія мѣста. Я буду отмѣчать, гдѣ выдраны листья, гдѣ остались одни городки, и прошу помнить, что единственный виновникъ—черная собака; имя же ей Пултусъ. — Послѣ выдранныхъ страницъ продолжается рукопись такъ 1).

Ноза, Поза! гдѣ ты, юноша-другь, съ которымъ мы обручимся душою, съ которымъ выйдемъ рука-объ-руку въ жизнь, крѣпкіе нашей любовью? Въ этомъ вопросѣ будущему было упованіе и молитва, грусть и восторгь. Я вызывалъ симпатію, потому что не было мѣста въ одной груди вмѣстить все, волновавшее ее. Мнѣ надобна была другая душа, которой я могъ бы высказать свою тайну; мнѣ надобны были глаза полные любви и слезъ, которые были бы устремлены на меня; мнѣ надобенъ былъ другъ, къ которому я могъ бы броситься въ объятія, и въ объятіяхъ котораго мнѣ было бы просторно, вольно. Поза, гдѣ же ты?..

Онъ быль близокъ.

Въ мірѣ все подтасовано: это старая истина; ее разсказалъ какой-то аббать на вечерѣ у Дидро. Одни честные игроки не догадываются и ссылаются на случай. Счастливый случай, думають они, вызвалъ любовь Дездемоны къ мавру; несчастный случай затворилъ душу Эсмеральды для Клода Фролло. Совсѣмъ нѣтъ, все подтасовано, и лишь только потребность истинная, сильная, потребность друга захватила мою душу, онъ явился, прекрасный и юный, какимъ мечтался мнѣ, какимъ представлялъ его Шиллеръ. Мы сблизились по какому-то тайному влеченію, такъ, какъ въ растворѣ сближаются два атома однороднаго вещества непонятнымъ для нихъ сродствомъ.

Въ маломъ числъ моихъ знакомыхъ былъ полу-юноша, полуребенокъ, однихъ лътъ со мною, кроткій, тихій, задумчивый; печально сидълъ онъ обыкновенно на стулъ и какъ-то невнимательно смотрълъ на окружающіе предметы своими большими сърыми глазами, особо разсъченными и того съраго цвъта, который
лучше голубого. Непонятною силою тяготъли мы другъ къ другу;
я предчувствовалъ въ немъ брата, близкаго родственника душъ,—
и онъ во мнъ то же. Но мы боялись показать начинавшуюся
дружбу; мы оба хотъли говорить мы, и не смъли даже въ запискахъ употреблять слово «другъ», придавая ему смыслъ обширный и святой... Милое время дътской непорочности и чистоты

¹⁾ Бѣлинскій показываль рукопись мою цензору до посылки въ цензуру. Онъ отмѣтиль нѣсколько мѣстъ—какъ совершенно невозможныя. Воть что подало мысль ихъ выпустить предварительно и отмѣтить въ текстъ.

душевной!.. Мало-по-малу слова дружбы и симпатіи начали врываться стороною, какъ бы нехотя: посылая мив «Илилліи» Геснера, онъ написалъ маленькое письмецо и въ раздумы подписаль: «вашь другь ди.—не знаю еще». Перель отъёзломь моимъ въ деревню онъ приносиль томъ Шиллера, гдѣ ero «Philosophische Briefe», и предложиль читать вмъстъ... Ахъ, какъ билось сердце, слезы навертывались на глазахъ. Мы тщательно скрывали слезы. «Ты убхаль, Рафанль,—и желтыя листыя валятся съ деревьевъ. и мгла осенняго тумана, какъ гробовой покровъ, лежитъ на вымершей природъ. Одиноко брожу я по печальнымъ окрестностямъ, зову моего Рафаила, и больно, что онъ не откликается мнъ». Я схватиль Карамзина и читаль въ отвъть: «Нъть Агатона, нътъ моего пруга». Мы явно понимали, что кажный изъ насъ апресуеть эти слова оть себя, но боядись прямо сказать. Такъ дълають неопытные влюбленные, отмічая другь другу міста въ романахъ; да мы и были à la lettre влюбленные, и влюблялись съ каждымъ днемъ больше и больше. Дружба, прозябнувшая подъ благословеніемъ Шиллера, подъ его благословеніемъ расцвътала: мы усвоивали себъ характеры всъхъ его героевъ. Не могу выразить всей восторженности того времени. Жизнь раскрывалась предъ нами торжественно, величественно: мы откровенно клялись пожертвовать наше существование во благо человъчеству: чертили себѣ будущность несбыточную, безъ малѣйшей примѣси самолюбія, личныхъ видовъ. Свётлые ини юношескихъ мечтаній и симпатін, они проводили меня далеко въ жизнь...

(Здъсь опять не достаеть двухъ-трехъ страницъ).

...Въ деревив я сдълать знакомство, достойное сдъланнаго въ Москву,—я въ нервый разъ послу ребячества явился лицомъ къ лицу съ природой, и ея выразительныя черты слёлались понятны для меня. Это отдохновеніе отъ школьных занятій было на мъстъ: я закрылъ учебную книгу, не смотря на то, что падобно было готовиться къ университету. Колоссальная идиллія лежала развернутая передо мной, и я не могъ наглядъться на нее: такъ нова она была мнь, выросшему въ третьемъ этажъ на Пречистенкъ. Читаль я мало, и то одного Шиллера: на высокой горь, съ которой открывались пять-шесть деревенекъ, пробъгаль я «Теля», и въ мрачномъ лъсу перечитывалъ Карла Моора, —и, казалось, молодецкій посвисть его ватаги и топоть конницы, окружавшей его, раздавался между соснами и елями. Но чаще всего я бросалъ книгу и долго-долго смотрѣлъ на окружающія поля, на рѣку, перерѣзывающую ихъ, на храмъ божій, бѣлый какъ лилія и какъ лилія окруженный зеленью. Иногда мнъ казалось, что вся эта дальпродолжение меня, что гора со всёмъ окружающимъ-мое тёло, п

мий слышался пульсъ ея, и мы вийстй вдыхали и выдыхали воздухъ. Иногда мий казалось, что я совершенно потерянъ въ этой безконечности — листокъ на огромномъ деревй, но безконечность эта не давила меня, мий было хорошо лежать на моей гори; я понималь, что я дома, что все это родное...

Смъщно, что я останавливаюсь на этихъ подробностяхъ медовато м'всяца моей жизни; я очень знаю, что вст видали природу днемъ и ночью, и чувствовали при этомъ и то, и сё; что тысяча лъть тому назадъ люди восхищались ею, потому что въ ней также просвѣчивалъ на каждой строчкѣ ея творецъ,—но... но... но, пожалуй, воротимся въ Москву. Вотъ глубокая осень, грязь по кольно; иное утро подмерзнеть, иное льеться мелкій дождь; работы оканчиваются, одинъ цёнъ стучить въ тактъ; сборы, хлопоты; священникъ съ просвирою и напутственнымъ благословеніемъ;... староста провожаетъ верхомъ за десять версть на мірской лошади, чтобъ убъдиться, что господа точно увхали... Карета вязнеть въ грязи проселочной дороги, едва двигается, иногда склоняется на бокъ, и всякій разъ батюшкинъ камердинеръ, преданный, какъ въ «Айвенго» Гуртъ Седрику Саксону, выходитъ изъ кибитки и поддерживаетъ карету; а самъ такой тщедушный, что десяти фунтовъ не подыметь. Наконецъ, вотъ Драгомиловскій мость, освъщенныя лавочки, «калачи горячи»,—и мы въ Москвъ.

Такъ добхалъ я чрезъ Драгомиловскій мостъ до окончанія первой части моей юности. Отсюда начинается новая жизнь, жизнь аудиторіи, жизнь студента; отселѣ не нустынныя четыре стѣны родительскаго дома, а семья трехсотголовая, шумная и неуго-

монная...

Ш.

Годы странствованія.

Отъ нашедшаго тетрадь.

Пом'єстивъ отрывокъ изъ первой тетради «Записокъ одного молодого челов'єка» въ XIII том'є «Отеч. Записокъ» (кн. 12, 1840), мы объяснили въ приличномъ «междусловіи», какъ намъ досталась тетрадь и какъ не достались н'єкоторые листы изъ нея. Тенерь пришло намъ на мысль пом'єстить отрывокъ изъ другой тетради. Между первой и второй тетрадями потеряны годы, версты, дести. Мы разстались съ молодымъ челов'єкомъ у Драгомиловскаго моста на Москв'є-р'єк'є, а встр'єчаемся на берегу Оки-р'єки, да притомъ вовсе безъ моста. Тогда молодой челов'єкъ шелъ въ университеть, а теперь 'єдетъ въ городъ Малиновъ, худшій городъ въ міріє, ибо ничего нельзя хуже представить для города,

какъ совершенное несуществованіе его. Молодой человикъ дълается просто леловькъ (не сочтите этого двусмысленнаго слова за намекъ, что онъ пошель въ лакеи). Завпральныя иден начинають облетать, какъ желтые листья. Въ третьей тетради—полное развитие: тамъ никакихъ уже нѣтъ идей, мыслей, чувствъ; отъ этого она дѣльнѣе, и видно, что молодой человѣкъ «въ умъ вонель»; вся третья тетрадь состоить изъ расходной книги, формулярнаго списка и двухъ довъренностей, засвидѣтельствованныхъ въ гражданской налатѣ. Пока вотъ отрывокъ изъ начала второй тетради, будетъ и изъ третьей, если того захотятъ, вопервыхъ, читатели, во-вторыхъ, издатель «Отеч. Записокъ», въ-третьихъ, кто бишь въ-третьихъ, дай Богъ намять... Всномню, скажу послъ.

So bleibe denn die Sonne mir im Rucken, Am farbigen Abglanz haben wir das Leben. Fauts II Theil. Per me si va nella citta dolente! Dante. Del' Inferno.

Я устроенъ чрезвычайно гуманно. Читая розенкранцеву «Исихологію,» пивлъ я случай убъдиться, что устроенъ ръщительно по хорошему современному руководству. Оттого меня нисколько не удивляеть, что всякое первое впечатление бываеть смутне, слабъе, нежели отчетъ въ немъ. Непосредственность только пьедесталъ жизни человъческой, и именно отчетомъ поднимается человъкъ въ ту сферу, гдъ вся мощь и доблесть его. Въ самомъ дълъ, не знаю, какъ съ другими бываетъ, а я никогда не чувствоваль всей полноты наслажденія въ самую минуту наслажденія (само собой разумбется, что ръчь идеть не о чувственномъ наслажденіи: котлеты въ воспоминаніи, право, меньше привлекательны, нежели во рту). Наслаждаясь, я дёлаюсь страдателенъ, воспринимающь. Посль-блаженство какъ-то дъятельно струптся изъ меня и я постигаю, по этой силъ исходящей, всю полноту его. То же въ горестяхъ: никогда не чувствовалъ я всей горечи разлуки такъ сильно, какъ отъбхавъ нѣсколько станцій. Впрочемъ, такая организація не есть исключительно гуманная; покойникъ А. Л. Ловецкой, Professor ord. Mineralogiae etc., etc., читалъ, когда еще былъ въ бренной оболочкъ, о камнъ, называемомъ болонскимъ, который, полежавши на солнцъ, затанваеть въ себъ свъть, а послъ ночью свътится (не знаю, имъють ли то же свойство болонскія собаки, но сомніваюсь). Такъ случилось и теперь. Съ какимъ-то тяжело-смутнымъ, дурно-неяснымъ чувствомъ проскакаль я 250 версть. Было начало апръля. Ока разлилась широко и величественно, ледъ только-что прошелъ. На большой наромъ поставили мою коляску, бричку какого-то коннаго офицера, ъхавшаго получать богатое наслъдство, и коробочку на колесахъ ревельскаго купца въ ваточномъ халатъ, сверхъ котораго рисовалась шинель water proof. Мы вхали вмёстё третью станцію, и я радъ былъ встрвчи съ людьми, хотя въ сущности радоваться было нечему. Офицеръ разсказывалъ съ необычайною плодовитостью свои похожденія въ Москвъ, на Мъщанской, съ казарменнымъ цинизмомъ, кричалъ въ интервалахъ ужаснымъ голосомъ: «Юрка, трубку!» и бурнымъ потокомъ словъ обдавалъ каждаго смотрителя. Купецъ ревельскій, чрезвычайно похожій на Пріапа, быль въ восторгъ отъ геройскихъ подвиговъ господина-офицера, и только съ чувствомъ глубокой грусти иногда говорилъ, качан голово: «хорошо имъть эполеты, а вотъ нашъ братъ...» Офицеръ самодовольно поглаживаль усы послъ такого замъчанія и еще громче кричалъ: «Юрка, трубку!»... А я все-таки радовался

встръчъ.

Небо было безоблачно, солнце свътило; какой-то особой запахъ весны носился надъ водою. Плавно, тихо двинулся паромъ; разливъ простирался верстъ на десять. Пръсненскіе Пруды въ Москвъ были наибольшее количество воды, видънное мною прежде. Меня поразила рѣка. Ревельскій Пріанъ вытащилъ фляжку съ ромомъ и, наливая въ крышку, подалъ мнъ, говоря: «Я кунилъ этоть ромь у Кистера, въ Москвъ; онъ очень хорошъ: пейте! вамъ долго не придется пить такого рома; тамъ продають кизлярку съ мадерой за ромъ... На водъ же не мъщаетъ». Я выпилъ, повернулся лицомъ къ водъ и оперся на загородку. «Долго не придется», новторилъ я, и неопредъленныя чувства, тяготившія грудь, вдругъ стали проясняться; грусть острая, жгучая развивалась и захватывала душу. Я пристально смотрълъ на гладкую, лоснящуюся поверхность Оки. Московскій берегъ отодвигался далъе и далъе; глубь, вода, пространство, препятствія меня отдъляли болье п болже... А тотъ берегъ — чуждый, непріязненный, изъ темно синей полосы превращался въ поля, деревни становились ближе и ближе... На московскомъ берегу у меня все: впалыя щеки старца, по которымъ недавно катилась слеза... и другія слезы... О, Боже!.. А на томъ берегу ничего для меня, ни желанія ступить на него, ни воли не ступать. Слезы полились изъ глазъ; это бываетъ рѣдко со мною, и я опять твердилъ: «долго, долго»... Ярче я никогда не чувствовалъ разлуки. Тихое, спокойное движение по водъ само собою наводить грусть; ръка была какимъ-то олицетвореніемъ препятствій и ихъ возрастанія, рубежей и ихъ непреодолимости, семи тяжелыхъ замковъ, которыми запирается все милое-Потомъ прошедшее осънило меня какъ бы въ утътеніе, п грустная. но вспрянувшая душа придавала ему чудное изящество: образъ друга, окруженный свётомъ заходящаго солнца на горахъ, образъ дёвы-утёшительницы, окруженный полумракомъ, среди надгробныхъ намятниковъ кладбища, слетёли съ неба. Когда они были близко, когда я могъ связать ихъ, они были еще люди; разлука придала имъ идеальную невещественность; они миѣ казались тогда свётлыми видёніями... И я былъ даже счастливъ въ эти минуты тяжкой грусти...

Паромъ стукнулся и остановился. Офицеръ хотълъ перескочить на берегъ прежде, нежели положили доску, и по колъни увязъ въ грязи.

- Можетъ ли что-нибудь быть ужаснѣе! кричаль онъ, бѣсясь отъ досалы.—Юрка, Юрка!
 - «Можетъ», отвъчалъ я; но ему было не до мопхъ возраженій.
 - А что? спросите вы.
- «Быть отложительнымъ глаголомъ латинской грамматики и спрягаться *страдательно*, не будучи страдательнымъ».

На Волгѣ я чуть не потонулъ, однакожъ не потонулъ, что очень хорошо.

Наконецъ, послѣ разнообразнѣйшихъ приключеній, я благополучно сталъ на якорѣ передъ городомъ Малиновымъ, и его-то именно я хочу описать. Жаль только, что у меня голова устроена какъ-то безсмысленно. Илано-Карпини, напримѣръ, разсказываетъ свое путешествіе какъ по писанному, и, сказавъ въ началѣ: dicende de cibis dicendum est de moribus, знаетъ уже, что какъ опишешь десертъ, такъ и слѣдуетъ о нравахъ. Я сколько ни думалъ, не придумалъ, въ какой порядокъ привести любопытные отрывки изъ моего журнала, и помѣщаю его въ томъ видѣ, какъ онъ былъ писанъ.

Патріархальные нравы города Малинова.

Посвящаю памяти Кука и его (въроятно) превосходительству Дюмонд'Юрвилію, Capitaine de Vaisseau.

Великія океаниды! вы не пренебрегали бѣдными островами, которыхъ все населеніе составляють гадкіе слизняки, двѣ-три итицы съ необыкновеннымъ клювомъ и столбъ, вами же поставленнный. Отвергнете ли вы городъ Малиновъ?

Тщетно искаль я въ вашихъ вселенскихъ путешествіяхъ, въ которыхъ описанъ весь кругъ свъта, чего-нибудь о Малиновъ. Ясно, что Малиновъ лежитъ не въ кругъ свъта, а въ сторону отъ него (оттого тамъ въчныя сумерки). Я не видалъ всего круга

свъта и, будто въ пику вамъ и себъ, видълъ одинъ Малиновъ 1),— посвящаю его вамъ и себя съ нимъ повергаю на палубу вашихъ землеоблетающихъ фрегатовъ.

Summâ cum pietate. etc., etc., etc.

Паромъ двигался тихо; крутой берегъ, гдѣ грѣлось на солнцѣ желтое, длинное зданіе присутственныхъ мѣстъ, едва приближался, и мнѣ было грустно — разлука или предчувствіе были причиною — не знаю: вѣроятно, то и другое. Для меня въѣздъ въ новый городъ всегда полонъ думъ, и думъ торжественныхъ; кучка людей, живущихъ тутъ, не имѣла понятія обо мнѣ, я объ нихъ; они родились, выросли, страдали и радовались безъ меня, я безъ нихъ, — и вдругъ наши жизни коснутся и, почему знать, можетъ, въ этой кучкѣ найду я себѣ друга, который проведеть меня черезъ всю жизнь, врага, который пошлетъ пулю въ лобъ. Если же и ничего этого не будетъ, все же ихъ жизни для меня раскроются, и я, какъ дѣятельный элементъ, войду въ кругъ чуждый и, почему знать, какъ подѣйствую на него, какъ онъ подѣйствуетъ на меня...

Паромъ остановился, коляску заложили, и я въбхалъ въ Богомъ-хранимый градъ Малиновъ, шагомъ тащась на гору по глинистой землѣ. Благочестивый городъ не завелъ еще гостиницы:
я остановился на постояломъ дворѣ, довольно грязномъ и чрезвычайно душномъ. Первымъ дѣломъ было раскрыть окно: низенькіе домики стоятъ по обѣимъ сторонамъ улицы, травка растетъ
возлѣ деревянныхъ тротуаровъ и изрѣдка проѣзжаютъ, особымъ
образомъ дребежжа, какія-нибудь желтыя или свѣтлозеленыя дрожки, дѣланныя до француза. «Должно быть, эти люди въ простотѣ
душевной живутъ-себѣ тихо и хорошо», думалъ я и (такъ какъ
это было на другой годъ послѣ университета) прибавилъ: «Веаtus ille qui procul negotiis—ѣздитъ по улицамъ, на которыхъ растетъ трава».

Такъ какъ идиллическое расположение не могло меня насытить, я спросиль хозяина, что у него есть събстнаго. «Есть, пожалуй, рыба славная».—Дай рыбу!—Онъ принесъ черезъ полчаса кусокъ рыбы съ запахомъ лимбургскаго сыра; я люблю, чтобъ каждая вещь пахла сама собою, и потому не могъ въ ротъ взять рыбы. — Еще что есть? — «Да ничего, пожалуй, нътъ». Хозяйка пожалъла обо мнъ и изъ другой комнаты, минутъ черезъ пять,

¹) Правдивость заставляетъ сказать, что до меня одинъ путешественникъ былъ въ Малиновъ и вывезъ оттуда экземиляръ безхвостой обезьяны, казванной имъ по-латынъ Bedovik. Она чуть не пропала между Петербургомъ и Москвой (См. «Отеч. Зап.» 1839. Т. III. Отд. III, стр. 136—245: «Бѣдовикъ»).

принесла япчницу, въ которой были куски сыромятной кожи, состоявшіе въ должности ветчины, какъ надобно думать. Дълать было нечего: я наблея янчницы. Такъ какъ дёло шло къ вечеру, а я быль разбить весенней дорогой, то и легь спать.

Черезъ недѣлю.

Я перебхалъ изъ нечистаго постоядаго двора на нечистую квартиру одного изъ самыхъ большихъ домовъ въ городъ. Домъ этоть состоить изъ разныхъ пристроекъ, дополненій, прибавленій, и отдается въ наймы разнымъ семьямъ, которыя всё пользуются садомъ, заросшимъ кранивою и лопушникомъ. Вчера вечеромь мий вздумалось посътить нашъ паркъ; я нашелъ тамъ, во-первыхъ, хозянна дома, во-вторыхъ, всъхъ его жильцовъ. Хозяинь дома — холостой человъкъ, лъть 45, отростившій большія бакенбарды для того, чтобъ жениться, болтунъ и дуракъ — дружески адресовался ко мев и тотчасъ началъ меня рекомендовать, и мив рекомендовать. Туть быль какой-то старикъ подсленый, съ Анной въ петлицъ нанковаго сюртука, отставленный членъ межевой конторы; какая-то блёдная семинарская фигура съ тёмъ видомъ ръшительнаго идіотизма, который мы преимущественно находимь у такъ называемыхъ «ученыхъ», —и въ самомъ дълъ, это былъ учитель Малиновской гимназін. Межевой членъ, поднося мнъ табакерку, спросилъ:

- «Изволите служить?»

- Теперь нътъ; дъла мои требовали, чтобъ я покинулъ службу на нѣкоторое время.
 - «А, ежели смъю спросить, имъете чинъ?»

— Титулярный совътникъ.

— «Боже мой!»—сказаль онь съ видомъ глубокаго оскорбленія:--«я думаю, вы не родились, а я уже былъ помощникомъ землемъра при генеральномъ межеваніи, и мы въ одномъ чинъ! Хоть бы при отставкъ дали ассесора! Единъ Богъ знаеть мон труды! Да за что же васъ произвели въ такой рангъ?»

Мнъ было немножко досадно; однако, уважая его лъта, я ему объясниль университетскія права. Онъ долго качаль головою,

повторяя:

— «И служи послъ этого до съдыхъ волосъ!»

Въ то время, когда участникъ генеральнаго межеванія страдаль отъ университетскихъ правъ, учитель гимназіп принялъ важный видъ и самодовольно зам'тилъ, что и онъ, на основаніи права лицъ, окончившихъ курсъ въ одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведеній, состопть въ 9 разрядф, протяпуль миф руку, какъ гражданинъ reipublicae litterarum своему согражданину. Человъкъ этотъ чрезвычайно безобразенъ, нечистъ и, судя по видимымъ образчикамъ его бълья, надобно думать, что онъ мъняеть его только въ день Кассіана-Римлянина.

- «Какого факультета-съ?»
- Математическаго.
- «И я-съ; да знаете, трудная наука, сущитъ грудь-съ; напряженіе вниманія очень нездорово; я оставилъ теперь математику и преподаю риторику»...

Хозяннъ потащилъ меня, перерывая педагога, рекомендовать дамамъ; вообще онъ старался показать, что со мною старый знакомый и, какія границы я ни ставилъ его дружбѣ, она, какъ всѣ сильныя чувства, ломала ихъ.

«Вотъ нашъ столичный гость», кричаль онъ прекрасному полу, сидъвшему подъ качелями, ръшительно похожими на висълицу.

Старуха, съ померанцовыми лентами на чепив, начала меня тотчасъ разспрашивать о Москву и о Филаремю. Потомъ звала приходить къ нимъ поскучать и, указывая на трехъ барышень, изъ которыхъ двѣ смотрѣли мнѣ прямо въ глаза, а третья, повольно хорошенькая, сидёла поодаль съ книгой, объявила, что это ея дочери. Учитель гимназін приступиль ко мнѣ съ неотступной просьбой идти къ нему чай пить. Дивясь такой необыкновенной учтивости, я пошелъ. Учитель привелъ меня въ комнату, въ которой сидъла премолоденькая женщина и, сказавъ; «Сè ма фамъ», прибавиль: «прощу безъ церемоніи трубочку Фаллеру; у насъ, ученыхъ, нътъ церемоній». Жена его премиленькая и проста до безконечности; она говорила, что ей скучно жить на свътъ, что хочеть умереть, и при этомъ дёлала такіе предсмертные глазки, что мит пришли въ голову фантазіи совершенно противоположныя смерти; впослёдствіи я уб'ёдился, что я не такъ далекъ быль отъ ея мыслей въ этой противоположности.

Конечно, все это смѣшно; но гдѣ же найдешь въ большомъ городѣ такое радушіе, гостепріимство? Люди всегда судять по наружности; что за дѣло до формы ¹)!

Черезъ двѣ недѣли.

Жаль, право, что эти добрые люди такъ сплетничають: это отнимаеть всю охоту ходить къ нимъ. Я начинаю думать, что все гостепримство ихъ основано на скукъ; они другъ другу страш-

¹⁾ Напередъ предувѣдомияемъ читателей: мы увѣрены, что непзвѣстный намъ авторъ «Зашісокъ» все предыдущее и послѣдующее въ этой статьѣ о городѣ Малшновѣ просто вы думалъ, и что ничего изъ разсказываемаго имъ въ дѣйствительности не было и быть не могло, точно такъ-же, какъ нѣтъ и никогда не бывало въ мірѣ города Малинова, котораго не найдете ни на какихъ картахъ древняго и новаго свѣта. — Ред. От. Зап. Каковъ макіавелизмъ!

но надовли, и новый прівзжій, особенно изъ столицы, для нихъ акробать, фокусникъ, обязанный занимать ихъ, разсказывать имъ новости; за это они строють ему куры, кормять на убой, поять до-нельзя, заставляють для него дочерей исть, аккомпанируя на пяти-октавномъ фортепьяно съ сковородными звуками. Когда выспросять его обо всемь, и тогда даже интересъ его далеко не печерпанъ: они начинаютъ вежми средствами узнавать о его дёлахъ, о его родныхъ; иные дълають это изъ видовъ; наприм., старуха сов'єтница, живущая противъ меня (я каждое утровижу, какъ она, повязанная платкомъ, изъ-подъ котораго торчатъ нъсколько сёдыхъ волосъ въ палецъ толщиною, осматриваетъ свое хозяйство), познакомилась у вороть съ моимъкамердинеромъ Петромъ Өелоровичемъ и спрашивала его, женатъ я или нътъ, и если н'вть, им'вю ли охоту и склонность къ браку. Въ это времи выбъгала за нею (разумъется ненарочно) дочка, рыжая и курносая, у которой не только на лидъ, но и на платът были веснушки. Другіе находять просто поэтическое удовольствіе въ томъ, чтобъ знать вск домашнія дела новоприбывшаго...

Черезъ мъсяцъ.

Выль на большомъ объдъ у одного изъ здътнихъ аристократовъ. Ужасно смъшно все безъ исключенія, начиная отъ хозянна въ свътло-яхонтовомъ фракъ и съ волосами, вычесанными вгладь, до креселъ изъ цёльнаго краснаго дерева, тяжеле 10-фунтоваго орудія, украшенныхъ позолоченной різьбою, въ виді раковинъ и амуровъ. Торжественной процессіей отправился beau monde въ столовую: губернаторъ съ хозяйкой дома впередъ; за нимъ всѣ въ почтительномъ разстояніи и въ томъ порядкі, въ какомъ чиповники пишутся въ Адресъ-Календаръ. Толпа лакеевъ въ какихъ-то чижоваго цвёта сюртукахъ, пестрыхъ галстухахъ и съ бисерными шнурками по жилетамъ, суетились за стульями, подъ предводительствомъ дворецкаго, котораго брюхо доказывало, что онъ вполнъ пользуется правомъ ъсть съ барскаго стола. Изъ-за полузатворенной двери выглядывала босая баба, од тая въ грязь, съ тарелкой въ рукъ и съ полотенцемъ. Вице-губернаторъ хотътъ-было състь за второй столъ, за которымъ помъстились барышни и молодые люди; но старуха, мать хозяина, начала кричать: «помилуйте, Сергъй Львовичь, что вы дълаете; куда это вы същ?»—Да развъ вы меня считаете старикомъ?—«Охъ, батюшка», отвѣчала старуха, «лѣтами-то ты молодъ, да чинъ-то твой старъ». Малиновъ смѣло можетъ похвастать порядкомъ распредѣленія мъсть за объдомъ.

Главное дъйствующее лицо за объдомъ былъ докторъ, сорокъ лъть тому назадъ забывшій медицину и учившійся, иятьдесять

лъть тому назадъ, въ Геттингенъ, Онъ поъхалъ въ Россію съ твердымъ убъжденіемъ, что въ Москвъ по улицамъ ходять медвъш и. занесенный въ Малиновъ неменкой страстью цытать счастья но всему бълому свъту, обжился здъсь, привыкъ и остался ложидаться, пока разстройство животной экономіи и засореніе vasorum absorbentium превратить его самого въ соръ. Этотъ старичовъ, весьма веселый и крошечнаго роста. дукаво посматривалъ сфренькими глазками, острилъ въ глаза надъ всеми, шутиль, отпускаль вольтеровскія замічанія, сміншль двусмысленностями и приводилъ въ ужасъ матеріализмомъ. При этомъ онъ умълъ принимать такой видъ кліентизма и уничиженія, такой видъ бономін и самоуничтоженія, что его вылазки даже на особу его превосходительства принимались мплостиво. Я воображаю, что подобную роль играли жилы въ замкахъ рынарей, когла они имъ были нужны. Его вев любили и онъ вевхъ любилъ. Это поколъніе родилось, выросло, занемогло, выздоровъло при немъ, отъ него; онъ не только зналъ ихъ наружность, но зналъ внутренности,--и еще больше нежели наружность и внутренности, я замътилъ это по нъкоторымъ сардоническимъ взглядамъ, отъ которыхъ пылали некоторыя щечки.

За объдомъ первый тость инли за здравіе его превосходительства, съ благоговъйнымъ чиномъ, вставши. Докторъ сложилъ руки на груди и сказалъ: «Ваше превосходительство, ну, могу ли я откровенно инть такой ужасный тостъ для меня?»... Всъ захохотали; чиновники качали головой, будто говоря «экій смъльчакъ!» и я хохоталъ, потому что въ самомъ дълъ выходка была смъшна.

Когда кончился объдъ съ своими 26-ю блюдами и 15 тостами, всъ бросились къ карточнымъ столамъ. Барышни столиились въ уголъ залы. Докторъ, слъдуя гигіеническимъ правиламъ, еще возложеннымъ въ Геттингенъ и отъ которыхъ онъ никогда не отступалъ, сталъ ходить изъ угла въ уголъ по комнатъ, всякій разъ стрълня остротами, когда подходилъ къ барышнямъ. Я ушелъ.

Черезъ полтора мѣсяца.

Жена почтмейстера, принимающая во мит родственное участіе, сказала, что на меня дуется весь городъ, зачёмъ я не дълалъ визитовъ. Безъ вины виноватъ! Мит отъ роду не приходила въ голову возможность тать въ незнакомый домъ. Завтра нанимаю я у хозяина дома дрожки (досадно только, что онт обиты кириичнаго цвета сукномъ) и ту.

На другой день.

Вездъ приняли какъ роднаго и подчивали водкой. Право, они предобрые люди! Глупы ужасно,—ну, да что-жь дълать. Дамы намекали что-то на то, что и прежде познакомился съ почтмейстер-

шей. Какое вниманіе ко мив! Немного досадно, что онв такъ дурно думають о моемъ вкусъ. Жена тощаго учителя въ тысячу разъ милъе и ближе къ натуръ. Вчера мы съ ней гуляли по саду въ лунный вечеръ. Луна и здёсь такъ же сентиментальна, какъ вездъ. Въ саду есть бесъдка, изъ оконъ которой прекрасно смотръть на луну...

Черезъ полгода.

Бъдная, жалкая жизнь! не могу съ нею свыкнуться... Пусть человъкъ, гордый своимъ достоинствомъ, пріъдеть въ Малиновъ посмотръть на тамошнее общество—и смирится. Больные въ домъ умалишенныхъ меньше беземысленны. Толпа людей, двигающаяся и влекущаяся къ однимъ призракамъ, по горло въ грязи, забывшая всякое достопиство, всякую доблесть, тесныя узкія понятія, грубыя, животныя желанія... Ужасно и смешно! Въприроде есть какая-то сардоническая логика, по которой она безжалостно развиваеть нел'вности чрезвычайно посл'ядовательно. И именно въ этихъ-то развитіяхъ тісно спаянъ, какъ въ шекспировскихъ драмахъ, глубоко-трагическій элементъ съ уморительно-смѣшнымъ. И жаль ихъ отъ души, и не удержишься отъ сибха... Бъдные люди! Они подъ тяжелымъ фатумомъ; виноваты ли они, что съ молокомъ всосали въ себя понятія нечеловъческія, что воспитапіемъ они исказили вст порывы, заглушили вст высшія потребности? Такъ же не виноваты, какъ альбиносы, которые вдыхають въ себя съверный болотный воздухъ, лишающій ихъ силъ и заражающій ихъ организмъ.

И этотъ міръ неліпости чрезвычайно послівдовательно учредился такъ, какъ Японія, и въ немъ всякое измѣненіе на сію минуту невозможно, потому что онъ твердо растеть на прошедшемъ и въренъ своей почвъ. Вся жизнь сведена на матеріальныя потребности: деньги и удобства-вотъ граница желаній, и для достиженія денегь тратптся вся жизнь. Идеальная сторона жизни малиновцевъ-честолюбіе, честолюбіе дътское, микроскопическое, вполив удовлетворяющееся приглашениемъ на обёдъ къ губерна-

тору и его пожатіемь руки.

Утромъ Малиновъ на службѣ; въ два часа Малиновъ ъстъ очень много и очень жирно, что и обусловливаеть необходимость двухъ большихъ рюмокъ водки, чтобъ сдёлать сипсходительнымъ желудокъ. Послъ объда Малиновъ почиваеть, а вечеромъ играетъ въ карты и сплетиичаеть. Такимъ образомъ жизнь наполнена, законопачена, и нътъ ни одной щелки, куда бы проръзался лучъ восходящаго солнца, въ которую бы подуль свъжій, утренній вытеръ. И, что меня выводить пуще всего изъ себя, это удушливое однообразіе, это отвратительное semper idem. Ежели танцують, все тъ же кавалеры и тъ же фраки; иногда мъняются перчатки. Какъ тецерь вижу красное платье, цвъту павленной брусники. на женъ пиректора гимназіи: это платье пятьлесять разъ мелькало перето мною въ разныхъ временахъ года, въ разныхъ обстоятельствахъ жизни, въ разныхъ танцахъ: лаже мит цамятенъ особый, померанцовый запахъ отъ него, въ родъ кюрасо. И говорять все одно и то же. Всякій вечерь играють четыре мученика пругъ съ другомъ въ бостонъ, и всякій разъ однѣ и тѣ же остроты. Олинъ скажетъ: «прищестнемъ» вмъсто шесть: «не вистъ, а вистише», и трое другихъ хохочуть всякій разъ! На вёнь это ужасно! Человъчество можетъ ходить взадъ и впередъ, Лиссабонъ проваливаться, государства возникать, поэмы Гёте и картины Брюлова являться и исчезать, —малиновцы этого не замётять. Наполеону надобно было предпринять походъ 1812 года и пройти нъсколько тысячь версть самъ-полиндиона иля того, чтобъ обратить на себя ихъ вниманіе. И то какое вниманіе! О французѣ они услышали какъ о саранчѣ; вѣдь никто не спрашиваетъ, откуда саранча и зачъмъ, повольно знать, что хлъбъ дороже будеть...

Встръчались люди, у которыхъ сначала былъ какой-то зародышъ души человъческой, какая-то возможность,—но они кръпко заснули въ жалкой, узенькой жизни. Случалось говорить съ ними о смертномъ гръхъ противъ духа—обращать человъческую жизнь въ животную: они просыпались, краснъли; душа, всиоминая свою орлиную натуру, расправляла крылья; но крылья были тяжелы, и они какъ куры только хлопали ими, на воздухъ не поднялись и продолжали копаться на заднемъ дворъ. Я глядълъ на нихъ и чуть не плакаль.

Чтобъ познакомить еще болье съ жизнію малиновцевъ, я опишу типическій день отъ 8 ч. утра до 3 ч. ночи.

Праздникъ № въ кружктъ. На дворъ трескучій морозъ, на улицахъ снъгъ на аршинъ; плохо разсвъло, а снъгъ ужъ скрицитъ подъ санями непремѣннаго члена приказа, который отправляется къ губернатору рапортовать о состояніи богоутодныхъ заведеній и поздравить его съ праздникомъ. Онъ увъренъ, что губернаторъ еще спить, что онъ его прождеть часа полтора; но въ томъ-то и сила, чтобъ придти раньше всъхъ,--почтительнъе. Сальные лакен для него не встанутъ; шубу онъ самъ снялъ, на первой ступенькъ лъстницы; калоши оставиль въ саняхъ, а сани у воротъ. Черезъ полчаса начинаютъ подъйзжать къ воротамъ чиновники низшаго разряда, —все эго, чтобъ поздравить «генерала» съ праздникомъ. Наконецъ, являются аристократы; они гордо въбхали на дворъ и смъто вошли въ переднюю въ шубахъ. Зала наполняется. Смиренно въ углу стоитъ какой-нибудь исправникъ; онъ всемъ кланяется, всехъ уважаетъ; онъ дрожитъ до техъ норъ, пока не доберется опять до своихъ лѣсовъ. Полиціймейстерь, въ мунциръ безъ эполеть, держить рапорть о благосостоянін города, правитель канцелярін съ портфелью ждетъ у дверей кабинета: исправникъ бросаетъ тоскливые взоры на эту портфель... Поголя немного, съ шумомъ влетаетъ изъ внутреннихъ дверей, notez bien cela—чиновникъ особыхъ порученій, безъ шляпы: «мы, лескать, свои люди». Онъ одинъ громко говоритъ, -- остальные шепчуть: исправникъ похупълъ, когта опъ вошелъ, и поклонился низко: чиновникъ особыхъ порученій потолстёлъ, увидѣвъ исправника, и поклонился ему наизнанку, то-есть, закинувъ голову на спину. Межиу тъмъ, компанія разпълилась на двіз части.—аристократы сами по себъ, плебен сами по себъ. Ца кто же туть аристократы? Сейчась объясню вамъ это. Есть чиновники. сидящіе за перегородкой, передъ столомъ, покрытымъ краснымъ сукномъ; эти чиновники пишутъ по одному слову на каждой бумагь, это-совтиники, арпстократы; это-люди, которые приглашаются къ объденному столу его превосходительства. Есть другіс чиновники, сидящіе по сю сторону перегородки, передъ столами. которые покрыты чернильными пятнами: эти пишуть по одному милліону словъ на кажломъ листь, но они не аристократы, ониканцелярскіе. Эти два міра нигдѣ не смѣшиваются; одинъ переходный мостъ межиу ними — секретарь: секретарь, какъ Дафайетъ, — человъкъ двухъ міровъ. Безъ него совътникамъ было бъ нечего подписывать, а канцелярскимъ списывать. Онъ и въ обшествъ пграетъ ту же ролю. Если нътъ вблизи четвертаго, его сажають съ собою за бостонь аристократы, и онъ одъваеть бълый галстухъ. А завтра, на именинахъ у паниелярского, для него составять бостонъ изъ двухъ столоначальниковъ и частнаго поистава и онъ придетъ въ сюртукъ и растегнетъ двъ пуговки на жилеть. Есть еще разные двусмысленные чиновники, Zwittergestalten, лавирующие между двумя мірами, и, смотря по обстоятельствамъ, прикръпляющеся то къ одному, то къ другому: губернскій стряпчій, правитель діль губернатора, но истинно завидное общественное положение принадлежить чиновнику особыхъ порученій. Партизанъ юридическихъ набъговъ, онъ съ презръніемъ смотрить на все, кром' губернатора; его аристократы боятся, плебен ему удивляются, всв завидують: онъ въ синемъ фракт объдаеть у губернатора, онъ отправляеть на почту письма ея превосходительства. Около міровъ губернскаго чиновничества, обращаются міры уёздныхъ; о нихъ въ другой главѣ. Внѣ всего этого, шага на два, отдельные владетельные князья: прокуроръ, директоръ гимназін, удёльный начальникъ; ихъ отношенія не такъ правильно истекають изъ главной илен, какъ въ мірѣ, полчиненномъ губернатору.

Но двери въ кабинетъ растворились, и «генералъ» вышелъ,

съ нимъ его гость и другъ, малиновскій откупщикъ, толстый мужчина съ свиными глазами. Губернаторъ Малинова говоритъ съ тремя-четырьмя изъ аристократовъ, на остальныхъ не обращаетъ вниманія, а ежели кому случится встрѣтиться съ его взглядомъ, тотъ тотчасъ кланяется, хотя-бъ въ иятый разъ; многіе выставляются, чтобъ заявить свое присутствіе. Директоръ гимназіи, пріѣхавши позже всѣхъ, поднимаетъ голосъ:

ный Макридій, будетъ говорить слово.

— «Какъ же! непремънно. Онъ хорошо говорить?»

— Ораторское искусство Цицерона, ваше превосходительство! — и дпректоръ гордо смотрить на окружающихъ.

Губернаторъ, обращаясь ко всѣмъ, произноситъ: «И вы, вѣ-роятно, въ соборъ? Надобно молиться!» и всѣ ѣдутъ въ соборъ.

Объдъ я описывалъ. Вечеромъ балъ у полицмейстера. Губернаторъ отдаетъ приказъ, чтобъ раньше собирались: онъ не лю-

битъ, когда кто-нибудь позже его прівзжаетъ.

Выспавшись, городъ начинаеть торониться, надъваеть пестрый жилеть, коричневый фракъ, надеваеть всего чаще виць-мундиръ. и вдеть на баль. Дамскій туалеть я описать не возьмусь: отъ одного описанія можетъ зарябить въ глазахъ. Плошки горять у воротъ полициейстера, въ окнахъ свёть. Въ восьмомъ часу начинаеть собираться beau monde, пьяный квартальный снимаеть шубы и прячеть ихъ, чтобъ никто не увхалъ; въ передней тъсно: четыре семинариста въ затранезныхъ халатахъ, два солдата и канцелярскій служитель въ фризовой шинели, подпоясанный бълымъ полотенцемъ, составляють оркестръ. Начинають подъвзжать экипажи и огромный возокъ почтмейстера, мыча и скрыпя, остановился у крыльца. Возокъ этотъ дёланъ около царствованія Анны Іоанновны и, отодвигаясь каждое двадцатилътіе на нъсколько соть версть оть Петербурга, оканчиваль преклонныя льта свои въ сарат почтмейстера. Встарь онъ былъ внутри покрыть мёхомъ; теперь оплышивыть и окна качаются у него, какъ зубы у старухи. Изъ возка вынимають человъкъ восемь обоего пола: какъ они помъстились съ накрахмаленными юбками, съ Станиславомъ (во весь рость) на шей у почтмейстера, съ цвътами на челъ почтмейстерши,-трудно постигнуть; но кому же и умъть укладываться, какъ не почтовымъ? Это гости почетные, и ихъ полицмейстеръ встрѣчаеть въ передней. Въ залѣстановится людно и сильно пахнетъ духами, которые *троит* а́ Paris Мусатовъ. Но ни картъ не даютъ, ни чаю, ни музыка не играетъ. Подполковница гарнизоннаго баталіона—дама отважная, дама, хорошо воспитанная въ разныхъ казармахъ и кордегардіяхъ, начинаетъ ронтать и повторяетъ

свою вѣчную фразу: «когда я стояла съ мужемъ въ Молдавіп, то самъ господарь...» Квартальный сбиваетъ гостей съ ногъ, ищетъ хозяина и кричитъ: «Ваше высокоблагородіе, его превосходительства карета изволила на мостъ въѣхать!» Иолицмейстеръ, прихрамывая отъ тарутинской пули, бѣжитъ съ лѣстипцы, чтобъ встрѣтить генерала. Генералъ пріѣхалъ съ откупщикомъ. Входитъ. Музыка гремитъ польскій, генералъ открываетъ балъ и отправляется за карточный столъ. Машина спущена. Чай подается,

карты слаются, vis-à-vis выбираются, пары становятся...

Баль провинціальный описывали тысячи разь; разум'єтся, онъ имъсть нъкоторыя сходства съ столичнымъ баломъ, такъ какъ есть же общее въ портретахъ Кутузова пѣною въ десять рублей и цѣною въ десять копеекъ. Иногда тандующіе ссорятся за мъста, и тутъ непалеко по членовредительства; есть дамы, въ томъ числъ подполковница, которая непремённо хочеть быть въ первой парё въ мазуркъ и готова шипать несчастную даму, стоящую передъ ней. Есть кавалеры, которые какъ то прищелкивають каблуками, такъ что изъ другой комнаты можно думать, что дверью кто-нибудь давить грецкіе оржхи. За то есть голыя плечи, ни чуть не хуже столичныхъ, пластически прелестныя, отъ которыхъ трудно отвести глаза, особенно стоя за стуломъ; есть свъжія лица, очень хорошенькія, но глазъ съ выраженіемъ нѣтъ. Во всемъ Малпновѣ было три глаза выразительные: два изънихъпринадлежали одной прійзжей барышні, третій—кривой болонкі губернаторской. Въ антрактахъ, между одной кадрилью и другою, наполняютъ «желупка безпонную пронасть», какъ говорить Гомеръ: дамамъ сластями, мужчинамъ водкой, виномъ и солеными закусками. Отсюда немудрено понять, что баль разгорается болье и болье. Матери семействъ, сидящія неподвижно около стінь, громче сплетничають; лица барышень пылають, юность и веселье береть верхъ надъ этикетомъ, — словомъ, балъ во всей красъ.

Въ двёнадцать часовъ губернаторъ окончилъ бостонъ, выходить въ залу и танцустъ кадриль съ хозяйкой дома. Въ Малиновъ всё танцуютъ — отъ грудныхъ дётей до столётнихъ старцевъ, такъ какъ всё играютъ въ бостонъ. Можно думать, что всё жители заражены пляской Витта. Потомъ трескъ, шумъ, sensation... «Ваше превосходительство, еще минуту!» Генералъ неумолимъ, генералъ твердъ, генералъ не ужинаетъ, генералъ въ шубъ, генералъ убхалъ. Нъсколько человъкъ, не смъвшіе танцовать съ нимъ подъ одной крышей, являются на паркетъ, убздный казначей кричитъ въ котпльонъ: «окончимъ попурями, я смерть люблю попури». Отъ попурей за ужинъ, съ ужина матери семействъ укладываются, цълуются, убзжаютъ съ дочерями; изъ дамъ остается одна подполковница, — ее не испугаешь ничъмъ: бывалой человъкъ.

Шампанское льется рѣкой. Пьяный подполковникъ умоляеть жену пройдти съ нимъ «русскую», — одни свои, чужіе разъѣхались. Канцелярскій въ фризовой повелъ смычкомъ «барыню», и салонъ незамѣтно переливается въ Перовъ трактиръ. Часа въ четыре гости разъѣзжаются. Хозяинъ доволенъ, потираетъ себѣ руки, говоря: «жаркій денекъ! удался»...

Но довольно вязнуть въ этомъ болотъ; тяжело ступать, тяжело дышать. Перейдемъ въ сферу, гдъ человъкъ отъ животныхъ отдъляется не одними зоогностическими признаками, которые упрочиваютъ за нимъ почетное мъсто возлъ обезъянъ и лемуровъ.

Вотъ одна человъческая встръча въ Малиновъ, и очень странная притомъ.

Недалеко отъ Малинова города живеть какой-то помѣщикъ, разсказы о которомъ безконечны у малиновцевъ, —богатый человѣкъ, выписывающій вещи изъ Парижа и изъ Лондона, устроившій свое имѣнье по ученому, по аграноміи, польско-прусскій дворянинъ и проч. и проч.

«Почему онъ не женится?» говорили одни. «Потому что онъ фармазонъ, а въ ихъ вѣрѣ даютъ обѣтъ монашества, масоны и ісзунты—вѣдь это одно», отвѣчали люди мудрые, вершавшіе окончательно трудные вопросы, которые изрѣдка возникали въ малиновскихъ головахъ. «Онъ скупъ, какъ кащей», говорили чиновники: «ни одного стола не сдѣлалъ во всю жизнь, пашъ братъ живетъ лучше его, не смотря на бѣдные оклады». «Онъ развратилъ своихъ крестьянъ, говорили помѣщики, до того, что они въ будни ходятъ въ сапогахъ, да еще имѣютъ у себя батраковъ». «Сумасшедшій, просто сумасшедшій», увѣрялъ иятидесятилѣтній корнетъ, обладатель 20 душъ и камердинера въ илисовыхъ панталонахъ.

Наконецъ, я познакомился съ нимъ.

Трензинскій сдѣлаль на меня самое странное впечатлѣніе. Чорть знаеть, какъ онъ съ такимъ апатическимъ равнодушіемъ умѣль соединить силу дѣйствовать на душу странными мнѣніями и парадоксами. Ему удалось нанести глухой ударъ нѣкоторымъ изъ теплыхъ вѣрованій моихъ. Да что это,—какъ я слабъ, или какъ слабы мон теорін, когда первый встрѣчный можетъ потрясти ихъ! И прескверная манера у него: онъ почти не споритъ, онъ на теоретическія разрѣшенія вопросовъ смотритъ, какъ на что-то постороннее, школьное, безъ вліянія на жизнь и безъ корня въ ней. Оттого, вмѣсто спора и опроверженія, онъ преравнодушно соглашается, и иной разъ, кажется, откровенно.

Я ему быль рекомендованъ единственнымъ человѣкомъ, имѣвшимъ съ нимъ постоянныя сношенія, докторомъ медицины, проживавшимъ въ одномъ изъ большихъ заводовъ малиновскихъ. Самъ докторъ лицо примъчательное. Имъя практику въ городъ, онъ въ нелълю раза ива являлся въ Малиновъ. Я часто встръчался съ нимъ. но никогла не слыхалъ отъ него ни олного слова. которое относилось бы къ чему нибудь постороннему для его занятій, ни даже о погод'є, о дорог'є, и проч. А между т'ємъ проническая улыбка и яркіе глаза показывали, что онъ многое могь бы сказать, и что ему дорого стоить прилѣпить языкъ къ гортани. Мей нездоровилось, и я просиль доктора забхать; онъ явился, и не знаю какъ, но у меня онъ не игралъ своей молчаливой роли. Говорять, что храмовые рыцари вездѣ узнавали другь друга, узнавали даже степень свою въ таинствахъ и силу въ орденъ при встръчъ. Это только съ перваго взгляда кажется удивительнымъ: мы вей храмовые рыцари, и свой своего узнаетъ по тремъ, четыремъ словамъ. Итакъ, нътъ ничего удивительнаго, что два выходца университета поняли тотчасъ другъ друга въ Малиновъ. Докторъ посъщалъ меня вдвое чаще, нежели требовала моя полубользнь, и сицыть вивое долье, нежели у всыхь больныхъ малиновцевъ. Онъ говорилъ съ восхищениемъ о Трензинскомъ. И однимъ добрымъ утромъ мы повхали къ нему.

Трензинскій принялъ европейски-учтиво, т. е. малиновскигрубо, безъ полуварварскаго гостепріимства, безъ трехъ четвертей варварскихъ церемоній и безъ вполнѣ варварскаго принужденія инть и феть, когда не хочется. Поговоривъ о томъ, о семъ, онъ сказаль намъ, что въ это время ежедневно осматриваетъ заводъ, и просиль или идти съ нимъ, или, пока онъ возвратится, погулять въ саду. Мы пошли на заводъ. Трензинскій человѣкъ высокаго роста, чрезвычайно худой, лицо нѣжное, очень бѣлое; эта бълизна придаетъ что то мертвое, отжившее всъмъ чертамъ, и если-бъ не большіе, съро-голубоватые глаза и улыбка на губахъ. то онъ быль бы похожъ на хорошо сдъланную восковую фигуру. И улыбка его примъчательна: сначала она кажется добродущіемъ, потомъ насмъшкой, и наконецъ, убъждаешься, что этотъ ротъ вовсе не можетъ улыбаться, а что движение губъ его болъзненносудорожное сжиманіе. Ему за пятьдесять, но онь прямь и бодрь: «чело какъ черепъ голый». Исторія его жизни, должно быть, представляеть длинную повъсть мыслей, страстей, ощущеній, коллизій; но пов'єсть кончена, а жизнь продолжается. Такъ казалось мий, когда я пристально всматривался въ его лицо; оно мий напомнило мраморные, колодные, гладкіе надгробные памятники, поставленные надъ прахомъ, въ которомъ клокоталъ когда-то огонь. Въ его кабинетъ мало книгъ: «Mémorial de S-te Helène», и какой-то трактать о черепословін лежали на столь между Тэеромъ, Берцеліусомь и книгами, прямо относящимися къ заводскому дізлу. На окнахъ стояли реторты, стлянки и банки, на стънахъ висъло

нѣсколько видовъ Венеціи, конія съ Рембрандова Яна Собѣсскаго, двѣ-три головы съ свѣтлыми усами и картина, тщательно завѣ-шанная тафтою.

Осмотрѣвъ заводъ, пришли мы въ садъ и сѣли на террасѣ; день былъ очень хорошъ, запахъ воздушныхъ жасминовъ и тополей доносился къ намъ, вмѣстѣ съ неопредѣленнымъ лѣтнимъ говоромъ природы—говоромъ, въ которомъ перепутаны и шелестъ листьевъ, и чириканье птицъ, и звуки кузнечика и жужжанье пчелъ, и еще сотня разныхъ звуковъ, свидѣтельствующихъ, что все вокругъ васъ живо, весело и радуется солнцу. Ничего нѣтъ удивительнаго, что разговоръ мало по малу оживился и сдѣлался откровеннымъ. Человѣку вовсе несвойственно безпрерывно корчить дипломата и надобно ему пройти великую школу разврата духовнаго, чтобъ подозрительно затаивать всякую мысль отъ кажлаго вновь встрѣтившагося человѣка.

- «Славно живете вы, сказалъ я; особенно въ хорошую погоду; но, признаюсь, удивляюсь, какъ вамъ не скучно въ такомъ опиночествъ и въ такой глуши!»
- Конечно, подчасъ бываеть скучно, но не думайте, чтобъ болѣе, нежели гдѣ нибудь. Скука внутри имѣетъ зародышъ. Повѣрьте, кто понялъ душею, что на свѣтѣ можетъ быть очень скучно, тому придется иной разъ поскучать, гдѣ бы онъ ни жилъ—отъ Нью-Іорка до Малинова. Вообще, здѣсь я меньше скучаю, нежели скучалъ прежде, кочуя изъ города въ городъ, здѣсь у меня положительныя занятія.
- «Я не понимаю, откровенно говоря, возможность жить и не имъть подлъ себя ни одного близкаго существа»:
- Вамъ, кажется, лътъ двадцать, а мнъ иятьдесять шесть. И не смотря на то, что есть много истиннаго въ вашемъ замъчаніи, я увбряю васъ, что человбкъ можеть всячески жить: таково устройство его, и я въ этомъ нахожу высочайшую премудрость; брошенный совершенно во власть случайности, не имъя возможности измънить внъшнее на волосъ, онъ былъ бы несчастнъйшимъ существомъ, если-бъ не доставало ему эластичности, хорошо прилаживающейся къ обстоятельствамъ. Вы не имъете новода думать, чтобъ я отталкиваль отъ себя симпатію; одинъ человъкъ образованный и съ душою, на 300 верстъ кругомъ,-это докторъ, и онъ бываетъ у меня; давно ли вы прівхали въ Малиновъ, и такъ ли, иначели, вы здѣсь, —и я чрезвычайно радъ. Но понимаю, что тотъ же случай могъ сдълать и съ тою-же безсознательностію, чтобъ вы не были въ Малиновѣ, чтобъ вмѣсто доктора, привезеннаго ко мнѣ моимъ управляющимъ безъ моего вѣдома, пріѣхалъ нѣмецъ буффъ, котораго, вѣроятно, вы видели. И я быль бы одинь. Власти надъ случаемъ у меня неть.

Что-жъ бы мий дёлать? Писать элегін—лёта ушли. Съ тёхъ поръ, какъ я поняль, что случай управляеть индивидуальнымъ существованіемъ и цёлыми семействами, я отдался ему во власть: онъ меня бросиль въ Малиновъ, тогда какъ я и имени этого города не слыхалъ прежде, могъ бы бросить въ Канаду, и я сдёлался бы тамъ куперовскимъ колонистомъ...

— «Случай, которому вы, кажется, придаете всю мощь греческаго фатума, имѣетъ вліяніе надъ внѣшнею стороной жизни, такъ сказать, надъ обстановкой. Въ томъ-то вся задача, чтобъ, подобно какому нибудь Гёте, стоять головою выше всѣхъ обстоятельствъ и ихъ покорять,—чтобъ внутренній міръ сдѣлать неза-

висимымъ отъ наружнаго».

- Гёте вы поставили не совсёмъ хорошо въ примёръ. Тотъ же случай, о которомъ я говорю, далъ ему, во-первыхъ, огромную дозу эгонзма и, во-вторыхъ, организацію холодную къ многому, волнующему другихъ. Тутъ нѣтъ побѣды, что человѣкъ, не чувствующій потребности пить вино, не пьянствуєть. Что касается до вашего внутренняго міра, все это хорошо въ стихахъ и въ трактатахъ, а не на самомъ дъдъ п не для всъхъ. Я тоже сошлюсь на Гёте: онъ чрезвычайно глубокомысленно сказалъ въ одной эпиграммъ, которая, въроятно, вамъ извъстна, что жизнь не имъеть ни ядра, ни скорлупы. Съ другой стороны, я не спорю, внутренняя полнота, особенно при экзальтаціи воображенія, можеть сиблать человбка совершенно независимымъ отъ всего внъшняго; но еще разъ-это не для всъхъ; для этого надобно имъть, можетъ быть, слабонервныхъ ролителей, вообще склонность къ сумасшествію... Въдь и сумасшествіе есть независимость отъ вижшняго міра.
- «Помилуйте! вскричать я, выведенный изъ себя результатомъ. Идеаль высшаго гармоническаго существованія кажется вамъ болёзнію близкой къ сумасшествію, и совершенную потерю божественной искры въ человѣкѣ вы сравнили съ безконечною высотою духа, пренебрегающаго всѣми сустами и гордо находящаго цѣлый міръ въ себѣ!»
- А вы сейчасъ сказали, что не понимаете жизни безъ близкаго существа. Тутъ противоръчіе. Это близкое существо будетъ внъ васъ, и случай—сквозной вътеръ, напримъръ,—можетъ отнять его у васъ: ну, что-то тутъ скажетъ ваша теорія внутренней полноты?
- «Она самоотверженно склонитъ главу и воспоминаніемъ, самою грустью зам'внитъ былое».
- Хорошо, что у ней гибкая шея. А если-бъ у нея была непреклонная выя Байрона, если-бъ самоотвержение для нея было столько же невозможно, какъ для рыбы дышать воздухомъ?.. Ко-

нечно, и спорить нечего: воздухъ славная среда для дыханія, жиденькая, прозрачная, — а рыба умираеть въ ней. Я вижу, вы большой идеалисть. Это дѣлаеть вамъ честь, идеализмъ доступень только высшимъ натурамъ; идеализмъ одна изъ самыхъ поэтическихъ ступеней въ развитіи человѣка и совершенно по илечу юношескому возрасту, который все пытаетъ словами, а не дѣломъ. Жизнь послѣ покажетъ, что всѣ громкія слова только прикрываютъ кисейнымъ покровомъ пропасти, и что ни глубина, ни ширина ихъ не уменьшается отъ того ни на волосъ. Увидите сами.

- «Увѣряю васъ, что я не позволю какому-нибудь отдѣльному, случайному факту, несчастію потрясти моихъ убѣжденій».
- Богъ знаетъ, супя по живости вашей, я не пумаю, чтобъ вы могли пасть въ незавидное положение нъмецкихъ ученыхъ, которые, выпумавъ теорію, всю жизнь ее отстанвають, хотя бы кажный цень опровергалъ ее. Конечно, это такъ невинно и безвредно, что жаль ихъ бранить, но тъмъ не менъе чрезвычайно смъщно. Они мнъ напоминають старика англичанина, съ которымъ я познакомился въ началѣ нынѣшняго вѣка. Благородный лордъ доказывалъ ясно, какъ $2 \times 2 = 4$, что Наполеона не полжно признавать императоромъ и называлъ его «генераломъ Бонапарте». Это навлекло на него разныя гоненія, и онъ долженъ быль безпрерывно оставлять городъ за городомъ; наконецъ, поселился въ Віні, туть ему было раздолье опровергать права Наполеона. На бъду, генералъ Бонапарте сталъ близокъ австрійскому императору, лордъ покинулъ Австрію, увёряя, что ежели весьміръ признаетъ Бонапарте императоромъ, то онъ одинъ станетъ противъ всего міра и скоръй положить свою съдую голову на плаху, нежели назоветь его государемъ. Почтенный человъкъ! Я всегда съ любовью протягиваль ему руку; душа отдыхала, находя въ ту эпоху флюгерства человъка съ такимъ мощнымъ убъжденіемъ, а бывало, слушая его, внутрение смѣешься, переносясь въ Парижъ, гдѣ короли ждутъ большаго выхода и склоняются передъ Наполеономъ.
- «Всякая крайность имъеть свою смъшную сторону. Но я никогда не думаль, чтобъ толпа, погруженная въ ежедневность и направляемая ею, не знающая, что она завтра будеть дълать, и которой вся жизнь опредъляется внъшнимъ стеченіемъ обстоятельствъ, была ближе къ назначенію человъка, нежели гордый духъ, отвергающій всякое внъшнее вліяніе и непокоряющійся ничему имъ непризнанному».
- То и другое, кажется, дурно. Толна виновата тѣмъ, что она не понимаеть, почему она такъ живетъ; а гордый духъ, говоря вашими словами, виноватъ вдвое тѣмъ, что, умѣя понимать, не

признаеть очевидной власти обстоятельствъ и тратитъ силу свою на отстанваніе мъста, то-есть на чисто отрицательное дъло. Не лучше ли, куда бы и какъ бы судьба ни забросила, стараться дълать maximum пользы, пользоваться всъмъ настоящимъ, окружающимъ,—словомъ, дъйствовать въ той сферъ, въ которую пспалъ, какъ бы ни попалъ.

— «Извините, я не могу удержаться отъ вопроса, какъ вы, напримъръ, попали на мысль сдълаться малиновскимъ помъщк-

комъ? Этотъ вопросъ идеть прямо къ вашимъ словамъ».

— Моя жизнь нейдеть въ примъръ. Для того, чтобъ быть брошену такъ безцъльно, такъ нельпо въ міръ, какъ я, налобенъ цълый рядъ исключительныхъ обстоятельствъ. Я никогда не зналъ ни семейной жизни, ни ролины, ни обязанностей, которыя вростають въ сердце съ колыбели. Но замътьте, я нисколько не быль виновать, я не навлекь на себя этого отчужленія оть всего человъческаго: обстоятельства устроили такъ. Когда-нибудь я разскажу больше; теперь только скажу о прідзду сюда. Въ 1815 году жилъ я въ Карлсбадъ, это время мнъ очень памятно, я никогда не страдалъ такъ, какъ тогда. Побънители Франціи возвращались гордые и ликующіе. Политическія партін кинфли: одни хвалились своими ранами, другіе своими проектами: все было занято: побъжденные слезами, униженные воспоминаніями, но все же заняты. Я одинъ былъ посторонній во всемъ, какимъ-то дальнимъ родственникомъ человъчества... Это давило меня, я былъ еще помоложе. Всъ больные разъвхались; я оставался въ Карлсбадь, потому что не могь придумать куда вхать и зачымь. Жилъ цълую зиму, пришла весна, явились новые больные, и я вмъсть съ ними принялся пить Шпрудель. Я вель большую нгру и, вфрыте или нфть, съ радостью видфль, какъ мое богатство утекало широкою ръкой, предвидя, что, наконецъ, нужда ръшить вопрось о томъ, что мив делать. Разъ, въ казпно, мечу я банкъ; русскій князь, бросавшій деньги горстями и дѣлавшій удивительныя глупости, о которыхъ, я полагаю, до сихъ поръ говорять въ Карлебадъ, подошелъ къ столу.—«Сколько въ банкъ?» спросиль онъ.—Тысяча червонцевъ.—«Не стоить и руки марать», замѣтилъ князь съ презрптельной улыбкой. Это взоѣсило меня.— Князь! закричалъ я ему вслъдъ:-я отвъчаю за банкъ, сколько бы вы ни выиграли; воть небольшая гарантія, —и бросилъ на столъ вексель въ огромную сумму.-«Теперь посмотримъ», сказаль князь, вынуль карту и поставиль на нее тысячу червонцевъ. Нѣсколько игроковъ и больныхъ, стоявшихъ возлѣ, взглянули на него, какъ на великаго человъка. Этого то онъ и хотълъ, и за это заплатилъ тысячу червонцевъ, потому что карта была убита. Игра завязалась, и довольно сказать, что въ пять часовъ

утра князь дрожащимъ мёломъ сосчиталъ 630,000 франковъ, два раза провериль и съ иятнами на липе признался, что у него такой суммы теперь нътъ. На другой день онъ мнъ присладъ билеть въ 130,000 франковъ и препложение заложить свое имѣние въ Малиновской губерніи. Новая мысль блеснула у меня въ головъ, я просиль за долгъ уступить имъніе, онъ обрадовался, п я сдёлался властителемъ и обладателемъ 550 душъ въ Малиновской губернін. Въ 1818 году, я прібхаль съ княземъ въ Россію и, по окончаній нужныхъ формъ, явился сюда. Цесять літь я работаль денно и ношно. Представьте, не зная ни слова по-русски, булучи незнакомъ съ нравами, виля, что мон нововведенія принимаются съ ропотомъ и неудовольствіемъ, —я, разомъ ученикъ и распорядитель, внадаль въ грубъйнія погрышности, супиль о русскомъ мужичкъ à la Robert Owen, и въ то же самое время усердно занимался химіей и завонскими п'ялами. Это счастлив'яйшіе голы моей жизни! Въ 1829 г. побхалъ я посмотръть Петербургъ, пробыль тамь зиму, соскучился и воротился сюда. Это была пля меня минута, полная наслажденія. Туть только увильть я разомъ плоды десятильтнихъ трудовъ. Поля монхъ крестьянъ отличались отъ сосъднихъ, какъ небо отъ земли: ихъ одежда... ну, словомъ, ихъ благосостояніе тронуло меня до слезъ. Съ тъхъ поръ продолжаю я еще ревностные устранвать мое имыніе, хочу осущить болота, увеличить заводъ, и меня тъшитъ явное улучшение того клочка земли, который судьба мнѣ дала. Я работаю, а между тъмъ жизнь идеть, да идеть. Et, c'est autant de pris sur le diable!

— Прошу въ столовую, прибавилъ онъ, вставая и принимая опять свой холодный видъ, котораго онъ было лишился, разска-

зывая свою агрономическую поэму.

Я остался въ раздумьи отъ этой встръчи. Въ умномъ хозяинъ моемъ не было ничего мефистофельскаго, ни бальзаковскихъ уеих fascinateurs, ни лихорадочнаго взора героевъ Сю, ни... ни всъхъ необходимыхъ діагностическихъ и прогностическихъ признаковъ разочарованныхъ, мизантроповъ, бъснующихся девятнадцатаго въка. Совсъмъ напротивъ, въ немъ было много добраго, а между тъмъ, его слова производили какое-то тяжкое, грустное впечатлъніе, тъмъ болъе, что въ нихъ была доля истины и что онъ жизнію дошелъ до своихъ результатовъ.

Послѣ обѣда люди дѣлаются вообще гораздо добрѣе. Это одно изъ тѣхъ убійственныхъ замѣчаній, которыя глубоко оскорбляютъ душу мечтательную, а между тѣмъ оно до того справедливо, что Гомеръ въ «Иліадѣ» и «Одиссеѣ» и Шекспиръ, не помню гдѣ, говорятъ объ этомъ. Итакъ, мы сдѣлались добрѣе и сѣли на турецкій диванъ, въ маленькой угольной комнатѣ, потому что солнце свѣтило теперь прямо на террасу. На стѣнѣ висѣло нѣсколько

эстамповъ, я всталъ, чтобъ посмотрѣть ихъ, и остановился передъ гравюрой съ Раухова бюста Гёте. Господи, какъ въ преклонныя лѣта сохранилась такая мощная и величественная красота! Эта голова могла бы послужить тиномъ для греческаго ваятеля. Это чело, возвышенное и мощное по самой формѣ, эти спокойныя очи, эти брови... Самое слабое старческое тѣло придавало глубокій смыслъ его лицу, смыслъ, понятый тѣмъ изъ эго современниковъ, который по многому могъ стать возлѣ него. «Какъ одежда восточнаго жителя едва держится на его станѣ и готова упасть съ илечъ, такъ и тутъ вы видите, что тѣло готово отнасть, а духъ воспрянуть во всей славѣ и красотѣ своей безтѣлесности» ¹). Я долго стоялъ передъ изображеніемъ поэта и спросилъ у Трензинскаго:

— «Видали-ли вы Гёте и похожъ ли этотъ бюстъ?»

— Два раза, отвѣчалъ онъ.—Да, онъ въ иныя минуты былъ похожъ на свой бюстъ. Раухъ точно геніально умѣлъ схватить высшее выраженіе его лица.

— «Разскажите, пожалуйста, гдѣ и какъ вы его видѣли. Я страстно люблю разсказы очевидцевъ о великихъ людяхъ».

- Я не думаю, чтобъ вамъ понравился мой разсказъ; вы мечтатель, вамъ въроятно Гёте все представляется молніеноснымъ Зевсомъ, глаголющимъ міровыя истины и великія слова. Я, напротивъ, никогда не умѣлъ уничтожаться въ поклоненіи и адуляціи знаменитыхъ индивидуальностей, и смотрѣлъ на нихъ безъ заготовленныхъ теорій, и большею частію видѣлъ, что онѣ—sont се que nous sommes, имѣютъ лицевую сторону и изнанку. Вы, поэты, именно изнанки-то и не хотите знать, а безъ нея индивидуальность не полна, не жива. Вотъ вамъ моя встрѣча послѣ предисловія, за которое прошу не сердиться.
- Я былъ мальчикомъ лётъ 16, когда видёлъ его въ первый разъ. Въ началё революціи отецъ мой былъ въ Парижё и я съ нимъ. Régime de terreur какъ-то проглядывалъ сквозь сладкоглаголивую жиронду. Люди совершенно безумные, съ растренанными волосами и въ сальныхъ кафтанахъ, показывались въ нарижскихъ салонахъ и проповёдывали громко уничтоженіе всёхъ прежнихъ общественныхъ связей. Иностранцамъ было опасно ёхатъ и еще опаснёе оставаться. Отецъ мой рёшился на первое, и мы тайкомъ выбрались изъ Парижа. Много было хлопотъ, пока мы доёхали до Эльзаса. Если-бъ я былъ настоящій пруссакъ, я издаль бы непремённо толстую книгу на оберточной бумагѣ подъ заглавіемъ «Ausserordentliche Reise-Abenteuer eines Flüchtlings aus der Hauptstadt der Franzosen zur Zeit der grossen Umwälzung—Anno 1792 nach der Erlösung etc.». Въ самомъ

¹⁾ Гегель въ «Эстетикъ».

пълъ, мы нъсколько разъ подвергались опасности быть принятыми за переметчиковъ. Наконецъ, кривой мальчишка, провожавшій насъ черезъ лісь, указаль вдали огни и, сказавь: V'la vos chiens de Brunswick, взяль объщанный червонець и скрылся въ лѣсу, крича во все горло «са ira!» Насъ остановили на ивии. и, пока фельпфебель ходиль съ наспортомъ, не знаю куда, я съ унивленіемь смотрёль на солдать. Карауль быль занять австрійнами: я такъ привыкъ къ живымъ одущевленнымъ физіономіямъ французовъ, что меня поразила холодная нёмота этихъ лицъ, съ свътлыми усами и въ бълыхъ мундирахъ. Неподвижно, угрюмо стояли они, точно загрязнившіяся статуи командора изъ «Донъ-Жуана». Насъ повели къ генералу, и послѣ разныхъ допросовъ и разспросовъ позволили вхать далбе, но возможности никакой не было лостать лошалей: всё были взяты поль армію, для которой тогда наступило самое критическое время. Армія гибла отъ голода и грязи. На другой день пригласилъ насъ одинъ владътельный киязь на вечеръ. Въ маленькой залъ, принадлежавшей сельскому священнику, мы застали несколько полковниковъ, какъ вей нёмецкіе полковники, съ сёдыми усами, съ видомъ честности и неслишкомъ большой пальновидности. Они грустно курили свои сигары. Два, три адъютанта весело говорили по-французски, коверкая германизмомъ каждое слово; казалось, они еще не сомнѣвались, что имъ прійдется попировать въ Palais Roval и тамъ оставить свой здоровый цвёть лица, завётный локонь, подаренный при разлукъ, и нъмецкую способность краснъть отъ двусмысленнаго слова. Вообще было скучно. Довольно поздно явился еще гость во фракъ, мужчина хорошаго роста, довольно илотный, съ гордымъ, важнымъ видомъ. Всё привётствовали его съ величайшимъ почтеніемъ: но его взоръ не быль привътливъ, не вывываль дружбы, а благосклонно принималь привычную дань вассальства. Каждый могъ чувствовать, что онъ не товарищъ ему. Князь предложиль кресло возлё себя; онь сёль, сохраняя ту особенную Steifheit, которая въ крови у нѣмецкихъ аристократовъ. «Нынче утромь», сказаль онь послѣ обыкновенныхъ привѣтствій: «я имътъ необыкновенную встръчу. Я ъхалъ въ каретъ герцога, какъ всегда, вдругъ подъбзжаеть верхомъ какой-то военный, закутанный шинелью отъ дождя. Увидевъ веймарскій гербъ и герцогскую ливрею, онъ подъбхаль къ каретъ и-представьте взаимное наше удивленіе-когда я узналь въ военномъ его величество короля, а его величество нашель вмёсто герцога — меня. Этотъ случай останется у меня долго въ памяти».

Разговоръ обратился отъ разсказа чрезвычайной встрѣчи къ королю и естественно перешли къ тѣмъ вопросамъ, которые тогда занимали всѣхъ бывшихъ въ залѣ, т. е. къ войнѣ и политикѣ.

Князь подвелъ моего отца къ динломату и сказалъ, что отъ моего отца онъ можетъ узнать самыя новыя новости.

«Что дѣлаетъ генералъ Лафайетъ и всѣ эти антропофаги?»

спросиль дипломать.

— Лафайетъ, отвъчалъ мой отецъ, неустрашимо защищаетъ короля и въ открытой борьбъ съ якобинцами.—Дипломатъ покачалъ головою и выразительно замътилъ:

«Это одна маска. Лафайеть, я почти увърень, за одно съ

якобинпами».

— Помилуйте! возразиль мой отецъ:—да съ самаго начала у нихъ непримиримая вражда.—Дипломатъ пронически улыбнулся

и, помолчавъ, сказалъ:

«Я собирался вхать въ Парижъ года два тому назадъ, но я хотълъ видъть Парижъ Людовика Великаго и великаго Аруэта, а не орду гунновъ, неистовствующихъ на обломкахъ его славы. Можно ли было ожидать, чтобъ буйная шайка демагоговъ имъла такой успъхъ? О, если-бъ Неккеръ въ свое время принялъ иныя мъры, если-бъ Людовикъ XVI послушался не ангельскаго сердца своего, а преданныхъ ему людей, которыхъ предки столътія процвътали подъ лиліями, намъ не нужно бы было теперь подниматься въ крестовый походъ! Но нашъ Готфредъ скоро образумитъ ихъ, въ этомъ я не сомнъваюсь, да и сами французы ему помогутъ; Франція не заключена въ Парижъ».

Князь былъ ужасно доволенъ его словами.

Но вто не знаетъ откровенности германскихъ воиновъ, да и воиновъ вообще? Ихъ разрубленныя лица, ихъ прострѣленныя груди даютъ имъ право говорить то, о чемъ мы имѣемъ право молчать. По несчастію, за княземъ стоялъ, опершись на саблю, одинъ изъ сѣдыхъ полковниковъ, въ наружности было видно, что онъ жизнь провелъ съ 10 лѣтъ на бивакахъ и въ лагеряхъ, что онъ хорошо помнитъ стараго Фрица; черты его выражали гордое мужество и безусловную честность. Онъ внимательно слушалъ слова дипломата и, наконецъ, сказалъ:

— Да неужели вы не шутя върите до сихъ поръ, что французы насъ примуть съ распростертыми объятіями, когда всякій день показываетъ намъ, какой свиръпо-народный характеръ принимаетъ эта война, когда поселяне жгутъ свой хлѣбъ и свои дома для того, чтобъ затруднить насъ? Признаюсь, я не думаю, чтобъ намъ скоро пришлось обращать Парижъ на путь истинный, особенно, ежели будемъ стоять на одномъ мѣстѣ.

«Полковникъ не въ духѣ, возразилъ дипломатъ и взглянулъ на него такъ, что мнѣ показалось, что онъ придавилъ его ногой.—Но я полагаю, вы знаете лучше меня, что осенью, въ грязь, невозможно идти впередъ. Въ полководцѣ не благородная

запальчивость, а благоразуміе дорого; вспомните Фабія Кунктатора».

Полковникъ не струсилъ ни отъ взора, ни отъ словъ дипломата:

— Разумъ́ется, теперь нельзя пдти впередь, да и назадъ трудно. Впрочемь, въдь осень въ нынѣшнемъ году не первый разъ во Франціи, грязь можно было предвидъть. Я молю Бога, чтобъ дали генеральное сраженіе; лучше умереть передъ своимъ полкомъ съ оружіемъ въ рукъ, отъ пули, чъмъ сидъть въ этой грязи...—И онъ жалъ рукою эфесъ сабли. Началось шептанье и издали слышалось: «ja, ja, der Obrist hat recht... Wäre der grosse Fritz... oh! der grosse Fritz!» Дипломатъ, улыбаясь, обернулся къ князю и сказалъ:

«Въ какой бы формъ ни выражалась эта жажда побъдъ воиновъ тевтонскихъ, нельзя ее видъть безъ умиленія. Конечно, наше настоящее положеніе не изъ самыхъ блестящихъ, но вспомнимъ, чъмъ утъшался Жуанвиль, когда былъ въ плъну съ Святымъ-Лудовикомъ: Nous en parlerons devant les dames».

— Покорно благодарю за совтть! возразиль неумолимый полковникъ.—Я своей жент, матери, сестрт (если-бъ онт у меня были) не сказаль бы ни слова объ этой камианіи, изъ которой мы принесемъ грязь на ногахъ и раны на синнт. Да и объ этомъ, пожалуй, нашимъ дамамъ прежде насъ разскажуть эти чернильные якобинцы, о которыхъ пасъ увтряли, что они исчезнутъ какъ дымъ при первомъ выстртать.

Дипломать поняль, что ему не совладать съ такимъ соперникомъ, и онъ, какъ Ксенофонтъ, почетно отступиль съ следующими 10,000 словами:

«Міръ политики мий совершенно чуждъ, мий скучно, когда я слушаю о маршахъ и эволюціяхъ, о преніяхъ и мёрахъ государственныхъ. Я не могъ никогда безъ скуки читать газетъ; все это что-то такое преходящее, временное, да и вовсе чуждое по самой сущности намъ. Есть другія области, въ которыхъ я себя понимаю царемъ. Зачёмъ же я пойду безъ призыва, дюжиннымъ резонёромъ, вмёшиваться въ дёла, возложенныя провидёніемъ на избранныхъ имъ нести тяжкое бремя управленія? И что миё за дёло до того, что дёлается въ этой сферё!»

Слово «дюжинный резонёръ» попало въ цёль: полковникъ сжалъ сптару такъ, что дымъ у нея пошелъ изъ двадцати мѣстъ, и впрочемъ довольно спокойно, но съ огненными глазами сказалъ:

— Воть я, простой человѣкъ, нигдѣ себя не чувствую ни царемъ, ни геніемъ, а вездѣ остаюсь *человюкомъ*, и помню, какъ еще будучи мальчикомъ, затвердилъ пословицу: Homo sum et

nihil humani a me alienum puto. Двѣ пули, пролетѣвшія сквозь мое тѣло, подтвердили мое право вмѣшиваться въ тѣ дѣла, за которыя я плачу своею кровью.

Дипломатъ сдёлалъ видъ, что онъ не слышитъ словъ полковника; къ тому же тотъ сказалъ это, обращаясь къ своимъ со-

сфлямъ.

«И здёсь, продолжаль дипломать, среди военнаго стана, я такъ же далекъ отъ политики, какъ въ веймарскомъ кабинетё».

— А чёмъ вы теперь занимаетесь? спросиль князь, едва скрывая ралость, что разговоръ перемённися.

«Теорією цвътовъ; я пить счастіе третьяго дня читать от-

рывки свътлъйшему дядюшкъ вашей свътлости».

Стало, это не дипломать. «Кто это»? спросиль я эмигранта, который сидёль возлё меня и, не смотря на бивачную жизнь, нашель средство претщательно нарядиться, хотя и въ короткое платье. «Ah, bah; c'est un celèbre poête allemand M-r Koethe, qui a écrit, qui a écrit... ah, bah;... la Messiade»!

Такъ это-то авторъ романа, сводившаго меня съ ума: «Werthers Leiden», подумаль я, улыбаясь филологическимъ знаніямъ

эмигранта. Вотъ моя первая встрвча.

Прошло насколько лать. Мрачный терроръ скрылся за блескомъ побёдъ. Дюмурье, Гошъ и наконецъ Бонапартъ поразили міръ удивленіемъ. То было время первой птальянской кампаніи, этой юношеской поэмы Наполеона. Я былъ въ Веймарѣ и пошелъ въ театръ. Давали какую-то политическую фарсу Гётева сочиненія. Публика не смѣялась, да и по правдѣ насмѣшка была натянута и плосковата. Гёте сидѣлъ въ ложѣ съ герцогомъ. Я издали смотрѣлъ на него и отъ всей души жалѣлъ его; онъ понялъ очень хорошо равподушіе, кашель, разговоры въ партерѣ, и испытывалъ участь журналиста, попавшаго не въ тонъ. Между прочимъ, въ партерѣ быль тотъ же полковникъ; я подошелъ къ нему; онъ узналъ меня. Лицо его исхудало, какъ-будто лѣтъ десять мы не видались, рука была на перевязкѣ.

— Что же Гёте тогда толковаль, что политика ниже его, а теперь пустился въ памфлеты? Я дюжинный резонёрт и не понимаю тыхь людей, которые хохочуть тамъ, гдъ народы обливаются кровью, и, открывши глаза, не видять, что совершается

перель ними. А, можеть быть, это право генія...

Я монча пожать его руку и мы разстались. При выходѣ изъ театра, какіс-то три, вѣроятно, пьяные бурша съ растренанными волосами въ честь Арминія и тацитова сказанія о германцахъ, съ портретомъ Фихте на трубкахъ, принялись свистать, когда Гёте садился въ карету. Буршей повели въ полицію, я пошелъ домой и съ тѣхъ поръ не видалъ Гёте.

- «Что вы хотите всёмъ этимъ сказать?» спросиль я.
- Я хотълъ исполнить ваше желаніе и разсказать мою встрѣчу; туть нѣть внѣшней цѣли, это факть. Я видѣль Гёте такъ, а не иначе; другіе видѣли его иначе, а не такъ,—это дѣло случая.

«Но вы какъ-то умъли сократить колоссальную фигуру Гёте,

даже умбли покорить его какому-то полковнику».

- Что нибуль одно: или вы думаете, что и лгу. въ такомъ случав у меня нёть документовь, чтобь убёдить вась въ противномъ, или вы върите мнъ,—и тогда вините себя, ежели Гёте живой не похожъ на того, котораго вы создали... Всъ мечтатели **УВЛЕКАЮТСЯ БЕЗУСЛОВНО АВТОРИТЕТАМИ, СТРОЯТЪ СЕБЪ ВЪ ГОЛОВЪ** фантастическихъ великихъ людей, одностороннихъ и, слъдовательно, невърныхъ оригиналамъ. Лафатеръ, читая Гёте, составиль плею его липа по своей теорін; черезъ нѣсколько времени они увидълись, и Лафатеръ чуть не заплакалъ: Гёте живой нисколько не быль похожь на Гёте а priori. Я вамъ предсказывалъ, что вы будете недовольны моимъ разсказомъ. Въ томъ-то и дъло, что все живое такъ хитро спаяно изъ многаго множества элементовь, что оно почти всегда стороною или двумя ускользаеть отъ самыхъ многообъемлющихъ теорій. Отсюда рядъ ошибокъ. Когла мы говоримъ о римлянахъ, у насъ все мелькаетъ передъ глазами театральная поза, цивическія добродітели, форумъ. Будто жизнь римлянъ не имъла еще множества другихъ сторонъ! Такъ поступаютъ и съ историческими людьми. Для идеалистовъ задача: какъ Рембрандтъ могъ быть скупцомъ и великимъ художникомъ, какъ Тиверій могъ быть жестокимъ и между тъмъ глубокомысленнымъ, проницательнымъ монархомъ. Живая индивидуальность—вотъ порогъ, за который цёпляется ваша философія, и Шекспиръ, безсомнінно, лучше всіхъ философовъ, отъ Анаксагора до Гегеля; понималь своимъ путемъ это необъятное море противоръчій, бореній, добродътелей, пороковъ, увлеченій, прекраснаго и гнуснаго, -- море, заключенное въ маленькомъ пространствъ отъ діафрагмы до черепа и спаянное неразрывно въ живой индивидуальности... Но довольно философствовали, пойдемте гулять; погода прекрасная, жаль въ комнатъ сидъть.
- «Вътомъ то вся великая задача, сказалъ я, вставая, чтобъ умѣть примирить эти противорѣчія и боренія и соткать изъ нихъ одну гармоническую ткань жизни и эту-то задачу разрѣшитъ намъ Германія, потому что она ее громко выговорила, и одной ею и занимается».
- Дай, Богъ, усивха! Но я боюсь, чтобъ не повторилась исторія отыскиванія всеобщаго лекарства отъ бользней, которое занимало Парацельса и умивішія головы того въка. Спору ньтъ, всякое примиреніе хорошо, и мы всь чьмъ-нибудь примиряемся

съ жизнію: безъ этого пришлось бы застрёлиться. Философы примиряются съ несчастіями, слёпо и грубо поражающими ежедневно индивидуальность мыслыо о ничтожности индивидуума. Мистикъ примиряется съ этими же несчастіями, полагая, что ими искупается паденіе Люцифера, и что за это будетъ награда;.. по крайней мѣрѣ, это миѣніе пе такъ ледяно-холодно. А потомъ и человѣкъ чѣмъ-нибудь да примириется съ жизнію: одинъ — тѣмъ, что онъ не вѣритъ ни въ какое примиреніе, и это выходъ; другой, какъ вы, напримѣръ, вѣря, что вы убѣждены разумомъ въ томъ, во что вы вѣрите; я — тѣмъ, что будто бы дѣлаю существенную пользу, копая землю. Повѣръте, всѣ мы дѣти и, какъ дѣти вообще, играемъ въ игрушки и принимаемъ куклы за дѣйствительность. Мнѣ теперь пришелъ на память лордъ Гамильтонъ, ѣздившій по Европѣ и Азіи отъискивать идеалъ женской красоты между статуями и картинами. Знаете, чѣмъ онъ кончилъ?

- «Нѣтъ».
- Тѣмъ, что женился на доброй, бѣлокуренькой ирландкѣ и кричалъ: «нашелъ! нашелъ!» Ха, ха, ха!.. Ей Богу, дѣти! Но время идетъ. Пойдемте.

Мы пошли.

Примъчание нашедшаго тетрадь. — Считаю себя обязаннымъ, предупреждая недоразумьніе, сказать нъсколько словь о разсказъ Трензинскаго относительно Гёте. Больно было-бы мнв думать, что разсказъ этотъ сочтутъ мелкимъ камнемъ, брошеннымъ въ великаго поэта, передъ которымъ я благоговъю. Въ Трензинскомъ преоблачаеть скентипизмъ d'une existence manquée, это равно ни скентинизмъ превнихъ, ни скептицизмъ Юма, а скептицизмъ жизни, убитой обстоятельствами, безпредёльно грустный взглядъ на вещи человъка, котораго грудь покрыта ранами незаслуженными, человъка, оскорбленнаго въ благороднъйшихъ чувствахъ, и между тъмъ человъка полнаго силы (eine kernhafte Natur). Я разскажу со временемъ всю жизнь его, и тогда можно будеть увидъть, какъ онъ дошелъ до своего воззрѣнія. Трензинскій-человѣкъ по преимуществу практическій, всего менбе художникъ. Онъ могъ смотрёть на Гёте съ такой бълной точки, да и должень ли былъ вселить Гёте уваженіе къ себъ, подавить авторитетомъ человъка, который рядомъ бълствій дошель до неуваженія лучшихъ упованій своей жизни? Съ другой стороны, люди практической сферы ръдко умьноть свой острый умь прилагагь къ сужденію о художникахъ и о ихъ произведеніяхъ. Фридрихъ II, прочитавъ «Геца фон-Берлихингена», сказалъ: «Encore une mauvaise tragédie dans le genre anglais!»—Гёте простиль ему это сужденіе оть всей души.

('верхъ того, не увлекаясь авторитетами, мы должны будемъ сознаться, что жизнь германскихъ поэтовъ и мыслителей чрезвы-

чайно одностороння, я не знаю ни одной германской біографій, которая не была бы пропитана филистерстволю. Въ нихъ, при всей космополитической всеобщности, не достаетъ цълаго элемента человъчности, именно практической жизни, и хоть они очень много иншутъ, особенно теперь, о конкретной жизни, но уже самое то, что они пишутъ о ней, а не живутъ ею, доказываетъ ихъ абстрактность. Просимъ вспомнить для того, чтобъ разомъ увидъть все необъятное разстояніе между ими и людьми жизни, біографію Байрона... Трензинскій, конечно, не могъ симпатизировать съ германцами и, какъ человъкъ, въ которомъ нъкогда была развита именно та сторона жизни, которая вовсе не развита у нъмцевъ, не могъ съ нею и примириться за другія стороны.

Лициній и Вильямъ Пенъ.

SCENARIO

ДВУХЪ ДРАМАТИЧЕСКИХЪ ОНЫТОВЪ.

I.

Лициній ¹).

Первая сцена.—Римъ во времена Нерона. Празднество новаго года у Пизона, нышная оргія à l'antique; у Пизона собрадись сановитые патриціи, художники, поэты, поклонники старины, представители славнаго прошедшаго, недовольные, легитимисты римской республики. Они увърены, что императорство не устоитъ и въ типи работають, чтобъ низвергнуть тирана. У нихъ есть заговоръ, въ немъ участвують избранные изъ избранныхъ, самъ Пизонъ, поэтъ Луканъ, строгій, стоическій римлянинъ древнихъ дней Тразей и восторженная куртизана Эпихарисъ, которая не уступить ему въ энергіи и героизмъ.

Пиръ пдетъ своимъ порядкомъ: тосты, желанія, политическіе намеки, цвѣты, вино, яства. Въ общемъ разгулѣ не участвуетъ одинъ молодой человѣкъ, больной, нѣсколько юродивый, илемянникъ Ипзона, Лициній. Онъ недавно возвратился изъ Аониъ; родные замѣтили, что онъ съ тѣхъ поръ сталъ заговариваться. Вызванный изъ своихъ мечтаній, Лициній на веселый тостъ отвѣчаеть печальной рѣчью. Онъ не вѣритъ въ воскресеніе древняго

¹¹ Вслѣдъ за «Записками молодаго человъка», номѣщаю я Scenario монхъ несчасныхъ драматическихъ онытовъ, безжалостно убитыхъ Бѣлинскимъ (XVI глава I части «Былого и Думы»), который просилъ меня переписать стихи въ строку, чтобы нельзя было замѣтить, что они писаны рубленой прозой, на манеръ стиховъ. Сцены эти относятся къ 1838 г.

Рима п, еще хуже, онъ и не желаетъ его. На Римѣ лежитъ грѣхъ, грѣхъ Ромула; какъ бы, вызывая прошедшее изъ могилы, не вызвать Рема—голоднаго, одичалаго въ подземной жизни своей! Его ждутъ не граждане Рима, не патриціи, его ждутъ безправные нокрытые рубищемъ, чернь спартаковская.

Гости привыкли къ бреду Лицинія, но тѣмъ не меньше на разсвѣтѣ, послѣ оргіи, слова его дѣйствуютъ на нервы. Пиръ раз-

ствоивается.

Вторая сцена.—Въ саду Низоновской виллы. Лициній очень болень, его мучить тоска, онъ вельть себя положить подъ деревомь. Возяв иего другь его первой молодости, юноша, блестящій умомь и красотой, пылающій здоровьемь, Мевій. Мысль Лицинія занята смертью; какъ настоящій римлянинъ, онъ философствуеть, чувствуя ея приближеніе. Печалень его взглядъ. Онъ видить исно, какъ всъ его близкіе несутся въ неминуемую гибель, онъ знаеть о ихъ заговоръ, онъ не върить въ его усивхъ, и вообще не върить, чтобъ Римъ можно было воскресить; его часъ насталъ, и спасти его нельзя и не нужно.

Мевій съ нимъ согласенъ: онъ ясно понимаетъ, что тъхъ нравственныхъ силъ, которыя поддерживали древнюю республику, нътъ больше. Онъ тоже не видить выхода въ смыслъ реставраціи. но онъ находить безумнымъ страдать о вещахъ, которыхъ нельзя неремѣнить; не остается ли человѣку еще другая жизнь, чисто личная, принадлежащая ему? Развъ у него можно взять способпость наслаждаться? Пусть же человъкъ пользуется всёми дарами жизни, пользуется тёмъ мгновеніемъ, которое ему уступлено судьбой и которое дается только разь. Мевій ув'вряеть Лицинія, что вообще въ природъ нъть ни того счастія, ни того несчастія, о которомъ мечтаютъ люди и котораго боятся; жизнь почти всегда одинакая, и перемъны поражають только со стороны. «Сегодня цвътетъ одно дерево, а завтра другое». Теперь, гдъ-нибудь въ полуразрушенныхъ Өнвахъ, нътъ прежней исторической жизни, а зм'вамъ и ящерицамъ жить веселе и итицамъ привольне вить себѣ гнѣзда.

Ипциній не слушаеть его; онъ вспоминаеть о втрѣчѣ съ какимъ-то пророкомъ или волхвомъ, котораго вѣра была такъ полна нокоя, надежды,—если-бъ онъ могъ вѣрить, онъ былъ бы счастливъ, но вѣры нѣтъ въ его сердцѣ. Онъ забывается, или впадаетъ въ забытье. Старикъ, плѣшивый аоинскій старикъ, волхвъ нередъ нимъ, онъ зоветъ его... Дыханіе слабѣетъ и юноша умираетъ.

Третья сцена, на форулю.—Державный народъ у себя дома, въ своей пріемной залъ. Импровизаторъ поетъ наивычурнъйшими стихами оду о доблестяхъ божественнаго, августъйшаго Нерона,

отца отечества. Лазутчики подсматривають, восхищаются ли люди, хорошо одфтые. За плебеями никто не смотрить, они и бранять Цезаря, но они его любять; бранять они его за то, что онъ сталъ скупъ на гладіаторовъ; агенты успокоивають народъ, говорятъ, что скоро будуть травить въ циркъ дикими звърями какихъто назареевъ, что они ужъ привезены и содержатся въ клъткахъ, т. е. тигры и львы, а назареевъ скоро пригонять. Это успокоиваеть умы.

Патриціи потомъ толкують о тяжелыхъ временахъ. Новая несправедливость Нерона сильно оскорбила ихъ: какой-то сенаторъ быль убить рабомъ, наслѣдники хотѣли въ наказанье убить всѣхъ рабовъ до единаго; Неронъ сказалъ, что это глупо, и запретилъ. Послѣ этого глѣ же неприкосновенная святость собственности?

Приходить какой-то рабь и разсказываеть, что недалеко оть города, на Аппіевой дорогѣ, онь видѣль какого-то колдуна съ востока, что ему на встрѣчу шли изъ Рима люди въ бѣлой одеждѣ съ зелеными вѣтвями, что за колдуномъ идетъ толиа нищихъ, женщинъ, онѣ разсказывають, что онъ лечитъ прикосновеніемъ руки, что ночью около его головы видно сіяніе... «Въ циркъ его, въ циркъ!» кричатъ со всѣхъ сторонъ. «Но сначала пойдемте его смотрѣть!»

Четвертая сцена. — Via Appia. Съ одной стороны дороги родовой колумбарій Пизона, все приготовлено для сожженія тъла Лицинія. Похоронная процессія, отецъ Лицинія идетъ печально за тъломъ; его утъщаетъ Сенека, приводя въ примъръ всъхъ знаменитыхъ отцовъ, потерявшихъ дътей, разсказывая мнѣнія египтянъ о смерти.

Патрицін заговорщики рады случаю пошептать, съ важностью сообщають они другь другу неважныя въсти, таниственно сговариваются на пустой сходь. Родные устали и хотять всть.

Въ это время, съ противоположной стороны, показывается на дорогъ поднимающійся въ гору апостоль Павель и останавливается передъ разстилающимся аментеатромъ въчнаго города. Онъ благословляетъ языческую весь и, обращаясь къ своимъ, произносить рфчь.

Отецъ Лицинія придирается къ нему и просить воскресить сына: «если твой Богъ великъ, отдай миѣ сына и возьми у меня, что хочешь». Апостолъ говоритъ ему, чтобъ онъ молился и вѣрилъ, потомъ снова обращаясь къ народу, пророчитъ кончину стараго міра и водвореніе новаго, смерть въ первомъ Адамѣ и жизнь во второмъ. Окончивъ проповѣдь, онъ молится колѣнопреклопенный

Лициній открываеть глаза, приходить въ себя и начинаеть узнавать Павла.

Павель продолжаеть рёчь. Народь, пораженный ужасомь, видя оживленнаго покойника, молчить. Отець Лицинія умоляеть Павла взять часть его достоянія. «Раздай б'ёднымъ», отв'єчаеть Павель, «ми'є не нужно»! Народь яростно рукоплещеть. Отець зоветь сына съ собой, но тоть, кротко взявь его руку, говорить ему: «Лициній твой умерь, воть мой отець и моя родина, я иду по стопамь его».

Народъ разступается, привътствуетъ Иавла. Сенека не върить въ воскрешеніе, онъ думаетъ, что Лициній быль въ летартическомъ снъ. Какой-то жрецъ находитъ, что это гораздо опаснъе, нежели думаютъ, и идетъ во имя боговъ дълать доносъ въязыческую консисторію.

H.

Вильямъ Пенъ.

Та же мысль, тотъ же основной мотивъ и въ Вильямѣ Пенѣ. Опять разрывъ двухъ міровъ, опять отходящее старое тѣснитъ возникающее юное, опять двѣ нравственности съ ненавистью глядять другъ на друга.

Вильямъ Иенъ историческихъ сценъ не похожъ на историческаго Пена, я илохо зналъ исторію Англіи того времени и имѣлъ самыя общія понятія о Иенѣ, населившемъ Пенсильванію. Въ моемъ очеркѣ должно искать другую правду, не историческую; въ Шиллеровомъ Донъ Карлосѣ такъ же трудно найти Донъ Карлоса испанскихъ лѣтописей, какъ въ моемъ блѣдномъ Вильямѣ Пенѣ хитраго квакера, онисаннаго (съ пристрастіемъ, можетъ, въ другую сторону) — Маколеемъ. Бѣда не въ томъ, а въ томъ, что очеркъ изъ англійской протестантской жизни, кажется мнѣ больше натянутымъ, чѣмъ Лициній, особенно въ концѣ.

Въ небольшомъ англійскомъ городѣ, въ сырой, темной лачугѣ, саножникъ оканчиваетъ субботнюю работу, въ углу лежитъ больной ребенокъ, его сынъ, въ лихорадкѣ; одежда, которой онъ покрытъ, коротка, въ комнатѣ холодно, топить нечѣмъ. Возлѣ саножника, тощій, изнуренный работникъ.—«Что-жъ, деньги отъ попа получилъ»? — спрашиваетъ хозяинъ работника. Работникъ говоритъ, что два раза ходилъ, но что кухарка не только не допустила его, но разбранила и строго на строго запретила приходитъ до понедѣльника. Reverend сочиняетъ проповѣдъ на завтра, и всѣ мірскія дѣла оставилъ.

Сапожникъ крѣнился, онъ давно угрюмъ, въ его головъ давно бродять странныя мысли, онъ самъ ихъ боится; но сосудъ неренолнился, этой каили недоставало: больной ребенокъ долженъ дрогнуть, они оба остаются два дня безъ иници,—потому что гечегено сочиняетъ процовъдъ.

«Не объ милосердін ли?» спрашиваеть онъ и бросаеть свое шило, рѣчь страстная, полная упрековъ и обличеній, несется бурнымь потокомъ, и болѣзненный работникъ, пораженный, тронутый, повергается въ прахъ передъ нимъ, увѣренный, что его устами говорить духъ святой. Саножникъ растеть гнѣвомъ и мыслыю, завтра онъ пдеть въ церковь, онъ прерветь рѣчь фарисея, онъ скажеть проповѣдь, онъ—самъ священникъ.

Во второй сценю, мы уже встрвчаемъ Чарлса Фокса, лейстерскаго чеботаря, раскольническимъ јересјархомъ, уже онъ не живетъ на мъстъ; «слово», ему ввъренное, духъ божій его гонитъ съ мъста на мъсто, изъ одного мъстечка въ другое, съ проповъдью,

съ призывомъ на новую евангельскую жизнь.

На дорогь, ведущей отъ большого, сумрачнаго замка, лежить нищая старуха, разбитая параличемъ. Проходитъ Фоксъ, вы взжаеть изъ воротъ замка мальчикъ верхомъ. Нищая поеть свою нъсню, мальчикъ съ состраданіемъ взглянулъ на нее, пошарилъ въ карманъ и бросилъ ей серебряную монету, но бросилъ такъ чалеко, что безногой иншей нельзя и достать безъ большихъ усилій. Юноша хочеть скакать даляє, но передъ нимъ мрачная фигура сапожника-пророка. Дюжей рукой пролетарія, онъ схватиль лошаль подъ уздцы. «Ты сдёлаль доброе дёло, но сдёлаль его скверно, говоритъ онъ мальчику. Посмотри, куда ты бросилъ леньги, какъ же эта безпомощная женщина ихъ достанетъ, подними ихъ и отдай ей.» Первое движеніе мальчика было желаніе вытянуть его хлыстомъ и дать инпору лошади. Но спокойно-строгій видь Фокса, его ожидающій взглядъ и страшныя слова поразили юношу. Онъ наивно говоритъ, что не видълъ, куда бросилъ монету, и въ доказательство, что онъ напрасно его бранитъ, соскакиваеть съ лошади и съ улыбкой подаеть старухф деньги. Фоксъ, тронутый до слезъ, благословляеть его. Мальчикъ этотъ Вильямъ Пенъ.

Третья сцена въ замкъ Вильямова отца. Съ тъхъ поръ какъ поноша встрътился съ Фоксомъ, пропіло нъсколько лътъ. Отецъ его начальствовалъ гдѣ-то въ колоніяхъ англійскимъ войскомъ, завоевалъ земли, разбилъ непріятелей, заключилъ выгодный миръ, и теперь возвращается торжественно отдохнуть на родину. Его ожидаютъ депутаты, присланные изъ Лондона съ великолъпными подарками, посланный короля съ лентой, звъздой и огромнымъ пергаментовымъ свиткомъ. Гремятъ литавры и музыка, является

отважный полководець, ему говорять привътствія, онъ говоритъ привътствія; пробиваясь сквозь алдермановъ, придворныхъ п офицеровъ, бъжить къ нему его сынъ и бросается ему на шею. Старикъ радостно прижимаеть его къ груди и вдругъ отступаетъ, спращивая съ удивленіемъ сына, что за странный костюмъ на немъ, и какъ онъ смълъ явиться къ нему такъ навстръчу. Сынъ объясняетъ ему, что онъ принадлежитъ къ братству, которое приняло эту одежду. Отецъ хочетъ обернуть дѣло въ шутку, посылаетъ сына снять платье и одѣться прилично. Сынъ кротокъ, тихъ, но непоколебимъ. Отецъ начинаетъ сердиться и, когда сынъ говоритъ ему: «Ты самъ подумай, отецъ мой, не лучше ли тебъ снять твой мечъ, вѣдъ здѣсь нѣтъ враговъ, кого-жъ хочешь убитъ имъ».—онъ выходитъ изъ себя и велитъ сыну удалиться.

Четвертая сцена. Семейный совѣть въ дом'в старика. Отецъ созваль всѣхъ ближнихъ своихъ, законниковъ и духовныхъ, чтобъ въ послѣдній разъ урезонить сына и, если онъ и тутъ будетъ упорствовать, выбросить его изъ семьи, которую онъ пятнаетъ. Вильямъ является не подсудимымъ, а судьей и обличителемъ (процессъ сенъ-симонистовъ въ 1832 году былъ еще живъ въ намяти въ 38). Родные отказываются отъ него, легисты осуждаютъ, духовные предаютъ проклятію, отецъ хочеть его лишитъ наслѣдства. Наслѣдники придумываютъ, какія улучшенія они сдѣлаютъ въ имѣніи, какъ перестроютъ замокъ. У раздраженнаго старика поднялась подагра, его кладутъ въ постель и онъ умираетъ, не сдѣлавъ завѣщанія.

Въ пятой сцент Вильямъ Пенъ, теперь богачъ, располагающій, какъ хочетъ, своимъ имѣньемъ, спдитъ съ старикомъ Фоксомъ; ихъ занимаетъ важный разговоръ. Вильямъ много ѣздилъ, онъ не въритъ ни въ Англію, ни въ Европу,—для основанія братской общины надобна свѣжая, дѣвственная почва; эта почва по ту сторону океана; онъ продалъ свое пмущество въ Англіи и кунилъ корабли; онъ кликнулъ кличъ въ Англію, Германію, Голландію, и только проситъ благословенья Фокса. Жаль устарѣлому Фоксу отпустить его, и трудно самому разстаться со своей старой Англіей, но, наконецъ, благословляетъ его на путь.

Шестая сцена въ Пенсильваніи. Дряхлый Пенъ близокъ къ могиль, онъ очень печалень, мечтаемое евангельское братство не учредилось, а новый край, призванный имъ къ жизни, ростетъ съ могучей красотой, вездъ слышится стукъ топора, ръки по-крываются барками, плугъ подымаеть землю, починки ростутъ въ деревни, деревни въ города. Все это видно изъ разговоровъ разныхъ сетлеровъ и пр.

Наконецъ, весь этотъ длинный рядъ картинъ, переданныхъ мною довольно върно но намяти, sauf erreur et omission (оченъ естественныхъ, если вспомнить, что я двадцать два года до нихъ не дотрогивался), оканчивался такимъ чисто французскимъ финаломъ: на могилъ Вильяма Пена, въ восьмидесятыхъ годахъ прошлаго столътія, стоятъ три путника, пришедшихъ поклониться его праху. Одинъ изъ нихъ Вашингтонъ, другой Франклинъ, третій Лафайетъ—граждане Съверо-Американской республики.

КТО ВИНОВАТЪ?

РОМАНЪ ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

«А случай сей за неоткрытіемъ виновныхъ преданъ волѣ божіей, дѣло же, почисливъ рѣшеннымъ, сдать въ архивъ.

Протоколъ.

Натальт Александровнт Герцень,

въ знакъ глубохой симпатін

отъ инсавшаго.

Москва. 1846.

(КЪ ВТОРОМУ ПЗДАНІЮ).

Кто виновать—была первая повёсть, которую я напечаталь. Я началь ее во время моей новгородской ссылки (въ 1841 г.) и окончиль горало позже въ Москвъ.

Правда, еще прежде я дѣлалъ опыты писать что-то въ родѣ повѣстей; но одна изъ нихъ не написана, а другая не повѣсть. Въ первое время моего переѣзда изъ Вятки въ Владиміръ, мнѣ хотѣлосъ повѣстью смягчить укоряющее восноминаніе, примириться съ собою и забросать цвѣтами одинъ женскій образъ, чтобъ на немъ не было видно слезъ 1).

Разумъется, что и не сладиль съ своей задачей, и въ моей неоконченной повъсти было бездна натянутато и, можеть, двъ-три порядочныя страницы. Одинъ изъ друзей моихъ впослъдствін стращаль меня, говоря: «Если ты не напишешь новой статьи,— и напечатаю твою повъсть, она у меня!» По счастью, онъ не исполниль своей угрозы.

Въ концъ 1840 г. были напечатаны въ «Отечественных Запискахъ» отрывки изъ «Записокъ одного молодого человъка»,—«Городъ Малиновъ и малиновцы» правились многимъ; что касается до остального, въ нихъ замътно спльное вліяніе Гейневскихъ Reisebilder.

За то Малиновъ чуть не навлекъ мий бъдъ.

Одинъ вятскій сов'ятникъ хотыть жаловаться министру внутреннихъ ділъ и просить начальственной защиты, говоря, что лица чиновниковъ въ г. Малинов'я до того похожи на почтенныхъ сослуживцевъ его, что отъ этого можетъ пострадать уваженіе къ нимъ отъ подчиненныхъ. Одинъ изъ моихъ вятскихъ знакомыхъ спрацивалъ, какія у него доказательства на то, что малиновцы пашквиль на вятичей. Сов'єтникъ отв'єчалъ ему: «Тысячи, наприм'єрь, авкторъ прямо говоритъ, что у жены директора гимназіп бальное платье брусничнаго цв'єта,—ну, разв'є не такъ?» Это до

¹) "Былое н Думы", т. Ш, гл. XX.

шло до директорши,—та взбъсилась, да не на меня, а на совътника. «Что онъ слъпъ или изъ ума шутитъ? говорила она; гдъ онъ видълъ у меня платье брусничнаго цвъта, у меня дъйствительно было темное платье, но цвъту панез». Этотъ оттънокъ въ колоритъ сдълалъ мнъ истинную услугу. Раздосадованный совътникъ бросилъ дъло, а будь у директорши въ самомъ дълъ илатье брусничнаго цвъта, да напиши совътникъ,—такъ въ тъ прекрасныя времена брусничной цвътъ надълалъ бы мнъ, навърное, больше вреда, чъмъ брусничной сокъ Лариныхъ могъ повредить Онъгину.

Успѣхъ *Малинова* заставилъ меня приняться за «Кто виновить?»

Первую часть повъсти я привезъ изъ Новгорода въ Москву. Она не понравилась московскимъ друзьямъ и я бросилъ ее. Нъсколько лътъ спустя мивне объ ней измънилось, но я и не думалъ ни печатать, ни продолжать ее. Вълинскій взялъ у меня какъ-то потомъ рукопись, и, съ своей способностью увлекаться, онъ, совсѣмъ напротивъ, переоцѣнилъ повъсть въ сто разъ больше ея достоинства и писалъ ко миъ: «Если бы я не цѣнилъ въ тебъ человѣка, такъ же много, или еще и больше, нежели писателя, я, какъ Потемкинъ Фонъ-Визину послѣ представленія «Бригадира», сказалъ бы тебѣ: умри, Герценъ! Но Потемкинъ опибся, Фонъ-Визинъ не умеръ и потому написалъ «Недоросли». Я не хочу опибаться и вѣрю, что послѣ «Кто виновать?» ты напишешь такую вещь, которая заставитъ всѣхъ сказать: Онъ правъ, давно бы ему приняться за новѣсть! Вотъ тебѣ и комплиментъ, и посильный каламбуръ».

Цензура сдълала разныя уръзыванія и выръзыванія—жаль, что у меня нътъ ея обръзковъ. Нъсколько выраженій я вспомнилъ (они напечатаны курсивомъ) и даже цълую страницу (и то когда листъ былъ отпечатанъ и прибавилъ его къ стр. 38). Это мъсто мнъ особенно памятно потому, что Бълинскій выходилъ изъ себя за то, что его не пропустили.

8 іюня, 1859 года. Park-House, Fulham.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Отставной генералъ и учитель, опредѣляющійся къ мѣсту.

Дѣло шло къ вечеру. Алексѣй Абрамовичъ стоялъ на балконѣ: онъ еще не могъ придти въ себя послѣ двухчасового послѣобъденнаго сна; глаза его лѣниво раскрывались, и онъ время отъ времени зѣвалъ. Вошелъ слуга съ какимъ-то-докладомъ; но Алексѣй Абрамовичъ не считалъ нужнымъ его замѣтить, а слуга не смѣлъ потревожить барина. Такъ прошло минуты двѣ-три, по окончаніи которыхъ Алексѣй Абрамовичъ спросилъ:

«Что ты?»

— Покамъстъ ваше превосходительство изволили почивать, учителя привезли изъ Москвы, котораго докторъ нанялъ.

«А?» (что собственно туть следуеть: вопросительный знакъ (?) или восклицательный (!),—обстоятельства не решили).

— Я его провель въ комнату, гдъ жилъ нъмецъ, что изволили отпустить.

«A!»

— Онъ просилъ сказать, когда изволите проснуться.

«Позови его». И лицо Алексъ́я Абрамовича сдъ́лалось доблестнъ́е и величественнъ́е. Черезъ нъ́сколько минутъ явился казачекъ и доложилъ:

— Учитель вошелъ-съ. — Алексѣй Абрамовичъ номолчалъ, потомъ, грозно взглянувъ на казачка, замѣтилъ:

«Что у тебя, у дурака, мука во рту, что-ли? мямлеть, ничего не поймешь»; вирочемъ, прибавиль, не дожидаясь повторенія: «позови учителя», и тотчасъ сфль.

Молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати-трехъ-четырехъ, жиденькій, блѣдный, съ бѣлокурыми волосами и въ довольно узкомъ черномъ фракъ, робко и смѣшавшись, явился на сцену.

«Здравствуйте, почтеннъйшій! — сказалъ генераль, благосклонно улыбаясь и не вставая съ мъста, —мой докторъ очень хорошо отзывался объ васъ; я надъюсь, мы будемъ другъ другомъ довольны. Эй, Васька! —при этомъ онъ свиснулъ, —что жъ ты стула не подаешь? Думаешь, учитель, такъ и не надо. У-у! когда васъ оболванишь и сдълаешь похожими на людей! Прошу нокорно. У меня, почтеннъйшій, сынъ-съ; мальчикъ добрый, со способностями, хочу его въ военную школу приготовить. По-французски онъ у меня говоритъ, по-нъмецки не то, чтобъ говорилъ,

а нонимаеть. Нёмчура попался пьяный, не занимался пмъ, да и признаться, я больше его употреблялъ по хозяйству,—воть онъ жилъ въ той комнать, что вамъ отвели; я прогналь его. Скажу вамъ откровенно, мнѣ не нужно, чтобъ изъ моего сына вышелъ магистеръ или философъ; одпако, почтеннѣйшій, я хоть и слава Богу, но двѣ тысячи иятьсотъ рублей платить даромъ не стану. Въ наше время, сами знаете, и для военной службы требуютъ всѣ эти грамматики, арнеметики... Эй, Васька, позови Михайла Алексъпча!»

Молодой человъкъ все это время молчать, красиъть, перебирать носовой платокъ и собирался что-то сказать; у него шумъло въ ушахъ отъ прилива крови; онъ даже не вовсе отчетливо понимать слова генерала, но чувствовалъ, что вся его ръчь вмъстъ дълаеть ощущеніе, похожее на то, когда рукою ведешь по моржевой кожъ противъ шерсти. По окончаніи воззванія, онъ сказалъ:

— Принимая на себя обязанность быть учителемь вашего сына, я поступлю, какъ совъсть и честь... разумъется, насколько силы моп... впрочемъ, я употреблю всъ старанія, чтобъ оправдать довъріе ваше... вашего превосходительства.

Алексви Абрамовичь перебиль его:

«Мое превосходительство, любезнѣйшій, лишняго не потребуетъ. Главное—умѣнье заохотить ученика, этакъ, шутя, понимаете? Вѣдь, вы кончили ученье?»

— Какъ же, и кандидатъ.

«Чтин йывон от-йомая отб.»

— Ученая степень.

«А, позвольте, здравствують вани родители?»

— Живы-съ.

«Духовнаго званія?»

— Отецъ мой уѣздный лекарь.

«А вы по медицинской части шли?»

— По физико-математическому отделению.

«По-латынски знаете?»

— Знаю-съ.

«Это совершенно ненужный языкъ; для докторовъ, конечно, нельзя же при больномъ говорить, что завтра ноги протянетъ; а намъ зачѣмъ? номилуйте».

Не знаемъ, долго ли бы продолжалась ученая бесйда, если-бъ ея не перервалъ Михайло Алексевничь, т. е. Миша, тринадцатилътній мальчикъ, здоровый, краснощекій, упитанный и загорѣвній; онъ былъ въ курткъ, изъ которой умѣлъ въ нѣсколько мѣсяцевъ вырости, и имѣлъ видъ, общій всѣмъ дюжиннымъ дѣтямъ богатыхъ помѣщиковъ, живущихъ въ деревнъ.

«Воть твой новый учитель», сказаль отецъ. Миша шаркнулъ ногой. «Слушайся его, учись хорошенько; и не жалью денегь,—твое льло умьть пользоваться».

Учитель всталь, учтиво поклонился Миш'ь, взяль его за руку, и съ кроткимь, добрымъ видомъ сказалъ ему, что онъ сдълаетъ все, что можетъ, чтобъ облегчить занятія и заохотить ученика.

«Онъ уже кой-чему учился, замётилъ Алексей Абрамовичъ, у мадамы, живущей у насъ; да попъ училъ его—онъ изъ семинаристовъ, нашъ сельскій попъ. Да вотъ, милый мой, пожалуйста, поэкзаменуйте его».

Учитель сконфузился, долго думаль, что бы спросить, и наконень сказаль:—Скажите мив. какой предметь грамматики?

Миша посмотръть по сторонамъ, поковырять въ носу и сказать:—Россійской грамматики?

- Все равно, вообще.
- Этому мы не учились.
- «Что жъ съ тобой дълалъ понъ?» спросилъ грозно отецъ.
- Мы, папашенька, учили россійскую грамматику до д'вепричастія и катехнзецъ до таниствъ.

«Ну, поди, нокажи классную комнату... Позвольте, какъ васъ зовуть?»

- Дмитріемъ, отвъчалъ учитель, покраснъвъ.
- «А по батюшкъ?»
- Яковлевымъ.
- «А, Дмитрій Яковличъ! Вы не хотите ли съ дороги перекусить, выпить водки!»
 - Я ничего не нью, кромѣ воды.

«Притворяется!» подумалъ Алексей Абрамовичь, чрезвычайно уставшій послё продолжительнаго ученаго разговора, и отправился въ диванную къ женъ. Глафира Львовна почивала на мягкомъ турецкомъ диванѣ. Она была въ блузѣ: это ея любимый костюмъ, потому что всё другіе тѣснять ее; пятнадцать лѣтъ истинно-благополучнаго замужества пошли ей въ-прокъ: она сдѣлалась Adansonia boabab между бабами. Тяжелые шаги Алексиса разбудили ее, она подняла заспанную голову, долго не могла придти въ себя и, какъ будто отъ роду въ первый разъ уснула не во время, съ удивленіемъ воскликнула: «Ахъ, Боже мой! вѣдь я, кажется, уснула? представь себѣ!» Алексѣй Абрамовичъ началъ ей отдавать отчетъ о своихъ трудахъ на пользу воснитанія Миши. Глафира Львовна была всѣмъ довольна и, слушая, выпила полграфина квасу. Она всякій день передъ чаемъ кушала квасъ.

Не всѣ бѣдствія кончились для Дмитрія Яковлевича аудіенцієй у Алексѣя Абрамовича; онъ сидѣлъ, молчаливый и взвол-

нованный, въ классной комнать, когда вощелъ человъкъ и позваль его къ чаю. Досель нашь кандидать никогда не бываль въ дамскомъ обществъ; онъ питалъ къ женщинамъ какое-то инстинктуальное чувство уваженія; он'в были для него окружены какимъ-то нимбомъ; видълъ онъ ихъ или на бульварф разряженными и неприступными, или на сценф московского театра, — тамъ, вев уродливыя фигурантки казались ему какими-то феями, богинями. Тенерь его поведуть представлять къ генеральшф, да и одна ди она булеть? Миша успъдъ ему разсказать, что у него есть сестра, что у нихъ живеть мадамъ, да еще какая-то Любонька. Дмитрію Яковлевичу чрезвычайно хотелось узнать, какихъ лътъ сестра Миши; онъ начиналъ объ этомъръчь разатри, но не смѣлъ спросить, боясь, что лицо его вспыхнеть. «Что-же? пойдемте-съ»! сказалъ Миша, который, съ динломатіей, общей ветмъ избалованнымъ дътямъ, былъ чрезвычайно скроменъ и тихъ съ постороннимъ. Кандидатъ, вставая, не надъялся, поднимуть ли его ноги; руки у него охолодъли и были влажны; онъ сдёлаль гигантское усиліе и вошель, близкій къ обмороку, въ диванную; въ дверяхъ онъ почтительно раскланялся съ гориичной, которая выходила, поставивъ самоваръ. «Глаша, сказалъ Алекств Абрамовичъ, рекомендую тебт — новый менторъ нашего Миши». Кандидатъ кланялся.—«Мнъ очень пріятно», сказала Глафира Львовна, прищуривая немного глаза и сънъкоторой ужимкой, когда-то ей удававшейся.—«Нашъ Миша такъ давно нуждается въ хорошемъ наставникъ; мы, право, не знаемъ, какъ благодарить Семена Иваныча, что онъ доставиль намъ ваше знакомство. Прошу васъ быть безъ церемонін; не угодно ли вамъ с'єсть?»

— Я все сидѣлъ, пробормоталъ кандидатъ, истинно самъ не зная, что говорилъ.

«Не стоя же ъхать въ кибиткъ!» съострилъ генералъ.

Это замъчание окончательно погубило кандидата; онъ взялъ стулъ, ноставилъ его какъ-то эксцентрически и чуть не сълъ возлъ. Глазъ онъ боялся поднять, какъ пущаго несчастия; можеть быть, дъвицы туть въ комнатъ, а если онъ ихъ увидитъ, надобно будетъ поклониться, какъ? Да и потомъ, въроятно, надобно было, не садившись, поклониться.

«Я тебѣ говорилъ,—сказалъ генералъ вполслуха:—красная дѣвка!»

— «Le pauvre, il est à plaindre, замѣтила Глафира Львовна, кусая жирныя губки свои».

Глафпрѣ Львовнѣ съ перваго взгляда понравился молодой че ловѣкъ; на это было много причинъ. Во-первыхъ, Дмитрій Яковлевичъ съ своими большими голубыми глазами былъ интересент; во-вторыхъ, Глафира Львовна, кромѣ мужа, лакеевъ, кучеровъ да

старика-локтора, різтко видала мужчинь, особенно молотыхъ, интересныхъ.—а она, какъ мы послѣ узнаемъ, любила, по старой памяти, платоническія мечтанія; въ-третьихъ, женшины въ нікотооыхъ лътахъ смотрятъ на юношу съ тъмъ непонятно-влекущимъ чувствомъ, съ которымъ обыкновенно мужчины смотрятъ на пфвушекъ. Кажется, булто это чувство близко къ состраланію, чувство материнское, что имъ хочется взять подъ свое покровительство беззащитныхъ, робкихъ, неопытныхъ, ихъ полелъять, поласкать, отогръть; это кажется всего болье имъ самимъ. Мы не такъ думаемъ объ этомъ, но не считаемъ нужнымъ говорить, какъ думаемъ... Глафира Львовна сама полвинула чашку чая канлилату: онъ сильно прихлебнулъ и обварилъ языкъ и нёбо, но скрылъ боль съ твердостію Мунія-Сцеволы. Это обстоятельство было благотворно для него: спёлалось отвлеченіе, и онъ немного успокоился. Мало по малу онъ начиналь даже подымать взоры. На диванъ сидъла Глафира Львовна; передъ нею стоялъ столъ, и на столь огромный самоварь возвышался, какъ какой-нибуль намятникъ въ индійскомъ вкусъ. Противъ нея, для того ли, чтобъ пользоваться милымъ vis-à-vis, или иля того, чтобъ не видать его за самоваромъ, вдавливалъ въ полъ какія-то дёдовскія кресла Алексъй Абрамовичъ: за креслами стояла дъвочка лътъ несяти съ чрезвычайно глунымъ видомъ; она выглядывала изъ-за отца на учителя: ея-то трепеталъ храбрый кандидатъ! Миша находился также за столомъ; передъ нимъ миска кислаго молока и тодстый ломоть рѣшетнаго хлѣба. Изъ-подъ салфетки, покрывавшей столъ, и на которой былъ представленъ довольно удачно городъ Ярославль, оканчивавшійся со всёхъ сторонъ медвёдемъ, высовывалась голова лягавой собаки; драпри скатерти придавали ей какойто египетскій видъ: она неподвижно вперила два жиромъ заплывшіе глаза на кандидата. У окна, на креслахъ, съ чулкомъ въ рукъ, — миніатюрная старушка, съ веселымъ и сморшившимся видомъ, съ повисшими бровями и тоненькими блёдными губами. Дмитрій Яковлевичь догадался, что это француженка-мадамъ. У дверей стояль казачекъ, подававшій Алекстю Абрамовичу трубку: возл'в него горинчная, въ ситцевомъ плать в съ холстинными рукавами, ожидавшая съ какимъ-то благоговфніемъ, когда господа окончатъ церемонію питія чая. Еще одно лицо присутствовало въ комнать, но его Цмитрій Яковлевичь не видаль, потому что оно было наклонено къ пяльцамъ. Лицо это принадлежало бъдной дъвушкѣ, которую воспитывалъ добрый генералъ. Разговоръ долго не кленлся, да и когда склеился, былъ какъ-то отрывчать, не нуженъ и утомителенъ для кандидата.

Странно было это столкновеніе жизни б'єднаго молодого челов'є а жизнью семьи богатаго пом'єщика. Кажется, эти люди

могли бы преснокойно прожить до скончанія вѣка, не встрѣчаясь. Вышло иначе. Жизнь нѣжнаго и добраго юноши, образованнаго и занимающагося, какимъ-то диссонансомъ попала въ тучную жизнь Алексѣя Абрамовича и его супруги,—попала, какъ итица въ клѣтку. Все для него измѣнилось, и можно было предвидѣть, что такая перемѣна не пройдеть безъ вліянія на молодого человѣка, совершенно не знавшаго практическаго міра и неопытнаго.

Но что это за люди такіе— генеральская чета, блаженствующая и преуспъвающая въ счастливомъ бракъ, этотъ юноша, назначенный для выдълки Мишиной головы настолько, чтобъ маль-

чикъ могъ вступить въ какую-нибудь военную школу?

Я не умбю инсать повъстей: можеть быть, именно потому мнъ кажется вовсе не излишнимъ предварить разсказъ нъкоторыми біографическими свъдъніями, ночеринутыми изъ очень върныхъ источниковъ. Разумъется, сначала:

П.

Біографія ихъ превосходительствъ.

Алексъй Абрамовичъ Негровъ, отставной генералъ-майоръ и кавалеръ, — толстый, рослый мужчина, который, послѣ прорѣзыванія зубовъ, ни разу не быль боленъ, могь служить лучшимъ и полнъйшимъ опроверженіемъ на знаменитую книгу Гуфланда: «О продолженіи жизни человѣческой». Онъ вель себя діаметрально противоноложно каждой страницѣ Гуфланда—и былъ постоянно здоровь и румянъ. Одно правило гигіены онъ псиолнялъ только: не разстропвалъ инщеваренія умственными напряженіями, п, можеть быть, этимъ стяжалъ право не исполнять всего остального. Строгій, всныльчивый, жесткій на словахъ и часто жестокій на дъть, нельзя сказать, чтобъ онъ былъ злой человъкъ отъ при роды: всматриваясь въ разкія черты его лица, не совстать уничтожившіяся въ мясныхъ дополненіяхъ, въ густыя черныя брови п блестящіе глаза, можно было предполагать, что жизнь задавила въ немъ не одну возможность. Четырнадцати лътъ, воснитанный прпродой и француженкой, жившей у его сестры, Негровъ быль записань въ кавалерійскій полкъ; получая много денегь отъ нъжной родительницы, —онъ лихо проводилъ свою юность. Послъ кампанін 1812 года, Негровъ былъ произведенъ въ полковники; полковинчьи эполеты унали на его плечи тогда, когда они уже были утомлены мундиромъ: военная служба начала ему надофдать, и опъ, послуживъ еще немного и «находя себя неспособнымъ продолжать службу по разстроенному здоровью», вышель въ отставку

и вынесъ съ собою генералъ-майорскій чинъ, усы, на которыхъ оставались всегла частины всёхъ блюдъ обёла, и мундиръ для важныхь оказій. Когла отставной генераль поседился въ Москвъ. которая усибла уже обстроиться после ножара, передъ нимъ открыдась безконечная анфилада дней и ночей однообразной, пустой, скучной жизни. Не было занятія, которымъ бы онъ умаль или хотълъ заняться. Онъ вздилъ изъ дома въ домъ, поигрывалъ въ карты, объдаль въ клубъ, являлся въ нервомъ ряду кресель въ театръ, являлся на балахъ, завель себъ двъ четверки прекрасныхъ лошалей, холилъ ихъ, училъ денно и нощно словами и руками кучера, самь преподаваль тайну конной фады форейтору... Такъ прошло гота полтора: наконецъ, кучеръ выучился силѣть на козлахъ и лержать возжи, форейторъ выучился сидъть на лошали и держать поводья, скука одольда Негрова: онъ рышился жхать въ деревню хозяйничать и уварилъ себя, что эта повзика необхонима для предупрежденія важнаго разстройства. Теорія его хозяйства была очень не сложна: онъ бранилъ всякій день приказчика и старосту, бадилъ за зайцами и ходилъ съ ружьемъ. Не привыкнувъ ръшительно ни къ какого рода пъламъ, онъ не могъ сообразить, что надобно дъдать, занимадся мелочами и быль поволенъ. Приказчикъ и староста были, съ своей стороны, довольны бариномъ: о крестьянахъ не знаю, они молчали. Мѣсяца черезъ два, въ окнахъ господскаго дома показалось прекрасное женское личико, сначало съ заплаканными, а потомъ просто съ прелестными голубыми глазками. Въ то же самое время староста, нисколько не занимавшійся устройствомь деревни, доложиль генералу, что у Емельки Барбаша изба илоха, и что не соблаговолить ли Алексъй Абрамовичь явить отеческую милость и дать ему лёску. Лёсъ быль пункть помёшательства Алексёя Абрамовича; онъ себъ на гробъ не скоро бы ръшился срубить дерево. Но... но туть онь быль въ добромъ расположении духа и разръшилъ Барбашу нарубить лъса на избу, прибавивъ старостъ: «да ты смотри у меня, рыжая бестія, за лишнее бревно—ребро». Староста сбъгалъ на заднее крыльцо и доложилъ Авдотъъ Емельяновить о полномъ уситьхть, называя ее «матушкой и заступницей». Бъдняжка красиъла до ушей; но въ простотъ душевной была рада, что у отца ея будетъ новая изба. Мы находимъ въ источникахъ нашихъ мало свъдъній о завоеваніи голубыхъ глазовъ, о встръчъ съ ними. Я полагаю потому, что эти побъды дълаются очень просто.

Какъ бы то ни было, сельская жизнь въ свою очередь надоъла Негрову; онъ увърилъ себя, что исправилъ всъ недостатки по хозяйству, и, что еще важнъе, далъ такое прочное направленіе ему, что оно и безъ него пдти можетъ, и снова собрался Ехать въ Москву. Багажъ его увеличился: прелестные голубые глазки, кормилица и грудной ребенокъ тхали въ особой бричкъ. Въ Москвъ ихъ помъстили въ комнатку окнами на дворъ. Алексъй Абрамовичъ любиль малютку, любиль Дуню, любиль и кормилицу, -- это было эротическое время для него! У кормилицы испортилось молоко, ей было безпрестанно тошно, докторъ сказалъ, что она не можетъ больше кормить. Генералъ жалълъ объ ней: «вотъ попалась ръдкая кормилица: и здоровая, и усердная такая, услужливая, да молоко испортилось... досадно»! Онъ подариль ей двадцать рублей, отдаль повойникъ и отпустиль для излеченія къ мужу. Докторъ совътоваль замёнить кормилицу козою, —такъ было и сдёлано; коза была здорова. Алексей Абрамовичъ ее очень любилъ, давалъ ей собственноручно черный хлъбъ, ласкалъ ее, но это не помъщало ей выкормить ребенка. Образъ жизни Алексъя Абрамовича быль такой же, какъ и въ первый прібздъ; онъ его выдержалъ около двухъ лѣтъ, но далъе не могь. Совершенное отсутствие всякой опредъленной дъятельности невыносимо для человъка. Животное полагаетъ, что все его дёло-жить, а человёкъ жизнь принимаеть только за возможность что-нибудь дълать. Хотя Негровъ съ двънадцати часовъ утра и до явънациати ночи не бывалъ дома, но все же скука мучила его; на этотъ разъ ему и въ деревню не хотълось; долго владъла имъ хандра, и онъ чаще обыкновеннаго давалъ отеческіе уроки своему камердинеру и реже бываль въ комнатъ окнами на дворъ. Однажды, воротившись домой, онъ былъ въ необыкновенномъ состоянін духа, чёмъ-то занять, то морщиль лобъ, то удыбался, долго ходиль по комнатт и вдругь остановился съ ръшительнымъ видомъ. Замътно было, что дъло внутри кончено. Кончивъ внутри, онъ свиснулъ, свиснулъ такъ, что спавшій въ другой комнатъ на стулъ казачекъ отъ испуга бросплся въ противоположную сторону отъ двери и насилу послъ сыскалъ. «Спишь все, щенокъ», сказаль ему генераль, но не тымъ громовымъ голосомъ, послъ котораго сыпались отеческія молнін, а такъ, просто: «поди, скажи Мишкъ, чтобъ завтра чъмъ-свътъ сходиль къ нъмцу-каретнику и привелъ бы». Видно было, что камень свалился съ плечъ Алексъя Абрамовича, и онъ могъ спокойно опочить. На другой день, въ восемь часовъ утра, явился каретникъ-нъмецъ, а въ десять окончилась конференція, въ которой съ большою отчетливостью и подробностью заказана была четверомъстная карета, кузовъ мордоре-фонсе, гербы золотые, сукно пунцовое, басонъ коклико, нарадные козлы о трехъ чехлахъ.

Четверомъстная карета значила ни болъе, ни менъе, какъ то, что Алексъй Абрамовичъ намъренъ жениться. Намъреніе это вскоръ обнаружилось недвусмысленными признаками. Послъ ка-

ретника, онъ позвалъ своего камердинера. Въ длинной и довольно нескладной ръчи (что служить къ большой чести Негрова, ибо въ этой нескладности отразилось что-то въ родъ того, что у людей называется совъстью) онъ изъявилъ ему свое благоволение за его службу и намърсніе наградить его примърнымъ образомъ. Камердинеръ понять не могъ, куда это идетъ, кланялся и говорилъ учтивости въ родъ: «кому-жъ намъ и угождать, какъ не вашему превосходительству; вы наши отцы, мы ваши дёти». Комедія эта надожла Негрову, и онъ въ краткихъ, но выразительныхъ словахъ объявилъ камердинеру, что онъ позволяеть ему жениться на Дуныкъ. Камердинеръ былъ человъкъ умный и сметливый, и хотя его очень поразила нежданная милость господина, но въ два мига онъ разсчелъ всѣ щансы рго и contra, и попросилъ у него поцъловать ручку за милость и неоставленіе. Нареченный женихъ понялъ, въ чемъ дъло; однакожъ, думалъ онъ, не совстви же въ немилость посылають Авдотью Емельяновну, коди за меня отлають: я человъкъ близкій, да и бариновъ нравъ знаю; да и жену имъть такую красивую недурно. Словомъ, женихъ быль доволенъ. Иуня уливилась, когда ей сказали, что она невъста, поплакала, погрустила, но, имъя въ виду или ъхать въ деревню къ отиу, или быть женою камердинера, рѣшилась на послъднее. Она безъ сопроганія не могла вздумать, какъ бывшія ея подруги будуть надъ ней смѣяться; она вспомнила, что и во времена ея силы и славы онв ее называли вполслуха полубарыней. Черезъ недёлю ихъ обвёнчали. Когда, на другое утро, молодые пришли съ конфектами на поклонъ, Негровъ былъ веселъ, нодариль новобрачнымъ сто рублей и сказалъ повару, случившемуся туть: «учись, осель, люблю наказать, люблю и жаловать: служиль хорошо, и ему хорошо». Поваръ отвечаль: «слушаю, ваше превосходительство», но на лицъ его было написано: «въдь, я же тебя надуваю при всякой покупкъ, а ужъ тебъ меня не провести: дурака нашелъ!» Вечеромъ, камердинеръ давалъ пиръ, отъ котораго вся дворня двое сутокъ нахла водкой, и точно онъ расходовъ не пожалълъ. Была, впрочемъ, мучительно-горькая минута для бълной Дуни: маленькую кроватку, а съ нею и дочь ея вельни перенести въ людскую. Дуня безмърно любила малютку всей простой, безъискусственной душой. Алексъя Абрамовича она боллась, — остальные въ домѣ боялись ея, хотя она никогда никому не сдёлала вреда; обреченная томному гаремному заключенію, она всю потребность любви, вст требованія на жизнь сосредоточила въ ребенкъ; неразвитая, подавленная душа ея была хороша; она, безотвътная и робкая, не оскорблявшаяся никакими оскорбленіями, не могла вынести одного, жестокаго обращенія Негрова съ ребенкомъ, когда тотъ чуть ему надобдалъ; она поднимала тогда голосъ, дрожащій не страхомъ, а гитвомъ; она презирала въ эти минуты Негрова, и Негровъ, какъ будто чувствуя свое унизительное положеніе, осыпаль ее бранью и уходиль, хлопнувъ дверью. Когда надобно было перенести кроватку, Цуня заперла дверь и, рыдая, бросилась на колъни передъ иконой, схватила рученку дочери и крестила ее. «Молись», -- говорила она:--«молись, мое сокровище, идемъ мы съ тобою мыкать горе; Пресвятая Богородица, заступись за ребенка малаго, ни въ чемъ невиноватаго... А я-то глупая думала: выростеть она, моя сердечная, будеть твалить въ каретт, да ходить въ шелковыхъ платьяхъ: пзъ-за двери въ щелочку посмотръла бы на тебя тогда; спряталась бы отъ тебя, мой ангелъ, что тебф за мать крестьянка!.. Л теперь выростешь ты не на радость себф: сдфлають тебя, пожалуй, прачкой новой барыни, и ручки-то твои мыломъ объестъ... Господи, Боже мой! чёмъ предъ Тобой согрёшилъ младенецъ?»... И Дуня, рыдая, бросилась на полъ; сердце ея раздиралось на части; испуганная малютка уцфиилась за нее руками, плакала и смотръла на нее такими глазами, какъ будто все понимала... Черезъ часъ кроватка была въ людской, и Алексъй Абрамовичъ приказаль камердинеру пріучать ребенка называть себя «тятей».

Но кто же счастливая избранная? Въ Москвѣ есть особая varietas рода человъческаго; мы говоримъ о тъхъ полубогатыхъ дворянскихъ домахъ, которыхъ обитатели совершенно сощли со сцены и скромно проживаютъ цълыми покольніями по разнымъ переулкамъ; однообразный порядокъ и какое-то затаенное озлобленіе противъ всего новаго составляеть главный характеръ обитателей этихъ домовъ, глубоко стоящихъ на дворф съ покривившимися колоннами и нечистыми сфиями; они воображаютъ себя представителями нашего національнаго быта, потому что имъ «квасъ нуженъ, какъ воздухъ», потому что они въ саняхъ іздять, какъ въ каретѣ, беруть за собой двухь лакеевъ и цѣлый годъ живутъ на запасахъ, привозимыхъ изъ Пензы и Симбирска. Въ одномъ изъ такихъ домовъ жила графиня Мавра Ильинишна. Нфкогда она кружилась въ вихрф аристократін, была кокетка, хороша собой, была при дворъ, любезничала съ Кантемиромъ, п онъ писалъ ей въ альбомъ силлабическимъ размѣромъ мадригалъ, «спръчь виршную хвалебницу», въ которой одинъ стихъ оканчивался словами: «богиня Минерва», а другой рифмующій стихъ словами: «толь протерва». Но отъ природы чрезвычайно холодная и надменная своей красотой, она отказывала женихамъ, ожидая какой-то блестящей партін. Между тымь, отець ен умеръ, а брать, управлявшій нераздільнымь имініемь, літь въ десять пропиль и проиграль почти все достояніе. Столичная жизнь стала слишкомъ дорога: надобно было жить скромнъе. Когда графиня внолить поияла затруднительное положение свое, ей было за тридцать лать, и она разомъ открыла двъ ужасныя вещи: состояние разстроено, а молодость миновала. Тутъ она сдълала изсколько отчаянныхъ опытовъ выйдти замужъ,—они не удались; тогда, запрятавъ страшную злобу внутри своей груди, она переселиласъ въ Москву, говоря, что ей шумъ большого свъта опротивълъ, и что она ищетъ одного покоя.

Сначала, въ Москвъ ее носили на рукахъ, считали за особенную рекомендацію на світское значеніе іздить къ графині; но мало по малу, желчный языкъ ея и нестериимая напменность отучили отъ ея дома почти всехъ. Брошенная, оставленная всеми, старая тъва еще болъе исполнилась негодованіемъ и ненавистью, окружила себя разными приживающими старухами, полунабожными и полубродячими, собирала сплетни со всъхъ концовъ города, ужасадась развратному въку и ставила себъ въ высокое достоинство свое безконечное дъвство. Графъ-братецъ, окончательно промотавшій свое имініе, для поправки состоянія рішился на геройскій подвигъ для того времени, — женился на купеческой дочери, четыре года ежедневно упрекалъ ее происхождениемъ, проиграль до конейки приданое, согналь ее со двора, опился и умеръ. Годъ спустя, умерла и жена, оставивъ послъ себя пятилътнюю дочь безъ всякаго состоянія. Мавра Ильинишна взяда ее къ себъ на восинтаніе. Мудрено сказать, что побудило ее къ этому: фамильная гордость, участіе къ ребенку, или ненависть къ брату, -- какъ бы то ни было, жизнь маленькой дъвочки была некрасива: она была лишена всъхъ радостей своего возраста, застращена, запутана, притъснена. Эгонзиъ старухъ-дъвицъ ужасенъ: онъ хочетъ выместить на всемъ окружающемъ пробълы, оставинеся въ ихъ вымороженномъ сердиъ. Безотрадно и скучно подростала маленькая графиня; по несчастію, она не припадлежала къ темъ натурамъ, которыя развиваются отъ внешняго гнета: начавъ приходить въ сознаніе, она нашла въ себѣ два сильныя чувства: непреодолимое желаніе виблинихъ удовольствій и сильную ненависть къ образу жизни тетки. Оба чувства были простительны. Мавра Ильинишна не только не доставляла племянниць никакого разсьянія, но убивала претщательно всь удовольствія и невинныя наслажденія, которыя она сама находила; она думала, что жизнь молодой довушки только для того и назначена, чтобъ читать ей вслухъ, когда она спитъ, и ходить за нею остальное время; она хотёла поглотить всю юность ся, высосать всъ свъжіе соки души ея въ благодарность за воспитаніе, котораго она ей не давала, но которымъ упрекала ее ежеминутно.

Время шло. Графиня сдълалась невъстой и весьма невъстой,—ей было ужъ двадцать-три года. Она чувствовала вполнъ

тигостную скуку и однообразіе своего положенія, и все существо ея вертблось около одной мысли — вырваться изъ ала теткина дома. Могила казалась ей лучше: она нила уксусъ, чтобъ получить чахотку, но онъ не помогаль ей: она хотела идти въ монастырь, но въ ней не было довольно ръшимости. Вскоръ мысли ея приняли пругой обороть. Старинные французскіе романы, которые она, не знаю какъ, отрыла въ теткиномъ гардеробъ, пояснили ей, что есть, кромъ смерти и монастыря, значительныя утъшенія; она оставила адамову голову и начала придумывать голову живую съ усами и кудрями. Тысячи романическихъ картинъ мучили ее и день, и ночь; она сочиняла себъ цълыя повъсти: онъ ее увозить, ихъ преслъдують, «любить имъ не велять», разваются выстр'влы... «Ты моя на в'вки!» говорить онъ, сжимая пистолеть, и проч. На эту тему съ безчисленными варіаціями сволились всв мечты, всв помыслы ея, всв сновиденія, и бедная съ ужасомъ просыпалась каждое утро, видя, что никто ее не увозить, никто не говорить: «ты моя на въки». — и тяжело полымалась ея грудь, и слезы лились на ея подушки, и она съ какимъ то отчаяніемъ пила, по приказу тетки, сыворотку, и еще съ большимъ инуровалась потомъ, зная, что некому любоваться на ея станъ. Такое состояніе духа не могло быть вполнт побъждено сывороткой, а вело прямо къ сентиментальности и экзальтаціи. Графиня начала покровительствовать всёхъ горинчныхъ и прижимать къ сердиузасаленныхъ дітей кучера, періодь, послі котораго дівушкі или тотчась надобно идти замужъ, или начать нюхать табакъ, любить кошекъ и стриженныхъ собаченовъ и не принадлежать ни въ мужескому, ни къ женскому полу. По счастію, на долю графинивыпало первое. Она была недурна собой, и въ эту именно эпоху должна была поразить нашего героя: зовущее всего существа ея, ея томные глаза, ея неровно подымающаяся грудь побъдили Негрова.

Онъ увидълъ ее разъ у Стараго-Вознесенья,—и судьба его жизни была рѣшена. Генералъ вспомнилъ корнетскіе годы, началъ искать всевозможныхъ случаевъ увидѣть графиню, ждалъ часы цѣлые на паперти, и нѣсколько конфузился, когда изъ допотопной кареты, тащимой высокими тощими клячами, потерявшими способность умереть, вытаскивали два лакея старую графиню съ видомъ вороны въ чепчикѣ и мѣшали выпрыгнуть молодой графинѣ съ видомъ центифольной розы. У генерала была въ Москвѣ двоюродная сестра... У кого есть въ Москвѣ двоюродная сестра, осѣдлая и довольно богатая, тотъ можетъ жениться почти на всякой невѣстѣ, если онъ имѣетъ чинъ и деньги, а она не имѣетъ еще жениха. Генералъ ввѣрилъ свою тайну кузинѣ,—та приняла истино сестрпиское участіе. Мѣсяца два, бѣдная про-

падала отъ скуки, и вдругъ какъ съ неба свалилось сватовство. Она тотчасъ послала дрожки за женой одного титулярнаго совътника. Титулярная совътница пріъхала; кузина выгнала изъближней комнаты горничныхъ, чтобъ никто не могъ подслушать. Черезъ часъ времени, титулярная совътница съ раскраснъвшимся лицомъ выбъжала отъ кузины и, наскоро разсказавъ въ дъвичьей, въ чемъ дъло, бросилась со двора. На другой день, утромъ въ девять часовъ, двоюродная сестра сердилась на неаккуратность тптулярной совътницы, которая хотъла быть въ одиннадцать часовъ, и еще не приходила; наконецъ, желанная гостья явиласъ и съ нею другая особа въ ченчикъ; словомъ, дъло кипъло съ необычайною быстротою и съ лостополжнымъ порядкомъ.

У графини въ домъ начались исподволь важныя перемъны: съ оконъ сняли шторы изъ равендука и велъли вымыть, замки было велъно вычистить киринчомъ съ квасомъ (суррогатъ уксуса); въ передней, гдъ ужасно нахло кожей, отъ того, что четыре лакея шили подтяжки, выставили зимнюю раму. Оставленная веъми, Мавра Ильинишна была въ восхищеніи, что за ея племянницу сватается генералъ, да еще пребогатый; но, храня свое достоинство, она едва снизошла до позволенія начать сватовство. Однажды утромъ, графиня приказала илемянницъ одъться повнимательнъе, открыть больше шею, и сама осматривала ее съ ногъ до головы.

«Да для чего это, maman, вы мнѣ приказываете одѣваться? развѣ будутъ гости?»

— Не твое діло, душечка, отвічала графиня, но добрымъ, привітливымъ голосомъ.

Кисейное илатье илемянницы чуть не вспыхнуло отъ огня, пробъжавшаго по ея жиламъ; она догадывалась, подозръвала, не смъла вършть, не смъла не вършть... Она должна была выдти на воздухъ, чтобъ не задохнуться. Въ съняхъ горничныя донесли ей, что сегодня ждутъ генерала, что генералъ этотъ сватается за нее... Вдругъ въъхала карета.

«Палашка, я умру, я умираю!» говорила молодая графиня.

— «И, полноте, ваше сіятельство, кто жъ умираеть, когда сватаются, да еще такіе женихи... Я, воть, всегда говорила: нашей графинъ быть за генераломь, извольте всъхъ спросить».

Чье перо въ состояніи описать все, что перечувствовала бѣдная дѣвушка во время показа и смотра!.. Когда она нѣсколько принила въ себя, первос, что поразило ее, это фракъ Алексѣя Абрамовича: она такъ твердо вѣрила въ его мундиръ и эполеты... Впрочемъ, Негровъ и безъ мундира могъ тогда еще нравиться; хотя ему было подъ сорокъ, но благодаря доброму здоровью, онъ сохранилъ себя удивительно, и отъ природы не слишкомъ рѣчи-

стый, онъ пиблъ ту развязность, которую нибють всв военные, особенно служившее въ кавалерін; остальные нелостатки, какіе могла въ немъ открыть невъста, богато искупались прекрасными усами, шегольски-отдъланными на тотъ разъ. Свадьба ладилась. Черезъ недълю послъ смотра, графиню Мавру Ильинишну явились поздравлять ея знакомые: люди, которые считались давно умершими, выползли изъ своихъ норъ, гдѣ они лѣтъ тридцать унорно сражались съ смертью и не сдались, гдф они лътъ тридцать капризничали и собирали деньги, хилые, разбитые параличомъ, съ удушьемъ и глухотой. Графиня всъмъ говорила одно: «Новость эта меня уливила не меньше васъ: я и не думала свою Коко такъ рано отдавать замужъ: дитя еще; ну да, батюшка, Божья воля! Человъкъ онъ солидный и честный, отцомъ можеть служить ей: она такъ неопытна. А генеральство его и богатство не важная вещь: и черезъ золото слезы текуть. Да и нечего сказать, я вкусила плодъ благочестиваго воспитанія моего (при этомъ она прикладывала къ глазамъ платокъ); истиню, что дълаетъ воспитаніе! Можно ли было ждать отъ такого отца развращеннаго-царство ему небесное-и отъ кущчихи такого дътища? Не повърпте: въдь она съ нимъ четырехъ словъ не молвила, а я только посовътовала, а она, моя голубушка, хоть бы слово противъ: если вамъ, maman, угодно, говоритъ, такъ я, говоритъ, охотно пойду, говоритъ...» — Это истинно ръдкая дъвица въ нашъ развращенный въкъ! отвъчали на разныя манеры знакомые и друзья Мавры Ильинишны, и потомъ начинались сплетни и безсовъстное черненье чужихъ репутацій.

Словомъ, немного прошло времени, какъ къ пышно убранной квартирѣ цугъ вороныхъ лошадей привезъ въ четверомѣстной каретъ мордорефонсе генерала Негрова, одътаго въ мундиръ съ ментикомъ, и супругу его Глафиру Львовну Негрову въ вънчальномъ плать воздуха съ лентами. Хоръ првчихъ, парадные наферы, илошки, музыка, золото, блескъ, духи встрѣтили молодую: вся дворня стояла въ съняхъ, добиваясь увидъть молодыхъ, камердинерова жена въ томъ числъ; ея мужъ, какъ высшій сановникъ передней, распоряжался въ кабинетъ и спальнъ. Такого богатства графиня никогда не видала вблизи, и все это ея, и самъ генералъ ея, — и молодая была счастлива отъ маленькаго пальца на ногѣ до конца длиннѣйшаго волоса въ косѣ: такъ или

иначе, мечты ея сбылись.

Спустя несколько недель после свадьбы, Глафира Львовна, пвётущая, какъ развернувшійся кактусъ, въ біломъ ценью аріз, общитомъ широкими кружевами, наливала утромъ чай; супругъ ея, въ позолоченномъ халатъ изъ тармаламы и съ огромнымъ янтаремъ въ зубахъ, лежалъ на кушеткъ и думалъ, какую заказать коляску къ святой, желтую или синюю; хорошо бы желтую, однако и синюю не дурно. Глафиру Львовну также что-то очень занимало; она забыла чайникъ и мечтательно склонила голову на руку; иногда румянецъ пробъгалъ по ея щекамъ, иногда она показывала явное безпокойство. Наконецъ, мужъ замътилъ необыкновенное расположение ея п сказалъ:

«Ты что-то не въ духъ, Глашенька; нездоровится, что ли, тебъ»:
— Нътъ, я здорова, отвъчала она, и при этомъ подняла глаза

къ нему съ видомъ человъка, просящаго помощи.

«Какъ хочешь, а что нибудь да есть у тебя на умѣ».

Глафира Львовна встала, подошла къ мужу, обняла его и сказала голосомъ трагической актрисы:

— Алексисъ, дай слово, что ты исполнишь мою просьбу!

Алексисъ началъ учивляться: «Посмотримъ, носмотримъ», от-

въчалъ онъ.

— Нътъ, Алексисъ, поклянись исполнить мою просьбу могилой твоей матери.

Онъ вынулъ чубукъ изо рта и посмотрълъ на нее съ изумленіемъ.

«Глашенька, я не люблю такихъ дальнихъ обходовъ; я солдатъ: что могу—сдълаю, только скажи миѣ просто».

Она спрятала лицо на его груди и пропищала въ слезахъ: — Я все знаю, Алексисъ, и прощаю тебя. Я знаю, у тебя есть дочь, дочь преступной любви... Я понимаю неопытность, пылкость юности (Любонькъ было три года!..). Алексисъ, она твоя, я ее видъла: у ней твой носъ, твой затылокъ... О, я ее люблю! пусть она будеть моей дочерью, позволь мнъ взять ее, воспитать... и дай мнъ слово, что не будешь мстить, преслъдовать тъхъ, отъ кого я узнала. Другъ мой, я обожаю твою дочь; позволь же, не отринь моей просьбы!» — И слезы текли обильнымъ ручьемъ по

тармаламѣ халата...

Его превосходительство растерялся и сконфузился до высочайшей степени, и прежде, нежели усиблъ придти въ себя, жена вынудила его дать позволеніе и поклясться могилой матери, прахомъ отца, счастіемъ ихъ будущихъ дѣтей, именемъ ихъ любви, что не возьметъ назадъ своего позволенія и не будетъ доискиваться, какъ она узнала. Разжалованная въ дворовыя, малютка снова была произведена въ барышни, и кроватка опять перефхала въ бель-этажъ. Любонька, которую сначала отучили отца звать отцомъ, начали отучать теперь звать мать — матерью, хотѣли ее выростить въ мысли, что Дуня ея кормилица. Глафира Львовна сама купила въ магазинъ на Кузнецкомъ-мосту дѣтское платье, разодѣла Любоньку, какъ куклу, потомъ прижала се къ сердцу и заплакала. «Спротка», говорила она ей: «у тебя

нъть папаши, нъть мамаши, я тебъ булу все... Папаша твой тамъ!-и она указала на небо.-«Папа съ крылышками»-пролепеталь ребенокъ:—и Глафира Львовна влвое заплакала, восклицая: «о, небесная простота!» А дъло было очень просто: на потолкв, по давнопрошедшей молв, быль представлень амурь, дрягавшій ногами и крыльями и завязывавшій какой-то банть у чернаго жельзнаго крюка, на которомъ висьла люстра. — Дуня была на верху счастія; она на Глафиру Львовну смотрѣла, какъ на ангела: ея благодарность была безъ малейшей примеси какого бы то ни было непріязненнаго чувства; она даже не обижалась темъ, что почь отучали быть почерью; она вилъла ее въ кружевахъ, она видъла ее въ барскихъ покояхъ и только говорила: «на отчего это моя Любонька уронилась такая хорошая: кажись, ей и нельзя налъть другого платычна: красавина булеть».—Дуня обходила всв монастыри и вездв служила заздравные молебны о лоброй барынъ.

Многіе сочтуть экс-графиню героиней. Я полагаю, что ея поступокъ самъ въ себъ былъ величайшею необдуманностью, по крайней мъръ, равною необдуманности выйти замужъ за человъка, о которомъ она только и знала, что онъ мужчина и генералъ. Причина, очевидно, романическая экзальтація, предпочитающая всему на свътъ трагическія сцены, самопожертвованія, натянуто благородные поступки. Справедливость требуеть присовокупить, что Глафира Львовна не имѣла при этомъ никакой хитрой мысли, ни даже тщеславія; она сама не внала, для чего она хотѣла воспитывать Любоньку: ей нравилась патетическая сторона этого дъла. Алексъй Абрамовичъ, позволивъ однажды, нашелъ очень естественнымъ странное положение ребенка и не далъ даже себъ труда подумать, хорошо или худо онъ едблаль, согласившись на это... Въ самомъ дёлё, хорошо или худо онъ сдёлалъ? Можно многое сказать и за, и противъ. Кто считаеть высшей излью жизни человъческой развитие, во что бы оно ни стало, какія бы оно последствія ни привело, тоть будеть со стороны Глафиры Львовны. Кто считаеть высшей цёлью жизни счастье, довольство, въ какомъ бы кругу оно ни было, и на счетъ чего бы оно ни досталось, тотъ будеть противъ нея. Любонька въ людской, если-бъ и узнала со временемъ о своемъ рожденіи, понятія ея были бы такъ тъсны, душа спала бы такимъ непробуднымъ сномъ, что изъ этого ничего бы не вышло: въроятно, Алексъй Абрамовичъ, чтобы вполив примириться съ совъстью, далъ бы ей отпускную и, можеть быть, тысячу-другую приданаго; она была бы при своихъ понятіяхъ чрезвычайно счастлива, вышла бы замужъ за купца третьей гильдіи, носила бы шелковый илатокъ на макушкъ, пила бы по двънадцати чашекъ цвъточнаго

чаю и народила бы цёлую семью купчиковъ; иногда приходила бы она въ гости къ дворечихъ Негрова и видъла бы съ удовольствіемъ, какъ на нее съ завистью смотрятъ ея бывшія подруги. Такъ она могла бы прожить до ста лѣтъ и надѣяться, что сто извощичьихъ дрожекъ проводятъ ее на Ваганьковское кладбище. Любонька въ гостиной—совсѣмъ иное дѣло: какъ бы глупо ее ни воспитывали, она получала возможность образоваться; самая даль отъ грубыхъ понятій людской—своего рода воспитаніе. Съ тѣмъ вмѣстѣ, она должна была понять всю несообразную нелѣпость своего положенія; оскорбленія, слезы, горести ждали ее въ бельэтажѣ, и все это вмѣстѣ способствовало бы дальнъйшему развитію духа, а, можетъ быть, съ тѣмъ вмѣстѣ, развитію чахотки. Итакъ, выбирайте сами, хорошо или худо сдѣлала

М-те Негровъ.

Брачная жизнь Алексъя Абрамовича потекла, какъ по маслу: на всёхъ каретныхъ гуляньяхъ являлась его четверня и блестящій экипажь, и пышущая счастьемь чета въ этомь экипажь. Ихъ навърное можно было встрътить и въ Сокольникахъ 1-го мая, и въ Дворцовомъ саду въ Вознесенье, и на Пръсненскихъ прудахъ въ Духовъ день, и на Тверскомъ бульваръ почти всякій день. Зимой вздили они въ собраніе, давали обеды, им'єли абонированную ложу. Но страшное однообразіе убиваеть московскія гулянья: какъ было въ прошломъ году, такъ въ нынъшнемъ и въ булушемъ; какъ тогда съ вами встрътился толстый купецъ въ великолъпномъ жафтанъ съ чернозубой женой, увъшанной всякими трагопенностями, такъ и ныньче непременно встретится только кафтанъ постарше, борода побѣлѣе, зубы у жены почернье,—а все встрътится; какъ тогда встрътился хватъ съ убійственными усами и въ шутовскомъ сюртукъ, такъ и ныньче встрътится, иъсколько исхудалый; какъ тогда водили на гуляньъ подагрика, покрытаго нюхательнымъ табакомъ, такъ и ныньче его поведуть... Отъ одного этого можно запереться у себя въ комнатъ. Алексъй Абрамовичь быль человъкъ выносливый, однако силы человъческія сочтены: дольше десяти літь онь не могъ протянуть, надобло и ему, и Глашъ. Въ это десятилътіе, у нихъ родились сынъ и дочь, и они начали тяжелъть не по днямъ, а по часамъ; одфваться не хотблось имъ больше, и они начали дълаться домосъдами и-не знаю, какъ и для чего, а полагаю больше для всесовершеннъйшаго покоя—ръшились ъхать на житье въ деревню. Это случилось года четыре прежде ученаго разговора генерала съ Имптріемъ Яковлевичемъ.

Ш

Біографія Дмитрія Яковлевича.

Разумбется, біографія бълнато молодого человъка не можетъ имъть той занимательности, какъ біографія Алексѣя Абрамовича съ домочадиами. Мы должны изъ міра кареть мордоре-фонсе перейти въ міръ, гдѣ заботятся о завтрашнемъ обѣдѣ, изъ Москвы перебхать въ дальній губернскій городь, да и въ немъ не останавливаться на единственной мощеной улиць, по которой иногда можно взлить и на которой живеть аристократія, а улалиться въ одинъ изъ немощеныхъ переликовъ, по которымъ почти никогда нельзя ни ходить, ни балить, и тамъ отыскать почерибвини, нерекосившійся домикъ о трехъ окнахъ. — домикъ убзанаго лекаря Круциферскаго, скромно стоящій между почернівшими и перекосившимися своими товаришами. Всф эти ломики скоро развалятся, замъстятся новыми, и никто объ нихъ не помянетъ: а межау тыть, во встать нихъ развивалась жизнь, киныли страсти, покодінія смінялись поколініями, и обо всіху этих существованіяхь столько извъстно, сколько о ликихъ въ Австраліи, какъ булто они человъчествомъ оставлены внъ закона и не признаны имъ. Но вотъ домикъ, который мы искали. Въ немъ лътъ тридцать жиль добрый, честный старикь съ своей женою. Жизнь его была постоянною битвою со всевозможными нуждами и лишеніями; правда, онъ вышелъ довольно нобъдоносно, т. е. не умеръ съ голода, не застрълился съ отчаянія, но побъда досталась не даромъ: въ нятьдесять леть онъ былъ и сель, и хуль, и морщины покрыли его лицо, а природа одарила его богатымъ запасомъ силъ и здоровья. Не бурные порывы, не страсти, не грозные перевороты истощили это тъло и придали ему видъ преждевременной дряхлости, а безпрерывная, тяжелая, мелкая, оскорбительная борьба съ нуждою, дума о завтрашнемъ днѣ, жизнь, проведенная въ педостаткахъ и заботахъ. Въ этихъ низменныхъ сферахъ общественной жизни душа вянеть, сохнеть въ въчномъ безпокойствъ, забываетъ о томъ, что у нея есть крылья, и въчно наклоненная къ землъ, не подымаетъ взора къ солнцу.

Жизнь лекаря Круциферскаго была огромнымъ продолжительнымъ геройскимъ подвигомъ на неосвъщенномъ поприщъ, награда — насущный хлъбъ въ настоящемъ и надежда не имъть его въ будущемъ. Онъ учился на казенный счетъ въ московскомъ университетъ и, выпущенный лекаремъ, прежде назначения женился на нъмкъ, дочери какого-то провизора; приданое ея, сверхъ доброй и самоотверженной души, сверхъ любви, которую она, по измецкому обычаю, сохранила на всю жизнь, состояло изъ нъ

скольких платьевъ, пропитанныхъ запахомъ розоваго масла съ ребарбаромъ. Страстно влюбленному студенту въ голову не приходило, что онъ не имъстъ права ни на любовь, ни на семейное счастье, что и для этихъ правъ есть свой цензъ, въ родъ французскаго электоральнаго ценза. Черезъ нъсколько дней послъ свадьбы его назначили полковымъ лекаремъ въ дъйствующую армію. Восемь лътъ номадной жизни вынесъ онъ, на девятый усталъ и началъ просить постояннаго мъста. Ему дали одну изъ открывшихся ваканцій. И Круциферскій потащился съ женой и дътьми съ одного края Россіи въ другой и поселился въ

губернскомъ городъ NN.

Сначала онъ имълъ кой-какую практику. Хотя сановники и помъщики въ губерискихъ городахъ предпочитаютъ лечиться у иъмцевъ, но, по счастію, нъмца (кромъ часовщика) подъ рукой не находилось. Это былъ счастивъйшій церіодъ жизни Круциферскаго; тогда онъ купилъ свой домикъ о трехъ окнахъ, а Маргарита Карловна сюрпризомъ мужу, ко дню Якова, брата Господня, ночью обила старый диванъ и кресла сптцемъ, купленнымъ на леньги, собранныя по конейкъ. Ситецъ былъ превосходный: на диванъ Авраамъ три раза изгонялъ Агарь съ Измаиломъ на полъ, а Сарра грозилась; на креслахь съ правой стороны были ноги Авраама, Агари, Изманла и Сарры, а съ лѣвой-ихъ головы. Но эта счастливая эпоха не долго продолжалась. Одинъ богатый помѣщикъ, село котораго было подъ самымъ городомъ, привезъ съ собою домового доктора, отбившаго всю практику у Круциферскаго. Молодой докторъ быль мастеръ лечить женскія болфзии; паціентки были отъ него безъ ума; лечилъ онъ отъ всего піявками и красноръчиво доказываль, что не только всф болфзии воспаленіе, но и жизнь есть ничто иное, какъ воспаленіе матеріи; э Крудиферскомъ онъ отзывался съ убійственнымъ сиисхожденіемъ; словомъ, онъ вошелъ въ моду. Весь городъ шилъ ему по канвъ подушки и кисеты, сувениры и сюрпризы, а о старомъ лекаръ старались забыть. Правда, купцы и духовные остались върными Круциферскому; но кунцы никогда не бывали больны, всегда, слава Богу, здоровы, а когда и случалось прихворнуть, то по собственному усмотрънию терлись и мазались въ банъ всякой дрянью, скинидаромъ, дегтемъ, муравьинымъ спиртомъ и всегда выздоравливали, или умирали черезъ нъсколько дней. Въ обоихъ случаяхъ Круциферскому не приходилось ничего делать, а смерть падала на его счеть, и молодой докторъ всякій разъ говорилъ дамамъ: «странная вещь, въдь, Яковъ Ивановичъ очень хорошо знаетъ свое дъло, а какъ не догадался унотребить t-ræ opii Sydenhamii капель X, solutum in aqua distillata, да не поставилъ подъ ложечку 45 ньявокъ; въдь, человъкъ то бы былъ живъ». Слыша латинскія слова, сама губернаторша вфрила, что человфкъ быль живъ.

Итакъ, мало по малу. Крупиферскій быль свеленъ на одно жалованье: оно состояло, кажется, изъ четырехъ сотъ рублей: у него было пять человакъ датей; жизнь становилась тяжелъе и тяжелъе. Яковъ Ивановичъ не зналъ, какъ прокормиться; скарлатина указала ему выходъ: трое изъ дътей умерли другъ за другомъ, остались старшая дочь и меньшой сынъ. Мальчикъ, кажется, избъгнулъ смерти и болъзни своею чрезвычайною слабостью: онъ родился преждевременно и быль не болфе, какъ живъ; слабый, худой, хилый и нервный, онъ иногда бывалъ не боленъ, но никогда не былъ здоровъ. Несчастія этого ребенка начались прежде его рожденія. Въ то время, какъ Маргарита Карловна была тяжела имъ. налъ ними готово было разразиться ужасное несчастіе. Губернаторъ возненавидълъ Круциферскаго за то, что онъ не даль свидътельства о естественной смерти засвченному кучеру одного помъщика. Яковъ Ивановичъ былъ на вершокъ отъ гибели и съ какой-то кроткой, геройской грустью, самоотверженно жлаль страшнаго удара, — ударъ прошелъ мимо головы его. Въ это тревожное время безпрерывныхъ слезъ родился Митя, единственный наказанный въ дъль о найденномъ тыть кучера. Дитя это было идоломъ Маргариты Карловны: чёмъ бользненные, чымь слабые оно казалось, тымь упорные хотыла мать сохранить его: она, кажется, дёлплась съ нимъ своей силой, любовь оживляла его и исторгла его у смерти. Она будто чувствовала, что онъ останется у нихъ одинъ, опора, надежда, утъщеніе. А что же сталось съ его сестрой? Ей было лътъ семьнадиать. когда въ NN, стоялъ пехотный полкъ; когда онъ ушелъ, ушла и лекарская дочь съ какимъ-то подпоручикомъ; черезъ годъ шисала она изъ Кіева, просила она прощенья и благословенія п извъщала, что подпоручикъ женился на ней; черезъ годъ еще писала она изъ Кишинева, что мужъ ее оставилъ, что она съ ребенкомъ въ крайности. Отенъ посладъ ей двадцать иять рублей. Послѣ этого, не было объ ней и вѣсти.

Когда Митя подросъ, его отдали въ гимназію; онъ учился хорошо; вѣчно застѣнчивый, кроткій и тихій, онъ былъ даже любимъ инспекторомъ, который считалъ не вовсе сообразнымъ съ своей должностью любить дѣтей. Отецъ хотѣлъ, послѣ курса, записать его въ канцелярію гражданскаго губернатора, въ чемъ ему обѣщалъ протежировать секретарь, у котораго онъ лечилъ безвозмездно дѣтей, вѣчно золотушныхъ. Вдругъ Митѣ открылась другая дорога. Какой-то меценатъ и тайный совѣтникъ проѣзжалъ по городу XX., отправляясь изъ деревии въ Москву. Директоръ гимназіи, имѣвшій талантъ узнавать ясно прибли-

женіе тайныхъ сов'єтниковъ, тотчасъ отправился просить удостоительной чести посъщенія вертограда и разсадника отечественнаго просвъщенія. Меценату не хотълось, но опъ любилъ радушные пріємы и съ тымь вмысты почтительные. Пиректоры, въ мунинив и поплерживая шляпой шпагу, объяснилъ мененату подробно, отчего съни сыры и лъстница покривилась (хотя меценату до этого дфла не было); ученики были развернуты. правильной колонной, учители, сильно причесанные и съ кръпко повязанными галстухами, озабоченно ходили, глазами показывали что-то ученикамъ и сторожу, всего менъе потерявшемуся. Учитель физики просилъ позволенія его превосходительства убить кролика подъ колпакомъ иневматической мащины и голубя Лейденской банкой. Меценатъ просплъ ихъ пощадить, причемъ директоръ, тронутый, посмотрълъ на всъхъ учителей и на всъхъ учениковъ, какъ бы говоря: «Величіе всегда сопровожлается кротостью». Голубь и кроликъ послъ этого жили въ залавкъ у сторожа до самаго акта, когда неумолимый учитель все-таки, къ большому удовольствію всего города, принесъ ихъ на жертву наукт и образованию. Затъмъ одинъ изъ учениковъ вышелъ впередъ и учитель французскаго языка спросилъ его: «Не имъетъ ли онъ имъ что-нибудь сказать по поводу высокато посъщенія разсадника наукъ?» Ученикъ тотчасъ же началъ на какомъ-то франко-церковномъ нарфчін: «Команъ пувоннъ ну поверь анфанъ ремерсіерь лилюстрь визитерь».

Глядя по сторонамъ во время этой кельто-славянской рфчи, меценать обратиль какъ-то внимание на болъзненный и нъжный видъ Мити, подозвалъ его къ себъ, поговорилъ, приласкалъ. Пиректоръ сказалъ, что это отличнъйшій ученикъ, что онъ пошелъ бы далеко, но что отецъ его не имбеть чёмъ содержать его въ Москву, и пр. Меценатъ былъ меценатъ, и сказалъ Митъ, что черезъ мъсяцъ или два поъдетъ его управитель, что если его родители согласны, то онъ ему прикажеть привезти Митю въ Москву и велить дать ему уголокъ въ своемъ флигелъ вмъстъ съ дътьми управляющаго. Директоръ послалъ тотчасъ письмоводителя за Яковомъ Ивановичемъ. Яковъ Ивановичъ засталъ мецената, уже садящагося въ дорметь. Старикъ былъ истинио тронуть, илакаль, какъ дитя, и простымъ языкомъ, нескладнымъ и прерывистымъ, благодарилъ его. Меценатъ указалъ на плечистаго мужчину, помогавшаго застегивать какіе-то ременки у кареты, и сказаль; «Это мой управляющій, онъ повезеть вашего сына», сказаль и убхаль, милостиво улыбнувшись.

Черезъ мѣсяцъ, кибитка съ бубенчиками вытѣхала изъ воротъ Круциферскаго, и въ ней сидѣтъ Митя, покрытый одѣяломъ, увязанный и одѣтый матерью, и приказчикъ въ одномъ сюртукѣ, потому что онъ въ пути предпочиталъ нагрѣваться изнутри. И воть отъ чего зависить судьба человѣка! Если-бъ меценатъ не пробзжаль черезъ городъ NN., Митя поступилъ бы въ канцелярію, и разсказа нашего не было бы, а быль бы Митя со временемъ стариній помощникъ правителя дъль и кормилъ бы онъ своихъ стариковъ, Богъ знаетъ какими, доходами, —и отдохнули бы Яковъ Ивановичъ и Маргарита Карловна. Отъбздъ Мити былъ переломомъ жизни стариковъ, — они остались одни: тишина, грусть еще болбе овладъли ихъ домикомъ. Управляющій мецената, человъкъ не слабонервный, почувствовалъ что-то въ родъ слезъ, когда старики разставались съ сыномъ. Бъдный отецъ прощается не такъ, какъ богатый; онъ говорилъ сыну: «Пди, другъ мой, ищи себъ хлъба; я болъе для тебя ничего не могу сдълать; пролагай свою дорогу и вспоминай насъ!» И увидятся ли они, найдеть ли онъ себъ хлъбъ, все покрыто черной, тяжкой завъсой... Хочетъ отецъ дать сыну на дорогу побольше, и нътъ возможности; онъ десять разъ разсчитываетъ, сколько можно удълить изъ наличныхъ восьми десяти рублей, и все ему кажется мало. А мать сколько слезъ прольеть надъ убогимъ узелкомъ, въ который она положила необходимъйшія свои вещи, но понимаеть, что всего не достаеть, и знаеть, что негдъ взять... Это сцены, неизвъстныя, мъщанскія, скрываемыя тщательно отъ посторонняго глаза, но вопіющія и раздпрающія сердце! Хорошо, что онъ скрыты!

Молодой Круциферскій черезъ четыре года сдёлался кандидатомъ. Не одаренный ни особенно блестящими способностями, ни чрезвычайной быстротою соображенія, онъ любовью къ наукъ, постояннымъ прилежаніемъ вполн'в заслужилъ полученную имъ степень. Глядя на его кроткое лицо, можно было подумать, что изъ него разовьется одно изъ милыхъ германскихъ существованій, — существованій тихихъ, благородныхъ, счастливыхъ въ немножко ограниченной, но чрезвычайно трудолюбивой учено-педагогической дъятельности, въ немножко ограниченномъ семейномъ кругу, въ которомъ черезъ двадцать лътъ мужъ еще влюбленъ въ жену, а жена еще красићетъ отъ каждой двусмысленной шутки. Это-существованія маленькихъ патріархальныхъ городковъ въ Германіи, пасторскихъ домиковъ, семпнарскихъ учителей, чистыя, правственныя и незамътныя виъ своего круга... Но будто у насъ возможна такая жизнь? Я решительно думаю, что неть,-нашей душть несвойственна эта среда; она не можетъ утолять жажду такимъ жиденькимъ впицомъ; она или гораздо выше этой жизни, или гораздо ниже, но въ обоихъ случаяхъ шире. Сдѣлавшись кандидатомь, Круциферскій сначала понытался получить мъсто при университетъ; потомъ думалъ пробиться частными уроками, — но вет попытки были напрасны: онъ унаслъдовалъ отъ отца удачу во всъхъ предпріятіяхъ...

Черезъ нѣсколько мѣсниевъ послѣ того, какъ при звукахъ литавръ и трубъбыло возвъщено о кандидатствъ Круциферскаго. онъ получилъ письмо отъ старика, извъщавшее его о болъзни матери и мимоходомъ намекавшее на тъсныя обстоятельства. Зная характеръ отца, онъ понялъ, что одна страшная крайность заставила его сдълать такой намекъ. Послъднія деньги были прожиты Круциферскимъ, одно средство оставалось: у него былъ патронъ, профессоръ какой-то гнозіи, принимавшій въ немъ серпечное участіе: онъ написаль къ нему письмо открыто, благородно, трогательно и просплъ взаймы 150 рублей. Профессоръ отвъчалъ учтивъйшимъ образомъ, тронулся запиской, но денегъ не прислаль; въ postsriptum' в ученый мужъ упрекаль самымъмилымъ образомъ Круциферскаго, что онъ не приходитъ никогда къ нему объдать. Записка поразила мололого человъка. — такъ мало зналъ онъ цъну людямъ, или, лучше сказать, деньгамъ! Ему было очень тяжело; онъ бросилъ милую записку добраго профессора на столъ, прошелся раза два по комнаткъ и, совершенно уничтоженный горестью, бросился на свою кровать, слезы потихоньку скатывались со щекъ его; ему такъ живо представлялась убогая комната, и въ ней его мать страждущая, слабая, можеть быть, умирающая, —возлъ старикъ, печальный и убитый. Больной хочется чего-нибудь, хочется, но она скрываеть, чтобъ не увеличить горести мужа, а тоть догадывается и тоже скрываеть, боясь, что прійдется отказать ей... Читатель, если вы богаты, или, по крайней мъръ, *обезпечены*, — принесемте глубокую благодарность небу, и да здравствуетъ полученное нами наслъдство! да здравствуеть родовое и благопріобрѣтенное!

Въ эту тяжелую минуту для кандидата, отворилась дверь его комнатки, и какая-то фигура, явнымъ образомъ не столичная, вошла, снимая темный картузъ съ огромнымъ козырькомъ. Козырекъ этотъ бросалъ тънь на здоровое, краснощекое и веселое лицо человъка пожилыхъ лътъ; черты его выражали эпикурейское спокойствіе и добродушіе. Онъ былъ въ поношенномъ коричневомъ сюртукъ съ воротникомъ, какого именно тогда не носили, съ бамбуковой палкой въ рукахъ, и, какъ мы сказали, съ видомъ ръшительнаго провинціала.

— «Вы господинъ Круциферскій, кандидать здёшняго университета?»

— Я, отвъчалъ Дмитрій Яковлевичъ:—къ вашимъ услугамъ.
— «А вотъ, господинъ кандидатъ, позвольте мнъ сперва състъ;

я постарше васъ, да и пришелъ пъшкомъ».

Съ этими словами онъ хотъль было състь на стуль, на которомъ висъль вицъ-мундирный фракъ; но оказалось, что этотъ стуль можеть только выносить тяжесть фрака безъ человъка, а

не человъка въ спортукъ. Крупиферскій, сконфузившись, просилъ его пом'єститься на кровать, а самъ взялъ другой (и посл'єдній)

— «Я, началъ посётптель съ убійственною медленностью: — CTV.ID. инспекторъ врачебной управы N., докторъ медицины Круповъ, и пришель къ вамъ воть по какому дълу...» — Инспекторъ былъ человъкъ методическій, остановился, вынулъ большую табакерку, положилъ ее возлъ себя, потомъ вынулъ красный илатокъ и положилъ его возлъ табакерки, потомъ бълый платокъ, которымъ обтеръ себъ потъ, и, нюхая табакъ, продолжалъ такимъ образомъ:--«Вчерашняго числа я былъ у Антона Фердинандовича... Мы съ нимъ одного выпуска... нътъ, извините, онъ вышелъ годомъ ранже... да, годомъ ранже, точно, —все же были товарищи п остались добрыми знакомыми. Вотъ-съ я и прошу его, не можетъ ли онъ мнъ указать хорошаго учителя въ отъбздъ-де въ нашу губернію, кондиціи, моль, такія и такія, п воть, моль, требують то и то. Антонъ-атъ Фердинандовичъ и далъ мнъ вашъ адресъ и, признаюсь, очень лестно отзывался объ васъ; а потому, если вы желаете имъть кондицію въ отъездъ, то я могь бы съ вами дёло покончить».

Антонъ Фердинандовичъ былъ именно профессоръ-натронъ: онъ въ самомъ дълъ любилъ Круциферскаго, но только не рисковалъ своими деньгами, какъмы видъли, —а рекомендацію всегда

былъ готовъ дать. Тяжелый докторъ Круповъ покался Крупиферскому небеснымъ посланипкомъ; онъ откровенно разсказалъ ему свое положеніе и заключилъ тімъ, что ему выбора нітъ, что онъ обязанъ принять мъсто. Круповъ вытащилъ изъ кармана что-то среднее между бумажинкомъ и чемоданомъ и вынулъ письмо, покопвшееся въ обществъ кривыхъ ножницъ, ланцетовъ и зондовъ, п прочелъ: «Предложите таковому 2.000 рублей въ годъ и пикакъ не болъе 2.500, потому что за 3.000 рублей у моего сосъда живеть французъ изъ Швейцарін. Особая комната, утромъ чай, прпслуга и мытье бълья, какъ обыкновенно. Объдать за столомъ».

Круциферскій не дълалъ никакихъ требованій, красивя, говорилъ о деньгахъ, распрашивалъ о занятіяхъ и откровенно сознавался, что боится смертельно вступить въ посторонній домъ, жить у чужихъ людей. Круповъ былъ тронутъ, уговаривалъ его не бояться Негровыхъ... «Вѣдь, вамъ съ ними не дѣтей крестить; будете учить мальчика, а съ отцомъ, съ матерью видаться за объдомъ. Генералъ денежно васъ не обидитъ, за это я вамъ отвъчаю; жена его въчно спить: стало, и она васъ не обидить, развъ во снъ. Домъ Негрова, повъръте миъ, не хуже... признаться, п не лучше, всёхъ номёщичьихъ домовъ». Словомъ, торгъ сладился:

Крупиферскій шель въ наемь за 2.500 рублей въ голь. Инспекторъ быль обленившійся въ провинціальной жизни человекъ, но опнако человъкъ. Узнавъ рядомъ горькихъ опытовъ, что всъ прекрасныя мечты, великія слова остаются до поры до времени мечтами и словами, онъ поселился на въки въковъ въ NN и мало по малу научился говорить съ разстановкой, носить два платка въ карманъ, одинъ красный, другой бълый. Ничто въ мір'в не портить такъ челов'вка, какъ жизнь въ провинціп. Но онъ не совстви еще вымеръ: въ глазахъ его еще попрыгивали огоньки. Многое встрененулось въ душт Крунова при видт благороднаго, чистаго юноши; ему вспомнилось то время, когда онъ съ Антономъ Фердинандовичемъ мечталъ сдёлать переворотъ въ медицинъ, идти иъшкомъ въ Геттингенъ... И онъ горько улыбнулся при этихъ воспоминаніяхъ. Когда торгъ кончился, ему пришло въ голову: «хорошо ли я дёлаю, вталкивая этого юношу въ глупую жизнь полустепнаго пом'вщика?» Даже мысль дать ему своихъ денегъ и уговорить его не покидать Москвы пришла ему въ голову; лътъ иятьнадцать тому назалъ онъ такъ бы и сдѣлаль, но старыми руками ужасно трудно развязывать кошелекъ. «Судьба!» подумалъ Круповъ и утъщился. Странно, что въ этомъ случай онъ поступилъ точь въ точь, какъ съ древнийшихъ временъ поступаетъ человъчество: Наполеонъ говаривалъ, что судьба-слово, не имѣющее смысла; отъ того-то оно такъ и утѣшительно.

— «Итакъ, мы дѣло сладили, сказалъ, наконецъ, инспекторъ послѣ маленькаго молчанія; — я ѣду черезъ пять дней, и буду очень радъ, если вы раздѣлите со мною тарантасъ».

IV.

Житье-бытье.

Давно изв'єстно, что челов'єкъ везд'є можетъ оклиматиться, въ Лапландіп и Сенегаліи. Потому дивиться собственно нечему, что Круциферскій мало по малу началъ привыкать къ дому Негрова. Образъ жизни, сужденія, интересы этихъ людей сначала поражали его, потомъ онъ сталъ равнодушн'єе, хотя и былъ далекъ отъ примиренія съ такою жизнію. Странное д'єло: въ дом'є Негрова ничего не было ни разительнаго, ни особеннаго; но св'єжему челов'єку, юнош'є, какъ-то неловко, трудно было дышать въ немъ. Пустота всесовершенн'єйшая, самая многосторонняя царила въ почтенномъ семейств'є Алекс'єя Абрамовича. Зач'ємъ эти люди вставали съ постели, зач'ємъ двигались, для чего жили, —трудно было бы отвъчать на эти вопросы. Впрочемъ, и нътъ нужды на нихъ отвъчать. Добрые люди эти жили потому, что родились и продолжали жить по чувству самосохраненія. Какія тутъ цъли, да заднія мысли?.. Это все изъ нѣмецкой философіи! Генералъ вставаль въ 7 часовъ утра и тотчасъ появлялся въ залу съ толстымъ черешневымъ чубукомъ; вошедшій незнакомецъ могъ бы подумать, что проекты, соображенія первой важности бродять у него въ головъ: такъ глубокомысленно курилъ онъ; но бродилъ одинъ дымъ, и то не въ головъ, а около головы. Глубокомысленное куреніе продолжалось часъ. Алексъй Абрамовичъ все это время тихо ходилъ по залъ, часто останавливаясь передъ окномъ, въ которое онъ превнимательно всматривался, щурилъ глаза, морщилъ лобъ, дълалъ недовольную мину, даже кряхтълъ, но и это быль такой же оптическій обмань, какъ задумчивость. Управитель долженъ быль въ это время стоять у дверей, рядомъ съ казачкомъ. Окончивъ курснье, Алексъй Абрамовичъ обращался къ управителю, бралъ у него изъ рукъ рапортичку и начиналъ его ругать не на животь, а на смерть, присовокупляя всякій разъ, что «кончено, что онъ его знаетъ, что онъ умъетъ учить мошенниковъ и для примъра справедливости отдастъ его сына въ солдаты, а его заставить ходить за итицами!» Была ли это мъра правственной гигіены въ род'в ежедневныхь обливаній холодной водой, міра, посредствомъ которой онъ поддерживалъ страхъ п повиновеніе своихъ вассаловъ, или просто патріархальная привычка, въ обоихъ случаяхъ постоянство заслуживало похвалы. Управитель слушаль отеческія наставленія съ безмолвнымъ самоотверженіемъ: слушать ихъ казалось ему такою же существенною обязанностью, сопряженной съ его должностью, какъ красть пшеницу и ячмень, стно и солому. «Ахъ, ты разбойникъ!» кричаль генераль: «да тебя мало трехь разъ повъсить». — «Воля вашего превосходительства», отвъчаль съ величайшимъ спокойствіемъ управитель и смотр'єль своими плутовскими глазами какъ-то косвенно внизъ.

Бесвда эта продолжалась до появленія дётей здороваться; Алексвій Абрамовичь протягиваль имъ руку; съ ними являлась миніатюрная француженка-мадамъ, которая какъ-то уничтожалась, уходя сама въ себя, присвдала à la Pompadour; она возвіщала, что чай готовъ, и Алексвій Абрамовичь отправлялся въ диванную, гдів Глафира Львовна уже дожидалась его передъ самоваромъ. Разговоръ обыкновенно начинался жалобою Глафиры Львовны на свое здоровье и на безсонницу; она чувствовала въ правомъ висків непонятную, живую боль, которая переходила въ затылокъ и въ темя и не давала ей спать. Алексвії Абрамовичъ слушаль бюллетень о здоровью супруги довольно равнодушно, потому ли,

что онъ одинъ во всемъ родѣ человѣческомъ оченъ хорошо и основательно зналъ, что она ночью никогда не просыпается, или потому, что ясно видѣлъ, какъ эта хроническая болѣзнь полезна здоровью Глафиры Львовны,—не знаю. За то Элиза Августовна приходила въ ужасъ, жалѣла о страдалицѣ и утѣшала ее тѣмъ, что и княгина Р***, у которой она жила, и графиня М***, у которой она могла бы жить, если-бъ хотѣла,—точно такъ же страдаютъ живою болью и называютъ ее tic douloureux. Во время чая приходилъ поваръ; благородная чета начинала заниматься заказомъ обѣда и бранить за вчерашній, хотя блюда и были вынесены пусты. Поваръ имѣлъ то преимущество передъ приказчикомъ, что его ежедневно бранилъ баринъ, какъ и приказчика,

да, сверхъ того, бранила барыня.

Послѣ чая. Алексѣй Абрамовичъ отправлялся по полямъ. Нѣсколько лёть живъ безвыёздно въ деревнё, онъ немного успёль въ агрономіи, нападалъ на мелкіе безпорядки, цуще всего любилъ дисциплину и вилъ безусловной покорности. Воровство самое наглое совершалось почти передъ глазами, и онъ большей частио не замѣчалъ, а когда замѣчалъ, то такъ неловко принимался за дёло, что всякій разъ оставался въ дуракахъ. Какъ настоящій глава и отецъ общины, онъ часто говариваль: «вору спущу, мошеннику спущу, но ужъ дерзости не могу стеривть»,въ этомъ у него состоялъ натріархальный point l'honneur! Глафира Львовна, кром'й чрезвычайныхъ случаевъ, никогда не выходила изъ дома ибшкомъ, разумбется, исключая стараго сада, который отъ запущенности сдълался хорошимъ и который начинался отъ самаго балкона: паже собирать грибы фалила она всегла въ коляскъ. Это дълалось слъдующимъ образомъ. Съ вечера отдавался приказъ старость, чтобъ собрать легіонъ мальчишекъ и дъвчонокъ съ кузовками, корзинками, илетушками и проч. Глафира Львовна съ француженкой тхала шагомъ по просъкъ, а саранча босыхъ, полуголыхъ и полусытыхъ дътей, подъ предводительствомъ старухи птичницы, барченка и барышни, нападала на масленки, волвянки, сырожжки, рыжики, бълые и всякіе грибы. Грибъ удивительной величины или чрезвычайной малости приносился птичницей къ матушкъ-енаральшъ; имъ изволили любоваться и бхали далбе. Возвратившись домой, она всякій разъ жаловалась на усталь и ложилась уснуть передъ объдомъ, употребивъ для возстановленія силь какой-нибудь остатокъ вчерашияго ужина — барашка, теленка, поеннаго однимъ молокомъ, индѣйку, кормленую грецкими орѣхами, или что-нибудь въ этомъ родъ, легкое и пріятное. Между тъмъ, ужъ и Алексъй Абрамовичь хватиль горькой, закусиль, повториль и отправился прогуляться въ саду; онъ особенно въ это время любилъ пройтись

по саду и заняться оранжереей, разспрашивая обо всемъ садовникову жену, которая во всю жизнь не умъла отличить грушъ отъ яблокъ, что не мѣшало ей имѣть довольно пріятную наружность. Въ это время, то есть, часа за полтора до обѣда, француженка занималась образованіемъ дѣтей. Что она имъ преподавала, какъ, это покрывалось непронидаемой тайной. Отецъ и мать были довольны: кто же имѣетъ право мѣшаться въ семейныя дѣла послѣ этого?

Въ пва часа подавался объдъ. Каждое блюдо было достаточно, чтобъ убить человъка, привыкнувшаго къ европейской инив. Жиръ, жиръ и жиръ, езва смягчаемый капустой, лукомъ и солеными грибами, переработывался, при помощи достаточнаго количества мадеры и портвейна, въ упругое тъдо Алексъя Абрамовича, въ расилывшееся Глафиры Львовны и въ сморшившееся тъльцо, едва покрывавшее косточки, Элизы Августовны. Кстати, Элиза Августовна не отставала отъ Алексъя Абрамовича въ употребленін малеры (и зам'єтимь притом'ь шагь впередъ XIX в'єка: въ XVIII въкъ нанимавшейся мадамъ не было бы предоставлено право нить вино за столомъ); она увъряла, что въ ея родинъ (въ Лозаннъ) у нихъ былъ виноградникъ, и она дома всегда, виъсто кваса, нила мадеру изъ своихъ лозъ, и тогда еще привыкла къ ней. Послъ объда, генералъ ложился на полчаса уснуть на кушеткъ въ кабинетъ и спалъ гораздо долъе, а Глафира Львовна отправлялась съ мадамой въ диванную. Мадамъ говорила безпрерывно, а Глафира Львовна засыпала подъ ея безконечные разсказы. Иногда, для разнообразія, Глафира Львовна посылала за женой сельскаго священника. Та являлась — какое-то дикое, несвязное существо, въчно испуганное и всего боящееся. Глафира Львовна цълые часы проводила съ ней и потомъ говорила мадамѣ: ah, comme elle est bête, insupportable! И въ самомъ дѣлъ, понанья была непроходимо глупа. Потомъ чай, потомъ ужинъ около десяти часовъ, послѣ ужина семья начинала зѣвать всѣми ртами. Глафира Львовна замъчала, что въ деревнъ надобно жить по-деревенски, т. е. раньше ложиться спать, —и семья расходилась. Въ одинналнать часовъ домъ храпълъ отъ конюшни до чердака. Изръдка наъзжалъ какой-нибудь сосъдъ, Негровъ подъ другой фамиліей, или старуха тетка, проживавшая въ губернскомъ городъ и новрежденная на желаніи отдать дочерей замужъ. Тогда на мигъ порядокъ жизни изменялся; но гости уезжали, --и все шло попрежнему.

Разумѣется, что за всѣми этими занятіями все еще оставалось довольно времени, которое не знали куда дѣть, особенно въ ненастную осень, въ долгіе зимніе вечера. Весь таланть француженки былъ употребляемъ на то, чтобъ конопа-

тить эти дыры во времени. Надобно замътить, что ей было что поразсказать. Она пріфхада въ последніе годы парствованія покойной Императрины Екатерины портнихой при французской труппъ: мужъ ея былъ второй любовникъ, но, по несчастію, климать Петербурга оказался для него гибеленъ, особенно послъ того, какъ, оберегая съ большимъ усердіемъ, чъмъ нужно женатому человъку, одну изъ артистокъ трупцы, онъ былъ гварлейскимъ сержантомъ выброшенъ изъ окна второго этажа на удину. Въроятно, падая, онъ не взялъ достаточныхъ предосторожностей отъ сырого воздуха, пбо съ той минуты сталъ кашлять, кашлять мъсяца два, а потомъ пересталъ по очень простой причинъ. потому-что умеръ. Элиза Августовна овловъла именно въ то время. когда мужъ всего нужнъе, т. е. лътъ въ триднать... Поплакала, поплакала и пошла сначала въ сестры милосернія къ одному подагрику, а потомъ въ воспитательницы почери одного вловна. очень высокаго ростомъ, отъ него перешла къ одной княгинъ и т. д., —всего не перескажешь. Довольно, что она умъла чрезвычайно хорошо прилаживаться къ нравамъ дома, въ которомъ находилась, вкрадывалась въ довъренность, дълалась необходимой, исполняла тайныя и явныя порученія, хранила на всёхъ дёйствіяхъ какую-то печать кліентизма и уничиженія, уступала м'єсто, предупреждала желанія. Словомъ, чужія лъстницы были пля пея не круты, чужой хлѣбъ не горекъ. Она, хохотавъ и вязавъ чулокъ, жила себѣ беззаботно и припѣваючи; ей, вѣчно втянутой во вст маленькія исторіи, совершающіяся между дівичьей и спальней, никогда не приходило въ голову о жалкомъ ея существованіи. Итакъ, въ скучное время, Элиза Августовна тішила своими разсказами, тогда какъ Алексей Абрамовичъ раскладывалъ гран-пасьянсъ, а Глафира Львовна, ничего не дълая, сидъла на диванъ. Элиза Августовна знала тысячи похожденій и питригъ о своихъ благодителяхъ (такъ она называла всъхъ, у кого жила при дътяхъ); повъствовала ихъ она съ значительными добавленіями и приписывая себѣ во всякомъ разсказѣ главную роль, худшую или лучшую—все равно. Алексъй Абрамовичъ еще съ большимъ интересомъ, нежели его жена, слушалъ скандальныя хроники воспитательницы своихъ дётей и хохоталъ отъ всего сердца, находя, что это кладъ, а не мадамъ. Почти такъ тянулся день за днемъ, а время проходило, напоминая себя иногда большими праздниками, постами, уменьшеніями дней, увеличеніемъ дней, именинами и рожденіями, а Глафира Львовна, удивляясь, говорила: «Ахъ, Боже мой, въдь послъ-завтра Рождество, а кажется, давно ли выпалъ снъть!»

Но гдѣ же во всемъ этомъ Любонька, бѣдная дѣвушка, которую воспитывали добрые Негровы? Мы ее совсѣмъ забыли. Въ

этомъ она больше насъ виновата: она являлась, большею частью, молча, въ кругу патріархальной семьи, не принимая почти никакого участія во всемъ происходившемъ и принося самымъ этимь явный писсонансь въ слаженный аккордъ прочихъ лицъ семейства. Въ этой дъвицъ было много страннаго: съ лицомъ, полнымъ энергін, сопрягались апатія и холонность, ничемъ невозмущаемыя, повидимому; она до такой степени была равнолушна ко всему, что самой Глафира Львовна было это невыносимо поль часъ. и она звала ее ледяной [англичанкой, хотя андалузскія свойства генеральши тоже подлежали большому сомнёнію. Лицомъ она была похожа на отца, только темноголубые глаза насл'єдовала она оть Дуни; но въ этомъ сходствъ была такая необъятная противоположность, что два лица эти могли бы послужить Лафатеру предметомъ новаго тома кудрявыхъ фразъ: жесткія черты Алексъя Абрамовича, оставаясь тъми же, искуплялись, такъ сказать, въ лицъ Любоньки: по ея лицу можно было понять, что въ Негров'т могли быть хорошія возможности, задавленныя жизнію и погубленныя ею; ея лицо было объясненіемъ лица Алекствя Абрамовича: человъкъ, глядя на нее, примирялся съ нимъ. Но отчего же она всегда была задумчива? отчего немногое веселило ее? отчего она любила сидъть одна у себя въ комнатъ? Много было на это причинъ, и внутреннихъ и внёшнихъ, начнемъ съ аглицатьоп.

Положение ея въ дом'в генерала не было завидно не потому, чтобы ее хотъли гнать или тъснить, а потому, что исполненные предразсудковъ и лишенные деликатности, которую даетъ одно развитіе, эти люди были безсознательно грубы. Ни генералъ, ни его супруга не понимали страннаго положенія Любоньки у нихъ въ домъ и усугубляли тягость его безъ всякой нужды, касаясь до нёжнёйшихъ фибръ ея сердца. Жесткая и отчасти надменная натура Негрова, часто вовсе безъ намъренія, глубоко оскорбляла ее, а потомъ онъ оскорблялъ ее и съ намерениемъ, но вовсе не понимая, какъ важно вліяніе иного слова на душу болѣе нѣжную, нежели у его управителя, и какъ надобно было быть осторожнымъ ему съ беззащитной дъвушкой, дочерью и не дочерью, живущей у него по праву и по благодъянію. Эта деликатность была невозможна для такого человіка, какъ Негровъ; ему и въ голову не приходило, чтобъ эта дѣвочка могла обидѣться его словами: что она такое, чтобъ обижаться? Алексъй Абрамовичъ, желая укрѣпить болѣе и болѣе любовь Любоньки къ Глафирѣ Львовий, часто повторяль ей, что она всю жизнь обязана Бога молить за его жену, что ей одной обязана она всемъ своимъ счастіємъ, что безъ нея она была бы не барышней, а горничной. Онъ въ самыхъ мелочныхъ случаяхъ давалъ ей чувствовать, что

хотя она восинтывалась такъ же, какъ его дѣти, но что между ними огромная разница. Когда ей миновало шестнадцать лѣтъ, Негровъ смотрѣлъ на всякаго неженатаго человѣка, какъ на годнаго жениха для нея. Засѣдатель ли пріѣзжалъ съ бумагой изъ города, доходилъ ли слухъ о какомъ – нибудь мелкопомѣстномъ сосѣдѣ, Алексѣй Абрамовичъ говорилъ при бѣдной Любонькѣ: «Хорошо, кабы посватался засѣдатель за Любу, право, хорошо, и мнѣ бы съ руки, да и ей чѣмъ не партія? Ей не графа же ждать!»

Глафира Львовна еще менъе не тъснила Любоньки, даже въ иныхъ случаяхъ по своему баловала ее: заставляла сытую тсть, павала не во время варенье, и проч.: но и отъ нея бѣлная много терибла. Глафира Львовна считала себя обязанною каждой вновь знакомившейся дам' представлять Любоньку, присовокупляя: «это спротка, воспитывающаяся съ моими малютками», потомъ начинала шентать. Любонька догадывалась, о чемъ ръчь, блъднъла, сгорала отъ стыда, особенно, когда провинціальная барыня, выслушавъ тайное поясненіе, устремляла на нее дерзкій взглядь, сопровождая его двусмысленной улыбкой. Въ послълнее время. Глафира Львовна немного перемѣнилась къ сироткъ: ее начала посъщать мысль, которая внослъпствіе могла развиться въ ужасныя гоненія Любонькъ: не смотря на всю материнскую слъпоту, она какъ-то разглядъла, что ен Лиза-толстая, краснощекая и очень похожая на мать, но съ какимъ-то прибавленіемъ глупаго выраженія, будеть всегда стерта благородной наружностью Любоньки, которой, сверхъ красоты, самая задумчивость придавала что-то такое, почему нельзя было пройти мимо ея. Увинъвъ это, она совершенно была согласна съ Алексвемъ Абрамовичемъ, что если подвернется какой-нибудь секретарикъ добренькій, или засъдатель, тоже добренькій, то и отдать ее. Всего этого Любонька не могла не видать.

Сверхъ сказаннаго, се тѣснило и все окружающее. Ея отношенія къ дворнѣ, среди которой жила ея кормилица, были неловки. Горничныя смотрѣли на нее, какъ на выскочку, и, преданныя аристократическому образу мыслей, считали барышней одну столбовую Лизу. Когда же онѣ убѣдились въ чрезвычайной кротости Любоньки, въ ея невзыскательности, когда увидѣли, что она никогда не ябедничаетъ на нихъ Глафирѣ Львовнѣ, тогда она была совершенно потеряна въ ихъ мнѣпіи, и онѣ почти вслухъ, въ минуты негодованія, говорили: «Холопку какъ ни одѣвай, все будетъ холопка: осанки, виду барственнаго совсѣмъ нѣтъ». Всѣ эти мелочи—не стоящія вниманія съ точки зрѣнія вѣчности; но прошу того сказать, кто пспыталъ на себъ рядъ ничтожныхъ, нечистыхъ названій, оскорбленій, —тотъ, или, лучше, та пусть скажетъ, легки они, или нѣтъ.

Къ повершению бълствий Любоньки, приважала иногла проживавшая въ губернскомъ горол'в тетка Алекс'вя Абрамовича съ тремя почерьми. Старуха—здая, полубезумная и ханжа—не могла видеть несчастную девушку и обращалась съ нею возмутительно. «Съ какой стати, матушка», говорила она, покачивая головой: «принарядилась такъ? а? Скажите, пожалуйста! Да васъ, сударыня, можно принять за равную монть почерямь! Глафира Львовна, для чего вы ее такъ балуете? Въдь Мароушка, родная тетка ея, у меня птичницей, рабыня моя; а это съ какой стати, право? Да и Алексъй-то, старый грѣшникъ, постыпился бы побрыхъ людей»! Эти ругательныя замічанія она заключала всякій разъ молитвою, чтобъ господь Богъ простиль ея племяннику гръхъ рожденія Любоньки. Дочери тетки, -- три провинціальныя граціи, изъ которыхъ старшая года два-три уже стояла на роковомъ двадцать девятомъ году, если не говорили съ такою натріархальною простотою, то давали въ кажломъ словъ чувствовать Любъ всю снисходительность свою, что онъ удостонвають ее своей лаской. Любонька при людяхъ не показывала, какъ глубоко ее оскорбляютъ подобныя сцены, или, лучше, люди, окружавшие ее, не могли понять и видъть прежде, нежели имъ было указано и растолковано; но, уходя въ свою комнату, она горько плакала... Ца, она не могла стать выше такихъ обидъ, да и врядъ ли это возможно дѣвушкѣ въ ея положении. Глафиръ Львовнъ было жаль Любоньку; но взять ее полъ защиту, показать свое неудовольствіе-ей и въ голову не приходило: она ограничивалась обыкновенно тъмъ, что давала Любонькъ двойную порцію варенья, и потомъ, проводивъ съ чрезвычайной лаской старуху и тысячу разъ повторивъ, чтобъ chère tante ихъ не забывала, она говорила француженкъ, что она се териъть не можеть и что, всякій разъ послъ ея посъщенія, чувствуеть нервное разстройство и живую боль въ лѣвомъ вискѣ, готовую перейти въ затылокъ.

Нужно ли говорить, что воспитаніе Любоньки было сообразно всему остальному? Кром'в Элизы Августовны, никто не училъ ее; сама же Элиза Августовна занималась съ дѣтьми одной французской грамматикой, не смотря на то, что тайна французскаго правописанія ей не далась, и она до сѣдыхъ волосъ писала съ большими промахами. Кром'в грамматики, она и не бралась ни за что, хотя, впрочемъ, разсказывала, что у какой-то княгини приготовила двухъ сыновей въ университетъ. Книгъ въ дом'в Негрова водилось немного. У самого Алекс'вя Абрамовича ни одной; за то у Глафиры Львовны была библіотека; въ диванной стоялъ шкафъ; верхній этажъ его былъ занятъ никогда неупотреблявшимся параднымъ чайнымъ сервизомъ, а нижній—книгами; въ немъ было съ полсотни французскихъ романовъ; часть ихъ тѣшила и обра-

зовывала въ незапамятныя времена графиню Мавру Ильпнишну, остальныя купила Глафира Львовна въ первый голь послѣ выхода замужъ, она тогда все покупала; кальянъ пля мужа, портфедь съ видами Бердина, отличный ощейникъ съ золотымъ замочкомъ... Въ числъ этихъ ненужностей, купила она песятка четыре модныхъ книгъ: между ними попались двъ-три англійскія. также перебхавиня въ перевню, не смотря на то, что не только въ домѣ Негрова, но на четыре географическія мили кругомъ никто не зналъ по-англійски. Ихъ она взяла за лондонскій переилеть; переплеть быль ибиствительно очень хорошь. Глафира Львовна охотно позволяла Любонька брать книги, даже поошряла ее къ этому, говоря, что и она страстно любитъ чтеніе и очень жальеть, что многосложныя заботы по хозяйству и воспитанію не оставляють ей времени почитать. Любонька читала охотно, внимательно; но особеннаго пристрастія къ чтенію у ней не было: она не настолько привыкла къ книгамъ, чтобъ онъ ей слълались необходимы; ей что-то все казалось вяло въ нихъ, даже Вальтеръ-Скотть наводиль подъ чась на Любоньку страшную скуку.

Однакожъ, безплодность среды, окружавшей молодую дъвушку. не подавила ея развитія, —совстив напротивъ; пошлыя обстоятельства, въ которыхъ она находплась, скорве способствовали усилению мощнаго роста. Какъ? Это тайна женской души. Дъвушка или съ самаго начала такъ прилаживается къ окружающему ее, что ужъ въ четырнадцать летъ кокстициаеть, сплетничаеть, ледаетъ глазки проважающимъ мимо офицерамъ, замъчаетъ, не крадутъ ли горинчныя чай и сахаръ, и готовится въ почтенныя хозяйки дома и въ строгія матери, или съ необычайною легкостью освобождается отъ грязи и сора, побъждаеть вившнее внутреннимъ благородствомъ, какимъ-то откровеніемъ постпгаетъ жизнь и пріобрётаетъ такть, хранящій, напутствующій ее. Такое развитіе почти неизвъстно мужчинъ; нашего брата учатъ, учатъ и въ гимназіяхъ, и въ университетахъ, и въ бильярдныхъ, и въ другихъ болбе или менъе педагогическихъ заведеніяхъ, а все не ближе, какъ лътъ въ тридцать иять пріобретаемь, вмёстё съ потерею волось, силь, страстей, ту степень развитія и пониманья, которая у женщины внередъ идетъ, идетъ объ руку съ юностью, съ полнотою и свъжестью чувствъ.

Любонькі было двінадцать літь, когда нісколько словь, изърукъ вонъ жесткихъ и грубыхъ, сказанныхъ Негровымъ въ минуту отеческой досады, въ нісколько часовъ воспитали ее, дали ей толчекъ, послі котораго она не останавливалась. Съ двінадцати літь эта головка, покрытая темными кудрями, стала работать; кругь вопросовъ, возбужденныхъ въ ней, быль не великъ, совершенно личенъ, тімъ боліве она могла сосредоточиваться на

нихъ; пичто внѣшнее, окружающее, не занимало ее; она думала и мечтала, мечтала для того, чтобъ облегчить свою душу, и думала для того, чтобъ понять свои мечты. Такъ прошло пять лѣтъ. Иять лѣтъ въ развитіи дѣвушки — огромная эпоха; задумчивая, скрытно-пламенная, Любонька въ эти пять лѣтъ стала чувствовать и понимать такія вещи, о которыхъ добрые люди часто не догадываются до гробовой доски; она иногда боялась своихъ мыслей, упрекала себя за свое развитіе,—но не усыпила дѣятельности своего духа. Некому было ей сообщить все занимавшее ее, все собиравшееся въ груди; подъ конецъ, не имѣя силы носить всего въ себѣ, она попала на мысль, очень обыкновенную у дѣвушки: она стала записывать свои мысли, свои чувства. Это было нѣчто въ родѣ журнала; для того, чтобъ познакомить васъ съ нею,

выписываемъ изъ этого журнала слъдующія строки.

«Вчера вечеромъ сипъла я полго полъ окномъ; ночь была теплая, въ салу такъ хорошо... Не знаю, отчего мнъ все дълалось грустиве и грустиве, будто темная туча поднялась изъ глубины пуши: миф было такъ тяжело, что я плакала, горько илакала... У меня есть отепъ и мать.—но я сирота: я одна одинехонька на всемь бёломъ свётё, я съ ужасомъ чувствую, что никого не люблю. Это страшно! На кого ни посмотришь, всв любять кого-нибудь: мнъ вст чужіе, -- хочу любить и не могу. Мнъ иногда кажется, что ялюблю Алексъя Абрамовича, Глафиру Львовну, Мишу, сестру, но я себя обманываю. Алексей Абрамовичь такъ жестко обращается со мной, онъ мнъ больше чужой, нежели Глафира Львовна; но онъ отецъ мой: развъ дъти судять своего отца? развъ они любять его за что-нибудь; его любять за то, что онъ отець, — я не могу. Сколько разъ давала я себъ слово съ кротостью слушать его несправедливые упреки, не могу привыкнуть... Какъ только Алексий Абрамовичь становится жестокь, мое сердце быется сильнее, и, кажется, если-бъ я дала себе волю, то отвечала бы ему съ той же жесткостью... Любовь мою къ матери у меня испортили, отняли; едва четыре года, какъ я узнала, что она моя мать: мнт было поздно привыкнуть къ мысли, что у меня есть мать: я ее любила, какъ кормилицу... Ее-то я люблю, но, боюсь признаться, мнѣ неловко съ ней; я должна многое скрывать, говоря съ нею: это мѣшаеть, это тяготить; надобно все говорить, когда любищь; мнь съ нею несвободно; добрая старушка, она больше дитя, нежели я; да къ тому же, она привыкла звать меня барышней, говорить мнѣ вы, -это почти тяжелѣе грубаго языка Алекстя Абрамовича. Я молилась о нихъ и о себть, просила Бога, чтобъ Онъ очистилъ мою душу отъ гордости, смирилъ бы меня, ниспослалъ бы любовь, но любовь не снизошла въ мое сердце».

Черезъ недълю, — «Неужели вев люди похожи на нихъ, и вездъ такъ живутъ, какъ въ этомъ домъ? Я никогда не оставляла дома Алексъя Абрамовича, но мнъ кажется, что можно лучше жить даже въ деревнъ; иногда мнъ невыносимо тяжело съ ними,-или я одичала, сидя все одна? То ли дёло, какъ уйду въ линовую аллею, да сяду на лавочкъ въ концъ ея и смотрю въ цаль.-тогла мнъ хорошо, я забываю ихъ; не то, чтобъ весело, скорбе грустно,—но хорошо грустно... Подъ горою село; люблю я эти бъдныя избы крестьянь, ръчку, текущую возль, и рощу вдали; я цьлые часы смотрю, смотрю и прислушиваюсь; то пъсня раздается вдали, то стукъ цёповъ, то лай собакъ и скринъ телегъ... А тутъ, лишь только увидять мое бълое платье, бъгуть ко мнъ крестьянскіе мальчики, приносять мий землянику, разсказывають всякій взпоръ: и я слушаю ихъ, и мит не скучно. Какія славныя липа у нихъ, открытыя, благородныя! кажется, если-бъ ихъ восинтать такъ, какъ Мишу, что за люди изъ нихъ вышли бы! Они приходятъ пногда къ Мишт на господскій дворъ, только я прячусь тамь отъ нихъ: наши дворовые и сама Глафира Львовна такъ грубо обращаются съ ними, что у меня сердце кровью обливается; они, бълняжки, стараются вефмъ на свъть услужить брату, бъгають, ловять ему бълокъ, птицъ, —а онъ обижаетъ ихъ... Странно, Глафира Львовна пречувствительная, плачеть, когда разсказывають что-нибуль печальное, а иногда я удивлялась ея жестокости; она, какъ будто стыдясь, всегда говорить: «они этого не понимають, съ ними нельзя обходиться по-человъчески, тотчасъ забудутся», Мнъ не върится: видно крестьянская кровь моей матери осталась въ моихъ жилахъ! Я всегда съ крестьянками говорю, какъ съ пругими, какъ со всёми, и онё меня любять, носять мнё топленое молоко, соты: правда, онъ мнъ не кланяются въ поясъ, какъ Глафира Львовна, зато встрачають всегла съ веселымъ виномъ, съ улыбкой... Не могу никакъ понять, отчего крестьяне нашей перевни лучше всёхъ гостей, которые ёздять къ намъ изъ губернскаго города и изъ сосъдства, и гораздо умиже ихъ; а, въдь, тъ учились, и все-пом'вщики, чиновники, а такіе все противные...»

Въроятно ли, чтобъ дъвушка, воспитанная въ патріархальной семьъ Негрова, лѣтъ семнадцати отъ роду, никуда не выѣзжав-шая, мало читавшая, еще менѣе видъвшая, такъ чувствовала?—За фактическую достовърность журнала отвъчаетъ совъсть собиравшаго документы; за психическую позвольте вступиться мнъ. Странное положеніе Любоньки въ домѣ Негрова вы знаете; она, отъ природы одаренная энергіей и силой, была оскорбляема со всѣхъ сторонъ двусмысленнымъ отношеніемъ ко всей семьъ, положеніемъ своей матери, отсутствіемъ всякой деликатности въ отцъ, считавшемъ, что вина ея рожденія падаетъ не на него, а

на нее, наконецъ, всей дворней, которая, съ свойственнымъ лакеямъ аристократическимъ направленіемъ, съ проніей смотрѣла на Дуню. Куда же было дѣться Любонькѣ, отовсюду отталкиваемой? Она, можетъ быть, бѣжала бы въ полкъ, или не знаю куда, если-бъ она была мужчиной; но дѣвушкой она бѣжала въ самоё-себя; она годы выносила свое горе, свои обиды, свою праздность, свои мысли; когда, мало по малу, частъ бродившаго въ ея душѣ стала осѣдать, когда не было удовлетворенія естественной, сильной потребности высказаться кому-нибудь, — она схватила перо, она стала писать, то-есть, высказывать, такъ сказать, самой себѣ за-

нимавшее ее, и тъмъ облегчить свою душу.

Немного надобно проницательности, чтобъ предвидъть, что встръча Любоньки съ Круциферскимъ при тъхъ обстоятельствахъ, при которыхъ они встрътились, даромъ не пройдетъ. Едва многольтнія усилія воспитанія и свытская жизнь достигають до притупленія въ молодыхъ людяхъ способности и готовности любить. Любонька и Крупиферскій не могли не зам'єтить другь друга: они были одни, они были въ степи... Долгое время застънчивый кандидать не смёль сказать съ Любонькой двухъ словъ; судьба ихъ познакомила молча. Первое, что сблизило молодыхъ людей, была отеческая простота въ обращении Негрова съ своими домашними и съ прислугой. Любонька цёлой жизнію, какъ сама высказала, не могла привыкнуть къ грубому тону Алексъя Абрамовича; само собою разумѣется, что его выходки дѣйствовали еще сильнъе въ присутствін посторонняго; ея пылающія щеки и собственное волненіе не пом'єшали, однакожъ, ей разгляд'єть, что патріархальныя манеры действують точно такъ же и на Круциферскаго. Спустя долгое время, и онъ, въ свою очередь, замътилъ то же самое; тогда между нями устроилось тайное пониманье другь друга; оно устроилось прежде, нежели они номвнялись двумятремя фразами. Какъ только Алексъй Абрамовичъ начиналъ шпынять надъ Любонькой, или поучать уму и нравственности какого пибудь шестидесятильтняго Спирьку, или съдаго, какъ лунь, Матюшку, страдающій взглядь Любоньки, долго прикованный къ полу, невольно обращался на Дмитрія Яковлевича, у котораго дрожали губы и выходили иятна на лицъ. Онъ точно также, чтобъ облегчить тяжело-непріятное чувство, искалъ украдкой прочитать на лиць Любоньки, что дълается въ душь ея. Они сначала не думали, куда поведуть эти симпатические взгляды, ихъ, больше нежели кого нибудь, потому что во всемъ ихъ окружавшемъ не было ничего, что могло бы не только перевъсить, но держать въ предълахъ, развлекать возникавшую симпатію; совсемъ напротивъ, совершенная чуждость остальныхъ лицъ способствовала ея раз-BHTHO.

Я никакъ не намърснъ разсказывать вамъ слово въ слово повъсть любви моего героя; мнѣ музы отказали въ способности описывать любовь:

О, ненависть, тебя пою!

Скажу вамъ вкратить, что черезъ два мъсяца послъ водворенія въ домъ Негрова, Круциферскій, отъ природы нъжный и восторженный, былъ безумно, страстно влюбленъ въ Любоньку. Любовь его сдълалась средоточіемъ, около котораго расположились всъ элементы его жизни; ей онъ подчинилъ все: и свою любовь къ родителямъ, и свою науку,—словомъ, онъ любилъ, какъ можетъ любить нервная, романтическая натура, любилъ какъ Вертеръ, какъ Владиміръ Ленскій. Долго не признавался онъ самъ себъ въ новомъ чувствъ, охватившемъ всю грудь его, еще долъе не высказывалъ его ей, даже не смълъ объ этомъ думать,— по большей части и не слъдуетъ думать: такія вещи дълаются сами собою.

Однажды послѣ обѣда, когда Негровъ въ кабинетѣ, а Глафира Львовна въ диванной отдыхали, въ залѣ сидѣла Любонька, и Круциферскій читалъ ей вслухъ стихотворенія Жуковскаго. До какой степени опасно и вредно для молодого человѣка читатъ молодой дѣвицѣ что-нибудь, кромѣ курса чистой математики,—это разсказала на томъ свѣтѣ Франческа-да-Римини Данту, вертясь въ проклятомъ вальсѣ della bufera infernale: она разсказала, какъ перешла отъ чтенія къ поцѣлую, и отъ поцѣлуя къ трагической развязкѣ. Наши молодые люди этого не знали, и уже нѣсколько дней раздували свою любовь Жуковскимъ, котораго привезъ кандидатъ. Пока они читали «Ивиковы Журавли»,—все шло хорошо, но, открывъ убійцу по этому дѣлу, они перешли къ «Алинѣ и Альсиму»,—тогда случилось вотъ что. Круциферскій, прочитавъ дрожащимъ голосомъ первую строфу, отеръ съ лица своего потъ и, задыхаясь, осилилъ еще слѣдующіе стихи:

«Когда случится жизни въ цвѣтѣ Сказать душой Ему: ты будь моя на свѣтѣ»,—

остановился и зарыдалъ въ три ручья... Книга вышала у него изъ рукъ, голова склонилась, — и онъ рыдалъ, рыдалъ безумно, рыдалъ, какъ только можетъ рыдать человѣкъ, въ первый разъ влюбленный. «Что съ вами?» спросила Любонька, у которой тоже сердце билось сильно, и слезы навернулись на глазахъ. «Что съ вами?» повторила она, боясь всей душой отвѣта. Круциферскій схватилъ ея руку, и, одушевленный какой-то новой, невѣдомой силой, не смѣя впрочемъ поднять глазъ, сказалъ ей: «Будьте,

будьте моей Алиной!.. я... я...» Больше онъ не могь ничего вымольнть. Любонька тихо отдернула свою руку; ея щеки пылали, она заплакала и вышла вонъ. Круциферскій не сдёлалъ ничего, чтобъ остановить ее; врядъ ли даже желалъ онъ этого. Боже мой! думалъ онъ, что я надёлалъ... Но она такъ тихо, такъ кротко вынула свою руку... И онъ опять плакалъ, какъ ребенокъ.

Вечеромъ въ тотъ день, Элиза Августовна сказала, щутя, Круциферскому: «Вы върно влюблены? разсъянны, печальны...» Круциферскій покрасить до ушей. «Видите, какая я мастерица отгадывать; не хотите ли, я вамъ загадаю на картахъ?» Дмитрій Яковлевичъ испыталь все, что можетъ испытать злъйшій преступникъ, не знающій, что извъстно производящему слъдствіе, и на что онъ намекаетъ. «Ну, что же, хотите?» спрашивала неотвязчивая француженка.

— «Сдёлайте одолженіе», отвіналь молодой человікть.

И вотъ Элиза Августовна начала съ какой-то демонической улыбкой раскладывать карты, приговаривая: «А вотъ дама de vos pensées... да вы пресчастливый: она легла возл'в ващего сердца... Поздравляю, поздравляю... возлъ червонный тузъ... Она васъ очень любитъ... Это что?—не смъетъ вамъ сказать. Да вы что за жестокій кавалеръ, заставляете ее страдать!!» и проч. При каждомъ словъ Элиза Августовна устремляла на него проницательные глазки свои и радовалась отъ всей души пыткъ, которой подвергала несчастнаго молодого человъка. «Pauvre jeune homme, она васъ не заставитъ такъ страдать, ну, гдъ же найти такую каменную душу...-Да вы говорили ли когда-нибудь ей о вашей любви? Върно, пътъ!»—Крупиферскій блёднёлъ, краснёлъ, синъть, желтъть и, наконець, спасся бъгствомъ. Пришедши къ себъ въ комнату, онъ схватилъ листъ бумаги; сердце его билось; онъ восторженно, увлекательно изливалъ свои чувства; это было письмо, поэма, молитва; онъ плакалъ, былъ счастливъ, словомъ, писавши, онъ испыталъ мгновенія полнаго блаженства. Эти мгновенія, обыкновенно рѣющія, какъ молнія,—лучшее, прекраснѣйшес достояніе нашей жизни, котораго мы не ум'вемъ ц'внить, и, вивсто того, чтобъ упиваться имъ, мы торопимся, тревожные, ожидающие все чего-то въ будущемъ...

Окончивъ посланіе, Круциферскій сошель внизъ. Пили чай. Любонька не выходила изъ своей комнаты, у нея болъла голова. Глафира Львовна была особенно очаровательна, но на нее никто не обратилъ вниманія. Алексъй Абрамовичъ глубокомысленно курилъ свою трубку (вы, въроятно, не забыли, что его видъ былъ оптическій обманъ). Элиза Августовна, проходя за своей чашкой, нашла случай сказать Круциферскому, что ей нужно съ нимъ поговорить. Разговоръ не вязался; Миша дразнилъ собаку, она

лаяла, Негровъ велълъ ее выгнать; наконецъ, горипчная съ холстинными рукавами унесла самоваръ, Алексъй Абрамовичъ раскладываль гран-пасьянсь, Глафира Львовна жаловалась на боль въ головъ. Крупиферскій вышель въ залу; начинало смеркаться. Элиза Августовна была ужъ тамъ. «Когна смеркнется, выйлите на балконъ; васъ будутъ ждать», — сказала она. Круциферскій былъ ни живъ, ни мертвъ... Върить ли, нътъ ли?.. Ему назначено свиданье; можетъ быть, она, негодующая, хочетъ высказать ему свой гитвъ, можетъ... И онъ выбъжалъ въ садъ; ему показалось, что вдали, въ липовой аллев, мелькнуло бълое платье, но идти туда онъ не смълъ, онъ не зналъ даже, пойдеть ли онъ на балконь, да развѣ для того, чтобъ отдать письмо, на одну минуту-только отдать... Но страшно вздумать, какъ взойти на балконъ... Онъ посмотрълъ наверхъ: въ углу балкона виднълось, не емотря на то, что совсемъ смерклось, бёлое платье. Это она, она, грустная, задумчивая, — она, быть можеть, любящая!... И онъ сталь на первую ступеньку лъстницы, которая вела изъ сада на балконъ. Какъ онъ достигнулъ, наконецъ, верхней, я не берусь вамъ передать.

«Ахъ, это вы?» спросила Любонька шопотомъ. Онъ молчалъ, захлебываясь воздухомъ, какъ рыба. «Какой вечеръ прекрас-

ный!» продолжала Любонька.

— «Простите меня, простите, Бога ради!» отвъчаль Круциферскій и рукою мертвеца взяль ея руку. Любонька не отдергивала «Прочтите эти строки», сказаль онъ, «и вы узнаете то, о чемъ мнѣ говорить такъ трудно...» снова потокъ слезъ оросилъ его пылающія щеки. Любонька жала его руку; онъ облиль слезами ея руку и осыпаль поцѣлуями. Она взяла письмо и спрятала на груди своей. Одушевленіе его росло, и не знаю, какъ случилось, но уста его коснулись ея устъ; первый поцѣлуй любви, — горе тому, кто не пспыталь его! Любонька, увлеченная, сама напечатлъла страстный, долгій, трепещущій поцѣлуй... Никогда Дмитрій Яковлевичь не быль такъ счастливь; онъ склониль голову себѣ на руку, онъ плакалъ... и вдругь, поднявъ ее, вскрикнуль:

— «Боже мой, что я надёлаль!» Онъ туть только разглядёль,

что это была вовсе не Любонька, а Глафира Львовна.

«Другь мой, успокойся!» сказала умирающая отъ избытка жизни Негрова; но Дмитрій Яковлевичъ давно уже собжалъ съ лъстницы; сойдя въ садъ, онъ пустился обжать по липовой аллеъ, вышелъ вонъ изъ сада, прошелъ село и упалъ на дорогъ, лишенный силъ, близкій къ удару. Туть только вспомнилъ онъ, что письмо осталось въ рукахъ Глафиры Львовны. Что дълать? Онъ рвалъ свои волосы, какъ разсерженный звърь, и катался по травъ.

Пля поясненія страннаго qui pro quo, намъ надобно пріостановиться и сказать нёсколько пояснительныхъ словъ. Маленькіе глазки Элизы Августовны, очень наблюдательные и пріобученные къ лълу, замътили, что съ тъхъ норъ, какъ семья Негрова увеличилась вступленіемь въ нее Крупиферскаго, Глафира Львовна слѣлалась нѣсколько внимательнѣе къ своему туалету: что блуза ея какъ то иначе надъвалась; появились всякіе воротнички, разные чепчики, обращено было внимание на волосы, и густая коса Палашки, имфвшая несчастіе подходить подъ цвъть остатковъ шевелюры Глафиры Львовны, снова начала привязываться, не смотря на то, что ее уже немножко полъбла моль. Въ самомъ -вевмо и поролномъ линф почтенной матери семейства оказались какія-то новыя черты, досел' тихо скрывавшіяся въ полноть ея ланить; то улыбка и глаза слълаются масляные, то взлохъ и глаза слъдаются меловые... Эдиза Августовна не проронила ни одной изъ этихъ перемънъ: когла же она, случайно зашении въ комнату Глафиры Львовны во время ея отсутствія и случайно отворивъ яшикъ туалета, нашла въ немъ початую баночку rouge végétal, которая дътъ пятнадцать покоилась рядомъ съ какой то глазной примочкой въ кладовой. — тогда она воскликнула внутри своей луши: «теперь пора и мий выступить на сцену!» Въ тотъ же вечеръ, оставшись наединъ съ Глафирой Львовной, маламъ начала разсказывать о томъ, какъ одна, разумбется, княгиня интересовалась однимъ мололымъ человъкомъ; какъ у нея (т. е. у Элизы Августовны) серппе изныло, виля, что ангелъкнягиня сохнетъ, страдаетъ; какъ княгиня, наконецъ, цала на грудь къ ней, какъ къ единственному другу, и живописала ей свои волненія, свои сомнінія, прося ея совіта; какъ она разрівшила ея сомненія, дала советы, какъ потомъ княгиня перестала сохнуть и страдать, напротивъ, начала толстъть и веселиться. Глафира Львовна сгорала вечернимъ огнемъ своимъ отъ этихъ розсказней. Обыкновенно думають, что толстые люди неспособны ни къ какой страсти, -- это неправда: пожаръ бываетъ очень продолжителенъ тамъ, гдт много жирныхъ веществъ, лишь бы разгоръться. А Элиза Августовна, какъ видите, заняла должность раздувательныхъ мъховъ и раздула маленькія эротическія искорки, бътавшія по Глафиръ Львовнъ, въ довольно большой огонекъ. Она не дошла, правда, до того, чтобъ Глафира Львовна ей повърила свою тайну; она имъла даже великодушіе не вынуждать у нея признанія, потому что это было вовсе не нужно: она хотъла имъть Глафиру Львовну въ своей власти, —и усивхъ былъ несомитиенъ. Глафира Львовна въ продолжение двухъ недъль сдёлала ей два подарка-кунавинской фабрики платокъ и одно изъ своихъ шелковыхъ платьевъ.

Круппферскій, чистый и дівственный не только въ поступкахь, но и въ самыхъ мечтахь, не догадывался, что значить предупредительная услужливость француженки, ея двусмысленные намеки и, наконець, двусмысленные взгляды Глафиры Львовны. Эта недогадливость его, застінчивая разсілянность и потупленные взоры раздували боліве и боліве страсть сорокалітней женщины; странное ниспроверженіе обыкновеннаго отношенія половъ придавало особый интересъ; въ самомъ діліть, Глафира Львовна играла роль завоевателя и соблазнителя, а Дмитрій Яковлевичь—невинной дівушки, около которой злонамі ренный паукъ началъ илесть свою паутину. Добрый Негровъ ничего не замічаль, ходиль по прежнему разспрашивать садовникову жену о состояній фруктовыхъ деревьевь, и тоть же миръ и совіть цариль въ патріархальномъ домів Алексівя Абрамовича. Теперь мы можемъ возвратиться на балконъ.

Глафира Львовна, не понимая хорошенько бътства своего Іосифа и прохладивъ себя нъсколько вечернимъ воздухомъ, пошла въ спально и, какъ только осталась одна, т. е. вдвоемъ съ Элизой Августовной, она вынула письмо: ея общирная групь волновалась; она дрожащими перстами развернула инсьмо, начала читать и вдругь вскрикнула, какъ будто ящерида или лягушка, завернутая въ письмо, скользиула ей за назуху. Три горинчныя вбъжали въ комнату, Элиза Августовна схватила письмо. Глафира Львовна требовала одеколонъ, исцуганная горничная подала ей летучей мази, она велѣла себѣ лить ее на голову... «Аh, le traître, le scélérat!.. можно ли было ожилать отъ этой скромницы... Англичанка-то наша... нътъ, этого хамова поколънія ничьмъ не облагородишь: ни искры благодарности, ничего... Я отогръла змъю на груди своей!» Элиза Августовна была въ положени одного моего знакомаго чиновника, который, всю жизнь успѣщно илутовавъ, подалъ въ отставку, будучи увъренъ, что его некъмъ замънить; подаль въ отставку, чтобъ остаться на службъ, —и получилъ отставку: обманывая цёлый вёкъ, онъ кончилъ тёмъ, что обманулъ самого себя. Какъ женщина смътливая, она поняла, въчемъ дъло, поняла, какого маху она дала; да съ тъмъ виъстъ сообразила, что она и Глафира Львовна столько же въ рукахъ Круциферскаго, сколько онъ въ ихъ, сообразила, что если ревность Глафиры Львовны раздражить его, онъ можеть уличить Элизу Августовну и, если не имъстъ средства доказать, то все же бросить недовъріе въ душу Алекстя Абрамовича. Пока она обдумывала, какъ укротить гизвъ оставленной Дидоны, вошелъ въ спальню Алексъй Абрамовичь, зъвая и осъняя крестомъ ротъ свой, Элиза Августовна была въ отчаяніи.

«Алексисъ!» воскликнула негодующая супруга; «никогда бы

въ голову миѣ не пришло, что случилось; представь себѣ, мой другъ: этотъ скромный то учитель, онъ въ перепискѣ съ Любонькой, да въ какой перепискѣ,—читать ужасно; погубилъ беззащитную сироту!.. Я тебя прошу, чтобъ завтра его нога не была въ нашемъ домѣ. Помилуй, передъ глазами нашей дочери... она, конечно, еще ребенокъ, но это можетъ подѣйствовать на имажинацію».

Алексисъ не былъ одаренъ способностью особенно быстро понимать дѣла и обсуживать ихъ. Къ тому же, онъ былъ удивленъ не менѣе, какъ въ медовый мѣсяцъ послѣ свадьбы, когда Глафира Львовна заклинала его могилой матери, прахомъ отца, позволить ей взять дитя преступной любви. Сверхъ всего этого, Негровъ хотѣлъ смертельно спать; время для доклада о перехваченной перепискѣ было дурно выбрано: человѣкъ сонный можетъ только сердиться на того, кто ему мѣшаетъ спать, — нервы дѣйствуютъ слабо, все находится подъ вліяніемъ устали.

— Что такое? Какая переписка у Любы?

«Да, да, переписка у Любоньки съ этимъ студентомъ... Благонравница-то наша... Ужъ признаться, отъ такого рожденія всегда бывають такіе плоды!..»

— Ну, что же въ этой перепискъ? Стакнулись что ли? А? Поди, береги дъвку въ семнадцать лътъ; не даромъ все одна сидить, голова болитъ, да то, да сё... Да я его, мошенника, жениться на ней заставлю. Что онъ, забылъ что ли, у кого въ домъ живетъ! Гдъ письмо? Фу ты пропасть какая, какъ мелко писано! Учитель, а самъ писать не умътъ, выводитъ мышиныя лапки. Прочти-ка, Глаша.

«Я и читать не стану такихъ скандалей.

— Вздоръ какой несеть! сорокъ лѣтъ бабѣ, а все еще туда же! Дашка, принеси очки изъ кабинета.

Дашка, хорошо знавшая дорогу въ кабинеть, принесла очки. Алексъй Абрамовичъ сълъ къ свъчкъ, зъвнулъ, приподнялъ верхнюю губу, что придало его носу очень почтенное выраженіе, прищуриль глаза и началъ съ большимъ трудомъ, съ какимъ-то тяжело книжнымъ произношеніемъ читать: «Да, будьте моей Алиной. Я безумно, страстно, восторженно люблю васъ; ваше имя Любовь...»

Экой балясникъ какой!—прибавилъ генералъ.

...«Я ничего не надъюсь, я не смъю и мечтать объ вашей любви; но моя грудь слишкомъ тъсна, я не могу не высказать вамъ, что я васъ люблю. Простите мнъ, у вашихъ ногъ прошу васъ, простите...»

-- Фу ты вздоръ какой! Это еще начало первой страницы... Натъ, братъ, довольно! Покорный слуга читать белиберду такую!... Предупредить было не ваше дёло! чего смотрёли? зачёмъ дали имъ стакнуться?.. Ну, да бёда-то не велика, у бабы волосъ дологъ, да умъ коротокъ. Что нашли въ письмё? враки; а, то есть, на счетъ того ничего нётъ... А замужъ Любу пора, и онъ чёмъ не женихъ? Докторъ говоритъ, что онъ десятаго класса. Попробуйка позаартачиться у меня... Утро вечера мудренёе; пора спать; прощай, Лизавета Августовна, глаза зорки, а не доглядёла... Ну, да завтра поговоримъ!

И генераль сталь раздёваться, и черезъ минуту захрапёль, уснувъ съ мыслію, что Круциферскій у него не отвертится, что онъ его женить на Любъ,—ему наказанье, а ее пристроить къ мъсту.

Это быль день неудачь. Глафира Львовна никакъ не ожидала, что въ умѣ Негрова дѣло это приметъ такой оборотъ; она забыла, какъ въ послѣднее время сама безпрестанно говорила Негрову о томъ, что пора Любу отдать замужъ; съ бѣшенствомъ влюбленной старухи бросилась она на постель и готова была кусать наволочки, а, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ кусала ихъ.

Бъдный Круциферскій все это время лежаль на травъ; онъ такъ искренно, такъ отъ души желалъ умереть, что будь это во время дамскаго управленія Парокъ, онт бы не вытеритли и переръзали бы его ниточку. Удрученный тягостными чувствами. преданный отчаянію и страху, страху и стыду, изнеможенный, онъ кончиль тёмъ, чёмъ началь Алексей Абрамовичь, т. е. уснулъ. He будь у него febris erotica, какъ выражался на счетъ любви докторъ Круповъ, у него непремѣнно сдѣлалась бы febris catharralis: но туть холодная роса была для него благотворна: сонъ его, сначала тревожный, успокоился, и, когда онъ проснулся часа черезъ три, солнце всходило... Гейне совершенно правъ, говоря, что это старая штука: отсюда оно всходить, а тамъ садится; темъ не мене, эта старая штука недурна; какова она должна быть для влюбленнаго, —и говорить нечего. Воздухъ былъ свъжъ, полонъ особаго внутренняго запаха: роса тяжелыми, бъловатыми массами подавалась назадь, оставляя за собою милліоны блестящихъ капель; пурнуровое освъщение и непривычныя тъни придавали что-то новое, странно изящное деревьямъ, крестьянскимъ избамъ, всему окружающему; птицы цѣли на разные голоса; небо было чисто. Дмитрій Яковлевичъ всталъ, и на душ'я у него сдівлалось легче; передъ нимъ вилась и пропадала дорога; онъ долго смотръль на нее и думаль: не уйти ли ему по ней, не убъжать ли отъ этихъ людей, поймавшихъ его тайну, его святую тайну, которую онъ самъ уронилъ въ грязь? Какъ онъ воротится домой, какъ встрътится съ Глафпрой Львовной... Лучше бы бъжать! но какъ же оставить се, гдф найти силы разстаться съ нею?.. И онъ тихими шагами пошелъ назадъ.

Вошедши въ садъ, онъ увидълъ въ липовой аллеф бълое платье: яркій румянець выступня у него на щекахь при воспоминаніи о страшной ошибий, о первомы поцилуй; но на этоты разытуты была Любонька: она сидъла на своей любимой лавочкъ и задумчиво, печально смотрёла въ даль. Динтрій Яковлевичь прислонился къ дереву и съ какимъ-то влохновеннымъ упоеніемъ смотр'влъ на нее. Въ самомъ дёлё, въ эту минуту она была поразительно хороша; какая-то мысль сильно занимала ее; ей было грустно, и грусть эта придавала начто величественное чертамъ ея, энергическимъ, ръзкимъ, юно-прекраснымъ. Молодой человъкъ долго стояль, погруженный въ созерцаніе; его взглядь быль полонь любви и благочестія; наконецъ, онъ ръшился подойти къ ней. Необходимость съ нею поговорить была велика; ее надобно было предупредить на счеть письма. Любонька насколько смутилась, увидя Круциферскаго; но туть не было никакой натяжки, ничего театральнаго: бросивъ быстро взглядъ на утренній нарядъ свой, въ которомъ она не ожидала встрфии ни съ кфмъ, и также быстро оправивь его. она подняла спокойный, благородный взглядъ на Дмитрія Яковлевича. Дмитрій Яковлевичъ стоялъ перель нею, сложивъ руки на груди: она встрътила взоръ его умеляющій, исполненный любви, страданія, надежды, упоснія, и протянула ему руку; онъ сжалъ ее со слезами на глазахъ... Госнода! какъ въ юности хорошъ человъкъ!..

Признаніе, вырвавшееся по поводу «Алины и Альсима», сильно потрясло Любоньку. Она гораздо прежде, съ той женской проницательностью, о которой мы говорили, чувствовала, что она любима; но это было нѣчто подразумѣваемое, не названное словомь; теперь слово было произнесено, и она вечеромъ писала въ

своемъ журналъ:

«Едва могу сколько-нибудь привести въ порядокъ мои мысли. Ахъ, какъ онъ плакалъ! Боже мой, Боже мой! я никогда не думала, чтобъ мужчина могъ такъ плакать. Его взглядъ одаренъ какой-то силой, заставившей меня трепетать, и не отъ страха; его взглядъ такъ нѣженъ, такъ кротокъ, кротокъ, какъ его голосъ... Митъ такъ жаль его было; кажется, если-бъ я послушалась моего сердца, я бы сказала ему, что люблю его, поцѣловала бы для того, чтобъ утѣшить. Онъ былъ бы счастливъ... Да, онъ любитъ меня; я это вижу, я сама люблю его. Какая разница между нимъ п всѣми, кого я видала! Какъ онъ благороденъ, нѣженъ! Онъ митъ разсказывалъ о своихъ родителяхъ: какъ онъ ихъ любитъ! Зачѣмъ онъ митъ сказалъ: «будь моей Алиной!» У меня есть свое имя, оно хорошо; я его люблю, я могу бытъ его, оставаясь собою... Достойна ли я любви его? Митъ кажется, что не могу такъ сильно любить! Опять эта черная мысль, въчно терзающая меня...»

— Прощайте, сказала Любонька:—да перестаньте же такъ бояться письма; я ничего не боюсь, я знаю ихъ. Она пожала ему руку такъ дружески, такъ симпатично, и скрылась за деревьями. Круциферскій остался. Они долго говорили. Круциферскій былъ больше счастливъ, нежели вчера несчастливъ. Онъ вспоминалъ каждое слово ея, носился мечтами, Богъ знаетъ гдѣ, и одинъ образъ переплетался со всѣми. Вездѣ она, она... Но мечтамъ его ноложилъ предѣлъ казачекъ Алексѣя Абрамовича, пришедшій звать его къ нему. Утромъ въ такое время его ни разу не требовалъ Негровъ.

— «Что?» спросилъ его Круциферскій съ видомъ человіка, которому на голову вылили ушать холодной воды.

- Да то съ, что къ барину пожалуйте, отвъчалъ казачекъ довольно грубо. Видно было, что исторія письма проникла въ переднюю.
- «Сейчасъ», сказалъ Круциферскій, полумертвый отъ страха и стыда. Чего было бояться ему? Кажется, не было никакого сомнѣнія, что Любонька его любитъ: чего ему еще? Однако онъбыль ни живъ, ни мертвъ отъ страха, да и былъ ни живъ, ни мертвъ отъ стыда; онъ никакъ не могъ сообразить, что роль Глафиры Львовны вовсе не лучше его роли. Онъ не могъ себъ представить, какъ встрътиться съ нею. Извъстное дъло, что совершались преступленія для поправки неловкости...
- А что, любезнъйший, сказалъ Негровъ, съ видомъ величественнымъ и приличнымъ важному дълу, его занимавшему.—А что, это у васъ въ университетъ что ли обучаютъ цидулки-то любовныя писать?

Круциферскій молчаль; онь быль такъ взволновань, что тонъ Негрова его не оскорбляль. Этоть видь, растерянный и страдающій, пришпориль храбраго Алексія Абрамовича, и онь чрезвычайно громко продолжаль, глядя прямо въ лицо Дмитрію Яковлевичу.

— Какъ же вы, милостивый государь, осмёлились въ моемъ домѣ заводить такія шашни? Да что же вы думаете объмоемъ домѣ? Да и я то что, болванъ что ли? Стыдно, молодой человѣкъ, и безнравственно совращать бѣдную дѣвушку, у которой ни родителей, ни защитниковъ, ни состоянія... Вотъ нынѣшній вѣкъ! отъ того, что всему учатъ вашего брата, грамматикѣ, ариометикѣ, а морали не учатъ... Ославить дѣвушку, лишить добраго имени...

«Да помилуйте», отвъчалъ Круциферскій, у котораго мало по малу негодованіе побъдило сознаніе нельшаго своего положенія:— «что же я сдълалъ? я люблю Любовь Александровну (ее звали Александровной, въроятно, потому, что отца звали Алексъемъ, а камердинера, мужа ея матери, Аксёномъ) и осмълился высказать это. Мнъ самому казалось, что я никогда не скажу ни слова о моей

любви, — я не знаю, какъ это случилось; но что же вы находите преступнаго? почему вы думаете, что мои намъренія порочны?»

— А вотъ почему: если-бъ вы имѣли честныя намѣренія, такъ вы бы не стали съ толку сбивать дѣвушку своими билье-ду, а пришли бы ко мнѣ. Вы знаете, по илоти я ей отець, такъ вы бы и пришли ко мнѣ, да и попросили бы моего согласія и позволенія; а вы заднимъ крыльцомъ пошли, да и попались,—прошу на меня не пѣнять: я у себя въ домѣ такихъ романовъ не допущу; мудреное ли дѣло дѣвкѣ голову вскружить! Нѣтъ, не ожидалъ я отъ васъ; вы мастерски прикидывались скромникомъ; и она то отличилась, поблагодарила за воспитаніе и за попеченіе! Глафира Львовна всю ночь проплакала.

— «Письмо въ вашихъ рукахъ, замѣтилъ Круциферскій, вы

изъ него можете увидъть, что оно первое».

— Первый блинъ да комомъ. А что, въ этомъ первомъ письмъ вы просите ея руки, что ли?

— «Я не смъль и думать».

— Какъ это на одно такъ смѣлы, а на другое робки? Съ какою же цѣлью вы писали мышиныя ланки на цѣломъ почтовомъ листѣ кругомъ?

— «Я, право, отвѣчалъ Круциферскій, пораженный словами Негрова: не смѣлъ и думать о рукѣ Любови Александровны: я былъ бы счастливѣйшій изъ смертныхъ, если-бъ могъ на-

лѣяться...»

— Красноръчіе—вотъ васъ этому-то тамъ учатъ, морочить словами! А позвольте васъ спросить: если-бъ я и позволилъ вамъ сдълать предложение и былъ бы не прочь выдать за васъ Любу, чъмъ же вы станете жить?

Негровъ, конечно, не принадлежалъ къ особенно умнымъ людямь; но онъ обладаль вполн' нашей національной сноровкой, этимъ особымъ складомъ практическаго ума, который такъ рѣзко называется: себъ на умъ. Выдать Любу замужъ за кого бы то ни было, было его любимою мечтою, особенно послѣ того, какъ почтенные родители замътили, что при неймилая Лизанька теряетъ очень много. Гораздо прежде письма Алекстю Абрамовичу приходило въ голову женить Круциферскаго на Любонькъ, да и пристропть его гдй-нибудь въ губернской службъ. Мысль эта явилась на томъ основаніи, на которомъ онъ говориль, что если секретарикъ добренькій подвернется, то Любу и отдать за него. Первое, что ему пришло въ голову, когда онъ открылъ любовь Круциферскаго, -заставить его женпться; онъ думаль, что письмо было шалостью, что молодой человъкъ не такъ-то легко надънстъ на себя ярмо брачной жизни. Изъ отвътовъ Круциферскаго Негровъ ясно видить, что тоть жениться не прочь, и потому онь тотчаст перемѣнилъ сторону атаки и завелъ рѣчь о состояніи, боясь, что Круциферскій, рѣшась на бракъ, спросить его о приданомъ.

Круциферскій молчаль: вопрось Негрова придавиль чугунной

плитою его грудь.

— Вы, продолжалъ Негровъ: — вы не ошибаетесь ли на счетъ ея состоянія? У нея ничего нѣтъ, и ждать не откуда; конечно, изъ моего дома я выпущу ее не въ одной юбкъ; но, кромътряпья, я не могу ничего дать; у меня своя невъста растетъ.

Круциферскій зам'ятиль, что вопрось о приданомь совершенно чуждь для него. Негровь быль доволень собою и думаль про

себя: «вотъ настоящая овца, а еще ученый!»

— Вотъ то-то, любезнъйшій; съ конца добрые люди не начинаютъ. Прежде, нежели цидулки писать да сбивать съ толку, надобно бы подумать, что впередъ; если вы въ самомъ дълъ ее любите, да хотите руки просить, отчего же вы не позаботились о будущемъ устройствъ:

— «Что мив двлать?» спросиль Круциферскій голосомь, кото-

рый потрясъ бы всякаго человъка съ пущою.

— Что ділать? Віздь, вы классный чиновникь, да еще, кажется, десятаго класса. Ариометику-то да стихи въ сторону; попроситесь на службу царскую; полно баклуши бить,—надобно быть полезнымь; подите-ка на службу въ казенную палату: вице-губернаторъ намъ свой человікъ; современемъ будете совітникомъ, чего вамъ больше? и кусокъ хліба обезпечень, и почетное місто.

Отроду Круциферскому не приходило въ голову идти на службу въ казенную или въ какую бы то ни было палату; ему было такъ же мудрено себя представить совътникомъ, какъ птицей, ежомъ, шмелемъ, или не знаю чъмъ. Однако, онъ чувствовалъ, что въ основъ Негровъ правъ; онъ такъ былъ непроницателенъ, что не сообразилъ оригинальной патріархальности Негрова, который увърялъ, что у Любоньки ничего нътъ, и что ей ждатъ не откуда, и вмъстъ съ тъмъ распоряжался ея рукой, какъ отецъ.

— «Я могъ бы, лучше, занять мѣсто учителя гимназін», ска-

залъ, наконецъ, Дмитрій Яковлевичъ.

— Ну, это будетъ поплоше. Что такое учитель гимназіи? Чиновникъ и нѣтъ, и къ губернатору никогда не приглашаютъ, развъ одного директора, жалованье бѣдное.—Послѣдняя рѣчь была произнесена обыкновеннымъ тономъ; Негровъ совершенно успокоился на счетъ негоціаціи и былъ увѣренъ, что Круциферскій изъ его рукъ не ускользнетъ.

— Глаша! закричалъ Негровъ въ другую комнату:—Глаша! — Круциферскій помертвѣлъ: онъ думалъ, что послѣдній поцѣлуй любви для Глафиры Львовны такъ же былъ важенъ и поразителенъ, какъ для него первый поцѣлуй, попавшійся не по адресу.

«Что тебь?» отвъчала Глафира Львовна.

— Поди сюда.

Глафира Львовна вошла, придавая себъ гордую и величественную мину, которая, разумъется, къ ней не шла и которая худо скрывала ея замъшательство. По несчастю, Круциферскій не могь этого замътить: онъ боялся взглянуть на нее.

— Глаша! сказалъ Негровъ: —вотъ Дмитрій Яковлевичъ проситъ Любонькиной руки. Мы ее всегда воспитывали и держали, какъ дочь родную, и имъемъ право располагать ея рукою; ну, а все же не мъщаетъ съ нею поговорить; это твое женское дъло.

«Ахъ, Боже мой! вы сватаетесь? какія новости! сказала съ горечью Глафира Львовна.—Да это сцена изъ «Новой Элопзы!»

Если-бъ я былъ на мъстъ Круциферскаго, то сказалъ бы, чтобъ не отстать въ учености отъ Глафиры Львовны:—Да-съ, а вчерашнее происшествие на балконъ сцена изъ «Фоблаза».—Круциферский промодчалъ.

Негровъ всталъ, въ ознаменованіе конца засёданія, и сказалъ:
— Только прошу не думать о Любонькиной рукт, пока не поучите муста. Послё всего, совётую, государь мой, быть осто-

лучите м'вста. Посл'в всего, сов'втую, государь мой, быть осторожнымъ: я буду им'вть за вами глаза да и глаза. Вамъ почти и оставаться-то у меня въ дом'в неловко. Навязали и мы себ'в работу съ этой Любонькой!

Круциферскій вышель. Глафира Львовна съ величайнимъ пренебреженіемъ отзывалась о немъ и заключила свою рѣчь тѣмъ, что такое холодное существо, какъ Любонька, пойдетъ за всякаго, но счастія не можетъ доставить никому.

На другой день, утромъ, Круциферскій сидёлъ у себя въ комнать, погруженный въ глубокую думу. Едва прошли двое сутокъ послѣ чтенія «Алины и Альсима», и вдругъ онъ почти женихъ, она его невѣста, онъ идетъ на службу... Что за странная власть рока, которая такъ распоряжается его жизнію, подняла его наверхъ человѣческаго благополучія, и чѣмъ же? подняла тѣмъ, что онъ поцѣловалъ одну женщину виѣсто другой, отдалъ ей чужую записку. Не чудеса ли, не сонъ ли все это? Потомъ онъ приноминалъ опять и опять всѣ слова, всѣ взгляды Любоньки въ липовой аллеѣ и на душѣ у него становилось широко, торжественно.

Вдругъ послышались чыл-то тяжелые шаги по корабельной лъстницъ, которая вела къ нему въ комнату. Круциферскій вздрогнуль и съ какимъ то полустрахомъ ждаль появленія лица, поддерживаемаго такими тяжелыми шагами. Дверь отворилась, и вошель нашъ старый знакомый, докторъ Круповъ: появленіе его весьма удивило кандидата. Онъ всякую недълю ъздилъ разъ, а пногда и два къ Негрову, но въ комнату Круциферскаго никогда не ходилъ. Его посъщеніе предвъщало что-то особенное.

— Этакая проклятая лъстница! сказаль онь, задыхаясь, и обтирая былымь платкомь поть съ лица.—Нашель же Алексъй Абрамовичь для васъ комнату.

— «Ахъ, Семенъ Ивановичъ!» произнесъ быстро кандидатъ и

покрасивль. Богь знаеть почему.

- Ба! продолжалъ докторъ: —да какой видъ изъ оконъ... Это вонъ впали-то бълъется пубасовская нерковь что ли, вотъ вправо-то?
 - «Кажется; навърное, впрочемъ, не знаю», отвъчалъ Круци-

ферскій, пристально посмотръвъ нальво.

— Студенть, неизлечимый студенть! Ну, какъ живете вы здъсь мъсяцы и не знаете, что изъ окна видно. Охъ, молодость!... Ну, дайте-ка вашу руку пошупать.

— «Я, слава Богу, здоровъ, Семенъ Ивановичъ».

- Воть вамъ и слава Богу, продолжалъ докторъ, подержавъ руку Крупиферскаго:—я зналь это: усиленный и неравномърный. Позвольте ка... разъ, два, трп, четыре... лихорадочный, жизненная пъятельность сильно попнята. Вотъ съ такимъ-то пульсомъ человъкъ и ръшается на всякія глупости: бейся пульсъ ровно, тукъ, тукъ, тукъ, никогла бы вы не пошли по этого. Мнъ тамъ, внизу, почтеннъйшій мой, говорять: «хочеть-не жениться», — ушамь не върю; ну, въдь малый, думаю, не глуный, я же его и изъ Москвы привезъ... не въщо: пойлу, посмотрю, Такъ и есть; усиленный и неравномърный; да при этомъ пульсъ не только жениться, а чортъ знаеть какихъ глупостей можно надблать. Ну, кто же въ лихорадочномъ состояній рёшится на такой важный шагь? Подумайте. Полечитесь прежде, приведите органъ мышленія, т. е. мозгъ, въ нормальное состояніе, чтобъ кровь-то ему не мѣшала. Хотите, я пришлю фельдшера пустить вамъ кровь, ну, такъ, чайную чащечку съ половинкой?
 - «Покорнъйше благодарю; я не чувствую никакой нужды».
- Гдё же вамъ знать, что нужно и что нётъ: вёдь, вы медицине совсемъ не учились, а я выучился. Ну, не хотите кровопусканья, примите глауберовой соли; аптечка со мной, я, пожалуй, дамъ.
- «Я вамъ очень благодаренъ за участіе, но долженъ предупредить васъ, что я здоровъ, и вовсе не шутя, а въ самомъ дѣлѣ хочу (здѣсь онъ запнулся)... жениться, и не понимаю, что вы имѣете противъ моего благополучія».
 - Очень многое.

Старикъ сдълалъ пресерьезное лицо.

— Я васъ люблю, молодой человѣкъ, и потому жалѣю. Вы, Дмитрій Яковлевичъ, на закатѣ моихъ дней, напомнили мнѣ мою юность, много прошедшаго напомнили; я вамъ желаю добра, и молчать теперь мнѣ ноказалось преступленіемъ. Ну, какъ вамъ жениться въ ваши лѣта? Вѣдь, это Негровъ васъ надулъ... Вотъ видите ли, какъ вы взволнованы, вы не хотите меня слушать, я это вижу, но я васъ заставлю выслушать меня; лѣта имѣютъ свои права...

— «О, нътъ, Семенъ Ивановичъ, сказалъ молодой человъкъ, нъсколько смъщавшись отъ словъ старика: —я понимаю, что изъ любви ко мнъ, изъ желанія добра вы высказываете свое мнъніе; мнъ жаль

только, что оно нъсколько излишне, даже поздно».

- О, если-бъ только-то вы имъли противъ моего мития, это сущая бездълица: никогда не поздно остановиться. Бракъ... у-у какое тяжелое пъло! Бъла въ томъ, что одни тъ и не думаютъ, что такое бракъ, которые вступаютъ въ него, то есть, послъ то и раздумають на досугь, да ноздненько: это все febris erotica; гдъ человъку обсудить такой шагъ, когда у него пульсъ бъется, какъ у васъ, любезный другъ мой? Вы понтируете на все свое состояние: можеть быть, и удастся сорвать банкъ, можеть... да какой же умный человъкъ будеть рисковать? Ну, да въ картахъ самъ виневать, самъ и наказань: по дёломъ вору мука. А въ женитьбъ непремънно съ собою тошинь еще человъка. Эй, Дмитрій Яковлевичъ, подумай! Я върю, что вы ее любите, что и она васъ любить, но это ничего не значить. Будьте увърены, что любовь пройдеть въ обонхъ случаяхъ: увдете куда-нибудь, пройдетъ; женитесь, еще скорже пройдеть; я самъ былъ влюблень, и не разъ, а разъ пять, но Богъ спасъ: и я, возвращаясь теперь домой, спокойно и тихо отдыхаю отъ своихъ трудовъ; день я весь принадлежу моимъ больнымъ, вечеркомъ въ вистикъ сыграешь, да и ляжешь себъ безъ заботы... А съ женою хлопоты, крикъ, дъти, да весь міръ погибай, кром'в моей семьи! Трудно жить на м'вств, трудно перебираться, пойдуть мелкія сплетни, вертись около своего очага, книгу подъ лавку; надобно думать о деньгахъ, о запасахъ. Теперь, хоть бы объ васъ молвить: придеть иной разъ нужда, что за бѣда, всякое бываеть! Мы, бывало, съ Антономъ Фердинандовичемъ, знакомый вамъ человікь, денегь какой-нибудь рубль, а йсть и курить хочется: купимъ четверку «фалеру», такъ ужъ кромъ млъба ничего не ъдимъ, а куппмъ фунтъ ветчины, такъ ужъ и не куримъ, да оба и хохочемъ надъ этимъ, и все инчего; а съ женой не то: жену жаль, жена будеть ревъть...

— «О, нътъ! Эта дъвушка, навърное, найдеть силы перенести

нужду. Вы ее не знаете!»

— Это-то, любезнайшій, еще хуже; какъ бы очень-то начала кричать, разсердить, по крайней мърф, плюнешь, да и прочь нойдень; а какъ будеть молчать да худьть, а ты-то себа: «бадная, за что я тебя стащиль на Антоніеву пищу»... поломаещь голову, какъ бы достать денегь. Ну, честнымъ путемъ, братъ, не разжи-

вешься, илутовать не станешь,—воть ты подумаешь, подумаешь, да для освѣженія головы и хватишь горькинькаго; оно ничего—я самъ употребляю желудочную,—а знаешь, какъ вторую съ горято, да третью... понимаешь? Ну, да положимь, что и будеть кусокъ хлѣба... то есть, не больше; вѣдь, она хоть и дочь Негрову, а Негровъ-то хоть и богать, да, вѣдь, я его знаю—не разгуляется! Воть за дочерью-то онъ приготовиль пятьсотъ душъ, ну, а Любонькѣ развѣ пять тысячъ рублей дастъ: что за капиталь?.. Охъ, жаль мнѣ тебя, Дмитрій Яковлевичъ! Ну, пусть другіе, которые лучшаго ничего изъ себя не сдѣлають: ты-то бы поберегь себя. Я бы предложиль вамъ другое мѣсто; поскорѣе отсюда вонъ нюбовь-то и поразсѣялась бы; у насъ въ гимназіи открылась хорошая ваканція. Не ребячься, будь мужчина!

— «Право, Семенъ Иванычъ, я благодаренъ вамъ за участіе; но все это совершенно лишнее, что вы говорите, вы хотите застращать меня, какъ ребенка. Я лучше разстанусь съ жизнію, нежели откажусь отъ этого ангела. Я не смълъ надъяться на та-

кое счастіе; самъ Богъ устроиль это підо».

— Экъ его!—сказалъ неумолимый Круновъ:—а все я его погубилъ: ну, зачёмъ было рекомендовать въ этотъ домъ! Богъ устроиль — какъ же! Негровъ тебя надулъ, да твоя молодость. Такъ и быть, не хочу ничего утанвать. Я, любезный Дмитрій Яковлевичь, долго жилъ на свътъ, и не похвастаюсь умомъ, а много наметался. Знаете, наша должность медика ведеть насъ не въ гостиную, не въ залу, а въ кабинетъ да въ спальню. Я много видълъ на своемъ въку людей и ни одного не пропускалъ, чтобъ не разсмотръть его на объ корки. Вы, въдь, все людей видите въ ливреяхъ, да въ маскарадныхъ платьяхъ, --а мы за кулисы ходимъ; наглядълся я на семейныя картины; стыдиться-то тутъ некого, люди тутъ на распашку, безъ церемоніи. Homo sapiens какой sapiens къ чорту! ferus, звърь самый дикій, въ своей берлогъ кротокъ, а человъкъ въ берлогъ-то своей и дълается хуже звъря... Къ чему, бишь, я это началь?.. да... да... ну, такъ я привыкъ такіе характеры разбирать. Не пара теб'й твоя нев'йста, ужъ что ты хочешь, —эти глаза, этоть цвъть лица, этоть трепеть, который иногда пробъгаеть по ея лицу, - она тигренокъ, который еще не знаетъ своей силы; а ты — да что ты? Ты невъста; ты, братецъ, нѣмка; ты будешь жена, —ну годно ли это?

Крудиферскій обиділся послідней выходкой и, противъ сво-

его обыкновенія, довольно холодно и сухо сказаль:

— «Есть случан, въ которыхъ принимающіе участіе помогають, а не читають диссертаціи. Можеть быть, все то, что вы говорите, правда,— я не стану возражать; будущее — дъло темное; я знаю одно: мнъ тенерь два выхода, —куда они ведуть, трудно сказать.

но третьяго н'єть; или броситься въ воду, или быть счастливъй-

— Лучше броситься въ воду: разомъ конецъ!—сказалъ Круповъ, тоже иъсколько оскорбленный, и вынулъ *красный* илатокъ.

Разговоръ этотъ, само собою разумъется, не принесъ той пользы, которой отъ него ждалъ докторъ Круповъ; можетъ быть, онъ былъ хорошій врачъ тъла, но за душевныя бользи принимался неловко. Онъ, въроятно, по собственному опыту судилъ о силъ любви: онъ сказалъ, что былъ нъсколько разъ влюбленъ, и, слъдственно, имълъ большую практику, но именно потому-то онъ и не умълъ обсудить такой любви, которая бываетъ одинъ разъ въ жизни.

Круповъ ушелъ разсерженный, и вечеромъ того дня за ужиномъ у вице-губернатора декламировалъ полтора часа на свою любимую тему,—бранилъ женщинъ и семейную жизнь, забывъ, что вице-губернаторъ былъ женатъ на третьей женъ и отъ каждой имълъ по нъскольку человъкъ дътей. Слова Крупова почти не сдълали никакого вліянія на Круциферскаго,—я говорю почти, потому что неопредъленное, не ясное, но тяжелое впечатлъніе осталось, какъ послъ зловъщаго крика ворона, какъ послъ встръчи съ покойникомъ, когда мы торопимся на веселый пиръ. Все это изгладилось, само собою разумъстся, при первомъ взглядъ Любоньки.

— «Повъсть, кажется, близка къ концу», говорите вы, разумъется, радуясь.

— Извините, она еще не начиналась — отвъчаю я съ долж-

нымъ почтеніемъ.

— «Помилуйте, остается послать за священникомъ!»

— Да-съ; но, вѣдь, я считаю концомъ, когда за священникомъ посылаютъ, чтобъ онъ соборовалъ масломъ, да и то иной разъ не конецъ. А когда служитель церкви является съ тѣмъ, чтобъ вѣнчать, то это начало совсѣмъ новой повѣсти, въ которой только тѣ же лица. Они не замедлятъ явиться передъ вами.

V.

Владиміръ Бельтовъ.

Въ ***, — впрочемъ, нѣтъ никакой необходимости астрономически и географически точно опредѣлять мѣсто и время, — въ XIX столѣтіи, были въ губернскомъ городѣ NN дворянскіе выборы. Городъ оживлялся; часто были слышны бубенчики и скрипъ

дорожных экипажей; часто были видны помъщичьи зимнія повозки, кибитки, возки ветхъ возможныхъ видовъ, набитые внутип всякою всячиною и укращенные снаружи пълой дворней, въ шинеляхь и тулунахъ, подвязанныхъ полотенцами; часть ея обыкновенно городомъ игла пъшкомъ, кланялась съ лавочниками, улыбалась стоящимъ у вороть товарищамъ; другая спала во всёхъ положеніяхъ челов'т ческаго тыла, въ которыхъ неудобно спать. Мало по малу, помъщичьи лошади перевезли почти всъхъ главныхъ дъйствующихъ лицъ въ губернію, и отставной корнеть Дрягаловъ былъ ужъ на лицо и украшалъ пунцоваго цвъта занавъсами окна своей квартиры, нанятой на последнія деньги; онъ ъздилъ въ иять губерній на всѣ выборы и на главнѣйшія ярмарки и нигдъ не проигрывался, несмотря на то, что съ утра до ночи играль въ карты, и не наживался, несмотря на то, что съ утра до ночи выигрывалъ. И отставной генералъ Хрящевъ, славившійся музыкантами, богачь, навздникь, несмотря на 65 льть, былъ на лицо; онъ являлся на выборы давать четыре бала и всякій разъ отказываться бользнью оть мъста губерискаго предводителя, которое всякій разъ предлагали ему благодарные дворяне. Въ гостиныхъ начали появляться странные фраки, покоившіеся цілое трехлітіе, переложенные табачнымъ листомъ, съ бархатными воротниками, измёнившимися въ цвётё и сохранившими какую-то отчаянную форму; вмъстъ съ ними явились и странные мундиры всёхъ временъ, и милиціонные, и съ двумя рядами пуговиць, и однобортные, и съ одной эполетой, и совсёмъ безъ эполеть. Съ утра до ночи дълались визиты; три года часть этихъ людей не видалась и съ тяжелымъ чувствомъ замѣчали, глядя другь на друга, умножение сёдыхъ волосъ, морщинъ, худобы и толщины; тѣ же лица, а будто не тѣ: геній разрушенія оставиль на каждомъ свои слъды; а со стороны, съ чувствомъ, еще болже тижелымъ, можно было замътить совстив противоположное, и эти три года такъ же прошли, какъ и тринадцать, какъ и тридцать лъть, предпествовавшее имъ...

Во всемъ городъ только и говорили о кандидатахъ, объдахъ, уъздныхъ предводителяхъ, балахъ и судьяхъ. Правитель канцеляріи гражданскаго губернатора третій день ломаль голову надъ проектомъ ръчи; онъ испортилъ двъ дести бумаги, писавъ: «Милостивые государи, благородное NN—ское дворянство..!» тутъ онъ останавливался и его брало раздумье, какъ начать: «Позвольте мнъ снова въ средъ вашей» пли: «Радуюсь, что я въ средъ ва

шей снова»... И онъ говорилъ старшему помощнику:

«Ахъ, Купріянъ Васильевичь, самое запутанное уголовное дѣло легче въ семьсотъ разъ разобрать, нежели написать рѣчь!»

— Вы бы попросили у Антона Антоновича «Образцовыя Сочиненія»; тамъ, я помню, есть ръчи.

«Славная мысль! сказаль правитель дёль, страшно больно хлопнувъ по плечу своего помощника. — Ай-да Купріянъ Ку-

!«агривонкісц

Правитель дёлъ думалъ, что очень остро называть человъка разъ по батюшкъ, да разъ по самому себъ. И онъ въ тотъ же вечеръ составилъ нъсколько строкъ, руководствуясь ръчью князя

Холмскаго изъ «Мареы Посадницы» Карамзина.

Среди этихъ всеобщихъ и трудныхъ занятій вдругъ вниманье города, уже столь напряженное, обратилось на совершенно неожиданное, никому неизвъстное лицо, — лицо, котораго никто не ждалъ, ни даже корнетъ Дрягаловъ, ждавшій всёхъ, лицо, о которомъ никто не думалъ, которое было вовсе ненужно въ патріархальной семь общинныхъ главъ, которое свалилось какъ съ неба, а въ самомъ дълъ прівхало въ прекрасномъ англійскомъ дормезъ. Лицо это было отставной губернскій секретарь Владиміръ Петровичъ Бельтовъ. Чего у него не дов'єшивало со стороны чина, искупалось довольно хорошо 3.000 душъ незаложеннаго им'внія; это-то им'вніе, Б'влое-Поле, очень подробно знали избираемые и избиратели; но владътель Бълаго-Поля быль какой-то миоъ, сказочное, темное лицо, о которомъ повъствовали пногда всякія несбыточности, такъ, какъ повъствують о далекихъ странахъ, о Камчаткъ, о Калифорніп-вещи странныя для насъ, невъроятныя. Нъсколько лъть тому назадъ, говорили, напримъръ, что Бельтовъ, только что вышедшій изъ университета, попаль въ милость къ министру; потомъ, вслъдъ за тъмъ, говорили, что Бельтовъ разссорился съ нимъ и вышелъ въ отставку на зло своему покровителю. Этому не вёрили. Есть лица, о которыхъ въ провинціяхъ составлено окончательное и опредъленное понятіе; съ этими лицами ссориться нельзя, а можно и должно имъ свидътельствовать почтеніе; въроятно ли, что Бельтовъ осмѣлился?... Нътъ, развъ навлекъ на себя справедливый гнъвъ, развъ пропградся въ карты, пли спился, или увезъ у кого-нибудь дочь, т. е. не у особы какой-нибудь, а такъ, дочь чью-нибудь. Потомъ сказывали, что онъ убхалъ во Францію; къ этому догадливые и ученые прибавляли, что онъ никогда не воротится, что онъ принадлежить къ массонской ложт въ Парижт, и что ложа назначила его совъстнымъ судьей въ Америку. «Весьма въроятно»! говорили многіе: «онъ съ малыхъ лётъ былъ какъ брошенный; отецъ его умеръ, кажется, въ тотъ годъ, въ который онъ родился; мать, вы знаете какого пропехожденія, притомъ женщина пустая, экзальте, да и гувернеръ имъ попался преразвращенный, никому не умъть оказывать должнаго». Сверхъ того, этимъ объясняли, почему онъ такъ запустиль хозяйство, хотя мужики его славятся богатствомъ и ходятъ въ саногахъ. Наконецъ, года три совсъмъ о немъ не говорили, и вдругъ это странное лицо, совъстный судья отъ парижской массонской ложи въ Америкъ, человъкъ, ссорившійся съ тъми, которымъ надобно свидътельствовать глубочайшее почтеніе, уъхавшій во Францію на въки въковъ, явился передъ NN-скимъ обществомъ, какъ листъ передъ травой, и явился для того, чтобъ прінскивать себъ голоса на выборахъ. Во всемъ этомъ было чрезвычайно много непонятнаго для NN-скихъ жителей. Что за странное предпочтеніе губернской службы столичной? Что за странное предпочтеніе службы по выборамъ? Потомъ: Парижъ и дворянское депутатское собраніе, 3.000 душъ и чинъ губернскаго секретаря... Ну, было падъ чъмъ потрудиться и безъ того занятымъ NN-цамъ.

Спльнъйшая голова въ городъ былъ безспорно предсъдатель уголовной палаты; онъ ръшалъ окончательно, безаппелляціонно вет вопросы, занимавшие общество; къ нему тздили совъщаться о семейныхъ дълахъ; онъ былъ очень ученъ, литераторъ и философъ. У него былъ только одинъ соперникъ, инспекторъ врачебной управы, Круповъ, и предсъдатель какъ-то дъйствительно конфузился при немъ; но авторитетъ Крупова далеко не былъ такъ всеобщъ, особенно послъ того, какъ одна дама губернской аристократіп, очень чувствительная и не менъе образованная, сказала при многихъ свидътеляхъ: «Я уважаю Семена Ивановича; но можеть ли человъкъ понять сердце женщины, можеть ли понять иёжныя чувства души, когда онъ могъ смотрёть на мертвыя тёла п, можеть быть, касался до нихъ рукою?»—Всё дамы согласились, что не можеть, и ръшили единогласно, что предсъдатель уголовной палаты, не имкющій таких в свиркных привычекъ, одинъ способенъ ръшать вопросы нъжные, гдъ замъщано сердце женщины, не говоря уже о встхъ прочихъ вопросахъ. Само собою разумбется, что одна мысль блеснула почти у всъхъ, когда явился Бельтовъ: что-то скажеть Антонъ Антоновичъ насчеть его прійзда? Но Антонъ Антоновичъ былъ не такой человъкъ, къ которому можно было такъ вдругъ адресоваться: что вы думаете о г. Бельтовъ Далеко нътъ; онъ даже, какъ нарочно (а весьма можеть быть, что и въ самомъ дёлё нарочно) три дня не былъ видимъ ни на вистъ у вице-губернатора, ни на чаъ у генерала Хрящова. Всёхъ любопытнёе съ своей стороны и всёхъ предпріничивъе въ городъ былъ одинъ совътникъ съ Анною въ петлицѣ, употреблявний чрезвычайно ловко свой орденъ, такъ что какъ бы онъ ни сидълъ или ни стоялъ, орденъ можно было видъть со всъхъ точекъ комнаты. Этотъ носитель ордена св. Анны въ нетлицъ ръшился, въ воскресенье, отъ губернатора (у котораго онъ не могъ не быть въ воскресные и праздиичные дни) завхать на минуту въ соборъ и, если председателя тамъ нётъ, **т**хать прямо къ нему. Подътзжая къ собору, совттникъ спросилъ квартальнаго поручика: тутъ ли предсъдательскія сани? — «Нпкакъ нътъ-съ», отвъчалъ квартальный: «да, должно быть, ихъ высокородіе и не будуть, потому что сейчась я видёль — ихъ кучеръ Пафнушка шелъ въ питейный». Последнее обстоятельство показалось очень важнымъ совътнику: не поъдеть же Антонъ Антоновичь въ кафедральный соборъ, подумаль онъ, на одной лошади, а гді же Никешкі форейтору справиться съ парой буланыхъ! И онъ, не заходя ужъ въ соборъ, отправился къ пред-

стателю.

Предсъдатель, вовсе не ожидая посъщенія, сидъль въ своемъ домашнемъ костюмъ, состоявшемъ изъ какой-то длинной вязанной куртки, изъ широкихъ панталонъ и валеныхъ сапоговъ на ногахъ. Онъ былъ не великъ ростомъ, широкоплечъ и съ огромной головой (умъ любитъ просторъ); всв черты лица его выражали какую-то важность, что-то торжественное и псполненное сознанія своей силы. Онъ обыкновенно говориль протяжно, съ удареніемь, такъ, какъ следуеть говорить мужу, вершающему окончательно всъ вопросы; если какой-нибудь дерзновенный перебивалъ его, онъ останавливался, ждалъ минуту, двѣ, и потомъ повторяль снова съ нажимомъ последнее слово, продолжая фразу точно въ томъ духв и характерв, въ какомъ началъ. Возраженій онъ не могъ терпъть, да и не приходилось никогда ихъ слышать ни отъ кого, кромъ доктора Крупова; остальнымъ въ голову не приходило спорить съ нимъ, хотя многіе и не соглашались. Самъ губернаторъ, чувствуя внутри себя все превосходство умственныхъ способностей предсёдателя, отзывался о немь, какъ о человёкё пеобыкновенно умномъ, п говорилъ: «Помилуйте, ему не предсъдателемъ быть уголовной палаты, повыше бы могь подняться. Какія св'єд'єнія! Да и потомъ вы послушайте его разсужденія,—это просто Массильонъ! Онъ много по службъ потерялъ, посвящая большую часть времени чтенію и наукамь». — Итакъ, этоть-то господинъ, много потерявшій изъ любви къ наукамъ, сидъль въ курткъ передъ своимъ письменнымъ столомъ; подписавъ разные протоколы и выставивъ въ пустомъ мъстъ достодолжное число $y\partial apos$ за корчемство, за бродяжество и т. п., онъ досуха обтеръ перо, положилъ его на столъ, взялъ съ полочки книгу, переплетенную въ сафьянъ, раскрылъ ее и началъ читать. Мало по малу, у него по лицу распространилось какое-то сладкое, невыразимое чувство довольства. Но чтеніе продолжалось не долго; явился на сцену сов'ятникъ съ Анной въ петлицъ.

— А я-съ какъ безпокопися на вашъ счетъ, ей Богу! Къ гу-

бернатору поздравить съ праздникомъ прівхалъ, — васъ, Антонъ Антоновичь, нѣтъ; вчера не изволили на вистѣ быть; въ соборъ— вашихъ сапей нѣтъ; думаю, неравенъ часъ, вѣдь, могли и занемочь; всякой можетъ занемочь... Отъ слова ничего не сдѣлается. Что съ вами? Ей Богу, я такъ встревожился!

— «Покорнъйше васъ благодарю; я, слава Всевышнему, не жалуюсь на здоровье; а васъ прошу занять мъсто, почтеннъйщій

господинъ совътникъ».

- Ахъ, Антонъ Антоновичъ! я, кажется, помѣшалъ вамъ: вы пзволили читать.
- «Ничего, мой почтеннъйшій, ничего; у меня есть время для музъ и есть для добрыхъ пріятелей».
- Вотъ-съ, Антонъ Антоновичь! я полагаю на счетъ новенькихъ книжекъ можно теперь вамъ поснаблиться.
- «Не люблю новыхъ, прервалъ предсъдатель дипломата-совътника: не люблю-съ новыхъ книгъ. Вотъ и теперь перечитывалъ «Душеньку» въ сотый разъ и, истинно увъряю васъ, съ новымъ удивительнымъ наслажденіемъ. Какая легкость, какое востроуміе! Да, Ипполитъ Өедоровичъ не завъщалъ никому таланта».

Туть председатель прочель:

Злоумна ненависть, судя по всюду строго,
Очей имъетъ много,
И видитъ сквозь покровъ закрытыя дъла. Вотще отъ сестръ своихъ царевна ихъ скрывала.
И день, и два, и три притворство продолжала,
Какъ будто бы она супруга въявь ждала.
Сестры темнили видъ, подъ чъмъ онъ былъ неявенъ,
Чего не вымыслитъ коварная хула?
Онъ былъ, по ихъ ръчамъ, и страшенъ, и злонравенъ.

— Вотъ-съ, перебилъ въ свою очедь совътникъ: это точно слово въ слово, какъ у насъ теперь говорять объ вояжёрѣ, посѣтившемъ нашъ городъ; охота, право, пустословить.

Предсъдатель посмотръль на него строго и, какъ будто ничего не видалъ и не слыхалъ, продолжалъ:

Онъ быть, по ихъ рѣчамъ, и страшенъ, и злонравенъ. И вѣрно Душенька съ чудовищемъ жила. Совѣты скромности въ сей часъ она забыла, Сестры ли въ томъ виной, судьба ли то, иль рокъ, Иль Душенькинъ то бытъ порокъ, Она, вздохнувъ, сестрамъ открыла, Что только тѣнь одну въ супружествѣ любила, Открыла, какъ и гдѣ приходитъ тѣнь на срокъ И происшествія подробно разсказала,

Но только лишь сказать не знала, Каковъ и кто ея супругь, Колдунъ, иль змъй, иль богъ, иль дукъ. — «Вотъ эти стихи не звукъ пустой, а стихи съ душею и съ сердцемъ. Я, мой почтеннъйшій господинъ совътникъ, по слабости ли моихъ способностей, или по недостатку свътскаго образованія, не понимаю новыхъ книгъ, съ Василія Андреевича Жуковскаго начиная.

Совътникъ, который отъ роду ничего не читалъ, кромъ резолюцій губернскаго правленія, и то только своего отдъленія, по прочимъ онъ считалъ себя обязаннымъ высшей деликатностью подписывать, не читая, замътилъ:

— Безъ сомнънія; а воть я полагаю, что прівзжіе изъ сто-

лины не такъ думаютъ.

— «Что намъ до нихъ! отвътилъ предсъдатель: знаю и очень знаю, всъ повременныя изданія нынъ хвалять Пушкина; читалъ я и его. Стихи гладенькіе, но мысли нътъ, чувства нътъ, а для меня, когда здъсь нътъ (онъ ошибкою показалъ на правую сторону груди), такъ одно пустословіе».

— Я самъ чрезвычайно люблю чтеніе, прибавиль сов'єтникъ, которому никакъ не удавалось овлад'єть предметомъ разговора,— да времени совс'ємъ не им'єю: утро провозишься съ проклятыми бумагами; въ д'єлахъ правленія истинно мало пищи уму и сердцу;

а вечеромъ бостончикъ, вистикъ.

— «Кто хочеть читать, возразиль, воздержно улыбаясь, предсъ-

датель, —тотъ не будеть всякій вечеръ сидіть за картами».

— Конечно, такъ-съ; вотъ, напримѣръ, говорять объ этомъ-съ Бельтовѣ, что онъ въ руки картъ не беретъ, а все читаетъ.

Председатель промолчаль.

- Вы, върно, изволили слышать объ его прівздь?

— «Слышалъ что-то подобное», отвъчалъ небрежно философъсудія.

- Говорятъ, страшной учености; вотъ-съ будеть вамъ подъ

пару, право-съ; говорять, что даже по итальянски умфеть.

- «Гдѣ намъ, возразилъ съ чувствомъ собственнаго достоинства предсъдатель, —гдѣ намъ! Слыхали мы о господинѣ Бельтовѣ: п въ чужихъ краяхъ былъ, и въ министерствахъ служилъ; куда намъ, провинціальнымъ медвѣдямъ! А, впрочемъ, посмотримъ. Я лично не имѣю чести его знать, онъ не посѣщалъ меня».
- Да онъ и у его превосходительства не былъ-съ, а вѣдь пріѣхалъ, я думаю, дней пять тому назадъ... Точно, сегодня въ обѣдъ будетъ пять дней. Я съ Максимомъ Ивановичемъ обѣдалъ у полиціймейстера, и, какъ теперь помню, за пудиномъ услышали мы колокольчикъ. Максимъ Иванычъ, знаете его слабость, не вытерпѣлъ: матушка, говоритъ, Вѣра Васильевна, простите, подбѣжалъ къ окну и вдругъ закричалъ: карета шестерней, да ка-кая карета! Я къ окну: точно карета шестерней, отличнъйшая,

Іохима, должно быть, работы, ей Богу. Полиціймейстеръ сейчасъ унтера... «Бельтовъ-де изъ Петербурга».

— «Мий, сказать откровенно, началь предсёдатель ийсколько таинственно,—этотъ господинъ подозрителенъ: онъ или промотался, или въ связяхъ съ полиціей, или самъ подъ надзоромъ полиціи. Помилуйте, тащится 900 верстъ на выборы, имбя 3,000 пушъ!»

- Конечно-съ, сомнънія нътъ. Признаюсь, дорого далъ бы я, чтобъ вы его увидъли: тогда бы тотчасъ узнали, въ чемъ дъло. Я вчера послъ объда прогуливался, Семенъ Ивановичъ для здоровья приказываеть, прошелъ такъ раза два мимо гостиницы; вдругъ выходить въ съни молодой человъкъ, я такъ и думалъ, что это онъ, спросилъ полового, говоритъ: это камердинеръ; одътъ какъ нашъ братъ, нельзя узнать, что человъкъ... Ахъ, Боже мой, да у вашего подътзда остановилась карета!
- «Что-жъ, васъ это удивляетъ? возразилъ стоическій предсъдатель,—меня не ръдко посъщають добрые знакомые».

— Да-съ; но, можетъ быть...

Въ эту минуту вошла въ комнату толстая, румяная горничная, въ глубокомъ дезабилье, и сказала: «Прівхалъ какой-то помещикъ въ карете, я его не видала прежде, принимать, что ли?»

— «Подай мий халать, сказаль предсъдатель, — и проси...» Чтото въ родъ улыбки показалось на лицѣ его въ то время, какъ онъ облекался въ свой шелковый халатъ цвѣта лягушечьей спинки. Совѣтникъ всталь со стула и былъ въ сильномъ волненіи.

Человъкъ лътъ тридцати, прилично и просто одътый, вошелъ, учтиво кланяясь хозяину. Онъ былъ строенъ, худощавъ, и въ лицъ его какъ-то странно соединялись добродушный взглядъ съ насмъшливыми губами, выраженіе порядочнаго человъка съ выраженіемъ баловня, слъды долгихъ и скорбныхъ думъ съ слъдами страстей, которыя, кажется, не обуздывались. Предсъдатель, не теряя чувства своей доблести, приподнялся съ креселъ и показывалъ, стоя на одномъ мъстъ, видъ, будто онъ идетъ на встръчу.

- Я здёшній помёщикъ Бельтовъ, пріёхалъ сюда на выборы и счель себя обязаннымь познакомиться съ вами.
- «Чрезвычайно радъ, сказалъ предсъдатель,—чрезвычайно радъ, и прошу покорнъйше, мплостивый государь, занять мъсто». Всъ съли.
 - «Недавно изволили пріѣхать?»
 - Дней пять тому назадъ.
 - «Откуда?»
 - Изъ Петербурга.
- «Ну, вамъ, послѣ столичнаго шума, будетъ очень скучно въ монотонной жизни маленькаго провинціальнаго городка».

— Не знаю; по, право, не думаю; мит какъ-то въ большихъ

городахъ было очень скучно.

Оставимте на нѣсколько минутъ, или на нѣсколько страницъ, предсѣдателя и совѣтника, который, послѣ полученія Анны въ нетлицу, ни разу не быль въ такомъ восторгѣ, какъ теперь: онъ пожиралъ сердцемъ, умомъ, глазами и ушами пріѣзжаго, онъ все высмотрѣлъ, и то, что у него жилетъ былъ не застегнутъ на послѣднюю путовицу, и то, что у него въ нижней челюсти съ правой стороны зубъ былъ выдернутъ, и проч., и проч. Оставимте ихъ и займемтесь, какъ NN-цы, исключительно страннымъ гостемъ.

VI.

Мы уже знаемъ, что отецъ Бельтова умеръ вскоръ послъ его рожденія, и что мать его была экзальте и обвинялась въ дурномъ поведеніи Бельтова. По несчастію, нельзя не согласиться, что она одна изъ главныхъ причинъ всёхъ неудачъ въ карьеръ своего сына. Исторія этой женщины сама по себ'ї очень зам'їчательна. Она родилась крестьянкой; лъть пяти ее взяли во дворъ; у ся барыни были двѣ дочери и мужъ; мужъ заводилъ фабрики, дёлалъ агрономическіе опыты и кончилъ тёмъ, что заложилъ все имъніе въ Воспитательный Домъ. Въроятно, считая, что этимъ псполнилъ свое экономическое призвание въ мірь семъ, онъ умеръ. Разстройство дёлъ ужаснуло вдову: она плакала, плакала, наконецъ утерла слезы и съ мужествомъ великаго человъка принялась за поправку имънія. Только умъ женщины, только сердце нъжной матери, желающей приданаго дочерямъ, можетъ изобръсти вет средства, употребленныя ею для достиженія цъли. Отъ сушенія грибовъ и малины, отъ сбора талекъ и обв'єщиванья масломъ, до порубки въ чужихъ рощахъ и продажи парней въ рекруты, не стисняясь очередыю, все было употреблено въ дъйствіе (это было очень давно, и, что теперь ръдко встръчается, то было еще въ обычат тогда) — и, надобно правду сказать, помъщица села Засъкина пользовалась всеобщей репутаціей несравненной матери. Между разными бумагами покойнаго агронома она нашла вексель, данный ему содержательницей какого-то пансіона въ Москвъ, списалась съ нею; но, видя, что деньги мудрено выручить, она уговорила ее принять къ себъ трехъ-четырехъ двороровыхъ девочекъ, предполагая изъ нихъ сделать гувернантокъ для своихъ дочерей или для постороннихъ. Черезъ нъсколько лёть возвратились доморощенныя гувернантки къ барынё съ громкимъ аттестатомъ, въ которомъ было написано, что онъ знають законъ Божій, арпеметику, россійскую пространную п всеобщую краткую исторію, французскій языкъ и проч., въ озна-

менованіе чего при актъ ихъ наградили золотообръзными экземплярами "Paul et Virginie". Барыня велёла очистить для нихъ особую комнату и ждала случая ихъ пристроить. Тетка отна нашего Бельтова искала именно въ это время воспитательницу для своихъ дочерей и, узнавъ, что сосъдка ен имъетъ гувернантокъ, ей принадлежащихъ, адресовалась къ ней: потолковали о цънъ, поснорили, посердились, разошлись и, наконецъ, поладили. Барыня позволила теткъ выбрать любую, и выборъ палъ на булушую мать нашего героя. Года черезъ два-три, прібхаль въ свою деревню отепъ Владиміра. Онъ быль молодъ, развратенъ, игрокъ, въ отставкъ, охотникъ пить, ходить съ ружьемъ, показывать ненужную удаль и волочиться за всеми женщинами моложе тридцати леть и безъ значительныхъ недостатковъ въ лице. Со всемъ этимъ нельзя сказать, чтобъ онъ былъ решительно пропащій человъкъ: праздность, богатство, неразвитость и дурное общество нанесли на него «семь футовъ грязи», какъ выражается одинъ мой знакомый; но къ чести его должно сказать, что грязь не вовсе приросла къ нему. Бельтовъ быль ръдко чемъ-нибудь занятъ, и потому часто посъщалъ свою тетку; пмъніе его было въ пяти верстахъ отъ теткиной усадьбы. Софи (такъ звали гуверпантку) приглянулась ему: ей было лёть двадцать, высокая ростомъ, брюнетка, съ темными глазами и съ нышной косой юности. Долго думать казалось Бельтову смёшнымъ; онъ, вопреки Вобановой системъ, не повелъ дальнихъ апрошей, а какъ-то оставшись съ ней одинь въ комнатъ, обнять ее за талію, расцыловать и зваль очень усердно пройтиться вечеромъ по саду. Она вырвалась изъ его рукъ, хотела было кричать; но чувство стыда, но боязнь гласности остановили ее; безъ памяти бросилась она въ свою комнату, и туть въ первый разъ вымърила всю длину, ширину и глубину своего двусмысленнаго положенія. Раздраженный отказомъ, Бельтовъ началъ ее преслъдовать своей любовью, дарилъ ей брильянтовый перстень, который она не взяла, объщаль брегетовскіе часы, которыхъ у него не было, и не могъ надивиться, откуда идетъ неприступность красавицы; онъ и ревновать принимался, но не могъ найти къ кому; наконецъ, раздосадованный Бельтовъ прибъгнулъ къ угрозамъ, къ брани, —и это не помогло. Тогда ему пришла другая мысль въ голову: предложить теткъ большія деньги за Софи, — онъ былъ увърень, что алчность побъдить ея выставляемое целомудріе; но какъ человекъ, вечно поступавшій очертя голову, онъ намекнулъ о своемъ наміреніи бъдной дъвушкъ. Разумъется, это ее испугало болъе всего прочаго, она бросилась къ ногамъ своей барыни, обливаясь слезами, разсказала ей все и умоляла позволить тхать въ Петербургъ. Не знаю, какъ это случилось, но она барыню застала врасплохъ; старуха, не зная Талейранова правила—«никогда не следовать первому побужденію сердца, потому что оно всегда хорошо»—тронунулась ея судьбою и предложила ей отпускную за небольшой взносъ двухъ тысячъ рублей. — «Я сама, сказала она ей, заплатила за тебя эти деньги; а кормъ и платье съ тъхъ поръ потраченные на тебя? Ну, а пока выплатишь деньги, присылай мнъ какой-нибудь небольшой оброкъ, рублей сто двадцать, и я велю Платошкъ написать паспортъ; онъ, въдь, у меня дуракъ, испортить пожадуй листь, а нынче куды дорога гербовая бумага». Софи согласилась на все, благодарила, обливаясь слезами, барыню п нъсколько успокоплась. Черезъ недълю, Платошка написалъ паспортъ, замътилъ въ немъ, что у ней лицо обыкновенное, носъ обыкновенный, рость средній, роть ум'вренный, и что особыхъ примъть не оказалось, кромъ по французски говорить; а черезъ мъсяцъ Софи упросила жену управляющаго сосъднимъ имъніемъ, ъхавшую въ Петербургъ положить въ ломбардъ деньги и отдать въ гимназію сына, взять ее съ собою; кибитку нагрузили грибами, вареньемъ, медомъ, мочеными и сушеными ягодами, назначенными въ подарки; жена управляющаго оставила только мъсто для себя; Софи помъстилась на какой-то кадкъ, которая въ продолженіи девятисоть версть напоминала ей, что она єдёлана не изъ лебяжьяго пуха. Гимназиста усадили на козлахъ; онъ былъ долговязый малый, лёть четырнадцати, курившій нёженскіе корешки, и болъе развитый, нежели казалось; онъ всю дорогу ухаживалъ за Софи, и если-бъ не помойнаго цвъта прищуренные глаза его матери, то онъ, можеть быть, перещеголялъ бы Бельтова. А propos, Бельтовъ сдълалъ опыть увезти Софи, когда она перебзжала отъ тетки къ управительше, и вероятно бы увезъ, если-бъ кучеръ не наръзался пьянъ и не сбился съ дороги. Съ досады и въ первую минуту горькаго сознанія о кислот'є винограда, Бельтовъ разболталъ свой романъ, не совсемъ въ томъ видъ, какъ онъ былъ, компаніи игроковъ. Онъ представилъ, что тетка его ревнивая, какъ вев старухи, насильно услала Софью, влюбленную въ него болже, нежели по уши; впрочемъ, онъ отчасти быль радъ, что она убхала и увезла съ собой кой-какіе знаки его вниманія. Извъстно, что, изъ кочующихъ племенъ въ Европъ, цыгане и игроки никогда не ведутъ осъдлой жизни, и потому нътъ ничего удивительнаго, что одинъ изъ слушателей Бельтова черезъ нѣсколько дней былъ уже въ Петербургѣ. Онъ находился въ самой тъсной дружбъ съ француженкой Жукуръ, содержательницей папсіона. Жукуръ, шнуровавшаяся ежедневно до сорока лътъ и носившая платья съ высокимъ воротомъ изъ стыдливости, была неумолимо-строга къ нравственности ближняго. Говоря о томъ, о семъ, она разсказала своему другу, что у ней нанялось

классной дамой престранное существо, приладлежащее NN-ской госножь и говорящее прекрасно по французски. Кочующій другь расхохотался. «Ба! старая знакомая! это прекрасно! это превосходно—ха, ха, ха, ха, —номилуйте, да я ее тысячу разъ видалъ у Бельтова, куда она таскалась по ночамъ, когла у тетки въ дом'в всв спали». Потомъ, ревнуя о репутаціи завеленія, онъ предупредиль мадамъ Жукуръ насчетъ положенія Софи. Жукуръ была внъ себя отъ испута, кричала: quelle démoralisation dans се pays barbare! забыла отъ негодованія все на світь, даже н то, что у привилегированной новивальной бабки, на углу ихъ улицы, восинтывались два ребенка, разомъ родившіеся, язъ которыхъ одинъ былъ похожъ на Жукуръ, а пругой на колующаго друга. Съ горяча она хотъла послать за квартальнымъ, потомъ ъхать къ французскому консулу, но разсудила, что это вовсе не нужно, и просто-на-просто прогнала Софи изъ дому самымъ грубымъ образомъ, забывъ въ тороняхъ отдать ей следующія деньги.

Жукуръ разсказала тремъ другимъ содержательницамъ страшную исторію, эти встыть остальнымъ въ Петербургъ. Куда ни адресовалась бъдная дъвушка, вездъ ей указывали дверь. Она стала искать частнаго мъста, но гдъ найти? знакомыхъ нътъ. Вышло было какое-то мъсто въ отъездъ и довольно выгодное, но мать, прежде нежели кончила, събздила осведомиться къ мадамъ Жукуръ,—и потомъ благодарила Провидъніе за спасеніе дочери. Софи подождала еще недълю, пересчитала свои деньги, — у ней было тридцать иять рублей и никакихъ надеждъ; квартира, которую она наняла, была ей не по карману, и она, долго искавъ, перебхала, наконецъ, въ интый, если не шестой этакъ огромнаго дома въ концѣ Гороховой, набитаго всякой сволочью. Двумя грязными двориками, имъвшими видъ какого-то дна не вовсе просохнувшаго озера, надобно было дойти до маленькой двери, едва зам'ьтной въ колоссальной стён'е; оттуда вела сырая, темная каменная, съ изломанными ступенями, безконечная лъстница, на которую отворялись, при каждой площадкъ, двътри двери. Въ самомъ верху, на финскомъ небъ, какъ выражаются петербургскіе остряки, нанимала комнатку німка старуха; у нея параличь отняль объ ноги, и она полутруномъ лежала четвертый годъ у печки, вязала чулки по буднямъ и читала Лютеровъ переводъ Библіп по праздникамъ. Комнатка была шага въ три; изъ нихъ два казались бъдной нъмкъ совершенной роскошью, и она отдавала ихъ въ наемъ, вмёстё съ окномъ, отъ котораго на полъ аршина возвышалась боковая, некрашенная, кприичная стъна другого дома. Софи поговорила съ нъмкой и наняла этотъ будуаръ; въ этомъ будуарѣ было грязно, черно, сыро и чадно дверь отворялась въ холодный корридоръ, но которому ползали

какія-то дёти, жалкія, оборванныя, блёдныя, рыжія, съ глазами, заплывшими золотухой; кругомъ все было биткомъ набито пьяными мастеровыми. Лучшую квартиру въ этомъ этажъ занимали швен: никогда не было, по крайней мъръ днемъ, замътно, чтобъ онъ работали, но по образу жизни видно было, что онъ далеки оть крайности: кухарка, жившая у нихъ, ежедневно иять разъ бёгала въ полицвную съ кувшиномъ, у котораго былъ отбитъ носъ... Всъ старанія найти мъсто были тщетны: добрая нъмка просила и хлопотала черезъ единственную свою знакомую и соотечественницу, жившую у кого-то при дътяхъ, поразвъдать, нътъ ли какого мъста? Та объщала, но ничего не представилось. Софи рѣшилась на послѣднее: она стала пскать мѣста горинчной, и нашла было одно, въ цъпъ сошлись, но особая примитма въ паспортъ такъ удивила барыню, что она сказала: «Нътъ, голубушка, мит не по состоянію имть горничную, которая говорить по французски». Софи принялась шить бълье. Начальница швей была очень довольна ея строчкой, заплатила ей почти все, что следовало по уговору, и звала къ себе напиться чаю, вместо котораго подчивала розовымъ пивомъ; она очень приглашала бъдную дівушку перейхать къ себі; но какой-то внутренній ужасъ остановилъ Софи, и она отказалась. Это очень оскорбило начальницу, и она, съ гордостью захлопнувъ дверь, когда Софи ушла, сказала: «Сама придешь запскивать, дворянка какая важная! У насъ нъмка изъ Риги живеть не хуже тебя собой». Вечеромъ начальница съ колкой проніей отзывалась о б'єдной д'євушк в комиссару, приходившему пногда вечеромъ отдыхать въ пріятномъ обществъ отъ дневныхъ трудовъ, и такъ заинтересовала его, что онъ немедленно отправился въ комнату нѣмки и спро-

«Что, фрау мадамъ, какъ живете - можете? А? пора бы, вѣдь, за ногами!» Нѣмка, торопливо надѣвая чепчикъ, который всегда лежалъ возлѣ нея для непредвидимыхъ случаевъ, отвѣчала:

— «Што тълить, Богь не перебирай!»

«Ну, а гдѣ же эта талибеевой дѣвка Софья Нѣмчинова?»

— Завсь, отвъчала Софи.

«Гдѣ это тебя угораздило выучиться по французски, а? нлутъ дѣвка, должно быть; нутка поговори по французски». Софи молчала.

«Видно не умѣешь? Ну, что-нибудь скажи-ка». Софи молчала, п ея глаза были полны слезъ.

«Фрау мадамъ, что-умъетъ она по вашему?»

— «Ошень карашо!»

«Не бось, какъ ты въ присядку плясать... а что вы этакъ настоички не держите? я что-то прозябъ». — «Нѣтъ», отвѣчала нѣмка.

«Плохо,—ну, а это яблоко чье»? (яблоко это принесла знакомая нъмка старухъ, и она его берегла съ середы, чтобъ закусить имъ Лютеровъ переводъ Библіп въ воскресенье).

— «Мой», отвъчала нъмка.

«Ну, гдѣ тебѣ его раскусить; вотъ, вѣдь, француженка эта съѣстъ у тебя; ну, прощайте», сказалъ комиссаръ, не сдѣлавшій, впрочемъ, никакого вреда, п, очень довольный собою, отправился, съ яблокомъ въ карманѣ, къ швеямъ.

Томно, страшно тянулись пни: несчастная дъвушка потухала въ этой грязи, оскорбляемая, унижаемая всёмъ и всёми. Не будь она такъ развита, можетъ быть, она сладила бы какъ-нибудь, нашлась бы и туть: но воспитание раскрыло въ ней столько нѣжнаго, деликатнаго, что на нее все окружающее дѣйствовало въ десять разъ сильнъе. Были минуты такого изнуренія, такого онѣмѣнія силь, что она, вѣроятно, упала бы глубоко, если-бъ не была защищена отъ паденія той грязной, будничной наружностью, подъ которой порокъ выказывался ей. Были минуты, въ которыя мысль принять яду приходила ей въ голову, она хотъла себя казнить, чтобъ выйти изъ безвыходнаго положенія; она темь ближе была къ отчаянію, что не могла себя ни въ чемъ упрекнуть. Были минуты, въ которыя злоба, ненависть наполняли и ея сердце, въ одну изъ такихъ минутъ она схватила перо и, сама не давая себф отчета, что дфлаетъ и для чего, написала, въ какомъ-то торжественномъ гнфвф, письмо къ Бельтову. Вотъ оно:

«Я не хочу удерживаться болье. Пишу къ вамъ, пишу для того только, чтобъ имфть последнюю, можеть быть, радость въ моей жизни--высказать вамъ все презрѣнье мое; я охотно заплачу последнія конейки, назначенныя на хлебь, за отправку письма: я буду жить мыслію, что вы прочтете его. Ваши поступки со мной, въ дом'в вашей тетушли, показали мн въ васъ безправственнаго шалуна, бездушнаго развратника; я еще, разумъется по неопытности, извиняла васъ дурнымъ воспитаніемъ, кругомъ, въ которомъ вы тратите свою жизнь; я извиняла васъ тёмъ, что мое странное положение вызывало васъ на это. Но клевета, которой вы повершили ихъ, гнусная, подлая клевета, показала мнъ всю міру вашей низости; даже не злодійства, а именно низости. Вы ръшились, изъ мести, изъ мелкаго самолюбія, погубить беззащитную дъвушку, налгать на нее. И за что? развѣ вы въ самомъ дълъ любили меня? Спресите свою совъсть... Радуйтесь же, вамъ удалось: вашъ пріятель очернилъ меня здёсь, меня выгнали, на меня смотръли съ презръніемъ, мон ущи полжны были слышать страшныя оскорбленія; наконець, я безь куска хліба; а потому, выслушайте отъ меня, что я сама гнушаюсь вами, потому что вы мелкій, презрѣнный человѣкъ; выслушайте это отъ горничной вашей тетки... Какъ мнѣ пріятно думать о безсильно злобѣ, о бѣшенствѣ, съ которыми вы будете читать эти строки; с., вѣдь, вы слывете за порядочнаго человѣка и, вѣроятно, послали бы пулю въ лобъ, если-бъ кто-нибудь изъ равныхъ вамъ сказаль это».

Бельтовъ, проигравшійся въ пухъ, раздосадованный, валялся передъ чаемъ на диванъ, когда посланный въ городъ привезъ ему, между прочимъ, и письмо отъ Софи. Онъ не зналъ ея руки; слъдовательно, не догадался по адресу, отъ кого письмо, и прехладнокровно развернулъ его. При первой строчкъ, рука его задрожала, но онъ дочиталъ письмо спокойно, всталъ, бережно сложиль его, потомь сёль на стуль и обернулся головою къ окну. Два часа просидътъ онъ въ этомъ положеніи; чай давно уже стоялъ на столъ, и онъ не хлебнулъ еще изъ своего стакана; трубка его давнымъ давно докурилась, и онъ не кликалъ казачка. Когда онъ совершенно пришелъ въ себя, ему показалось, что онъ вынесъ тяжкую, долгую болёзнь; онъ чувствовалъ слабость въ ногахъ, усталь, шумъ въ ушахъ, провелъ раза два рукою по головъ, какъ будто щупая, тутъ ли она; ему было холодно, онь быль бледень, какь полотно, пошель въ спальню, выслаль человъка и бросился на диванъ совсъмъ одътый... Черезъ часъ онъ позвонилъ; а на другой день, чъмъ свъть, по плотинъ возлъ мельницъ простучала дорожная коляска, и четверка сильныхъ лошадей дружно подымала ее въ гору; мельники, вышедшіе посмотръть, спрашивали: куда это нашъ баринъ? «Да, говорятъ, въ Питеръ», отвъчалъ одинъ изъ нихъ.

А черезъ полгода, по тому же мосту простучала та же коляска назадъ: баринъ воротился съ барыней. Сельскій священникъ, ходившій поздравить Бельтова съ прібздомъ, возвратясь домой, съ величайшимъ удивленіемъ говорилъ женъ:

— «Попадья! а, попадья! знаешь, кто барыня? воть что была учительница-то, бывшая у Въры Васильевны отъ засъкинской барыни. Чудны дъла твои, Господи!»

— Что? не бось, отвъчала попадья—приступу нътъ?

— «Нѣтъ, не хочу лжесвидѣтельствовать», отвъчалъ священникъ:—«словоохотна и благодушна.»

Тетка, двое сутокъ сердившаяся на Бельтова за его первый пассажъ съгувернанткой, цёлую жизнь не могла забыть несноснаго брака своего племянника и умерла, не пуская его на глаза; она часто говорила, что дожила бы до ста лётъ, если-бъ этотъ несчастный случай не лишилъ ее сна и аппетита. Видно, ужъ таково устройство женскаго сердца: сама Бельтова не могла изжить страшнаго опыта, перенесеннаго ею до замужества. Есть

нъжныя и тонкія организаціи, которыя именно отъ нѣжности не перерываются горемъ, уступають сму, повидимому, но искажаются, но принимають въ себя глубоко, ужасно глубоко испытанное, и въ продолжение всей жизни не могутъ отиблаться отъ его вліянія: выстраланный опыть остается какой то злотворной матеріей, живеть въ крови, въ самой жизни, и то скроется, то вдругъ обнаруживается съ страшной силой и разлагаетъ тъло. Именно такая натура была у Бельтовой: ни любовь мужа, ни благотворное вліяніе на него, которое было очевилно, не могли исторгнуть горькаго начала изъ души ея. Она боялась людей. была задумчива, дика, сосредоточна въ себъ, была худа, блъдна, недовърчива, все чего-то боялась, любила плакать и силъла молча цалые часы на балконъ. Года черезъ три, Бельтовъ простудился и дней въ иять умеръ: тъло его, изнуренное прежней жизнію, не иміто достаточных силь побіднть горячку. Онъ умеръ въ безнамятствъ. Софи поднесла къ нему двухъ-годоваго мальчика: онъ дико взглянулъ на него, и испуганный ребенокъ потянулся рученками въ другую комнату. Ударъ этотъ спльно потрясъ Бельтову, она любила этого человъка за его страстное раскаяніе: она узнала благородную натуру изъ за грязи, которая къ ней пристала отъ окружавшаго ее; она оцъпила его перемъну; она любила даже иногда возвращавшіеся порывы буйнаго разгула и дикой необузданности избалованнаго нрава.

Со всей своей бользненной раздражительностью обратилась Бельтова, послѣ потери мужа, на воспитаніе малютки; если онъ дурно спаль ночью, —она вовсе не спала; если онъ казался нездоровымъ, она была больна; словомъ, она имъ жила, имъ дышала, была его нянькой, кормилицей, люлькой, лошадкой. Но и эта судорожная любовь къ сыну была смѣшана у ней съ чернымъ началомъ ея души. Мысль, что она потеряетъ ребенка, почти безпрестанно вплеталась въ мечты ея: она часто съ отчаяніемъ смотрібла на спящаго младенца, и когда онъ былъ очень покоень, робко подносила трепещущую руку къ устамъ его. Но, вопреки внутреннему голосу матери, какъ она называла бол взненныя грезы свои, ребенокъ росъ и, если не былъ очень здоровъ, то не былъ и боленъ. Она не выбажала изъ Бълаго Поля; мальчикъ былъ совершенно одинъ, и, какъ всъ одинокія дъти, развился не по лътамъ; впрочемъ, и помимо внъшнихъ вліяній, въ ребенкъ были видимы несомнънные признаки ръзкихъ способностей и энергическаго характера. Настало время ученія. Бельтова отправилась съ сыномъ въ Москву, для того, чтобъ найти гувернера. У ея покойнаго мужа жилъ въ Москвъ дядя, оригиналь большой руки, ненавидимый всей роднею, капризный холостякъ, преумный, препраздный и въ самомъ дёлё пренесносный своей своеобычностью. Не могу никакъ удержаться, чтобъ не сказать ивсколько словь и объ этомъ чудакт; меня ужасно занимають біографін всёхъ встрёчающихся мнё лиць. Кажется, будто жизнь людей обыкновенныхъ однообразна,—это только кажется: ничего на свътъ нътъ оригинальнъе и разнообразнъе біографій неизвъстныхъ людей, особенно тамъ, гдъ нътъ двухъ человъкъ, свизанныхъ одной общей идеей, гдъ всякій молодецъ развивается на своей образень, безъ задней мысли, пуда вынесеть! Если-бъ можно было, я составилъ бы біографическій словарь, по азбучному порядку, всёхъ, напримёръ, брёющихъ бороду, сначала: для краткости можно бы выпустить жизнеописанія ученыхъ, литераторовъ, художниковъ, отличившихся воиновъ, государственныхъ людей, вообще людей, занятыхъ общими интересами: ихъ жизнь однообразна, скучна; успъхи, таланты, гоненія, рукоплесканія, кабинетная жизнь, или жизнь внѣ дома, смерть на полдорогъ, бъдность въ старости, -- ничего своего, а все принадлежащее эпохъ. Вотъ поэтому-то я нисколько пе избъгаю біографическихъ отступленій: они раскрывають всю роскошь мірозданія. Желающій можеть пропускать эти эпизоды, но съ тёмъ вмъсть онъ пропустить и повъсть. Итакъ, біографія дядюшки.

Отенъ его-степной помещикъ, прикидывавшійся всегда раззореннымъ, ходилъ всю жизнь въ нагольномъ тулупъ, самъ ъздилъ продавать въ губернский городъ рожь, овесъ и гречиху, при чемъ, какъ водится, обмъривалъ и былъ за это проучаемъ иногда. Однако сына своего, несмотря на разстроенныя обстоятельства, онъ отправиль въ гвардію, и съ нимъ двѣ четверки лошадей. двухъ поваровъ, камердинера, лакея-гиганта и четырехъ мальчиковъ какъ hors d'œuvre. Въ Петербугъ находили, что молодой офицеръ прекрасно воспитанъ, то есть, имъетъ восемь лошадей, не меньшее число людей, двухъ поваровъ и пр. Все шло сначала какъ по маслу; будущій дядюшка сдёлался гвардіи поручикомъ, какъ вдругъ произошло важное событие въ его жизни: оно случилось въ семидесятыхъ годахъ. Въ прекрасный зимній день ему вздумалось прокатиться въ саняхъ по Невскому; за Аничковымъ мостомъ его нагнали большія сани тройкой, поравнялись съ нимъ, хотъли обогнать. Вы знаете сердце русскаго, —поручикъ закричалъ кучеру: «пошелъ!»—«Пошелъ!» закричалъ львинымъ голосомъ высокій, статный мужчина, закутанный въ медв'єжью шубу и сидъвшій въ другихъ саняхъ. Поручикъ обогналъ. Задыхаясь отъ бъщенства, при поворотъ, господинъ въ медвъжьей шубъ. державшій въ рукт аранникъ, вытянулъ имъ поручичьяго кучера, нарочно зац'янивъ за барина:

«Не перегонять, бестія!»

[—] Что вы съ ума сошли? спросилъ офицеръ.

[«]Я хочу отучить вашего дурака, чтобъ онъ не смълъ перегонять».

- Я ему велѣлъ скакать, милостивый государь, и вы понимаете, что я слишкомъ уважаю мундиръ моей государыни, чтобъ позволить запятнать его.
 - «Ба. какой молодинкъ,—да кто ты такой?»
- Да ты кто? спросиль поручикь, готовый броситься на него, какъ звъръ. Статный мужчина посмотрълъ на него съ презръніемъ, показаль ему свой кулакъ величиною съ слоновью ногу и сказаль:

«Въ рукопашный? Нѣтъ, братъ, отстанешь!» потомъ закричалъ кучеру: «пошель!»

— Ступай за нимъ! вскрикнулъ поручикъ своему кучеру, прибавивъ слова два, до того всѣмъ извѣстныя, что ихъ и въ лексиконъ не помѣщаютъ.

Офицеръ дъйствительно узналь, гдъ живетъ этотъ господинъ, однако илти къ нему раздумалъ; онъ ръшился написать ему письмо и началъ было довольно удачно; но ему какъ нарочно помъщали: его потребовалъ генералъ, велълъ за что-то арестовать; потомъ его перевели въ гарнизонъ Орской кръпости. Орская кръпость вся стоить на яшмъ и на благороднъйшихъ горнокаменныхъ породахъ, тъмъ не менъе тамъ очень скучно. Офицеръ взялъ съ собою экземпляръ кребильоновыхъ романовъ и съ такимъ назидательнымъ чтеніемъ отправился на границу Уфимской провинціи. Года черезъ три его опять перевели въ гвардію, но онъ возвратился изъ Орской крупости, по замівчанію знакомыхъ, нізсколько поврежденнымъ; вышелъ въ отставку, потомъ убхалъ въ имбніе, доставшееся ему после раззореннаго отда, который, кряхтя и ходя въ нагольномъ тулунь, для одного, впрочемъ, скругленія, прикупилъ двё тысячи пятьсоть душь окольныхъ крестьянъ. Тамъ новый пом'бщикъ поссорился со всеми родными и убхаль въ чужіе края. Года три пропадаль онь въ англійскихъ университетахъ, потомъ объбхаль почти всю Европу, минуя Австрію и Испанію, которыхъ не любилъ; былъ въ связяхъ со всфии знаменитостями, просиживалъ вечера съ Боннетомъ, толкуя объ органической жизни, и цѣлыя ночи съ Бомарше, толкуя о его процессахъ за бокалами вина; дружески переписывался съ Шлёцеромъ, который тогда издавалъ свою знаменитую газету; фздилъ нарочно въ Эрменонвиль къ угасавшему Жанъ-Жаку и гордо пробхалъ мимо Фернея, не заъзжая къ Вольтеру. Возвратившись лътъ черезъ десять изъ путешествія, онъ попробовалъ пожить въ Петербургъ. Ему пришлась не по вкусу петербургская жизнь, и онъ поселился въ Москвъ. Сначала находилъ онъ все страннымъ: потомъ всъ его стали находить страннымъ. И въ самомъ дёлё, онъ какъ-то потерялся... сталъ читать одей медицинскія книги, видимо опускался, становился озлобленнымъ, капризнымъ, чужимъ всему и ко всему охладъвинимъ...

Къ нему пріфхаль около того времени, какъ Бельтова искала гувернера, рекомендованный однимъ изъ его швейцарскихъ друзей женевецъ, желавшій опредълиться въ воспитатели. Женевецъ быль человикъ леть сорока, седой, худощавый, съ юными голубыми глазами и съ строгимъ благочестіемь въ лицъ. Онъ былъ человъкъ отлично образованный, славно зналъ по латынъ, былъ хорошій ботаникъ. Въ дълъ воспитанія мечтатель съ юношескою добросовъстностью видълъ исполнение долга, страшную отвътственность; онъ изучилъ всевозможные трактаты о воспитании и педагогіи отъ Эмиля и Песталоцци до Базедова и Николаи; одного онъ не вычиталъ въ этихъ книгахъ, что важнъйшее дъло воспитанія состоить въ приспособленіи молодаго ума къ окружающему, что воспитание должно быть климатологическое, что для каждой эпохи, такъ, какъ для каждой страны, еще болѣе для каждаго сословія, а, можеть быть, и для каждой семьи должно быть свое воспитание. Этого женевецъ не могъ знать: онъ сердце человъческое изучать по Плутарху; онъ зналъ современность по Мальтъ-Брёну и статистикамъ; онъ въ сорокъ лѣтъ безъ слезъ не умълъ читать «Донъ-Карлоса», върилъ въ полноту самоотверженія, не могъ простить Наполеону, что онъ не освободиль Корсики и возилъ съ собой портретъ Паоли. Правда, и онъ имътъ горькія столкновенія съ міромъ практическимъ: бъдность, неудачи кръпко давили его, но онъ отъ этого еще менъе узналъ дъйствительность. Печальный бродилъ онъ по чуднымъ берегамъ своего озера, негодующій на свою судьбу, негодующій на Европу, н вдругъ воображение указало ему на стверъ-на новую страну, которая, какъ Австралія въ физическомъ отношеніи, представляла въ нравственномъ что-то слагающееся въ огромныхъ размърахъ, что-то иное, новое, возникающее... Женевецъ купилъ себъ исторію Левека, прочелъ вольтерова «Петра І-го» и черезъ недълю пошенъ пъшкомъ въ Петербургъ. При дъвственномъ взглядъ своемъ на міръ, женевецъ имълъ какую-то незыблемую основательность, даже своего рода холодность. Холодный мечтатель не исправимъ: онъ останется на въки въковъ ребенкомъ.

Бельтова познакомилась съ нимъ у дяди; она едва смъла надъяться найти идеальнаго гувернера, который сложился у ней въ фантазіи, но женевець былъ близокъ къ нему. Она предложила ему (по тогдашнему очень много) четыре тысячи рублей въ годъ. Женевецъ сказалъ, что ему надобно только тысячу двъсти, и согласился. Бельтова изъявила свое удивленіе; но онъ хладнокровно возразилъ, что онъ съ нея беретъ не менѣе и не болѣе, какъ сколько нужно, что онъ составилъ себѣ бюджетъ въ восемьсотъ рублей, да на непредвидънные случаи полагаетъ четыреста; «къ роскоши,—прибавилъ онъ,—я пріучаться не хочу, а собирать каниталь считаю дъломъ безчестнымъ». И этому-то безумцу ввърила мать воспитаніе будущаго обладателя Бълымъ Полемъ съ пустошами и угодьями.

Одинъ старикъ-дядя, всёмъ на свётё недовольный, былъ и этимъ неловоленъ, и въ то время, какъ Бельтова была вит себя отъ радости, дядя (одинъ изъ всъхъ родныхъ ея мужа, принимавшій ее), говориль: «Охъ. Софья, Софья, все ты взлоръ дѣлаешь; женевець остался бы преспокойно у меня чтепомъ: что онъ за гувернеръ? За нимъ надо еще няньку, да и что онъ сделаетъ изъ Володи? Швейцариа. Такъ ужъ лучше, по моему, просто тебѣ везти его куда-нибудь въ Вевей или Лозанну»... Софья видъла въ этихъ словахъ эгонзмъ старика, полюбившаго женевца, и, не желая сертить его, молчала; а потомъ, спустя недъли двъ, отправилась съ Володей и съ юношею въ сорокъ лътъ назадъ въ свое имъніе. Ивло было весною. Женевець началь съ того, что развиль въ Володь страсть къ ботаникъ. Съ ранняго утра отправлялись они гербаризпровать и живой разговоръ замъняль скучные уроки: всякій предметь, попавшійся на глаза, быль темою, и Володя съ чрезвычайнымъ вниманіемъ слушалъ объясненія женевца. Послъ объда сидъли, обыкновенно, на балконъ, выходившемъ въ садъ, и женевецъ разсказывалъ біографіи великихъ людей, дальнія путешествія, иногда позволяль въ видъ награды читать самому Володъ Плутарха... И время шло и два выбора прошли и пришло время везти Володю въ университетъ. Матери что-то не хотълось: она въ эти годы болъе сдружилась съ кроткимъ счастіемъ, нежели во всю жизнь; ей было такъ хорошо въ этой безмятежной, созвучной жизни, что она боялась всякой перемыны; она такъ привыкла и такъ любила ждать на своемъ завътномъ балкоп'в Володю съ дальнихъ прогулокъ; она такъ наслаждалась имъ, когда онъ, отирая потъ съ своего лица, раскраснъвшійся и веселый, бросадся къ ней на шею: она съ такою гордостью, съ такимъ наслажденіемъ смотрѣла на него, что готова была заплакать. Въ самомъ дёлё, видъ Володи имёлъ въ себё что-то трогательное: онъ былъ такъ благороденъ, что-то такое прямое, открытое, дов' ручивое было въ немъ, что смотрящему на него становилось отрадно для себя и грустно за него. Какъ очевидно было, что на этого стройнаго, гибкаго отрока съ свётлымъ взоромъ, жизнь не клала ни одного ярма, что чувство страха не посъщало этой груди, что ложь не переходила чрезъ эти уста, что онъ совсёмъ не зналъ, что ожидаетъ его съ лётами. Жененевець привязался къ своему ученику почти такъ же, какъ мать; онъ иногда, долго смотривъ на него, опускалъ глаза, полные слезъ, думая: «и моя жизнь не погибла; довольно, довольно сознанія, что я способствовалъ развитію такого юноши,—меня со-

въсть не упрекаетъ».

Какъ все перепутано, какъ все странно на бѣломъ свѣтѣ... Нп мать, ни воспитатель, разумбется, не думали, сколько горечи, сколько искуса они приготовляють Володъ этимъ отщельническимъ воспитаніемъ. Они сділали все, чтобъ онъ не понималь дъйствительности; они рачительно завъсили отъ него, что дълается на съромъ свътъ, и, вмъсто горькаго посвященія въ жизнь, передали ему блестящіе идеалы; вийсто того, чтобъ вести на рынокъ и показать жадную нестройность толпы, мечущейся за леньгами, они привели его на прекрасный балеть и увфрили ребенка, что эта грація, что это музыкальное сочетаніе движеній съ звуками-обыкновенная жизнь; они приготовили своего рода нравственнаго Каспара Гаузера... Таковъ былъ и женевецъ: но какая разница онъ-бъдный ученый, готовый переходить съ края на край земного шара, съ небольшой котомкой, съ портретомъ Паоли, съ своими запов'єдными мечтами и съ привычкой довольствоваться малымъ, съ презръніемъ къ роскоши и съ готовностію на трудъ; что же въ немъ было схожаго съ назначеніемъ Володи и съ его общественнымъ положеніемъ...

Но какъ ни сдружилась Бельтова съ своей отшельнической жизнію, какъ ни было больно ей оторваться отъ тихаго Бѣлаго Поля, она рѣшилась ѣхать въ Москву. Пріѣхавъ, Бельтова повезла Володю тотчасъ къ дядѣ. Старикъ былъ очень слабъ; она застала его полулежащаго въ вольтеровскихъ креслахъ; ноги были закутаны шалями изъ козьяго пуху; сѣдые и рѣдкіе волосы длинными космами падали на халатъ; на глазахъ былъ зеленый зонтикъ.

— «Ну, ты чёмъ занимаеться, Владиміръ Петровичъ?» — спросиль старикъ.

- Готовлюсь въ университетъ, дѣдушка, отвѣчалъ юноша.
- «Въ какой?»
- Въ московскій.
- «Что тамъ дълать? Я самъ знакомъ былъ съ Матеемъ, да п съ Геймомъ, ну, а все кажется бы, въ Оксфордъ лучше; а, Софья? право лучше. А по какой части хочешь ты идти?»

— По юридической, дъдушка.

Дъдушка сдълалъ презрительную мину.

- «Ну, чтожъ! выучишь le droit naturel, le droit des gens, le code de Justinien, потомъ что?»
- Потомъ,—отвѣчала мать, улыбаясь,—потомъ въ Петербургъ служить.
- «Ха, ха, ха! очень нужно знать Pandectes и всѣ эти glosses! Или, можеть быть, вы, Владиміръ Петровичь, въ жюрискон-

сульты собпраетесь? Ха, ха, ха! въ адвокаты? Дѣлайте, какъ знаете, а по моему, братецъ, пди по дохтурской части; я тебъ библіотеку свою оставлю—большая библіотека; я ее держалъ въ хорошемъ порядкѣ и все новое выписывалъ; медицинская наука теперь лучше всѣхъ; ну, вѣдь ближнему будешь полезенъ, изъ за денегъ тебъ лечить стыдно, даромъ будешь лечить, — а совъсть-то спокойна».

Зная упорность митьній старика, ни Володя, ни мать его не

возражали; но женевецъ не вытериълъ и сказалъ:

«Конечно, поприще врача прекрасно, но я не знаю, отчего же Владиміру Петровичу не идти по гражданской части, когда всъми средствами стараются, чтобъ образованные молодые люди

шли въ службу».

- «Онъ выучитъ васъ, да кстати и меня; а я былъ въ Женевъ, когда онъ еще ползалъ на четверенькахъ, отвъчалъ капризный старикъ, мой милый citoyen de Geneve! А знаете ли вы, —прибавилъ онъ, смягчившись— у пасъ въ какомъ-то переводъ изъ Жанъ-Жака было написано: «Сочиненіе женевскаго млышанина Руссо»—и старикъ закашлялъ отъ смъха. Онъ тысячу разъ разсказывалъ объ этомъ переводъ, и ему всегда казалось, что его слушатель еще не знаетъ. «Володя, продолжалъ уже онъ въ веселомъ расположеніи: —не пишешь ли ты виршей?»
- Пробовать, дъдушка,—отвъчать Владимірь, покраснъвь. — «Пожалуйста, не пишп, любезный другь; одни пустые люди пишуть впрши: въдь, это futilité; надобно дъломъ заниматься».

Только последній советь Владиміръ и исполниль: стиховъ онъ не писалъ. Вступилъ же онъ не въ оксфордскій университеть, а въ московскій, и не по медицинской части, а но этикополитической. Университеть довершиль воспитание Бельтова. Досель онъ быль одинъ; теперь попаль въ шумную семью товарищества. Здёсь онъ узналъ свой удёльный в'ёсъ, здёсь онъ встретиль горячую симпатію юныхъ друзей и, раскрытый ко всему прекрасному, сталъ усердно заниматься науками. Самъ деканъ не быль равнодущенъ къ нему, находя, что ему не достаетъ только покороче волосъ и побольше почтительнаго благонравія, чтобъ быть отличнымъ студентомъ. Кончился, наконецъ, и курсъ, раздали на актъ юношамъ подорожныя въ жизнь. Бельтова стала собираться въ Петербургъ; сына она хотъла отправить впередъ, потомъ, устроивъ свои дъла, ъхать за нимъ. Прежде, нежели университетскіе друзья разбрелись по бѣлу-свѣту, собрались они у Бельтова, наканун'й его отъбзда; всё были еще полны надеждъ; будущность раскрывала свои объятія, манила отчасти какъ Клеопатра, предоставляя себф право казни за восторги. Молодые люди чертили себѣ колоссальные планы. Никто не подозрѣвалъ, что одинъ кончитъ свое поприще начальникомъ отдъленія, проигрывающимъ все достояніе свое въ преферансъ; другой зачерствъетъ въ провинціальной жизни и будетъ себя чувствовать нездоровымъ, когда не выпьетъ трехъ рюмокъ зорной настойки передъ объдомъ и не проспитъ трехъ часовъ послъ объда; третій—на такомъ мъстъ, на которомъ онъ будетъ сердиться, что юноши—не старики, что они не похожи на его экзекутора ни манерами, ни нравственностью, а все пустые мечтатели. Въ ушахъ Бельтова сще раздавалисъ клятвы въ дружбъ, въ върности мечтамъ, звуки чокающихся бокаловъ,—какъ женевецъ въ дорожномъ платъъ бу-

пилъ его.

Мечтатель мой съ восторгомъ вхалъ въ Петербургъ. Двятельность, дъятельность!.. Тамъ-то совершатся его надежды, тамъ-то онь разовьеть свои проекты, тамъ узнаеть действительность,въ этомъ средоточін, изъ котораго выходить вся новая жизнь Россін! Москва, пумаль онъ. совершила свой подвигь, свела въ себя, какъ въ горячее серпце, всъ вены государства; она бъется за него: но Петербургъ. Петербургъ---это мозгъ Россіп, онъ вверху, около него ледяной и гранитный черепъ, -- это возмужалая мысль имперіи... И рядъ подобныхъ мыслей и метафоръ тянулся въ его головъ безъ малъйшей натяжки и съ святою искренностью. А дилижансь, между тымь, катился отъ станціи до станціи и везъ, сверхъ нашихъ мечтателей, отставного конно-егерскаго полковника, съ сълыми усами, архангельского чиновника, возившого съ собою окаментлую шамаю, ромашку на случай разстройства здоровья и лакея, одётаго въ плёшивый тулупъ, да свётло-бёлокураго юнкера, у котораго щеки были темнте волосъ, и который гордился своимъ вліяніемъ па кондуктора. Для Владиміра всѣ эти лица имъли новость, праздинчный видъ. Онъ добродушно смъялся надъ архангелогородцемъ, когда тотъ его угощалъ ископаемой шамаей, и улыбался надъ его неловкостью, когда онъ такъ долго шарилъ въ кошелькъ, чтобъ найти приличную монету отдать за порцію щей, что нетерибливый полковникъ платилъ за него; онъ не могъ довольно нарадоваться, что архангельскій житель говориль полковнику: «ваше превосходительство», и что полковникъ не могь ръшительно выразить ни одной мысли, не начавъ и не окончивъ ее словами, далеко не столь почтительными; ему даже быль смёшонъ неуклюжій старичекъ, служившій у архангельскаго пробзжаго, или, правильное, не умправицій у него въ услужении и переплетенный въ cuir russe, несмотря на холодъ. Юноша на все смотрълъ добродушно!

Прібздъ его въ Петербургъ и первое появленіе въ свѣтѣ было чрезвычайно успѣшно. Онъ имѣлъ рекомендательное письмо къ одной старой дѣвицѣ съ вѣсомъ; старая дѣвица, увидя прекрас-

наго собой юношу, рѣшила, что онъ очень образованъ и внаетъ прекрасно языки. Ея братъ былъ начальникомъ какой-то отрасли гражданскаго управленія. Она представила ему Владиміра. Тотъ поговорилъ съ нимъ нѣсколько минутъ и, въ самомъ дѣлѣ, былъ пораженъ его простою рѣчью, его многостороннимъ образованіемъ и нылкимъ, иламеннымъ умомъ. Онъ ему предложилъ записать его въ свою канцелярію, самъ поручилъ директору обратить на него особенное вниманіе. Владиміръ принялся рьяно за дѣла; ему понравилась бюрократія, разсматриваемая сквозь призму 19 лѣтъ, — бюрократія хлопотливая, занятая, съ нумерами и регистратурой, съ озабоченнымъ видомъ и кипами бумагъ подъ рукой; онъ видѣлъ въ канцеляріи мельничное колесо, которое заставляеть двигаться массы людей, разбросанныхъ на половинѣ земнаго шара;

онъ все поэтизировалъ.

Прібхала, наконецъ, и Бельтова въ Петербургъ. Женевецъ все еще жиль у нихъ; въ последнее время онъ порывался несколько разъ оставить Бельтовыхъ, но не могъ; онъ такъ сжился съ этимъ семействомъ, такъ много удблилъ своему Владиміру и такъ глубоко уважаль его мать, что ему трудно было переступить за порогъ ихъ дома; онъ становился угрюмъ, боролся съ собою, —онъ, какъ мы сказали, былъ холодный мечтатель и, следовательно, неисправимъ. Какъ-то, вечеромъ, вскоръ послъ опредъленія Владиміра на службу маленькая семья сиділа у кампна. Молодой Бельтовъ, у котораго и самолюбіе было развито, и юное сознаніе сплъ и готовности, —мечталъ о будущемъ; у него въ головъ бродили разныя надежды, планы, упованія; онъ мечталь объ обширной гражданской дёятельности, о томъ, какъ онъ посвятитъ всю жизнь ей... И среди этихъ увлеченій будущимъ, нылкій юноша вдругь бросился на шею къ женевцу: «И какъ много обязанъ я тебъ, пстинный добрый другь нашъ, сказалъ онъ ему, въ томъ, что я сдълался человъкомъ-тебъ и моей матери я обязанъ всъмъ, встмъ: ты больше для меня, нежели родной отецъ!» Женевецъ закрылъ рукою глаза, потомъ посмотрълъ на мать, на сына, хотъль что-то сказать, —ничего не сказалъ, всталь и вышелъ вонъ изъ комнаты.

Пришедши въ свой небольшой кабинеть, женевецъ заперъ дверь, вытащилъ изъ-подъ дивана свой пыльный чемоданчикъ, обтеръ его и началъ укладывать свои сокровища, съ любовью пересматривая ихъ. Эти сокровища обличали какъ-то въявь всю безконечную нѣжность этого человѣка. У него хранился бережно завернутый портфель; портфель этотъ, криво и косо сдѣланный, склеилъ для женевца 12-лѣтній Володя къ новому году, тайкомъ отъ него, ночью; сверху онъ налѣпилъ выдранный изъ какой-то книги портретъ Вашингтона. Далѣе у него хранился акварель-

ный портретъ 14-изтияго Вололи: онъ былъ нарисованъ съ открытой шеей, загорьлый, съ пробивающейся мыслію въ глазахъ и съ тъмъ видомъ, полнымъ упованія, надежды, который у него сохранился еще лъть на иять, а потомъ мелькалъ въ ръдкія минуты, какъ солнце въ Петербургъ, какъ что-то прошедшее, неприлаживающееся ко всёмъ прочимъ чертамъ. Еще были у него серебряные математическіе инструменты, подаренные ему старикомъ дядей: его же огромная черенаховая табакерка, на которой было вытиснено изображение праздника при федерализации, принадлежавшая старику и лежавшая всегда возлѣ него: ее женевецъ купилъ послъ смерти старика у его камердинера. Уложивъ вст эти драгоцтности и еще кой-какія въ томъ же родт, онъ отобраль книгь иятнадцать, остальныя отложиль. Потомъ, раннимъ утромъ, вышель онъ осторожно въ Морскую, призвалъ ломового извозчика, вынесъ съ человъкомъ чемоданчикъ и книги и поручилъ ему сказать, что онъ повхаль дня на два за городъ, надъль длинный сюртукъ, взялъ трость и зонтикъ, пожалъ руку лакею, который служиль при немъ, и пошель пъшкомъ съ извозчикомъ; крупныя слезы капали у него на сюртукъ.

Дня черезъ два, Бельтова, чрезвычайно удивленная поъздкой женевца, но ожидавшая его возвращенія, получила слъдующее

письмо:

«Милостивая государыня! Вчера вечеромъ я получилъ полную награду за труды мои. Повърьте, эта минута останется мит памятною; она проводитъ меня до конца жизни, какъ утъщеніе, какъ мое оправданіе въ моихъ собственныхъ глазахъ, — но съ тъмъ вмъстъ она торжественно заключила мое дъло, она ясно показала, что учитель долженъ оставить уже собственному развитю воспитанника, что онъ уже скоръе можетъ повредить свочмъ вліяніемъ самобытности, нежели быть полезнымъ. Человъкъ долженъ цълую жизнь воспитываться; но есть эпоха, послъ которой его не должно воспитывать. Да и что я могу сдълать теперь для вашего сына,—онъ опередилъ меня.

«Давно собирался я оставить вашь домь; но моя слабость мѣшала мнѣ,—мѣшала мнѣ любовь къ вашему сыну; если-бъ я не бѣжалъ теперь, я никогда бы не съумѣлъ исполнить этотъ долгъ, возлагаемый на меня честью. Вы знаете мои правила: я не могъ ужъ и потому остаться, что считаю унизительнымъ даромъ ѣсть чужой хлѣбъ и, не трудясь, брать ваши деньги на удовлетвореніе своихъ нуждъ. Итакъ, вы видите, что мнѣ слѣдовало оставить вашъ домъ. Разстанемся друзьями, и не будемъ

болфе говорить объ этомъ.

«Когда вы получите это письмо, я буду по дорогъ въ Финляндію; оттуда я намъренъ отправиться въ Швецію; буду путе-

шествовать, пока проживу свои деньги, потомъ примусь опять за

работу: силы у меня еще найдутся.

Въ послъднее время я не бралъ у васъ денегъ; не дълайте опыта мнъ ихъ пересылать, а отдайте половину человъку, который ходилъ за мною, а половину прочимъ слугамъ, которымъ прошу васъ дружески отъ меня поклониться: я подчасъ доставлять много хлопотъ этимъ бъднымъ людямъ. Оставшіяся книги приметь отъ меня въ подарокъ Вольдемаръ. Къ нему я ими у особо

«Прощайте, прощайте, благороднѣйшая и глубоко уважаемая женщина! Да будетъ благословеніе на домѣ вашемъ; впрочемъ, чего желать вамъ, имѣя такого сына? Желаю одного: чтобъ вы п онъ жили долго, очень долго. Вашу руку».

Письмо его къ Владиміру начиналось такъ:

«Не совёты учителя, а совёты друга будуть послёднею рёчью къ тебё, Вольдемаръ. Ты знаешь, у меня нёть родныхъ, которые мнё были бы близки, да нёть и постороннихъ ближе тебя, несмотря на безмёрное разстояніе лёть. На твоемъ челё покоятся мои упованія и надежды. Я стяжалъ, Вольдемаръ, право дать тебё дружескій совёть, уёзжая. Иди дорогой, которую тебё указала судьба: она прекрасна; я не боюсь неудачъ и несчастій: они найдуть въ тебё отпоръ и силу, — я боюсь успёховъ и счастія, ты стоишь на скользкой дорогь. Служи дёлу, но смотри, чтобъ не вышло обратнаго: чтобъ дёло не служило тебе. Не смёшай, Вольдемаръ, средства съ цёлью. Одна любовь къ ближнему, одна любовь къ благу должна быть цёлью. Если любовь изсякнетъ въ душё твоей, ты ничего не сдёлаешь, ты будешь обманывать себя: только любовь созидаетъ прочное и живое, а гордость безплодна, потому что ей ничего не нужно внё себя...»

Всего письма не перепишешь: оно въ три почтовые листа.

Такъ исчезъ въ жизни Влациміра этотъ свътлый и добрый образъ восинтателя. — «Гдъ-то нашъ monsieur Joseph?» — часто говаривали мать или сынъ, и они оба задумывались, и въ воображеніи у нихъ носилась его кроткая, спокойная и нъсколько монашеская фигура, въ своемъ длинномъ дорожномъ сюртукъ, пропадающая за гордыми и независимыми норвежскими горами.

VII.

Азаисъ доказывалъ (очень скучно), что все въ мірѣ наверстывается; разумѣется, чтобъ вѣрить этому, не надобно быть слишкомъ строгимъ и придираться къ мелочамъ. Основываясь на этомъ, мы просимъ нозволенія, въ видѣ возмездія за потерю мсьё Жозефа, представить Осппа Евсѣпча. Оснпъ Евсѣпчъ былъ худенькой, сѣденькій старичекъ, лѣтъ шестидесяти, въ потертомъ

вицъ-мундирномъ фракъ, всегла съ довольнымъ видомъ и красными шеками. Онъ тринцать лъть управляль четвертымъ столомъ въ той канцелярін, жула поступиль Бельтовъ; пятнадцать лътъ до того времени онъ провелъ на пворъ канцелярін въ почетномъ званій швейнарова сына, дававшемь ему аристократическій въсъ передъ дътьми встхь сторожей. Этотъ человькъ всего лучше могь служить доказательствомь, что не дальнія путешествія, не университетскія лекцій, не широкій кругь ціятельности образують человіка: онъ быль чрезвычайно опытень въ пълахъ, въ знаніи людей и къ тому же такой дипломать, что, конечно, не отсталь бы ни отъ Остермана, ни отъ Талейрана. Отъ природы сметливый, онъ имълъ полную возможность и досугь развить и воснитать свой практическій умъ, сидя съ иятналиати лътъ въ канцеляріи; ему не мъшали ни науки, ни чтеніе, ни фразы, ни несбыточныя теоріи, которыми мы пзъ кингъ развращаемъ воображеніе, ни блескъ свътской жизни, ни поэтическія фантазіп. Онъ, переписывая набъло бумаги и разсматривая въ то же время люней начерно, пріобръталь ежелневно болже и болже глубокое знаніе изйствительности, втриое пониманіе окружающаго и върный такть поведенія, спокойно провенній его межцу канцелярскихъ омутовъ, неказистыхъ, но тинистыхъ и чрезвычайно опасныхъ. Мънялись главные начальники, мънялись директоры, мелькали начальники отдъленія, а столоначальникъ четвертаго стола оставался тотъ же, и всф его любили, потому что онъ былъ необходимъ и потому что онъ тщательно скрываль это. Веб отличали его и отдавали ему справедливость, потому что онъ старался совершенно стереть себя; онъ все зналь, все поминль по пъламъ канцелярін; у него справлялись какъ въ архивъ, и онъ не лъзъ впередъ: ему предлагалъ директоръ мъсто начальника отдъленія, — онъ остался въренъ четвертому столу: его хотёли представить къ кресту, — онъ на два года отдалилъ отъ себя крестъ, прося заменить его годовымъ окладомъ жалованья, единственно потому, что столоначальникъ третьяго стола могъ позавидовать ему. Таковъ онъ былъ во всемъ: никогда никто изъ постороннихъ не жаловался на его лихоимство; никогда никто изъ его сослуживцевъ не подозрѣвалъ его въ безкорыстіи. Вы можете себ' представить, сколько разныхъ дълъ прошло въ продолженіи сорока ияти лътъ черезъ его руки, и никогда никакое дъло не вывело Осипа Евсъича изъ себя, не привело въ негодованіе, не лишило веселаго расположенія духа. Онъ отроду не переходилъ мысленно отъ дълопроизводства на бумагѣ къ дѣйствительному существованію обстоятельствъ и лиць; онъ на дѣла смотрѣлъ какъ-то отвлеченно, какъ на сцѣпленіе большого числа отношеній, сообщеній, рапортовъ и запросовъ, въ извъстномъ порядкъ расположенныхъ и по извъстнымъ правиламъ разросшихся. Продолжая дёло въ своемъ столё, или сообщая ему движение, какъ говорять романтики-столоначальники, онъ имѣлъ въ виду, само собою разумѣется, одну очистку своего стола, и оканчивалъ дъло у себя, какъ удобите было: справкой въ Красноярскъ, которая не могла ближе двухъ лътъ возвратиться, или заготовленіемъ окончательнаго ръшенія, или-это онъ любилъ всего больше-пересылкою дёла въ другую канцелярію, гдѣ уже другой столоначальникъ оканчиваль по тѣмъ же правиламъ этотъ гранцасьянсъ. Онъ до того былъ безпристрастенъ, что вовсе не думалъ, напримъръ, что могутъ быть лица, которыя пойдуть по міру прежде, нежели воротится справка изъ Красноярска, — Өемида должна быть слъпа...

Воть этоть-то почтеннъйшій сослуживець Владиміра, мъсяца черезъ три послъ его опредъленія, окончивъ пересмотръ перебъленныхъ бумагъ и задавъ новаго корма перьямъ четырехъ писцовъ, вынулъ свою серебряную табакерку съ чернью, поднесъ

ее помощнику и прибавилъ:

— «Попробуйте-ка, Василій Васильевичъ, ворошатинскаго;

пріятель привезъ изъ Владиміра».

— Славный табакъ! возразилъ помощникъ чрезъ минуту, которую опъ провелъ между жизнью и смертью, нюхнувъ большую щепотку сухой свътло-зеленой пыли.

— «Что? забираетъ-съ?» сказалъ столоначальникъ, очень довольный тымь, что попортиль носовую перепонку своего помощника.

- А что, Осипъ Евебевичъ, спросилъ помощникъ, болбе п болъе приходившій въ себя послъ паралича отъ ворошатинскаго табаку и утиравшій синимъ платкомъ глаза, носъ, лобъ и даже подбородокъ:--я васъ еще не спросилъ, какъ вамъ понравился вновь опредёляющійся молодой челов'єкъ, изъ Москвы, что-ли?
 - «Малой, кажется, бойкій, говорять, его саму опредёлиль».
- Да-съ, точно, малой умный, отнять нельзя. Я вчера слышалъ, онъ спорилъ съ Павлъ Павлычемъ; тотъ, знаете, не любитъ возраженій, а Бельтовъ этотъ не въ карманъ за словами ходить. Павла Павлычь началь сердиться: я, говорить, вамъ говорю такъ и такъ, —а Бельтовъ: да помилуйте, вотъ такъ и такъ. Порадовался я, со стороны глядя. Послъ, какъ Бельтовъ отошель, Павла Павлычъ, знаете, пріятелю-то своему говоритъ: «воть и держи въ порядкъ канцелярію, какъ этакихъ насажаютъ; да я, впрочемъ, самъ университетъ; я его отучу своевольничать; мит дъла итъть, черезъ кого опредъленъ».

— Эки дъла! сказалъ столоначальникъ, на котораго разсказъ, новидимому, сдълалъ тоже радостное впечатлъніе: «такъ кто бы

ни опредълить, все равно? Ай-да Павлычъ»!

— «Ну, а что жъ, онъ ему въ глаза-то сказалъ это»?

— Нътъ, подъ конецъ онъ что-то по французски только ввернулъ. Признаюсь, какъ я посмотрълъ на эту выходку, такъ знаете, что пришло въ голову: вотъ мы съ Осипомъ Евсънчемъ будемъ все еще также сидъть на перекоски у четвертаго стола, а онъ переъдетъ вонъ тула,—онъ показалъ на директорскую.

— «Эхъ, голова, голова ты, Василій Васильниъ!» возразиль столоначальникъ:— «умнъй тебя, кажется, вътрехъ столахъ не найдешь, а и ты мелко плаваешь. Я, братъ, на своемъ въку довольно видълъ матеріала, изъ котораго выходятъ настоящіе дъловые люди, да правители канцеляріи; въ этомъ фертикъ на волосъ нътъ того, что нужно. Что уменъ-то, да рьянъ,—а на долго ли хватитъ и ума и ръяности его? Хочешь объ закладъ на бутылку полыннаго, что онъ до столоначальника не дотянетъ?»

— Пари держать не хочу, а я вчера читаль бумаги, имъ писанныя: прекрасно пишеть, ей-Богу; только въ «Сынъ Отечества»

удавалось читать такой штиль.

— «Видълъ и я, у меня главъ то, правда, и старъ, ну, да не совсемъ однако и слепъ: формы не знаетъ, да кабы не зналъ по глупости, по непривычкъ-не велика бъда; когда-нибудь научился бы, а то изъ ума не знаетъ: у него изъ ибла выхолитъ поманъ, а главное-то между палецъ идетъ; отъ кого сообщено, достодолжное ли теченіе, кому переслать, ему все равно; это называется но-русски вершки хватать; а спроси его-онъ насъ, стариковъ, пожалуй, поучитъ. Нътъ, брать, дъльнаго малаго сразу узнаешь; я сначала самъ было-подумаль: «кажется, не глупъ; можеть, будеть путь; ну, не привыкъ къ службъ, обойлется, привыкнеть», а теперь, три мъсяца всякій день ходить и со всякой дрянью носится, горячится, точно отца роднаго, прости Господи, рфжуть, а онъ спасаеть,—ну, куда уйдешь съ этимъ? Видали мы такихъ молодцовъ, не онъ первый, не онъ последній, всё они только на словахъ выдажають: я-де злоупотребленія искореню, а самъ не знаетъ, какія злоунотребленія и въ чемъ они... Покричить, покричить, да такъ на всю жизнь чиновникомъ безъ всяких в поручений и останется, а съ дуру надъ нами будеть подсмънвать: это-де канцелярскіе, чернорабочіе; а чернорабочіето все и дълають; въ гражданскую палату просьбу по своему ділу надо подать—не ум'єсть, давай чернорабочаго... Трутни!» заключиль краснор вчивый столоначальникъ.

Въ самомъ дёлё, столоначальникъ разсуждалъ основательно, и событія какъ нарочно торопились ему на подтвержденіе. Бельтовъ вскорѣ охладёлъ къ занятіямъ канцеляріи, сталъ раздражителенъ, небреженъ. Управлявшій канцеляріею призывалъ его къ себѣ и говорилъ, какъ нѣжная мать,—не помогло. Его призваль министръ и говорилъ, какъ нежный отецъ, такъ трогательно и такъ хорошо, что экзекуторъ, случившійся при этомъ. прослезился, не смотря на то, что его не легко было тронуть, что знали всв сторожа, служившие подъ его начальствомъ, —и это не помогло. Бельтовъ началъ до того забываться, что оскорблялся именно этимъ родственнымъ участіемъ ностороннихъ, именно этими отеческими желаніями его исправить. Словомъ, черезъ три мѣсяца послѣ краснорѣчиваго разговора столоначальника съ его помощникомъ, Осниъ Евстичъ гитвался на одного писца, что то недоумъвавшаго, и приговаривалъ: «Да когда же ты научишься? Ну, сколько разъ приходилось тебъ инсать, и всякій пазъ для тебя всю черновую составь; все отъ того, что не служба на умѣ, а въ сюртучкѣ по Адмиралтейскому бульвару шляться за мамзелями,—не разъ видалъ... Ну, пиши: «И для свободнаго въ Россійской Имперін прожитія данъ ему, отставному губернскому секретарю Бельтову, сей наспорть, за надлежащимъ подписаніемъ и съ прпложеніемъ казенной печати... Кончилъ? давай!» И онъ бормоталъ: «изъ двор... душъ... увзда... курсъ... штатъ 18 сентября... православнаго... хорошо!» И внизу Осипъ Евебичъ скрбпилъ мельчайшимъ шрифтомъ на самомъ краешкъ листа. «Поди же, снеси сейчасъ и подай, а когда подпишетъ, въ регистратуру; вотъ печать поставили бы съ боку, видишь, гдф написано: «у сего наспорта». Онъ завтра за нимъ придетъ».

— «Что, Василій Васильичь, не хотѣли на полынную-то держать, а воть оно теперь бы изашли. Нечего сказать, проворенъ»!

— Ровно четырнадцать лёть и шесть м'всяцевь не дослужиль до пряжки», остроумно зам'ётилъ помощникъ. Столоначальникъ и за нимъ весь столъ его расхохотались.

Этимъ олимпическимъ смѣхомъ окончилось служебное поприще добраго пріятеля нашего, Владиміра Петровича Бельтова. Это было ровно за десять лѣтъ до того знаменитаго дня, когда въ то самое время, какъ у Вѣры Васильевны за столомъ подавали пудингъ, раздался колокольчикъ, Максимъ Ивановичъ не вытериѣлъ и побѣжалъ къ окну.

Что же дёлалъ Бельтовъ въ продолжение этихъ десяти лътъ?

Все, или почти все.

Что онъ сдълалъ?

Ничего, или почти ничего.

Кто не знаетъ старинной примъты, что дъти, слишкомъ много объщающія, ръдко много исполняють. Отчего это: Неужели силы у человъка развиваются въ такомъ опредъленномъ количествъ, что если онъ потребятся въ молодости, такъ къ совершеннолътію ничего не останется? Вопросъ премудреный. Я его пе умъю и не хочу разръшать; но думаю, что ръшеніе его па-

добно скорѣе искать въ атмосферѣ, въ окружающемъ, въ вліяніяхъ и соприкосновеніяхъ, нежели въ какомъ-нибудь нелѣномъ испхическомъ устройствѣ человѣка. Какъ бы то ни было, но примѣта исполнилась надъ головой Бельтова. Бельтовъ съ юношеской запальчивостью и съ неосновательностью мечтателя сердился на обстоятельства и съ внутреннимъ ужасомъ доходилъ во всемъ почти до того же нослѣдствія, которое такъ краснорѣчиво выразилъ Осипъ Евсѣичъ: «а дѣлаютъ-то одип чернорабочіе», и дѣлаютъ оттого, что барсуки и фараоновы мыши не умѣютъ ничего дѣлать и приносятъ на жертву человѣчеству одно желаніе, одно стремленіе, часто благородное, по почти всегда безилодное...

Однимъ, если не прекраснымъ, то совершенно петербургскимъ утромъ, утромъ, въ которомъ соединились неудобства всёхъ четырехъ временъ года, мокрый снёгъ хлесталъ въ окна и въ одиннадцать часовъ утра еще не разсвётало, а, кажется, ужъ смеркалось,—сидёла Бельтова у того же камина, у котораго была послёдняя бесёда съ женевцемъ; Владиміръ лежалъ на кушеткъ съ книгою въ рукѣ, которую читалъ и не читалъ, наконецъ рѣшительно не читалъ, а положилъ на столъ и, долго просидѣвъ въ лѣнивой залумчивости, сказалъ:

«Маменька, знаете, что мнѣ въ голову пришло: вѣдь, дядюшка-то былъ правъ, совѣтуя мнѣ идти по медицинской части. Какъ вы думаете, не заняться ли мнѣ медициной?»

— Какъ хочешь, мой другь, отвъчала съ обычной кротостью Бельтова;—одно страшно, Володя, надобно будеть тебъ подходить къ больнымъ, а есть прилицивыя бользан.

«Маменька», сказаль Владиміръ, нѣжно взявь ея руку и улыбаясь: «какой вы эгонсть, преисполненный любви! Жить, сложа руки, конечно, безопаснѣе; но я полагаю, что на бездѣйствіе надобно такъ же имѣть призваніе, какъ и на дѣятельность. Не всякій, кто захочеть, можеть ничего не дѣлать».

— Попробуй, — отвічала мать.

На другой день утромъ Владиміръ явился въ залѣ анатомическаго театра и съ тѣмъ усердіемъ, съ которымъ принялся за дѣла канцеляріи, сталъ заниматься анатоміей. Но онъ въ эту аудиторію не принесъ той чистой любви къ наукѣ, которая его сопровождала въ Московскомъ университетѣ; какъ онъ ни обманывалъ себя, но медицина была для него мѣстомъ бѣгства; онъ въ нее шелъ отъ неудачъ, шелъ отъ скуки, отъ нечего дѣлать; много легло уже разстоянія между веселымъ студентомъ и отставнымъ чиновникомъ, дилетантомъ медицины. Одаренный быстрымъ умомъ, онъ очень скоро наткнулся въ новыхъ занятіяхъ своихъ на тѣ вопросы, на которые медицина учено мол-

чить, и отъ разрѣшенія которыхь зависить все остальное. Онть остановился передъ ними и хотѣль ихъ взять приступомъ, отчаянной храбростью мысли; онъ не обратилъ вниманія на то, что разрѣшенія эти бывають плодомъ долгихъ, постоянныхъ, неутомимыхъ трудовъ; на такіе труды у него не было способности, и онъ примѣтно охладѣлъ къ медицинѣ, особенно къ медикамъ; онъ въ нихъ нашелъ онять своихъ канцелярскихъ товарищей; ему хотѣлось, чтобъ они посвящали всю жизнь разрѣшенію вопросовъ, его занимавшихъ; ему хотѣлось, чтобъ они къ кровати больного подходили, какъ къ высшему священнодѣйствію, а имъ хотѣлось вечеромъ играть въ карты, а имъ хотѣлось практики а имъ было недосугъ.

«Нѣть, думаль Владимірь—нѣть, не хочу быть докторомъ! что я за безсовъстный человъкъ, что осмълюсь лечить больного при современной разноголосицъ во всъхъ физіологическихъ вопросахъ. Все практическое въ сторону! Что я за чиновникъ, что я

за ученый?—Я... я..., не смъю признаться, я—артисть!»

Срисовыя изображенія черепа, Бельтовъ догадался, что онъ художникъ. Вздумано, сдълано. Нижнія стекла у оконъ его кабинета завъсились непроницаемыми тканями: возлъ двухъ череповъ явилась небольшая Венера; вездѣ выросли, какъ изъ земли, гипсовыя головы съ выраженіемъ ужаса, стыда, ревности доблести, такъ, какъ ихъ понимаетъ ученое ваяніе, т. е. такъ, какъ эти страсти не являются въ натуръ. Владиміръ пересталъ стричь волосы и ходилъ цълое утро въ блузъ, этотъ костюмъ пролетарія ему сшилъ аристократъ портной на Невскомъ проспекть. Владиміръ сталь ходить всякую недьлю въ Эрмитажъ и усердно сидъть за мольбертомъ... Мать входила иногда на цыпочтахъ, боясь помъщать будущему Тиціану въ его занятіяхъ. Онъ начиналъ поговаривать объ Италіи и объ исторической картинъ въ современномъ и сильномъ вкусъ: онъ обдумывалъ встръчу Бирона, ъдущаго изъ Сибири, съ Минихомъ, ъдущимъ въ Спбирь; кругомъ зимній ландшафтъ, снѣгъ, кибитки и Волга...

Само собою разумѣется, что и живопись не совсѣмъ удовлетворила Бельтова: въ немъ не доставало довольства занятіемъ; внѣ его не доставало той артистической среды, того живого взаимодѣйствія и обмѣна, который поддерживаетъ художника. Ничто не вызывало его дѣятельности; она была вовсе не нужна и обусловливалась только его личнымъ желаніемъ. Но всего болѣе мѣшали ему прежнія мечты о службѣ, о гражданской дѣятельности. Ничто въ мірѣ не заманчиво такъ для пламенной натуры, какъ участіе въ текущихъ дѣлахъ, въ этой воочію совершающейся исторіи; кто допустилъ въ свою грудь мечты о такой дѣятельности, тотъ испортиль себя для всѣхъ другихъ областей;

тоть, чёмъ бы ни занимался, вездё будетъ гостемъ,—его безусловная область не тамъ: онъ внесетъ граждинскій споръ въ искусство, онъ мысль свою нарисуетъ, если будетъ живописецъ, пропостъ, если будетъ музыкантъ. Переходя въ другую сферу, онъ будетъ себя обманывать, такъ, какъ человёкъ, оставляющій свою родину, старается увёрить себя, что все равно, что его родина вездё, гдё онъ полезенъ,—старается,... а внутри его неотвязный голосъ зоветъ въ другое мъсто и напоминаетъ иныя пъсни, иную природу. Темно и отчетливо бродили эти мысли по душт Бельтова, и онъ съ завистью смотрёлъ на какого-нибудь германца, живущаго въ фортепьянахъ, счастливаго Бетховеномъ и изучающаго современность ех fontibus, т. е. по древнимъ писателямъ.

Къ тому же, длинные пстербургские вечера, въ которые нельзя рисовать... Эти вечера Владиміръ проводиль очень часто у одной вдовы, страстной любительницы живописи. Вдова была молода, хороша собой, со всей привлекательностью роскоши и высокаго образованія; у нея-то въ домѣ Владиміръ робко проговорилъ первое слово любви и смѣло подписалъ первый вексель на огромную сумму, проигранную имъ въ тотъ счастливый вечеръ, когда, онъ, разсѣянный и упоенный, игралъ, не обращая никакого вниманія на игру; да и до игры ли было? Противъ него сидѣла она, и онъ такъ ясно читалъ въ ея глазахъ любовь, вниманіе!

Не буду вамъ теперь разсказывать всю исторію моего героя: событія ея очень обыкповенны: но они какъ-то не совс'ємъ обыкновенно отражались въ его душъ. Скажу вкратцъ, что послъ опыта любви, на который потратилось много жизни, и посл'в несколькихъ векселей, на которые потратилось довольно много состоянія, онь убхаль въ чужіе кран-пскать разсбянья, искать впечатльній, занятій и проч.; а его мать, слабая и состарувшаяся не по льтамъ, поъхала въ Бълое-Поле поправлять бреши, сдъланныя векселями, да уплачивать годовыми заботами своими минутныя увлеченія сына, да копить новыя деньги, чтобъ Володя на чужой сторон'в ни въ чемъ не нуждался. Все это для Бельтовой было совстмъ не легко; она хотя любила сына, но не имъла тъхъ способностей, какъ засъкинская барыня, всегла готовая къ снисхожденію, всегда позволявшая себя обманывать не по небрежности, не по недогадкъ, а по какой-то нъжной деликатности, воспрещавшей ей обнаружить, что она видитъ истину. Крестьяне Бълаго-Поля молили Бога за свою барыню и платили оброкъ на славу. Бельтовъ писалъ часто къ матери, и тутъ бы вы могли увидъть, что есть другая любовь, которая не такъ горда, не такъ притязательна, чтобъ исключительно присвоивать себт это имя. по любовь, не охлаждающаяся ни летами, ни болезнями, которая и въ старыхъ летахъ дрожащими руками открываетъ письмо и

старыми глазами льетъ горькія слезы на дорогія строчки. Нисьма сына были для Бельтовой источникомъ жизни; они ее подкръпляли, тъшили, и она сто разъ перелистывала каждое письмо.

Л письма его были грустны, хотя и полны любви, хотя и много было утаено отъ слабаго сердца матери. Видно было, что скука сивлаеть молодого человъка, что роль зрителя, на которую обрекаетъ себя путешественникъ, стала надобдать ему: онъ досмотрълъ Европу, ему ничего не оставалось дълать: всъ возлъ были заняты, какъ обыкновенно люди дома бываютъ заняты; онъ увиділь себя гостемь, которому предлагають стуль, котораго осыпають въждивостью, но въ семейныя тайны не посвящають, которому, наконецъ, бываетъ пора идти къ себъ. Но при одномъ воспоминаніи петербургскихъ похожденій на Бельтова находила хандра, и онъ, не зная за чёмъ, перебзжалъ изъ Парижа въ Лондонъ. За нъсколько мъсяцевъ передъ прітудомъ Бельтова, мать получила отъ него письмо изъ Монцелье; онъ извъщалъ, что 'вдеть въ Швейцарію, что нісколько простудился въ Пиренейскихъ горахъ, и потому пробудеть еще дней пять въ Монпелье; объщать писать, когда вывдеть; о возвращени въ Россію ни слова. «Нъсколько простудился», и мать уже начала тревожиться п ждать письма съ дороги. Но проходитъ двъ недъли, — письма нътъ; проходитъ около мъсяца, письма нътъ. Бъдная женщина, она была лишена даже послъдняго утъщенія въ разлукъ — возможности писать съ достовърностью, что письмо дойдеть, и, не зная, дойдуть ли, для одного облегченія, послала два письма въ Парижъ confiées aux soins de l'ambassade Russe. Ложась спать, она всякій разъ приказывала Дунѣ пораньше отправить кучера верхомъ въ утвядный городъ справиться, нтъть ли письма, хотя она и очень хорошо знала, что почта приходить въ недёлю разъ. У ёздный почтмейстеръ былъ добрый старикъ, душею преданный Бельтовой; онъ всякій разъ приказывальей доложить, что инсемъньть, что какъ только будутъ, онъ самъ привезетъ или пришлетъ съ эстафетой, —и съ какимъ тупымъ горемъ слушала мать этотъ отвътъ, послъ тревожнаго ожиданія въ продолженіе нъсколькихъ часовъ! Мысль тхать самой начинала мелькать въ головт ея; она хотъла уже послать за сосъдомъ, отставнымъ артиллеріи капитаномъ, къ которому обращалась со всеми важными юридическими вопросами, напримъръ, о составлении учтиваго объяснения, почему нътъ запаснаго магазина, и т. п.; она хотъла теперь выспросить у него, гдъ беруть заграничные паспорты, въ казенной палать, или въ уъздномъ судъ... И тъмъ скучнъе шли дни ожиданія, что на двор'є была осень, что липы давно ножелтели, что сухой листь хрустель подъ ногами, что дни целые дождь шелъ будто нехотя, но безпрестанно. Какъ-то разъ подъ вечеръ, дфвушка, ходившая за Бельтовой, попросилась у нея идти ко всеношной.

«Ступай; да что такое завтра?»

— «Неужели вы изволили забыть, что завтра 17-е сентября, день вашего ангела, богомудрой Софіи и дщерей ся Любви, Въры и Надежды!»

«Ступай, Дуня, да помолись и объ Володѣ», сказала Бельтова, и слезы навернулись на глазахъ ея.

Человъкъ до ста лътъ — дитя, да если-бъ онъ и до интисотъ леть жиль, все быль бы одной стороной своего бытія дитя. И жаль, если-бъ онъ утратилъ эту сторону, она полна поэзіи. Что такое именины? Почему въ этотъ лень ярче чувствуется горе и ралость, нежели наканунь, нежели потомь? Не знаю почему, а оно такъ. Не только именины, а всякая головшина сильно потрясаеть душу, «Сегодня, кажется, 3-е марта», говорить одинь, боясь пропустить срокъ продажи имфнія съ публичнаго торга,-«3-е марта», да, 3-е марта, отвъчаетъ другой, и его дума ужъ за восемь лёть: онъ вспоминаеть первое свиданіе послів разлуки. онь вспоминаеть всф подробности и съ какимъ-то торжественнымь чувствомь прибавляеть: ровно восемь лёть! и онъ боится осквернить этотъ день, и онъ чувствуеть, что это праздникъ, и ему не приходить на мысль, что 13-е марта будеть ровно восемь лътъ и десять дней, и что всякій день своего рода годовщина. Такъ было съ Бельтовой. Мысль разлуки, мысль о томъ, что нътъ писемъ, стала горче, стала тягостите, при мысли, что Володя не придеть поздравить ее, что онъ, можеть быть, забудеть и тамъ ее поздравить... Она впадала въ задумчивую мечтательность, то воображенію ея представлялось, какъ, лътъ за нятнадцать, она въ завтрашній день нашла всю чайную комнату убранную цвътами; какъ Володя не пускалъ ее туда, обманывалъ: какъ она догадывалась, но скрыла отъ Володи; какъ мсьё Жозефъ усердно помогалъ Володъ дълать гирлянды; потомъ, ей представлялся Володя въ Монцелье, больной, на рукахъ жаднаго трактиршика, и тутъ она боядась дать волю воображенію идти далье, и торонилась утвшить себя тымь, что, можеть быть, мсьё Жозефъ съ нимъ встрътился тамъ и остался при немъ. Онъ такъ нъженъ, такъ добръ, такъ любитъ Володю, онъ за нимъ будетъ ходить, онъ строго исполнить приказы доктора, онъ будеть смотръть на него, когда онъ уснетъ. Да зачъмъ же Жозефъ въ Монпелье? Что же? Володя могь его выписать, какъ друга... Но... !! ей опять становилось невыносимо тяжело, и рядъ мрачныхъ картинъ, переплетенныхъ съ свътлыми воспоминаніями, тянулся въ душъ ея всю ночь.

На другой день разные хлопоты заняли и, насколько могли,

развлекали Бельтову. Съ ранняго утра передняя была полна аристократами Бѣлаго-Поля: староста стоялъ впереди въ синемъ кафтанъ и держалъ на огромномъ блюдъ страшной величины куличъ. за которымъ онъ посылалъ десятскаго въ убзлный горолъ: куличь этоть издаваль запахъ коноплянаго масла, готовый остановить всякое дерзновенное покушение на цълость его; около него, по бортику блюда, лежали апельсины и куриныя яйца; между красивыми и величавыми головами нашихъ бородачей, одинъ только земскій отличался костюмомъ и видомъ: онъ не только быль обрить, но и поръзань въ нъсколькихъ мъстахъ, оттого, что рука его (не знаю, отъ многаго ли письма, или оттого, что онъ никогда не встръчалъ прелестное сельское утро, не выпивши на мірской счеть въ питейномъ дом' кружечки сивухи) им' вла престранное обыкновение трястись, что ему значительно мъщало отчетливо нюхать табакъ и бриться; на немъ былъ длинный синій сюртукъ и плисовые панталоны въ сапоги, т. е. онъ напоминалъ собою извъстнаго звъря въ Австраліи, орниторинха, въ которомъ преотвратительно соединены звърь, птица и амфибій. На дворѣ жалобно кричалъ время отъ времени юный теленокъ, поенный шесть недъль молокомъ: это была гекатомба, которую тоже приготовили крестьяне барынт для дня менинт. Бельтова не умьла съ достодолжной важностью дълать выходы; она это знала сама и всегда какъ-то терялась въ этихъ случаяхъ. Послъ выхода-объдня; служили молебенъ; въ самое это время пріъхалъ артиллерійскій канитанъ; на этотъ разъ онъ явился не юрисконсультомъ, а въ прежнемъ воинственномъ видъ. Когда шли изъ церкви домой, Бельтова была очень испугана какимъ-то трескомъ. Сосёдъ привезъ съ собою въкибитке маленькой фальконеть и велълъ выстрелить изъ него въ ознаменование радости; лягавая собака Бельтовой, случившаяся при этомъ, какъ глуное животнос, никакъ не могла понять, чтобъ можно было безъ цъли стрълять, и изстрадалась вся, бъгая и отыскивая зайца или тетерева. Воротились домой. Бельтова вельна подать закуску, -- вдругъ раздался звонкій колокольчикъ, и отличнфищая почтовая тройка летъла черезъ мостъ, загнула за гору, исчезла, и, минуты двъ спустя, показалась вблизи; ямщикъ правилъ прямо къ господскому дому и, лихо подъбхавъ, мастерски осадиль лошадей у подъезда. Самъ старикъ почтмейстеръ (это былъ онъ), вылезая изъ авбитки, не вытеривлъ, чтобъ не сказать ямщику:

 Ай-да, Богдашка, собака, истинно собака, можно чести принцеать.

Вогдашка былъ, разумбется, доволенъ комилиментами почтмејстера, **щурилъ** правый глазъ и поправлялъ шляну, праговаривъя: — «Ужъ если намъ вашему благородію не съусердствовать, такъ ужъ это хуже не надо».

Съ торжественно таинственнымъ видомъ, съ просасывающимся довольствомъ во всъхъ чертахъ, вошелъ почтмейстеръ въ гости-

ную и отправился учинить цёлованіе руки.

— Честь имѣю, матушка Софья Алексѣевна, поздравить съ высокоторжественнымъ днемъ ангела и желаю вамъ добраго здравія... Здравствуйте, Спиридонъ Васильевичъ! (это относилось къ капитану).

«Василью Логиновичу наше почтеніе», отвѣчаль артиллеристь. Василій Логиновичь прополжаль:

— А я-съ для вашего ангела осмѣлился подарочекъ привезти вамъ; не взыщите, чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ; подарокъ не дорогой—всего портовыхъ и страховыхъ рубль пятнадцать копеекъ, да вѣсовыхъ восемь гривенъ. Вотъ вамъ, матушка, два письмеца отъ Владиміра Петровича: одно, кажись, изъ Монтраше, а другое изъ Женевы, по штемислю судя. Простите, матушка, грѣшной человѣкъ, недѣльки двѣ первое письмецо, да и другое деньковъ пять, поберегъ ихъ къ нынѣшнему дню; право, только и думалъ: утѣшу, молъ, Софью Алексѣевну для тезоименитства, такъ утѣшу.

Софыя Алекствена поступила съ почтмейстеромъ точно такъ, какъ знаменитый актеръ Офренъ съ тераменовымъ разсказомъ: она не слушала всей части ръчи послъ того, какъ онъ вынулъ письма; она судорожной рукой сняла пакетъ, хотъла было тутъ читать, встала и вышла вонъ.

Почтмейстеръ быль очень доволенъ, что чуть не убилъ Бельтову сначала горемъ, потомъ радостью; онъ такъ добродушно потираль себѣ руки, такъ вкушалъ успѣхъ сюрприза, что нѣтъ въ мірѣ жестокаго сердца, которое нашло бы въ себѣ силы упрекнуть его за эту шутку и которое бы не предложило ему закусить. На этотъ разъ, послѣднее сдѣлалъ сосѣдъ:

«Вотъ, Василій Логинычъ, оконтузили письмомъ-то, одолжили, нечего сказать! Однако, знаете, пока Софья Алексфевна бесъдуеть съ письмами, оно, въдь, не мъшаетъ и употребить; я очень рано встаю».

Они употребили.

Одно письмо было съ дороги, другое изъ Женевы. Оно оканчивалось слъдующими строками: «Эта встръча, любезная маменька, этотъ разговоръ потрясли меня,—и-я, какъ уже писалъ въ началъ, ръшился возвратиться и начать службу по выборамъ. Завтра я ъду отсюда, пробуду съ мъсяцъ на берегахъ Рейна, оттуда прямо въ Таурогенъ, не останавливаясь... Германія мнъ страшно надоъла. Въ Петербургъ, въ Москвъ, я только повидаюсь съ знакомыми и тотчасъ къвамъ, милая матушка, къвамъ въ Белое Поле».

— «Дуня, Дуня, подай поскорйе календарь! Ахъ, Боже мой, ты гдъ его ищешь, какая безтолковая! вотъ онъ». И Бельтова бросилась сама за календаремъ и начала отсчитывать, разсчитывать, переводить числа съ новаго стиля на старый, съ стараго на новый, и при всемъ этомъ она уже обдумывала, какъ учредить комнату... Ничего не забыла, кромъ гостей своихъ; по счастю, они сами вспомнили о себъ и употребили по второй.

— Странное и престранное дѣло! продолжалъ предсѣдатель: кажется, жизнь резиденціи представляетъ столько увеселительныхъ разсѣяній, что молодому человѣку, особенно безбѣдному, трудно соскучиться.

— «Что пълать! отвъчалъ Бельтовъ съ улыбкой», и всталъ,

чтобъ проститься.

— А, впрочемъ, поживите и съ нами. Если не встрътите здъсь того блеска и образованія, то, навърное, найдете добрыхъ и простыхъ людей, которые гостепріимно примутъ васъ въ средъ своихъ мирныхъ семействъ.

«Это ужъ конечно-съ, прибавилъ развязный совътникъ съ Анной въ петлицъ: нашъ городокъ-съ, чего другого нътъ, а на

счеть гостепрінмства Москвы уголокъ-съ!»

— «Я въ этомъ увъренъ», сказалъ Бельтовъ, откланиваясь.

часть вторая.

I.

Вы знаете уже сильную и продолжительную сенсацію, которую произведъ Бельтовъ на почтенныхъ жителей NN: позвольте же сказать и о сенсаціи, которую произвель городъ на почтеннаго Бельтова. Онъ остановился въ гостининъ «Кересбергь». названной такъ, вброятно, не въ отличіе отъ пругихъ гостиницъ, потому что она одна и существовала въ городѣ, но скорѣе изъ уваженія къ городу, который вовсе не существовалъ. Гостиница эта была належда и отчаяние всёхъ медкихъ гражданскихъ чиновниковъ въ NN, утъшительница въ скорбяхъ и мъсто разгула въ радостяхъ. Направо отъ входа, вѣчно на одномъ мѣстѣ, стояль безстрастный хозяинь за конторкой и перецъ нимъ его приказчикъ въ бѣлой рубашкѣ, съ окладистой бородой и съ отчаяннымъ проборомъ противъ лѣваго глаза: въ этой конторкъ хоронилось, въ первыя числа мъсяца, больше половины жалованья, полученнаго всеми столоначальниками, ихъ помошниками и помощниками ихъ номощниковъ (секретари рѣдко ходили, по крайней мъръ, на свой счетъ: съ секретарства, у чиновниковъ къ страсти получать присовокупляется страсть хранить, — они тълаются консерваторами). Хозяинъ серьезно и важно пощелкиваль на счетахъ; проклятая конторка приподнимала свою верхнюю доску, поглощала синенькія и цілковые, выбрасывая за нихъ гривенники, пятаки и конейки, потомъ щелкала ключемъ. и деньги были схоронены. Только въ двухъ случаяхъ притворялась она мертвою, когда къ ея страшной загородкъ являлся Яковъ Потапычъ-частный приставъ, разумбется, для того, чтобъ отдать свой долгъ... Иногда забзжали въ гостиницу и совътники поиграть на бильярдь, выпить пуншу, откупорить одну, другую бутылку, словомъ, погулять на холостую ногу, потихоньку оть супруги (холостыхъ совътниковъ такъ же не бываетъ, какъ женатыхъ аббатовъ); для достиженія послёдняго, они недёли двё

разсказывали направо и налѣво о томъ, какъ кутнули. Мелкіе чиновники, при появленіи такихъ сановниковъ, прятали трубки свои за спину (но такъ, чтобъ было замѣтно, ибо дѣло состояло не въ томъ, чтобъ спрятать трубку, но чтобъ показать достодолжное уваженіе), низко кланялись и, выражая мимикой большое смущеніе, уходили въ другія комнаты, даже не окончивши партіи на бильярдѣ, на бильярдѣ, на которомъ, въ часы досужіе отъ картъ, корнетъ Дрягаловъ удивлялъ поразительно смѣлыми шарами и невъроятными клопштосами.

Содержатель, разбогатъвшій крестьянинъ изъ подгороднаго села, зналъ, что такое Бельтовъ и какое имъньице у него, а потому онъ тотчасъ ръшился отдать ему одну изъ лучшихъ комнатъ трактира; комната эта только давалась особамъ важнымъ, генераламъ, откупщикамъ, и потому повель его въдругія. Другія были до такой степени черны и гадки, что, когда хозяпнъ привель Бельтова въ ту, которую назначилъ, и замътилъ: «Кабы эта была не проходная, я бы съ нашимъ удовольствіемъ», —тогда Бельтовъ сталъ съ жаромъ убъждать, чтобъ онъ уступилъ ему ее; содержатель, тронутый его красноръчіемъ, согласился, и цъну взяль не обидную себъ. Учтивость къ Бельтову усугубилъ почтенный содержатель грубостью всёмъ прочимь посётителямъ. Комната была д'вйствительно проходная; онъ заперъ дверь и отръзалъ парадное сообщение между залой и бильярдной, предоставивъ желающимъ ходить черезъ кухню. Большая часть посттителей молча подверглась этому испытанію, такъ, какъ прежде подвергалась всёмъ прочимъ испытаніямъ, которыми судьба считала за нужное награждать ихъ; впрочемъ, нашлись и такіе, которые явно кричали противъ грубо пристрастнаго поступка содержателя. Одинъ засъдатель, лътъ десять тому назадъ служившій въ военной службъ, собирался сломить кій объ сцину хозяина и до того оскорблялся, что логически присовокуплялъ къ ряду энергическихъ выраженій: «Я самъ дворянинъ; ну, чортъ его возьми, отдалъ бы генералу какому-нибудь,—что тутъ дёлать станешь, — а то молокососу, видите, изъ Парижа прівхаль; да позвольте спросить, чты я хуже его, я самъ дворянинъ, старшій въ родъ, медаль 1812...» — Да полно ты, полно, горячая голова, говорилъ ему кориетъ Дрягаловъ, имъвиній свои виды на счеть Бельтова. Какъ бы то ни было, но хозяинъ, молча и отшучиваясь, съ апатической твердостью, съ уступчивой непреклонностью русскаго купца, поставиль на своемъ. Комната, до которой достигнулъ Бельтовъ съ оскорблениемъ щекотливаго point d'honneur многихъ, могла, впрочемъ, нравиться только послъ четырехъ ужасныхъ нумеровъ, которыми ловко застращалъ хозяинъ

прітзжаго; въ сущности она была грязна, неудобна и время отъ

времени наполнялась запахомъ подожженаго масла, который, переплетаясь съ постоянной табачной атмосферой, составлялъ нъчто такое, что могло бы произвесть тошноту у иного эскимоса, взделъяннаго на тухлой рыбъ.

Первая суета прівзда улеглась. Каретныя вещи, сакъ, шкатулка были принесены; и за всѣми тяжестями явился, наконецъ, Григорій Ермолаевичъ, камердинеръ Бельтова, съ послѣдними остатками путевыхъ снадобій, съ кисетомъ, съ неполною бутылкой бордо, съ остатками фаршированной индѣйки; разложивъ все принесенное по столамъ и стульямъ, камердинеръ отправился выпить водки въ буфетъ, увѣряя буфетчика, что онъ въ Парижѣ привыкъ, по окончаніи всякаго дѣла, выпивать большой птиверъ (такъ, какъ въ Россіи начинаютъ тѣмъ же самымъ всѣ дѣла). Толпа чиновниковъ, желавшихъ изъ самаго источника узнать подробности о пріѣзжемъ, облѣпила его, но нельзя не замѣтить, что камердинеръ не очень поддавался и обращался съ ними немного свысока; онъ жилъ нѣсколько лѣтъ за границей и гордо сознавалъ это достопнство. Бельтовъ, между тѣмъ, былъ одинъ; поспдѣвши недолго на диванѣ, онъ подошелъ къ

окну, изъ котораго видно было полгорода.

Прелестный видь, представившійся глазамь его, быль общій, губернскій, форменный: плохо выкрашенная каланча, съ подвижнымъ полинейскимъ солдатомъ на верху, первая бросилась въ глаза: соборъ древней постройки виднёлся изъ за длиннаго и, разумбется, желтаго зданія присутственныхъ мѣстъ, воздвигнутаго въ извѣстномъ стилъ; потомъ двъ-три приходскія церкви, изъ которыхъ каждая представляла двъ-три эпохи архитектуры; древнія византійскія стіны украшались греческимъ порталомъ, или готическими окнами, или тъмъ и другимъ вмъстъ; потомъ домъ губернатора съ сънями, украшенными жандармомъ и двумя-тремя просителями изъ бородачей; наконецъ, обывательскіе дома, совершенно ть же, какъ во всъхъ нашихъ городахъ, съ чахоточными колоннами, прилъпленными къ самой стънъ, съ мезониномъ, необитаемымъ зимою отъ итальянскаго окна во всю стъну, съ флигелемъ, закопченнымъ, въ которомъ помъщается дворня, съ конюшней, въ которой хранятся лошади; дома эти, какъ водится, были куплены въжливыми кавалерами на дамскія имена; немного наискось, тянулся гостиный дворъ, бѣлый снаружи, темный внутри, въчно сырой и холодный; въ немъ можно было все найтиколенкоры, кисеи, пиконеты, —все, кром'в того, что нужно купить.

Нѣсколько тронутый картиной, развернувшейся передъ его глазами, Бельтовъ закурилъ сигару и сѣлъ у окна; на дворѣ была оттепель; оттепель всегда похожа на весну, вода капала съ крышъ, по улицамъ бѣжали ручьи талаго снѣга. Будто чувствовалось.

что вотъ, вотъ и ирирода оживетъ изъ-подо льда и снъга: но это такъ чувствовалось новичку, который суетно надъялся въ первыхъ числахъ февраля вилъть весич въ NN. Улица вилно знала, что опять придуть морозы, выоги, и что до 15/27 мая не будетъ признаковъ листа, — она не радовалась. Сонное бездъйствіе царило на ней; двъ-три грязныя бабы сидъли у стъны гостинаго двора съ ръзанью и грушей; онъ, пользуясь тъмъ, что нальцы не мерзнуть, вязали чулки, считали нетли и изръдка только обращались другъ къ другу, ковыряя въ зубахъ синчками, вздыхая, зъвая и остыняя роть свой знаменіемъ креста. Не далеко отъ нихъ старикъ купецъ, летъ подъ семьдесятъ, съ седою бородой, въ высокой собольей шапкъ, спаль сладкимъ сномъ на складномъ стулъ. Изръдка сидъльны перебъгали изъ лавки въ лавку; нъкоторые начинали запирать ихъ. Никто, кажется, ничего не покуналъ; даже почти никто не ходилъ по улицамъ; правда, прошелъ квартальный надзиратель, завернувшись въ шинель съ м'ьховымъ воротникомъ, быстрымъ дѣловымъ шагомъ, съ озабоченнымъ видомъ и съ бумагой, свернутой въ трубку; сидъльцы сняли почтительно шляны, но квартальному было не до нихъ. Потомъ провхала какая-то коляска странной формы, похожей на тыкву. изъ которой выръзана ровно четверть; тыкву эту везли четыре потертыхъ лошади; гайдукъ-форейторъ и сѣдой сморщивнійся кучеръ были одъты въ сермягахъ, а свади трясся лакей въ шинели съ галунами цвъту веръантикъ. Въ тыквъ сидъла другал тыква-добрый и толстый отецъ семейства и помъщикъ, съ какой-то спеціальной ландкартой изъ синихъ жиль на носу и щекахъ; воздъ неразрывная спутница его жизни, не нохожая на тыкву, а скорфе на стручекъ перцу, спрятанный въ какой-то тафтяной шалашъ, надётый вмёсто шлянки; противъ нихъ пріятный букеть изъ сельскихъ трехъ грацій, в роятно сладостная надежда маменьки и папеньки, сладостная, но псполняющая заботой ихъ нъжныя сердца. Протхалъ и этоть подвижной огородъ... Опять настала тишина... Вдругъ изъ переулка раздалась лихая русская пъсня и черезъ минуту трое бурлаковъ, въ коротенькихъ красныхъ рубашкахъ, съ разукрашенными шляпами, съ атлетическими формами и съ тою удалью въ лицъ, которую мы вей знаемъ, вышли, обнявшись, на улицу; у одного была балалайка, не столько для музыкальнаго тона, сколько для тона вообще; бурлакъ съ балалайкой едва удерживаль свои ноги; видно было по движенію плечей, какъ ему хочется пуститься въ присядку,—зачёмъ же дёло? А воть зачёмъ: изъ-нодъ земли, что ли, или изъ-нодъ арокъ гостинаго двора явился какой-то хожалый пли будочникъ съ палочкой въ рукахъ, и пъсня, разбудившая на минуту скучную дремоту, разомъ подрезанная, остановилась,

только балалайка показалъ налецъ будочнику; почтенный блюститель тишины гордо отправился подъ арку, какъ паукъ, возвращающійся въ темный уголъ, закусивши мушиными мозгами. Тутъ тишина еще болѣе водворилась; стало смеркаться.

Бельтовъ поглянълъ.—и ему спълалось страшно, его навило чугунной плитой, ему явнымъ образомъ недоставало воздуха для дыханія, можеть быть, оть подожженаго масла съ табакомъ, который проходиль изъ нижняго этажа. Онъ схватиль свой картузъ. надълъ пальто, заперъ за собой дверь и вышелъ на улицу. Городъ быль не великъ, и пройти его съ конца въ конепъ было не трудно. Та же пустота вездь; разумьется, ему и туть попадались койкакія липа: изнуренная работнина съ коромысломъ на плечь. босая и выбившаяся изъ силь, поднималась въ гору по гололедиць, задыхаясь и останавливаясь; толстой и привътливой наружности поиъ, въ домашнемъ подрясникъ, сидълъ передъ воротами и посматриваль на нее: попадались еще или поджарые подъячіе, или толстый сов'тникъ, — и все это было такъ засалено, дурно одъто, не отъ бълности, а отъ нечистоплотности, и все это шло съ такою претензіей, такъ непросто: титулярный совътникъ выступалъ такъ важно, какъ будто онъ сенаторъ римскій,... а коллежскій регистраторъ, будто онъ титулярный совѣтникъ; проскакалъ еще на санкахъ полипіймейстеръ; онъ съ величайшей граціей кланялся сов'ятникамь, показывая озабоченно на бумагу, вдътую между нетлицъ, -это значило, что онъ ъдетъ съ дневныма къ его превосходительству... Прошли, наконепъ, лвъ толетыя купчихи, кухарка несла за ними вѣники и узелокъ: красныя щеки доказывали, что въники не напрасно были взяты. Больше никакихъ встръчъ не было.

- Что значить эта тишина, думаль Бельтовь: глубокую туму или глубокое бездумье, грусть или, просто, лънь?—Не поймешь. И отчего миж эта тишина такъ тягостна, что хоть бы повернуть оглобли; отчего она меня такъ давитъ? Я люблю тишину. Тишина на морѣ, въ селѣ, даже просто на полѣ, на ровномъ вдаль идущемъ полъ, наполняетъ меня особымъ поэтическимъ благочестіемъ, проткимъ самозабвеніемъ. Здівсь не то. Тамъ — ширь съ этимъ безмолвіемъ, а здісь все давить, а здісь тісно, мелко, кругомъ жалкія строенія, еще бы развалины, а то подкрашенныя, подбъленныя,... да гдв же жители? Пристуномъ, что ли, взяли вчера этотъ городъ, моръ, что ли, посътилъ его? Ничего не бывало: жители дома, жители отдыхають; да когда же они трудились?.. И Бельтовъ невольно переносился въ шумныя, кипящія народомъ улицы другихъ городковъ, не столько патріархальныхъ и болѣе преданныхъ суетъ мірской. Онъ началъ ощущать ту неловкость, которая обыкновенно сопровождаеть ложный шагь въ жизни, особенно, когда мы начинаемъ сознавать его, и печально отправился домой. Когда онъ подходилъ къ гостиницъ, густой протяжный звукъ колокола раздался изъ подгороднаго монастыря; въ этомъ звонъ напомнилось Владиміру что-то давнопрошедшее, онъ пошелъ было на звонъ, но вдругъ улыбнулся, покачалъ головой и скорыми шагами отправился домой. Бъдная жертва въка, полнаго сомнъніемъ, не въ NN тебъ сыскать покой!

Черезъ нъсколько дней, которые Бельтовъ провелъ въ глубокомысленномъ чтенін и изученін Устава о пворянскихъ выборахъ, онъ, одбвшись съ нёкоторой тщательностью, отправился льдать нужньйшие визиты. Часа черезъ три онъ возвратился съ сильной головной болью, примътно разстроенный и утомленный, спросиль мятной воды я примочиль голову одеколономъ; одеколонъ и мятная вода привели немного въ порядокъ его мысли, и онъ одинъ, лежа на диванъ, то моршился, то чуть не хохоталъ. У него въ головъ шла репетиція всего видъннаго, отъ передней начальника губернін, гдѣ онъ очень пріятно провель нѣсколько минуть съ жандармомъ, двумя купцами первой гильдіп и двумя лакеями, которые здоровались и прощались со всёми входящими и выходящими весьма оригинальными привътствіями, говоря: «съ прошедшимъ праздничкомъ», причемъ они, какъ гордые британцы, протягивали руку, ту руку, которая имъла счастіе ежедневно подсаживать генерала въ карету. — до гостиной губернскаго предводителя, въ которой почтенный представитель блестящаго XX-скато дворянства увърялъ, что нельзя нигдъ такъ научиться гражданской формѣ, какъ въ военной службѣ, что она даетъ человъку главное; конечно, имъя главное, остальное пріобръсти ничего не значить. Потомъ онъ признался Бельтову, что онъ истинный патріотъ, строить у себя въ деревнъ каменную церковь и териъть не можеть эдакихъ дворянъ, которые, вмъсто того, чтобъ служить въ кавалеріи и заниматься устройствомъ имтнія, играють въ карты, держать француженскь и тадять въ Парижъ; все это вмъстъ должно было представить нъчто въ родъ колкости Бельтову. Рядъ лицъ, видънныхъ Бельтовымъ, не выходиль у него изъ головы. То ему представлялся губернскій прокуроръ, который въ три минуты успълъ ему шесть разъ сказать: «вы сами человъкъ съ образованіемъ, вы понимаете, что для меня г. губернаторъ постороннее лицо: я пишу прямо къ министру юстиціи, министръ юстиціп-это генералъ-прокуроръ. Губернаторъ хорошъ-и я для его пр-ва все, что могу, «читалъ, читалъ, читалъ» да и кончено; онъ-иначе,-и я ему съ полнымъ уваженіемь, какь слёдуеть высокому сану; ну да ужь больше ничего, меня заставить нельзя; я не совътникъ губернскаго правленія». При этомъ онъ каждый разъ нюхалъ изъ кольчатой се-

ребряной табакерки рульный табакъ, наружностью разительно похожій на французскій, но отличавшійся отъ него сквернымъ запахомъ. То председатель гражданской палаты, худой, высокій, тощій, скупой и нечистый, доказывавшій грязью свое безкорыстіе. То генералъ Хрящовъ, окруженный двумя отръшенными отъ лоджности исправниками, бъдными помещиками, лягавыми собаками, псарями, дворней, тремя племянницами и двумя сестрами: генераль у него въ воспоминаніяхъ кричальтакъ же, какъ у себя въ комнатъ, высвистывалъ изъ передней Митьку и съ величайшимъ человъколюбіемъ обходился съ лягавой собакой. То нашъ знакомый председатель уголовной палаты, Антонъ Антоновичь, въ халатъ пвъта лягушечьей спинки, съ своимъ совътникомъ съ Анной въ петлицъ. Когда мало-по-малу это почтенное общество лицъ отступило въ головъ Бельтова на второй планъ, и всъ онп слились въ одно фантастическое лицо какого-то колоссальнаго чиновника, насупившаго брови, нерфчистаго, уклончиваго, но который постоить за себя. Бельтовъ увидьль, что ему не совладать съ этимъ Голіаномъ, и что его не только не собъешь съ ногъ обыкновенной пращей, но и гранитнымъ утесомъ, стоящимъ подъ монументомъ Петра I.

Отранное дъло-Бельтовъ, съ тъхъ норъ, какъ отправился въ чужіе края, жилъ много и мыслію, и страстями, раздраженіемъ мозга и раздражениемъ чувствъ. Жизнь даромъ не проходить для людей, у которыхъ пробудилась хоть какая-нибудь сильная мысль... Все ничего, сегодня идеть, какъ вчера, все очень обыкновенно, а вдругъ обернешься назадъ и съ изумленіемъ увидишь, что разстояніе пройдено страшное, нажито, прожито бездна. Такъ и было съ Бельтовымъ: онъ нажилъ и прожилъ бездну; но не установился. Бельтовъ во второй разъ встрътился съ дъйствительностію при тъхъ же условіяхъ, какъ въ канцеляріп, —и снова струсиль передъ ней. У него недоставало того практическаго смысла, который выучиваеть человька разбирать связный почеркъ живыхъ событій; онъ былъ слишкомъ разобщенъ съ міромъ, его окружавшимъ. Причина этой разобщенности Бельтова понятна; Жозефъ сдёлалъ изъ него человёка вообще, какъ Руссо изъ Эмиля; университеть продолжаль это общее развитіе; дружескій кружокъ изъ ияти-шести юношей, полныхъ мечтами, полныхъ надеждами настолько большими, насколько имъ еще была неизвъстна жизнь за стънами аудиторіи, — болье и болье поддерживаль Бельтова въ кругу идей не свойственныхъ, чуждыхъ средѣ, въ которой ему приходилось жить. Наконецъ, двери школы закрылись и дружескій кругь, вічный и домогильный, блізднізль, блёднёль и остался только въ воспоминаніяхъ, или воскресаль при случайныхъ и ненужныхъ встръчахъ, да при бокалахъ вина.

Открылись другія двери, немного со скриномъ. Бельтовъ прошель въ нихъ и очутился въ странъ, совершенно ему неизвъстной, до того чуждой, что онъ не могь приладиться ни къчему; онъ не сочувствоваль ни съ одной дъйствительной стороной около него кипъвшей жизни: онъ не имълъ способности быть хорошимъ помѣшикомъ, отличнымъ офинеромъ, усерднымъ чиновникомъ,—а затумъ въ триствительности оставались только мрста празднопатающихся, игроковъ и кутяшей братіи вообще. Къ чести нашего героя должно признаться, что къ последнему сословію онъ имълъ побольше симпатіи, нежели къ первымъ, да и туть ему нельзя было распахнуться: онъ быль слишкомъ развить, а разврать этихъ госполь слишкомъ грязенъ, слишкомъ грубъ. Побился онь съ медициной да съ живописью, покутиль, поиграль та и убхаль въ чужје края. Пела, само собою разумется, и тамъ ему не нашлось: онъ занимался безсистемно, занимался всёмъ на свёте, удивлялъ немецкихъ спеціалистовъ многосторонностью русскаго ума; удивляль французовъ глубокомысліемъ, и въ то время, какъ нъмцы и французы дълали много, онъ--ничего, онъ тратилъ свое время, стреляя изъ пистолета въ тире, просиживая до поздней ночи у ресторановъ и отдаваясь теломъ, душею и кошелькомъ какой-нибуль дореткъ.

Такая жизнь не могла, наконець, не привести къ бользненной потребности дѣла. Несмотря на то, что среди видимой праздности, Бельтовъ много жилъ и мыслію и страстями, онъ сохранилъ отъ юности отсутствіе всякаго практическаго смысла въ отношеніи своей жизни. Вотъ причина, по которой Бельтовъ, гонимый тоскою по дѣятельности, во-первыхъ, принялъ прекрасное и достохвальное памѣреніе служить по выборамъ, и, во-вторыхъ, не только удивился, увидѣвъ людей, которыхъ онъ долженъ былъ внать со дня рожденія, или о которыхъ ему слѣдовало бы справиться, вступая съ ними въ такія близкія сношенія, но былъ до того ошеломленъ пхъ языкомъ, ихъ манерами, ихъ образомъ мыслей, что готовъ былъ безъ всякихъ усилій, безъ боя отказаться отъ предположенія, занимавшаго его нѣсколько мѣсяцевъ.

Счастливъ тотъ человѣкъ, который продолжаетъ начатое, которому преемственно передано дѣло: онъ рано пріучается къ нему, онъ не тратитъ полжизни на выборъ, онъ сосредоточивается, ограничивается для того, чтобъ не расплыться,—и производитъ. Мы чаще всего начинаемъ вновь, мы отъ отцовъ своихъ наслѣдуемъ только движимое и недвижимое имѣніе, да и то плохо хранимъ; оттого по большей части мы ничего не хотимъ дѣлать, а если хотимъ, то выходимъ на необозримую степь, иди, куда хочешь, во всъ стороны—воля вольная, только никуда не дойдешь: это наше многостороннее бездѣйствіе, наша дѣятельная лѣнь. Бельтовъ сове р-

шенно принадлежать къ подобнымъ людямъ; онъ былъ лишенъ совершеннолѣтія, несмотря на возмужалость своей мысли, словомъ, теперь, за тридцать лѣтъ отроду, онъ, какъ шестнадцатилѣтній мальчикъ, готовился начать свою жизнь, не замѣчая, что дверь, ближе и ближе открывавшаяся, не та, черезъ которую входятъ гладіаторы, а та, въ которую выносять ихъ тѣла.— «Конечно, Бельтовъ во многомъ виноватъ». — Я совершенно съ вами согласенъ; а другіе думаютъ, что есть за людьми вины луч-

ше всякой правоты. Такъ на свъть все превратно.

Не прошло и мъсяца послъ водворенія Бельтова въ NN, какъ онъ усиблъ уже пріобръсти ненависть всего помъщичьяго круга. что не мъшало, впрочемъ, и чиновникамъ, съ своей стороны, его ненавидъть. Въ числъ ненавидъвшихъ были такіе, которые его въ глаза не знали; другіе, если и знали, то не имъли никакихъ сношеній съ нимъ: это была съ ихъ стороны ненависть чистая, безкорыстная; но и самыя безкорыстныя чувства имбють какуюнибудь причину. Причину нелюбви къ Бельтову разгадать не трудно. Помъщики и чиновники составляли свои, болъе или менъе замкнутые круги, но круги близкіе, родственные; у нихъ были свои интересы, свои ссоры, свои партіп, свое общественное митніе, свои обычан, общіе, впрочемь, помтщикамъ встхъ губерній и чиновникамъ всей имперіи. Прітзжай въ NN совттникъ изъ RR, онъ въ неделю былъ бы деятельный и уважаемый членъ и собрать; прівзжай уважаемый другь нашъ, Павель Ивановнуъ Чичиковъ, и полиціймейстеръ сделаль бы для него попойку, и другіе пошли бы плясать около него и стали бы его пазывать мамочкой, —такъ очевидно поняли бы они родство свое съ Павломъ Ивановичемъ. Но Бельтовъ... Бельтовъ — человъкъ, вышедшій въ отставку, не дослуживши четырнадцати л'ять и щести мъсяцевъ до знака, какъ замътилъ помощникъ столоначальника, любившій все то, чего эти господа терпъть не могуть, читавшій вредныя книжонки все то время, когда они занимались полезными картами, скиталець по Европъ, чужой дома, чужой и на чужбинъ, аристократическій по изяществу манеръ и человъкъ XIX въка по убъжденіямъ, какъ его могло принять провинціальное общество? Онъ не могъ войти въ ихъ интересы, ни они въ его, и они его ненавидъли, понявъ чувствомъ, что Бельтовъ-протесть, какое-то обличение ихъ жизни, какое-то возражение на весь порядокъ ел. Ко всему этому присовокупилось множество важныхъ обстоятельствъ. Онъ сделалъ мало визптовъ, онъ сделалъ ихъ поздно онъ всюду вздилъ по утрамъ въ сюртукъ, онъ губернатору реже обыкновеннаго говорилъ: ваше превосходительство и предводителю, оставному драгунскому ротмистру и вовсе ин говорилъ, несмотря на то, что онъ по мъсту былъ временно превосходительный; онъ съ своимъ камердинеромъ обращался такъ вѣжливо, что это оскорбляло гостя; онъ съ дамами говориль, какъ съ людьми, и вообще изъяснялся «слишкомъ вольно». Ирисовокупите къ этому, что въ низшемъ слою бюрократіи онъ быль потерянъ въ первый день пріѣзда, вмѣстѣ съ прямымъ ходомъ въ бильярдную. Само собой разумѣется, ненависть къ Бельтову была настолько учтива, что давала себѣ волю за глаза, въ глаза же она окружала свою жертву такимъ тупымъ и грубымъ вниманіемъ, что ее можно было принять за простую любовь. Всякій старался имѣть пріѣзжаго въ своемъ домѣ, чтобъ похвастаться знакомствомъ съ нимъ, чтобъ стяжать право десять разъ въ разговорѣ ввернуть: «вотъ, когда Бельтовъ былъ у меня... я съ нимъ...» ну и, какъ водится, въ заключеніе какая-нибудь невинная клевета.

Всё мёры были взяты добрыми NN-цами, чтобъ на выборахъ прокатить Бельтова на вороныхъ или почтить его избраніемъ въ такую должность, которую добровольно мудрено принять. Онъ сначала не замъчалъ ни ненависти къ себъ, ни этихъ парламентскихъ козней, потомъ сталъ догадываться и рёшился самоотверженно идти до конца... Но не бойтесь, по причинамъ, очень мнъ извъстнымъ, но которыя изъ авторской уловки хочу скрыть, я избавляю читателей отъ дальнъйшихъ подробностей и описаній выборовъ NN; на этотъ разъ меня манятъ другія событія—частныя, а не служебныя.

H.

Вы, върно, давнымъ давно забыли о существовании двухъ юныхъ лицъ, оттертыхъ на далекое разстояние длиннымъ эпизодомъ,—о Любонькъ и о скромномъ, миломъ Круциферскомъ. А между тъмъ, въ ихъ жизни совершилось очень много: мы ихъ оставили почти женихомъ и невъстой, мы ихъ встрътимъ теперь мужемъ и женою; мало этого, они ведутъ за руку трехлътняго bambino, маленькаго Яшу.

Разсказывать объ этихъ четырехъ годахъ нечего; они были счастливы, свътло, тихо шло ихъ время; счастье любви, особенно любви полной, увънчанной, лишенной тровожнаго ожиданія тайна, тайна, принадлежащая двоимъ; тутъ третій—лишній, тутъ свидътель не нуженъ; въ этомъ исключительномъ посвящении только двоихъ лежить особая прелесть и невыразимость любви взаимной. Разсказывать внъшнюю исторію ихъ жизни можно, но не стоитъ труда; ежедневныя заботы, недостатокъ въ деньгахъ, ссоры съ кухаркой, покупка мебели, вся эта внъшняя пыль садилась на нихъ, какъ и на веъхъ, досаждала собою, но была

безслѣдно стерта черезъ минуту и едва сохранялась въ намяти. Круциферскій получилъ черезъ Крупова мѣсто старшаго учителя въ гимназіи, давалъ уроки, попадалъ, разумѣется, и на такихъ родителей, которые платили сполна, — скромно, стало-быть, они могли жить въ NN, а иначе имъ и жить не хотѣлось.

Алексъй Абрамовичъ, сколько его ни убъжналъ Круновъ, болъе десяти тысячь не даль въ приданое, но зато решительно взяль на себя обзаведеніе молодыхь; эту трудную залачу онъ разр'ящиль товольно удачно; онъ перевезъ къ нимъ все то изъ своего пома и изъ кладовой, что было для него совершенно не нужно, полагая, въроятно, что именно это-то и нужно молодымъ. Такимъ образомъ, историческая коляска, о которой думалъ Алексти Абрамовичь въ то самое время, въ которое Глафира Львовна думала о несчастной дочери преступной любви, состаръвшаяся, осунувшаяся, порыжѣвшая, съ сломанной рессорой и съ значительной раной на боку, была доставлена съ большими затрудненіями на маленькій дворикъ Круциферскаго: сарая у него не было, и коляска долго служила пріютомъ кроткихъ куръ. Алексъй Абрамовичь и лошадь отправиль было къ нему, но она на дорогь скоропостижно умерла, чего съ нею ни разу не случалось въ продолженій двадцатильтней безпорочной службы на конющить генерала; время ли ей пришло, или ей обилно показалось, что крестьянинъ, выбхавъ изъ виду барскаго дома, заложилъ ее въ корень, а свою на пристяжку, только она умерла: крестьянинъ былъ такъ пораженъ, что мъсяцевъ шесть находился въ бъгахъ. Но одинъ изъ лучшихъ подарковъ былъ сдёланъ утромъ въ день отъёзда молодыхъ. Алексей Абрамовичъ велёлъ позвать Николашку и Палашку-молодого чахоточнаго малаго лътъ 25 и молодую дівку, очень рябую. Когда они вошли, Алексій Абрамовичь приняль важный и даже грозный видь: «Кланяйтесь въ ноги!» сказалъ генералъ: «и поцълуйте ручку у Любови Александровны и у Дмитрія Яковлевича». Посліднее порученіе не легко было исполнить: сконфуженная молодая чета прятала руки, краснела, целовалась и не знала, что начать. Но глава общины продолжаль: «Это ваши новые господа»—слова эти онъ произнесъ громко, голосомъ, приличнымъ такому важному извъщенію: -«служите имъ хорошо, и вамъ будетъ хорошо (вы помните, что это ужъ повтореніе)! Ну, а вы ихъ жалуйте, да будьте къ нимъ милостивы, если хорошо себя поведуть, а зашалять. пришлите ко мнъ; у меня такая гимназія для баловней, возвращу шолковыми. Баловать тоже не надобно. Воть моя хлѣбъ-соль на дорогу; а то я знаю, вы къ хозяйству люди не пріобыкшіе, гдъ вамъ ладить съ вольными людьми; да и вольный человъкъ у насъ бестія, знаеть, что съ нимъ ничего, что возьметь паспорть, да

какъ баринъ какой и пойдеть по переднимъ искать другого мъста. — Ну, кланяйтесь-же, и вонъ!» красноръчиво заключилъ генералъ. Николашка съ Палашкой чебурахнулись еще разъ въ ноги и вышли. Тъмъ и окончилась исторія вступленія ихъ въ новое владъніе. Въ тотъ же день перебрались наши молодые въ городъ, въ сопровожденіи кашлявшаго Николашки и барельефной Палашки.

Жизнь Крупиферскихъ устроплась прекрасно. Они такъ мало дълали требованій на внъшнее, такъ много были довольны собою, такъ проникались взаимной симпатіей, что ихъ трудно было не принять за иностранцевъ въ NN; они вовсе не были похожи на все, что окружало ихъ. Очень замъчательная вещь, что есть добрые люди, считающие насъ вообще и провинціаловъ въ особенности патріархальными, по преимуществу семейными, а мы нашу семейную жизнь не умфемъ перстащить черезъ порогъ образованія. и еще замъчательнъе, можеть быть, что остывая къ семейной жизни, мы не пристаемъ ни къ какой другой; у насъ не личность, не общіе интересы развиваются, а только семья глохнеть. Въ семейной жизни у насъ какая-то формальная офиціальность; то только въ ней и есть, что показывается какъ въ театральной декорацін, и не брани мужъ свою жену, да не притьсняй родители детей, нельзя было бы и догадаться, что общаго имъють эти люди и зачёмъ они надойдають другъ другу, а живутъ вмъсть. Кто хочетъ у насъ радоваться на семейную жизнь, тотъ долженъ ее искать въ гостиной, а въ спальню не ходить; мы не нъмпы, добросовъстно счастливые во всъхъ комнатахъ лътъ тридцать сряду. Бываютъ исключенія, и такое-то исключеніе представляла наша чета. Они учредились просто, скромно, не знали, какъ другіе живутъ, и жили по крайнему разумёнію: они не тянулись за другими, не бросали послъднія тощія средства свои, чтобъ оставить себя въ подозрѣніи богатства, они не натягивали двадцать, тридцать ненужныхъ знакомствъ; словомъ, часть искусственныхъ веригъ, взаимныхъ ланкастерскихъ гоненій, называемыхъ «общежитіемъ», надъ которымъ всѣ смѣются и выше котораго никто не смъетъ стать, миновала домикъ скромнаго учителя гимназін; зато самъ Семенъ Ивановичъ Круповъ мирился съ семейной жизнію, глядя на «милыхъ дътей» своихъ.

Нѣсколько дней послѣ того, какъ Бельтовъ, недовольный и мучимый какимъ то предчувствіемъ и дѣйствительнымъ отсутствіемъ жизни въ городѣ, бродилъ съ мрачнымъ видомъ и съ руками, засунутыми въ карманы, въ одномъ изъ домиковъ, мимо которыхъ онъ шелъ, полный негодованія и горечи, онъ могъ бы увидѣть тогда, какъ и теперь, одну изъ тѣхъ успоконвающихъ, прекрасныхъ семейныхъ картинъ, которыя всѣми чертами дока-

зывають возможность счастія на землі. Въ картині этой было что-то похожее на літній вечеръ въ саду, когда ніть вітру, когда прудь стелется, какъ металлическое зеркало, золотое отъ солнца, небольшая деревенька видна вдали, между деревьевъ, роса поднимается, стадо идеть домой съ своимъ перемішаннымъ хоромъ крика, топанья, мычанья... И вы готовы отъ всего сердца присягнуть, что ничего лучшаго не желали бы во всю жизнь... И какъ хорошо, что вечеръ этотъ пройдетъ черезъ часъ, т. е. смінится во-время, ночью, чтобъ не потерять своей репутаціи, чтобъ заставить жаліть о себі прежде, нежели надовсть.

Въ небольшой чистенькой комнаткъ сидъль на диванъ Семенъ Ивановичъ Круповъ почетнымъ и единственнымъ гостемъ. Молодая женщина, улыбаясь, набивала ему трубку, ея мужъ сидъль на креслахъ и поглядывалъ съ безмятежнымъ спокойствіемъ и любовью то на жену, то на старика. Черезъ минуту вошелъ въ комнату трехлътній ребенокъ, переваливаясь съ ноги на ногу и отправился прямымъ путемъ, т. е. не обходя столъ, а туннелемъ между ножекъ къ Крупову, котораго очень любилъ за часы съ репетиціей и за двъ сердоликовыя печатки, висъвшія у него изъ полъ жилета.

— Яша, здравствуй! сказалъ Семенъ Ивановичъ, вытаскивая своего пріятеля изъ-подъ стола и усаживая его къ себъ на кольни. Яша ухватиль за печатку и вытягиваль часы.

— «Онъ вамъ мѣшаетъ чай пить и курпть, дайте его мнѣ», сказала мать, убъжденная твердо, что Яша никому и никогда мѣшать не можетъ.

— Оставьте, сдёлайте одолженіе; я самъ его спроважу, когда надойсть,—и Семенъ Ивановичъ вынулъ часы, и заставилъ ихъ бить; Яша съ восхищеніемъ слушалъ бой, поднесъ потомъ часы къ уху Семена Ивановича, потомъ къ уху матери и, видя несомивные знаки ихъ удивленія, поднесъ ихъ къ собственному рту.

— Дѣти—большое счастіе въ жизни! сказалъ Круповъ:—особенно нашему брату старику какъ-то отрадно ласкать кудрявыя головки ихъ и смотрѣть въ эти свѣтлые глазенки. Право, не такъ грубѣешь, не такъ падаешь въ ячность, глядя на эту молодую травку. Но, скажу вамъ откровенно, я не жалѣю, что у меня сво-ихъ дѣтей нѣтъ... да и на что? Вотъ далъ же Богъ мнѣ внучка, состарѣюсь, пойду къ нему въ няни.

— Няня тамъ! замътилъ Яша, указывая на дверь съ предовольнымъ видомъ.

— Возьми меня въ няни.

Яша приготовился было возразить на это страшнымъ крикомъ, но мать предупредила это, обративъ вниманіе его на золотую пуговицу на фракъ Крупова. — Я люблю дѣтей, продолжалъ старикъ:—да, я вообще люблю людей, а былъ помоложе, любилъ и корошенькое личико и, право, былъ разъ иять влюбленъ, но для меня семейная жизнь противна. Человѣкъ можетъ жить только одинъ спокойно и свободно. Въ семейной жизни, какъ нарочно, все сдѣлано, чтобъ живущіе подъ одной кровлей надофдали другъ другу,—поневолѣ разойдутся; не живи вмѣстѣ,—вѣчная нескончаемая дружба, а вмѣстѣ тѣсно.

«Полноте, Семенъ Ивановичъ, возразилъ Круппферскій: что вы это говорите! Цълая сторона жизни, лучшая, полная счастія и блаженства, вамъ осталась неизвъстна. И что вамъ въ этой свободъ, состоящей въ отсутствіи всякихъ ощущеній, въ эгоизмъ».

- Воть, вёдь, и пошель. А сколько разъ я говориль тебъ, Диптрій Яковлевичъ, что ты меня словомъ эгонэмъ не запугаещь. Какая гордость! «Безъ всякихъ ощущеній», какъ будто только на свътъ и ощущеній, что пдолопоклонство мужа къ женъ, жены къ мужу, да ревниное желаніе такъ поглотить другь друга для самихъ себя, чтобъ ближнему ничего не досталось, плакать только о своемъ горъ, радоваться своему счастью. Нътъ, батюшка, знаемъ мы самоотверженную любовь вашу; воть, не хочу хвастаться, да такъ ужъ къ слову пришло, какъ придешь къ больному и сердце замираетъ: илохъ былъ, не ловко такъ подходишь къ кровати — ба, ба, ба! пульсъ-то лучше, а больной смотритъ слабыми глазами да жметъ тебт руку, ну это, братецъ, тоже ощущенье. Эгонзмъ?-Да кромъ безумныхъ, кто-жъ не эгонстъ? Только одни просто, а другіе, знаете, по пословиць: та же щука, да подъ хрвномъ. А на то пошло, такъ нътъ уже и ограниченнъе эгоизма, какъ семейный.

— «Я не знаю, Семенъ Ивановичъ, что васъ такъ стращаетъ въ семейной жизни; я теперь ровно четыре года замужемъ, мнѣ свободно, я вовсе не вижу ни съ моей стороны, ни съ его, ни

жертвъ, ни тягости», сказала Круциферская.

— Удалось сорвать банкъ, такъ и похваливаеть игру; мало ли чудесъ бываетъ на свътъ; вы исключенье—очень радъ: да это ничего не доказываетъ. Два года тому назадъ, у нашего портнаго —да вы знаете его: портной Панкратовъ, на Московской улицъ, — у него ребенокъ упалъ изъ окна втораго этажа на мостовую; какъ, кажется, не разшибиться? хоть бы что-нибудь! разумъется, синія пятна, царацины, больше ничего. Ну, извольте, выбросить другого ребенка. Да и тутъ еще вышла вещь плохая, ребенокъ то чахнетъ.

— «Это ужъ не дурное ли пророчество намъ? спросила Круциферская, дружески положивъ руку на плечо Семену Ивановичу:—я вашихъ пророчествъ не боюсь съ тъхъ поръ, какъ вы предсказывали моему мужу страшныя послъдствія нашего брака». — Какъ вы злопамятны, не стыдно ли? Да и этотъ болтунъ все разсказалъ, экой мужчина! Ну, слава Богу, слава Богу, что я солгалъ; прошу забыть; кто старое помянеть, тому глазъ вонъ, хотя бы онъ былъ такъ удивительно хорошъ, какъ вотъ этотъ. Онъ указалъ пальцемъ.

— «Каковъ Семенъ Ивановичъ, онъ еще и комилименты го-

воритъ».

— Я вамъ и получие и побольше комплиментъ скажу: глядя на ваше житье, я дъйствительно нъсколько примирился съ семейной жизнію; но не забудьте, что, проживши лътъ шестьдесятъ, я въ вашемъ домъ въ первый разъ увидъть не въ романъ, не въ стихахъ, а на самомъ дълъ осуществление семейнаго счастія.

Не слишкомъ же часты примфры.

— «Почему знать, отвѣчала Круциферская: можетъ быть, возлѣ васъ прошли незамѣченными другія пары; любовь истинная вовсе не интересуется выказываться; да и искали ли вы, и какъ искали. Наконець, просто случайность, что вамъ мало встрѣчалось людей семейно-счастливыхъ. А, можетъ, быть, Семенъ Ивановичъ, прибавила она съ той насмѣшливой злобой и даже съ тою неделикатностью, которая всегда присуща людямъ счастливымъ: — вамъ ужъ кажется, что надобно выдержать характеръ, что если вы теперь признаетесь, что были неправы, то осудите всю жизнь свою и должны будете съ тѣмъ вмѣстѣ узнать, что поправить ея нельзя».

— О, нъть, возразилъ съ жаромъ старикъ: — объ этомъ не безпокойтесь, никогда не раскаюсь въ быломъ, во-первыхъ, потому, что глупо горевать о томъ, чего не воротишь, во-вторыхъ, я холостой старикъ, доживаю спокойно въкъ мой, а вы прекрасно

начинаете вашу жизнь.

«Не знаю цъли, замътилъ Круциферскій,—съ которой вы сказали послъднее замъчаніе: но оно сильно отозвалось въ моемъ сердцъ; оно навело меня на одну изъ безотвязныхъ и очень скорбныхъ мыслей, такихъ, которыхъ присутствіе въ душтъ достаточно, чтобъ отравить минуту самаго пылкаго восторга. Иодчасъ мнъ становится страшно мое счастіе; я, какъ обладатель огромныхъ богатствъ, начинаю трепетать передъ будущимъ. Какъ бы...».

— Какъ бы не вычли потомъ. Ха, ха, ха, эки мечтатели! Кто мърилъ ваше счастье, кто будетъ вычитать? Что это за ребяческій взглядъ! Случай и вы сами устроили ваше счастье,—и потому, оно ваше, и наказывать васъ за счастье было бы нелъпостью. Разумъется, тотъ же случай, неразумный, неотразимый, можетъ разрушить ваше счастіе; но мало ли что можетъ быть. Можетъ быть, балки этого потолка подгнили, можетъ быть, онъ провалится; ну, начнемъ-те выбираться; да какъ выбираться? На

дворѣ встрѣтится бѣшеная собака, на улицѣ лошадь задавитъ... Да если допустить въ себѣ боязнь возможнаго зла, такъ лучше опіуму выпить, да и уснуть на вѣки вѣковъ.

«Я всегда дивился, Семенъ Ивановичъ, легкости, съ которой вы принимаете жизнь: это счастіе, большое счастіе, но оно не всёмъ дано. Вы говорите: случай—и успоконваетесь, а я нѣтъ. Мнѣ отъ того не легче, что я неизвѣстную, но подозрѣваемую связь событій моей жизни назову случаемъ. Все въ жизни не даромъ и все имѣетъ высокій смыслъ; не даромъ вы нашли меня на моемъ чердакѣ; мало ли учителей въ Москвѣ,—почему именно меня? Не для того ли, что во мнѣ лежало орудіе для освобожденія этого высокаго, чистаго существа, и то, о чемъ я боялся мечтать, боялся думать, вдругъ совершилось,—и счастью моему нѣтъ мѣры. Да гдѣ же справедливость, если это такъ и пойдетъ на всю жизнь. Я покоряюсь моему счастію такъ, какъ другіе покоряются несчастію, но не могу отдѣлаться отъ страха передъ будунимъ».

— То есть, передъ тъмъ, чего нътъ. И я, съ своей стороны, скажу, что всю жизнь не понималъ, да и не пойму эти болъзненныя воображенія, находящія наслажденіе въ томъ, чтобы мучить себя грезами и придумывать бъды и впередъ грустить. Такой характеръ своего рода несчастіе. Ну, пришибетъ бъдою, раз-

чить сеоя грезами и придумывать обды и впередь грустить. Такой характерь своего рода несчастіе. Ну, пришибеть бідою, разразится горе надъ головой,—поневолії заплачешь и повібсишь ность; но думать, когда надобно пить прекрасное вино, что за это завтра судьба подастъ пресквернаго квасу,—это своего рода безуміе. Неумінье жить въ настоящемь, цінть будущее, отдаваться ему,— это одна изъ моральныхъ эпидемій, наиболібе развитыхъ въ наше время. Мы все еще похожи на тіхъ жидовъ, которые не пьють, не іздять, а откладывають копейку на черный день; и какой бы черный день ни пришель, мы не раскроемъ сундуковъ.—что это

за жизнь?

— «Я совершенно согласна съ вами, Семенъ Ивановичъ, съ жаромъ сказала Круциферская. —Я часто говорю объ этомъ съ Дмитріемъ. Если мнѣ хорошо, зачѣмъ я стану думать о будущемъ? Для меня его хоть бы совсѣмъ не было. Онъ самъ со мною часто соглашается, но тайная грусть такъ глубоко вкоренилась въ него, что онъ не можетъ ее побѣдить. Да и зачѣмъ, впрочемъ, прибавила она, свѣтло и симпатично улыбаясь мужу, — я и грусть эту люблю въ немъ, въ ней столько глубокаго. Я думаю, мы съ вами отъ того не понимаемъ, или, по крайней мѣрѣ, не сочувствуемъ этой грусти, что у насъ нравъ поверхностнѣе, удобовпечатлительнѣе, что насъ занимаетъ и увлекаетъ внѣшность».

— Начали за здравіе, свели за упокой; начали такъ, что я хотъть поцъловать вашу ручку и сказать мужу: «воть человъ-

ческое пониманье жизни», а кончили тёмъ, что его грезы—глубокомысліе; хорошо глубокомысліе—мучиться, когда надобно наслаждаться, и горевать о вещахъ, которыхъ, можетъ быть, и не

будетъ.

— «Семенъ Ивановичъ, на что вы такъ исключительны? Есть нѣжныя организація, для которыхъ нѣтъ полнаго счастія на землѣ, которыя самоотверженно готовы отдать все, но не могутъ отдать печальный звукъ, лежащій на днѣ ихъ сердца, звукъ, который ежеминутно готовъ сдѣлаться... Надобно быть погрубѣе для того, чтобы быть посчастливѣе; мнѣ это часто приходитъ въ голову; посмотрите, какъ невозмущаемо счастливы, напр., птицы,

звъри, оттого, что они меньше насъ понимають».

— Однако, довольно непріятно, замѣтиль неумолимый Круновъ,—имѣть высшую натуру для существа, назначеннаго жить не выше и не ниже, какъ на землѣ. Признаюсь, эту высоту я принимаю за физическое разстройство, за нервный припадокъ; обливайтесь холодной водой, да дѣлайте больше движенія, половина надзвѣздныхъ мечтаній пройдетъ. Вы, Дмитрій Яковлевичъ, отъ рожденія слабы физическими силами: въ слабыхъ организаціяхъ часто умственныя способности чрезвычайно развиты, но почти всегда эдакъ вкось, куда-нибудь въ отвлеченье, въ фантазію, въ мистицизмъ. Вотъ отчего древніе говорили: mens sana in согроге sano. Посмотрите на блѣдныхъ, оѣлокурыхъ нѣмцевъ, отчего они мечтатели, отчего они держатъ голову на сторону, часто плачутъ? Отъ золотухи и отъ климата; отъ этого они готовы цѣлые вѣка бредить о мистическихъ контроверзахъ, а дѣла никакого не лѣлаютъ.

— «Не даромъ говорять, что медицинскія занятія прививають человѣку какой-то сухой матеріальный взглядъ на жизнь; вы такъ коротко знакомитесь съ вещественной стороной человѣка, что изъ-за нея забыли другую сторону, ускользающую отъ скаль-

пеля и которая одна и даеть смысль грубой матеріи».

— Охъ, эти миѣ идеалисты, сказалъ Семенъ Ивановичъ, который примѣтно началъ сердиться, вѣчно подъѣзжаютъ съ вздоромъ. Да кто же это имъ сказалъ, что вся медицина только и состоитъ изъ анатоміи; сами придумали и тѣшатся; какая-то грубая матерія... Я не знаю ни грубой матеріи, ни учтивой, а знаю живую. Мудрецы вы, нынѣшніе ученые, а мелко илаваете! Это нашъ старый споръ, онъ никогда не кончится, лучше перестать.—Иосмотрите, какъ Яшу мы убаюкали нашими пустяками, спитъ себѣ спокойно. Спи, малютка! тебя еще папаша не научилъ презирать землю, да матерію, не увърилъ еще тебя, что эти милыя ножки, эти рученки — кусочки грязи, приставшей къ тебѣ. Любовь Александровна, пожалуйста, не развивайте въ немъ этихъ

пустяковъ; ну, вы мужу даете поблажку, Богъ съ нимъ! Невиннаго ребенка, по крайности, не развращайте этимъ бредомъ съ малыхъ лътъ. Ну, что сдълаете изъ него? Мечтателя. Будетъ до старости искать жаръ-итицу, а настоящая-то жизнь въ это время уйдетъ между пальцевъ. Ну, хорошо ли это? Возмите-ка его.

Старикъ отдалъ Яшу матери, взялъ свой картузъ и, медленно

застегивая фракъ, сказалъ:

— Ахъ, я забылъ вамъ разсказать: на дняхъ какъ-то я по-

знакомился съ преинтереснымъ человъкомъ.

— «Върносъ Бельтовымъ? спросила Круциферская. Его прі вздъ до того надълалъ шуму, что я узнала объ немъ отъ директорши».

— Именно. Они шумять потому, что онъ богать, а дёло въ томь, что онъ дъйствительно замъчательный человъкъ, все на свътъ знаетъ, все видълъ, умница такой; избалованъ немножко, ну, знаете, матушкинъ сынокъ; нужда не восиптывала его по нашему, жилъ спустя рукава, а теперь умираетъ здъсь отъ скуки, хандритъ; можете себъ представить, каково послъ Парижа.

«Бельтовъ! — Да позвольте, сказалъ Дмитрій Яковлевичъ— фамилія знакомая; да не былъ ли онъ въ мое время въ Московскомъ университетъ? Вельтовъ оканчивалъ курсъ, когда я вступилъ; про него и тогда говорили, что онъ страшно уменъ; еще

его воспитывалъ какой-то женевецъ».

— Тотъ самый, тотъ самый.

«Я помню его, мы были немного знакомы».

— Я увъренъ, что онъ былъ бы очень радъ васъ видъть; въ этой глуши встрътить образованнаго человъка — всякому кладъ; а Бельтовъ вовсе не умъетъ быть одинъ, сколько я замътилъ. Ему надобно говорить, ему хочется обмъна, и онъ боленъ отъ одиночества.

«Если вы не находите ничего противъ этого, я, пожалуй,

пойду».

— Пойдемте-ка, доброе дѣло.—Нѣтъ, постой; вотъ я и старъ, да опрометчивъ; онъ слишкомъ, братъ, богатъ, чтобъ тебѣ первому идти къ нему; я завтра ему скажу; захочетъ, пріѣдемъ съ нимъ къ тебѣ. Прощай, любезный спорщикъ. Прощайте.

— «Привозите же завтра вашего Бельтова, сказала Любовь Александровна, намъ до того наговорили объ немъ, что и миъ

захотѣлось его видѣть».

— Стоитъ, право, стоитъ, сказалъ старикъ, выходя въ не-

реднюю.

Круповъ всякій разъ спорилъ съ Крупиферскимъ, всякій разъ сердился и говорилъ, что онъ все болѣе и болѣе расходится съ нимъ, что не мѣшало нисколько тому, что они сближались ежедневно тѣснѣе и тѣснѣе. Для Крупова семья Крупифер-

скаго—была его семья; онъ туда шелъ пожить сердцемъ, которое у него еще было тепло, отдохнуть, глядя на счастье ихъ. Для Круциферскихъ Круповъ представлялъ дъйствительно старшаго въ семьъ, — отца, дядю, но такого дядю, которому любовь, а не права крови дали власть иногда пожурить и погрубить, — что оба прощали ему отъ души, и имъ было грустно, когда не видали его лня лва.

На другой день, часовъ въ семь послѣ обѣта. Семенъ Ивановичъ привезъ въ своихъ пошевняхъ, покрытыхъ желтымъ ковромъ, и на паръ обвинокъ, свътлосаврасой шерсти. Бельтова къ Круциферскому. Разумбется, Бельтовъ быль раль ралехонекъ познакомиться съ порядочнымъ человъкомъ, и ему вовсе не пришло въ голову, что онъ сдълаетъ первый визитъ. Хозяева немного сконфузились: похвалы Семена Ивановича, слухъ о его заграничной жизни, даже его богатство, -- все это смутно вспомнилось, когла онъ вошелъ въ комнату, и сдёлало встрёчу нёсколько натянутой; но это тотчасъ прошло. Въ пріемахъ и ръчахъ Бельтова было столько открытаго, простого, и притомъ въ немъ было столько такту, этой высокой принадлежности людей съ развитой и нѣжной душою, что не прошло получаса, какъ тонъ бесѣды сдълался пріятельскимь. Даже Круциферская, такъ не привыкнувшая къ постороннимъ, невольно была вовлечена въ разговоръ. Съ Дмитріемъ Яковлевичемъ Бельтовъ вспомниль университетскіе годы, бездну тогдашнихъ анекдотовь, тогдашнія мечты, надежды. Давно ему не было такъ отрадно, и онъ дружески благодариль Крупова за это знакомство, когда тоть подвезъ его къ подъёзду гостиницы «Кересбергъ».

-- Ну, что, спрашивалъ потомъ Семенъ Ивановичъ у Кру-

циферскихъ:--какъ вамъ нравится новый знакомый?

«Этого и спрашивать не слѣдуеть», отвѣчалъ Круциферскій. — «Онъ мнѣ очень понравился», сказала Любовь Александровна.

Семенъ Ивановичъ, чрезвычайно довольный, что доставилъ всѣмъ удовольствіе, шутливо погрозилъ пальцемъ.

Любовь Александрова покраснёла.

Семейныя картины увлекательны, и теперь, докончивши одну, я не могу удержаться, чтобъ не начать другую. Тъсная связь ихъ, увъряю васъ, раскроется послъ.

III.

У дубасовскаго уъзднаго предводителя была дочь,—и въ этомъ еще не было бы большаго зла ни для почтеннъйшаго Карпа Кондратьича, ни для милой Варвары Карповны; но у него, сверхъ

лочери, была жена, а у Вавы, какъзвали се пома, была, сверхъ отпа, милая маменька. Марья Степановна, -- это измёняло существенно положение дёла. Карпъ Кондратьичь быль образецъ кротости въ семейныхъ ивлахъ; странно было вильть, какъ измънялся онъ, переходя изъ конюшни въ столовую, съ гумна въ спальню или въ диванную. Если-бъ мы не имѣли достовѣрныхъ покументовъ отъ извъстныхъ путещественниковъ, свилътельствуюшихъ о томъ, что опинъ и тотъ же агличанинъ можетъ быть отличнъйшимъ плантаторомъ и прекраснымъ отцемъ семейства, то мы сами усомнились бы въ возможности такой двойственности. Впрочемъ, разсуждая глубже, можно замътить, что это такъ и лоджно быть. Внъ дома, т. е. на конющит и на гумит, Карпъ Контратьичь вель войну, быль полководцемь и наносиль врагу наибольшее число ударовь; врагами его, разумъется, являлись непокорные крамольники-льнь, несовершенная преданность его интересамъ, несовершенное посвящение себя четверкъ гнъдыхъ и пругія преступленія. Въ залѣ своей, напротивь, Карпъ Кондратьичь находиль рыхлыя объятія върной супруги и милое чело почери для попълуя: онъ снималь съ себя тяжелый панцырь помѣщичьихъ заботъ и становился не то, чтобы добрымъ человѣкомъ, а добрымъ Карпомъ Кондратьичемъ. Жена его находилась вовсе не въ такомъ положении; она лътъ двадцать вела маленькую партизанскую войну въ стънахъ дома, ръдко дълая небольшія выдазки за крестьянскими куриными яйцами и тальками; дъятельная перестрёлка съ горничными, поваромъ и буфетчикомъ поддерживала ее въ безпрестанно раздраженномъ состоянін; но къ чести ся должно сказать, что душа ся не могла совсемъ наполниться этими мелочными непріятельскими действіями, и она со слезами на главахъ, прижала къ своему сердиу семнадцатилътнюю Ваву, когда ее привезла двоюродная тетка изъ Москвы, гдъ она кончила свое ученье въ институтъ или въ пансіонъ. Это ужъ не повару чета, не горимчной-родная дочь, одна кровь течеть въ жилахъ, да и священная обязанность. Сначала дали Вавъ отдохнуть, побъгать по саду, особенно въ лунныя ночи; для дъвочки, воспитанной въ четырехъ стънахъ все было ново, «очаровательно, плънительно», она смотръла на луну и вспоминала о какой-нибуль изъ обожаемыхъ подругъ и твердо върила, что и та теперь вспомнить объ ней: она выръзывала вензеля ихъ на деревьяхъ... Это было то время, которое холоднымъ людямъ просто смѣшно, а у насъ оно срываетъ улыбку, но не улыбку презрёнья, а ту улыбку, съ которой мы смотримъ на играющихъ детей: намъ нельзя играть-пусть они поиграють. Натянутость, экзальтапія, въ которой обыкновенно обвиняють дівушекъ, только что оставившихъ пансіонъ, несправедлива, совершенно несправедлива. Во вебхъ мечтахъ, во вебхъ самопожертвованіяхъ этого возраста, въ его готовности любить, въ его отсутствіи эгопама, въ его преданности и самоотверженіи—святая искренность; жизнь пришла къ перелому, а занавѣсь будущаго еще не поднялась; за ней страшныя тайны, тайны привлекательныя; сердце дѣйствительно страдаетъ по чемъ-то неизвѣстномъ, и организмъ складывается въ то же время, и нервная система раздражена, и слезы готовы безпрестанно литься. Пройдетъ пять, шесть лѣтъ, все перемѣнится; замужъ выйдетъ—и говорить нечего; не выйдетъ, да если только есть искра здоровой натуры, дѣвушка не станетъ ждать, чтобъ кто-нибудь отдернулъ таинственную завѣсу, сама ее отдернетъ и иначе взглянетъ на жизнь. Смѣшно смотрѣть институткой на міръ двадцатипятилѣтними глазами, и печально, если институтка смотритъ на вещи двадцатипятилѣтними глазами.

Варвара Карповна не была красавина: но въ ней была богатая заміна красоты, это ничто, се quelque chose, которое, какъ букеть хороннаго вина, существуеть только для понимающаго, п это ктуто, еще не развитое, пророческое, предсказывающее, въ соединеній съ юностью, которая все румянить, все красить, придавало ей особую, тонкую, нъжную, не всъмъ доступную предесть. Гляля на повольно худое, смуглое лицо ея, на юную нестройность тъла, на задумчивые глаза съ длинными ръсницами, поневолъ приходило въ голову, какъ преобразятся всъ эти ченты. какъ онф устроятся, когда и мысль, и чувство, и эти глаза-все получить определеніе, смысль, отгадку, и какъ хорошо будеть тому, на плечо котораго склонится эта головка! Марья Степановна, впрочемъ, была очень недовольна наружностью дочери, называла ее «пурняшкой» и приказывала всякое утро и всякій вечеръ мыться огуречною водой, въ которую прибавлялся какойто порошокъ, чтобъ прошелъ загаръ, какъ она называла ея смуглость. Поведеніе Вавы при гостяхъ заставило мать обратить серьезное вниманіе на нее: Вава была застѣнчива, уходила въ садъ съ книжкой, не любезничала, не дѣлала глазки. Книжка, какъ ближайшая причина, была отнята; потомъ пошли родительскія поученія, во въки нескончаемыя: Марьъ Степановит показалось, что Вава ей новинуется не совствить съ радостью, что она даже хмурить брови и иногда сметь отвечать; противъ такихъ вещей, согласитесь сами, надобно было взять рёшительныя мёры; Марья Степановна скрыла до поры до времени свою теплую любовь къ дочери, и начала ее гнать и тъснить на всякомъ шагу. Она ей не позволяла гулять, когда той хотълось; она ее посылала, когда та хотъла сидъть дома. Она ее заставляла нехотя тсть, и всякій день упрекала, что она не толстветь. Гоненія матери сделали нравъ Вавы сосредоточеннымъ, она стала еще дичте, худта еще больше. Карпу Кондратьичу иногда приходило въ голову, что жена его напрасно гонитъ бъдную дъвушку, онъ пробовалъ даже заговаривать съ нею объ этомъ издалека; но какъ только рти подходила къ большей опредълительности, онъ чувствовалъ такой ужасъ, что не находилъ въ себъ силы преодолъть его и отправлялся поскорте на гумно, гдъ за минутный страхъ вознаграждалъ себя долгимъ страхомъ, внушаемымъ всъмъ вассаламъ. Поле оставалось свободно за Марьей Степановной, и она, съ величайшей ревностью скупая ткацкія полотна, скатерти и салфетки для будущаго приданаго и заставляя семерыхъ горничныхъ слъпить глаза за кружевными коклюшками и трехъ вышивать въ пяльцахъ разныя ненужности для Вавы, въ то же самое время съ невъроятной упорностью гнала и тъснила ее, какъ личнаго врага.

Когда они прі хали въ NN на выборы, и Кариъ Кондратьнчъ напялиль на себя съ большимъ трудомъ дворянскій мундиръ, ибо въ три года предводителя прибыло очень много, а мундиръ, напротивъ, какъ-то съежился, и по халъ какъ къ начальнику губерніи, такъ и къ губернскому предводителю, котораго онъ, въ отличеніе отъ губернатора, остроумно называлъ «наше его превосходительство»; Марья Степановна занялась распоряженіями касательно убранства гостиной и выгрузки разнаго хлама, привезеннаго на четырехъ подводахъ изъ деревни; ей помогали трое нечесанныхъ отъ колыбели лакеевъ, од тыхъ въ полуфраки изъ какой-то сърой не то байки, не то сукна; дъло шло горячо впередъ; вдругъ барыня, какъ-бы пораженная нечаянной мыслію,

остановилась и закричала своимъ звучнымъ голосомъ:

«Вава, Вава, гдѣ ты это прячешься, а?» Бѣдная дѣвушка, чувствуя, что это не къ добру, робко вошла въ комнату.

— «Я злѣсь, maman!»

«Что это у тебя за видъ, больна что-ли ты? право, посмотришь на васъ со стороны, покажется, что вамъ дурно жить въ родительскомъ домѣ; вотъ эти пансіоны! къ матери подходитъ съ какимъ лицомъ!» Тутъ Марья Степановна передразнила томный видъ дѣвушки. «Я сама была дочь; бывало, маменька позоветъ, бѣгу къ ней съ открытымъ видомъ». Тутъ она представила открытый видъ и улыбочку. «А ты все изъ подлобья... Дуракъ, разобьешь! чему обрадовался, тащитъ, мужикъ; никогда не выучишь...»

«Ну, милая моя, полно шутить, я тебѣ въ послѣдній разъ скажу добрымъ порядкомъ, что твое поведеніе меня огорчаетъ; я еще молчала въ деревнѣ, но здѣсь этого не потерплю; я не за тѣйъ тащилась такую даль, чтобъ про мою дочь сказали: дикая дурочка; здѣсь я тебѣ не позволю въ углу сидѣть. Какъ, не

умѣешь заинтересовать ни одного кавалера? Да миѣ было иятнадцать лѣтъ, а ужъ отбою не было отъ нихъ. Тебя пора пристроить, слышишь ли?..

«Ахъ, ты, мерзавецъ, вѣдъ, говорила, что сломаешъ; поди сюда, поди, тебѣ говорятъ, покажи, вишъ, дуракъ, какъ сломалъ, совсѣмъ на двѣ части; ну, я тебя угощу, дай барину воротиться; я сама бы оттаскала тебя за волосы, да гадко до тебя дотронуться: масломъ какъ намазался, это воръ Митька на кухнѣ даетъ господское масло; вотъ, погоди, я и до него доберусъ...

«Да-съ, Варвара Карповна, вы у меня на выборахъ извольте замужъ выдти; я найду жениховъ, ну, а вамъ поблажки больше не дамъ; что ты о себъ думаешь, красавица что-ли такая, что тебя очень будутъ пскать: ни лица, ни тъла, да и шагу не хочешь сдълать, одъться не умъешь, слова молвить не умъешь; а еще училась въ Москвъ; нътъ, голубушка, книжки въ сторону, довольно начиталась, очень довольно, пора, матушка, за дъло приниматься. Я тебя съ глазъ сгоню, если не поправишь поведенія».

Вава стояла, какъ приговоренная къ смерти; послъднія слова матери казались ей утьшеніемъ.

«Какъ тебѣ не найти жениха! 350 душъ какихъ крестьянъ! каждая душа двѣ души сосѣдскія стоитъ, да приданище какое!.. Что, что—да ты, кажется, плакать начинаешь, плакать, чтобъ глаза сдѣлались красными; такъ ты эдакъ за материнскія попеченія!..»

Она такъ близко подошла къ ней, а у Вавы волосы были такъ мягки и сухи, что неизвъстно, чъмъ кончилась бы эта исторія, если-бъ медвъженокъ въ полуфракъ не уронилъ, въ самое это время, десертную тарелку. Марья Степановна перенесла на него всю ярость.

«Кто разбилъ тарелку?» кричала она хриплымъ голосомъ.

— Сама разбилась — отвъчалъ, новидимому, вышедний изъ терпънія слуга.

«Какъ сама! сама? и ты смѣешь мнѣ говорить это, сама!»— Остальное она договорила руками, находя, вѣроятно, что мимика сильнѣе выражаетъ взволнованное состояніе души, чѣмъ слово.

Измученная дѣвушка не могла больше вынести: она вдругъ зарыдала и въ страшномъ истерическомъ припадкѣ упала на диванъ. Мать испугалась, кричала: «люди, дѣвка, воды, капель, за докторомъ, за докторомъ»! Истерическій припадокъ былъ упоренъ, докторъ не ѣхалъ, второй гонецъ, посланный за нимъ, привезъ тотъ же отвѣтъ: «велѣлъ-де сказатъ, что немножко-де по временить надо, на очень дескать трудныхъ родахъ».

«Тьфу, ты, проклятый! да кому это такъ присиичило родить!»

— Прокуроровой кухаркіз-съ, отвічаль посланный.

Только этого и недоставало, чтобъ довершить трагическое положение Марьи Степановны, она побагровъла: лицо ея, всегда непривлекательное, сдълалось отвратительнымъ.

«У кухарки? у кухарки»?... больше она не могла вымолвить ни слова.

Вошелъ Кариъ Кондратьнчъ съ веселымъ и довольнымъ видомъ: губернаторъ дружески жалъ ему руку, ея превосходительство водила показывать коверъ, присланный для гостиной изъ Иетербурга, и онъ, посмотръвши на коверъ съ видомъ патріархальной простоты, подъ которую мы умъемъ прятать лесть и униженіе, сказалъ: «У кого же, матушка Анна Дмитріевна, и быть такимъ коврамъ, какъ не у вашихъ превосходительствъ». Онъ всъмъ этимъ былъ очень доволенъ, особенно ловкимъ отвътомъ своимъ. И вдругъ семейная сцена обрушилась на его голову: дочь въ истерикъ, жена въ изступленіи, разбитая тарелка на полу, у Марьи Степановны лица нътъ, и правая ручка какъто очень красна, почти такъ же, какъ лъвая щека у Терешки.

— Что за исторія? Что съ Вавой?

«Извъстно, съ дороги; дъло дъвичье, отвътила иъжная мать--гдъ ей вынести 120 верстъ; говорила—отложить до середы, ну такъ нътъ; теперь и лечи».

— Помилуй, въ середу не меньше бы было верстъ.

«Ты все лучше знаешь. А воть этого убійцу Крупова въ домъ больше не пускай; вотъ массонъ-то, мерзавецъ! Два раза посылала,—въдь, я не послъдняя персона въ городъ... Отчего? отъ того, что ты не умъешь себя держать, ты себя держишь хуже засъдателя; я посылала, а онъ изволить тъщиться надо мной; видишь, у прокурорской кухарки на родинахъ; моя дочь умираеть, а онъ у прокурорской кухарки... Якобинецъ!»

— Подлецъ и мерзавецъ! заключилъ предводитель.

Горячій потокъ словъ Марьи Степановны не умолкаль еще, какъ растворилась дверь изъ передней, и старикъ Круповъ, съ своимъ нѣсколько методическимъ видомъ и съ тростью въ рукѣ, вошелъ въ комнату; видъ его былъ тоже довольнѣе обыкновеннаго; онъ какъ-то улыбался глазами и, не замѣчая того, что хозяева не кланяются ему, спросилъ:

- -- «Кому нужна здѣсь моя номощь»?
- Моей лочери!
- «А! Въръ Михайловиъ? что съ ней?»
- Дочь мою зовуть Варварой, а меня Карпомъ,—не безъ достоинства замѣтиль предводитель.
- «Извините, извините; да, ну что же у Варвары Кириловны?»

«Да прежде, батюшка, перебила дрожащимъ отъ бъщенства голосомъ Марья Степановна:—успокойте, что, кухарка-то проку-

рорская родила-ли?»

— «Хорошо, очень хорошо, возразилъ съ энергіей Круповъ:— это такой случай, какого въ жизнь не видалъ. Истинно думалъ, что мать и ребенокъ пропадутъ; бабка пренеловкая, у меня руки стары, и вижу нынче плохо. Представьте, пуповина...»

«Ахъ, батюшка, да онъ съ ума сошель; стану я такія мерзости слушать! да съ чего вы это взяли! У меня въ деревнъ своихъ бабъ круглымъ числомъ иятьдесять родять ежегодно, да

я не узнаю вежуъ гадостей. При этомъ она плюнула».

Круповъ насилу сообразилъ, въ чемъ дѣло. Онъ всю ночь провозился съ бѣдной родильницей, въ душной кухнѣ, и такъ еще былъ весь подъ вліяніемъ счастливой развязки, что не понялъ сначала топа предводительши. Она продолжала:

«Да что, прокуроръ-то платить вамь, что ли, такъ ужъ густо, что вы не могли бабы его оставить на минуту, когда съ моей

дочерью чуть смерть не приключилась?»

— «Ни на одну минуту, сударыня, ни на одну минуту не могъ ни для вашей дочери, ни для кого другого. Да видно, она не очень больна: вы не торопитесь вести меня къ ней. Я зналъ это».

Это замѣчаніе озадачило нѣжныхъ родителей; но мать скоро

оправилась и возразила:

«Ей лучше, да я и не подпущу васъ теперь къ моей до-

черп, и рукъ-то, върно, вы не вымыли».

— Признаюсь, г. докторъ, прибавилъ предводитель, такого дерзкаго поступка и такого дерзкаго объяснения, я отъ васъ не ожидалъ, отъ стараго, заслуженнаго доктора. Если-бы не уважение мое къ кресту, украшающему грудь вашу, то я, можетъ быть, не остался бы въ тъхъ предълахъ, въ которыхъ нахожусь. Съ тъхъ поръ, какъ я предводителемъ — шесть лътъ минуло — меня никто такъ не оскорблялъ.

— «Да помилуйте, если въ васъ нѣтъ пскры человѣколюбія, такъ вы, по крайней мѣрѣ, сообразите, что я здѣсь инспекторъ врачебной управы, блюститель законовъ по медицинской части, и я то брошу умпрающую женщину для того, чтобъ бѣжать къ здоровой дѣвушкѣ, у которой мигрень, истерика, или что-нибудь такое—домашняя сцена! Да это противно законамъ, а вы сердитесь!»

Кариъ Кондратьичъ, въ дополненіе, быль трусъ величайшій; ему ноказалось, что въ словахъ доктора лежить обвиненіе въ вольнодумствѣ; у него въ глазахъ поголубѣло, и онъ поторопился отвътить:

— Не зналъ, видить Богъ, не зналъ; передъ властью закона я нъмъю. Да вотъ Вава сама встаетъ.

Круновъ подошенъ къ ней, посмотрѣнъ, взянъ руку, покачанъ головой, сдѣнанъ два, три вопроса и, зная, что безъ этого его не выпустятъ, написалъ какой-то вздорный рецептъ, и, прибавивши: «пуще всего спокойствіе, а то можетъ быть худо», ушелъ.

Пспуганная истерикой, Марья Степановна немного сдѣлалась помягче; но когда до нея дошелъ слухъ о Бельтовѣ, у нея сердце такъ и стукнуло, и стукнуло съ такой силой, что болонка, лежавшая у нея постоянно шестой годъ на колѣняхъ вмѣстѣ съ носовымъ платкомъ и съ маленькой табакеркой, заворчала и начала нюхать и отыскивать, кто это прыгаетъ.—Бельтовъ—вотъ женихъ! Бельтовъ—его-то намъ и нало.

Разумъется, Бельтовъ сдълалъ Карпу Кондратьичу визитъ; на другой день Марья Степановна протурила мужа платить почтеніе; а черезъ недълю Бельтовъ получилъ засаленную записку, съ сильнымъ запахомъ бараньяго тулупа, пріобрътеннымъ на груди кучера, принесшаго ее; содержаніе ся было слъдующее:

«Дубасовскій увадный предводитель дворянства и супруга его покорньйше просять Владиміра Петровича сдылать имь честь откушаніемь у нихъ объденнаго стола завтра, въ три часа».

Бельтовъ съ ужасомъ прочелъ приглашение и, бросивъ его на столъ, думалъ: что имъ за охота звать? Денегъ стоптъ много, всѣ они скупы, какъ кощеи, скука будетъ смертная... а дѣлать нечего, надобно ѣхать, а то обидится.

За два дни до объда начались репетиціи и приготовленія Вавы; мать наряжала ее съ утра до ночи, хотъла даже заставить се явиться въ какомъ-то красномъ бархатномъ платьъ, потому что оно будто бы было ей къ лицу, но уступила совъту своей кузины, ъздившей запросто къ губернаторшъ, и которая думала, что она знаетъ всъ моды, потому что губернаторша объщала ее взять на будущее лъто съ собой въ Карлсбадъ. Съ вечера Марья Степановна приказала принести миндальныя отруби, оставшіяся отъ приготовляемаго на завтра бланъ-манже, и, показавши дочери, какъ надобно этими отрубями тереть шею, плечи и лицо, начала торжественнымъ тономъ, сдерживая очевидное желаніе перейти къ брани:

«Вава, говорила она, если Богъ мив поможеть выдать тебя за Бельтова, всё мои молитвы услышаны, я тогда тебв цёны не буду знать; утёшь же ты мать свою; ты не безчувственная какаянибудь, не каменная, неужели этого не можешь сдёлать?—Какъ не понравиться мужчинв, молодому? Да и что здёсь дёвицъ, чтоли, очень много: двё, три, да и обчелся; красавицы-то хваленыя—предсёдательскія дочки, по мив, прегадкія, да и, говорять, перемигиваются съ какими-то секретаришками. А потомъ, что за фамилія ихъ—отецъ выслужился изъ повытчиковъ казенной па-

латы. Ка-бы у тебя амбицін было хоть на волосъ, то на смѣхъ имъ надобно бы... Онѣ, безстыдницы, мимо его квартиры въ открытой коляскѣ шныряютъ, да нѣтъ, надежда плоха: вотъ теперь я распинаюсь, а вѣдь она смотритъ какъ деревянная; наградилъ же меня Господь, за мон прегрѣшенія, куклой вмѣсто дочери!»

— Маменька, маменька, говорила полушопотомъ Вава съ какимъ-то отчанніемъ во взглядъ: что-же мнъ дълать, я не могу иначе; да разсудите сами, я не знаю совсъмъ этого человъка, да и онъ, можетъ быть, на меня не обратитъ вовсе никакого вниманія. Не броситься же мнъ къ нему на шею.

«Грубіянка эдакая! да кто тебъ говорить — броситься на шею... Такъ ты эдакъ хочешь исполнить волю матери... не видала никогда! Что, у тебя мать дура или пьяная какая, что не умъеть выбрать тебъ жениха. Царевна какая!..» Она остановилась, боясь разобидъть ее до слезь, отъ которыхъ завтра глаза будутъ красны.

Пришелъ, наконецъ, день испытанія; съ двѣнадцати часовъ Ваву чесали, помадили, душили; сама Марья Степановна затянула ее, и безъ того худенькую, корсетомъ и придала ей видъ осы; зато, съ премудрой распорядительностью, она умѣла коегдѣ подшить ваты—и все была не виолнѣ довольна: то ей казался воротъ слишкомъ высокъ, то, что у Вавы одно плечо ниже другого; при всемъ этомъ она сердилась, выходила изъ себя, давала поощрительные толчки горничнымъ, бѣгала въ столовую, учила дочь дѣлать глазки и буфетчика накрывать столъ и пр. Труденъ былъ этотъ день для Марьи Степановны, но много можетъ любовь матери!

Понятно, что все это очень хорошо и необходимо въ домашнемъ обиходѣ; какъ ни мечтай, но надобно же подумать о судьбѣ дочери, о ея благосостояніи; да то жаль, очто эти приготовительныя, закулисныя мѣры лишаютъ дѣвушку прекраснѣйшихъ минуть первой, откровенной, нежданной встрѣчи, разоблачаютъ при ней тайну, которая не должна еще быть разоблачена, и показывають слишкомъ рано, что для успѣха надобна не симпатія, не счастье, а крапленыя карты. Эти приготовленія опошляютъ отношенія, которыя только тогда и могутъ быть истинны и святы, когда они не опошлены. Строгіе моралисты, пожалуй, прибавятъ, что всѣ подобныя мѣры болѣе могутъ развратить сердце дѣвушки, нежели такъ называемыя паденія: въ такую глубь мы не пускаемся. Да и притомъ, какъ ни толкуй, а дочерей надобно замужъ выдавать, онѣ только для этого и родятся: въ этомъ, я думаю, согласны всѣ моралисты.

Въ три часа убранная Вава сидъла въ гостиной, гдъ ужъ съ половины третьяго было иъсколько гостей, и подносъ, стоявшій передъ диваномъ, утратилъ уже половину икры и балыка, какъ

вдругъ вошелъ лакей и подалъ Кариу Кондратьичу письмо. Кариъ Кондратьичъ досталъ изъ кармана очки, замаралъ имъ стекла грязнымъ платкомъ и, какъ-то, должно быть, по складамъ, судя по времени, прочитавши записку въ двѣ строки, возвъстилъ голосомъ явно не спокойнымъ:

— Маша, Владиміръ Петровичь просить извинить его, онъ нездоровъ, простудился и при всемъ желаніи не можеть прітхать. Человъку скажи, что очень дескать жаль.

Марья Степановна изм'єнилась въ лиц'є и бросила на дочь такой взглядъ, какъ будто она простудила Бельтова. Вава торжествовала. Никогда Марья Степановна не казалась см'єшн'є она до того была см'єшна, что ее становилось жаль. Она возненавидёла Бельтова отъ всего сердца и отъ всего помышленія. «Это просто афронть», бормотала она про себя.

— Кушанье подано, сказаль лакей.

Губернскій предводитель повелъ Марью Степановну въ столовую.

Недъли черезъ двъ послъ этого происшествія, Марья Степановна занималась чаемъ: она, оставаясь одна или при близкихъ друзьяхь, любила чай шить продолжительно, сквозь кусочекъ, съ блюдечка, что ей нравилось, между прочимъ, и тъмъ, что сахару выходило по этой методъ гораздо меньше. Передъ нею сидъла на стуль какая-то длинная, сухая женская фигура въ ченчикъ, съ головою несколько качавшеюся, что сообщало оборке на чепце безпрерывное колебаніе: она вязала шерстяной шарфъ на двухъ огромныхъ синцахъ, глядя на него сквозь тяжелые очки, которыхъ обклалка, спъланная, впрочемъ, изъ серебра, скоръе напоминала пушечный лафеть, чёмь вещь, долженствующую поконться на носу человъка; затасканный темный капоть, огромный риликиль, изъ котораго торчали еще какія-то спицы, показывали, что эта особа-свой человъкъ, и притомъ не богатый человъкъ; послъднее всего яснъе можно было замътить по тону Марьи Степановны. Старуху эту звали Анной Якимовной. Она была хорошаго дворянскаго происхожденія и съ молодыхъ лѣтъ вдова; пибніе ея состояло изъ четырехъ душъ крестьянъ, составлявшихъ четырнадцатую часть наследства, выделеннаго ей родственниками ея, людьми очень богатыми, которые, взойдя въ ея вдовье положеніе, щедрой рукой наръзали для нея и для ея крестьянъ болото, обильное дупелями и бекасами, но не совсѣмъ удобное для мирныхъ занятій хлѣбопашествомъ. При всѣхъ стараніяхъ Анны Якимовны, большого оброку съ такого имѣнія получить было невозможно. Наслъдство, полученное ею отъ своего супруга, было тоже не велико: оно состояло изъ подполковничьяго чина, изъ единственнаго сына и изъ собранія рецентовъ, какъ

лечить лошалей отъ шпата, сана и пр.: на каждомъ рецептъ быль написанъ поразительный примъръ успъха. Сынъ былъ отправленъ лётъ девятнадцати въ какой-то полкъ, но воротился вскоръ въ родительскій домъ, высланный изъ службы за пьянство п буйные поступки. Съ тъхъ поръ онъ жилъ во флигелъ дома Анны Якимовны; тянулъ сивуху, настоенную на лимонныхъ коркахъ, и безпрестанно драдся то съ людьми, то съ хорошими знакомыми: мать боялась его, какъ огня, прятала отъ него деньги и вещи, клялась передъ нимъ, что у нея нътъ ни гроша, особенно послъ того, какъ онъ топоромъ разломалъ крышку у шкатулки ея и вынулъ оттуда семьдесять два рубля денегъ и кольцо съ бирюзою, которое она берегла интъдесять четыре года въ знакъ памяти одного искренняго пріятеля покойника ея. Сверхъ крестьянъ и рецептовъ, у Анны Якимовны были три молодыя горничныя, одна старая и два лакея. Молодыхъ дъвокъ она никогда не одъвала, а что всего замъчательнъе, онъ были всегда хорошо одъты. Анна Якимовна съ удовольствіемъ видъла, что онъ успъвають выработывать себъ на платье, несмотря на то, что съ утра но ночи сама занимала ихъ работой, и благоразумно молчала, замъчая кой какіе непорядки. Лакен—два уродливые старика, жившіе единственно вину, были въ половинѣ съ горничными и, сверхъ того, шили на полгорода козловые банмаки съ сильнымъ запахомъ. Разумбется, Якимъ Оспинчъ также не упускаль случая сводить свои счеты, пользуясь слабостями человіческой натуры.

Почтенная глава этого патріархальнаго фаланстера допивала четвертую чашку чаю у Марьи Степановны; она успѣла уже повторить въ сотый разь, какъ за нее сватался грузинскій князь, умершій генераль-аншефомъ, какъ она въ 1809 году ѣздила въ Питеръ къ роднымъ, какъ всякій день у ея родныхъ собирался весь генералитетъ и какъ она единственно потому не осталась тамъ жить, что невская вода ей не по вкусу и не по желудку. Докончивши аристократическія воспоминанія виѣстѣ съ четвертой чашкой чаю, она вдругъ начала, громко опрокидывая чашку (это былъ фальшивый сигналъ) и положивши на донышко кро-

шечный кусочекъ сахару:

— Да, матушка Марья Степановна, воть ка-бы меня Господь сподобиль увидёть Варвару Карповну вашу пристроенною,—такъ коть бы, какъ вы, Марья Степановна; не могу болъе желать; сердце радуется на ваше семейство: домъ—полная чаша, уваженіе такое отовсюду. Право хорошо бы, успокоило бы васъ!

«Что вы это опрокинули чашку, выкущайте еще».

— Право, довольно; я обыкновенно пью три чашки, а у васъ четыре выпила; покорнъйше благодарю; чай у васъ отмънный.

«Да, я ужъ всегда говорю, по моему рубль передать на фунть—ничего не значить, да ужъ только чтобъ быль чай. Берите-ка чашку». И Анна Якимовна принялась за пятую.

«Конечно, все въ Божіей власти, Анна Якимовна, но, вѣдь, Вава оченно молода, куда ей замужъ теперь; да и, признаться, какіе женихи, погубятъ дѣвку; а когда подумаю, какъ съ ней

разстаться, я не переживу, истинно не переживу».

— И, матушка, Господь съ тобой. Кто же не отдавалъ дочерей, да и товаръ это не таковт, чтобъ на рукахъ держать: залежится, пожалуй. Нѣтъ, по моему, коли мать пресвятая Богородица благословитъ, такъ хорошо бы составить авантажную партію. Вотъ Софъп-то Алексѣевны сынокъ пріѣхалъ; онъ, вѣдь, намъ доводится въ дальнемъ свойствѣ; ну, да, вѣдь, нынче родныхъ-то плохо знаютъ, а ужъ особенно бѣдныхъ; а должно быть состояньице хорошее, тысячи двѣ душъ въ одномъ мѣстѣ, имѣніе устроенное.

«Да человѣкъ-то каковъ? Вамъ все деньги дались, а богатство больше обуза, чѣмъ счастіе — заботы да хлопоты; это все издали кажется хорошо, одна рука въ меду, другая въ патокѣ; а носмотрите — богатство только здоровью переводъ. Знаю я Софъп Алексѣевны сына; тоже совался въ знакомство съ Карпомъ Кондратьевичемъ; мы, разумѣется, приняли учтиво, чтожъ намъ его учить, — ну а ужъ на лицѣ написано: преразвращенный! Что за манеры! Въ дворянскомъ домѣ держить себя точно въ рестораціп. Вы видѣли его?»

— Видала издали, на улицѣ: онъ частенько ѣздитъ мимо меня, и пѣшкомъ прохаживаетъ.

«Да куда же это мимо васъ онъ ходитъ?»

— Не знаю, матушка, мнѣ ли въ мои лѣта и при тяжкихъ болѣзняхъ моихъ (при этомъ она глубоко вздохнула) заниматься, кто куда ходитъ, своей кручины довольно... Предъ вами, какъ передъ Богомъ, не хочу тантъ: Якиша-то опять зашалилъ,—въ гробъ меня сведетъ... Тутъ она заплакала.

«Чтобы вамъ посовѣтоваться съ крестовоздвиженскимъ церковнымъ старостою: удивительно лечитъ. Возьметъ простого пѣннаго, поговоритъ надъ нимъ, дастъ хлебнуть больному, и самъ остальное выпьетъ, больше ничего, а тому такъ и начнутъ бѣсенята казаться и разныя адскія навожденія,—ну, какъ рукой и сниметъ!»

— Да, въдь, небось дорого попроситъ; знаете наше состояніе. «Нѣтъ; онъ лечилъ нашего повара, всего дали синенькую».

— Да помогъ ли?

«Помочь-то помогъ; онъ было опять сталъ припадать, такъ Карпъ Кондратьичъ другого лекарства закатилъ: «ты, говоритъ, бопрекихъ милостей не понимаешь; я иять рублей пролечилъ на тебя, а ты не выздоровѣлъ, мошенникъ!» Ну, и, знаете, по-русски; съ тѣхъ поръ и не пьетъ. Я вамъ пришлю старосту. Ну, а ужъ я не вытериѣла бы, узнала бы, куда это шляется этотъ молодчикъ».

— Да и я сама какъ-то спросила свою Василиску, вѣдь, она такая бойкая у меня... Такъ, отъ бездѣлья, молвила, куда, молъ, ѣздить вотъ этотъ баринъ мимо насъ; а она на другой же день мнѣ и докладываетъ: «изволили мнѣ вчера молвить, куда бельтовскій баринъ ѣздитъ: онъ все съ дохтуромъ съ старикомъ къ учителю негровскому ѣздитъ».

«Съ Круповымъ, къ негровскому учителю?» спросила Марья Степановна, едва скрывая пріятное волненіе, въ которомъ сама себѣ не могла пать отчета.

— Да, матушка, онъ, вѣдь, здѣсь въ этой въ гимназіи служить. этому учитъ...

«А, такъ воть куда онъ похаживаеть; я съ самаго начала его считала преразвращеннымъ, и чему дивить? Учитель его съ малолътства постригъ въ массонскую въру, ну, какому же быть пути? Мальчишка безъ надзору жилъ во французской столицъ, ну, ужъ по имени можете разсудить, какая моральность тамъ... Такъ это онъ за негровской-то воспитанницей ухаживаетъ, прекрасно! Экой въкъ какой!»

— Жаль, вчукѣ жаль, Марья Степановна, бѣднаго мужа; говорять, человѣкъ солидный. А она, ужъ такое происхожденіе! Сколькихъ я видала на своемъ вѣку, холопская кровь скажется!

«Ну, и Семенъ-то Ивановичъ, роля очень хороша! прекрасно! Старый гръшникъ, Бога бъ побоялся; да и онъ-то массонишка такой же, однокорытнику и помогаетъ, да, въдь, чай какія беретъ съ него денежки? За что? Чтобъ погубить женщину. И на что, скажите, Анна Якимовна, на что этому скареду деньги? Одинъ, какъ перстъ, ни ближнихъ, никого; нищему копейки не подастъ; алчность проклятая! Іуда искаріотскій! И куда? Умретъ, какъ собака, въ казну возьмутъ!»

Разговоръ продолжался еще съ четверть часа въ томъ же духѣ и направленіи, послѣ чего Анна Якимовна, въ жару разговора вышнвшая еще три чашки чаю, стала собпраться домой, сняла очки, уложила ихъ въ футляръ и послала въ переднюю спросить, пришелъ ли Максютка проводить ее, и, узнавши, что Максютка тутъ, встала. Давно Марья Степановна не принимала ее такъ ласково; она проводила ее даже до самой передней, гдѣ небритый Максютка, пресмѣшной старикъ лѣтъ шестидесяти, грязный и пропахнувшій простымъ виномъ, одѣтый въ фризовую шинель съ чернымъ воротникомъ, держалъ одной рукой заячій салопъ Анны Якимовны, а другой укладывалъ въ карманъ тавлинку. Максютка былъ очень не въ духѣ: онъ только было гото-

вился запереть дамку и ужъ поставилъ грязный палецъ на шашку, чтобъ ее двинуть, какъ барыня отворила дверь. «Ворона проклятая»,—бормоталъ онъ грубо, надъвая салопъ на сухія плечи вдовствующей Анны Якимовны.

— Воть у меня дурачекъ, не могу научить салопа подать,

замѣтила барыня.

— «Пора насъ со двора, наберите себт ученых», бормоталъ

— Вотъ, матушка, вдовье положеніе; ото всего терплю, отъ послѣдняго мальчишки. Что сдѣлаешь, дѣло женское; если-бъ былъ покойникъ живъ, чтобы я сдѣлала съ эдакимъ негодяемъ... себя бы не узналъ... Горькая участь, не суди вамъ Богъ испытать ее!

Рѣчь эта не тронула Максютку, онъ, ведя подъ руку свою барыно съ лѣстницы, успѣлъ обернуться къ провожавшимъ людямъ и подмигнуть, указывая на Анну Якимовиу, что доставило истинное и продолжительное удовольствіе дворнѣ дубасовскаго предволителя.

Предоставляю читателямь вообразить всю радость и все удовольствіе доброй Марьи Степановны, услышавшей такую новость и получившей явную возможность пустить скандальную исторію не только о Бельтовѣ, но и о Круповѣ. По дорогѣ приходилось, правда, раздавить репутацію женщины, какъ-то жаль, но что дѣлать? Есть важные случаи, въ которыхъ личности человѣческія приносятся на жертву великимъ планамъ!

IV.

Въ то самое время, когда почтенная вдова Анна Якимовна кушала чай у не менъе почтенной Марьи Степановны и онъ съ тёмъ нёжнымъ вниманіемъ, свойственнымъ одному женскому серину, занимались Бельтовымъ, Бельтовъ чрезвычайно грустный сидёль, съ своей стороны, въ своемъ нумере, тоскливо думая о чемъ-то очень грустномъ и тяжеломъ. Будь онъ одаренъ ясновидъніемъ, ему было бы легко утъщиться, онъ ясно услышалъ бы, что не далъе, какъ чрезъ большую и нечистую улицу, па черезъ нечистый и маленькій переулокъ, двѣ женщины оказывали родственное участіе къ судьбамъ его и изъ нихъ одна, конечно, безъ убійственнаго равнодушія слушала другую; но Бельтовъ не обланалъ ясновидениемъ; по крайней мерь, если-бъ онъ быль не испорченный западнымь нововведеніемь русскій, онъ сталъ бы икать, и икота удостовфрила бы его, что тамъ, тамъ, гдё-то... вдали, втиши, его поминають; но въ нашъ вёкъ отрицанья икота потеряла свой мистическій характерь и осталась жалкимъ гастрическимъ явленіемъ.

Хандра Бельтова, вирочемъ, не имѣла ни малѣйшей связи съ извъстнымъ разговоромъ за-шестой чашкой чаю. Онъ въ этотъ день всталъ поздно, съ тяжелой головой, съ вечера онъ долго читалъ, но читалъ невнимательно, въ полудремотъ, въ послъдніе дни въ немъ болье и болье развивалось какое-то бользненное не по себъ, не приходившее въ ясность, но располагавшее къ тяжелымъ думамъ; ему все чего-то не доставало, онъ не могъ ни на чемъ сосредоточиться. Около часу онъ докурилъ сигару, допиль кофей, и долго думая, съ чего начать день, съ чтенія или съ прогулки, онъ ръщился на послъднее, сбросилъ туфли, но вспомниль, что даль себф слово по утрамь читать новфинія пропзведенія по части политической экономін, и потому надфль туфли, взяль новую сигару и совствы расположился заняться политической экономіей, но, по несчастію, возл'в ящика съ сигарами лежаль Байронъ, онъ легъ на диванъ и до ияти часовъ читалъ Донъ-Жуана. Когда онъ посмотрълъ на часы, окончивши чтеніе, онъ очень удивился, что такъ поздно, позваль своего камердинера, велёлъ приготовить одёваться какъ можно скорёе; впрочемъ, и удивленіе, и приказъ были больше пистинктивны, потому что онъ никуда не сбирался и ему было совершенно все равно-6 ли часовъ утра, или 12 ночи. Одъвшись съ тою тщательностью и чистотою, къ которой мы привыкаемъ, долго живши за гранипей и отъ которой скоро отвыкаемъ въ провинціи, онъ, твердый въ намъреніи заняться политической экономіей, легъ на то же мъсто и развернуль какую-то англійскую брошюру объ Адамъ Смить. А камердинеръ развернулъ небольшой столь и началъ его накрывать. Судьба улыбнулась камердинеру больше, нежели его патрону; Григорій преспокойно накрыль столь, поставиль графинъ съ водою и бутылку съ лафитомъ, поставилъ на другой столъ графинчикъ съ абсентомъ и сыръ, потомъ спокойно осмотрёль сдёланное и, убёдившись, что все поставлено на мёстё, отправился за супомъ и черезъ минуту принесъ, только не супъ, а письмо.

- Откуда? спросилъ Бельтовъ, не сводя глазъ съ брошюрки объ Адамѣ Смитѣ.
- «Должно быть изъ чужихъ краевъ: штемпель не нашъ, да еще объявленіе на посылку».
- Дай сюда—и Бельтовъ бросилъ брошюру. Отъ кого-бъ это было, думалъ онъ, не понимаю, изъ Женевы... развъ... нътъ—скоръе... нътъ...

Конечно, легче было бы распечатать письмо и на концѣ четвертой странички прочитать, отъ кого оно, нежели отгадывать. Безъ сомнѣнія. Отчего же всѣ дѣлаютъ подобныя гаданія надъ письмомъ? Это тайна сердца человѣческаго, основанная впрочемъ

на томъ, что лестно человъку признать себя догадливымъ и про-

Наконецъ, Бельтовъ снять пакетъ и сталъ читать письмо; съ каждой строчкой его лицо дълалось блъднъе и слезы навернулись на глазахъ его.

Письмо это было отъ племянника m-г Жозефъ; онъ извъщалъ Бельтова о смерти старика. Жизнь этого простого, благороднаго существа такъ, какъ текла, тихо и ясно, такъ и потухла. Онъ былъ много лътъ главнымъ учителемъ въ сельской школъ, не далеко отъ Женевы. Дни два ему нездоровилось, на третій казалось лучше; едва переставляя ноги, онъ отправился въ учебную залу, тамъ онъ упалъ въ обморокъ, его перенесли домой, пустили ему кровь, онъ пришелъ въ себя, былъ въ полной памяти, простился съ дътьми, которыя молча стояли, испуганныя и растерянныя, около его кровати, звалъ ихъ гулять и прыгать на его могилу, потомъ спросилъ портретъ Вольдемара, долго съ любовью смотрълъ на него и сказалъ племяннику: «Какой бы человъкъ могъ изъ него выйти... да видно старикъ дядя лучше зналъ... Отошли этотъ портретъ къ Вольдемару послъ... адресъ у меня въ портфелькъ, въ старомъ, на которомъ портретъ Вашингтона... Жаль Вольдемара... очень жаль...»

«Туть, писалъ племянникъ, больной началъ бредить, лицо его приняло задумчивое выраженіе послѣднихъ минутъ жизни, онъ велѣлъ себя приподнять и, открывши свѣтлые глаза, хотѣлъ чтото сказать дѣтямъ, но языкъ не повиновался. Онъ улыбнулся имъ и сѣдая голова его упала на грудь. Мы схоронили его на нашемъ сельскомъ кладбищѣ между органистомъ и кистеромъ».

Бельтовъ прочиталъ письмо, положилъ его на столъ, отеръ слезу, прошелся по комнатѣ, постоялъ у окна, снова взялъ письмо, прочелъ его отъ доски до доски. «Удивительный человѣкъ! Удивительный человѣкъ!» бормоталъ онъ сквозь зубы, «пресчастливый человѣкъ, умѣлъ довольствоваться, умѣлъ трудиться, бытъ полезнымъ на всякомъ мѣстѣ, куда судьба его ни бросала... Теперь на всемъ земномъ шарѣ у меня мать, и болѣе никого... Никого... Хоть изрѣдка дойдетъ, бывало, вѣсть о старикѣ, и хорошо, ну просто, я бывалъ доволенъ сознаніемъ, что онъ существуетъ. И его нѣтъ! Фу, какъ тяжело все это. Право, если-бъ впередъ говорили условія, мало нашлось бы дураковъ, которые рѣшились бы жить».

— «Супъ простынетъ, Владиміръ Петровичъ», доложилъ камердинеръ, съ участіемъ видѣвшій, что содержаніе письма было не изъ пріятныхъ.

Григорій, спросиль Бельтовъ, номнинь учителя, который жиль у насъ?

— «Какъ не помнить-съ швейцарца то-съ».

— Онъ скончался, сказалъ Бельтовъ и отвернулся отъ Гри-

горія, чтобъ скрыть волненіе.

— «Царство ему небесное! прибавилъ Григорій, —добрый быль человѣкъ, и съ нашимъ братомъ простъ; мы воть недавно говорили съ Максимъ Федоровымъ, что у маменьки служитъ въ буфетчикахъ, т. е. о васъ. Признаться доложить, Максимъ Федоровичъ не надивится на васъ; я, по вашей милости, насмотрѣлся на разныя націи и на тамошніе порядки, иу, а онъ больше все въ губерніи проживаль, ему и удивительно. «Конечно, говорить, добрая душа у нихъ, врожденная, барынина. Ну и, т. е. и отъ учителя было чему заняться, бывало, я помню, передъ деревенскимъ мальчишкой, который поклонится, приказываетъ Владиміру Петровичу картузикъ снять; такой же де образъ и подобіе Божіе есть».

Бельтовъ промончаль и грустно принялся за супъ.

Въсть о смерти Жозефа естественнымъ образомъ вызвала въ памяти Бельтова всю его юность, а за нею п всю жизнь. Опъ вспомниль поученія Жозефа, какъ жадно внималь онъ имъ, какъ върнять и какъ все оказалось въ жизни совсемъ не такъ, какъ въ словахъ Жозефа, и... Странное дъло! все говоренное имъ было прекрасно, истинно, истинно направо и налібво, и совершенно ложно для него, Бельтова. Онъ сравнивалъ себя тогдашняго и себя настоящаго; ничего не было общаго, кром' нити воспоминаній, связывавшихъ эти два разныя лица. Тотъ — полный упованій, съ религіей самоотверженія, съ готовностію на тяжкіе подвиги, на безвозмездные труды, и этот, уступившій внішнимъ обстоятельствамъ, безъ надеждъ, ищущій чего-нибудь для развлеченія. Когда Григорій принесъ портреть съ почты, Бельтовъ разръзалъ поскоръе клеенку и съ большимъ нетерпъніемъ вынулъ его... Онъ перемѣнился въ лицѣ, взглянувъ на черты, бывшія нѣкогда его чертами, онъ чуть не отвернулся отъ нихъ. Тутъ было представлено все, что бродило у него въ головъ. Какъ свъжо, свътло было отроческое лицо это, шея раскрыта, воротникъ отъ рубашки лежалъ на плечахъ, и какая-то невыразимая черта задумчивости пробъгала по устамъ и взору, той неопредъленной задумчивости, которая предупреждаеть будущую мощную мысль; какъ много выйдеть изъ этого юноши, сказаль бы каждый теоретикъ, такъ говорилъ мсье Жозефъ, а изъ него вышелъ праздный туристъ, который, какъ за последній якорь, схватился за место по дворянскимъ выборамъ въ NN. Тогда, думалъ Бельтовъ, глядя съ упрекомъ на портретъ, тогда мнъ было 14 лътъ, теперь мнъ за тридцать—и что впереди? Одна сърая мгла, скучное, однообразное продолжение впредь; начать новую жизнь поздно, продолжать

старую невозможно. Сколько начинаній, сколько встр'ячь... и все окончилось праздностью и одиночествомъ...

Нить горькихъ мыслей прервалъ Семенъ Ивановичъ; онт про-

должались въ формъ разговора.

— «Что состояніе здоровья, Владиміръ Петровичь?»

- А! здравствуйте, Семенъ Ивановичъ; очень радъ васъ видъть; такая тоска, такая скука, что мочи нѣтъ. Я, право, нездоровъ, во мнѣ что-то въ родѣ лихорадки, очень небольшой, но безпрерывно поддерживающей меня въ какомъ-то напряженномъ состояни.
- «Вы ведете неправильный образъ жизни», возразиль Круповъ, заворачивая длинный рукавъ на сюртукъ, чтобъ основательно пощупать пульсъ.—«Пульсъ не хорошъ. Вы живете вдвое скоръе, чъмъ надобно, не жалъете ни колесъ, ни смазки, долго такъ ъхать нельзя».
 - Я самъ чувствую, что морально и физически разрушаюсь.
- «Раненько. Нын винее покол вые быстро живеть; надобно бы вамъ, впрочемъ, серьезно позаняться здоровьемъ, взять свои м вры».

— Какія туть мѣры?

- «Очень много. Ложитесь во время спать, вставайте раньше, меньше чтенія, меньше думать, больше гулять, разгоняйте печальныя мысли, вина пить не много, крѣпкій кофе совсѣмъ бросить».
- Вамъ кажется все это легко, особенно разгонять мысли... И на долго ли вы меня обрекаете такой діэтъ́?
 - «На всю жизнь».
- Покорнъйшій слуга, это и скучно и противно, да и хлопотать не изъ чего.
- «Какъ не изъ чего? мит кажется, что стоитъ принесть койкакую жертву для того, чтобъ достигнуть глубокой старости, для того, чтобъ долже прожить».

— Ну, а для чего же долго жить?

- «Странный вопросъ! Ну, да какъ для чего, я не знаю, для чего; ну, жить, все же лучше жить, нежели умереть; всякое животное имбеть любовь къжизни».
- Если жъ найдется такое, которое не имъетъ, замътилъ, горько улыбаясь, Бельтовъ. Байронъ очень справедливо сказалъ, что порядочному человъку нельзя жить больше тридцати ияти лътъ. Да и зачъмъ долгая жизнь? Это должно быть очень скучно.

— «Вы все изъ проклятыхъ нъмецкихъ философовъ начита-

лись такихъ софизмовъ».

— Въ этомъ случай позвольте мнй защитить німцевъ; я человіть русскій и жизнію обучился думать, а не думою жилъ. Благо мы дошли съ вами до этого вопроса; скажите добросовіть, подумавши, что будеть пользы, если я проживу не десять, а

пятьдесять лёть, кому нужна моя жизнь, кромё моей матери, которая сама очень ненадежна? По слабости ли силь, но недостатку ли характера, но дёло въ томъ, что я безполезный челов'ясь, и, уб'ёдившись въ этомъ, я полагаю, что я одинъ хозяинъ надъ моею жизнію; я еще не настолько разлюбилъ жизнь, чтобъ застр'ёлиться, и ужъ не люблю ее настолько, чтобъ жить на діэтъ, водить себя на помочахъ, устранять сильныя ощущенія и вкусныя блюда, для того, чтобъ продлить на долгое время эту жизнь больничнаго папіента.

- «Вы предпочитаете хроническое самоубійство, возразилъ Круповъ, начинавшій уже сердиться:—понимаю, вамъ жизнь надобла отъ праздности, ничего не дѣлать должно быть очень скучно; вы, какъ всѣ богатые люди, не привыкли къ труду. Дай вамъ судьба опредѣленное занятіе, да отними она у васъ Бѣлое Поле, вы бы стали работать, положимъ, для себя, изъ хлѣба, а пользато вышла бы для другихъ; такъ-то все на свѣтѣ и дѣлается».
- Помилуйте, Семенъ Ивановичъ, неужели вы думаете, что кромѣ голода нѣтъ довольно сильнаго побужденія на трудъ? Да просто желаніе обнаружиться, высказаться заставитъ трудиться. Я изъ одного хлѣба, напротивъ, не сталъ бы работать: работать цѣлую жизнь, чтобъ не умереть съ голоду, и не умирать съ голоду, чтобъ работать,—умное и полезное препровожденіе времени!

— «Что же вы, съ вашей сытостью и желаніемъ высказаться, много надёлали?» спросилъ совсёмь уже разсерженный старикъ.

— Тутъ-то и запятая. Ужъ, конечно, я не по охотъ избралъ жизнь праздную и утомительную для меня. Ученымъ спеціалистомъ я не родился, такъ, какъ не родился музыкантомъ; а остальныя дороги, кажется, для меня не родились...

— «То есть, вы себя этимъ утъщаете; земля вамъ коротка, мало мъста, воли-то твердой нътъ, настойчивости нътъ, gutta cavat...»

— Lapidem, окончилъ Бельтовъ. Вы человѣкъ положительный, а туда же толкуете о волѣ.

— «Красно-то вы говорите, красно, зам'ятиль Круповъ,—а все мнѣ сдается, что хорошій работникъ безъ работы не останется».

— Да что же вы думаете, эти ліонскіе работники, которые умирають голодной смертью, съ готовностью трудиться, за недостаткомъ работы, не ум'ють ничего д'ялать, или изъ ума шутять? Охъ, Семенъ Ивановичъ! не торопитесь осуждать и не торопитесь прописывать душевное спокойствіе и конскій щавель: первое невозможно, а второе не можеть помочь. Мало бол'язней хуже сознанія безполезныхъ силъ. Какая туть діэта! Вспомните Наполеоновъ отв'ять доктору Антомарки: «Это не ракъ, взошедшій внутрь, а Ватерлоо, взошедшее внутрь». У каждаго есть свое Waterloo rentré! Пойдемте-ка, Семенъ Ивановичь, къ Круциферскимъ; у

нихъ я раза два вылечивался отъ хандры; подобныя средства помогають лучше встхъ декоктовъ.

— «Вотъ и жди отъ васъ спасиба да признанія! А кто вамъ

прописать ихъ домъ?»

— Виновать, виновать, забыль! О, вы величайшій изъ сыновъ Гипократа, Семенъ Ивановичъ! отвѣчалъ Бельтовъ, накладывая

сигары и добродушно улыбаясь доктору.

Да что же, наконецъ, спросимъ мы вмъстъ съ Марьей Степановной, что влекло Бельтова въ скромный домъ учителя? Нашелъ ли онь друга въ немъ, человъка симпатичнаго, или, въ самомъ дълъ, не влюбленъ ли онъ въ его жену? Ему самому отвъчать на эти вопросы, при всемъ желаніи сказать истину, было бы очень трудно. Его многое солизпло съ этимъ домомъ. Выборы кончились съ своими объдами и балами. Бельтова, какъ разумъется, ни во что не избрали, и онъ оставался въ NN только для окончанія какого-то процесса въгражданской палать. Предоставляемъ вамь оценить всю величину скуки для этого человека въ NN, если-бъ онъ не былъ знакомъ съ Круциферскими. Тихая, безмятежная жизнь Круциферскихъ представляла нъчто новое и привлекательное для Бельтова, онъ провелъ всю жизнь въ общихъ вопросахъ, въ наукъ и теоріп, въ чужихъ городахъ, гдъ такъ трудно сближаться съ домашнею жизнію, п въ Петербургъ, гдъ ея немного. Онъ домашнее довольство считалъ вымысломъ или достояніемъ людей пошлыхъ и мелкихъ. Круциферскіе не были таковы. Характеръ Круциферскаго опредълить трудно: натура пъжная и любящая до высшей степени, натура женская и поддающаяся, онъ имълъ столько простосердечія и столько чистоты, что его нельзя было не полюбить, хотя чистота его и сбивалась на неопытность, на невъдъніе ребенка. Трудно было бы сыскать человъка, болъе не знающаго практическую жизнь; онъ все, что зналь, зналь изъ книги, и оттого зналъ невърно, романтически, риторически; онъ свято върплъ въ дъйствительность міра, восиътаго Жуковскимъ, и въ пдеалы, витающіе надъ землей. Изъ затворничества студентской жизни, въ продолжение которой онъ выходиль въ міръ страстей и столкновеній только въ райкъ московскаго театра, онъ вышель въ жизнь тихо, въ стренькій осенній день; его встрътила жизнь подавляющей нуждой, все казалось ему непріязненнымъ, чуждымъ, и молодой кандидатъ пріучался болже и болже находить всю отраду и все успокоение въ мірж мечтаній, въ который онъ убъгаль отъ людей и отъ обстоятельствъ. Та же внъшняя нужда загнала его въ домъ Негрова; эта встръча съ дъйствительностью еще болье сосредоточила его. Кроткій отъ природы, онъ и не думаль вступить въ борьбу съ дъйствительностью, онъ отступаль оть ея напора, онъ просиль только оста-

вить его въ покоф; но явилась любовь, такъ, какъ она является въ этихъ организаціяхъ не бъщено, не безумно, но на въки въковъ, но съ такимъ отданіемъ себя, что ужъ въ груди не остается ничего не отданнаго. Нервная раздражительность поддерживала его безпрерывно въ какомъ-то восторженно-меланходическомъ состоянін: онъ всегла готовъ былъ плакать, грустить, —онъ любилъ въ тихіе вечера долго, долго смотръть на небо, и кто знаеть, какія видінія чудились ему въ этой тишині; онъ часто жаль руку своей женъ и смотръдъ на нее съ невыразимымъ восторгомъ: но къ этому восторгу примъщивалась такая глубокая грусть, что Любовь Александровна сама не могла удержаться отъ слезъ. Во всёхъ его действіяхь была та же кротость, что и на лице, то же спокойствіе, та же искренность и та же робкая задумчивость. Нужно ли говорить, какъ такой человъкъ полженъ былъ любить свою жену? Любовь его росла безпрерывно, тъмъ болъе, что ничто не развлекало его: онъ не могъ двухъ часовъ провести, не видавши темно-голубыхъ глазъ своей жены, онъ трепеталъ, когна она выходила со двора и не возвращалась въ назначенный часъ: словомъ, ясно было видно, что вст корни его бытія были въ ней. Къ этому много способствовалъ міръ, въ который онъ попаль.

Учители NN гимназін были, какъ это бывало въ старину въ нашихъ школахъ, люди большею частію обленившіеся, огрубевшіе въ провинціальной жизни, отданные тяжелымъ, матеріальнымъ привычкамъ и усыпившіе всякое желаніе знать что-нибудь. Не думаемъ, чтобъ Круциферскій имѣлъ призваніе вести далъе науку, отдаться ея вопросамъ вполнъ и сдълать изънихъ свои жизненные вопросы, но онъ имъ сочувствовалъ, ему было многое доступно... кромф средствъ. Самому выписывать книги нечего было и думать, гимназія пріобрѣтала, но не такія, которыя могли бы поддержать интересъ въ молодомъ ученомъ. Провинціальная жизнь вообще гибельна для тёхъ, которые хотятъ сохранить не одно недвижимое имъніе, и для тъхъ, которые не хотять делать неудободвижимымъ свое тело; при совершенномъ отсутствій всякаго теоретическаго интереса, кто не заснеть, если не сладкимъ, то долгимъ сномъ въ этой обители душевной дремоты?.. Человъку необходимы внъшнія раздраженія, ему нужна газета, которая бы всякой день приводила его въ соприкосновеніе со всёмъ міромъ, ему нуженъ журналъ, который бы передавалъ каждое движение современной мысли, ему нужна бесъда, нужень театръ; -- разумъется, отъ всего этого можно отвыкнуть, покажется, будто все это и не нужно, потомъ сдълается въ самомъ дълъ совершенно ненужно, т. е. въ то время, какъ самъ этотъ человъкъ уже сдълался совершенно не нуженъ. Круциферскій далеко не принадлежалъ къ тъмъ спльнымъ и настойчивымъ людямъ, которые создаютъ около себя то, чего нѣтъ; отсутствіе всякаго человъческаго интереса около него дъйствовало на него болъе отрицательно, нежели положительно, между прочимъ потому, что это было въ лучшую эпоху его жизни, т. е. тотчасъ послъ брака. А потомъ онъ привыкъ, остался при своихъ мечтахъ, при нъсколькихъ широкихъ мысляхъ, которымъ ужъ прошло нъсколько лёть, при общей любви къ наукт, при вопросахъ, давно ртшенныхъ. Удовлетворенія болье дъйствительнымъ потребностямъ души онъ искалъ въ любви, и въ сильной натурѣ своей жены онъ находилъ все. Споры съ Круповымъ, продолжавшіеся года четыре, получили тотъ же характеръ провинціальной стоячести: они въ эти годы переговаривали ежедневно одно и то же. Круциферскій являлся на защиту спиритуализма, и старикъ Круповъ грубо и съ негодованиемъ билъ его своимъ медицинскимъ матеріализмомъ. Этимъ то тихимъ русломъ журчала жизнь нашихъ пріятелей, когда вдругь взошло въ нее лицо совсѣмъ иного закала, лицо чрезвычайно дъятельное внутри, раскрытое всъмъ современнымъ вопросамъ, энциклопедическое, одаренное смълымъ и ръзкимъ мышленіемъ. Круциферскій невольно покорплся энергической сущности новаго пріятеля; зато Бельтовъ, съ своей стороны, далеко не остался пзъять отъ вліянія жены Круппферскаго. Спльной натуръ, не занятой ничъмъ особенно, почти невозможно оборониться оть вліянія энергической женщины; надобно быть или очень ограниченнымъ, или очень ячнымъ, или совершенно безхарактернымъ, чтобъ тупо отстоять свою независимость передъ нравственной властью, являющейся въ прекрасномъ образъ юной женщины, —правда, что пылкій отъ природы, увлекающійся отъ непривычки къ самообузданію, Бельтовъ давалъ легкій призъ надъ собою всякой кокеткъ, всякому хорошенькому лицу. Онъ много разъ былъ до безумія влюбленъ то въ какуюнибудь примадону, то въ танцовщицу, то въ двусмысленную красавицу, уединившуюся у минеральныхъ водъ, то въ какую-нибудь краснощекую и бълокурую нёмку съ притязаніемъ на мечтательность, готовую всегда любить по Шиллеру и поклясться при при при при соловья въ враной любви здрсь и тамъ, то въ огненную француженку, върную наслаждению и разгулубезъ лицепріятія... Но такого вліянія Бельтовъ не испыталъ.

Сначала знакомства, Бельтовъ вздумалъ пококетничать съ Круциферской; онъ пріобрѣлъ на это богатыя средства, его трудно было запугать аристократической обстановкой или ложной строгостью; увѣренный въ себѣ, потому что имѣлъ дѣло съ очень не трудными красотами, ловкій и опасно дерзкій на языкъ, онъ имѣлъ все, чтобъ оглушить совѣсть провинціалки; но догадливый Бельтовъ тотчасъ оставилъ пошлое ухаживаніе, понявъ, что на

такого звъря тенеты слишкомъ слабы. Женшина, явившаяся нередъ нимъ въ этой глупи, была такъ проста, такъ наивно естественна и такъ полна силы и ума, что у Бельтова прошла очень скоро охота интриговать ее. Трунно было на нее сиблать нападеніе, потому что она вовсе не оборонялась, не становилась еп garde: пругое отношеніе, болье человьчественное, быстро сблизило Крупиферскую съ Бельтовымъ. Крупиферская поняда его грусть, поняда ту острую закваску, которая бродила въ немъ п мучила его, она поняла и шире и лучше въ тысячу разъ, нежели Круповъ, напримъръ; понявни, она не могла болъе смотръть на него безъ участія, безъ симпатін, а гляля на него такъ. она его болфе и болфе узнавала, съ кажлымъ лнемъ раскрывались для нея новыя и новыя стороны этого человѣка, обреченнаго уморить въ себъ страшное богатство силъ и стращиую щиръ пониманія. Бельтовъ тотчасъ оціниль разницу побросовістнонравоучительнаго участія Крупова, романтическаго сочувствія, готоваго раздёлить слезу, Дмитрія Яковлевича, съ тёмъ вёрнымъ тактомъ, который онъ видёлъ въ Круциферской. Много разъ, когда они четверо сидън въ комнатъ, Бельтову случалось говорить внутреннъйшія убъжденія свои; онъ ихъ, по привычкъ утанвать, по склонности, почти всегда приправляль проніей или бросалъ ихъ вскользь; его слушатели по большей части не отзывались, но когда онъ бросалъ тоскливый взглядъ на Крупиферскую, легкая улыбка пробъгала у него по лицу, онъ видълъ, что понять: они незамътно становились, посанно сравнить, а нечего ублать, въ то положение, въ которомъ находились ибкогда Любонька и Дмитрій Яковлевичь въ семь Негрова, глъ прежле, нежели они другъ другу успъли сказать два слова, понимали, что понимають пругь друга. Этого рода симпатій нечего ни развивать, ни подавлять; онъ просто выражають факть братственнаго развитія въ пвухъ лицахъ, гдѣ бы и какъ бы ни встрѣтились эти лица; если они узнають другь друга, если они поймуть ролство свое, то каждый пожертвуеть, если обстоятельства потребують, веёми низшими степенями родства въ пользу высшаго.

- Отгадайте, кто это? сказалъ Бельтовъ, подавая портретъ свой Любови Александровнѣ.
- Да это вы! почти векрикнула Любовь Александровна и вся вспыхнула въ лицъ:—ваши глаза, вашъ любъ... Какъ вы были хороши юношей! Какое беззаботное и смълое лицо...
- Много надобно хитрости, чтобъ рѣшиться самому для сличенія принести женщинѣ свой портреть, дѣланный болѣе, нежели за пятнадцать лѣть; но мнѣ смертельно хотѣлось его показать вамъ, чтобъ вы сами увидѣли,

Таковъ ли былъ я, расцвътая?

. Н, право, удивляюсь, какъ вы узнали: ни одной черты не осталось.

— Узнать можно, отвъчала Круциферская, не сводя глазъ съ

портрета.—Какъ это вы его давно не принесли!

— Я сегодня только получиль его; мой добрый Жозефъ умеръ съ мъсяцъ тому назадъ; его племянникъ прислалъ миѣ этотъ портреть съ письмомъ.

— Ахъ, бѣдный :Козефъ!—Я считаю его въ числѣ близкихъ

знакомыхъ, по вашимъ разсказамъ.

- Старикъ умеръ среди кроткихъ занятій своихъ, и вы, которыя не знали его въ глаза, и толиа дѣтей, которыхъ онъ училъ, и я съ матерью—помянемъ его съ любовью и горестью. Смерть его многимъ будетъ тяжелый ударъ. Въ этомъ отношеніи я счастливѣе его: умри я, послѣ кончины моей матери, и я увѣренъ, что никому не доставлю горькой минуты, потому что до меня нѣтъ никому дѣла. Говоря это очень искренно, Бельтовъ немного и пококетничалъ: ему хотѣлось вызвать Любовь Александровну на какой-нибудь теплый отвѣтъ.
- Вы этого не думаете сами, отвъчала Круциферская, пристально взглянувъ на Бельтова; онъ опустилъ глаза.

- Ну, вотъ ужъ послѣ смерти мнѣ совершенно все равно,

кто будеть плакать и кто хохотать, замётилъ Круповъ.

- Я съ вами не согласенъ, присовокупилъ Круциферскій:—
 я очень понимаю весь ужасъ смерти, когда не только у постели,
 но и въ цёломъ свётё нётъ любящаго человёка, и чужая рука
 холодно броситъ горсть земли и спокойно положитъ лопатку,
 чтобъ взять шляпу и идти домой. Любонька, когда я умру, приходи почаще ко мнё на могилу, мнё будетъ легко...
- Да, очень легко, это правда, съ досадой ввернулъ Круповъ: такъ что и на химическихъ въсахъ не свъщаещь...
- П будто у васъ нѣтъ другихъ друзей, кромѣ Жозефа? спроспла Круциферская.—можетъ ли это быть?
- Было множество, самыхъ пламенныхъ, самыхъ преданныхъ, мало ли что было! У меня лицо было вотъ какое, а теперь совсѣмъ другое. Да, впрочемъ, друзей не нужно: дружба милая, поношеская болѣзнь; бѣда тому, кто не умѣетъ самъ себѣ довлѣть.
- Однако же Жозефъ, сколько я знаю, остался до конца жизни близокъ съ вами.
- Потому что мы жили далеко другь отъ друга, мы съ нимъ были дружны, потому что разъ видълись въ пятнадцать лътъ. И при этомъ мелькнувшемъ свиданіи, я заслонилъ воспоминаніями замѣченную мною разность нашу.
- Такъ вы видёли его послё того, какъ онъ отправился въ Швецію?

- Одинъ разъ.
- Гдѣ?
- Въ мъстахъ, гит онъ кончилъ жизнь.
- И лавно?
- Съ гопъ тому назадъ.

— Вотъ, витето вашихъ мрачныхъ словъ, лучше разскажите

намъ ваше свилание съ старикомъ.

- Съ большимъ удовольствіемъ; мий хочется имъ заниматься, мнъ весело говорить объ немъ. Дъло было вотъ какъ. Въ началъ прошлаго года я прібхаль изъ южной Франціи въ Женеву. Зачёмь? Трудно объяснить. Мнё не хотёлось ёхать въ Парижъ, потому что я тамъ ничего не успъвалъ делать и потому что я тамъ постоянно страдалъ завистью: всъ кругомъ заняты, хлопочуть изъ дѣла, изъ вздора, а я читаю въ кофейныхъ газеты и хожу благосклоннымъ, но постороннимъ зрителемъ. Въ Женевъ я прежде не быль; городъ тихій, въ сторонѣ, а потому я и избрадъ ее зимней квартирой; я собирался тамъ заняться политической экономіей и на посуг' обдумать, что д'влать на будущее лето и куда ъхать. Само собой разумъется, что на другой или на третій день я уже справлялся у лонлакеевъ, у банкировъ, вездъ, не знаетъ ли, не слыхалъ ли кто о г. Жозефъ. Никто не имълъ о немъ понятія; одинъ старикъ часовщикъ говорилъ, что онъ точно зналъ Жозефа, который учился съ нимъ вмѣстѣ и ушелъ въ Петербургь, но что послѣ этого онъ не видалъ его.

Раздосадованный, я бросиль мон поиски, занятія не клеились, дъло было ранней весною, погода стояла ясная и прохладная: скитальческая жизнь моя оставида во мей страсть къ бродяжничеству: я ръшился сдълать нъсколько маленькихъ путешествій пъшкомъ по окрестностямъ Женевы. Дорога имъетъ на меня страшное вліяніе: я оживаю на дорогѣ, особенно ившкомъ или верхомъ. Экинажъ стучитъ, развлекаетъ, присутствіе возчика разрушаеть одиночество; но одинъ, верхомъ или съ налкой въ рукъ, идешь, идень; дорога ниткой вьется передъ глазами, куда-то пропадая, и никого вокругъ, кром'я деревьевъ, да ручья, да итицы, которая спорхнетъ и пересядетъ... удивительно хорошо!. Иду я разъ такимъ образомъ въ нъсколькихъ миляхъ отъ Женевы, долго шелъ я одинъ... вдругъ съ боковой дороги вышли на большую человъкъ двадцать крестьянъ; у нихъ былъ чрезвычайно жаркій разговоръ, съ сильной мимикой; они такъ близко шли отъ меня п такъ мало обращали вниманія на посторонняго, что я могъ очень хорошо слышать ихъ разговоръ: дёло шло о какихъ-то кантональныхъ выборахъ, крестьяне раздёлялись на двё партін, завтра надобно было подать окончательные голоса; видно было, что вопросъ, ихъ занимавшій, поглощалъ ихъ совершенно: они махали руками, бросали вверхъ шанки. Я сълъ подъ дерево, ватага избирателей проила, и долго еще доносились до меня отрывки демагогическихъ ръчей и консерваторскихъ возраженій. Меня всегда терзаетъ зависть, когда я вижу людей, занятыхъ чъмъ-нибудь, имъющихъ дъло, которое ихъ поглощаетъ... А потому я уже былъ совершенно не въ духъ, когда появился на дорогъ новый товарищъ, стройный юноша, въ толстой блузъ, въ сърой шлянъ съ огромными полями, съ котомкой за плечами и съ трубкой въ зубахъ; онъ сълъ подъ тънь того же дерева; садясь, онъ дотронулся до края шляны; когда я ему откланялся, онъ снять свою шляну совствъ и сталъ обтирать потъ съ лица и съ прекрасныхъ каштановыхъ волосъ. Я улыбнулся, понявъ осторожность моего сосъда: онъ потому не снялъ прежде шляны, чтобъ я не подумалъ, что это для меня. Посидъвши, молодой человъкъ обратился ко мнъ и спросилъ:

— «Куда идетъ ваша дорога?»

- Мнъ труднъе отвъчать вамъ, нежели вы думаете; я просто иду, куда глаза глядятъ.
 - «Вы, върно, иностранецъ?»

— Я русскій.

— «У! изъ какой дали... чай, у васъ теперь страшные морозы?..» Извъстное дъло, что ни одинъ иностранецъ не можетъ говорить о Россіи, не упомянувъ о морозъ и о скорой почтовой тздъ, несмотря на то, что пора было убъдиться, что ни особенно страшныхъ морозовъ изтъ, ни сказочной ъзды.

— Да, теперь въ Петербургъ зима.

— «А какъ вамъ нравится нашъ климать?» спросилъ швейцарецъ съ гордостью.

— Хорошъ, отвъчалъ я.—Вы здъшній уроженець?

- «Да, я родился не далеко отсюда и иду теперь изъ Женевы на выборы въ нашемъ мъстечкъ; я еще не имъю права подать голосъ въ собраніи, но зато у меня остается другой голосъ, который не пойдетъ въ счетъ, но который, можетъ быть, найдетъ слушателей. Если вамъ все равно, пойдемте со мной; домъ моей матери къ вашимъ услугамъ, съ сыромъ и виномъ; а завтра посмотрите, какъ наша сторона одержитъ верхъ надъ стариками».
- Ого, да это радикаль! подумаль я, снова окинувъ глазами моего сосъпа.
- Пойдемте къ вамъ, сказалъ я ему, подавая руку:—мнѣ все равно.
- «Вамъ, чай, любонытно посмотрѣть на выборы; вѣдь, у васъ дома выборовъ нѣтъ?»
- Кто это вамъ сказалъ? отвѣчалъ я,—у васъ въ школѣ, вѣрно, былъ прескверный учитель географіи; очень много, напротивъ.

и дворянскіе, и купеческіе, и м'вщанскіе, и сельскіе, даже въ помъщичьихъ деревняхъ начальникъ называется выборнымъ.

Юноша покрасивлъ.

- «Я учился географіи давно, сказалъ онъ,—и не очень долго. А учитель нашъ, несмотря на все уваженіе, которое имѣю къ вамъ, отличнъйшій человькъ; онъ самъ былъ въ Россіи, и, если хотите, я познакомлю васъ съ нимъ; онъ такой философъ, могъ бы быть Богъ знаетъ чъмъ, и не хочетъ, а хочетъ быть нашимъ учителемъ».
- Очень благодаренъ, отвъчалъ я, не имъя ни малъйшаго желанія увидіться съ какимъ-нибудь полевымъ педантомъ.
 - «А онъ точно быль въ вашей сторонѣ».

— Глѣ же?

— «Въ Петербургъ и въ Москвъ».

— А какъ его фамилія?

— «Мы его зовемь père Joseph». — Père Joseph! повторилъ я, не въря ущамъ своимъ.

— «Ну, да что-жъ туть удивительнаго?» возразилъ мой това-

пишъ.

Довольно сказать, послъ двухъ-трехъ вопросовъ я совершенно убъдился, что père Joseph — пменно мой Жозефъ. Мы удвоили шаги. Молодой человъкъ не могъ довольно нарадоваться, что доставиль мий такое неожиданное удовольствіе, и еще болже тому, что онъ доставить его и Жозефу, котораго любилъ и уважалъ безмърно. Я разспрашивалъ его объ образъ жизни старика и изъ всёхъ подробностей увидёлъ, что онъ остался тотъ же простой, благородный, восторженный, юный; я поняль изъ разсказа, что я обогналь Жозефа въ совершеннолътіп, что я старъе его. Прошло иять лътъ съ тъхъ поръ, какъ онъ принялъ на себя должность старипаго учителя и завъдывателя школы; онъ дълалъ втрое больше, нежели требовали его обязанности, имълъ небольшую библютеку, открытую для всего селенія, имёлъ садъ, въ которомъ копался въ свободное время съ дътьми. Когда мы остановились передъ чистенькимъ домикомъ школьнаго учителя, ярко освъщеннымъ заходящими лучами солнца и удвоеннымъ отраженіемъ высокой горы, къ которой домикъ прислонялся,—я послаль впередъ моего товарища, чтобъ не слишкомъ взволновать старика нечаянностью, и вельть сказать, что одинъ русскій желаеть его видъть. Père Joseph быль въ саду и отдыхаль на скамеечкъ, оппраясь на заступъ. Онъ встрепенулся при словъ Россія и поспъшными шагами шель миъ на встръчу; я бросился въ его объятія. Первое, что поразило меня, это ескорбительная сила разрушенія, лежащая во времени: десяти літь не прошло съ тіхть поръ, какъ я его не видалъ, —и какая перемена! Онъ потерялъ почти всё волосы, лицо его осунулось, походка не была такъ тверда и онъ уже ходилъ сгорбившись, одни глаза были такъ же юны, какъ и въ прежнее время. Не могу вамъ выразить радости, съ которой онъ встрётилъ меня: старикъ плакалъ, смёнлся, дѣлалъ наскоро бездну вопросовъ, спрашивалъ, жива ли моя ньюфаундленская собака, вспоминалъ шалости; привелъ меня, говоря, въ бесёдку, усадилъ отдыхать и отправилъ Шарля, т. е. моего спутника, принести изъ погреба кружку лучшаго вина. Признаюсь, что я врядъ когда-либо пилъ съ такимъ наслажденіемъ отличнъйшее клико, съ какимъ я поглощалъ стаканъ за стаканомъ кисленькое винцо Жозефа. Я былъ одушевленъ, юнъ, счастливъ; но старикъ вскоръ окончилъ мое превосходное расположеніе духа вопросомъ:

-- Что же ты дълалъ все это время, Вольдемаръ?

Я разсказалъ ему всю исторію моихъ неудачь и заключилъ тѣмъ, что, конечно, жизнь моя могла бы лучше разыграться, но я не раскапваюсь; если я потерялъ юношескія върованія, зато пріобръль взглядъ трезвый, можетъ, безотрадный, грустный, но зато истинный.

— Вольдемаръ, возразилъ старикъ, бойся предаваться слишкомъ трезвому взгляду, —какъ бы онъ не охладилъ твоего сердца, не потушилъ бы въ немъ любви! Многаго я не предвидѣлъ въ твоей жизни; тяжко тебѣ было, но не должно же тотчасъ класть оружіе; достоинство жизни человѣческой въ борьбѣ... награду надобно выстрадать.

Я ужь тогда смотрёль по-проще на дёла житейскія, однако,

слова старика сильно подъйствовали на меня.

- Скажите-ка, père Joseph, лучше что-нибудь о себъ, какъ вы провели эти годы? Моя жизнь не удалась, по боку ее. Я точно герой нашихъ народныхъ сказокъ, которыя я, бывало, переводилъ вамъ, ходилъ по всъмъ распутьямъ и кричалъ: «естъ ли въ полъ живъ человъкъ?» Но живъ человъкъ не откликался... мое несчастіе!.. а одинъ въ полъ не ратникъ... Я и ушелъ съ поля и пришелъ къ вамъ въ гости.
- Рано, рано сдался, замётнлъ старикъ, качая головой.—Что я могу разсказать о себё? Моя жизнь идетъ тихонько. Оставивши вашъ домъ, я жилъ въ Швеціи, потомъ убхалъ съ однимъ англичаниномъ въ Лондонъ, года два училъ его дѣтей; но мой образъ мыслей такъ расходился съ мнѣніями почтеннаго лорда, что я оставилъ его. Мнѣ захотѣлось домой, и я прямо оттуда пріѣхалъ въ Женеву; въ Женевѣ я не нашелъ никого, кромѣ мальчика, сестрина сына. Думалъ, думалъ, что начатъ подъ конецъ жизни,—а тутъ открылось мѣсто учитсля въ здѣшней школѣ, я принялъ его и чрезвычайно доволенъ моими занятіями. Нельзя, да и не

нужно всёмъ выступать на первый планъ; дёлай каждый свое въ своемъ кругу, —дёло вездё найдется, а послё работы спокойно заснешь, когда придетъ время послёдняго отдыха. Наша жажда видныхъ и громкихъ общественныхъ положеній показываетъ великое несовершеннолітіе наше, отчасти неуваженіе къ самому себі, которыя приводять человіка въ зависимость отъ внішней обставки. Повіть, Вольдемаръ, что это такъ.

Въ этомъ тонъ разговоръ нашъ продолжался съ часъ.

Тронутый свиданьемъ, я былъ чрезвычайно воспріимчивъ. чрезвычайно хорошо настроенъ; мнт были доступны вст юныя, полузабытыя мечты. Я смотрълъ на лицо Жозефа, совершенно спокойное, безмятежное, и мнъ стало тяжело за себя, меня давило мое совершеннолътіе, и какъ онъ быль хорошъ! Старость имъеть свою красоту, разливающую не страсти, не порывы, но умираюшую, успоконвающую; остатки съдыхъ волосъ его колыхались оть вечерняго вътра, глаза, одушевленные встрвчею, горъли кротко; юно, счастливо я смотрълъ на него и вспоминалъ католическихъ монаховъ первыхъ въковъ, такъ, какъ ихъ представляли маэстры итальянской школы. И тъ были юны, думалъ я, съ съдинами своими и онъ юнъ, а я старъ; зачъмъ же я узналъ такъ много, чего они не знали? Жозефъ взялъ меня за руку, вставая, чтобъ идти въ комнату, и съ глубокой любовью повториль: «Пора домой, Вольдемаръ, пора домой!» Я остался у него ночевать. Всю ночь меня мучили тысячи проектовъ и плановъ. Примъръ Жозефа былъ слишкомъ силенъ, онъ безъ средствъ, старикъ, создалъ себъ дъятельность, онъ былъ покоенъ въ ней, а я, раг dépit, оставиль отечество, шляюсь чужимь, ненужнымь по разнымъ странамъ и ничего не дълаю... На другое утро я объявиль старику, что отправляюсь прямо въ NN служить по выборамъ. Старикъ расилакался и, положивши руку свою мнт на голову, сказалъ: «Ступай, другъ мой, ступай. Ты увидишь, человъкъ, прямо и благородно идущій на дѣло, много сдѣлаетъ, и-прибавилъ старикъ дрожащимъ голосомъ-да будетъ спокойствіе на душть твоей». Мы разстались; я отправился въ NN, а онъ на тотъ свътъ. Вотъ и все. Это было послъднее юношеское увлеченіе; съ тёхъ поръ я покончилъ мое восиптаніе.

Любовь Александровна смотрѣла на него съ глубокимъ участіємъ; въ его глазахъ, на его лицѣ дѣйствительно выражалась тягостная печаль; грусть его особенно поражала, потому что она не была въ его характерѣ, какъ, напримѣръ, въ характерѣ Круциферскаго; внимательный человѣкъ понималъ, что внѣшнее, что обстоятельства, долго сгнетая эту свѣтлую натуру, насильственно втѣснили ей мрачные элементы, и что они разъѣдаютъ ее по не-

сродности.

- «Зачёмъ вы пріёхали сюда?» спросила тихимъ голосомъ Крупиферская.
- Благодарю васъ, душевно благодарю за этотъ вопросъ, отвътилъ Бельтовъ.

«Конечно, странно, замътилъ Дмитрій Яковлевичъ, просто непонятно, зачътъ людямъ даются такія силы и стремленія, которыхъ некуда употребить. Всякій звърь ловко приспособленъ природой къ извъстной формъ жизни. А человъкъ... не ошибка-ли тутъ какая-нибудь? Просто, сердцу и уму противно согласиться въ возможности того, чтобъ прекрасныя силы и стремленія давались людямъ для того, чтобъ они разъъдали ихъ собственную грудь. На что же это?»

- Вы совершенно правы, съ жаромъ возразилъ Бельтовъ: п съ этой точки вы не выпутаетесь изъ вопроса. Дѣло въ томъ, что силы сами по себѣ безпрерывно развиваются, подготовляются, а потребности на нихъ опредѣляются исторіей. Вы вѣрно знаете, что въ Москвѣ всякое утро выходитъ толна работниковъ, поденщиковъ и наемныхъ людей на вольное мѣсто; однихъ берутъ, и они идутъ работать, другіе, долго ждавши, съ понурыми головами плетутся домой, а всего чаще въ кабакъ. Точно такъ и во всѣхъ дѣлахъ человѣческихъ: кандидатовъ на все довольно—занадобится исторіи, она беретъ ихъ; нѣтъ ихъ дѣло, какъ промаячитъ жизнь. Оттого-то это забавное à ргороз всѣхъ дѣятелей. Занадобились Франціи полководцы, п пошли Дюмурье, Гошъ, Наполеонъ со своими маршалами... конца нѣтъ; пришли времена мирныя, и о военныхъ способностяхъ ни слуху, ни духу.
- «Но что же дълается съ остальными?» спросила грустнымъ голосомъ Любовь Александровна.
- Какъ случится; часть ихъ потухаетъ и дѣлается толной, часть идетъ населять далекія страны, галеры, доставлять практику палачамъ; разумѣется, это не вдругъ,—сначала они дѣлаются трактирными удальцами, игроками, потомъ, смотря по призванію, туристами по большимъ дорогамъ или по маленькимъ переулкамъ. Случится по дорогѣ услышать кличъ, декораціи перемѣняются: разбойника нѣтъ, а есть Ермакъ, покоритель Спбири. Всего рѣже выходятъ изъ нихъ тихіе, добрые люди; ихъ безпоконтъ у домашняго очага ѣдкія мысли. Дѣйствительно, странныя вещи приходятъ въ голову человѣку, когда у него нѣтъ выхода, когда жажда дѣятельности бродитъ болѣзненнымъ началомъ въ мозгу, въ сердцѣ, и надобно сидѣть, сложа руки… а мышцы такъ здоровы, а крови въ жилахъ такая бездна… Одно можетъ спасти тогда человѣка и поглотить его… это встрѣча… встрѣча-съ…

Онъ не договорилъ.

Любовь Александровна вздрогнула.

— Экая безпорядочная голова! замётиль Круповъ:—чего онъ туть не наговориль; хаосъ, истинно хаосъ! Ну, нечего сказать, славный кандидать въ засёдатели или въ уёздные судъи! Всё улыбнулись.

V

Между прочими достопримъчательностями города NN особеннаго вниманія заслуживаеть публичный садъ. Въ богатой природъ средней полосы нашего отечества публичные сады совершенная роскошь, отъ этого ими никто не пользуется, т. е. въ будни, а что касается до воскресныхъ и праздничныхъ дней, то вы можете встрётить весь городъ отъ 6 часовъ вечера до 9 въ саду; но въ это время публика сбирается не для саду, а другъ для друга. Если начальникъ губерній въ хорошихъ отношеніяхъ съ полковымъ командиромъ, то въ эти дни являются трубы или большой барабанъ съ товарищами, смотря потому, какое войско стоить въ губерніи; и увертюра изъ Лодонски и Калифа Багдадскаго, вибств съ французскими кадрилями, напоминающими незапамятныя времена греческаго освобожденія и «Московскаго Телеграфа», увеселяють слухь кунчихь, одётыхь по лётнему—въ атласъ и бархатъ, и тъхъ провинціальныхъ барынь, за которыми никто не ухаживаетъ, какихъ, впрочемъ, моложе сорока лътъ почи не бываетъ. Въ будни, какъ мы сказали, сады бываютъ пусты; развъ какой-нибудь завзжій въ отчанніи, что нъть лошадей, въ отчаяніи, что и этот городъ похожъ на вей остальные, отправится въ садъ, въ надеждъ найти хоть какой-нибудь посредственный видъ. Давно замъчено поэтами, что природа до отвратительной степени равнодушна къ тому, что дъдають люди на ея спинь, не плачеть надъ стихами и не хохочеть надъ прозой, а дълаеть свое дёло по крайнему разумёнію. Природа точно такъ поступила и въ NN и вовсе не смотръла на то, что по саду никто не гулялъ; а кто и гулялъ, тотъ обращалъ внимание не на деревья, а на превосходную бесёдку въ китайско-греческомъ вкуст, дъйствительно, бестдка была прекрасна въ своемъ родъ; начальница губерній весьма удачно ее назвала Монрепо. Она была особенно успокоительна тёмъ, что вырёзанная изъ жести пряничная лошадка, состоявшая въ должности дракона и посаженная на шпицъ, безпрестанно вертълась, издавая какой-то жалобный вопль, располагавшій къ мечтамъ и подтверждавшій, что вътеръ, который снесъ на лъвую сторону шляну, дъйствительно дуетъ съ правой стороны; сверхъ дракона, между колоннами были придъланы нечесанныя и пресердитыя львиныя головы изъ алебастра, растрескавшіяся отъ дождя и всегда готовыя уронить на черенъ входящему свое ухо или свой носъ. Несмотря на этотъ плачъ дракона и на эту опасность погибнуть отъ львовъ, какъ въ даніиловой пещерѣ, равнодушная природа превосходно разрослась, особенно по боковымъ аллеямъ, и это не отъ скромности, а оттого, что прежній губернаторъ велѣлъ подрѣзать на большой аллеѣ старыя липы; ему казалось несовмѣстнымъ съ буквальнымъ исполненіемъ обязанности такое своеволіе липовыхъ сучьевъ. Лишенныя верхушекъ своихъ, липы, съ торчащими къ небу вѣтвями, сбивались на колодниковъ, которымъ обрили полголовы въ предупрежденіе побѣга, и, казалось, титановски повторяли стихъ Озерова:

Есть боги, — а земля злодъямъ предана.

Но зато по маленькимъ дорожкамъ деревьямъ была воля вольная рости, сколько душъ угодно, или сколько соку хватитъ.

На одной-то изъ нихъ, въ теплый апръльскій день, пришедшій, въроятно, для того въ NN, чтобъжители потомъ поняли весь холодъ мая, слёдующаго за нимъ, -- какая-то дама въ бёломъ бурнуст прогуливалась съ кавалеромъ въ черномъ пальто. Садъ былъ разбить по горь; на самомъ высокомъ мъстъ стояли двъ лавочки, обыкновенно иллюстрированныя довольно отчетливыми политипажами неизвъстной работы; частный приставъ, сколько ни старадся, не могъ никакъ поймать виповниковъ и самоотверженно посылаль передъ всякимъ праздникомъ пожарнаго солдата (какъ привычнаго къ разрушеніямъ) уничтожать художественныя произведенія, періодически высыпавшія на скамейкъ. Дама и кавалеръ сѣли на нее. Видъ былъ недуренъ. Большая (и съ большою грязью) дорога шла каймою около сада п впадала въ ръку; ръка была въ разливъ; на обоихъ берегахъ стояли телъги, повозки, тарантасы, отложенныя лошади, бабы съ узелками, солдаты и мъщане, два досчаника ходили безпрерывно взадъ и впередъ; биткомъ набитые людьми, лошадьми и экипажами, они медленно двигались на веслахъ, похожіе на какихъ-то ископаемыхъ многоножныхъ раковъ, последовательно поднимавшихъ и опускавшихъ свои ноги; разнообразные звуки доносились до ушей сидъвшихъ, скрипъ телегъ, бубенчики, крикъ перевозчиковъ и едва слышный отвъть съ той стороны; брань торонящихся нассажировъ, тонотъ лошадей, устанавливаемыхъ на досчаникъ, мычаніе коровы, привязанной за рога къ телъгъ, и громкій разговоръ крестьянъ на берегу, собравшихся около разложеннаго огня. Дама и кавалеръ прервали свои рѣчи и, молча, смотрѣли и слушали даль... Отчего все это издали такъ сильно дъйствуеть на насъ, такъ потрясаеть,—не знаю, но знаю, что дай Богь Віардо и Рубини, чтобъ ихъ слушали всегда съ такимъ біеніемъ сердца, съ какимъ я

много разъ слушалъ какую-нибудь протяжную и безконечную пъсню бурлака, сторожащаго ночью барки, пъсню унылую, перерываемую плескомъ воды и вътромъ, шумящимъ между прибрежнымъ ивнякомъ. И мало ли что мнѣ чудилось, слушая монотонные, унылые звуки; мнѣ казалось, что этой пъснью бъднякъ рвется изъ душной сферы въ иную, что онъ, не давая себъ отчета, оглашаетъ свою печаль, что его душа звучитъ потому, что ей грустно, потому, что ей тъсно, и пр. п пр. Это было въ мою молопость!

— Какъ хорошо здёсь... сказала, наконець, дама въ бёломъ

бурнусъ. Сознайтесь, что и съверная природа прекрасна?

— «Какъ вездъ. Гдъ бы ни взглянулъ человъкъ и когда бы ни взглянулъ на природу, на жизнь, съ раскрытой душой, прямо, безкорыстно, онъ дадуть бездну наслажденія».

— Это правда. Всёмъ на свётё можно любоваться, если только хочешь. Мий часто приходить въ голову странный вопросъ, отчего человёкъ умёетъ всёмъ наслаждаться, во всемъ находить пре-

красное, кром' въ людяхъ?

- «Понять можно отчего, но отъ этого не легче будетъ. Мы вносийъ въ нашихъ отношеніяхъ съ людьми заднюю мысль, которая тотчасъ убиваетъ самой дрянной прозой поэтическое отношеніе. Человѣкъ въ человѣкѣ всегда видитъ непріятеля, съ которымъ надобно драться, лукавить и сиѣшить опредѣлить условія перемирія. Какое жъ тутъ наслажденіе? Мы съ этимъ выросли и отдѣлаться отъ этого почти невозможно; въ насъ во всѣхъ есть мѣщанское самолюбіе, которое заставляетъ оглядываться, осматриваться; съ природой человѣкъ не соперничаетъ, не боится ея и оттого намъ такъ легко, такъ свободно въ одиночествѣ; тутъ сосершенно отдаемся впечатлѣніямъ; пригласите съ собой самаго близкаго пріятеля, и уже не то».
- Я вообще мало встрёчаю людей, особенно такихъ, которые бы мнѣ были близки; но думаю, что есть, что можетъ быть, по крайней мѣрѣ, такое сочувствіе между лицами, что всѣ внѣшнія препятствія непониманья нали между ними, опи не могутъ помѣшать другъ другу ни въ какомъ случаѣ жизни.

— «Я сомиванось въ продолжительной полноть такого сочувствія; это все говорится только. Люди, совершенно сочувствующіе, еще не договорились до тъхъ предметовъ, гдъ они противоположны; но, рано или поздно, они договорятся».

— Все же, пока они не договорились, могутъ быть минуты полной симпатіи, гдѣ они не мѣшаютъ другь другу наслаждаться

п природой и собой.

— «Въ эти-то минуты я только и върю. Это святыя минуты душевной расточительности, когда человъкъ не скупъ, когда онъ

все отдаеть и самъ удивляется своему богатству и полнотѣ любви. Но эти минуты очень рѣдки; по большей части мы не умѣемъ ни оцѣнить ихъ въ настоящемъ, ни дорожить ими, даже пропускаемъ ихъ чаще всего сквовь нальцы, убиваемъ всякой дрянью, и они проходятъ человѣка, оставляя послѣ себя болѣзненное щемленіе сердца и тупое воспоминаніе чего-то такого, что могло бы быть хорошо, но не было. Надобно признаться, человѣкъ очень глупо устроилъ свою жизвы: девять десятыхъ ея проводить въ вздорѣ и мелочахъ, а послѣдней долей онъ не умѣетъ пользоваться».

- Зачёмъ же терять такія минуты, когда человёкъ знасть имъ цёну? На васъ лежитъ двойная отвётственность,—зам'ятила Круциферская, улыбаясь—вы такъ ясно видите и понимаете.
- «Я не только такими міновеніями, я дорожу каждымъ наслажденіемъ; но, вѣдь, это легко сказать: не теряйте такія міновенія; одна фальшивая нота—и оркестръ погибъ. Какъ отдаться вполнъ, когда тутъ же рядомъ видишь всякія привидѣнія, грозящія пальцемъ, ругающіяся...»
- Какія? Не собственные ли это капризы? замѣтила Круци-ферская.
- -- «Какія? повториль Бельтовь, котораго голось мало по малу изманялся отъ внутренняго движенія: трудно мна вамъ объяснить, а для меня это очень ясно; человъкъ такъ себя забилъ, что не смъеть дать воли ни одному чувству. Послушайте, такъ п быть, я скажу вамъ примёръ, именно тотъ, который не слёдовало бы говорить, — но я его скажу... начавши, я не въ силахъ остановить себя. Съ первыхъ дней нашего знакомства я полюбиль вась... Дружба ли это, любовь ли, просто ли сочувствее?.. Но знаю, что вы, ваше присутствіе сділались для меня необходимостью. Знаю то, что цёлыя утра я проводилъ въ дётскомъ нетерпфнін, въ бользненномъ ожиданіи вечера... Приходилъ, наконецъ, вечеръ, я бѣжалъ къ вамъ, задыхаясь отъ мысли, что я увижу васъ; лишенный всего, окруженный со всёхъ сторонъ холодомъ, я на васъ смотрѣлъ, какъ на послѣднее утъщеніе... Повърьте, что на сію минуту я всего далъе отъ фразъ... Съ волненіемъ переступаль я порогь вашего дома и входиль хладнокровно и говориль о постороннемъ, и такъ проходили часы... Для чего эта глупая комедія?.. Скажу больше, вы не остались равнодушны ко мит; въроятно, иной вечеръ и вы меня ждали, я видътъ радость въ вашихъ глазахъ при моемъ появленіи, и сердце у меня билось въ эти минуты до того, что я задыхался, — и вы меня встръчали съ притворной учтивостью, и вы садились издали и мы представляли постороннихъ... Зачёмъ?.. Разве на дне моей души, на днъ вашей души было что-нибудь такое, чего надобно

стыдиться, прятать отъ глазъ людей? Нътъ!—Чего отъ глазъ людей?.. Еще смъшнъе: мы скрывали другъ отъ друга нашу близость; теперь въ первый разъ говоримъ мы объ этомъ, да и тутъ, кажется, вполовину скрываемъ. Самое свътлое чувство дълается острымъ, жгучимъ, дълается темнымъ, чтобъ не сказать другого слова,—если его боятся, если его прячутъ, оно начнетъ въритъ, что оно преступно, и тогда оно сдълается преступнымъ; въ самомъ дълъ, наслаждаться чъмъ-нибудъ, какъ воръ краденымъ, съ запертыми дверями, прислушиваясь къ шороху, унижаетъ и предметъ наслажденья и человъка».

— Вы несправедливы, отвъчала Круциферская дрожащимъ голосомъ: я никогда не скрывала моей дружбы къ вамъ, я не

имъла въ этомъ нужды...

— «Такъ отчего же, скажите, возразилъ Бельтовъ, схвативъ ея руку и крѣпко ее сжимая, — отчего же измученный, съ душою, переполненною желаніемъ исповѣди, обнаруженія, съ душою, полной любви къ женщинѣ, я не имѣлъ силы придти къ ней и взять ее за руку, и смотрѣть въ глаза, и говорить... и говорить... и склонить свою усталую голову на ея грудь... Отчего она не могла меня встрѣтить тѣми словами, которыя я видѣлъ на ея устахъ, но которыя никогда ихъ не переходили».

— Оттого, отвъчала Круциферская съ какой-то отчаянной энергіей,—оттого, что эта женщина принадлежить другому и любить

его... Да, да! любитъ его отъ души.

Бельтовъ бросилъ ея руку.

— «Представьте себъ, что я именно этого отвъта и не ждалъ, а теперь мнъ кажется, что другого и сдълать нельзя. Однако, позвольте, развъ непремънно вы должны отвернуться отъ одного сочувствія другому, какъ будто любви у человъка дается извъстная мъра».

— Можетъ быть, но я не понимаю любви къ двоимъ. Мужъ мой, сверхъ всего другого, одной своей безпредъльной любовью

стяжаль огромныя, святыя права на мою любовь.

— «Зачёмъ вы начали защищать права вашего мужа? Никто не нападаетъ на нихъ. Къ тому же, вы дурно начали ихъ защищать. Да, если его любовь дала ему такія права, отчего же любовь другого, искренняя, глубокая, не имъетъ никакихъ правъ? Это странно!.. Послушайте, Любовь Александровна, откровенность, откровенность разъ въ жизни, потомъ, пожалуй, я совсёмъ не буду ничего говорить, даже уъду, если вы хотите. Вы говорите, что не понимаете возможности любить вашего мужа и еще любить; не понимаете? Сойдите поглубже въ душу вашу и посмотрите, что тамъ дълается теперь, сейчасъ. Ну, имъйте же духъ признанья, что я правъ, скажите, по крайней мъръ, что вы все это перечув-

ствовали, передумали, въдь я это знаю, я видълъ эти думы на вашемъ челъ, въ вашихъ глазахъ».

- Ахъ, Бельтовъ, Бельтовъ, зачёмъ все это, зачёмъ этотъ разговоръ? говорила Круциферская голосомъ, исполненнымъ мрачной грусти;—намъ было такъ хорошо... Теперь не будетъ такъ... Вы увидите.
- «То есть, пока мы не назвали вещей своими пменами? Какое ребячество!» Бельтовъ грустно качалъ головою и щурилъ глаза; лицо его, за минуту вдохновенное и выражавшее безконечную нѣжность, приняло свою насмѣщливую мину.

Со слезами, съ ужасомъ смотрѣла на него испуганная женщина... Круциферская была поразительно хороша въ эту минуту; шлянку она сняла; черные волосы ея, развитые отъ сырого вечерняго воздуха, разбросались; каждая черта лица была оживлена, говорила, и любовь струплась изъ ея синихъ глазъ; дрожащая рука то жала илатокъ, то покидала его и рвала ленту на шлянкъ, грудь по временамъ поднималась высоко, но, казалось, воздухъ не могъ проникнуть до легкихъ. Чего хотълъ этотъ гордый человъкъ отъ нея? Онъ хотълъ слова, онъ хотълъ торжества, какъ будто это слово было нужно; если-бъ онъ былъ юнъе сердцемъ, если-бъ въ головъ его не обжились такъ долго мысли горькія и странныя, онъ не спросилъ бы этого слова.

— Вы ужасный человъкъ, промолвила, наконецъ, бъдная Круциферская и подняла робкій взглядъ на него.

Онъ выдержалъ этотъ взглядъ и спросилъ:

— «Куда это Семенъ Ивановичъ запропастился? Хотѣлъ тотчасъ придти. Не ищетъ ли онъ насъ въ другихъ аллеяхъ? Пойдемте къ нему на встрѣчу, а то совсѣмъ смеркается».

Она не трогалась съ мъста, обиженная тономъ послъднихъ словъ. Помолчавши нъсколько, она опять подняла взоръ свой на Бельтова и тихимъ, умоляющимъ голосомъ сказала ему:

— Я стала ниже въ вашихъ глазахъ, вы забыли, что я простая слабая женщина, и слезы лились изъ глазъ ея. Тутъ, какъ всегда, любовь и теплота женщины побъдили гордую требовательность мужчины. Бельтовъ, тронутый до глубины души, взялъ ея руку и приложилъ къ своей груди; она слышала біеніе его сердца, она слышала, какъ горячія капли слезъ падали на ея руку...Онъ былъ такъ хорошъ, такъ увлекателенъ въ своей гордой страсти... У ней самой такъ волновалась кровь, такъ смутно было въ головъ и такъ хорошо, такъ богато чувствами на сердцъ, что она въ какомъ-то безотчетномъ порывъ бросилась въ его объятія, и ея слезы градомъ лились на пестрый парижскій жилетъ Владиміра Петровича. Почти въ ту же минуту раздался голосъ Семена Ивановича:

«Гий вы? кричаль онь: туть, что ли?»

- «Здѣсь», отвѣчалъ Бельтовъ и подаль руку Любови Алек-

сандровиъ.

Бельтовъ былъ упоенъ своимъ счастьемъ; его дремавшая душа вдругъ воскресла со всёми своими силами. Любовь, доселё сдерживаемая, распахнулась въ немъ, онъ чувствовалъ невыразимое блаженство во всемъ бытіп своемъ. Какъ будто онъ вчера, третьяго дня не зналъ, что онъ любитъ и любимъ. Отъ дома Круциферскаго онъ воротился въ садъ, бросился на ту же скамью, грудь его была такъ полна, и слезы текли изъ глазъ; онъ удивлялся, что нашелъ и столько юности и столько свёжести въ себъ... Правда, вскоръ примъщалось что-то неловкое къ радостному чувству, что-то такое, что заставляло его морщить любъ; но, воротившись домой, онъ велълъ Григорью подать за закуской бутылку шампанскаго и неловкое потонуло въ немъ, а радостное стало еще звонче.

Круциферская, блёдная какъ смерть, простилась съ Бельтовымъ у своего дома, куда ихъ проводилъ и Семенъ Ивановичъ. Она не смёла понять, не смёла ясно вспомнить, что было..... Но одно какъ-то страшно помнилось, само собою, всёмъ организмомъ,— это горячій, пламенный, продолжительный поцёлуй въ уста, и ей хотёлось забыть его, и такъ хорошъ онъ былъ, что она ни за что въ свётть не могла бы отдать воспоминанія о немъ. Семенъ Ивановичъ хотёлъ идти, Круциферская испуталась; она просила его зайти, она боялась одна переступить за порогъ, ей было страшно.

Они вошли. Дмитрій Яковличъ сидѣлъ передъ столомъ и внимательно читалъ какой-то журналъ; видъ его былъ, кажется, покойнѣе и безмятежнѣе, нежели обыкновенно. Добродушно улыбаясь входящимъ, онъ закрылъ журналъ и, протягивая руку женѣ,

спросилъ:

— Гдѣ вы это загулялись? Я ждалъ, ждалъ тебя, даже грустно сдѣлалось.

Рука жены была холодна и покрыта потомъ, какъ бываетъ у при смерти больныхъ.

«Мы были въ саду», отвъчалъ Круповъ за нее.

— Что съ тобою? спросиль Круциферскій:—какая у тебя рука! да на тебъ, мой другь, лица нѣтъ.

— «У меня что-то кружится голова; не безпокойся, Дмитрій, я пойду въ спальню и выпью воды, это сейчасъ пройдетъ».

«Позвольте, позвольте; куда торопиться? дайте-ко посмотръть; вы забыли что-ли, что я докторъ... Что это? да ей дурно. Дмитрій Яковлевичъ, посадимте ее на диванъ; держите такъ, подъ руку, подъ руку... такъ, такъ. Я что-то на дорогъ замътилъ, что ей не по себъ. Весенній воздухъ, кровь остра, талый ледъ испаряется,

всякая дрянь оттапваеть... Кабы была подъ рукой англійская горчица, сдёлать бы синапизмики, маленькіе, въ ладонь, съ чернымъ хлёбомъ и уксусомъ... Кухарка ваша дома?.. Пошлите-ка къ моему Карпу, онъ знаетъ... просто, такъ спросить горчицы... такъ и привязать къ икрамъ, а не поможетъ, еще парочку, пониже плечъ, гдв мясное мъсто».

- «Я не больна, я не больна, повторяла слабымъ голосомъ Любовь Александровна, приходя въ себя и дрожа всёмъ тёломъ: Дмитрій, поди сюда ко мнъ, Дмитрій... я не больна, дай мнъ твою руку».
- Что съ тобою, что съ тобою, мой ангелъ? спрашивалъ ее мужъ, который самъ уже успълъ и занемочь, расплакаться.

Она посмотрѣла какимъ-то странно грустнымъ взглядомъ на него, но не могла сказать, зачѣмъ его звала. Онъ опять спросилъ ее.

— «Дай мий воды, да немножко уснуть, и я буду здорова, мой другъ».

Часа черезъ два или три Любовь Александровна, наказанная угрызеніями совъсти внутри и горчишниками снаружи за поцълуй Бельтова, лежала на постели въ глубокомъ летаргическомъ снъ или въ забытьи. Потрясеніе было слишкомъ сильно, организмъ не выдержалъ.

А въ гостиной на диванѣ лежалъ совсѣмъ одѣтый Круповъ, оставшійся сколько для больной, столько и для Крупиферскаго, растеряннаго и испуганнаго. Круповъ, чрезвычайно сердясь на пружины дивана, которыя нисколько не способствуя эластичности его, придавали ему свойства, очень близкія той бочкѣ, въ которой кареагеняне прокатили Регула,—въ четверть часа сладко захрапѣлъ съ спокойствіемъ человѣка, равно не обременявшаго себѣ ни совѣсти, ни желудка.

Возить кровати больной горть ночникъ, сдъланный въ блюдечкъ, который бросалъ довольно яркій кругъ свъта на потолокъ, безпрестанно измънявшій величину, колебавшійся и вторившій встых движеніямъ маленькаго пламени, сожигавшаго маленькую свътильню. Блідный и потерянный, Круциферскій сидѣлъ за столикомъ, на которомъ стоялъ ночникъ. Кому случалось проводить ночи у изголовья трудно больнаго друга, брата, любимой женщины, особенно въ нашу полновъсную зимнюю ночь, тотъ пойметъ, что было на душѣ нервнаго Круциферскаго. Тупое, глупое чувство безсилія помочь, вмъстѣ съ страхомъ будущаго п съ горячешной напряженностью отъ безсонницы и устали, привели его въ какое-то раздраженное состояніе. Онъ безпрестанно приподнимался и смотрълъ на нее, клалъ ей руку на лобъ, находилъ, что жаръ уменьшился, и начиналъ думать, что не хуже-

ли это, не бросилась ли болёзнь внутрь. Онъ вставаль, переставляль ночникъ и склянку съ лекарствомъ, смотрълъ на часы, подносиль ихъ къ уху и, не видавши который часъ, клалъ ихъ опять, потомъ опять садился на свой стулъ и начиналъ вперять глаза въ колеблющійся кружокъ свёта на потолкі, думать, мечтать, п воспаленное воображение чуть не доходило до бреда. Нътъ, думаль онъ, это нельзя, это невозможно, ну, просто невозможно; какъ это, она одна у меня на свътъ, она такъ молода. Богъ видить мою любовь, онъ сжалится надъ нами. Это пустяки, пройдеть; такъ, холодный, сырой вътеръ, кровь остра, ледъ испаряется, да, только весеннія простуды страшны, нервная горячка, чахотка... Какъ это до сихъ поръ не умъютъ лечить чахотки? Страшная бользны! впрочемъ, она опасна до 18 лътъ; а вотъ у нашего французскаго учителя жена 30 лътъ, а въ чахоткъ умерла, да, умерла, ну, если... И ему такъ живо представился гробъ въ гостиной, покрыть покровомъ, грустное чтеніе раздается, Семенъ Ивансвичь стоить печальный возль, Яшу держить нянька, повязанная бъльмъ платкомъ. А потомъ еще что-то страшнъе почудилось ему, что и гроба нътъ, въ комнатъ такъ прибрано, полы вымыты... только попахиваеть ладаномъ. Онъ всталъ, близкій къ обмороку, и подошелъ къ женъ. Щеки ея пылали, она тяжело дышала, болъзненно сонъ сковалъ ее. Круциферскій скрестилъ руки на груди, и горько заплакалъ... Да! этотъ человъкъ умълъ любить, стоило взглянуть на него; онъ опустился на колени, взялъ горячую руку жены и приложиль ее къ губамъ своимъ.

— Нътъ, говорилъ онъ вслухъ, нътъ: — Онъ не возьметь ее,

она не оставитъ меня; что же со мной будеть безъ нея?

И, поднявши глаза къ небу, онъ молился.

Тутъ вошелъ Семенъ Ивановичъ съ сильно заспаннымъ видомъ: лѣвый глазъ у него вовсе не хотѣлъ открываться, сколько онъ ни нудилъ мускулъ, нарочно затѣмъ приставленный къ глазу, чтобъ его раскрывать.

— «Что, начала бредить? а?»

— Нътъ, она спитъ спокойно.

— «Я самъ, братецъ, слышалъ; во снъ, что ли, мнъ показалось».

— Должно быть, Семенъ Ивановичь, вамъ показалось во снѣ, возразилъ Дмитрій Яковлевичь съ видомъ пойманнаго школьника.

Круповъ подошелъ къ постели. Жарокъ есть, а впрочемъ, кажется, ничего; да вы бы прилегли, Дмитрій Яковлевичъ, ну, что пользы себя мучить.

— Нътъ-съ, я не лягу, отвъчалъ Дмитрій Яковлевичъ.

— «Вольному воля», замѣтилъ Круповъ, зѣвая и направляя стопы свои къ рельефному дивану, на которомъ преспокойно проспаль до половины осьмаго, часъ, въ который онъ вставалъ

ежедневно, несмотря на то,—въ десять ли вечера онъ ложился, или въ семь по утру.

Осмотръвши больную, Семенъ Ивановичъ рѣшилъ, что это легонькая простудная горячечка, какъ онъ выражался, и прибавилъ, что теперь это въ повѣтріи.

Что было послѣ горячечки, пусть разскажеть сама Любовь

Александровна; вотъ отрывокъ изъ ея журнала.

18 мая. Какъ давно я не писала въ этой книгъ: больше мъсяца.... больше мъсяца! а иной разъ подумаещь, будто голы прощли съ того дня, какъ я занемогла. Теперь, кажется, все прошло, и жизнь опять пойдеть тихо, спокойно. Вчера я первый разъ выходила изъ дому. Какъ я рада была подышать воздухомъ! Погода была прекрасная.... Однако я очень ослабъла во время бользни: два или три раза прошла я по нашему полисаднику и до того устала, что у меня закружилась голова. Дмитрій нерепугался, но это тотчасъ прошло. Господи! какъ онъ меня любить! Добрый, добрый Динтрій, какъ онъ ходиль за мной! Стоило мнъ ночью раскрыть глаза, пошевельнуться, —онъ уже стояль туть; спрашивалъ, что мнъ надобно, предлагалъ пить... Бъдный, опъ самъ похудъль какъ будто послъ бользни. Какая способность любви! Надобно имъть каменное сердце, чтобъ не любить такого человъка. О! я люблю его, мит было бы невозможно не любить его. То происшествіе въ саду, оно ничего не значить, болізнь уже приготовлялась и я была въ особомъ расположеніи, нервы у меня были раздражены. Вчера я его видёла въ цервый разъ послё болъзни.... Его голосъ я слыхала какъ сквозь сонъ, но его не видала. Онъ былъ очень взволнованъ, хотя и скрывалъ это, голосъ у него дрожаль, когда онъ мнъ сказаль: «Наконецъ-то, наконецъто вамъ лучше». Потомъ онъ мало говорилъ, какая-то мысль его занимала, онъ раза два провель рукою по лбу, какъ будто желалъ стереть ее, но она спова проступала. Ни одного малъйшаго намека о бывшемъ: онъ, върно, понялъ, что это было болъзненное опьяненіе. Зачёмъ я не разсказала всего Дмитрію? Въ тотъ вечеръ, когда онъ такъ кротко протянулъ мнѣ руку, мнѣ хотълось броситься къ нему и все разсказать, но я не имъла силы, мнъ сдълалось дурно. Сверхъ того, Дмитрій такъ нъженъ, его это страшно бы огорчило. Послъ я ему скажу непремънно.

20 мая. Вчера мы были съ Дмитріемъ въ саду, онъ хотілть състь на той скамейкъ, я сказала, что боюсь вътра съ ръки,—мнъ эта скамейка сдълалась страшна; мнъ казалось, что для Дмитрія будеть оскорбительно сидъть на ней. Будто это правда, что можно любить двоихъ? Не понимаю. Можно и не двоихъ, а иъсколькихъ любить, но тутъ пгра словъ; любить любовью можно одного, и ею я люблю моего мужа. А потомъ, я люблю Крупова,

п не боюсь признаться, что п Бельтова люблю; это такой сильный человъкъ, что я не могу не любить его. Это человъкъ, призванный на великое, необыкновенный человъкъ; изъ его глазъ свътится геній. Та любовь и не нужна такому человъку. Что для него женщина? Она пропадаетъ въ безпредъльной душт его... Ему нужна любовь иная. Онъ страдаетъ, глубоко страдаетъ и нъжная дружба женщины могла бы облегчить эти страданія; ее онъ всегда найдетъ во мнт, онъ слишкомъ пламенно понимаетъ эту дружбу, онъ все пламенно понимаетъ; сверхъ того, онъ такъ не привыкъ къ вниманію, къ симпатія; онъ всегда былъ одинокъ, душа его, огорченная, озлобленная, вдругъ встрепенулась отъ голоса сочув-

ствующаго. Это очень натурально.

23 мая. Бываютъ иногда странныя минуты какого-то безпокойнаго желанія жизни еще полнъйшей. Неблагодарность ли это къ судьбъ, или ужъ человъкъ такъ устроенъ; а я чувствую часто, особенно съ нъкотораго времени, стремленіе... очень мудрено это выразить. Я искренно люблю Дмитрія; но иногда душа требуеть чего-то другого, чего я не нахожу въ немъ. Онъ такъ кротокъ, такъ нъженъ, что я готова раскрыть ему всякую мечту, всякую дътскую мысль, пробъгающую по душъ; онъ все оцънитъ, онъ не улыбнется съ насмъшкой, не оскорбить холоднымъ словомъ пли ученымъ замъчаніемъ, но это не все; бываютъ совстыв иныя требованія, душа ищеть силы, отвату мысли; отчего у Дмитрія нъть этой потребности добиваться до истины, мучиться мыслію? Я, бывало, обращаюсь къ нему съ тяжелымъ вопросомъ, съ сомнъніемъ, а онъ меня успоконваеть, утъщаеть, хочеть убаюкать, какъ дълаютъ съ дътьми... а мий совсъмъ не того хотълось бы... Онъ и себя убаюкиваеть тёми же дётскими вёрованіями, а я не могу.

24 мая. Яша болень. Два дня онъ лежалъ въ жару, сегодня показалась сынь, Семенъ Ивановичъ меня обманываетъ. Въ десять разъ лучше сказать прямо; надобно испутать воображеніе, а не предоставить ему волю: оно само выдумаеть еще страшитье, еще хуже. Я не могу прямо въ глаза посмотръть Яшъ, сердце обливается кровью, страданія ребенка ужасны. Какъ онъ похудъть, бъдняжка, какъ блъденъ!... и туда же, чуть выдетъ минута полегче, улыбается, просить мячикъ. Что это за непрочность всего, что намъ дорого, — страшно вздумать! Такъ какой-то вихрь несеть, кружить всякую всячину, хорошее и дурное, и челов'ькъ туда попадаеть, и бросить его на верхъ блаженства, а потомъ внизъ. Человъкъ воображаетъ, что онъ самъ распоряжается всимъ этимъ, а онъ точно щепка въ ръкъ повертывается въ маленькомъ кружечкъ и плыветь вмъсть съ волной, куда случится,прибьеть къ берегу, унесеть въ море, или увязнеть въ тинъ:... Скучно и обидно!

26 мая. У него скарлатина. У Динтрія умерло троє братьєвъ отъ скарлатины. Семенъ Ивановичь печаленъ, сердить, грубъ, и не отходить отъ Яши. Боже мой, Боже мой! что это такое дѣлается надъ нами? Дмитрій самъ едва ходить; это-то счастіе я тебъ принесла?

27 мая. Время тащится тихо, все тоже; смертный приговоръ или милость... поскоръй бы... Что у меня за страшное здоровье, какъ я могу выносить все это! Семенъ Ивановичъ только и говоритъ:—подождите, подождите.... Яша, ангелъ мой, прощай... прощай, малютка!

29 мая. Полтора сутокъ прошло поснокойнѣе, кризисъ миновалъ. Но тутъ-то и надобно беречь. Все это время я была въ какомъ-то натянутомъ состояніи, теперь начинаю чувствовать страшную душевную усталь. Хотѣлось бы много поговорить отъ души. Какъ весело говорить, когда насъ умѣютъ вѣрно, глубоко понимать и сочувствовать.

1 *іюня*. Все идетъ хорошо... Кажется, на этотъ разъ туча прошла мимо головы. Яша пгралъ со мной сегодня часа два на своей постелькъ. Онъ такъ ослабълъ, что не можетъ держаться на ногахъ. Добрый, добрый Семенъ Ивановичъ, что за человъкъ!

6 іюня. Все успокоилось, Яшт гораздо лучше; но я больна, больна, это я чувствую. Сижу иногда у его кроватки, и вмъсто радости, вдругъ, безъ всякой внъшней причины, поднимается со дна души какая-то давящая грусть, которая растеть, растеть и вдругь становится нъмою, жестокой болью; готова бы, кажется, умереть. Я въ этой суетъ не имъла времени остаться наединъ съ собою; моя болъзнь, болъзнь Яши, хлопоты не давали мнъ ни минуты углубиться въ себя. Лишь стало поспокойнъе и лучше, какой-то скорбный, мучительный голосъ звалъ меня заглянуть въ свое сердце, и я не узнала себя. Вчера послѣ обѣда я что-то чувствовала себя дурно, сидъла у Яши, положила голову на его подушечку и уснула... Не знаю, долго-ли я спала, но вдругь мить сдълалось какъ-то тяжело, я раскрыла глаза, передо мною стоялъ Бельтовъ и никого не было въ комнатъ... Дмитрій пошелъ давать уроки... Онъ смотръть на меня, и глаза его были полны слезъ; онъ ничего не сказалъ, онъ протянулъ мнъ руку, онъ сжалъ мою руку кръпко, больно... и ушелъ. Зачъмъ же онъ не сказалъ ничего?.. Я хотъла его остановить, но у меня не было голоса въ груди.

9 іюня. Онъ быль весь вечерь у насъ и ужасно весель, сыпаль остротами, колкостями, хохоталь, шумёль, но я видёла, что все это натянуто; мнё даже казалось, что онъ выпиль много вина, чтобъ поддержать себя въ этомъ состояніи. Ему тяжело.

Онъ обманываетъ себя, онъ очень не веселъ. Неужели я вмъсто

облегченія принесла новую скорбь въ его душу?

15 іюня. День быль сегодня удушливый, я изнемогала отъ жара. Къ объду собралась гроза и проливной дождь освъжилъ меня, можетъ, больше, нежели траву и деревья. Мы пошли въ садъ; на дворъ необычайно было хорошо: деревья благоухали какой-то укръпляющей, влажной свъжестью; мнъ стало легко... Я первый разъ вспомнила о тогданитемъ днъ иначе, въ немъ много прекраснаго... Можеть ли быть что-нибудь преступное полно прелести, упоенія, блаженства?.. Мы шли по той же дорожкъ. На лавочкъ кто-то сидълъ, мы подошли, это былъ онт; я чуть не вскрикнула отъ радости. Онъ былъ очень печаленъ, вст слова его были грустны, исполнены горечи и ироніп. Онъ правъ-люди сами себъ выдумывають терзанія; ну, если-бъ онъ былъ мой брать, развъ я не могла бы его любить открыто, говорить объ этомъ Дмитрію, всъмъ?... И никому не показалось бы это странно. А онъ брать мить, я это чувствую... Какъ мы могли бы прекрасно устроить нашу жизнь, нашь маленькій кружокь изъ четырехъ лицъ; кажется, и довъріе взаимное есть, и любовь, и дружба, а мы дёлаемъ уступки, жертвы, не договариваемъ. Когда мы шли домой, было поздно; мъсяцъ взошелъ. Бельтовъ шелъ возлъ меня. Что за странная, магнетическая власть взгляда у этого человѣка! Взглядъ Дмитрія тихъ и спокоенъ, какъ небо голубое, а его волнуеть, такъ дълается безпокойно, п потомъ нътъ.

Мы мало говорили... только, прощаясь, онъ мит сказалъ: «Я много думалъ объ васъ все это время и... мит очень бы хоттлось поговорить, такъ на душт много». —И я думала объ васъ... прощайте, Вольдемаръ... Я сама не знаю, какъ у меня сорвались эти слова; я никогда его такъ не называла, но мит казалось, что я не могу его иначе назвать. Онъ содрогнулся, услышавъ это названье; онъ наклонился ко мит и, съ тою итмностью, которая минутами является у него, сказалъ: «Вы треты меня такъ назвали, это меня можетъ тешить, какъ ребенка, я буду этимъ счастливъ дня на два».—Прощайте, прощайте, Вольдемаръ, повторила я. Онъ хоттль что-то сказать, подумалъ, пожалъ мит

руку, посмотрълъ въ глаза и ушелъ.

20 *іюня*. Я много изм'єнилась, возмужала посліє встрієчи съ Вольдемаромь; его огненная, дієятельная натура, безпрестанно занятая, трогаеть всіє внутреннія струны, касается всієхь сторонь бытія. Сколько новых вопросовь возникло въ душі моей! Сколько вещей простыхь, обыденныхь, на которыя я прежде вовсе не смотрівла, заставляють меня теперь думать. Многое, о чемь я едва сміта предполагать, теперь ясно. Конечно, при этомь приходится часто жертвовать мечтами, къ которымь привыкла,

которыя такъ береглись и лельялись; горька бываеть минута разставанія съ ними, а потомъ становится легче, вольнье. Мить было бы очень тяжело, если-бъ онъ убхалъ. Я не искала его, но случилось такъ; наши жизни встрътились,—совствиь врозь онъ идти не могуть; онъ открылъ мит новый міръ внутри меня. И не странно ли, что этотъ человтв, не нашедшій себт нигдт ни труда, ни покоя, одиноко обътздившій весь свтть, вдругь, здтсь, въ маленькомъ городишкть, нашелъ симпатію въ женщинт мало образованной, бтдной, далекой отъ его круга! Онъ можетъ слишкомъ любить меня,—да развт это зависить отъ воли? къ тому же, онъ столько вынесъ холоду и безучастія, что готовъ платить сторицею за всякое теплое чувство. Оставить его тты же одинокимъ, сдтлаться чужою ему я не могла бы, это было бы, просто, гртвино... Да! онъ правъ, —и его любовь имъетъ права!

Послѣднее время Дмитрій особенно не въ духѣ: вѣчно задумчивъ, болѣе обыкновеннаго разсѣянъ; у него это есть въ характерѣ, но страшно, что все это растетъ; меня безпокоптъ его

грусть и, подчасъ, я дурно объясняю ее...

22 іюня. И, кажется, не ошиблась. Вчера Дмитрій быль до того мраченъ, что я не вынесла и спросила, что съ нимъ? «У меня болить голова, отвётиль онъ, мнъ надобно походить», и взялъ свою шляпу. Пойдемъ вивств, сказала я.—«Нвтъ, другъ мой, не теперь; я пойду очень скоро, ты устанешь», —и онъ ушелъ со слезами на глазахъ. Я не вынесла этого и горько проплакала все время, пока онъ ходилъ; онъ меня засталъ на томъ же мъстъ у окна, видълъ, что я плакала, грустно пожалъ миъ руку и сълъ. Мы молчали. Потомъ, спустя нъсколько минутъ, онъ мнъ сказалъ: «Любонька, знаешь ли о чемъ я думаю? Какъ хорошо бы въ такую теплую, лътнюю ночь, гдъ-нибудь въ рощъ, положить голову тебѣ на колѣни и уснуть на вѣки».—Помилуй, Дмитрій, сказала я ему,—что это за мрачныя мысли; неужели тебъ не жаль никого покинуть здъсь? «Жаль», отвъчалъ онъ: «очень жаль и тебя, и Яшу; но Семенъ Ивановичъ говоритъ, что я только могу повредить воспитанію Яши, да я и самъ согласенъ, что ты лучше воснитаешь его, нежели я. Къ тому же, другъ мой, и тамъ, какъ здёсь, вёчная молитва о васъ, молитва, полная вёры и упованья, найдеть доступъ... Тебъ будеть меня жаль, я это знаю, другъ мой, ты такъ добра; но ты найдешь сплы перенести этотъ ударъ, признайся сама». Мнъ было невыносимо больно слушать его; я изъ этихъ словъ слышала и видъла чувство нехорошее, слезы лились у меня изъ глазъ. Что это такое? Мит начинаетъ казаться, что я созвала какія-то б'ёдствія на нашу жизнь. А, между тімъ, совъсть моя чиста... Неужели я довела его до такого состоянія недостаткомъ любви, или... У него нътъ прежней въры въ меня,

это я вижу! Неужели въ его благородной душт есть мъсто чувству, котораго назвать не хочу? Неужели онъ подозръваетъ, что я разлюбила его и люблю другого! Господи! какъ мит объяснить это ему? Я не другого люблю, а люблю его и люблю Вольдемара; симпатія моя съ Вольдемаромъ совсёмъ иная... Странно, мит казалось, что жизнь наша успокоилась, что она пойдеть широко, полно, — и вдругъ какая-то пропасть раскрылась подъ ногами... лишь бы удержаться на краю... Тяжело... Если-бъ я умъла хорошо, очень хорошо играть на фортеньяно, я извлекла бы тъ звуки изъ души, которые не умъю высказать; Дмитрій понялъ бы меня, онъ поняль бы, что внутри меня все чисто. Бъдный Дмитрій! ты страдаешь за безпред'вльную любовь твою; я люблю тебя, мой Дмитрій! Если-бъ я съ самаго начала была откровенна съ нимъ, этого бы никогда не было; что за нечистая сила остановила меня? Какъ только онъ успокоится, я поговорю съ нимъ, и все, все разскажу ему...

23 іюня. Семенъ Ивановичь, кажется мнѣ, тоже перемѣнился со мной; да что же сдѣлала я?... Я ничего не понимаю,—ни что сдѣлала, ни что сдѣлалось. Дмитрій поспокойнѣе сегодня; я многое говорила съ нимъ, но не все; были минуты, въ которыя мнѣ казалось, что онъ понимаетъ меня, но черезъ минуту я ясно видѣла, что мы совершенно разно смотрѣли на жизнь. Я начинаю думать, что Дмитрій и прежде не вполнѣ понималъ меня, не

вполнъ сочувствовалъ, —это страшная мыслы!

24 *іюня*. Вечеромъ, поздно. Жизнь! жизнь! Среди тумана п грусти, середь болѣзненныхъ предчувствій и настоящей боли, вдругъ засіяетъ солнце, и такъ сдѣлается свѣтло, хорошо. Сейчасъ пошелъ Вольдемаръ; долго говорили мы съ нимъ... Онъ тоже грустенъ и много страдаетъ, и какъ понятно мнѣ каждое слово его! Зачѣмъ люди, обстоятельства придаютъ какой-то иной характеръ нашей симпатіи, портятъ ее? Зачѣмъ они все это

дълаютъ?

25 іюня. Вчера быль Ивановъ день. Дмитрій быль на именинахь у одного учителя. Онъ воротился поздно и нетрезвый; я никогда не видала его въ такомъ положеніи. Блѣдный, съ растрепанными волосами, невѣрными шагами ходиль онъ по спальнѣ. «Тебѣ дурно, мой другь?» сказала я: «не дать ли тебѣ воды?»— Да, говориль онъ голосомъ, задыхающимся отъ волненія, и съ выраженіемъ, совершенно чуждымъ его характеру: — если-бъ ты столько принесла воды, чтобъ утопиться можно, я бы поблагодариль тебя.—Я глядѣла прямо въ глаза ему, онъ смѣшался.— Не слушай, Бога ради, что я вру, сказаль онъ, испугавшись, вѣроятно, моего взгляда; самъ не знаю, какъ выпилъ лишній стаканъ вина, отъ этого жаръ, бредъ... Прощай, мой другъ, я

отдохну здѣсь немного, и онъ бросился совсѣмъ одѣтый на диванъ и скоро заснулъ тяжелымъ сномъ. Я не спала всю ночь: глубокое страданіе выражалось на сонномъ лицѣ его, иногда онъ улыбался, но не своей улыбкой... Нѣтъ, Дмитрій, меня не обманешь! ты не случайно выпилъ лишній стаканъ вина, ты не въ бреду говорилъ твои слова, а вино только придало тебѣ жестокости, которой вовсе нѣтъ въ твоей душѣ. Что это дѣлается надъ нашими головами, Боже милосердый! Это свыше силъ человѣческихъ! Тяжело тебѣ, бѣдный Дмитрій! А мнѣ-то видѣть его страданія и знать, что причиною всего я!

Черезъ три часа. Не могу еще ничего привесть въ порядокъ; въ душъ такъ все смутно, какъ послъ бури волны не могутъ улечься. Кровь стучитъ въ вискахъ, сердце бъется до того, что держу грудь. Дмитрій! и тебъ не гръшно такъ жалко меня понимать? и какъ ты, бъдный, страдаешь за это? Облегченье ему, облегченье!... Ахъ, какъ кружится голова и горитъ! Не опять ли горячка! Я говорила съ Дмитріемъ, я требовала отъ него объясненія его грусти, его поступковъ, его словъ. Да! онъ утратилъ въру въ меня, онъ никогда не пойметъ, что во мит дълается. Это страшно, потому что я не могу ничего перемънить... Все покрывается туманомъ, въ груди трепетъ, боль. Зачъмъ я встрътилась съ Вольдемаромъ?..

26 іюня. Какъ все странно и перепутано въ людскихъ понятіяхъ! Подумаешь иногда и не знаешь: сердиться ли, или хохотать. Мий сегодия пришло въ голову, что самоотверженийшая любовь-высочайшій эгопзмь, что высочайшее смиреніе, что кротость — страшная гордость, скрытая жесткость; мнв самой двлается страшно отъ этихъ мыслей, такъ, какъ бывало, маленькой дъвочкой, я считала себя уродомъ, преступницей за то, что не могла любить Глафиры Львовны и Алексия Абрамовича; что же мнф дфлать, какъ оборониться отъ своихъ мыслей и зачфмъ? Я не ребенокъ. Дмитрій не обвиняетъ меня, не упрекаетъ, ничего не требуеть; онъ сдёлался еще нёжнёе. Еще! воть въ этомъ-то еще п видно, что все это неестественно, не такъ; въ этомъ столько гордости и униженія для меня и такая даль отъ пониманья. Онъ очень страдаеть, но что же сказать о той женщинь, которая за любовь платить отравой? Да, Боже мой, хотела ли я этого! Я говорила съ нимъ откровените, нежели бы это сделала другая женщина; онъ, видимо, уступаетъ, но въ то же время у него накапливается совсёмъ другое въ душё и онъ не совладаеть съ этимъ другимъ.

27 *іюня*. Его грусть принимаеть видъ безвыходнаго отчаянія. Въ тѣ дни послѣ грустныхъ разговоровъ являлись минуты нѣсколько посвѣтлѣе. Теперь нѣтъ. Я не знаю, что мнѣ дѣлать. Я

изнемогаю. Много надобно было, чтобъ довесть этого кроткаго человѣка до отчаянія, я довела его; я не умѣла сохранить эту любовь. Онъ не вѣритъ больше словамъ моей любви, онъ гибнетъ.

Умереть бы мить теперы... сейчасъ, сейчасъ бы умерла!

Я начинаю себя презирать; да, хуже всего, непонятнъе всего, что у меня совъсть покойна; я нанесла страшный ударъ человъку, котораго вся жизнь посвящена мнъ. котораго я люблю, и я сознаю себя только несчастной; мнъ кажется, было бы легче, если-бъ я поняла себя преступной, о, тогда бы я бросилась къ его ногамъ, я обвила бы моими руками его колъни, я раскаяніемъ своимъ загладила бы все: раскаяніе выводить вст пятна на душт. Онъ такъ нъженъ, онъ не могъ бы противиться, онъ меня бы простиль, и мы, выстрадавши другь друга, были бы еще счастливъе. Что же это за проклятая горпость, которая не допускаеть раскаянія въ душу. Мнѣ хотѣлось бы теперь быть одной, гдъ-нибудь вдали, -- только бы Яшу взяла съ собой; я бродила бы гдъ-нибудь между чужими людьми и окръпла бы... Ты не найдешь, Дмитрій, примиренія въ своей душть. Ахъ, другъ мой, я отдала бы всю кровь мою до послъдней капли, если-бъ ты могь, хотълъ понять меня; какъ тебъ было бы хорошо! Ты падешь жертвой твоего восторженнаго непониманья, я пойду за тобой въ эту пропасть, пойду, потому что люблю тебя, потому что подземныя силы меня избрали для твоей гибели. Подчасъ мнъ кажется, что два-три слова съ Вольдемаромъ облегчили бы меня, и я боюсь искать случая съ нимъ видеться. Вотъ что сдъдали толки! Они успъли бросить страхъ и въ меня, успъли отравить свътлое и благородное чувство. Да отпустится имъ! Семенъ Ивановичъ косвенно читалъ мнѣ мораль... О, добрый Семенъ Ивановичъ! Мнъ такъ жаль его было; ничего не понимаетъ, говоритъ о святыхъ обязанностяхъ матери... Неужели ему не приходитъ въ голову, что я иногда думала объ этомъ? Участіе людское оскорбительные людского холода... Цружба считаеть лучшимъ правомъ своимъ привязать друга къ позорному столбу... Потомъ требовать исполненія сов'ятовъ, какъ бы они ни были противны тому, которому сов'ятуютъ... Ахъ, какъ все это мелко! Фу, душно, какъ въ маленькой комнаткъ, когда всъ окны закрыты, да еще мухи летаютъ!...

Если-бъ Бельтовъ не пріёзжалъ въ NN, много бы прошло счастливыхъ и покойныхъ лѣтъ въ тихой семьѣ Дмитрія Яковлевича,—конечно, но это не утѣшительно; идучи мимо обгорѣлаго дома, почернѣвшаго отъ дыма, безъ рамъ, съ торчащими трубами, мнѣ самому приходило иной разъ въ голову: если-бъ не

запала искра, да не раздулась бы въ пламень, домъ этотъ простояль бы много лётъ и въ немъ бы пировали, веселились, а теперь онъ груда камней.

Повъсть наша собственно кончена; мы можемъ остановиться, предоставляя читателю разръшить: кто виновать?

Но есть еще нѣсколько подробностей, которыя кажутся намъ довольно занимательными; позвольте ими подѣлиться. Обращаемся сначала къ бѣдному Крупиферскому.

Круппферскій, вскорт послт болтыни своей жены, замтиль, что какая-то мысль ее сильно занимаеть; она была задумчива, безпокойна... Въ ея лицт было что-то болте гордое и сильное, нежели всегда. Крупиферскому приходили разныя объясненія въ голову, странныя, невтроятныя; онъ внутренно смтялся надъними, но они возвращались.

Разъ какъ-то она сидъла съ Яшей, вдругъ въ передней стукнула дверь и кто-то спросиль: пома? Это Бельтовъ, сказалъ Круциферскій, поднимая глаза, и глаза его встрътили легкій румянецъ на лицъ Любови Александровны и оживленный взглядъ, который, кажется, быль не для него такъ оживлень. Онъ содрогнулся и промолчалъ. Онъ очень хорошо зналъ, что жена его была въ большой дружбъ съ Бельтовымъ, и нисколько не удивлялся этому; но этотъ взглядъ, но эта краска, пробъжавшая по ея лицу? Неужели? думаль онь, и снова посмотръль на то, что дълалось. Бельтовъ ласкалъ Яшу; но что за взоръ, исполненный нъжности и страсти, онъ остановиль на матери! Въ этомъ взоръ одинъ слѣпой не прочелъ бы любви, любви пламенной, и еще болъе любви счастливой. Она стояла, потупивши глаза, руки ея немного дрожали, ей, кажется, было очень хорошо. Дмитрій Яковлевичь, сказавши нѣсколько словъ, вышелъ въ другую комнату. Неужели это правда? спрашиваль онъ себя, испуганный; у него въ головъ сдълался такой сумбуръ, въ ушахъ такой стукъ, что онъ поскоръе сълъ на кровать; посидъвши минутъ пять, въ которыя онъ ничего не думаль, а чувствовалъ какое-то нелѣпо-тяжелое состояніе, онъ вошель въ комнату; они разговаривали такъ дружески, такъ симпатично, ему показалось, что имъ вовсе его не нужно. Онъ сталъ ходить по комнатъ и вспоминать разныя мелочи, едва обратившія въ свое время вниманіе, но являвшіяся теперь какъ доказательства, какъ подтвержденія. Когда Бельтовъ пошелъ, она его проводила, она ему улыбнулась, и какъ улыбнулась! «Да, она его любить». Сознавшись въ этомъ, онъ съ ужасомъ сталъ отталкивать эту мысль, но она была упорна, она всильна; мрачное, безумное отчаяніе овладёло имъ; «вотъ они, мои предчувствія! что мнѣ дѣлать! и ты, и ты не любишь меня!» И онъ рвалъ волосы на головъ, кусалъ губы, и вдругъ въ его

душь, мягкой и нёжной, открылась страшная возможность злобы, ненависти, зависти и потребность отомстить, и въ дополнение онъ нашель силу все это скрыть. Настала ночь: ему очень хотълось плакать, но не было слезъ: минутами сонъ смыкалъ его глаза, но онъ тотчасъ просыпался, облитый холоднымъ потомъ: ему снился Бельтовъ, ведущій за руку Любовь Александровну, съ своимъ взглядомъ любви; и она идетъ, и онъ понимаетъ, что это навсегда, потомъ опять Бельтовъ, и она улыбается ему, и все такъ страшно; онъ всталъ. На дворъ разсвътало; она спала, лицо ея было покойно; лицо сиящаго имъетъ иногла особенную трогательную прелесть. — таково пъйствительно въ эту минуту было липо Любови Александровны, и вдругь улыбка показалась на устахъ. «Она видитъ его во снъ», подумалъ Крупиферскій и посмотрълъ на нее съ такою ненавистью, съ такимъ звърствомъ, что, не имъй онъ миролюбивыхъ привычекъ нашего въка, онъ задушиль бы ее не хуже венеціанскаго мавра; у насъ трагедіи оканчиваются не такъ круто. «За эту безпредёльную любовь, чъть она заплатила? О. Боже мой. Боже мой!—за такую любовь!» повторяль онъ и, какъ будто, желалъ уйти отъ себя и отъ страшныхъ искушеній; онъ подошель къ кроваткъ.

Яша разбросался, подложилъ рученку подъщеку и крѣпко спаль. «Ты скоро останешься сиротой», думаль, стоя передъ нимь, Дмитрій Яковлевичъ: «бідный Яша!.. Я тебі больше не отець, не могу и не хочу перенести этого, бъдный ребенокъ! поручаю тебя Заступнику всёхъ спротъ... Какъ онъ похожъ на нее!»— Онъ заплакалъ. Слезы, молитва и покойный видъ спящаго Яши нъсколько облегунии страдальца; толна совсъмъ иныхъ мыслей явилась въ размягченной душь его. «Да правъ ли я, что обвиняю ее? Развъ она хотъла его полюбить? И притомъ онъ... я чуть ли самъ не влюбленъ въ него...» И нашъ восторженный мечтатель, сейчасъ безумный ревнивецъ, карающій мужъ, вдругъ ръшился самоотверженно молчать. «Пусть она будеть счастлива, пусть она узнаетъ мою самоотверженную любовь, лишь бы мит ее видъть, лишь бы знать, что она существуетъ; я буду ея братомъ, ея другомъ!» И онъ плакалъ отъ умпленія, и ему стало легче, когда онъ ръшился на гигантскій подвигь, — на безпрелъльное пожертвование собою, и онъ тъшился мыслию, что она будеть тронута его жертвой; но это были минуты душевной натянутости: онъ менъе, нежели въ двъ недъли, изнемогъ, налъ подъ бременемъ такой ноши.

Не станемъ винить его, подобныя противуестественныя добродѣтели, преднамѣренныя самозакланія вовсе не по натурѣ человѣка и бываютъ большею частію только въ воображеніи, а не на дѣлѣ. На нѣсколько дней его стало; но первая мысль, ослабив-

шая его героизмъ, была холодная и узкая: «она думаеть, я ничего не вижу, она хитритъ, она притворяется». О комъ думалъ онъ это? О женщинъ, которую онъ такъ любилъ, такъ уважалъ, которую должень бы быль знать, -- да не зналь. Потомь внутренняя тоска, сифдавшая его сама по себф, стала прорываться въ словахъ, потому что слова облегчаютъ грусть, --это новело къ объясненіямь, въ которыхъ ни онъ не умьлъ остановиться, ни Любовь Александровна не захотёла бы. Тяжело ему стало послё разговоровъ съ нею, онъ миноваль быть съ глазу на глазъ, и между тёмъ въ отшельнической жизни своей они почти всегда быди вдвоемь. Онъ пробовалъ больше заниматься, но ему наука не шла въ голову, книга не читалась, или пока глаза его читали, воображеніе вызывало св'єтлыя воспоминанія былаго, и часто слезы лились градомъ на листы какого-нибудь ученаго трактата. Въ душѣ его открылась какая-то пустота, которой предѣлы словно раздвигались съ каждымъ часомъ и жить съ которой было невозможно. Онъ сталъ искать разсъянія. Мы видъли въ журналъ, какъ онъ возвратился въ Ивановъ день съ вечера ученаго друга своего Мелузина.

Кстати, для отдыха отъ патетическихъ мѣстъ, пойдемте въ ученую бесѣду Медузина, и начнемъ съ того, безъ чего войти въ нее нельзя: познакомимся съ почтеннымъ хозяиномъ. Знакомство это такъ пріятно, что мы отдѣлимъ его въ новую главу.

VI.

Иванъ Аванасьевичъ Медузинъ, учитель латинскаго языка и содержатель частной школы, быль прекраснёйшій человёкъ п вовсе не похожъ на Медузу, снаружи потому, что онъ былъ плъшивъ, внутри потому, что онъ былъ полонъ не злобой, а настойкой. Медузинымъ его назвали въ семинарін, во-первыхъ, потому, что надобно было какъ-нибудь назвать, а, во-вторыхъ, потому, что у будущаго ученаго мужа волосы торчали всё врознь и отличались необыкновенной толщиной, такъ что ихъ можно было принять за проволоки, но сокрушающая сила времени «и вътеръ ихъ разнесъ». Изъ семинарін Иванъ Аванасьевичь, сверхъ пріятной минологической фамиліи, вынесъ то прочное образованіе, которое обыкновенно сопровождаеть семинаристовъ до нослъдняго дня ихъ жизни и кладетъ на нихъ ту самобытную печать, но которой вы узнаете бывшаго семпнариста во всёхъ нарядахъ. Аристократическія манеры не были отличительнымъ свойствомъ Медузина: онъ никогда не могъ рѣшиться ученикамъ говорить вы и не прибавлять въ разговорѣ словъ, мало употребляемыхъ въ высшемъ обществъ. Ивану Аванасьевнчу было лъть пятьдесять. Сначала онъ быль учителемъ въ разныхъ домахъ, наконецъ, дошелъ до того, что завелъ свою собственную школу. Однажды пріятель его, учитель, тоже изъ семинаристовъ, по прозванію Кафернаумскій, отличавшійся тімь, что у него съ самаго рожденія не проходиль поть и что онь въ 30 градусовъ мороза безпрестанно утирался, а въ 30° жара у него просто открывалась капель съ лица, встрътивъ Ивана Аванасыча въ классъ, сказалъ ему, нарочно при свидътеляхъ:

— «А вёдь, кажется, Иванъ Аоанасычъ, день тезоименитства вашего, если не ошибаюсь, приближается. Конечно, мы отпразднуемъ его и нынѣ по принятому уже вами обыкновенію?»

— Увидимъ, почтеннъйшій, увидимъ, отвъчалъ Иванъ Аванасьевичъ съ усмѣшкою, и на этотъ разъ рѣшился почему-то ве-

ликолъпнъе обыкновеннаго отпраздновать свои именины.

Хозяйство Ивана Аванасьевича не было монтировано. Онъ жиль лътъ иятнадиать безвытадно въ NN, но можно было думать, что онъ только вчера прівхаль въ городъ и не успѣль ничего завести. Это было не столько оть скупости, сколько оть совершеннаго невъдънія вещей, потребныхъ для человъка, живушаго въ гражданскомъ обществъ. Приготовляясь дать балъ, онъ осмотрълъ свое хозяйство: оказалось, что у него было шесть чайныхъ чашекъ, изъ нихъ двъ превратились въ стаканчики, потерявъ единственныя ручки свои; при нихъ всъхъ состояли три блюдечка; былъ у него самоваръ, нфсколько тарелокъ, колеблющихся на столь, потому что кухарка накупила ихъ изъ браку, два стаканчика на ножкахъ, которые Медузинъ скромно называлъ «своими волочными рюмками», три чубука, заткнутыхъ какой-то грязью, в роятно, чтобъ не было сквознаго в тра внутри ихъ. Вотъ и все. А онъ назвалъ всъхъ школьныхъ учителей; долго думалъ онъ, какъ быть, и, наконецъ, позвалъ кухарку свою Пелагею (замътъте, что онъ ее никогда не называлъ Палагеей, а какъ слъдуетъ Пелагеей; равно слова четвертокъ и пятокъ онъ не замънялъ изнъженными четвергъ и иятница).

Пелаген была супруга одного храбраго воина, ушедшаго черезъ недълю послъ свадьбы въ милицію и съ тъхъ поръ не сыскавшаго времени ни воротиться, ни написать въсть о смерти своей, чёмъ самымъ онъ оставилъ Пелагею въ весьма непріятномъ положеніи вдовы, состоящей въ подозрѣніи, что ея мужъ живъ. Я пмъю тысячу причинъ думать, что толстая, высокая, повязанная платкомъ и украшенная бородавками и очень темными бровями. Пелагея имъла въ завъдываніи своемъ не только кухню, но и сердце Медузина; но я вамъ ихъ не скажу потому, что тайны частной жизни для меня священны. Она явилась. Онъ

объясниль ей свое затруднительное положение.

— «Экъ, вѣдь, лукавый-то васъ, отвѣчала Пелагея,—а туда же ученые! Какъ, прости Господи, мальчишка точно не разумный, эдакую араву назвать, а другой разъ десяти копеекъ на портомойное не выпросишь! Что теперь станемъ дѣлать? Передъ людьми-то срамъ: точно погорѣлое мѣсто».

— Пелагея! возразилъ громкимъ голосомъ Медузинъ:—не употребляй во зло терпъніе мое; именины править съ друзьями хочу

и сдълаю; возраженій бабыхъ не терплю.

Вліяніе Цицерона было бы зам'єтно каждому, но Пелагея, взволнованная в'єстью о праздникъ, не думала о Цицеронъ.

- «Конечно, мы и замолчимъ; дъло ваше, хоть въ окно бросайте деньги, коли блесиръ доставляеть. Дайте иятьдесятъ рублей, всего искуплю, кромъ напитковъ».—Пелагея очень хорошо знала, что Медузину не понравится ея отвътъ, а потому, сказавши это, она съ глубокимъ чувствомъ собственнаго достоинства подперла одну руку другой, а первой рукой щеку и спокойно ожидала дъйствія своихъ словъ.
- Пятьдесять рублей на эту дрянь! Да ты того, хватила, что-ли, черезь край? Пятьдесять рублей безъ напитковъ! Вздоръ какой! баба глупая! никакого совъта не умъеть дать! Такъ ступай же къ отцу Іоаникію пригласить его ко мнъ 24 числа, и попроси у него посуды на вечеръ.

— «Куда хорошо по дворамъ шляться за посудою!»

— Пелагея! знакомый тебѣ это человѣкъ? спросиль Медузинъ,

указывая на сучковатую трость въ углу.

Пелагея, увидъвшись съ знакомымъ, пошла въ кухню надъть капотъ, шелковый платокъ, и потомъ съ ворчаніемъ отправилась къ отцу Іоаникію; а Медузинъ сълъ за письменный столъ и просидълъ съ часъ въ глубокой задумчивости; потомъ вдругъ «обошелся посредствомъ» руки, схватилъ бумагу и написалъ, — вы думаете комментарій къ Энендъ пли къ Евтропіевой краткой исторіи—и ошибаетесь... Вотъ онъ что написалъ;

г. Россійская грамматика и погика . . . много употребл.

2. Исторія п географія употребляєть довольно

3. Чистая математика........плохъ

4. Французскій языкъ виноградн. много. 5. Нѣмецкій языкъ пива очень много.

6. Рисованіе и чистописаніе одну настойку. 7. Греческій языкъ ¹) , все употребляєть.

Послѣ этихъ антронологическихъ отмѣтокъ, Иванъ Аванасьевичъ написалъ соотвѣтственную имъ программу:

 $^{^{1}}$. У меня было написано отецъ законоучитель... цензура замѣнила его греческимъ учителемъ!

Ведро сантуринскаго .				,		16	руб.	KOII.
1/2 ведра настойки								-
1/2 ведра пива						4		
2 бутылки меду							35	50
Судацкаго то бутылокъ						10		
з бутылки ямайскаго .	-					4		2)
Сладкой водки штофъ						2	»	50
	J	Ι	того:		45 руб.			

Медузинъ былъ доволенъ смѣтой: не то чтобъ очень дорого, а вынить довольно; сверхъ того, онъ ассигновалъ значительныя деньги на покупку вязиги для ппроговъ, ветчины, паюсной икры, лимоновъ, селедокъ, курительнаго табаку и мятныхъ пряниковъ,—

послъднее уже не по необходимости, а изъ роскоши.

Гости собрадись въ седьмомъ часу. Въ девять съ Кафернаумскаго шелъ уже проливной дождь; въ десять учитель географіи, разговаривая съ учителемъ французскаго языка о кончинъ его супруги, померъ со смёху и не могъ никакъ понять, что собственно смъщнаго было въ кончинъ этой почтенной женщины: но всего замѣчательнѣе то, что и французъ, неутѣшный вдовецъ, глядя на него, расхохотался, несмотря на то, что онъ употребляль одно виноградное. Медузинъ показываль самъ примъръ гостямъ: онъ пилъ безпрестанно и все, что ни подавала Пелагея, —пуншъ и ппво, водку и сантуринское, даже успълъ хватить стаканъ меду, котораго было только двѣ бутылки; ободренные такимъ примъромъ гости не отставали отъ хозяина. Одинъ Круциферскій, приглашенный хозяиномъ для почета, нотому что онъ принадлежалъ къ высшему ученному сословію въ городъ, одинъ Круциферскій не браль участія въ общемъ шумѣ и гамѣ; онъ сидъль въ углу и курилъ трубку. Зоркій взглядъ хозяина добрадся, наконецъ, до него.

— Дмитрій Яковлевичь, вы то что же пуншику-то съ лимончикомъ!... ну, что, право, сидите, голову повъся, сами не пьете,

другимъ мѣшаете.

— «Вы знаете, Иванъ Аоанасьевичъ, что я никогда не пью».

— И знать, любезнъйшій мой, не хочу такого вздору, ньешь не пьешь, а съ друзьями выпить надобно; дружеская бесъда, да... Пелагея, подай стаканъ пуншу, да гораздо покръпче. Послъднее замъчаніе, въроятно, хозяинъ основалъ на томъ, что Круциферскій и послабже не хотълъ.

Принесла Пелагея стаканъ кизлярки, въ которой лежалъ должно быть мертво пьяный кусокъ лимону и въ которой безслъдно пропали нъсколько чайныхъ ложекъ кипятку. Круциферскій взялъ стаканъ, чтобъ отдълаться отъ хозяина, въ надеждъ, что найдеть случай три четверти выплеснуть за растворенное

окно. Это было не такъ легко, потому что Медузинъ, посадивши кого-то за себя поиграть въ бостонъ, подсёдъ къ Круциферскому.

- Вотъ, Імитрій Яковлевичь, я теб'й искренно скажу, ты меня обязаль, истинно пружески обязаль, а то какъ въ твои лѣта, сипишь пома на заперти; конечно, у тебя есть тамъ хозяющка молодая, ну, да въдь надобно же и въ свътъ-то иной заглянуть. Ну, пай же, Имитрій Яковлевичь, я тебя за это поцелую, — и не дожидаясь разръщенія и несмотря на то, что отъ него пахло точно изъ растворенной двери шитейнаго дома, вылитографироваль повольно отчетливо толстыя губы свои на щекъ Круциферскаго. А велёдъ за тёмъ, не говоря худаго слова, обнялъ Дмитрія Яковлевича и Кафернаумскій, съ котораго потъ лился ручьями. Желая просущить лицо, безъ явной обиды собрату по просвъщению юношества, Круциферскій отошелъ въ уголь и вынуль платокъ. Спиною съ нему стояль неутъшный вдовецъ и учитель французскаго языка съ Густавомъ Ивановичемъ, учителемъ нъмецкаго языка, который въ сію минуту былъ налить пивомъ до конца ногтей и куриль трубку съ перышкомъ. Ни тотъ, ни пругой не замътили Круциферскаго и продолжали въ полголоса разговоръ. Само собою разумъется, что Круциферскому вовсе не хотелось подслушать, что они говорять, но фамилія Бельтова, произнесенная довольно громко, рядомъ съ его собственной, заставила его вздрогнуть и инстинктивно прислушаться.
- Это старый штукъ, говориль французъ, посгладивши какъ то всѣ русскія буквы:—и если Адан' не носиль рокъ, то это отъ того, что онъ биль одна мушина въ Эден'.
- Та, отвъчалъ Густавъ Ивановичь:—та! этотъ Пельгтофъ, это точна Тонъ Шуанъ,—и черезъ минуту громко расхохотался; минуту эту, по нъмецкому обычаю, онъ провелъ въ глубокомысленномъ обсуживаніи, что сказалъ французскій учитель объ Адамъ; добравшись, наконецъ, до смысла, Густавъ Ивановичъ громко расхохотался п, вынимая изъ чубука перышко, совершенно разгрызенное его германскими зубами, присовокупилъ съ большимъ довольствомъ: «ich habe die Pointe, sehr gut!»

Но наибольшее дъйствіе этоть разсказъ сдёлаль не на Густава Ивановича, а на человъка, который почти не слыхаль его, т. е. на Круциферскаго. Что это значить, эти двъ фамиліи, рядомъ поставленныя? Да какъ же это, неужели страшная тайна, которую онъ едва подозръваль, въ которой онъ себъ не смѣлъ признаться, сдѣлалась площадною сплетней? Да точно ли они говорили это? Конечно, говорили,—и вотъ они стоятъ еще на томъ же мѣстъ и Густавъ Ивановичъ продолжаетъ хохотать... Круциферскому показалось, что у него въ груди что-то оборвалось и

что грудь наполняется горячей кровью, п все она подступаеть выше и выше, и скоро хлынеть ртомъ... Голова у него кружилась, передъ глазами прыгали огоньки, онъ боялся встрётиться съ кёмъ-нибудь взглядомъ, онъ боялся упасть на полъ—и прислонился къ стёнё... Вдругъ чья-то тяжелая рука схватила его за рукавъ; онъ весь содрогнулся; что еще будетъ? думалъ онъ.

— Нѣть, любезный Дмитрій Яковлевичь, честные люди такъ не поступають, говориль Иванъ Аванасьевичь, держа одной рукой Круциферскаго за рукавъ, а другою стаканъ пуншу: нѣть, дружище! припрятался къ сторонкѣ, да и думаешь, что правъ. У меня такой законъ: бери, не бери, твоя воля, а взялъ, такъ пей-

Круциферскій, долго всматриваясь и вслушиваясь — въ родъ того, какъ Густавъ Ивановичъ изучалъ замъчаніе французскаго учителя, — наконецъ смутно понялъ, въ чемъ дъло, взялъ стаканъ,

выпиль его разомъ, и расхохотался.

— Вотъ люблю, можно чести приписать; каковъ? а говоритъ, не пью, экой хитрецъ. Ну, Дмитрій Яковлевичъ, Митя, выпей еще стаканчикъ... Пелагея, присовокупилъ Медузинъ, вытаскивая изъ стакана Круциферскаго собственнымъ (обходительнымъ) пальцемъ своимъ кусокъ лимона: — еще пуншу, да покръпче... Выпьень?

— «Давайте».

— Браво, браво! И Медузинъ только потому не поцѣловалъ Круциферскаго, что роть его былъ занятъ лимономъ, который онъ съѣлъ съ кожей и съ косточками, прибавляя въ видѣ объяснительной комментаріи: «кисленькое то славно, когда фундаментъ выведенъ».

Пуншъ принесли, Круциферскій выпиль его, какъ стакань воды. Никто не зам'єтиль, что онъ быль бл'єдень какъ воскъ, и что посин'єлыя губы у него дрожали, можеть потому, что гостямь

казалось, что весь земной шаръ дрожить.

Между тёмъ, какъ дѣло шло на пульку, неутомимая Пелагея принесла на маленькій столикъ подносъ съ графиномъ и стаканчиками на ножкахъ, потомъ тарелку съ селедками, пересыпанными лукомъ. Селедки хотя и были нарублены поперекъ, но впрочемъ не лишены ни позвоночнаго столба, ни реберъ, что имъ придавало особенную, очень пріятную остроту. Игра кончилась мелкимъ проигрышемъ и крупнымъ ругательствомъ между людьми, жившими вмѣстѣ цѣлый бостонъ. Медузинъ былъ въ выигрышѣ, а, слѣдовательно, въ самомъ лучшемъ расположеніи духа.

— Полноте, полноте! кричалъ онъ. Пойдемте-ка лучше, да съ

Божьимъ благословеніемъ, хватимте кантафреснаго.

Иванъ Аванасьевичъ постоянно называлъ настойку кантафреснымъ, почему, не знаю, но полагаю—по достаточнымъ и върнымъ латинскимъ источникамъ. Гости отправились къ столу.

— Дмитрій Яковлевичь! ужъ върно ты не откажешься и отъ кантафреснаго?

— «Давайте и кантафреснаго», отвъчалъ Круциферскій и опрокинуль въ горло огромную рюмку пънника, испорченнаго разными травами, отвратительными на вкусъ и полезными, какъ думають легковърные люди, для желудка.

Восторгъ гостей былъ неописанный; но Пелагея принесла баснословной величины пирогъ съ вязигой... Я, впрочемъ, полагаю, что мы довольно ознакомились съ характеромъ валтасаровскаго празднества, которымъ Медузинъ праздновалъ свое тезо-именитство; тъмъ болъе не считаю нужнымъ описывать продолжение его, что могу увърить читателей въ томъ, что праздникъ продолжался совершенно въ томъ же направлении и на тъхъ же основанияхъ.

На другой день Круциферскій имъть длинный разговоръ съ Любовью Александровной: она полнялась въ его глазахъ опять такъ высоко, такъ недосягаемо высоко, онъ былъ способенъ понять и оцінить ее... Но что-то отлетьло межчу ними и страшная мысль: «объ этомъ говорять», уничтожала его. Онъ впрочемъ, насчеть этого не сказаль ей ни слова: ему было тяжело съ ней говорить и онъ торопился въ гимназію; пришедши туда прежде окончанія другой лекціи, онъ стояль у окна въ рекреаціонной залъ. Давно ли онъ такъ спокойно смотрълъ изъ этого окна, давно ли, на верху человъческаго счастія, онъ такъ торопился бъжать домой? И вдругъ все перемѣнилось: онъ хотѣлъ бы бѣжать изъ дому... И между тъмъ онъ былъ подавленъ ся величіемъ и силой, онъ понялъ, что она страдаеть не меньше его, но что она скрываеть эти страданія изъ любви къ нему... Изъ любви ко миъ! Но развѣ она любитъ меня, развѣ можно любить бревно, лежащее на дорогъ къ счастью?.. Зачъмъ я не умълъ скрыть, что все знаю; если-бъ я былъ осторожнье, она не столько бы страдала: а я все сдълаль бы, чтобъ она была счастлива; но что же дъ-

Его остановилъ Анемподистъ Кафернаумскій. Онъ, видимо, еще не оправился отъ вчерашняго раута; глаза у него были красны и окружены какимъ-то пухлымъ кругомъ, какъ бываетъ луна зимою въ морозные дни, на щекахъ и носѣ проступали сизыя пятна.

[—] Что, почтеннъйшій, сказаль Кафернаумскій, отирая поть съ лица:—трешить?

Круциферскій промолчалъ.

[—] Я самъ едва живъ.

Видала ль ты обломки корабля?
Видала, но почто? Се жизнь теперь моя...

- Каковъ-съ Медузинъ-то? Старый песъ, расходился какъ! Да вы, Дмитрій Яковлевичъ, поправлялись? То есть, клинъ клиномъ-то...
 - «Какъ, поправлялся ли?»
- А воть, я вамь покажу какъ; и видно, что еще новичекъ! Пойлемте-ка ко мнъ. Я, въдь, тутъ возят живу—

Ради рома и арака Посъти домишко мой.

Круциферскій отправился къ Кафернаумскому. Зачёмъ? Этого онъ самъ не зналъ. Кафернаумскій, вмѣсто рома и арака, предложилъ рюмку пѣннику и огурцы. Круциферскій выпилъ и, къ удивленію, увидѣлъ, что, въ самомъ дѣлъ, у него на душть стало легче; такое открытіе, разумѣется, не могло быть болъе кстати, какъ въ то время, когда безвыходное горе разъѣдало его.

Часовъ въ десять съ небольшимъ Семенъ Ивановичъ Круповъ явился въ небольшую залу «города Кересбергъ» и принялся прохаживаться взадъ и впередъ, съ лицомъ озабоченнымъ и сердитымъ. Минутъ черезъ пять, дверь изъ комнаты Бельтова отворилась и вышелъ Григорій, со щеткой въ рукъ и съ пальто на рукъ.

— Что, небось, еще спить?

«Сейчасъ проснулись», отвъчалъ Григорій.

— Скажи ему, что я пришелъ и имъю до него дъло.

— «Семенъ Ивановичъ! закричалъ Бельтовъ:—Семенъ Ивановичъ! милости просимъ»,—и ноказался въ дверяхъ.

— Имъете вы, спросилъ онъ: полчаса времени для меня?

— «Хоть цѣлый день!» отвѣчалъ Бельтовъ.

— Да не помъшаль ли я вамъ? Вы, кажется, по утрамъ занимаетесь политической экономіей, что ли? Старикъ нисколько не скрылъ проническій тонъ вопроса.

— «Вы, кажется, сегодня и рано встали съ постели, да только лѣвой ногой», замѣтиль Бельтовъ, до высочайшей степени кротко

принимавшій замічанія стараго ворчуна.

— Стало, я всталь съ той ноги, съ которой хотёлъ.

— «Итакъ», сказалъ Бельтовъ, указывая на дверь.

Круповъ молча вошелъ въ нее.

— Владиміръ Петровичъ! началъ Круповъ, и сколько онъ ни хотблъ казаться холоднымъ и спокойнымъ, не могъ,—я пришелъ

съ вами поговорить не сбрызгу, а очень подумавши о томъ, что дълаю. Больно мнѣ вамъ сказать горькія истины, да, вѣдь, не легко и мнѣ было, когда я ихъ узналь. Я на старости лѣть осталея въ дуракахъ; такъ ошибся въ человѣкѣ, что мальчику въ шестнадцать лѣтъ надобно было бы краснѣть.

Бельтовъ смотрълъ на старика съ удивленіемъ.

- Коли я ужъ началъ говорить, такъ буду, какъ македонскій солдать, вещи называть своимъ именемъ, а тамъ, что будетъ, не мое дѣло; я старъ, однако трусомъ меня никто не назоветъ, да и я, изъ трусости, не назову неблагороднаго поступка—благороднымъ.
- «Послушайте, Семенъ Ивановичъ! я увъренъ, что вы не трусъ, да еще болъе увъренъ въ томъ, что и меня вы не считаете за труса; но мнъ бы очень было непріятно стать въ необходимость доказывать это вамъ, котораго я искренно уважаю; я вижу, вы раздражены, а потому, чтобы ни было, сдълаемте условіе не употреблять грубыхъ выраженій; они имъютъ странное свойство надо мной: они меня заставляютъ забыть все хорошое въ томъ, кто унижается до ругательствъ. Бранью вы ничего не объясните, а потому къ дълу, и извините за aviso».
- Хорошо-съ; я буду, милостивый государь, вѣжливъ, чрезвычайно вѣжливъ. Позвольте мив имѣть смѣлость, Владиміръ Петровичъ, васъ спросить,—знаете вы или нѣтъ, что вы разрушили счастье семьи, на которую я четыре года ходилъ радоваться, которая мив замѣняла мою собственную семью; вы отравили ее, вы сдѣлали разомъ четырехъ несчастныхъ. Изъ сожалѣнія къ вашему одиночеству, я ввелъ васъ въ эту семью; васъ приняли, какъ родного, васъ отогрѣли тамъ, а вы чѣмъ отблагодарили? Изволите знать, мужъ не нынче, завтра повѣсится или утопится, не знаю, въ водѣ или въ винѣ; она будетъ въ чахоткѣ, за это я вамъ отвѣчаю; ребенокъ останется сиротою на чужихъ рукахъ, и, въ довершеніе, весь городъ трубитъ о вашей побѣдѣ. Позвольте же и миѣ васъ поздравить!—Благородный старикъ дрожалъ отъ гнѣва, говоря послѣднія слова.—А, можетъ, вамъ это ничего съ высшей точки зрѣнія? прибавилъ онъ, погодя немного.

Бельтовъ всталъ съ дивана и быстро ходилъ по комнатъ; по-

томъ онъ вдругъ остановился передъ старикомъ.

— «Позвольте мнѣ васъ теперь спросить, кто вамъ далъ право такъ дерзко и такъ грубо дотрогиваться до святѣйшей тайны моей жизни? Почему вы знаете, что я не вдвое несчастнѣе другихъ? Но я забываю вашъ тонъ; извольте, я буду говорить. Что вамъ отъ меня надобно знать? Люблю ли я эту женщину? Я люблю ее! Да, да! тысячу разъ повторяю вамъ: я люблю всѣми силами души моей эту женщину! Я ее люблю, слышите?»

— Такъ зачёмъ же вы ее губите? Если-бъ вы были человъкъ съ душою, вы остановились бы на первой ступени, вы не дали бы замётить своей любви! Зачёмъ вы не оставили ихъ домъ?

— «Вы проще спросите: зачёмъ я живу вообще? Дѣйствительно, не знаю! Можетъ для того, чтобъ сгубить эту семью, чтобъ погубить лучшую женщину, которую я встрѣчалъ. Вамъ все это легко и спрашивать, и осуждать. Видно въ васъ сердцето смолоду билось тихо, а то бы осталось хоть что-нибудь въ восноминаніи. Извольте, я буду отвѣчать на ваши вопросы. Да! я чувствую теперь потребность не оправдываться—я не признаю надъ собою суда, кромѣ меня самого—а говорить; да сверхъ того, вамъ нечего больше мнѣ сказать: я понялъ васъ; вы будете только пробовать тѣ же вещи облекать въ болѣе и болѣе оскорбительную форму; это, наконецъ, раздражитъ насъ обоихъ, а, право, мнѣ не хотѣлось бы поставить васъ на барьеръ, между прочимъ потому, что вы нужны, необходимы для этой женщины».

— Говорите, говорите: я буду слушать.

— «Я прібхаль сюда въ одну изъ самыхъ тяжелыхъ эпохъ моей жизни. Въ послъднее время я разстался съ заграничными друзьями; здёсь не было ни одного человека, близкаго мнё; я толкнулся къ нъкоторымъ въ Москвъ -ничего общаго! Это укръпило меня еще болъе въ намъреніи ъхать въ NN. Вы знаете, что здёсь было, и весело ли я жилъ? Вдругъ я встречаю эту женщину... Вы ее любите, уважаете, но вы ее совству не знаете, такъ точно, какъ не знаете меня. Вы дорого оцѣнили ея семейпое счастье, ен любовь къ мужу, къ ребенку,-только, не сердитесь, —есть минуты, въ которыя говорять не однъ сладкія истины... Не думайте, чтобы внъшняя близость или число лътъ распечатывали душу одного другому, — нисколько! Очень часто людей, жившихъ лътъ двадцать вмъстъ, въ гробъ кладуть чужими, а иногда они и любять другь друга, да не знають; а братственное сочувствіе въ одинъ мигъ раскрываетъ въ десять разъ больше. Къ тому же, по вашей привычкъ морализировать, вы на нее смотръли докторально сверху внизъ; а я, изумленный необычайной силой ея, я склонялся передъ ней. Удивительное существо! Какъ это сдълалось въ ней, что тъ результаты, за которые я пожертвовалъ полжизнію, до которыхъ добился трудами и мученіями, и которые такъ новы мит казались, что я ими дорожиль, принималъ ихъ за нъчто выработанное, были для нея простыми, само собою понятными истинами: они ей казались обыкновенны. Не знаю, я со многими людьми встръчался, у каждаго рано или поздно дойдешь до его горизонта, дойдешь до рва, чрезъ который онъ пересадить не можеть; въ ней я не видъль этого горизонта. Какія мгновенія истиннаго блаженства я испыталь въ эти вечера, когда мы долго бесёдовали?—Я отдохнуль за весь холодъ, испытанный въ моей жизни. Первый разъ человѣкъ узналъ, что такое любовь, что такое счастье и зачѣмъ онъ не остановился? Это, наконецъ, становится смѣшно, столько благоразумія у меня нѣтъ. Да и потомъ это вовсе было не нужно. Когда я отдалъ отчетъ, когда я самъ понялъ—было поздно».

- Да скажите, наконецъ, какая же у васъ цѣль? Ну, что же дальше?
 - -- «Я не думалъ объ этомъ и ничего не могу сказать вамъ».
- Вотъ вамъ передъ глазами зато и лежатъ плоды необдуманности.
- «Вы думаете, что я равнодушно смотрю на эти плоды, что я ждаль, чтобы вы пришли мнъ разсказать? Прежде васъ я поняль, что мое счастье потускло, что эпоха, полная поэзіп и упоенья, прошла, что эту женщину затерзають..., потому что она удивительно высоко стоить. Дмитрій Яковлевичь хорошій человъкъ, онъ ее безумно любить, но у него любовь манія, онъ себя погубить этой любовью, что-жъ съ этимъ дълать?.... Хуже всего, что онъ и ее погубитъ».
- Какъ же, по вашему, ему слъдовало бы хладнокровно смотръть на то, что его жена любитъ пругого.
- «Я этого не говорю. Въроятно, ему слъдовало то дълать, что онъ сдълалъ; каждая натура очень върна себъ, особенно въ критическія минуты. А знаете, чего ему не слъдовало дълать: сочетать свою жизнь съ женщиной такой силы, какъ она».
- По несчастью, это я ему говорилъ передъ свадьбой, но согласитесь, что теперь поздно объ этомъ толковать и что до вашего прівзда она была счастлива.
- «Семенъ Ивановичъ, это бы не осталось такъ навсегда. Такого рода недоразумънія рано или поздно всплывають; какъ это вы такъ непослъдовательны!»
- Право, это дѣло мудреное! Охъ, то-то не даромъ всегда говорилъ я, что семейная жизнь вещь преопасная, да проповѣдывалъ, какъ Іоаннъ въ пустынѣ; никто меня не слушалъ. Хоть бы вы изъ состраланія просто...
- «Я право не знаю, чего вы отъ меня хотите? Послъ ея бользни, я сталъ замъчать ея грусть и его нъмое безвыходное отчанніе. Я почти пересталь ходить къ нимъ, вы это знаете, а чего мнъ это стоило, знаю я; двадцать разъ принимался я писать къ ней и, боясь ухудшить ея состояніе, не писалъ; я бываль у нихъ—и молчалъ; въ чемъ же вы меня упрекаете, что вы хотите отъ меня; надъюсь, что не простое желаніе бросить въ меня нъсколько оскорбительныхъ выраженій привело васъ ко мнъ?»

— Владиміръ Петровичь, ну, докажите же, что вы сильный человѣкъ; я вѣрю, что вамь это трудно, ну, все же принесите жертву, большую жертву... А мы, можетъ, спасемъ эту женщину; Владиміръ Петровичъ, уѣзжайте отсюда!... И какая-то нѣжностъ въ тонѣ замѣнила натянутую жесткость... Голосъ у старика дрожалъ. Онъ любилъ Бельтова.

Бельтовъ открылъ свой портфель, порылся въ бумагахъ и подаль ему начатое письмо. «Прочтите», сказалъ онъ. Письмо было къ матери; онъ извъщалъ ее о своемъ твердомъ намъреніи опять

тать за границу и притомъ очень скоро.

— «Вы видите, я ѣду. И вы думаете, что вы спасете ее этимъ, спросилъ онъ грустно, качая головой:—добрѣйшій Семенъ Ивановичъ?»

— Да что же дълать? спросилъ Круповъ съ какимъ-то от-

чаяніемъ.

— «Не знаю, отв'вчалъ Бельтовъ; Семенъ Ивановичъ, я нанишу къ ней письмо и принесу его къ вамъ, вы отдадите, честное слово!»

— Отдамъ, отвѣчалъ Круповъ.

Бельтовъ проводилъ Семена Ивановича, печальнаго и раз-

строеннаго до дверей.

Потомъ онъ воротился къ своему столику и бросился на диванъ въ какомъ-то совершенномъ безсиліи; видно было, что разговоръ съ Круповымъ нанесъ ему страшный ударъ, видно было, что онъ не могъ еще овладъть имъ, сообразить, осилить. Часа два лежалъ онъ съ потухнувшей сигарой, потомъ взялъ листъ почтовой бумаги и началъ писать. Написавши, онъ сложилъ письмо, одълся, взялъ его съ собою и пошелъ къ Крунову.

— «Вотъ письмо, сказалъ Бельтовъ:—можете вы, Семенъ Ивановичь, доставить мнъ случай съ ней видъться, при васъ, на двъ

минуты, или нѣтъ?»

— Да зачѣмъ?

- «Что вамъ до этого, хуже отъ этого не будетъ. Если въ васъ когда-нибудь была малѣйшая привязанность ко мнъ, вы это сдълаете».
 - Когда вы ъдете? — «Завтра утромъ».
 - Будьте въ восемь часовъ въ саду.

Бельтовъ пожалъ ему руку.

— А я видътъ сегодня его въ самомъ жалкомъ положении.

— «Перестаньте; ни слова, Семенъ Ивановичъ, умоляю васъ». Блъдная, исхудавшая, съ заплаканными глазами, шла несчастная Любовь Александровна подъ руку съ Круповымъ; она была въ лихорадкъ, выражение ся глазъ было страшно. Она знала,

куда она шла, и внала зачёмъ. Они пришли къ завётной лавочкъ и съли на нее; она плакала, въ рукахъ ея было письмо; Семенъ Ивановичъ, не находившій даже нравоучительныхъ замѣчаній, обтиралъ слезу за слезою.

Подошелъ Бельтовъ; все свѣтлое въ лицѣ его исчезло, въ каждой чертѣ видно было нестершимое страданіе; онъ взялъ ея руку.

Онъ былъ похожъ на мертвела.

— «Прощайте, сказалъ онъ ей едва внятнымъ голосомъ:—я опять скитаться; но наша встръча, но вашъ образъ сохранится во мнъ... Онъ меня утъшитъ въ послъднюю минуту жизни».

«Навсегда?» спросила она.

Онъ молчалъ.

«Боже мой!» сказала она и умолкла. «Прощайте, Вольдемаръ», прибавила она шопотомъ, и потомъ вдругъ, какъ будто силы ея разомъ удесятерились, она встала и, сжимая руку его, сказала громко и ясно: «Вольдемаръ, помните, что вы любимы безпредѣльно... Безпредѣльно любимы, Вольдемаръ!»

Она встала, онъ не удерживалъ се: въ ней постало духу илти

болфе твердымъ шагомъ, нежели какъ она пришла.

Онъ смотрѣлъ имъ вслѣдъ, провожалъ до-нельзя мельканіе оѣлаго бурнуса между березками. Она не имѣла силы обернуться. Вольдемаръ остался. Да неужели, думалъ онъ, я долженъ оставить ее и навсегда! Онъ положилъ голову на руку, закрылъ глаза и съ полчаса сидѣлъ уничтоженный, задавленный горемъ, какъ вдругъ кто-то его назвалъ по имени; онъ поднялъ голову и едва узналъ общее совѣтничье лицо совѣтника; Бельтовъ сухо поклонился ему.

- Вы, кажется, Владиміръ Петровичъ, приходите сюда отдаваться мечтаніямъ и размышленіямъ.
 - «Да, и поэтому люблю быть одинъ».
- Это точно-съ, доложу вамъ, что можетъ быть пріятнѣе для образованнаго человѣка, какъ одиночество, замѣтилъ совѣтникъ, садясь на лавку:—а впрочемъ, есть и компанія иногда не хуже одиночества. Я сейчасъ встрѣтилъ Крупова, Семена Ивановича, онъ такую себѣ подцѣпилъ дамочку.

Бельтовъ всталъ въ ту же минуту, какъ совътникъ сълъ, и хотълъ пдти, но онъ его остановилъ послъдними словами. Насмъшливый видъ совътника очень хорошо показывалъ, съ какою цълью онъ это говорилъ. Всего въроятнъе, что онъ и въ садъ попалъ по тайному поручению какой-нибудь Марын Степановны.

- «Я знаю даму, съ которой шель Круновъ», сказаль Бельтовъ, задыхаясь отъ ярости.
- Да, какъ чай вамъ не знать, ха, ха, ха! замѣтилъ развязный совѣтникъ:—ужъ вы, молодые люди, знаете всѣхъ хорошенькихъ.

— «Вы или сумасшедшій, или дуракъ! Въ обонхъ случаяхъ прощайте», сказалъ Бельтовъ и отправился по аллев.

— Какъ вы осмълились меня такъ назвать! вскричалъ со-

вътникъ, покраснъвши, какъ піонъ, и вскакивая съ лавки.

Бельтовъ остановился.

— «Что вы хотите отъ меня? спросиль онъ совътника, — стръляться съ вами? Извольте! Какъ ни гадко, я стану; если-жъ нъть, вы мени извините, я имъю скверную привычку отгонять тростью тъхъ, которые мнъ мъшаютъ гулять».

Какъ тростью? спросилъ совътникъ: — да кто вы такой,

что смъете тростью угрожать?

Во всякомъ другомъ случав, Бельтовъ расхохотался бы отъ всего сердца надъ милымъ совътникомъ, но въ эту минуту, когда онъ и безъ него былъ такъ сильно раздраженъ и врядъ ли хорошо помнилъ, что двлаетъ, онъ показалъ совътнику какъ. Со-

вѣтникъ удивился: Бельтовъ ушелъ.

На другой день утромъ, пока Григорій укладывалъ и клопоталь, Бельтовъ ходилъ по комнатѣ; у него въ умѣ и въ груди была какая-то пустота, точно полжизни, полсуществованія кануло въ воду, и нѣтъ ее, такъ что-то страшно и больно, какой-то трепеть,—и вдругъ навернутся слезы. Десять разъ Григорій обращался къ нему съ вопросомъ, и онъ отвѣчалъ: «все равно», и дъйствительно въ эту минуту ему было не только все равно, какое пальто надѣть на дорогу, а даже по какой дорогѣ ѣхать, въ Парижъ или Тобольскъ. Вошелъ Семенъ Ивановичъ, совсѣмъ не такъ, какъ вчера: на глазахъ его видны были слѣды слезъ, онъ какъ-то вошелъ тихо, чистилъ шляну рукавомъ, постоялъ у окна, замѣтилъ Григорію, что вага у дормеза не хорошо привязана, и вообще былъ не въ своей тарелкъ.

— «Довольны мною, Семенъ Ивановичъ?» сказалъ со смъхомъ

и со слезами Бельтовъ.

— Я оскорбилъ васъ вчера, ну, что дёлать, простите меня... если вы такъ убдете...—И у старика голосъ замеръ.

— «Полноте, полноте, Семенъ Ивановичъ, что вы это?»

И Бельтовъ протянулъ ему объ руки.

— Вотъ еще что, примите отъ меня въ знакъ памяти, я истинно васъ любилъ, и хочу вамъ... И онъ ему подалъ довольно большой сафъянный портфель,—хочу вамъ отдать вещь дорогую, очень дорогую мнъ. Бельтовъ развернулъ портфель, взглянулъ на старика и бросился къ нему на шею. Старикъ рыдалъ и приговаривалъ: «Самому смъшно, право, изъ ума выживаю. Экая глупость, подъ старость плаксой сталъ». Бельтовъ бросился на стулъ и держалъ передъ собою портфель... Это былъ акварельный портретъ Любови Александровны.

Круповъ стоялъ передъ нимъ и, чтобъ окончательно увѣрить Бельтова, что онъ вовсе ничего не чувствуетъ, дѣлалъ слѣдуюшіс комментаріи, отирая украдкой слезы:

— Года два тому назадъ, здѣсь проѣзжалъ англичанинъ живописецъ, хорошій живописецъ; онъ большіе масляные портреты дѣлалъ; вотъ губернаторшинъ портреть, что виситъ въ кабинетѣ, онъ писалъ; я уговорилъ Любовь Александровну посидѣть, всего три сеанса... думала ли она?..

Бельтовъ не слушалъ его, а потому бѣда была не велика, когда рѣчь Крупова перервалъ хозяинъ трактира, который, заныхавшись, возвѣстилъ пріѣздъ г. нолицейместера.

- «Что ему надобно?» спросиль Бельтовъ.
- Имбетъ до вашей милости дело, отвечалъ трактирицикъ.
- «Скажи, что я дома».

Полицейместеръ вощелъ, страшно гремя саблею; вдали сквозь растворенную дверь видълся тощій комиссаръ и половой, державшій въ страхъ въ рукахъ шинель полицейместера.

Бельтовъ всталъ и всею фигурою своей выразилъ вопросъ, такъ что словъ не нужно было. Вопросъ былъ естественно тотъ, за коимъ діаволомъ?

- Мей очень жаль, Владиміръ Петровичъ, что я долженъ остановить васъ на нѣсколько минутъ; вы, кажется, намфрены отбыть изъ нашего города.
 - «Да».
- Генераль васъ просить побывать къ нему. Фирсъ Петровичъ Елканевичъ подалъ на васъ, партикулярнымъ письмомъ, жалобу его превосходительству насчетъ оскорбленія его чести. Миѣ очень совъстно; согласитесь сами, долгъ службы; сами изволите знать, мое дѣло—неумытное исполненіе.
- «Это чрезвычайно не ко времени. Позвольте васъ спросить, это надолго можеть меня остановить?»
- Это будеть зависёть отъ васъ; г. Елканевичъ человёкъ благородный: онъ навёрное дёла не затянеть вдаль, если вы, изволите знать, объяснитесь.
 - «Да какъ тутъ объясняться?»
- Охъ, Владиміръ Петровичь, что мнѣ это съ тобою дѣлать? ничего право не понимаешь, замѣтилъ Круповъ, ну, хотите, я съ г. полицейместеромъ буду посредникомъ, и кончимъ въ четверть часа?
 - «Очень бы обязали, истинно обязали бы».
- Помилуйте, зам'єтилъ полицейместеръ: это священная обязанность наша, и самая пріятная обязанность, когда можно эдакъ мирнымъ образомъ и къ общему удовольствію.

Такъ и случилось.

... Черезъ двѣ недѣли по той дорогѣ, по которой нѣкогда мчалась мимо мельницы коляска, запряженная четверкой лихихъ лошадей, и которая шла отъ Бѣлаго-Поля на большую дорогу, подымался дорожный дормезъ; Григорій сидѣлъ на козлахъ п закурпвалъ трубку, ямщикъ убѣждалъ лошадей идти дружнѣе п, чтобъ ближе поддѣлаться къ ихъ понятіямъ, произносилъ однѣ гласныя: о... о... у... у... у... а... а... и т. д. А но сю сторону рѣки стояла старушка, въ бѣломъ чепцѣ и бѣломъ капотѣ; опираясь на руку горничной, она махала платкомъ, тяжелымъ и мокрымъ отъ слезъ, человѣку, высунувшемуся изъ дормеза, и онъ махалъ платкомъ. Дорога шла немного вправо; когда карета заворотила туда, видна была только задняя сторона, но и ее скоро закрыло облакомъ пыли, и пыль эта разсѣялась и кромѣ дороги ничего не было видно, а старушка все еще стояла,

поднимаясь на цыпочки п стараясь что-то разглядъть.

Скучно и пусто сділалось старушкі въ Біломъ-Полів. Бывало все же въ недълю разъ, другой пріъдеть Вольдемаръ, она такъ привыкла слышать издали, еще съ горы, бубенчики и выходить къ нему навстръчу на тотъ балконъ, накоторомъ она нъкогда ждала его, загорълаго отрока съ свътлымъ лицомъ. Ее что-то звало въ NN: тамъ жила женщина, любимая ея сыномъ, несчастная жертва любви къ нему. И въ самомъ дѣлѣ старушка перейхала туда къ зпит. Она застала Любовь Александровну потухающею, не надежною: Семенъ Ивановичъ, сдёлавшійся вдвое угрюмье, качаль головою, когда его спрашивали объ ней: Дмитрій Яковлевичь, задавленный горемь, молился Богу и пиль. Софыя Алексъевна просила позволенія ходить за больной и дни цылые проводила у ея кровати, и что-то высоко-поэтическое было въ этой группѣ умирающей красоты съ прекрасной старостью, въ этой увядающей женщинъ со внавшими щеками, съ огромными блестящими глазами, съ волосами, небрежно падающими на плечи, -- когда она, оппрая свою голову на исхудалую руку, съ полуотверстымъ ртомъ и со слезою на глазахъ внимала безконечнымъ разсказамъ старушки-матери объ ея сынъ, объ ихъ Вольдемаръ, который теперь такъ далеко отъ нихъ.

Послѣдній праздникъ дружбы.

Разъ, въ последнихъ числахъ мая 1833 года, въ нижнемъ этакъ большого дома на Никитской, сильно бушевала молодежь. Оргія была въ полномъ разгаръ, во всемъ блескъ. Вино, какъ паяльная трубка, раздувало въ длинную струю пламени воображеніе. Идеи, анекдоты, лирическіе восторги, карикатуры крутились, вертълись въ быстромъ вальсъ, неслись сумасшедшимъ галопомъ. Всъ стояли на демаркаціонной линіи, отдъляющей трезваго человъка отъ пьянаго; никто не переступалъ ее. Всъ шумъли, разговаривали, смъялись, курили, пили, всъ безотчетно отозвались настоящему, всъ истинно веселились. Лучшій стенографъ не записалъ бы ни единаго слова.

Среди вакханаліи бываеть торжественная минута устали и тишины; она умолкаеть для того, чтобы бурей и ураганомъ явиться по ту сторону демаркаціонной линіи. Воть эта-то минута и настала.

Огромная чаша пылала блёдно-лазоревымъ огнемъ, придавая юношамъ видъ заклинателей. Клико подливало силу въ жженку и кровь въ щеки молодыхъ людей. Шумная масса разбилась на части и расположилась на бивакахъ.

Вотъ высокій молодой человѣкъ, съ лицомъ послѣдняго могикана: онъ сѣлъ на маленькій столъ (Парки тотчасъ же подломили ножки жизни этого стола), стенторскій голосъ его, какъ Нилъ при втеченіи въ Средиземное море, далеко вдается въ общій гулъ, не потерявъ своей самобытности. Это упсальскій баронъ, онъ живетъ въ двухъ шагахъ отъ природы, въ Преображенскомъ. Тамъ у него есть садъ и домикъ, у котораго дверь не имѣетъ замка.

Въ этомъ домъ баронъ прячется и вдругъ, какъ минотавръ или татары, набътаетъ на Москву неотразимый и нежданный, обираетъ книги и тетради и исчезаетъ. Онъ похожъ и на bon homme patience Жоржъ-Занда и на самаго Карла Санда, ежели хотите, а всего болъе на террориста. Онъ какъ-то гильотинно умъетъ

двигать бровями. Баронъ началъ свою жизнь переводами Шиллера и кончилъ переводомъ на жизнь одного изъ лицъ, которыя Шиллеръ такъ любилъ набрасывать, въ которыхъ нѣтъ ни одного эгоистическаго желанія, ни одной черной мысли, но которыхъ сердце бьется для всего человъчества и для всего благороднаго, и которыя никогда не выйдутъ изъ своей односторонности, какъ ехетрев gratia Менцеля. Онъ съ четвероногой трибуны что-то повъствуеть, съ наивной мимикой объихъ рукъ и, по очереди, одной ноги. Два неустрашимые человъка подвергаютъ жизнь свою опасности, слушая барона въ атмосферъ его декламаціи, безпрерывно разсъкаемой рукою и ногой и молніей зажженной сигары. У васъ, можетъ, слабы нервы,—отвернитесь отъ этой картины.

Видите ли у камина худощаваго молодого человъка, бълокураго, иъсколько блъднаго въ вицмундирной формъ, съ неумолимой ръчью,—это магистръ математическаго отдъленія, представитель матеріализма XVIII въка, столько же неподвижный на своемъ конькъ, какъ и баронъ на своемъ. Онъ держитъ за пуговицу молодого человъка съ опухиними глазами и выразительнымъ лицомъ. Магистръвъ короткихъ словахъ продолжаетъ споръ, начавшійся у нихъ года за два, о Бэконъ и эмпиріи. Молодой человъкъ, прикованный къ этому Кавказу, испещренному зодіаками,—одно изъ тъхъ эксцентрическихъ существованій, которыя были бы исполнены въры, если бы ихъ въкъ имътъ върованія; неспокойный демонъ, обитающій въ ихъ душъ, ломаетъ ихъ и сильно клеймитъ печатью оригинальности. Онъ больше образами, яркими сравненіями отражалъ магистра.

— Направленіе, которое начинаетъ проявляться, говорилъ онъ, вспять не пойдетъ, матеріализмъ сдълалъ свое и умеръ. Вандомская колонна—его надгробный памятникъ. Германскія идеи, проникаю-

щія во Францію....

Магистръ не слушаль студента, даже закрывалъ глаза, чтобы и не видать его, и продолжалъ со всёмъ хладнокровіемъ математика, читающаго лекцію о мнимыхъ корняхъ, и со всею ясностію геометрическаго анализа, употребляя однѣ, закономъ опредѣленныя, формы доказательства а contrario per inductionem a principio causae sufficientis.

— Итакъ, принявъ это положеніе, слѣдуетъ вопросъ, которое состояніе наукъ выше, которое дало болѣе приложеній и принесло положительнѣе пользу? Разрѣшивъ его, мы естественно перейдемъ къ главному вопросу, отъкотораго зависитъ окончательно рѣшеніе

этого спора...

Съ тъхъ поръ магистръ окончилъ нивелированіе Каспійскаго моря; студенть обътхалъ полъ-Европы, а споръ еще не кончился, и сами видите, остался только одинъ вопросъ.

Вотъ два молодыхъ человъка, обиявшись, прогуливаются по комнать. Олинъ съ длинными волосами и предестнымъ лицомъ à la Schiller и прихрамывающій à la Byron; другой съ прекрасными, задумчивыми глазами, съ нѣсколько театральными манерами à la Мочаловъ и съ очками à la Каченовскій; это—Ritter aus Tambow, и кандитать этико-политическій, очерчивающій Poccio. Ritter, юный страдалець, принесь въ жизнь нъжную, чувствительную душу, но не принесъ ни твердой воли, которая зашищаеть оть грубыхъ рукъ толны, ни твердаго тёла. Болёзненный, бледный-онъ похожъ на оранжерейное растеніе, воспитанное въ комнатахъ и забытое небрежнымъ садовникомъ на стужъ московскихъ лътнихъ ночей. Онъ можетъ чище всъхъ своихъ товарищей служить изящнымъ типомъ юноши. Съ какой любовью, съ какой симпатіей онъ пріютился къ нимъ дичкомъ. Его фантазія была направлена на ложную мысль бъгства оть земли. Резигнація составляла его поэзію. Такое направленіе развивается именно въ больномъ слабомъ тълъ, конечно ложное, но имъющее свою безпредъльно увлекательную сторону.

Кандидать этико-политическій жаждеть общенолезной д'ятельности и славы. Онъ готовъ на самоножертвованія безъ границь и грустно говорить юноші, что ему надобна кафедра въ университеть и слава въ мірь. Юноша ему вірить, сочувствуеть и готовъ плакать. Вотъ они остановились передъ черпаломъ полюбоваться пылающей жженкой.

Въ самомъ фокусѣ оргіи, т. е. у пылающей жженки, также интересная группа. Молодой человѣкъ, въ сѣромъ халатѣ, на диванѣ, задумчиво мѣшаетъ горящее море и задумчиво всматривается въ фантастическіе узоры огня, сливающіеся съ ложки. Противъ него за столомъ, безъ сюртука, безъ галстуха, съ обнаженною грудью, сложивши руки à la Napoleon, съ сигарою въ зубахъ, сидитъ худощавый юноша, съ выразительнымъ, умнымъ взоромъ.

— Помнишь ли,—говорить молодой человѣкъ въ халатѣ, какъ мы дѣтьми встрѣчали новый годъ тайкомъ, украдкой; какъ тогда мечтали о будущемъ: ну, вотъ оно и пришло, и пустота въ груди не наполняется, и не принесло оно той жизни, которой требовала душа. На Воробьевыхъ горахъ она ничего не требовала и была довольна.

Они взглянули другъ на друга.

— Пора окончить этотъ фазисъ жизни, шумъ начинаетъ надоъдать; меня манитъ другая жизнь; жизнь болъе поэтическая.

— Пора, согласенъ и я; но забудемся еще сегодня, забудемся, прочь мрачныя мысли!

Юноша въ халатъ напънилъ стаканъ и, улыбаясь, сказалъ:

— За здоровье заходящаго солнца на Воробьевыхъ горахъ!

— Которое было восходящимъ солнцемъ нашей жизни, добавиль юноша безъ сюртука.

Оба замолчали, что-то хорошее пробъжало по ихъ лицамъ.

Вдругъ юноша безъ сюртука вскочилъ на стулъ и звонкимъ

голосомъ закричалъ:

— Messieurs et mylords! je demande la parole, je demande la cloture de vos discussons; une grande motion... Silence aux interrupteurs, monsieur le président, couvrez vous.

И нахлобучилъ какую-то шапку на голову своему сосфду.

Нѣсколько головъ обратилось къ оратору.

— Mylords et lords! le punsch cardinal, tel que le cardinal Mezzofantí, qui connait toutes les langues existantes et qui n'ont jamais existées, n'a jamais goûté; le punsch cardinal est à vos ordres. Hommes illustres par vos lumières, connaissez que Schiller, decreté citoyen de la république une et indivisible... a dit, il me semble, en parlant des prisoniers, lors du siège d' Anony par les troupes du roi citoyen Louis Philippe:

Eh' es verduftet, Schôpfet es schnell, Nur wenn er glûhet Labet der Quell.

Je propose donc de nous mettre à l'instant même dans la possibilité de vérifier les proverbes du citoyen Schiller,—à vos verres, citoyens!

Вев съ хохотомъ подходили къ столу. Ораторъ спокойно раз-

ливалъ въ стаканы пуншъ.

— Магистръ, скажи пожалуйста, — кричалъ онъ, — не изобрѣлъ ли Деви новыхъ металлическихъ стѣнокъ для того, чтобы не жглись губы?

— Гумфри Деви умеръ, — отвъчалъ магистръ, весь занятый

своимъ споромъ.

— И, я думаю, радъ отъ души, — продолжалъ ораторъ, что наконецъ химически разложился и на себъ можетъ испытывать соединеніе и разложеніе.

— Господа, господа, разойдитесь, баронъ идеть со стаканомъ,

а это страшнее, чёмъ встретиться съ локомотивомъ.

Въ самомъ дѣлѣ, благоразумные люди отодвигались. Ораторъ продолжалъ шумѣть, никто его не слушалъ... Стаканы еще разъ наполнились.

Демаркаціонная линія была пройдена. Господа хот'єли продолжать свои разговоры: суетное желаніе удалось одному юнош'є безъ сюртука, потому что онъ разомъ говорилъ со всёми и обо всемъ. Баронъ чистилъ трубку кому-то въ шляпу и говорилъ то магистру. На магистра жженка сдълала ужасное дъйствіе, въ головъ у него все завертълось и перекувырнулось, онъ не забывалъ свой споръ и продолжалъ, держа на этотъ разъ за пуговицу барона:

— Слъдовательно, ежели въ тотъ въкъ, въ одно время диференціальныя исчисленія изобръли Лейбница и Невтона... Онъ,

какъ бы самъ, чувствуя нельпость, потеръ себъ лобъ.

— Да, да, именно, когда Коперникъ изобрълъ движеніе земли, а Уатъ паровыя машины, и Сиръ Флуни—машины чинить перья, кричаль ораторъ.

— Помню, помню Флуни,—повторилъ магистръ и хотълъ было произнесть еще какую-то букву, но не могъ ни повернуть языка,

ни упросить это слово, чтобы оно вышло.

— О чемъ споръ? спрашивалъ тутъ же бывшій водевилистъ.

— Магистръ, — шенталъ ему ораторъ, — доказываетъ, что Каратыгинъ гораздо лучше игралъ роль Отелло, чѣмъ Мочаловъ; а водевилистъ, бѣшеный поклонникъ Мочалова, бросился какъ лютый звѣрь на магистра и кричалъ ему на ухо:

— У Мочалова есть душа, а у Каратыгина все поддѣлка, да просто взгляните на его лицо, какая натянутость, неестествен-

ность.

— Правда, правда, —кричалъ ораторъ, —у живого Каратыгина видъ не натуральный, то ли дѣло статуи Торвальдсена, вотъ какія лица должны быть въ XIX вѣкъ, и самъ водевилисть захохоталь.

Въ это время баронъ, желая подвинуться къ столу, выломалъ ручку у креселъ и ножку у стола; двъ тарелки и стаканъ легли костьми при этомъ членовредительствъ: «мертвіи сраму не имутъ». Баронъ не потерялся, началъ доказывать, что это не его вина, а вина непрочности мебели, для объясненія чего изломалъ еще кресло и этажерку и былъ очень доволенъ, что оправдался.

Подали сыру, единственный събстной припасъ, который важивался у Ника. Сыръ великая вещь на оргіи: отъ него дѣлается жажда. Въ одно мгновеніе ока плачущее, рябое дитя Швейцаріп

исчезло.

— Прежде нежели мы совсёмъ пьяны, вотъ вамъ предложеніе, сказалъ Никъ:—кто хочетъ на цёлый день villegiare, подышать чистымъ воздухомъ, побыть не въ Москве, а на волё хоть день?

— Превосходная мысль, подхватилъ Ritter.

— Въ Архангельское, — прибавилъ студенть, — у меня тамъ есть квартира.

— Все же это не имбетъ основанія,—сказалъ магистръ, услыхавши голосъ студента. — Въ Архангельское, повторило ифсколько голосовъ.

— Давай шампанскаго, кричалъ ораторъ, у котораго вино, казалось, испаряется съ словами.—Надобно выпить за здоровье прекрасной мысли и прекраснаго опредъленія ей.

Пробки хлопали, шамианское лилось вонъ изъ бутылокъ и

псчезало. Пымъ табачный сгущался.

Бто-то зап'ялъ:

Ah! vers une rive,
Où sans peine on vive,
Qui m'aime me suive!
Voyageons gaiment!
Ivre de champagne
Je bas la campagne,
Et vois de Cocagne
Le pays charmant.

Всѣ подхватили:

Terre chérie, Sois ma patrie, Quand je ris Du sort inconstant.

— За здоровье друзей! провозгласить ораторь, пуская отчаянной нараболой по воздуху пробку, и въ одно мгновеніе выпитые стаканы разсыпались черепками по полу. Все вскочило, перемёшалось, сбилось, зашумёло вдвое. Кто цёлуется, кто вздыхаеть, кто подымаеть съ полу кусочекъ сыру. Всёмъ кажется чрезвычайно весело. Баронъ уродуетъ въ своихъ объятіяхъ всёхъ встрёчающихся и подмёщается къ этико-политическому кандидату, который сидить у раскрытаго окна, рыдаеть и, какъ Донъ-Карлосъ и Юлій Цезарь, приговариваетъ: «24 года и ничего не совершиль для человёчества, для вёчности!» Въ отчаяніи, сильной рукою онъ удариль по стоящему передъ нимъ стакану и раздробиль его. Стекла врёзались въ руку, кровь полилась. Баронъ, какъ бы, протрезвился, схватилъ руку кандидата, сталъ вынимать стекла, мочить водою и завязывать платкомъ.

— Что рука,—говорпть кандидать, заливаясь слезами,—прахъ,

тявнь! Духь, воть жизнь! Хочешь, выброшусь за окно?

— Лучше выйдемъ въ дверь и влёземъ въ окно, предлагаетъ

баронъ.

Магистръ сердится, что заперта дверь, пробуя отворить зеркало въ каминъ, а дверь—съ противоположной стороны. Магистръ правъ, падобно освъжиться, выйдемъ на воздухъ, голова кружится. Видно, и я выпилъ лишнее.

Bon! La farira dondaine, Gai! La farira dondé.

На другой день рано утромъ, т. е. часа три послѣ того, какъ ораторъ съ магистромъ вышли на чистый воздухъ. la bande joveuse уже хлонотала и распоряжалась объ отъблив. Ораторъ всталь раньше прочихъ, будиль всёхъ и каждаго. Спальня представляла удивительное зръдище. Плинный турецкій дивань былъ заваленъ людьми, многіе уснули въ той позѣ, въ какой допили последнюю каплю. Баронъ, завернувшись въ непромокаемую шинель, съ сигарою во рту, грозно и величественно видълъ что-то во снъ. Сонъ его былъ безпокоенъ и время отъ времени онъ инхаль ногою въ голову водевилиста, который на другой день удивлялся странному сну: ему казалось, что онъ былъ въ театръ п что какъ только выходитъ Мочаловъ, сводъ Петра и Павла надаеть ему на голову. Ritter прижался къ уголку, скатавши въ шарикъ тоненькое тъло свое, въ томъ родъ, какъ спять комнатныя собачки. Юноша въ халатъ, который былъ дома, замътъте, положиль себь подъ голову латинскій лексиконъ и покойно ле-

жалъ, накрывшись ковромъ со стола.

Солнце свътило ясно, день готовился чудесный, голова была свъжа: «благородное шампанское не оставляетъ горькихъ упрековъ на утро», говорили они потомъ. Всѣ необходимыя распоряженія были тотчає взяты. Послали за виномъ, послали за лошадьми, послади за паштетомъ и за сигарами. Двѣ коляски находились въ наличности. Никъ, студентъ, водевилистъ etc. отправились впередъ. Ораторъ съ Ritter'омъ послъ. Они выъхали часовъ въ 9 изъ Москвы. Великоленно светило солнце, природа на каждой точкѣ дышала жизнью и нѣгой; на душѣ не было заботъ. Юпоши мечтали, поэтизировали всю дорогу; душа Ritter'a, немного элегическая, испарялась въ заунывныхъ звукахъ и дътскихъ фантазіяхъ. Они были какъ-то на мъсть съ летавшими бабочками, съ зеленъвшей травой, между которою подымались звъздочки Иванова цвътка и фонарики цикорія, Ritter'у было 18 лътъ. Часа черезъ два коляска остановилась передъ прекраснымъ домомъ князя Юсунова. Я до сихъ поръ люблю Архангельское. Посмотрите, какъ милъ этоть маленькій клочекъ земли отъ Москвы-ръки до дороги. Здъсь человъкъ встрътился съ природой подъ другимъ условіемъ, нежели обыкновенно. Онъ отъ нея потребоваль одного удовольствія, одной красоты и забыль пользу; онъ потребовалъ отъ нея одной перемъны декораціи, для того, чтобы отпечатать духъ свой, придать естественной красотъ красоту художественную, очеловфинть ее на ея пространныхъ страницахъ: словомъ, изъ лъса сдълать паркъ, изъ рощицы-садъ. Еще больше, гордый аристократь собраль туть растенія со всёхъ частей світа и заставиль ихъ утішать себя на сівері; собраль изящитйшія произведенія живописи и ваянія и поставиль ихъ рядомъ съ природою, какъ вопросъ: кто изъ нихъ лучие? Но здъсь уже самая природа не соперничаетъ съ ними, измънилась, расчистилась въ арену для духа человъческаго, который, какъ прежніе германскіе императоры, признаетъ только тъ власти неприкосновенными, которыя уничтожались въ немъ и имъ уже возстановлены, какъ вассалы.

Бывали ли вы въ Архангельскомъ? Ежели нѣтъ, поѣзжайте, а то оно, пожалуй, превратится или въ фильятурную фабрику, или не знаю во что, но превратится изъ прекраснаго цвѣтка въ огородное растеніе.

Они тотчасъ отыскали Ника съ товарищами и отправились сначала въ домъ.

Террористъ Давидъ привътствовалъ ихъ атлетическими формами, которыя онъ думалъ возродить въ республикъ единой и нераздъльной 93-го года вмъстъ съ спартанскими нравами, о привити которыхъ хлопоталъ Сенъ-Жюстъ; а за ними открылся длинный рялъ изящныхъ произведеній.

Глаза разбѣжались, изящные образы окружали со всѣхъ сторонъ. Уныніе смінялось сміхомъ. Святое семейство—Нидерландской таверной. Дъва радости—Вернатовскимъ видомъ моря. Пышный Гвидо-Рени, —князь Юсуповъ въ живописи, --роскошно бросаетъ краски, и формы, и украшенія, чтобы прикрыть подчасъ бълность мысли, и суровые Ванъ-Дейка портреты, глубоко оживленные внутреннимъ огнемъ, съ заклейменной думой на челъ, п ливная группа Амура и Психеи Кановы, все это вмъстъ оставило имъ воспоминание смутное, въ которомъ едва выръзываются отдъльныя картины, оставшіяся, Богъ знаеть почему, также въ памяти. Помнился, напримъръ, портретъ молодого князя, князь верхомъ, въ татарскомъ платьъ; помнился портретъ дочери пл-пле Lebrun. Она стыдливо закрываеть полуребячью грудь и смотрить тымь розовымъ взглядомъ дывушки, которой уже немного поцылуй, который уже волнуеть ея душу, чистую какъ капля росы на розовомъ листкъ, и огненную какъ золотое аи. Не разъ, быть можеть, старый князь останавливался передь ней, желая отодрать ее отъ полотна, возстановить растянутыя въ одну илоскость формы, согръть ихъ, оживить и прижать къ своему сердцу татарина.

Имъ некогда было разбирать все отдёльно, да, въроятно, это и невозможно: всякую галлерею надобно изучить въ одиночествъ и притомъ разематриваніе ея распространить на много и много дней. Довольные восторженностью, чистотою, въ какое ихъ привело созерцаніе изящнаго, они высыпали въ садъ, мимо мощныхъ воиновъ изъ желтаго мрамора, мимо гладіаторовъ, въ тънь аллей. День былъ южно-палящій жаромъ, все ликовало, жужжа летали

пчелы, тонко перетянутыя, молча и съ величайшей граціей танцовали по воздуху пестрыя бабочки съ широкими рукавами, какъ барышни. Солнце faisait les honneurs de la maison, отогрѣвало сырую землю, эмалью покрывало листики цвѣтковъ, радостью наполняло все живущее и коношащееся въ травѣ, на воздухѣ, закуривало сигары и гордо не дозволяло себѣ смотрѣть въ глаза. Имъ все нравилось, даже на этотъ разъ романтизмъ ихъ не возмущался противъ подстриженныхъ деревьевъ, которыя важно и чопорно, какъ офиціанты прошлаго вѣка, въ парикѣ и французскихъ перчаткахъ, стояли по обѣимъ сторонамъ дороги. Бѣлые мраморные бюсты выглядывали изъ-подъ нихъ.

Испеченные солнцемъ и утомленные ходьбой, молодые люди отправились въ комнаты студента. Небольшая зала, въ которой былъ приготовленъ объдъ, примыкала къ оранжерев; одна стеклянная дверь отдъляла ихъ отъ нея; они отворили дверь, ихъ обдало благоуханіемъ юга. Дыханіе дѣтей пламенной природы располагало къ нѣгѣ и къ чувственно-огненнымъ страстямъ, къ dolce far niente. Зачѣмъ изъ вѣнчиковъ этихъ цвѣтковъ не вышли вѣчно юныя гуріи восточнаго рая! Зачѣмъ не принесли холоднаго шербета, зачѣмъ стройныя одалиски не вѣяли пестрыми опахалами, опуская длинныя рѣсницы своихъ черныхъ глазъ и бросая свѣжіе розовые листки въ вино! «Зачѣмъ этотъ глупый нарядъ запада,—простора, нѣги и еще цвѣтовъ благоухающихъ, съ яркими вѣнчиками»,—говорили юноши.

Вино, принесенное со льда, на минуту прохладило ихъ, но, отлившая отъ сердца и головы, кровь возвратилась зажженнымъ спиртомъ, страсти расколыхались; имъ было непомъстительно въ горницъ,—они вышли опять въ садъ и отправились въ бесъдку

на гору, у ногъ которой — Москва-ръка.

Рѣка тихо струилась узенькой ленточкой, довольная своимъ аристократическимъ именемъ; поля, лѣса, синяя даль—природа именно этою далью, этою безграничностью приводитъ въ восторгъ; въ ея наружности отпечатлѣнъ тотъ характеръ безконечности, который заключенъ въ душѣ нашей, и они переплетаются, встрѣтившись; но молодые люди не долго поэтизировали, вскорѣ разговоръ превратился въ шалость, въ хохотъ. Нѣсколько человѣкъ вмѣстѣ рѣдко могутъ восхищаться природой или изящнымъ пронзведеніемъ: благоговѣйный восторгъ рѣдко посѣщаетъ разомъ цѣлое общество, и, ежели хоть одинъ сказалъ холодное слово, остроту, кристальная мечта разсыналась, фальшивая нота разнесется громче прочихъ и роняетъ дѣйствіе всей пьесы. Продурачившись до поздняго вечера, всѣ поѣхали домой. Пріѣхали къ Нику часу во второмъ ночи и расположились отдыхать. Было полнолуніе, мѣсячный свѣтъ ясно свѣтилъ въ окна; днемъ душа

молча випвала изящное, теперь, когда водворилась типпина и вмъсто яркаго свъта дня разлился кроткій полусвъть мъсячной ночи, она начала испарять свои чувства, какъ ночныя фіоли свое благоуханіе.

— Никъ, пойдемъ гулять, —сказалъ Саша, —хочется еще ощу-

щеній, движенія, хочется, чтобы не было потолка.

И они отправились. Длинныя полосы луннаго свъта стлались по улицамъ, ярко смъняемыя густою тънью. Городъ уже уснулъ или еще не просыпался; такъ тихо было, что шаги, далеко слыш-

ные, вызывали глухой лай собакъ.

Они вышли на Арбатскую площадь. Величественные и колоссальные обыкновеннаго казались зданія. Они шли, шли и остановились на Каменномъ мосту. Святой Кремль въ своемъ византійскомъ нарядь, окруженный башнями, стынами, думалъ царскую думу о прошлыхъ и новыхъ въкахъ; часовой, поставленный Годуновымъ, въ бълой одеждь, какъ рында, въ золотой шашкь, какъ князь, сторожитъ покой Кремля, неподвижный и высокій; а ръка шумьла и неслась изъ-подъ арки, и всасывала въ себя мьсяцъ, и сносила его свътъ на середину, и играла имъ, и пускала длинной полосою плыть въ вороненой рамкъ.

Вода не останавливалась ни на мгновеніе, шумёла, разбивалась о камень, пінилась и утекала; волна, сейчась блеснувшая, какъ рыбка, терялась въ толий другихъ, исчезала, какъ волна,

но неслась, какъ рѣка, въ даль, въ море.

Они стояли молча, о чемъ тутъ было говорить; и не думали, и не молились, —а высоко было сочувствие ихъ въ ту минуту съ Творномъ, съ природою, съ человъчествомъ... Предтеча солнца, Гесперъ заблисталъ, словно алмазъ на рукъ Творца, отворяющаго врата утра, и красная полоса, какъ брощенная на землю порфира, сказала о приближенін царственнаго св'єтила. Алый отливъ пробъжалъ по бълымъ стънамъ Кремля и заигралъ огнями на крестахъ, главахъ и окнахъ. Разсвътало. Съ одной стороны спало темное Замоскворъчье, покрытое подымающимся утреннимъ туманомъ, съ другой стороны спала часть города, облитая тъмъ же мѣсяцемъ. Обѣ не знали о началѣ дня, а Кремль его уже встрътилъ, ему уже радовался, и ночь съднемъ встрътились на ръкъ, серебро и золото перемъшалось на волнахъ. Чудное, удивительное зрълище, и оно повторяется каждый день, и люди занятые, «пекущіеся о мнозѣ», не ходять смотрѣть на него! Барабань и дудка возвъщали земнымъ языкомъ «зорю». Они отправились къ Нику, въ садъ, физически и морально утомленные.

Этоть длинный праздникъ, эта особая, блеснувшая волна жизни не могуть исчезнуть въ толит дней, ночей, недѣль, мѣсяцевъ, лѣтъ, которые, какъ дюжинныя волны, бѣгутъ, шумятъ,

пмёють смысль въ совокупности, но не врёзываются въ память. Эта шумная оргія, эта прелестная прогулка внё города и въ городѣ на мѣстѣ,—онѣ на границѣ учебныхъ лѣтъ, это прощанье съ ними, и потому въ нихъ собралось все хорошее и дурное того времени, идеализированное, проникнутое позіей. Прогулка на Каменный мостъ окончила прогулку на Воробъевы горы. Мѣсяцъ мечтаній, односторонней жизни, закатывался, солнце жизни выступало съ своею огненною, всепоглощающей любовью, но и черныя тучи поднимались грозно и мрачно...

Сорока - Воровка.

ПОВЪСТЬ.

(Посвящено Михаилу Семеновичу Шепкину).

Твой домъ, украшенный богато. Гостямъ-согражданамъ открытъ; Тамъ Терпсихора и Эрато Съ подругой Таліей гостить: Хозяннъ, ласковый душею, Склоняеть къ нимъ привѣтный взоръ.

«Укпаинскій Вистнику» на 1816 г.

- Замѣтили ли вы, сказалъ молодой человѣкъ, остриженный поль гребенку, продолжая начатой разговорь о театръ: — замътили ли вы, что у насъ хотя и ръдки хорошіе актеры, но бывають: а хорошихъ актрисъ почти вовсе нъть, и только въ преданіи сохранилось имя Семеновой: не безъ причины же это?
- Причину искать не далеко; вы ея не понимаете только потому, возразилъ другой, остриженный въ кружокъ: — что вы на все смотрите сквозь западные очки. Славянская женщина никогда не привыкнетъ выходить на помостъ сцены и отдаваться глазамъ толны, возбуждать въ ней тѣ чувства, которыя она приносить въ исключительный даръ своему главъ; ея мъсто-дома, а не на позорищъ. Незамужняя-она дочь, дочь покорная, безгласная: замужемъ-она покорная жена. Это естественное положеніе женщины въ семь если лишаетъ насъ хорошихъ актрисъ, зато прекрасно хранитъ чистоту нравовъ.
- Отчего же у нъмцевъ, замътилъ третій, вовсе не стриженный:-семейная жизнь сохранилась, я полагаю, не хуже, нежели у насъ, и это нисколько не мъшаетъ появлению хорошихъ актрисъ. Да потомъ я и въ главномъ не согласенъ съ вами: не знаю, что дълается около очага у западныхъ славянъ, а мы, русскіе, право перестаемъ быть такими патріархами, какими вы насъ пред-

ставляете.

- А позвольте спросить, гдё вы наблюдали и изучали славянскую семью? У высшихь сословій, живущихъ особою жизнію, въ городахъ, которые оставили сельскій быть, одинь народный у нась, по большимъ дорогамъ, гдё мужикъ сдёлался торгашемъ, гдё ваша индустрія развратила его довольствомъ, развила въ немъ искусственныя потребности? Семья не туть сохранилась; хотите ее видёть, ступайте въ скромныя деревеньки, лежащія по проселочнымъ дорогамъ.
- Однако, странное дѣло, большія дороги, города, все то, что хранить и развиваеть другихь, вредно для славянь, такъ, какъ вамъ угодно ихъ представлять; по вашему, чтобъ сохранить чистоту нравовъ, надобно, чтобъ не было проѣзда, сообщенія, торговли, наконецъ довольства, перваго условія развивающейся жизни. Конечно, и Робинзонъ, когда жилъ одинъ на островѣ, былъ примѣрнымъ человѣкомъ, никогда въ карты не игралъ, не шлялся по трактирамъ.
- Все можно представить въ нелѣпомъ видѣ; шутка иногда разсмѣшитъ, но опровергнуть ею ничего нельзя. Есть вещи, которыхъ при всей ловкости западнаго ума вы не поймете, ну такъ не поймете, какъ человѣкъ, лишенный уха, не понимаетъ музыки, что ему вовсе не мѣшаетъ бытъ живописцемъ или чѣмъ угодно. Вы не поймете никогда, что бѣдность, смиренная и трудолюбивая, выше самодовольнаго богатства. Вы не поймете нашего семейнаго, отеческаго распорядка ни въ избѣ, гдѣ отецъ глава, ни въ цѣломъ селѣ, гдѣ глава общины отецъ. Вы привыкли къ строгимъ очертаніямъ правъ, къ рамамъ для лицъ, сословій, къ взаимному обузданью и недовѣрью, все это необходимо на Западѣ: тамъ все основано на враждѣ, тамъ вся задача государственная, какъ сказалъ вашъ же поэтъ, въ неловкой борьбѣ:

Здѣсь натискъ пламенный, а тамъ отпоръ суровой, Пружины смѣлыя гражданственности новой.

— Этой дорогой я не думаю, чтобъ мы скоро добрались до рѣшенія вопроса, отчего у насъ рѣдки актрисы, сказалъ начавшій разговоръ: если для полноты отвѣта вы хотите chemin faisant разрѣшить всѣ историческіе и политическіе вопросы, то надобно будетъ посвятить на это лѣтъ сорокъ жизни, да и то еще успѣхъ сомнителенъ. Вы, любезный славянинъ, сколько я понимаю, хотите сказать, что у насъ оттого нѣтъ актрисъ, что женщина существуеть не какъ лицо, а какъ членъ семейства, которымъ она поглощается: тутъ много истиннаго. Однако вы полагаете, что семейство—въ маленькихъ деревенькахъ; ну, а вѣдь актрисы берутся не изъ этихъ же деревенекъ, къ которымъ нѣтъ проѣзда.

- Здёсь позвольте мий отвёчать вамь, замётиль европеець (такъ мы будемъ называть нестриженаго); у насъ вообще и по шоссе и по проселочнымъ дорогамъ женщина не получила того развязнаго права участія во всемъ, какъ, напр., во Франціп; встрёчаются исключенія, но всегда неразрывныя съ какимъ-то фанфаронствомъ, лучшее доказательство, что это исключеніе. Женщина, которая бы вздумала у насъ вести себя наравнѣ съ образованнымъ мужчиной, не свободно бы пользовалась своими правами, а хотѣла бы выказать свое освобожленіе.
- Конечно, такая женщина была бы уродъ; и по счастію, возразилъ славянинъ, не у насъ надобно искать la femme émancipée, да и вообще надобно ли ее гдѣ-нибудь искать,—я не знаю. Вотъ что касается до человѣческихъ правъ, то обратите нѣсколько вниманія на то, что у насъ женщина пользовалась ими въ самой глубокой древности больше, нежели въ Европѣ, ея имѣнье не сливалось съ имѣньемъ мужа, она имѣетъ голосъ на выборахъ, право владѣнія крестьянами.
- Конечно, изъ правъ, которыми пользуются у насъ дамы, не всѣ принадлежатъ европейской женщинѣ. Но, извините, здѣсь рѣчь вовсе не о писанныхъ правахъ, а пменно о правахъ неписанныхъ, объ общественномъ мнѣніи. Что сказали бы мы сами, если бы въ нашу бесѣду, очень тихую и не имѣющую въ себѣ ничего оскорбительнаго, вдругъ явилась одна изъ знакомыхъ дамъ. Я увѣренъ, что и намъ и ей было бы не по себѣ; мы совсѣмъ иначе настраиваемъ себя, если предвидимъ дамское общество: въ этомъ недостатокъ уваженія къ женщинѣ.
- Какъ вы начитались Жоржа Занда. Мужчина вовсе не долженъ быть съ женщинами на распашку; и зачёмъ женщина пойдетъ дёлить его бесёду? Мнѣ ужасно нравятся мужскія собранія, въ которыя не мѣшаются дамы, въ этомъ есть что-то строгое, непзнѣженное.
- И чрезвычайно гуманное относительно женщинъ, которыя покинуты дома. Вы, я думаю, пошли бы въ запорожскіе казаки, если-бъ попрежде родились.
- Ваша мысль до того иностранная, что вы и слова русскаго не прибрали, чтобъ ее выразить. Какъ будто мало женщин дёла въ скромномъ кругу домашней жизни; я не говорю ужъ о матери, которой обязанности и такъ святы, и такъ сложны.
- Охъ, этотъ скромный кругъ! Императоръ Августъ, который раздълялъ ваши славянскія теоріи, держалъ дочь дома и съ улыбкой говорилъ спрашивавшимъ о ней: «дома сидитъ, шерсть прядетъ». Ну, а знаете, нельзя сказать, чтобъ нравы ея сохранились совершенно чистыми. По моему, если женщина отлучена отъ половины нашихъ интересовъ, занятій, удовольствій, такъ

она въ половину менѣе развита и, браните меня хоть почешски, въ половину менѣе нравственна: твердая нравственность и со-

знаніе не разрывны.

— Теперь мой чередъ вамъ возражать, сказалъ начавшій разговоръ. Каждый видѣлъ своими собственными глазами, что у насъ въ образованныхъ сословіяхъ женщины несравненно выше своихъ мужей; вотъ и ловите жизнь послѣ этого общими формулами. Дѣло очень понятное. Мужчина у насъ не просто мужчина, а военный или статскій, онъ съ двадцати лѣтъ не принадлежитъ себѣ, онъ занятъ дѣломъ: военный—ученьями; статскій— протоколами, выписками; а жены въ это время, если не ударятся исключительно въ соленье и варенье, читаютъ французскіе романы.

— Поздравляю ихъ. Должно быть хорошо образованіе, вставиль славянинъ, которое можно почерпнуть изъ Бальзака, Сю, Пюма, изъ этой болтовни старика, начинающаго морализировать

отъ истощенья силъ.

- Я съ вами, пожалуй, соглашусь, хоть я и не говориль, что дамы читають именно ть романы, о которыхъ вы говорите; и туть, удивительное дъло, самые пустые французскіе романы больше развивають женщину, нежели очень важныя занятія развивають ихъ мужей, и это отчасти оттого, что судьба такъ устроила француза: чтобъ онъ ни дълалъ, онъ все учитъ. Онъ напишетъ дрянной романъ съ неестественными страстями, съ добродътельными пороками и съ злодъйскими добродътелями, да по дорогъ, или, върнъе, потому что это совсъмъ не по дорогъ, коснется такихъ вопросовъ, отъ которыхъ у васъ духъ займется, отъ которыхъ вамъ сдълается страшно; а чтобъ прогнать страхъ, вы начнете думать. Положимъ, что вопросовъ-то и не разръшите вы, да самая возбужденность мысли есть своего рода образованіе. Вотъ, видя это отношеніе женскаго образованія у насъ къ мужскому, я и удивляюсь, что нъть актрисъ.
- Да что же вамъ еще надо, возразилъ съ запальчивостью славянинъ:—у насъ нѣтъ актрисъ потому, что занятіе это несовмѣстно съ цѣломудренною скромностью славянской жены: она любитъ молчать.
- Давно бы вы сказали, прибавилъ европеецъ:—вы больше объяснили, нежели хотъли. Теперь ясно, отчего у насъ актрисъ нътъ, а танцовщицъ очень много. Но шутки въ сторону. Я думаю, у насъ оттого нътъ актрисъ, что ихъ заставляютъ представлять такія страсти, которыхъ онъ никогда не подозръвали, а вовсе не отъ недостатка способностей. Каждое чувство, повторяемое артистомъ, должно быть ему коротко знакомо, для того, чтобъ его выразить не карикатурно. Китайца въ Орішт еt Cham-

радпе ничего не значить представить: но есть ли возможность, чтобъ я хорошо сыгралъ инивискаго брамина, повергнутаго въ глубокое отчанніе оттого, что онъ нечанню заціпился за парію, или боярина XVII стольтія, который въ принадкъ аристократическаго мъстничества, изъ point d'honneur, валяется подъ столомъ, а его оттуда тащатъ за ноги. Если-бъ, въ самомъ дълъ, у насъ женщина не существовала, какъ лицо, а была бы совершенно потеряна въ семействъ, тутъ нечего было бы и думать объ актрисъ. Въ пастушеской жизни, какъ и вездъ, могутъ быть страсти, но не тъ, которыя возможны въ прамъ: слъпая покорность, коварная скрытность, двоедущіе такъ же мало идутъ въ истинную драму, какъ подлое убійство, какъ чувственность. Необразованная семья слишкомъ неразвита, она-семья, а въ драмъ нужны лица. По счастью, такая семья только и существуеть въ преданіяхъ да въ славянскихъ мечтахъ. Но если мы и перешагнули за плетень патріархальности, такъ не дошли же опять до той всесторонности, чтобъ глубоко сочувствовать прожитому, выстраданному опыту другихъ. Ну, я васъ спрашиваю, какъ сыграеть русская актриса Ивву Орлеанскую? Это не въ ея родв совсемь. Или: какъ русскій актеръ возсоздаєть эти величавыя и мрачныя, горпыя и самобытныя шекспировскія лица, окружающія его Іоанна, Ричарда, Генриховъ, лица совершенно англійскія? Они для него такъ же странны, какъ человъкъ, который бы нюхаль глазами и ушами пълъ бы пъсни. Фальстафа онъ представить скорбе, потому что въ Фальставб есть черты, которыя мы можемъ винъть во всякомъ уъздномъ городъ...

— Но есть же общечеловъческія страсти?

— И да, и нѣтъ. Отелло былъ ревнивъ по-африкански и задушилъ невинную Дездемону, потомъ зарѣзался, называя себя «собакой». А у меня былъ пріятель, сосѣдъ по имѣнію, тоже преревнивый; онъ нерехватилъ разъ нисьмо, писанное къ его женѣ и притомъ очень недвусмысленное; въ припадкѣ ярости онъ употребилъ отеческую исправительную мѣру и помирился съ женой. Ревность — одна страсть, но похожа ли она въ бѣшеномъ маврѣ и въ нравоучительномъ пріятелѣ? До нѣкоторой степени можно натянуть себя на пониманье чуждаго положенія и чуждой страсти, но для художественной игры этого мало. Повѣрьте, такъ, какъ поэтъ всюду вноситъ свою личность,—и чѣмъ вѣрнѣе онъ себѣ, чѣмъ откровеннѣе, тѣмъ выше его лиризмъ, тѣмъ сильнѣе онъ потрясаетъ ваше сердце,—тоже съ актеромъ: чему онъ не сочувствуетъ, того онъ не выразитъ или выразитъ учено, холодно. Вы не забывайте, онъ все же себя вводитъ въ лицо, созданное поэтомъ.

— О чемъ это вы такъ горячо проповъдуете? спросилъ, входя въ комнату, одинъ извъстный художникъ.

- Вотъ кстати-то какъ нельзя больше! Рѣшайте намъ вопросъ, занимающій насъ; мы единогласно выбираемъ васъ непогрѣшающимъ суліей.
 - Много чести. Въ чемъ же дѣло?
- Во-первыхъ, скажите, видали ли вы русскую актрису, которая бы вполнъ удовлетворила всъмъ вашимъ требованіямъ на искусство?
 - Которая была бы не хуже Марсъ, Рашель?
 - Хоть Алланъ и Плесси.
- Видѣлъ, отвѣчалъ артистъ; видѣлъ великую русскую актрису; только я ее сужу безъ всякаго сравненія; всѣ названныя вами актрисы хороши, велики, каждая въ своемъ родѣ, но какъ ихъ искусство относится къ той, которую я видѣлъ, не знаю. Знаю, что я видѣлъ великую актрису, и что она была русская.
 - Въ Москвъ или Петербургъ?
- Вотъ задача-то для нашего славянина, подхватиль одинъ изъ говорившихъ:—какъ вы думаете, въдь театръ-то болъе принадлежить петербургской эпохъ, нежели московской. Ну, гдъ же она была?
- Все-таки, должно быть, въ Москвъ, ръшительно возразилъ славянинъ.
- Успокойтесь. Я ее видёль ни тамъ, ни туть, а въ одномъ маленькомъ губернскомъ городё.
- Вы это, върно, говорите для оригинальности, хотите насъ поразить эффектомъ.
- Можетъ быть. Вы признали меня непогрѣшающимъ судьей, ваше дѣло вѣрить. Ну, какъ я теперь вамъ докажу, что, двадцать лѣтъ тому назадъ, я видѣлъ великую актрису, что я тогда рыдалъ отъ Сороки-Воровки, и что все это было въ маленькомъ городкѣ?
- Очень легко. Разскажите намъ какія-нибудь подробности о ней: вѣдь, не съ неба же она свалилась прямо въ Сороку-Воровку и не улетѣла же вмѣстѣ съ безнравственной птицей.
- Пожалуй. Да только эти воспоминанья неотрадны для меня, какъ-то очень тяжелы. Но извольте, что помню—разскажу. Дайте сигару.
- Воть вамъ casadores cubrey, сказалъ европеецъ, вынимая изъ портфеля длинную, стройную сигару, которой наружность ясно доказывала, что она принадлежитъ къ высшей аристократіи табачнаго листа.
- Вы знаете человъческую слабость,—о чемъ бы человъкъ ни вспоминалъ, онъ начнетъ всегда съ того, что вспомнитъ са-

мого себя; такъ и я, грѣшный человѣкъ, попрошу у васъ позволенія начать съ самого себя.

— Отъ души позволяемъ, отъ всей души.

— Не знаю, будуть ли цодробности объ актрисѣ интересны, а объ васъ-то навърное:

Parlez nous de vous, notre grand père,

Напъвалъ европеецъ.

Всѣ успокоились, всѣ немножко подвинулись, какъ обыкновенно бываетъ, когда приготовляются слушать. Передаю здѣсь, насколько могу, разсказъ художника; конечно, записанный, онъ много потеряетъ и потому, что трудно во всей живости передать рѣчь, и потому, что я не все записалъ, боясь перегрузить статейку.

Но вотъ его разсказъ.

Вы знаете, что я началъ свое артистическое поприще на скромномъ провинціальномъ театръ. Цъла нашего театра поразстроились; я быль ужъ женать: надобно было думать о будущемъ. Въ самое это время распространялись болже и болже сказочныя повъствованія о театръ князя Скалинскаго, въ одномъ губ. городъ. Любонытство видъть хорошо устроенный театръ, надежды, а можетъ быть и самолюбіе, сильно манили туда. Цолго думать было не о чемъ; я предложилъ одному изъ товарищей, который вовсе не предполагаль бхать, отправиться выбств въ N, и черезъ нелълю мы были тамъ. Князь быль очень богатъ и проживался на театръ. Вы можете изъ этого заключить, что театръ былъ не совсвиъ дуренъ. Въ князъ была русская широкая, размашистая натура: страстный любитель искусства, человъкъ съ огромнымъ вкусомъ, съ тактомъ роскоши, ну, и при этомъ, какъ водится, непривычка обуздываться, и расточительность въ высшей степени. За последнее винить его не станемъ: это у насъ въ крови; я, небогатый художникъ, и онъ, богатый аристократь, и бъдный поденьщикъ, пропивающій все, что вырабатываетъ, въ кабакъ, --мы руководствуемся одними правилами экономіи; разница только въ цифрахъ.

- Мы—неразсчетливые нѣмцы, замѣтилъ съ удовольствіемъ славянинъ.
- Въ этомъ нельзя не согласиться, прибавилъ европесцъ. Останавливался ли кто изъ насъ мыслію, что у него денегъ мало, напр., когда ему хотѣлось выпить благороднаго вина? «За него», говоритъ Пушкинъ:

Послѣдній бѣдный лепть, бывало, Паваль я, помните ль, друзья?

Совствиь напротивъ: чтить меньше денегъ, ттить больше тратимъ. Вы, втрно, не забыли одного изъ нашихъ друзей, который, отдавая назадъ налитой стаканъ плохого шампанскаго, замътилъ, что мы еще не такъ богаты, чтобъ пить дурное вино.

— Госпона, мы мъщаемъ разсказу. Итакъ-съ?

Ничего. Князь слышалъ обо мнъ прежде. Когда я явился къ нему, онъ былъ въ своей конторъ и раздавалъ билеты, съ глубокимъ обсуживаніемъ, достоинъ или нізть, и какого именно мъста достоинъ приславшій за билетомъ. «Очень радъ, очень радъ, что вы взиумали, наконенъ постить нашъ театръ, вы будете нашимъ дорогимъ гостемъ», и бездну любезностей; мнъ оставалось благодарить и кланяться. Князь говориль о театръ, какъ человъкъ, совершенно знающій и сцену и тайну постановки. Мы остались, кажется, довольны другь другомъ. Въ тотъ же вечеръ я отправился въ театръ; не помню, что давали, но увъряю, что такой иышности намъ ръпко случалось вильть; что за декораціи, что за костюмы, что за сочетаніе всіхъ подробностей! Словомъ, все внѣшнее было превосходно, даже выработанность актеровъ; но я остался холоденъ; было что-то натянутое, неестественное въ манерѣ, какъ дворовые люди князя представляли лордовъ и принпессъ. Потомъ я пебютировалъ, былъ принятъ публикой какъ нельзя лучше; князь осыпаль меня учтивостями. Приготовляясь ко второму небюту, я ношель въ театръ, Цавали «Сороку-Воровку»; мнъ хотълось посмотръть княжескую труппу въ драмъ.

Пьеса уже началась, когла я вошель; я посадоваль, что опоздалъ, и разсъянно, не понимая, что дълаютъ на сценъ, смотрълъ по сторонамъ, смотрълъ на правильное размъщение лицъ по чинамъ, на странное сборище физіономій, вовсе другь на друга не похожихъ, а выражающихъ одно и то же, на провинціальныхъ барынь, пестрыхъ, какъ американскія птицы, и на самого князя, который такъ гордо, такъ озабоченно сидълъ въ своей ложъ. Вдругь меня поразилъ слабый женскій голосъ; въ немъ выражалось такое страшное, глубокое страданіе. Я устремился глазами на сцену. Служанка откупника узнала въ старомъ бродягъ своего отца, бъгдаго солдата... Я почти не слушалъ ея словъ, а слушалъ голосъ. Боже мой! думалъ я; откуда взялись такіе звуки въ этой юной групи; они не выдумываются, не пріобрътаются изъ сольфеджей, а бываютъ выстраданы, приходять наградой за страшные опыты. Она провожаетъ отда до плетня, она стоитъ передъ нимъ такъ просто, задумчиво; надеждъ мало его спасти,и когда старикъ уходитъ, вивсто словъ, назначенныхъ въ роли, у нея вырвался неопредёленный крикъ, крикъ слабаго, беззащитнаго существа, на которое обрушилось тяжкое, незаслуженное горе. Теперь, черезъ двадцать лѣтъ, я слышу этотъ раздирающій крикъ.

Онъ пріостановился.

Да, господа, сказаль онъ, помолчавши: — это была великая русская актриса!

Въроятно, вы знаете сюжетъ «Сороки-Воровки» хоть по россиніевской оперф. Страшная пьеса, послф которой ничего бы не оставалось на пушъ, кромъ отчаянія, если бы не принълали мелодрамную развязку. Анету обвиняють въ кражъ, полозръніе имбеть какъ булто полное право пасть на ея голову: какъ ее не полозрѣвать? Она бѣлна, она служанка. Па и наконецъ, если обвиненіе окажется несправедливымъ, что за бъда; ей скажуть: «поди, голубушка, помой; вилишь, какое счастіе, что ты невинна!» А до какой степени все это вмъстъ поджно разбить, уничтожить оскорбленіемъ нѣжное существо, -- этого разсказать не могу; для этого надобно было видъть игру Анеты, видъть, какъ она, испуганная, трепещущая и оскорбленная, стояла при допросъ: ея голось и видь были громкій протесть, протесть, раздирающій душу, обличающій много нелішаго на світь и въ то же время умягченный какой-то теплой, кроткой женственностію, разливающей свой характерь нѣжной граціи на всѣ ея движенія, на всѣ слова. Я былъ изумленъ, пораженъ; этого я не ожидалъ, между тъмъ пьеса развивалась, обвинение шло впередъ, бальи хотыть его для наказанія неприступной красавицы; черные люди суда мелькали по сцень, толковали такъ глубокомысленно, разсуждали такъ здраво, потомъ осудили невинную Анету, и толпа стражей повела ее въ тюрьму; да, да, вотъ какъ теперь вижу, бальи говоритъ: «Господа служивые, отведите эту дъвину въ земскую тюрьму»-и бъдная идетъ! но она останавливается еще разъ. «Ришаръ», — говоритъ она, «я невиниа, да неужели и ты не въришь, что невинна!» И тутъ уже среди стона угнетенной женщины звучитъ вопль негодованія, гордости, той непреклонной гордости, которая развивается на краю униженія, послъ потери всёхъ надеждъ, развивается вмёстё съ сознаніемъ своего достоинства и тупой безвыходности положенія. Помните старый анекдоть, какъ добрый нёмець закричаль изъ райка людямъ убитаго командора, искавшимъ Донъ-Жуана: «Онъ побѣжалъ направо въ переулокъ!» Я чуть не сдёлаль того же, когда Анету повели солдаты. Потомъ сцена въ тюрьмъ съ бальи. Развратный старикъ видитъ невиновность ея въ кражъ и предлагаетъ продажей чести купить свободу. Несчастная жертва вырастаетъ, ея слова становятся страшны, и какая-то глубокая иронія лица удвоиваеть оскорбительную силу словъ. Я какъ-то случайно

взглянуль въ продолжение этой сцены на князя: онъ быль сильно потрясень, вертылся, покидаль лорнеть, опять браль его. Какъ такому знатоку не быть пораженнымъ этой игрой! Онъ върно умъль вполнъ пънить такую актрису, подумаль я. Тихо, съ опущенной головой, съ связанными руками, шла Анета, окруженная толною солдать, при ръзкихъ звукахъ барабана и дудки. Ея видъ выражаль какую-то глубокую думу и изумленіе. Въ самомъ пѣлѣ. представьте себъ всю нельпость: это дитя, слабое, кроткое, съ свътлымъ челомъ невинности, и солдаты съ тесаками, съ штыками, и барабаны; да гдѣ же непріятель? А непріятель-то-это дитя въ серединъ ихъ, и они побълять его... Но она останавливается передъ церковью, бросается, молча, на колъни, полнимаетъ задумчивый взглядъ къ небу; не укоръ Прометея, не налменность Титана въ этомъ взглядъ, совсъмъ нътъ, а такъ простой вопросъ: «За что же это? и неужели это правда?» Ее повели. Я рыдалъ какъ ребенокъ. Вы знаете преданіе о «Сорокъ-Воровкъ»; дъйствительность не такъ слабонервна, какъ драматические писатели, она идеть до конца: Анету казнили, Въ пьесъ открывають, что воровка не она, а сорока, —и вотъ Анету несутъ назапъ въ торжествь; но Анета лучше автора поняла смыслъ событія; измученная грудь ея не нашла радостнаго звука; блёдная, усталая, Анета смотрѣла съ тупымъ удивленіемъ на окружающее ликованіе, со стороною упованій и надеждъ, кажется, она не была знакома. Сильныя потрясенія, горькій опыть подрёзали корень, и цвітокъ, еще благоуханный, склонялся, вянуль; спасти его нельзя было; какъ мнѣ жаль было эту нѣвушку!...

Фу, Боже мой, продолжаль онь, обтирая лицо платкомы:—я такую волю даль воображенію и воспоминанію, что, кажется, и заврался и расплакался; да я не могу объ этихъ предметахъ иначе говорить, всякой разъ увлекусь... Ну, занавѣсь опустилась. Какъ дорого бы я далъ, чтобъ ее опять подняли; еще бы разъ взглянуть на эту потухающую красоту, на это изящное страданіе. Но ее не вызывали. Не увидъть Анеты я не могъ; идти къ ней, сжать ей руку, молча, взглядомъ передать ей все, что можеть передать художникъ другому, поблагодарить ее за святыя мгновенія, за глубокое потрясеніе, очищающее душу отъ разнаго хлама, -- мнт это необходимо было какъ воздухъ. Я бросился за кулисы... Въ партеръ меня остановилъ одинъ любитель театра; онъ кричалъ мнѣ, выходя изъ своего ряда: «А, вѣдь, Анета-то не дурна была, какъ вамъ? Очень недурна, немножко манеры тривіальны». Я не возражаль ему ни слова; его бы не убъдилъ, а время терять не хотълъ. «Куда вы?» спросилъ меня офиціанть, стоявшій при входф за кулисы.—Я желаю видёть Анету, понимаешь, ту актрису, которая представляла сегодня служанку. «Безъ княжева позволенья нельзя».—Помилуй, любезный, я самь артисть, третьяго дня играль. «Мий не было приказу васъ пускать».—Пожалуйста, сказалъ я, выразительно опустивши два пальца въ жилетный карманъ. «Какіе вы мудреные», отвичаль лакей: — «что же, мий изъ-за васъ свою спину подставить?»

Я больше не настанваль и отправился домой: но я быль близокь къ отчаянію, я былъ несчастень, и это не фраза, не пустое слово... Неужели изъ васъ никому не случалось отдаваться безотчетно и безпъльно обаятельному вліянію женщины, вовсе не близкой, долго смотръть на нее, долго ее слушать, встръчаться взглядомъ, привыкнуть къ ея улыбкъ, и такъ вжиться въ эту летучую симпатію, что вы потомъ удивляетесь ея силъ, когда эта женщина исчезаеть: п вы себя чувствуете какъ-то оставленнымъ, одинокимъ: какая-то горечь наполняетъ душу, и весь вечеръ испорченъ, и вы торопитесь домой и сердитесь, что у васъ въ передней нагоръло на свъчкъ, и что сигара скверно курится, -- все оттого, что сыграли романъ въ полтора часа, романъ съ завязкой и развязкой. Если вы это испытали, то поймете, что происходило во мнф, молодомъ художникъ: тоска по Анетъ привела меня въ лихорадочное состояніе. Я, больной, бросился на кровать, я бредиль, спалъ и не спаль, и въ обоихъ случаяхъ образъ несчастной служанки носился перепо мною. То она стоитъ, осужденная, такъ просто, удивительно просто; кругомъ сумасшедшіе—ихъ называютъ судын, и мит становилось горько; никто изъ нихъ не можетъ понять, что съ этимъ лицомъ и съ этимъ голосомъ нельзя быть виноватой. То вооруженные стражи ведуть ее, со связанными руками, на торжественное убіеніе и думають, что ділають діло. То несуть ее съ криками радости, ей толкуютъ, говорятъ, что все прошло, что она свободна, -- а она устала, у ней нътъ силъ обрадоваться, она какъ будто спрашиваеть: «да что же было, въдь, ничего и не было?» Словомъ, тысячи варіацій на тему «Сороки-Воровки» бродили у меня въ головъ всю ночь.

На другой день утромъ, часовъ въ одиннадцать, я отправился въ домъ князя, съ твердымъ намъреніемъ лечь костьми, или добиться аудіенціи у Анюты. Когда я взошелъ на парадное крыльцо—одинъ отпертой входъ во всъ домы, домики и флигеля князя — явился швейцаръ съ своимъ глобусомъ на палкъ. Начался допросъ: къ кому, за чъмъ? Я сказалъ. Швейцаръ объявилъ мнъ, что безъ письменнаго дозволенія отъ князя меня не пропустятъ. Ну, меценатъ ревнивъ, подумалъ я. «Да какъ же берутъ эти дозволенія?» — Пожалуйте въ контору, тамъ управляющій можетъ доложить его сіятельству. Швейцаръ позвонилъ; вышелъ офиціантъ и повелъ меня въ контору. Гордо развалясь передъ конторкой, сидълъ толстый управляющій, и, несмотря на ранній

часъ, онъ уже успълъ не только утолить голодъ, но даже и жажду. Я объяснилъ ему мою просьбу; въроятно, толстый господинъ не очень бы двинулся для меня, но онъ зналъ, что князь хотълъ заманить меня въ свою труппу, и, предоставляя себъ дълать мнъ отказы и непріятности впоследствій, счелъ за нужное теперь уступить моей просьбъ и самъ отправился къ князю для переговоровъ по такому важному дълу. Черезъ минуту онъ возвратился съ въстью, что князь билеть подпишеть и пришлеть въ контору. Мнъ было некупа итти, я сълъ въ уголъ. Въ конторъ царствовала большая дёятельность. Французъ декораторъ прибёгалъ крупно браниться съ управляющимъ и ломанымъ русскимъ языкомъ говорилъ совершенно нерусскія вещи; онъ быль растрепанъ, въ засаленомъ сюртукъ и такъ гордо смотрълъ, какъ самъ управляющій, и очень ругался. Потомъ управляющій велёль позвать какого-то Матюшку; привели молодаго человъка съ завязанными руками, босого, въ серомъ кафтанъ изъ очень толстаго сукна. «Пошель къ себъ», сказаль ему грубымь голосомъ управляющій:--«на если въ пругой разъ осмъдишься выкинуть такую штуку, я тебя не такъ угошу: забыли о Сенькъ?» Босой человъкъ поклонился, мрачно посмотрёлъ на всёхъ и вышелъ вонъ. «Sacré peuple», пробормоталъ декораторъ и вышелъ вонъ, надъвши середь комнаты шляпу. «Лицо молодого человъка мнъ что-то очень знакомо», сказалъ я лакею, случившемуся близъ меня.—«Да вы съ нимъ третьяго дня играли». — «Неужели это тоть, который играль лорна?»— «Тоть самый».—«За что это его такь скрутили?» спросиль я, понизивъ голосъ. Лакей бросиль косвенный взглядъ на управляющаго и, видя, что онъ щелкаеть на счетахъ, слъдственно совершенно поглошень, отвічаль мні полушопотомь: «Записочку перехватили къ одной актеркъ; ну, этого у насъ не долюбливають, его и велёли на мёсяць посадить въ сибирку».— «Такъ это его тогна приводили на сцену оттуда?» — «Да-съ; имъ туда роли посылають твердить».—«Порядокъ всего дороже», отвъчалъ я, и желаніе итти въ княжескую трушиу начало остывать.

Дверь въ контору растворилась съ шумомъ, всѣ вскочили, вошелъ князь. Лакей взглянулъ на меня, я понялъ: это была просьба о скромности. Князь прямо подошелъ ко мнѣ и, подавая билеть, замѣтилъ, какъ ему пріятно, что артистка его труппы заслужила такое одобреніе отъ меня,—весьма лестно отзывался о ней, страхъ какъ жалѣлъ, что она слаба здоровьемъ, извинялся, что меня не пустили безъ билета... «Дѣлать нечего, порядокъ въ нашемъ дѣлѣ половина успѣха, ослабь сколько-нибудь возжи, бѣда, артисты люди безпокойные. Вы знаете, можетъ быть, что французы говорятъ: легче арміей цѣлой управлять, нежели труппой актеровъ. Вы не сердитесь за это, прибавилъ онъ, смѣясь:—

вы такъ привыкаете играть разныхъ султановъ, вельможъ, что и за кулисами остаются такія замашки».—Князь, сказаль я:если французы это говорять, то потому, что они не знають устройства вашей труппы и ея управленія. «О, да вы къ тому же и льстецъ большой!» зам'тилъ князь, грозя пальцемъ, и, благосклонно улыбнувшись, важно отправился къ бюро. А я къ Анетъ.

Пока я достигь флигеля, гиб жила Анета, меня раза три останавливали то лакей въ ливреъ, то дворникъ съ бородой: билеть побъдилъ вет препятствія, и я съ біющимся сердцемъ постучался робко въ указанную дверь. Вышла дъвочка лътъ тринадцати, я назваль себя. «Пожалуйте», сказала она:—«мы васъ ждемъ». Она привела меня въ довольно опрятную комнатку, вышла въ другую дверь; дверь черезъ минуту отворилась, и женщина, од тая вся въ бъломъ, шла скорыми шагами ко мнъ. Это была Анета. Она

протянула мнѣ обѣ руки и сказала:

— Чёмъ заслужила я это... благодарю васъ..., сказала тёмъ голосомъ, который вчера такъ сильно потрясъ меня, и прежде, нежели я усивлъ что-нибудь отвъчать, она залилась слезами.--Извините, шентала она сквозь слезы прерывающимся голосомъ:--Вога ради, извините... это сейчасъ пройдетъ... я такъ обрадовалась... я слабая женщина, простите.

— Успокойтесь, что съ вами? успокойтесь, говорилъ я ей, и мои слезы капали на жилеть: — если-бъ я зналъ, что мое посѣ-

шеніе...

— Полно-те, какъ вамъ не грѣшно, полно-те, п она снова протянула мит руку, омоченную слезами, а другою закрыла глаза:вы не можете понять, сколько добра вы мей сдёлали вашимъ посъщениемъ, это благодъяние... Будьте же синсходительны, подождите минуту... я не много вышью воды, тогда все пройдеть, и она улыбнулась мнъ такъ хорошо и такъ печально... Мнъ давно хотълось поговорить съ художникомъ, съ человъкомъ, котором у я могла бы все сказать, но я не ждала такого человъка, и вдругъ вы, —я вамъ очень благодарна. Пойдемъ-те въ комнату, здъсь могуть насъ подслушать; не думайте, чтобъ я боялась, нътъ, ей-Богу, нътъ. Но это шијонство унизительно, грязно... и не для ихт ушей то, что я вамъ хочу сказать.

Мы вошли въ спальню; она выпила воды и бросилась на стулъ, указывая мнѣ на кресло. Гдѣ были всѣ придуманныя мною похвалы, гдж были эти тонкія замічанія, которыми я хотыть похвастать? Я смотрыть на нее сквозь слезы, смотрыть, и грудь моя поднималась. Лицо ея, прекрасное, но уже изнеможенное, было страшное сказанье: въ каждой чертъ можно было прочесть ту исповъдь, которая звучала въ ея голосъ вчера. Къ этимъ чертамъ, къ этому лицу прибавлять много не было нужды: нъсколько собственных имень, ибсколько случайностей, чисель; остальное было высказано очень ясно. Огромные черные глаза блистали не восточной ибгой, а какъ-то траурно, безнадежно; огонь, свътившійся въ нихъ, кажется, сжигалъ ее. Худое и до невъроятности истомленное лицо раскрасивлесь оть слезъ какъто неестественно, чахоточно, она отбросила волосы за ухо и склонила на руку, опертую на столъ, свою голову. Зачёмъ тутъ не было Кановы или Торвальдсена: вотъ статуя страданья, страданья внутренняго, глубокаго! Что за благородная, богатая натура, думалъ я, которая такъ изящно гибнетъ, такъ страшно и такъ граціозно выражаетъ несчастіе!.. Минутами, артистъ побъждалъ во мив человъка... Я восхищался ею, какъ художественнымъ произведеніемъ.

Между тъмъ она оправилась и говорила:

— Не правда ли, какая смѣшная встрѣча? Да еще не конецъ; я вамъ хочу разсказывать о себѣ; мнѣ надобно высказаться; я, можетъ быть, умру, не увидѣвши въ другой разъ товарища-художника... Вы, можетъ быть, будете смѣяться,—нѣтъ, это я глупо сказала, смѣяться вы не будете. Вы слишкомъ человѣкъ для этого; скорѣе вы сочтете меня за безумную. Въ самомъ дѣлѣ, что за женщина, которая бросается съ своей откровенностью къ человѣку, котораго не знаетъ; да, вѣдь, я васъ знаю, я видѣла васъ на сценѣ: вы художникъ.

Я жалъ ея руку и не могъ вымолвить ни слова.

- Исторія моя не длинна, очень коротка, напротивъ; я не утомлю васъ; послушайте ее хоть за то удовольствіе, которое я вамъ доставила Анетой.
- Да говорите, ради Бога, говорите; я жадно ловлю каждое слово, хотя, скажу вамъ откровенно, я бы могъ вамъ разсказать вашу исторію, не слыхавъ ни отъ васъ, ни отъ кого другого ни слова... Я ее знаю.
- Воть потому-то я вамь и разскажу ее. Я не такъ давно въ здѣшней труппѣ. Прежде я была на другомъ провинціальномъ театрѣ, гораздо меньшемь, гораздо хуже устроенномъ; но мнѣ тамъ было хорошо, можетъ быть оттого, что я была молода, беззаботна, чрезвычайно глупа, жила, не думая о жизни. Я отдавалась любви къ искусству съ такимъ увлеченіемъ, что на внѣшнее не обращала вниманія, я болѣе и болѣе вживалась въ мысль, вамъ, вѣроятно, коротко знакомую,—въ мысль, что я имѣю призваніе къ сценическому искусству; мнѣ собственное сознаніе говорило, что я актриса. Я безпрерывно изучала мое искусство, восинтывала тѣ слабыя способности, которыя нашла въ себѣ, и радостно видѣла, какъ трудность за трудностью исчезаетъ. Помѣщикъ нашъ былъ добрый, простой и честный человѣкъ; онъ

уважаль меня, цёниль мои таланты, даль мнё средства выучиться по-французски, возиль съ собою въ Италію, въ Парижъ, я видъла Тальму и Марсъ, я пробыла полгода въ Парижъ, ичто дълать!-я еще была очень молода, если не лътами, то опытомъ, и воротилась на провинціальный театрикъ; мнѣ казалось, что какіе-то особенные узы долга связують меня съ воспитателемъ. Еще бы годъ!.. Мало ли что могло бы быть... Онъ умеръ скоропостижно. Въ мрачной боязни ждали мы шесть недъль, онъ прошли, векрыли бумаги, но въ нихъ ничего не нашлось. Новость эта оглушила насъ; пока мы еще плакали да думали, что дълать, наша трупна перешла въ другія руки. Князь нашъ хорошо приняль, хорошо помъстиль, какъ вы сами видите, даже положилъ большіе оклады, не стъсняя себя впрочемъ точностью выдачи. Но это быль ужъ не прежній директоръ, добродушный и снисходительный; онъ съ перваго разу далъ почувствовать всю необъятную разницу между имъ и его гаерами, назначенными для его удовольствія. Онъ привыкъ къ рабольнію, онъ протягиваль свою руку охотникамъ цъловать; дворецкій и толпа его фаворитовъ старались подражать ему въ обращении. Тяжело было на сердць, очень тяжело, но были еще и отрадныя минуты; меня берегли за таланть, и я умъла еще такъ предаваться искусству, что забывала окружающее; меня тъшило-самой смъшно и стыдно теперь — прекрасное устройство театра. Все это прошло, — даже становится невъроятнымъ, что было.

— Я стала замічать, что одинь изълюбимцевь князя особенно внимателенъ ко мнъ, я поняла эту внимательность и - вооружилась. Князь не привыкъ къ отказамъ изъ труппы. Я дълала видъ, что ничего не понимаю; онъ счелъ за нужное высказывать яснъе и яснъе свои намъренія; наконець, онъ подослаль ко мнъ своего повъреннато съ разными объщаніями п условіями. Я прогнала повъреннаго, и на время преслъдованія прекратились. Разъ поздно вечеромъ, воротившись съ представленія, я читала вслухъ, одна, читала вновь переведенную съ нѣмецкаго трагедію «Коварство и Любовь». Вы знаете, въроятно, ее. Въ ней такъ много близкаго душъ, такъ много негодованія, упрека, улики въ нелъпости жизни, которую ведуть люди; когда читаешь ее, будто вспоминаешь что-нибудь родное, близкое, бывалое. Всѣ лица этой пьесы оставляють какое-то тяжелое впечатльніе-гофмаршаль, и леди, и старикъ камердинеръ, у котораго дъти пошли добровольно въ Америку... и милыя дёти Фердинандъ и Луиза. Знаете, Луизу я сыграла бы, особенно сцену съ Вурмомъ, гдѣ онъ заставляеть писать письмо, если бы можно при васъ, да князь не любить такихъ пьесъ. Итакъ, я читала «Коварство и Любовь» и была совершенно подъ вліяніемъ пьесы, увлечена, одушевлена ею;



— Что я чувствовала, какъ я провела эту ночь, вы можете понять. Не хочу вамъ разсказывать ряда мелкихъ, оскорбительныхъ непріятностей, который начался для меня съ этого дня. У меня отняли лучшія роли, меня мучили безпрерывной игрой въ роляхъ, вовсе чуждыхъ моему таланту, со мною всъ наши власти начали обращаться грубо, говорили мнѣ ты, не давали мнѣ хорошихъ костюмовъ: не хочу потому разсказывать, что это все пойдеть въ похвалу князю: онъ не такъ бы могъ поступить со мною, онъ поделикатился, онъ меня уважилъ гоненіями, въ то время, какъ онъ могъ наказать розгами. Меня не скоро бы они добили только такими мелочами, меня добила эта любовь... Я постоянно въ лихорадкъ, сонъ не освъжаетъ меня, къ вечеру голова горитъ, а утромъ я какъ въ ознобъ. Повърите ли, что съ тъхъ поръ каждую недёлю мнё перешивають костюмы, и я радуюсь этому, а съ тъмъ вмъстъ, признаюсь вамъ, страшно, страшно и больно. Па развъ не могло иначе быть?.. Видно, что нътъ... Съ тъхъ поръ, больная, въ какомъ-то горячечномъ состояніи выхожу я на сцену, и меня осыпають рукоплесканіями, не понимая моей игры. Я съ тъхъ поръ играю одну роль, зрители не догадались. Талантъ мой тухнетъ, я становлюсь одностороннъе; есть роли, которыя я играю небрежно, которыя мнѣ сдѣлались невозможны. Итакъ, все кончено-и талантъ и жизнь... прощай искусство, прощайте увлеченія на сценъ! Поживу еще года два съ князевыми словами: ихъ бы выръзать на моей могилъ.

Она умолкла. Я не нашелъ ей ничего сказать въ утъщеніе.

Помолчавши, она продолжала:

— Мѣсяца два тому назадъ былъ бенефисъ. Прошу костюма, не даютъ. Въ такомъ случаѣ, сказала я режиссеру, я куплю на свои деньги, что надобпо, и сошью его себѣ. Надѣваю шляпку и хочу итти въ лавки.

— Не вельно никуда пускать безъ спросу; гдь у васъ дозво-

леніе?

Я была раздражена и пошла въ контору. Князь быль тамъ;

подхожу къ нему и прошу позволенія итти въ лавки.

«Странное время тебт назначаютъ любовники для свиданья утромъ!» замътилъ князь, къ неописанному удовольствію управляющаго и лакеевъ.

Кровь бросилась мнѣ въ голову; мое поведение было незапят-

нанное; оскорбленіе вывело меня изъ себя.

— «Такъ это для сбереженія нашей чести запирають нась? Ну, князь, воть вамь моя рука, мое честное слово, что ближе году я докажу вамь, что мѣры, вами пзбранныя, недостаточны!»

При этомъ я вышла прежде, нежели онъ успълъ сказать

слово.

Туть она остановилась, взволнованная, изнуренная. Я ее просиль успокоиться, выпить еще воды, держаль ея холодную и влажную руку въ моей... Она опустила голову; казалось, ей тяжело продолжать. Но вдругь она подняла ее, гордую и величественную, и, ясно взглянувъ на меня, сказала:

— Я спержала слово!...

— Мой романъ не оставилъ миѣ тѣхъ кроткихъ, сладкихъ воспоминаній счастья, упоеній, какъ у другихъ: въ немъ все лихорадочно, безумно; въ немъ не любовь, а отчаяніе, безвыходность... Я вамъ не разскажу его, потому что собственно нечего разсказывать.

- Князь знаеть? спросиль я.

- Вѣроятно, знаетъ; онъ все знаетъ... Да я бы была въ отчаянія, если-бъ онъ не знать. Я не боюсь его; я умру въ этой комнатѣ, а ужъ проситься не пойду къ нему. Я и это слово сдержу. Меня одно страшило: умереть, не видавши человѣка... Теперь вы понимаете, что для меня ваше посѣщеніе...
 - Да нельзя ли какъ-нибудь... располагайте мною. — Нътъ; вы видите, какъ васъ строго пасуть.

Бѣдная артистка! думаль я: что за безумный, что за преступный человѣкъ сунуль тебя на это поприще, не подумавши о судьбѣ твоей. Зачѣмъ разбудили тебя? Затѣмъ только, чтобъ сообщить вѣсть страшную, подавляющую? Спала бы душа твоя въ неразвитости, и великій талантъ, неизвѣстный тебѣ самой, не мучилъ бы тебя; можетъ быть, подчасъ и поднималась бы съ дна твоей души непонятная грусть, зато она осталась бы непонятной.

— Пора намъ разстаться, сказала она печально.

- Прощайте, благодарю васъ; какъ бы я желаль что-нибудь... Она улыбнулась.
- Вспоминайте иногда, что и во мнъ...
- Погибла великая русская актриса!...

Я вышелъ, заливаясь слезами.

— Знаешь ли, какая радость? сказалъ мив товарищъ мой, когда я возвратился домой:—здъсь сейчасъ былъ управляющій князя, удивлялся, что ты не приходилъ еще домой, и велълъ тебъ сказать, что князь желаеть тебя оставить на слъдующихъ условіяхъ.—Онъ съ торжествующимъ лицомъ подаль мив бумагу.

Условія были превосходны.

— А знаешь ли ты новость, отвъчалъ я ему:—идучи домой, я зашелъ къ нашему ямщику и нанялъ ту же тройку, которая насъсюда привезла. Оставайся, если хочешь, а я черезъ часъ ъду.

— Да что ты, съума сошель?

— Не знаю, но я здёсь не останусь; климать нездоровъ для художника. А? Подумай-ка, да и поёдемъ на нашъ старый театръ,

съ его декораціями, въ которыхъ мудрено отличить тѣнистую аллею отъ рѣки, въ которыхъ море спокойно, а стѣны волнуются. Поѣпемъ-ка!

— Я бы и готовъ, право, воротиться, отвѣчалъ товарищъ, беззаботнѣйшій изъ смертныхъ:—да, вѣдь, съ голоду тамъ умремъ.

— А здѣсь отъ сытости. Голодъ можно вылечить кускомъ хлѣба, а кусокъ хлѣба, слава Богу, съ нашимъ здоровьемъ выработаемъ. Болѣзни отъ сытости не такъ скоро лечатся.

Товарищъ задумался; я не хотълъ его уговаривать. Вдругъ

онъ померъ со смѣху:

— Ха, ха, ха! ѣду, братецъ, ѣду; знаешь ли, что мнѣ въ голову пришло: какъ удивится Василій Петровичъ, когда мы черезъ пвъ нелѣли воротимся, вотъ удивится-то!

Эта мысль о сюриризъ совершенно примирила моего пріятеля

съ неожиданнымъ путешествіемъ. Однако онъ спросилъ:

— Ну, а управляющему какой отвътъ?

— Тутъ очень затрудняться нечёмъ; не мы будемъ отвъчать завтра, если сегодня уёдемъ; ему скажутъ: вчера отправились обратно. Вотъ и князю сюрпризътакой же, какъ Василью Петровичу.

— Въ самомъ дѣлѣ хорошо, оттого хорошо, что условія выгодны; пусть онъ знаетъ, что не все на свѣтѣ покупается. Сейчась буду укладываться!

И онъ началъ увязывать и складывать небольшіе пожитки

наши, насвистывая мотивъ изъ Калифа Багдадскаго.

Воть и все. Для полноты прибавлю, что черезъ два часа мы попрыгивали въ кибиткъ. Мнъ было скверно, какая-то жолчевая злоба наполняла душу; я пробовалъ и на дорогу смотръть, и по сторонамъ, и сигары курить,—ничего не помогало. Да и, какъ на смъхъ, небо было съро, вътеръ холоденъ, даль терялась за болотистыми испареніями, всъ виды, которыми я восхищался, ъхавши сюда, были угрюмы, оттого ли, что я ихъ видълъ въ обратномъ порядкъ, или отчего другого, только они меня не веселили. Даже роскошные господскіе домы съ парками и оранжереями, такъ гордо красовавшіеся между почернъвшихъ и полуразвалившихся избъ, казались мнъ мрачными.

— Что же сдълалось потомъ съ Анетой? Видъли ли вы ее?

— Нѣтъ; она умерла черезъ два мѣсяца послѣ родовъ.

Художникъ отпралъ слезы, бъжавшія по щекъ. Молодые люди молчали, онъ и они представляли прекрасную надгробную группу Анетъ.

— Все такъ, сказалъ вставая славянинъ:—но зачёмъ она не обвёнчалась тайно?...

26 января, 1846 г.

Докторъ Круповъ.

повъсть.

0 душевныхъ болѣзняхъ вообще и объ эпидемическомъ развитіи оныхъ въ особенности.

Сочинение доктора Крупова 1).

Много и много лѣтъ прошло уже съ тѣхъ поръ, какъ я постоянно посвящаю время, отъ леченія больныхъ и исполненія обязанностей остающееся, на положеніе сравнительной психіатріи съ точки зрѣнія совершенно новой. Но недовѣріе къ спламъ, скромность и осторожность доселѣ воспрещали мнѣ всякое обнародованіе моей теоріи. Нынѣ дѣлаю первый опытъ сообщить благосклонной публикѣ часть моихъ наблюденій. Дѣлаю оное, побуждаемый предчувствіемъ скораго перехода въ минерально-химическое царство, коего главное неудобство—отсутствіе сознанія. Полагаю, что на мнѣ лежитъ обязанность узнанное мною закрѣпить, такъ сказать, внѣ себя добросовѣстнымъ разсказомъ для нользы и соображенія сотоварищамъ по наукѣ; мнѣ кажется, что я не имѣю права допустить мысль мою безслѣдно исчезнуть, при новыхъ, предстоящихъ большимъ полушаріямъ мозга моего, химическихъ сочетаніяхъ и разложеніяхъ.

Узнавъ случайно о вашемъ Сборникъ я ръшился послать въ него отрывокъ изъ введенія, потому именно, что оно весьма общедоступно, въ ономъ собственно содержится не теорія, а исторія возникновенія оной въ головъ моей. Присемъ не излишнимъ считаю предупредить васъ, что я всего менъе литераторъ и, проживая нынъ лътъ тридцать въ губернскомъ городъ, удаленномъ

³) Этоть небольшой отрывокъ быль помѣщенъ въ «Современникъ» 1847 года, съ значительными пропусками, сдѣланными цензурой. Мы его печатаемъ теперь въ настоящемъ видъ.

какъ отъ резиденцін, такъ и отъ столицы, я отвыкъ отъ красно-рѣчиваго изложенія мыслей и не привыкъ къ модному языку. Не должно, однако, терять изъ виду, что цѣль моя вовсе не беллетристическая, а патологическая. Я не плѣнить хочу моими сочиненіями, а быть полезнымъ, сообщая чрезвычайно важную теорію, доселѣ отъ вниманія величайшихъ врачей ускользнувшую, нынѣ же недостойнѣйшимъ изъ учениковъ Иппократа наукообразно развитую и наблюденіями провѣренную.

Сію теорію посвящаю я вамъ, самоотверженные врачи, жертвующіе временемъ вашимъ печальному занятію леченія и хожденія

за страждущими душевными болъзнями.

S. Croupoff, M. et Ch. Doctor.

Τ.

Я родился въ одномъ помъщичьемъ селеніи на берегу Оки. Отецъ мой былъ ніакономъ. Возлів нашего домика жилъ пономарь, человъкъ хилой, бъдный и обремененный огромной семьей. Въ числѣ восьми дѣтей, которыми Богъ наградилъ пономаря, быль одинь ровесникь мнь, мы съ нимь вмысть расли, всякій день вмъсть играли въ огородъ, на погость, или передъ нашимъ домомъ. Я ужасно привязался къ товарищу, делился съ нимъ вевми лакомствами, которыя мнв давали, даже кралъ для него спрятанные куски пирога, кашу и передавалъ черезъ плетень. Пріятеля моего всѣ звали косой Левка, онъ дѣйствительно немного косилъ глазами. Чемъ более я возвращаюсь къ воспоминаніямъ о немъ, чёмъ внимательнёе перебираю ихъ, тёмъ яснёе мнь становится, что пономаревъ сынъ былъ ребенокъ необыкновенный; шести лътъ онъ плавалъ какъ рыба, лазилъ на самыя большія деревья, уходиль за нізсколько версть отъ дома одинь одинехонекъ, ничего не боялся, былъ какъ дома въ лѣсу, зналъ вев дороги и въ то же время быль чрезвычайно непонятливъ, разсвянь, даже тупь. Леть восьми насъ стали учить грамотв; я черезъ нёсколько мёсяцевъ бёгло читалъ псалтырь, а Левка не дошелъ и до складовъ. Азбука сдълала переворотъ въ его жизни. Отецъ его употребляль всевозможныя средства, чтобы развить умственныя способности сына: и не кормиль дня по два, и сткъ такъ, что недъли двъ рубцы были видны, и половину волосъ выдраль ему и запираль въ темный чулань на сутки, - все было тщетно, грамота Левкъ не давалась; но безжалостное обращеніе онь поняль, ожесточился и выносиль все, что съ нимь дёлали, съ какою-то злою сосредоточенностію. Это ему не дешево стоило: онь исхудаль, видь его, выражавшій прежде дітскую кротость п дътскую беззаботность, сталъ выражать дикость запуганнаго звъря; на отда онъ не могъ смотръть безъ ужаса и отвращенія. Побился еще года два пономарь съ сыномъ, увидъль, наконецъ, что онъ глупо-рожденный и предоставилъ ему полную волю.

Освобожденный Левка сталъ пропадать цёлые дни, приходилъ домой гръться пли укрываться отъ непогоды, садился въ уголъ и молчаль, а иногда бормоталь про себя разныя неясныя слова и вель дружбу только съ двумя существами,—со мной и съ своей собаченкой. Собаченку эту онъ пріобрълъ неотъемлемымъ правомъ. Разъ, когда Левка лежаль на пескъ у ръки, крестьянскій мальчикъ вынесъ щенка, привязаль ему камень на шею и, подойдя къ крутому берегу, гдъ ръка была поглубже, бросилъ туда собаченку; въ одинъ мигъ Левка отправился за нею, нырнулъ и черезъ минуту явился на поверхности со щенкомъ; съ тъхъ поръ они не разлучались.

Лътъ двънадцати меня отправили въ семинарію. Два года я не былъ дома, на третій я пріъхалъ провести вакаціонное время къ отцу. На другой день утромъ рано, я надълъ свой новый затрапезный халатъ и хотълъ идти осматривать знакомыя мъста. Только я вышелъ на дворъ, у плетня стоитъ Левка, на томъ самомъ мъстъ, гдъ, бывало, я ему давалъ пироги; онъ бросился ко

мнъ съ такою радостью, что у меня слезы навернулись.

— «Сенька, говорилъ онъ, я всю ночь ждаль Сеньку,—Груша вчера молвила: Сенька прівхаль», и онъ ласкался ко мнѣ какъ звѣрекъ, съ какимъ-то подобострастіемъ, смотрѣлъ мнѣ въ глаза и спрашивалъ: «Ты не сердитъ на меня? Всѣ сердиты на Левку,—не сердись, Сенька, я плакать буду, не сердись, я тебѣ векшу поймалъ».

Я бросился обнимать Левку; это такъ ново, такъ необыкновенно было для него, что онъ просто зарыдалъ и, схвативши мою руку, цѣловалъ ее, я не могь ее отдернуть, такъ крѣпко онъ

пержалъ ее.

— Пойдемъ-ка въ лѣсъ, сказалъ я ему.

— «Пойдемъ далеко за буераки, хорошо будетъ, очень хорошо», отвъчалъ онъ.

Мы пошли, онъ велъ версты четыре лѣсомъ, поднимавшимся въ гору, и вдругъ вывелъ на открытое мѣсто; внизу текла Ока, кругомъ версть на двадцать стелился одинъ изъ превосходныхъ сельскихъ видовъ Великороссіи.

— «Здѣсь хорошо, говорилъ Левка,—здѣсь хорошо».

— Что же хорошо? спросиль я его, желая испытать. Онъ остановиль на мнѣ какой-то невѣрной взглядъ, лицо его приняло другое болѣзненное выраженіе, онъ покачалъ головой и сказалъ: — «Левка не знаеть, такъ, хорошо!»

Мий стало смерть стыдно. Левка сопровождаль меня на вежхъ прогулкахъ, его безграничная преданность, его безпрерывное внимание сильно трогали меня. Привязанность его ко мнъ была понятна: одинъ я обходился съ нимъ ласково. Въ семьй имъ гнушались, стыдились его; крестьянскіе мальчики дразнили его, даже взрослые мужики делали ему всякаго рода обиды и оскорбленія, приговаривая: «юродиваго обижать не надо, юродивый Божій челов'єкъ». Онъ обыкновенно ходилъ задами села; когда же ему случалось идти улицей, однъ собаки обходились съ нимъ по-человъчески: онъ издали, завидя его, виляли хвостомъ и бъжали къ нему навстръчу, прыгали на шею, лизали въ лицо и ласкались до того, что Левка, тронутый до слезъ, садился серель пороги и пълые часы занималъ изъ благодарности своихъ пріятелей, занималъ ихъ до тъхъ поръ, пока какойнибудь крестьянскій мальчикъ пускалъ камень на удачу, въ собакъ ли попалетъ, или въ бълнаго мальчика: тогда онъ вставалъ

и убъгалъ въ лъсъ.

Передъ сельскимъ праздникомъ мой отецъ, видя, что Левка весь въ лохмотьяхъ, велёлъ моей матери скроить ему длинную рубашку и отдать ее сестрамъ сщить. Управитель, услышавши. объ этомъ, далъ толстаго домашняго сукна для него на кафтанъ При господскомъ домѣ былъ приставленъ старикъ лакей, онъ былъ приставленъ не столько по способности смотръть за чѣмънибудь, сколько за пьянство. Этотъ лакей быль фельдшеръ и портной; онъ весьма затруднился, когда получилъ отъ управляющаго приказъ сшить Левкъ кафтанъ, какъ скроить дурацкій кафтанъ? Сколько онъ ни думалъ, все выходилъ довольно обыкновенный кафтанъ, а потому онъ и рѣшился на отчаянное средство: пришить къ нему красный воротникъ изъ остатковъ какой-то старинной ливрен. Левка былъ ужасно радъ и новой рубашкъ, и кафтану, и красному воротнику, хотя, по правдъ сказать, радоваться было нечему. Доселъ крестьянские мальчики нъсколько удерживались, но когда на Левку надёли парадный мундиръ дурака, — гоненія и насмѣшки удвоились. Однѣ женщины были на сторон'в Левки, подавали ему лепешки, квасу и браги и говорили иногда привътливое слово; мудрено ли, впрочемъ, что бабы и дъвки, задавленныя патріархальнымъ гнетомъ мужниной и отцовской власти, сочувствовали безвинно гонимому мальчику. Мнъ было чрезвычайно жаль Левку, но помочь ему было трудно; унижая его, казалось, добрые люди расли въ своихъ собственныхъ глазахъ. Серьезно съ нимъ никто слова не молвилъ, даже мой отецъ, отъ природы вовсе не злой человъкъ, хотя исполненный предразсудковъ и лишенный всякаго снисхожденія, и тотъ иначе не могъ обращаться съ Левкой, какъ унижая его и возвышая себя.

— A что, Левка, говариваль онъ ему, любишь ли ты когонибуль больше этого иса смердящаго?

— «Люблю, отвъчалъ Левка, Сеньку люблю больше».

— Видишь, губа-то не дура, ну, а еще кого больше любишь?

— «Никого», простодушно отвѣчалъ Левка.

— Ахъ, глупорожденный, глупорожденный, ха, ха, ха, а мать ролную меньше любишь развъ?

— «Меньше», отвѣчалъ Левка.

— А отпа твоего?

— «Совствы не люблю».

— О, Господи Боже мой, чти отца твоего и матерь твою, а ты дуракъ что? Безсмысленныя животныя и тѣ любятъ родителей, какъ же разумному подобію Божію не любить ихъ?

- «Какія животныя»?

— Ну, какія: лошади, псы всякіе.

Левка качалъ головой:—«Развѣ щенята, а большіе нѣтъ. Они такъ любятъ, кто по нраву придется, вотъ наша кошка Машка любитъ моего Шарика».

И батюшка мой хохоталь отъ души, прибавляя: «Блаженны

нишіе лухомъ!»

Я тогда уже оканчиваль риторику и потому не трудно понять, отчего мий въ голову пришло написать «Слово о богопротивномъ людей обращении съ глупорожденными». Желая расположить мое сочинение по всёмъ квинтиліановскимъ правиламъ съ соблюденіемъ законовъ хріи, я, обдумывая его, пошелъ по дорогъ, шелъ, шелъ и, не замъчая того, очутился въ лъсу; такъ какъ я взошелъ въ него безъ вниманія, то и не удивительно, что потерялъ дорогу, искалъ, искалъ и еще болъе терялся въ лъсу; вдругъ слышу знакомый лай Левкиной собаки, я-пошель въ ту сторону, откуда онъ раздавался и вскоръ былъ встръченъ Шарикомъ; шагахъ въ пятнадцати отъ него, подъ большимъ деревомъ, спалъ Левка. Я тихо подошелъ къ нему и остановился. Какъ кротко, какъ спокойно спалъ онъ! Онъ былъ дуренъ собой на первый взглядъ: бѣлые льняные волосы прямо падали съ головы странной формы, блёдный лицомъ, съ бёлыми рёсницами и нёсколько косившимися глазами. Но никто никогда не далъ себъ труда вглядъться въ его лицо; оно вовсе не было лишено своей красоты, особенно теперь, когда онъ спалъ, щеки его немного раскраснълись, косые глаза не были видны, черты его выражали такой миръ душевный, такое спокойствіе, что становилось завидно.

Туть, стоя передъ этимъ сиящимъ дурачкомъ, я былъ пораженъ мыслью, которая преслѣдовала меня всю жизнь. Съ чего люди, окружающіе его, воображають, что они лучше его, отчего

считають себя въ правѣ презпрать, гнать это существо тихое, доброе, никому никогда не сдѣлавшее вреда? И какой-то таннственный голосъ шепталъ мнѣ: оттого, что и всѣ остальные —юродивые, только на свой ладъ, и сердятся, что Левка глупъ по своему, а не по ихъ.

Странная мысль эта выгнала у меня изъ головы веж хріи и метафоры, я оставиль спящаго Левку и пощель бродить на-удачу по лъсу, съ какой-то внутренной болью перевертывая и вглядываясь въ новую мысль. Въ самомъ дёлё, думалось мнё, чёмъ Левка хуже другихъ? Тъмъ, что онъ не приносить никакой пользы; ну, а пятьпесять покольній, которыя жили только для того на этомъ клочкъ земли, чтобы ихъ пъти не умерли съ голоду сегодня и чтобы никто не зналь, зачёмъ они жили и для чего они жили, гиб же польза ихъ существованія? Наслажденіе жизнію-да они ею никогда не наслаждались, по крайней мъръ гораздо меньше Левки? Дъти? дъти могутъ быть и у Левки, это дъло не хитрое. Зачёмъ Левка не работаетъ? что за бёда; онъ ни у кого ничего не просить, кой-какъ сыть. Работа не наслаждение, кто можеть обойтись безь работы, тоть не работаеть; всё остальные на селъ работають безъ всякой пользы, работають цълый день, чтобы събсть кусокъ черстваго хлбба, а хлббъ бдять для того, чтобы завтра работать, въ твердой уверенности, что все выработанное не ихъ. Здъшній помъщикъ, Өедоръ Григорьевичъ, одинъ ничего не дѣлаетъ, а пользы получаетъ больше всѣхъ, да и то онъ ее не дълаетъ, она какъ-то сама дълается ему. Жизнь его, сколько я знаю, проходить въ большей пустотъ, нежели жизнь Левки, который, чего нътъ другого, гуляеть, а тотъ все сердится.

Чёмъ Левка сыть, я не понимаю, но знаю одно, что какъ онъ ни тупъ, но если наберетъ земляники или грибовъ, то его не такъ-то легко убёдить, что онъ можетъ ёсть одни неспёлыя ягоды да сыроёжки, а что вкусныя ягоды и бёлые грибы принадлежать, ну хоть отцу Василью. Левка никогда дома не живетъ, не исполняетъ ни гражданскихъ, ни семейныхъ обязанностей сына, брата. Ну, а тъ, которые дома живутъ, развъ исполняютъ? У него есть еще семь братьевъ и сестеръ, живущихъ дома въ какомъ-то состояніи постоянной войны между собой и съ пономаремъ. Все такъ, но пустая жизнь его. Да отчего же она пустая? Онъ вжился въ природу, онъ понимаеть ея красоты по своему,—а для другихъ жизнь пошлый обрядъ, туное одно и то же, ни къ чему не ведущее.

И я постоянно возвращался къ основной мысли, что причина всъхъ гоненій на Левку состоитъ въ томъ, что Левка глупъ на свой особенный салтыкъ,—а другіе повально глупы; и такъ какъ картежники не любятъ неиграющаго, а пьяницы непьющаго,

такъ и они ненавидятъ бъднаго Левку. Однако, диссертаціи я не написалъ: для меня, ученика семпнаріи, казалось труднымъ и даже неприличнымъ писать о такихъ суетныхъ предметахъ. Насъ учили все писать о предметахъ возвышенныхъ, душу и сердце возносящихъ горъ. Вакаціонное время прошло, пора мнъ было возвращаться въ монастырь. Когда батюшка мой заложилъ пъгую лошадку нашу въ телъгу, чтобы отвезти меня, Левка пришелъ опять къ плетню, онъ не совался впередъ, а прислонившись къ верећ, обтиралъ по временамъ грязнымъ спущеннымъ рукавомъ рубашки слезы. Мнъ было очень грустно его оставить; я подариль ему всякихь бездёлушекь, онъ на все смотрёль печально. Когда же я сталь садиться въ телъгу, Левка подошелъ ко мнъ и такъ печально, такъ грустно сказалъ: «Сенька, прощай», а потомъ подалъ мнъ Шарика и сказалъ: «Возьми, Сенька, Шарика себъ». Дороже предмета у Левки не было и онъ отдавалъ его. Я насилу уговорилъ его оставить Шарика у себя, что пусть онъ будеть мой, но жить у него. Мы побхали. Левка пустился лъсомъ и выбъжалъ на гору, мимо которой шла дорога, я увидълъ его и сталъ махать илаткомъ. Онъ стоялъ неподвижно на

горѣ, опираясь на свою палку.

Мысль о Левкъ, о причинъ его страннаго развитія не выходила изъ головы моей. Она мъшала мнъ вполнъ предаваться изученію духовныхъ предметовъ, и я вм'єсто превыспреннихъ созерцаній стремился къ изученію предметовъ земныхъ, несмотря на то, что я зналъ ничтожность всего тълеснаго и суетность всего физическаго. Мало по малу, во мит развилось непреодолимое желаніе изучать медицину. Когда я впервые заикнулся объ этомъ отцу моему, онъ взошелъ въ неописанный гиввъ. «Ахъ ты, баловень презорный, кричалъ онъ на меня, вотъ какъ схвачу за вихры, такъ ты у меня и узнаешь, гдѣ раки зимують. Дѣды твои и отцы не хуже тебя были, да не выходили изъ своего званія, а ты что вздумалъ? Пришлось подъ старость дожить до такого сраму, вотъ и радость, приносимая сыномъ, отъ плоти моей рожденнымъ. Не одинъ, видно, пономарь посъщенъ Богомъ, не даромъ съ дуракомъ валандаешься вѣчно, свой своему поневолѣ братъ. А все ты, малоумная баба, испортила его», —прибавилъ батюшка, обращаясь къ матушкъ. Почему именно матушка была виновата, что я хотёлъ учиться медицине, этого и не знаю. Господи, думалъ я, да что же я сдёлалъ такое, мнё хочется заниматься медициной, а послушаешь батюшку, право подумаешь, что я просился на большую дорогу людей резать. Даль я мёсто родительскому гифву, промодчаль; черезь мфсяць опять завель было ръчь; куда ты — съ перваго слова такъ его лицо и зардъло. Делать нечего, жду особаго случая, а самъ только и занимаюсь латынью. Отецъ-ректоръ славно зналъ латинскій языкъ и полюбилъ меня за мон успѣхи. Я выбралъ минуту добрую, да въ ноги ему; онъ такъ кротко и благосклонно сказалъ: «Встань, сынъ мой, встань, что тебѣ надобно, говори просто». Я разсказалъ ему о моемъ желаніи и просилъ замолвить отцу. Отецърскторъ покачалъ головой и велѣлъ мнѣ утромъ и вечеромъ сверхъ обыкновенной читать другую молитву, говорилъ, что это вліяніе нечистой силы, отвлекающей отъ служенія престолу къ служенію мірскому, отъ леченія духовнаго къ леченію плотскому. Потомъ напомнилъ четвертую заповѣдь, далъ прочесть сочиненіе Нила Сорскаго о монашескомъ житіи. Я все исполнилъ въ точ-

ности, но не могъ переломить влеченія къ медицинъ.

На вакаціи побхаль я опять домой. Левка еще болбе одичаль, онь добровольно помогаль пастуху пасти стадо и почти никогда не ходилъ домой. Меня однако онъ принялъ съ прежней безграничной, нечеловъческой привязанностью; грустно мнъ было на него смотръть особенно потому, что у него языкъ какъ-то сдълался невнятите, сбивчивте, и взглядъ еще болте одичалъ. Черезъ годъ мнѣ приходплось окончить курсъ, временить было нечего, батюшка уже готовиль мий мисто. Что было дилать? Утопающій за соломенку хватается; слыхаль я оть дворовыхъ людей, что сынъ нашего пом'ящика (они жили это л'ято въ деревн'я) побрый баринъ, ласковый, я и подумалъ, если бы онъ черезъ Өедора Григорьевича попросиль обо мив моего отца, можеть, тоть, видя такое высокое ходатайство, и согласился бы. Почему не сдёлать опыта? Надёль я свой нанковый сюртукъ, тщательно вычистиль сапоги, новязаль голубой шейный платокъ и пошель въ господскій домъ. На дорог'в попался Левка.

— «Сенька, кричаль онъ мнѣ, въ лѣсъ, Левка гнѣздо нашелъ; птички маленькія, едва пушекъ, матери нѣтъ, грѣть надо, кор-

мить напо».

— Нельзя, брать, иду за дѣломъ, вонъ туда.

— «Куда?»

— Въ барской домъ.

— «У-у! сказалъ Левка, поморщившись,—у-у! весной, весной дядя Захаръ—его били, Левка смотрѣлъ, дядя Захаръ здоровый, сильный, а дуракъ стоптъ, его бъютъ,—а онъ ничего—дядя Захаръ дуракъ, сильный, большой и стоптъ. Не ходи, прибъютъ».

— Не бось, дёло есть. Онъ долго смотрёль мнё вслёдъ, потомъ свиснулъ своей собакё и побёжёль къ лёсу; но едва я

успълъ сдълать двадцать шаговъ, Левка нагналъ меня:

— «Левка идетъ туда: Сеньку бить будутъ — Левка камнемъ пуститъ», при этомъ онъ мнѣ показалъ булыжникъ величиною съ индѣичье яйцо. Но мѣры его были ненужны, люди отказали, говоря,

что господа чай кушають; потомь я раза три приходиль, все недосугь молодому барину, послё третьяго раза, я не пошель больше. И чёмь же это молодой баринь такъ занять?.. Вёчно ходить или съ ружьемь, или такъ просто безъ всякаго дёла по полямь, особенно, гдё крестьянскія дёвки работають. Неужели онь не могь оторваться на пять минуть?

Самь Богь показаль выходь, хотя, по правдѣ, очень горестный. Въ селъ Поръчьъ, верстъ восемь отъ насъ, былъ храмовой праздникъ; село Поръчье казенное, торговое, богаче нашего, праздникъ у нихъ справлялся всегда отлично. Тамошній священникъ (онъ же и благочинный) пригласиль насъ всъхъ на праздникъ. Мы отправились наканунь, отець Василій съ попадьей, батюшка одинъ, причетникъ и я, для того, чтобы отслужить всенощную соборнь. Праздникъ былъ великолъпный, фабричные пъли на крылосъ. Во время литургін пріжхаль самъ капитанъ-исправникъ, съ супругой и двумя засъдателями. Голова за мъсяцъ собиралъ по двадцати пяти копеекъ серебромъ съ тягла начальству на закуску. Словомъ сказать, было весело, шумно; одинъ я грустиль; грустиль я и потому, что намъренія мои не удавались, и по непривычкъ къ многолюдію; вина я тогда еще въ роть не бралъ, въ хороводахъ ходить не умътъ, а пуще всего мнъ досадно было, что вев перемигивались, глядя на меня и на дочь поръчинскаго священника. Я приглянулся ея отцу и онъ предлагалъ, какъ меня похиротонисаютъ, женить на дочери, а онъ-де мъсто уступить и обзаведение, самому моль на отдыхъ пора. А дочь-то его несмотря на то, что ей было не болже 18 или 19 лють, была сильно поражена избыткомъ плоти, такъ что скорбе напоминала образъ и подобіе аладій, нежели Господа Бога.

Такимъ образомъ, поскучавъ въ Поръчьи до вечера, я вышелъ на берегъ ръки; откуда ни возмись, Левка тутъ, и онъ бъдняга приходилъ на праздникъ, самъ не зная за чъмъ. Его никто не зналъ и не подчивалъ. Стоитъ лодочка, причаленная къ берегу, и покачивается; давно я не катался,—смертъ захотълось мнъ ъхать домой по водъ. На берегу нъсколько мужичковъ лежали въ синихъ кафтанахъ, въ новыхъ поярковыхъ шляпахъ съ лентами; выпивши, они лихо пъли пъсни во все молодецкое горло (по счастно въ селъ Поръчьи не было слабонервной барыни).

— Позвольте молъ, православные, лодочку взять прокататься до Раздеришина, сказалъ я имъ.—«Съ нашимъ удовольствіемъ, мы де вашего батюшку знаемъ. Митюхъ, Митюхъ, отвяжька лодочку-то, извольте взять». И Митюхъ, нѣсколько покачиваясь и безъ нужды ступая въ воду по колѣна, отвязалъ лодку, я принялся править, а Левка грести; поплыли мы по Окѣ рѣкѣ. Между тѣмъ смерклось, мѣсяцъ взошелъ, съ одной стороны было такъ свѣтло, а

съ другой черныя тѣни береговъ, насупившись, бѣжали на лодку. Поднимавшаяся роса, словно дымъ огромнаго пожара, бѣлѣла на лунномъ свѣтѣ и двигалась по водѣ, будто нехотя отдираясь отъ нея.

Левка былъ доволенъ, мочилъ безпрестанно свою голову водой и стряхивалъ мокрые волосы, надавшіе въ глаза.—«Сенька, хорошо?» спрашивалъ онъ, и когда я отвѣчалъ ему: очень, очень хорошо, онъ былъ въ неописанномъ восторгѣ. Левка умѣлъ мастерски гресть, онъ отдавался въ какомъ-то опьяненіи ритму разсѣкаемыхъ волнъ и вдругъ поднималъ оба весла, и лодка тихо, тихо скользила по волнамъ, и тишина, заступавшая мѣрные удары, клонила къ какому-то полусну, а издали слышались пѣсни празднующихъ порѣчанъ, носимыя вѣтромъ то тише, то громче.

Мы прівхали поздно ночью. Левка отправился съ лодкой назадъ, а я домой. Только что я легъ спать, слышу подъвзжаеть тельга къ нашему дому. Матушка, она не вздила на праздникъ, ей что-то нездоровилось, матушка послушала, да говоритъ: «Это не нашей телъги скрыпъ, стучатъ, треба молъ върно какая-нибуль».

- «Не вставайте, матушка, я схожу посмотрѣть», да и вышель, отворяю калитку, порѣчинской голова стоить, немножко хмельный.
 - «Что, Макаръ Лукичъ?»
 - Да что, говорить, дъло-то не ладно-воть что.
- «Какое дёло?» спросиль я, а самь дрожу всёмь тёломь какь въ лихорадкъ.
- Въстимо насчеть отца-діакона. Я бросился къ телъ́гъ, на ней лежалъ батюшка безъ движенія.
 - «Что съ нимъ такое?»
- A Богъ его въдаетъ, все былъ здоровъ, да вдругъ что ни есть прилучилось.

Мы внесли батюшку въ домъ, лице у него посинѣло, я теръ его руки, вспрыскивалъ водой, мнѣ казалось, что онъ хрипитъ, я уложилъ его на постель и побѣжалъ за пьянымъ портнымъ; на этотъ разъ онъ еще былъ довольно трезвъ, схватилъ ланцетъ, бинтъ и побѣжалъ со мною. Раза три просѣкъ руку, кровь не ндетъ... Я стоялъ ни живой, ни мертвый; портной вынулъ таба-керку, понюхалъ, потомъ началъ грязнымъ платкомъ обтиратъ инструментъ.—Что? спросилъ я какимъ-то не своимъ голосомъ.— «Не нашего ума дѣло-съ, экскузе — отвѣчалъ онъ, а извольте молитву читатъ». Матушка упала безъ чувствъ, у меня сдѣлался ознобъ, а ноги такъ и подламывались.

Послѣ смерти отна матушка не препятствовала и я выхлоноталъ себъ, наконецъ, увольнение изъ семинарии и вступилъ въ московскую медико-хирургическую акалемію стулентомъ. Читая печатную программу лекцій я увиділь, что адъюнкть ветеринарнаго искусства, если останется время, будеть читать студентамъ, оканчивающимъ курсъ, общую психіатрію, то есть науку о душевныхъ бользняхъ. Я съ нетерпъніемъ ждалъ конца года и, хотя мнъ еще не приходилось слушать исихіатріи, явился на первую лекцію адъюнкта. Но я тогда такъ мало быль образованъ по медицинской части, что почти ничего не поняль, хотя слушаль съ такимъ вниманіемъ, что до сихъ поръ помню краснорфчивое вступленіе ветеринарнаго врача. «Психіатрія, говориль онь, безспорно самая трудная часть врачебной науки, самая необъясненная, самая необъяснимая, но зато нравственное вліяніе ея самое благотворное. Ни метафизика, ни философія не могуть такъ ясно доказать независимость души отъ тёла, какъ психіатрія. Она учить, что всъ душевныя бользии-разстройства тълесныя, она учить, слъдственно, что безъ тъла, безъ сей скудельной оболочки духъ былъ бы въчно здравъ и пр.». Я уже въ семинаріи зналъ Вольфіеву философію, но совершенно ясно изложенія адъюнкта не понималъ, хотя и радовался, что самая медицина служитъ доказательствомъ высокихъ метафизическихъ соображеній.

Когда я порядкомъ изучилъ пріуготовительныя части, я сталъ мало-но-малу дълать собственныя наблюденія надъ одержимыми душевными бользнями, тщательно записывая все видънное въ особую книгу. Воскресные и праздничные дни проводиль я почти всегда въ домѣ умалишенныхъ. Всѣ наблюденія мои вели постоянно къ мысли, поразившей меня при созерцаніи спавшаго Левки, то есть, что офиціальные патентованные сумасшедшіе въ сущности и не глупте и не повреждените встахъ остальныхъ, но только самобытите, сосредоточените, независимте, оригинальнте, даже можно сказать геніальное тохъ. Странные поступки безумныхъ, разпражительную ихъ злобу объяснялъ я себъ тъмъ, что все окружающее нарочно сердить ихъ и ожесточаеть безпрерывнымъ противуръчіемъ, жесткимъ отрицаніемъ ихъ любимой идеи. Замічательно, что люди дівлають все это только въ домахъ умалишенныхъ, вив ихъ существуетъ между больными какое-то тайное соглашение, какая-то патологическая деликатность, по которой безумные взаимно признають пункты пом'вшательства другь въ другъ. Все несчастіе явно безумныхъ-ихъ гордая самобытность и упрямая неуступчивость, за которую повально поврежденные, со всею злобою слабыхъ характеровъ, запираютъ ихъ въ клътки, поливаютъ хололной водой и пр.

Главный докторь въ заведеніи быль добрѣйшій человѣкъ въ мірь, но, безъ сомньнія, болье поврежденный, нежели половина больныхъ его (онъ налѣвалъ, напримѣръ, на себя одинъ шейный и два петличныхъ ордена для того, чтобы пройти по падатамъ безумныхъ; онъ давалъ чувствовать фельдшерамъ, что ему пріятно, когда они говорять ваше превосходительство, а чиномъ быль статскій сов'єтникъ, и разныя другія шалости ясно доказывали пораженіе большихъ полушарій мозга). Больные ненавидёли его оттого, что онъ, самь стоя на одной почет съ ними, вступаль всегда въ соревнованіе. «Я китайскій императоръ», кричаль ему одинь больной, привязанный къ толстой веревкъ, которой по необходимости ограничили высочайщую власть его.—«Ну когда же китайскій императорь сидить на веревкь?» отвічаль добрівшій нъмецъ съ пресерьезнымъ видомъ, какъ будто онъ самъ сомнъвался, не и виствительно ли китайскій императоръ передъ нимъ. Больной выходиль изъ себя, слыша возражение, скрежеталь зубами, кричалъ, что это Вольтеръ и језуиты посадили его на цънь и долго не могъ потомъ успокоиться. Я, совсемъ напротивъ, подхопиль къ нему съ видомъ ведичайшаго подобострастія: «Лазурь неба, прозрачнъйшій брать солнца, говориль я ему, плодородіе земли, позволь мив, презрвиному червю, грязи, отставшей отъ безсравненныхъ подошвъ твоихъ, покапать холодной воды на свётлое чело твое, на возрануется океань, что вода имъетъ счастіе освёжать священную шкуру, покрывающую бёлую кость твоего черепа».

И больной улыбался и позволяль съ собою дёлать все, что я хотёль.

Обращаю особенное вниманіе на то, что я для этого больного не д'влалъ ничего особеннаго, а поступалъ съ нимъ такъ, какъ добрые люди поступаютъ другъ съ другомъ всегда — на улицѣ, въ гостиной.

Въ заведение вздилъ одинъ тупорожденный старичекъ, воображавшій, что онъ гораздо лучше докторовъ и смотрителей знаетъ, какъ надобно за больными ходить, и всякій разъ приказывалъ такой вздоръ, что за него двлалось стыдно; однако главный докторъ съ непокрытой головой слушалъ его до конца благоговъйно и не говорилъ ему, что все это вздоръ, не дразнилъ его, а китайскаго императора дразнилъ. Гдъ же тутъ справедливость!

Продолжая мон наблюденія, я открыль, что между собой перёдко сумасшедшіе признають другь друга; эти уже ближе къ обыкновенному гражданскому благоустройству. Такъ, въ V палать жили восемь человъкъ легко помъщанныхъ въ большой дружбъ.

Одинъ изъ нихъ сошелъ съ ума на томъ, что онъ, сверхъ своей порціи, имѣетъ призваніе ѣсть по полупорціи у всѣхъ товарищей, основывая пресмѣшно свои права на томъ, что его отецъ умеръ отъ объяденія, а дѣдъ опился. Онъ такъ увѣрилъ своихъ товарищей, что ни одинъ изъ нихъ не смѣлъ ѣсть своей порціи, не отдавъ ему лучшей части, не смѣлъ ее взять украдкой, боясь угрызеній совѣсти. Когда же изрѣдка кто-либо изъ дерзкихъ скентиковъ утанвалъ кусокъ, онъ гордо уличалъ преступнаго и шесть остальныхъ готовы были оттаскать злодѣя; онъ называлъ его воромъ, стяжателемъ; и глава этой общины до того добродушно вѣрилъ въ свое право, что, не имѣя возможности съѣдатъ все набранное, съ величавой важностью награждалъ избранныхъ ихъ же ѣдою, и награжденный точилъ слезы умиленія, а остальные слезы зависти.

Нельзя отказать этимъ безумнымъ въ высокомъ политическомъ смыслѣ, такъ точно, какъ нельзя отказать въ безуміи людямъ, не только считающимъ себя здоровыми (самые бѣшенные собою совершенно довольны), но признаваемымъ за такихъ другими. Для убѣдительнаго доказательства присовокуплю отрывокъ изъ моего журнала, предпославъ оному слѣдующую краткую діагностику безумія.

Главные признаки разстройства умственныхъ способностей состоять:

- a) Въ неправильномъ, но и непроизвольномъ сознаніи окружающихъ предметовъ;
- b) Въ болъзненной упорности, стремящейся сохранить это сознание съ явнымъ даже вредомъ самому больному, и отсюда—
- c) Тупое и постоянное стремленіе къ цѣлямъ не существеннымъ и упущеніе цѣлей дѣйствительныхъ.

Этого достаточно для того, чтобы убъдиться въ истинъ мо-ихъ выводовъ.

Выписка изъ экурнала:

Субъектъ 29. Мъщанка Матрена Бучкина. Сложение сангвиническое, наклонность къ толщинъ, лътъ тридцати, замужемъ.

Субъектъ этотъ находится у меня въ услужени въ должности кухарки, а потому я изучалъ его довольно внимательно въ главныхъ исихическихъ и многихъ физіологическихъ отправленіяхъ. Alienatio mentale, не подлежащее никакому сомнѣнію; всѣ умственныя отправленія поражены, несмотря на хорошія врожденныя способности, что доказывается сохранившеюся ловкостію обсчитывать при покупкахъ и утаивать половину провизіи. Какъ женщина, Матрена живетъ болѣе сердцемъ, нежели умомъ; но всѣ ея чувства такъ ниспровергнуты болѣзненнымъ отклоненіемъ дѣятельности мозга отъ нормальнаго отправленія, что они не только не человѣческія, но и не животныя.

а) Чувство любви.

Не видать, чтобы у нея была особенная нѣжность къ мужу, но отношенія ихъ въ высшей степени замѣчательны и драгоцѣнны, какъ патологическій фактъ. Мужъ ея сапожникъ и живетъ въ другомъ домѣ, онъ приходитъ къ ней обыкновенно утромъ въ воскресенье. Матрена покупаетъ на послѣднія деньги простого вина и печетъ ппрогъ или блины. Часу въ десятомъ, мужъ ея напивается пьянъ и тотчасъ начинаетъ ее продолжительно и больно бить; потомъ онъ впадаетъ въ летаргическій сонъ до понедѣльника, а, проснувшись, отправляется съ страшной головной болью за свою работу, питаясь пріятной надеждой черезъ семь дней снова отпраздновать такъ семейно и кротко воскресный день.

Такъ какъ она приходила всякій разъ съ горькими жалобами ко мнѣ на своего мужа, я совѣтовалъ ей не покупать ему вина, основываясь на томъ, что оно имѣетъ на него дурное вліяніе. Но больная весьма оскорблялась моимъ совѣтомъ и возражала, «что она не безчестная какая-нибудь и не нищая, чтобы своему законному мужу не поднести стакана вина святъ день до обѣда, что, сверхъ того, она покупаетъ вино на свои деньги, а не на мон, и что—если мужъ ее и колотитъ—такъ все же онъ Богомъ данный ей мужъ». Отвѣтъ этотъ, много разъ повторяемый, очень замѣчателенъ; можно добраться по немъ до странныхъ законовъ мышленія мозга, пораженнаго болѣзнію; ни одного слова нѣтъ въ ея отвѣтъ, которое бы шло къ моему замѣчанію, а при болѣзни мозга ей казалось, что она вполнѣ опровергала меня.

Но до какой степени и это поверхностно,—я доказываю тёмъ, что стоило мнѣ, продолжая мои наблюденія, сказать ей: «А ты зачѣмъ съ нимъ споришь, ты бы смолчала, вѣдь, онъ твой мужъ и глава». Тогда больная приходила въ состояніе близкое маніп и съ сердцемъ говорила: «онъ злодѣй мнѣ, а не мужъ, я ему не дура досталась молчать, когда онъ несетъ всякій вздоръ». Ії тутъ она начинала бранить не только его, но и барыню свою, которая, истинно въ материнскихъ попеченіяхъ своихъ о подданныхъ, сама приняла на себя трудъ избрать ей мужа; выборъ палъ на сапожника не случайно, а потому, что онъ крѣпко хмелемъ зашибалъ, такъ барыня думала, что онъ остепенится женившись,—конечно не ея вина, что она ошиблась, errare humanum est!

b) Отношение къ дътямъ.

Любопытно до высшей степени и имѣетъ двойной интересъ. Тутъ я имѣлъ случай видѣть, какъ съ самаго дня рожденія прививають безуміе. Сначала чисто механически крѣпкимъ пелена-

ніемъ, при чемъ сдавливаютъ ossa parietalia черена, чтобы помѣшать мозговому развитію, — это съ своей стороны уже очень дъйствительно. Потомъ употребляются органическія средства; они состоять преимущественно въ чрезмърномъ развити прожордивости и въ дурномъ обращении. Когда организмъ ребенка не изловчился еще претворять всю дрянь, которая ему давалась отъ грязной соски до жирныхъ лепешекъ, дитя иногда страдало; мать лечила сама, и въ медицинскихъ убъжденіяхъ своихъ далеко расходилась со всёми врачами отъ Иппократа до Боергава и отъ Боергава до Гуфланда; иногда она откачивала его такъ, какъ спасають утопленниковь (средство совершенно безвредное, если утопленникъ умеръ, и способное показать усердіе присутствующихъ), ребенокъ впадалъ въ морскую бользнь отъ качки, что его пъйствительно облегчало, или мать начинала на извъстномъ основанін Ганеманова ученія клинъ клиномъ вышибать, кормить его селедкой, капустой; если же ребенокъ не выздоравливалъ, мать начинала его бить, толкать, дергать, наконецъ, прибъгала къ послъднему средству-давала ему или настойки, или маковаго молока и радовалась очевидной пользю отъ лекарства, когда ребенокъ впадалъ въ тяжелое опьянение или въ летаргический сонъ. Въ дополнение слъдуетъ замътить, что Матрена, на свой манеръ, чрезвычайно любила ребенка. Любовь ея къ дитяти была совершенно въ родъ любви къ мужу; она покупала на скудныя деньги свои какой-нибудь тафтицы на одізяльце и потомъ безщадно била ребенка за то, что онъ не нарочно капалъ на него молоко. Мнъ очень жаль, что я скоро разстался съ Матреной и не могъ доучить этотъ интересный субъекть; къ тому же я впослъдствіи услышать, что ея ребенокъ не выдержалъ воспитанія и умеръ.

с н д) Отношенія гражданскія и общественныя; отношенія

къ церкви и государству...

Но я полагаю сказаннаго совершенно достаточно, чтобы убъдиться, что жизнь этого субъекта проходила въ чаду безумія. А по сему снова обращаюсь къ прерванной нити моего жизнеописанія, которое съ тъмъ вмъсть и есть описаніе развитія моей

теоріп.

По окончаніи курса меня отправили лекаремъ въ одинъ пъхотный полкъ. Я не нахожу нужнымъ въ предварительной части говорить о наблюденіяхъ, сдѣланныхъ мною на семъ спеціальномъ поприщѣ. Перехожу къ болѣе разнообразному поприщу. Черезъ нѣсколько лѣтъ, по распоряженію высшаго начальства, которому, пользуясь симъ случаемъ, свидѣтельствую искреннѣйшую благодарность за начальственное вниманіе, получилъ я мѣсто по гражданскому вѣдомству; тутъ съ большимъ досугомъ предался я сравнительной психіатріи. Для занятій и наблюденій я избраль на первый случайдва заведенія—домъ ума-

лишенныхъ и канцелярію врачебной управы.

Добросовъстно изучая субъекты въ обоихъ завеленіяхъ, я былъ пораженъ сходствомъ чиновниковъ канпелярін съ больными: разумъется, наружныя различія тоже бросались въ глаза, но врачь долженъ идти далъс, по наружности долгое время кита считали рыбою. Самое важное различіе между писарями и больными состоядо въ образъ поступленія въ заведеніе; первые просидись объ опредъленіи, а вторые были опредъляемы высшимъ начальствомъ, вследствіе публичнаго испытанія въ губернскомъ правленіи. Но однажды пом'єшенные въ канцелярію писаря тотчасъ подвергались психической эпидеміи, весьма быстро заражавшей все нормально человъческое и еще быстръе развивавшей искаженныя потребности, желанія, стремленія; п'влые дни работали эти труженики съ усердіемъ, болже нежели съ усердіемъ, съ завистью; штаты тогда были еще невъроятные, едва эти бъдняки въ будни до сыта набдались и въ праздники до пьяна напивались, а ни одинъ не хотълъ заняться какимъ-нибудь ремесломъ. считая всякую честную работу несовийстною съ человическимъ достоинствомъ, дозволяющимъ только брать двугривенные за справки. Признаюсь, когда я вполнъ убъдился, что чиновничество (я, разумъется, далъе XII класса восходить не смъю) есть особое специфическое поражение мозга, мнъ опротивъли всъ эти журнальныя побасенки, наполненныя насмёшками надъ чиновниками. Смёнться надъ больными показываеть жесткость сердца.

Вліяніе эпидеміи до того сильно, что мит случалось наблюдать ея дъйствіе на организаціи болье крыпкія и здоровыя, и тутьто я увидыть всю силу ея. Какое-то безпокойное чувство, похожее на угрызеніе совысти, овладывало вновь поступавшими здоровыми субъектами; имъ становилось замытно тягостно быть здоровыми, они такъ страдали тоскою по безумію, что излечивались оть умственныхъ способностей разными спиртными напитками, и я замытиль, что при надлежащемь и постоянномь употребленіи ихъ они дыйствительно успывали себя поддерживать въ искусственномъ состояніи безумія, которое мало по малу становилось естественнымь.

Отъ чиновниковъ я перешелъ къ прочимъ жителямъ города и въ скоромъ времени не осталось ни малъйшаго сомнънія, что всѣ они поврежденные. Предоставляю тѣмъ, которые долго трудились надъ какимъ-нибудь открытіемъ, оцѣнить то чувство радости, которымъ исполнилось сердце мое, когда я убѣдился въ этомъ драгоцѣнномъ фактъ.

Городокъ нашъ вообще оригиналенъ: это—губернское правленіе, обросшее разными домами и жителями, собравшимися около

присутственных в мъстъ; онъ тъмъ отличается отъ другихъ городовъ, что онъ возникъ собственно для удовольствія и пользы начальства. Начальство составило сущность, цвътъ, корень и илодъ города. Остальные жители — какъ купцы, мъщане — больше находились для порядка, ибо нельзя же быть городу безъ купцовъ и мъщанъ. Всъ получали смыслъ только въ отношеніи къ начальству (и къ откупу впрочемъ); мастеровые, напр., портные, сапожники, шили для чиновниковъ фраки и сапоги; содержатель трактира имътъ для нихъ бильярдъ. Прочіе неслужащіе въ городъ занимались исключительно произведеніемъ тъхъ средствъ, на которыя чиновники заказывали фраки, сапоги и увеселялись на бильярдъ.

Въ нашемъ городкъ считалось 5.000 жителей; изъ нихъ человъкъ двъсти были повергнуты въ томительнъйшую скуку отъ отсутствія всякаго занятія, а четыре тысячи семьсотъ человъкъ повергнуты въ томительную дъятельность отъ отсутствія всякаго отдыха. Тъ, которые денно и нощно работали, не вырабатывали ничего, а тъ, которые ничего не дълали, безпрерывно вырабатывали вали и очень много.

Утвердивъ на прочныхъ началахъ общую статистику помъшательства, перейдемъ снова къ частнымъ случаямъ. Въ качествъ врача я былъ часто призываемъ лечить тъло, тамъ, гдъ слъдовало лечить душу; невъроятно, въ какомъ чаду нелъпостей, въ какомъ ръзкомъ безумін находились всъ мон паціенты обоихъ половъ.

— Пожалуйте сейчасъ къ Аннъ Өедоровнъ, Аннъ Өедоровнъ очень дурно.

- «Сію минуту, ѣду».

Анна Федоровна лётъ тридцати женщина, любившая и любищая многихъ мужчинъ, за исключеніемъ своего мужа, богатаго помѣщика, точно также расположеннаго ко всѣмъ женщинамъ, кромѣ Анны Өедоровны. У нихъ отъ розовыхъ цѣпей брачныхъ осталась одна, которая обыкновенно бываетъ крѣпче прочихъ, —ревность, и ею они неутомимо преслѣдовали другъ друга десятый годъ. Пріѣзжаю. Анна Өедоровна лежитъ въ постелѣ съ вспухшими глазами, у нея жаръ, у нея боль въ груди; все показываетъ, что было семейное Бородино, дѣло горячее и продолжительное. Люди ходятъ испуганные, мебель въ безпорядкѣ, вдребезги разбитая трубка (явнымъ образомъ не случайно) лежитъ въ углу и переломленный чубукъ въ другомъ.

— «У васъ, Анна Өедоровна, нервы разстроены, я вамъ пропишу немножко лавровишневой воды; на свътъ не ставъте, — она портится; такъ принимайте, сколько-бишь вамъ лътъ? капель по 20». Больная становится веселъе и кусаетъ губы. — «Да знаете ли что, Анна Өедоровна, вамъ бы надо тхать куда-нибудь, ну, хоть въ деревню; жизнь, которую вы ведете, васъ разстроитъ окончательно».

- Мы тем въ мат мъсяцт съ Никаноръ Ивановичемъ въ деревню.
- «А! превосходно, такъ вы останьтесь здѣсь. Это будеть еще лучше».
 - Что вы хотите этимъ сказать?
- «Вамъ надобенъ покой безусловный, тишина; иначе я не отвѣчаю за то, что, наконецъ, изъ всего этого выйдутъ серьезныя послѣдствія».
- Я несчастнъйшая женщина, Семенъ Ивановичъ, у меня будетъ чахотка, я должна умереть. И все виноватъ этотъ извергъ,—ахъ, Семенъ Ивановичъ, спасите меня.
- «Извольте. Только мое лекарство будсть не изъ антеки, вотъ рецентъ: «возьми небольшой чистенькій домъ, въ самомъ дальнемъ разстояніи отъ Никаноръ Ивановича, прибавь мебель, цвѣты и книги. Жить, какъ сказано, тихо, спокойно». Этотъ рецептъ вамъ поможетъ».
 - Легко вамъ говорить, вы не знаете, что такое бракъ.
- .— «Не знаю, но догадываюсь: полюбовное насиліе жить вмість, когда хочется жить врозь, и совершенньйшая роскошь, когда хочется и можно жить вмість; не такъ ли?»
 - О, вы такой вольнодумъ! Какъ я покину мужа!
- «Анна Өедоровна, вы меня простите, одна долгая практика въ вашемъ домѣ позволяетъ мнѣ идти до такой откровенности,— я осмѣлюсь сдѣлать вамъ вопросъ».
 - Что угодно, Семенъ Ивановичъ, вы другъ дома, вы...
 - «Любите ли вы сколько-нибудь вашего мужа?»
- Ахъ, нѣтъ, я готова это сказать передъ всѣмъ свѣтомъ, безумная тетушка моя сварганила этотъ несчастный бракъ.
 - «Ну, а онъ васъ?»
- Искры любви нътъ въ немъ. Теперь почти въ открытой интригъ съ Полиной, вы знаете—мнъ Богъ съ нимъ совсъмъ, да, въдь, денегъ что это ему стоитъ...
- «Очень хорошо-съ. Вы другъ друга не любите, скучаете, вы оба богаты, что васъ держитъ вмѣстѣ?»
- Да помилуйте, Семенъ Ивановичъ, за кого же вы меня считаете, моя репутація дороже жизни, что обо мнѣ скажутъ?
- «Это, конечно. Но, Боже мой, половина перваго! Что это, какъ время-то? Да-съ, такъ по 20 каплей лавровишневой воды, хоть три раза до ночи, а я заёду какъ-нибудь завтра взглянуть».

Я только въ залу, а ужъ Никаноръ Ивановичъ небритый, съ испорченнымъ отъ спирту и гиъва лицомъ меня ждетъ.

— Семенъ Ивановичъ, Семенъ Ивановичъ, ко мнѣ въ кабинетъ.

— «Чрезвычайно радъ».

- Вы честный человъкъ, я васъ всю жизнь зналъ за честнаго человъка, вы благородный человъкъ,—вы поймете, что такое честь. Вы меня по гробъ обяжете, ежели скажете истину.
 - «Сдѣлайте одолженіе. Что вамъ угодно?»— Да какъ вы считаете положеніе жены?
- «Оно не опасно; успокойтесь, это пройдеть; я проинсаль
- канельки».
 Да чорть съ ней, не объ этомъ дѣло, по мнѣ хоть сегодня ногами впередъ, да и со двора. Это змѣя, а не женщина, лучшія лѣта жизни отняла у меня. Не объ этомъ рѣчь.
 - «Я васъ не понимаю».
- Что это, ей Богу, съ вами? Ну, то есть болѣзнь ея подозрительна или нѣтъ?
- «Вы желаете знать насчеть того, нъть ли какихъ надеждъ на наслъдничка?»
- Наслъдничка? Я ей покажу наслъдничка! Что это за женщина! Знаете, для меня ужъ коли женщина въ эту сторону, все кончено,—нътъ, не могу! Законная жена, Семенъ Ивановичъ, она мое имя пятнаетъ.
- «Я ничего не понимаю. А впрочемъ, знаете, Никаноръ Ивановичъ, жили бы вы въ разныхъ домахъ, для обоихъ было бы спокойнѣе».
- Да-съ, такъ ей и позволить, ха, ха, ха, выдумали ловко! Ха, ха, ха, какъ же—позволю! Нътъ, въдь, я не французъ какойнибудь! Въдь, я родился и выросъ въ благочестивой русской дворянской семъъ. Нътъ-съ, въдь, я знаю законъ и приличіе! О, еслибы матушка была жива, да она изъ своихъ рукъ ее на столъ бы положила. Я знаю ея продълки.
- «Прощайте, почтеннъйшій Никаноръ Ивановичь, мнѣ еще къ вашей сосъдкѣ надобно».
- Что у нея? спросиль, врасилохъ взятый супругь и чтото сконфузился.
- «Не знаю, —присылали горничную, дочь что-то все нездорова, дъвка не умъла разсказать порядкомъ».
- Ахъ, Боже мой,—да какъ же это? Я на-дняхъ видёлъ Полину Игнатьевну.
 - «Да-съ, бывають быстрыя бользни».
- Семенъ Ивановичъ, я давно хотъ́лъ, —вы меня извините, въдь, ужъ это такъ заведено, священникъ живеть отъ алтаря, а чиновникъ отъ просителей, я такъ много доволенъ вами. Позвольте вамъ предложить эту золотую табакерку, примите ее въ

знакъ искренной дружбы... Только, Семенъ Ивановичъ, я надѣюсь что, во всякомъ случаѣ, молчаніе ваше...

— «Есть вещи, на которыя докторъ имбеть уши, но рта не имбеть».

Никаноръ Ивановичъ обнядъ меня и своими мокрыми губами и потнымъ лицомъ произвелъ довольно непріятное впечатлѣніе на шекъ.

И кто-нибудь скажеть, что это не поврежденные! Позвольте еще примъръ.

Рядомъ со мною живетъ богатый помѣщикъ, гордый своимъ имѣніемъ, скряга. Онъ держитъ домъ на заперти, никого не пускаетъ къ себѣ, рѣдко самъ выѣзжаетъ и, что дѣлаетъ въ городѣ, понять нельзя; не служитъ, процессовъ не имѣетъ, деревня въ 50-ти верстахъ, а живетъ въ городѣ. Были, правда, слухи, что одинъ мужикъ, котораго онъ наказалъ, какъ-то дурно посмотрѣлъ на него и сглазилъ: онъ такъ испугался его взгляда, что очень ласково отпустилъ мужика, а самъ на другой день перебрался въ городъ. Главное занятіе его—стяжаніе и накапливаніе денегъ; но это дѣлается за кулисами; я вамъ хочу показать его въ торжественныхъ минутахъ жизни. У него въ гостиницѣ и на почтѣ закуплены слуги, чтобы извѣщать его, когда по городу проѣзжаетъ какой-нибудь сановникъ, генералъ внутренней стражи, генераль путей сообщенія, ревизующій чиновникъ не ниже V класса.

Сосъдъ мой, получивши въсть, тотчасъ надъвалъ дворянскій мундиръ и отправлялся къ его превосходительству; тотъ, разумъстся, съ дороги спалъ, сосъда не пускали; онъ давалъ на водку цълковый, синенькую, упорствоваль, дожидался часы цълые, наконецъ, объ немъ докладывали. Генералъ (ибо въ эти минуты и чиновникъ V класса чувствовалъ себя не только генераломъ, но генералъ-фельдмаршаломъ) принималъ просителя, не скрывая ярости и не воздавая въсу и мъры словамъ и движеніямъ. Проситель послё долгихь околичностей докладываль, что вся его просьба, отъ которой зависить его счастіе, счастіе его д'єтей и жены, состоить въ томъ, чтобы его превосходительство изволило откушать у него завтра или отъужинать сегодня; онъ такъ трогательно просиль, что ни одинь высокій сановникь не могь противустоять и даваль ему слово. Тутъ наставали поэтическія минуты его жизни. Онъ бросался въ рыбные ряды, покупалъ стерлядь ростомъ съ извъстнаго тамбуръ-мажора, и ее живую перевозили въ подвижномъ озеръ къ нему на дворъ, выгружалось старинное серебро, вынималось старое вино. Онъ бъгалъ изъ комнаты въ комнату, бранился съ женою, делаль отеческія исправленія дворецкому, грозился на всю жизнь сділать уродомъ и несчастнымъ повара (для одобренія), звалъ человъкъ пвадцать

гостей, бъгалъ съ курильницей по комнатамъ, встръчалъ въ съияхъ генерала, цъловалъ его въ шовъ, идущій подъ руку. Шамнанское лилось у скряги за здравіе высокаго проъзжаго. И замътьте, все это изъ номъщательства, все это безкорыстно. И что
еще важнъе для психіатріи, что его безуміе всякой разъ полярно
переносилось съ обратными признаками на гостя. Гость върилъ,
что онъ по гробъ одолжаетъ хозяина тъмъ, что прекрасно объдалъ. Каковы діагностическіе знаки безумія!

Отвсюду текли доказательства очевидныя, неподлежащія со-

мнънію моей основной мысли.

Успокоившись насчеть жителей нашего города, я пошель далье. Выписаль себъ знаменитъйшія путешествія, древнія и новыя, историческія творенія и подписался на аугсбурскую Все-

общую Газету.

Слезы умиленія не разъ наполняли глаза моп при чтеніп. Я не говорю уже объ аугсбурской газетъ, на нее я съ самаго начала смотрълъ не какъ на суетный дневникъ всякой всячины, а какъ на всеобщій бюллетень разныхъ богоугодныхъ заведеній для несчастныхъ страждущихъ душевными болъзнями. Нътъ! чтобы историческое я ни начиналь читать, везді, во всі времена открывалъ я разныя безумія, которыя соединялись въ одно всемірное хроническое сумасшествіе. Тита Ливія я бралъ пли Муратори, Тацита или Гиббона, никакой разницы; всё они, равно какъ и нашъ отечественный историкъ Карамзинъ, всъ доказывають одно, что исторія не что иное, какъ связный разсказъ родового, хроническаго безумія и его медленнаго излеченія (этотъ разсказъ даетъ по наведенію полное право над'язться, что черезъ тысячу лътъ двумя-тремя безуміями будеть меньше). Истинно, не считаю нужнымъ приводить примъры: ихъ милліоны. Разверните, какую хотите, исторію, везд'є васъ поразить, что вм'єсто д'єйствительныхъ интересовъ, всъмъ заправляютъ мнимые, фантастическіе интересы; вглядитесь изъ-за чего льется кровь, изъ-за чего несуть крайность, что восхваляють, что порицають, --и вы ясно убъдитесь въ печальной на первый взглядъ истинъ, и пстинъ полной утіменія на второй взглядь, что все это слідствіе разстройства умственныхъ способностей. Куда ни взглянешь въ древнемъ мірѣ, вездѣ безуміе почти такъ же очевидно, какъ въ новомъ. Туть Курцій бросается въ яму для спасенія города, тамъ отецъ приносить дочь на жертву, чтобы быль попутный вътеръ, и нашелъ стараго дурака, который приръзалъ бъдную дъвушку, и этого бъщенаго не посадили на цъпь, не свезли въ желтый домъ, а признали за первосвященника. Здёсь персидскій царь гоняеть море сквозь строй, такъ же мало понимая нелъпость поступка, какъ его враги авиняне, которые цикутой хотёли лечить отъ разума и сознанія. А что это за бѣлая горячка была, вслѣдствіе которой императоры гнали христіанство? Развѣ трудно было разсудить, что эти средства палачества, тюремъ, крови, истязаній ничего не могли сдѣлать противъ сильныхъ убѣжденій, а удовлетворяли только животной свирѣпости гонителей?

Какъ только христіанъ домучили, дотравили звѣрями, они сами принялись мучить и гнать другъ друга съ еще большимъ озлобленіемъ, нежели ихъ гнали. Сколько невинныхъ нѣмцевъ и французовъ погибло, такъ, изъ вздору, и помѣшанные судьи ихъ думали, что они исполняли свой долгъ и спокойно спали въ нѣсколькихъ шагахъ отъ того мѣста, гпѣ ложаривались еретики.

Кто не видить ясные признаки безумія въ среднихъ вѣкахъ, тотъ вовсе не знакомъ съ исихіатріей. Въ среднихъ вѣкахъ все безумно. Если и выходить что-нибудь путное, то совершенно противуположно желанію. Ни одного здороваго понятія не осталось въ средневѣковыхъ головахъ, все перепуталось. Проповѣдывали любовь и жили въ ненависти, проповѣдывали миръ и лили рѣками кровь. Къ тому же цѣлыя сословія подвергались эпидемической дури,—каждое на свой ладъ; напримѣръ, одного человѣка въ латахъ считали сильнъе тысячи человѣкъ, вооруженныхъ дубьемъ, а рыцари сошли съума на томъ, что они дикіе звѣри, и сами себя содержали по селлюлярному порядку новыхъ тюремъ въ укрѣпленныхъ сумасшедшихъ домахъ по скаламъ, лѣсамъ и пр.

Исторія досель остается непонятною оть ошибочной точки зрѣнія. Историки, будучи большею частію не врачами, не знають, на что обращать вниманіе; они стремятся вездѣ выставить послѣ придуманную разумность и необходимость всѣхъ народовъ и событій; совсѣмъ напротивъ, надобно на исторію взглянуть съ точки зрѣнія патологіи, надобно взглянуть на историческія лица съ точки зрѣнія безумія, на событія съ точки зрѣнія нелѣпости и ненужности.

Исторія—горячка, производимая благодѣтельной натурой, посредствомъ которой человѣчество нытается отдѣлываться отъ излишней животности; но какъ бы реакція ни была полезна, все же она болѣзнь. Вирочемъ, въ нашъ образованный вѣкъ стыдно доказывать простую мысль, что исторія—автобіографія сумасшедшаго.

Интересъ лѣтописей и путешествій тоть же самый, который мы находимъ въ анатомико-патологическомъ кабинетѣ. Кстати о путешествіяхъ. Они не менѣе исторіи принесли мнѣ подтвержденій п тѣмъ пріятнѣйшихъ, что всѣ описываемыя въ нихъ безумія дѣлались не за тысячу лѣтъ, а совершаются теперь, сейчасъ, въ ту минуту, какъ я пишу, и будутъ совершаться въ ту минуту, какъ вы, любезный читатель, займетесь чтеніемъ моего отрывка. Доказательства и здѣсь совершеннѣйшая роскошь; разверните

Магелана, разверните Дюмонъ д'Юрвиля и читайте первое, что раскроется,—будетъ хорошо; вамъ или индъецъ попадется какойнибудь, который во славу Вишны сидитъ двадцать лътъ съ поднятой рукой и не утираетъ носу для пріобрътенія безконечной радости на томъ свътъ, или женщина, которая изъ учтивости и приличія бросается на костеръ, на которомъ жгутъ трупъ мужа. Востокъ, классическая страна безумія, но, впрочемъ, и въ Европъ очень удовлетворительные симитомы и въ ирландскомъ вопросъ, и въ вопросъ о пауперизмъ, и во многихъ другихъ. Да, сверхъ того, въ Европъ остались нъсколько видоизмъненными и всъ азіатскія глупости, собственно перемънились только названія.

Здёсь я останавливаюсь. Я хотёлъ передать публикъ на первый случай небольшой отрывокъ. Кто желаетъ болёе знать по сей части, тотъ пусть купитъ курсъ психіатріи, когда онъ выйдетъ (о цёнъ и условіяхъ подписки своевременно черезъ Въдомости объявлено будетъ).

Объяснительное прибавление отъ автора.

Я не могу положить пера, не сказавъ еще нъсколько объяснительныхъ и, такъ сказать, предупредительныхъ замъчаній. Знаю я, что неблагонам вренность обвинить меня въ желаніи блеснуть новизною, въ гордости и пренебрежении къ больнымъ-за то, что я ихъ не считаю здоровыми. Совъсть моя чиста. Не гордость и пренебреженіе, а любовь привела меня къ моей теоріи и, когда я совершенно убъдился въ истинности ея, весь нравственный бытъ мой перемънился; мнъ стало легко, упованія и надежды разцвъли какъ въ молодости. Прежняя нетериимость, готовность порицанія и осужденія зам'єнились теплымь чувствомь состраданія къ больнымь и вийсто желанія отвратительной мести за дійствія, явнымъ образомъ сдёланныя подъ вліяніемъ болёзни, явилось кроткое снисхождение и сильное желание помочь больному. (Я даже въ домъ умалишенныхъ вывелъ наказанія, не желая вступать въ соревнование съ безумными, ни побъждать ихъ въ нелъпости). Что же касается до предполагаемаго мною обвиненія въ желаній блеснуть новизною, то я обязанъ зам'єтить, что въ разныхъ формахъ мысль медицинская, мною проведенная, являлась многимь въ голову. Аристотель называлъ Анаксагора единымъ трезвымъ въ сонмѣ пьяныхъ. Спиноза видѣлъ одно безсиліе разума въ человъкъ безправственномъ, Бентамъ прямо сказалъ: «что всякой преступникъ, прежде всего, дурной счетчикъ», человъкъ съ здравымъ смысломъ не можетъ дурно считать. Бентамъ правъ; онъ, однако, не понялъ, что если преступникъ дълаетъ ариометическія ошибки слишкомъ грубыя, то вей остальные тоже дурные счетчики, но ошибаются въ мелочахъ или съ общаго согласія. Люди окружены цілой атмосферой призрачной и одуряющей, всякой человікь, боліве или меніве, какъ Матренина дочь (зри выше) съ малыхъ літь, при содійствій родителей и семьи, пріобщается мало по малу къ эпидемическому сумасшествію окружающей среды (німецкіе врачи называють эту болівнь der historische Standpunkt); вся жизнь наша, всі дійствія такъ и разсчитаны по этой атмосферів, въ томъ родів, какъ нелізпыя формы ихтіозавровь, мастодонтовь были разсчитаны и сообразны первобытной атмосферів земного шара.

Мъстами воздухъ становится чище, бользии душевныя укрощаются. Но не легко перерабатывается въ душъ человъческой родовое безуміе; большія усилія надобно употреблять для мальйшаго шага. Вспомните романтизмъ,—эту духовную золотуху, одну изъ злотворнъйшихъ психическихъ эпидемій, поддерживающую организмъ въ безпрерывномъ и неестественномъ раздраженіи, поселяющую отвращеніе къ всему дъйствительному, практическому и истощающую страстями вымышленными.

Вспомните аристократизмъ, эту застарълую подагру нравственнаго міра, іудейскую проказу исключительной національности и пр.

Предвижу еще одинъ вопросъ. Что же ты, занимавшійся столько лѣтъ исторической исихіатріей, открылъ ли какія-нибудь средства леченія? Что же плодъ твоихъ трудовъ?

Во первыхъ, истина, во вторыхъ, точка зрѣнія, въ третьихъ, я далеко не все сказалъ, а намекнулъ, означилъ, слегка указалъ только.

Средствъ я нашелъ мало, но средства есть. При дальнъйшемъ развитіи органической химіи, при благодътельной помощи натуры можно будетъ выдълывать и поправлять вещество мозга.

Мы имѣемъ уже драгоцѣнныя наблюденія касательно возможности химически улучшать и впдоизмѣнять духовную сторону, хотя она совершеню независима. Такъ напр., прилично употребленное леченіе шампанскимъ располагаетъ человѣка къ дружбѣ, въ доблести, къ чувствамъ радостнымъ и объятіямъ разверстымъ. Дѣйствуя же бургонскимъ, точно такимъ же образомъ, то есть отправляя его черезъ желудокъ въ вены и оттуда въ голову, выходитъ результатъ совсѣмъ иной: человѣкъ дѣлается мраченъ, несообщителенъ, болѣе склоненъ къ ревности, нежели къ любви, къ раскаянію, нежели къ наслажденію, къ плачу о грѣхахъ міра сего, нежели къ снисхожденію. Для меня тутъ ключъ къ психотераніи, и вотъ я десятый годъ, не щадя ни издержекъ, ни здоровья, занимаюсь постоянно изученіемъ дѣйствія на умственныя способности вышеозначенныхъ медикаментовъ и разныхъ другихъ. Чего не сдѣлаетъ человѣкъ пзъ пламенной любви къ наукѣ!

Москва, 10 февраля, 1846.

Aphorismata.

По поводу психіатрической теоріи д-ра Крупова.

Сочинение прозектора и адъюнктъ-профессора

тита певіафанскаго.

Милостивый государь и господинъ редакторъ (имени и отче-

ства, извините, не знаю)!

Въ заграничной періодикѣ, издаваемой вами, я съ удовольствіемъ прочиталъ введеніе въ исихіатрію добрѣйшаго наставника и товарища моего д-ра Крупова. Я Семена Ивановича зналълично, любилъ, уважалъ и, могу сказатъ, отдалъ ему послѣдній дружескій долгъ, т. е. вскрылъ послѣ кончины его тѣло и обнаружилъ хроническую болѣзнь въ печени, которой онъ и не пред-

полагалъ, но которая свела его въ могилу.

Увлекательная теорія покойнаго, во время ея появленія, спльно подъйствовала на меня. Я долгое время быль подъ ея вліяніемъ и самъ вездъ, на практикъ, въ житейскихъ отношеніяхъ и въ книгъ, прінскивалъ новые факты и свидътельства въ подтвержленіе главныхъ положеній ея. Такъ напр., я въ одномъ англійскомъ авторъ, Байронъ, нашелъ замъчательную по върности мысль, «что если-бъ изъ Бедлама выпустить больныхъ, а здоровыхъ, внъ Бедлама находящихся, запереть, то значительной перемены не было бы замѣтно» (Vid. Don. Juan, Can. XIV, v. 87). Другой англійскій писатель, Вильямь Шекспиръ (читанный мною въ переводъ одного изъ моихъ сотоварищей Н. Хр. Кетчера), намекнулъ на это, говоря, что «сумасшедшаго датскаго принца затъмъ и посылають въ Англію, чтобъ его состояніе не было зам'ятно въ странъ, гдъ всъ поврежденные». Неудивительно, что именно на этомъ островъ и выразплся первый свободный, энергическій протесть одного лично поврежденнаго, который, содержась въ больницъ, сказалъ врачу: «Весь свъть меня считаетъ поврежденнымъ, а я весь свъть считаю такимъ же. Бъда моя въ томъ, что большинство со стороны всего свъта».

Но не буду наполнять моего письма цитатами; скажу напротивъ, что впослъдствіи во мнъ возникли нъкоторыя сомнънія, не въ главномъ положеніи д-ра Крупова, однако же въ вещахъ очень важныхъ.

Лътами гораздо постаръе меня, С. И. принадлежалъ еще къ слушателямъ знаменитаго профессора М. Я. Мудрова, въ силу чего и получилъ нъсколько религіозно-мистическое и отчасти франкъ-массонское направленіе.

Я же, какъ студентъ Дядковскаго и М. Г. Павлова, ими былъ наведенъ на направление болъе философское. Наведенъ, но не

удовлетворенъ, а оставленъ на собственныя силы.

Нъкоторыя возраженія я тогда помьтиль и для большей доступности написаль ихъ по-латыни. Но не только не даль имъ никакого развитія, но даже не привель въ систематическій порядокъ.

По обязанностять моего служенія, я посвящаю время свое людямъ, уже кончившимъ свою жизнь, и, такъ какъ долгъ относительно ихъ и мой интересъ собственно начинаются съ полицейскаго удостовъренія о приключившейся кончинть, то и не трудно понять, что, имъя большую практику, какъ отъ университетской больницы, такъ и отъ военнаго госпиталя, поставляющаго намъ въ обилія труны, я занимался психіатрическими возраженіями, въ феріахъ и каникулахъ, не какъ моимъ спеціаль-

нымъ дёломъ, но скорее отдохновительнымъ extra.

Впоследствии, при возрастающихъ занятіяхъ, благодаря аклиматизаціи ходеры и укорененію простого и возвратнаго тифа, я забыль о моей тетради, какъ вдругъ одинъ изъ коллеговъ, тадившій въ Германію, привезъ съ собой нумеръ издаваемой вами періодики (имя его, по причинамъ, понятнымъ вамъ, я считаю долгомъ, до поступленія его въ прозекторскую, умолчать), - въ немъ я нашелъ сочинение учителя и наставника моего, д-ра Крупова, вульгаризированнымъ на французскій языкъ. Невольно вспомнилъ я тетрадку свою, перечиталъ ее, исправилъ, мъстами перебълилъ и, пользуясь отправленіемъ за границу нашего добръйшаго Киліана Вильгельмовича, профессора теологической экзегезы и автора извъстнаго сочиненія объ отношеніи богословія къ анатомін и христіанства къ терапін, рішился послать вамъ. Если вы не найдете ничего неприличнаго въ пом'вщении сего слабаго, но искренняго опыта, -- мое уважение къ памяти Семена Ивановича не допустило бы меня ни въ какомъ случат до выраженій, лишенныхъ урбанности, -- то сочту это для себя одолжениемъ, ибо въ отечествъ нашемъ послъ уничтоженія цензуры и увеличенія отвътственности, не полагаю, чтобъ это сочинение было къ печати допущено; особенно при нын в теократическом в направлении

полиціи и администраціи и полицейской тенденціи православныхъ

служителей алтаря.

Пожелаете ли перевести, или напечатать пс-латыни мои афоризмата,—это совершенно зависить отъ васъ. Полагаю, латинскій языкъ популярнъе.

Позвольте, М. Г., г. Редакторъ, засвидътельствовать о чувствахъ глубокоуваженія, съ которыми пребываю Титъ Левіаванскій, Prosector et anatomiae professor adj.

Р. S. Адреса не пишу, такъ какъ отвъта по почтъ получить не желаю, по обстоятельствамъ, моего уваженія къ вамъ не умень-

T. L. pr.

... Левіаванскій, Левіаванскій, да еще Тить! Я думаль, что съ Титомъ Каменецкимъ, издавшимъ тридцать тисненій всеобщей пространной и краткой географіи, Титы въ Россіи кончились. Вѣрно исевдонимъ тоже «по обстоятельствамъ, не уменьшающимъ уваженіе». Что касается до фамиліи,—семинарія за такими бездѣлидами не останавливается: развѣ нѣтъ у насъ разныхъ Крестовоздвиженскихъ, Федоростудитенскихъ, Геосеманійскихъ, Ризоположенскихъ, не говоря о старыхъ знакомыхъ Круциферскомъ и Кафернаумовѣ?

При нисьмѣ была тетрадь, написанная мельчайшимъ шрифтомъ, семинарскимъ почеркомъ и медицинской латынью. Я полатыни никогда хорошо не зналъ, да и то, что зналъ, забылъ. По счастію, теперь во всѣхъ городахъ игорныхъ, гидро-терапевтическихъ и гидро-минеральныхъ заводятъ православныя часовни. Переводъ сдѣланъ мною сообща съ однимъ священникомъ; усердно благодаря его, я долженъ въ очистку его сказать, что онъ сталъ мнѣ помогать только послѣ явственнаго удостовъренія съ моей стороны, что все относящееся до религіи у Тита Левіаванскаго, какъ и д-ра Крупова, относится къ лжекатолической религіи и къ лютеровымъ ересямъ, а не къ православной церкви.

Когда я перевелъ первый афоризмъ, я испугался, но вскоръ догадался, что прозекторъ «лично» сумасшедшій, въ доказательство чего и печатаю переводный отрывокъ.

APHORISMATA.

Τ.

Върность, съ которой многоуважаемый авторъ разбираемой мною диссертаціи опредълиль родовое единство двухъ видовъ помъшательства, повальнаго и личнаго, составляетъ неоспоримую

заслугу п-ра Крупова.

Онъ былъ весьма близокъ къ тому, чтобы вывести прочный фундаментъ для медицинскаго пониманія всемірной исторіи. Но, по несчастію, онъ, какъ многіе изъ великихъ врачей до него, отступая отъ опыта, допустилъ преждевременныя заключенія о цюли, и черезъ то запутался въ религіозно-метафизическія фантасмагоріи.

Авторъ въ «историческомъ безумін» видить средство (къмъ взятое?), «благодътельную горячку», какъ онъ выражается, для излеченія отъ «животности» и видить его медленное, но върное уменьшеніе, а посему и ожидаетъ перерожденія рода человъческаго, что многіе дълали и прежде него, но главное состоитъ въ томъ,

что онъ на этом свыть ждеть свою метемпенхозу.

Допуская это, мы изъ предверья науки уносимся въ пучину мистическихъ волнъ и возвратимся къ младенческимъ степенямъ ума и пониманія, которыя и были, можетъ быть, полезны и необходимы для мозгового роста, какъ проръзываніе зубовъ, но которыя въ совершеннольтій безъ уродства повторяться не должны. Сюда мы причисляемъ всякаго рода ожиданія: пророковъ, мессій, изтаго царства, братства, справедливости и другихъ предназначенныхъ прогрессовъ.

Притомъ замътимъ, что всѣ послъдовательные богословы, храмовые ¹), церковные п академическіе, ставили всегда отвлеченный идеалъ свой, какъ бы они его ни понимали, внѣ исторической жизни, что значительно уменьшаетъ погрѣшность пхъ.

Такъ, язычники искали его въ до-историческомъ времени, въ дикомъ состояніи, называемомъ золотымъ въкомъ, въ него переносили свои мечты о непорочности, незнаніи, простотѣ и другихъ отрицательныхъ добродѣтеляхъ и положительныхъ неразвитіяхъ, которыми преисполнены и поднесь орангутанги и лемуры. Такъ, христіанство ожидало въ сущности царства небеснаго, а не земного. Оно сѣяло здюсь для предвѣчнаго жнитва тамъ. Церковь считала здѣшнюю жизнь, которой надобно было пройти, дурной

¹⁾ Т. е. не тамиліеры, а язычники, молитву творившіе въ кашицахъ, божницахъ и «храмахъ», въ противоположность христіанамъ, молитвословящимъ въ церквахъ.

(Примъчаніе батюшки, помогавшаго въ переводъ).

дорогой и старалась слегка и немного посыпать ее щебнемъ, нисколько не думая объ окончательномъ ся устройствъ.

Остальные теологи безцерковные, какъ Вольтеръ и Руссо и другіе бого-и антропо-теофилы прошлаго въка и нашего, всъ принимали для исполненія идеала своего иной світь, или такъ называемый тоть світь, о которомь, по занятіямъ моимъ въ прозекторской, я всего меньше имѣлъ случай сдѣлать какія-нибудь наблюденія, и дѣйствительно не знаю, существуетъ онъ или нѣтъ, и, если существуетъ, то какъ къ нашему прилагается. Для меня всегда было неясно (и я смпренно въ томъ вижу отсутствіе выспреннихъ способностей), какъ можетъ привычка къ существованію переживать существующаго. Но въ настоящемъ случаѣ дѣло идетъ не объ объективномъ бытіи, т. е. о бытіи въ самомъ дълю того світма, но о логичности его постановленія у теологовъ, безцерковныхъ и церковныхъ.

Даже тѣ изъ богослововъ, которые, какъ деисты, сознають, что они постичь не могутъ высшее существо и только итутъ его, не понимая—сознаваясь, что ничего, ни хорошаго, ни дурного, о немъ не знаютъ—и они приняли несовмѣстимость понятія здѣшней жизни съ освобожденіемъ отъ ея условій. Въ силу чего они, допуская прогрессъ, допустили «безконечность» его, т. е. поставили цѣлью усилій человѣческихъ поступательное движеніе безъ достиженія, что совершенно подходитъ къ психіатрической діагнозѣ безумія, блестяще чиноположенной нашимъ авторомъ.

Какъ же онъ, сей ¹) врачъ, постигнувшій, что люди дѣйствують только подъ вліяніемъ извѣстнаго состоянія мозга, называемаго нами патологическимъ или фантасмагорическимъ, какъ же онъ не понялъ, что другого чистаго мозга вовсе нѣтъ и быть не можеть, какъ чистаго (математическаго) маятника, какъ нормально здороваго человѣка. Онъ думаетъ, что это будетъ по излеченіи, а мы спрашиваемъ, какъ же постоянное состояніе какогонибудь животнаго рода или вида можетъ излечиться, хотя бы оно имѣло свои неудобства, какъ слѣпота крота—это не болѣзнь, а особенность, признакъ.

Какъ же, повторяю, врать, чиноположившій отличительныя свойства того, что называется безуміемъ, въ силу котораго окружающіе предметы сознаются неправильно, но и не произвольно, въ бользненномъ упорствъ сохранить это сознаніе, даже при вредъ себъ, въ стремленіи къ цълямъ несуществующимъ, съ упущеніемъ цълей дъйствительныхъ, могъ усомниться въ его въчной необходимости для исторіи и прогресса.

⁾ Батюшка непремѣнно просидъ оставить «сей»; онъ находилъ, что $sinom \delta$ «указательно», а $sinom \delta$ «сей «сугубо указательно».

Семенъ Ивановичъ, прослъдившій свою мысль у постели больного, у своего очага (съ кухаркой Матреной Бучкиной), въ домѣ друзей своихъ (у Анны Өедоровны), въ присутственныхъ мѣстахъ своего города, во Всеобщей Аугсбургской газетѣ, въ путешествіяхъ отъ Магелана, Васко-де-Гама, Марка Поло «до Дюмонъ Дюрвиля», въ бытописаніяхъ отъ Геродота, Тита Ливія «до отечественнаго Карамзина», — какъ же онъ, видя такъ много, не усмотрѣлъ главнаго (не будемъ упрекать человѣка, сдѣлавшаго много, за то, что онъ не сдѣлалъ всего, — силы человѣка сочтены): что безъ хроническаго, родового помѣшательства прекратилась бы всякая государственная дѣятельность, что съ излеченіемъ отъ него остановилась бы исторія. Не было бы ей занятія, не было бы въ ней интереса. Не въ умѣ сила и слава исторіи, да и не въ счастьи, какъ поетъ старинная иѣсня, а въ безуміги.

Безъ него мы были бы сведены на логику и математику.

Оставимъ же навсегда дѣтскую кичливость, съ которой шведъ Линней, лучше знавшій воспроизводительныя части растеній, чѣмъ мозги человѣческіе, назвалъ человѣка мудрымъ, homo sapiens, и противупоставилъ ему человѣка безумнаго — homo insanus, человѣка, съ безконечнымъ творчествомъ мѣняющаго idées fixes и пункты помѣшательства и постоянно пребывающаго вѣрнымъ безумію. Если у людей являлась рѣдкая манія жить по чистому разуму и по разуму устроиться, то она количественно всегда такъ была незначительна, что ее можно отнести къ личнымъ умопомѣшательствамъ, а не къ тѣмъ, которыми зиждятся парства п имперіи, народы и цѣлыя эпохи.

Умомъ и словомъ человъкъ отличается отъ всъхъ животныхъ. И такъ, какъ безуме есть творчество ума, такъ вымыселъ—твор-

чество слова.

Одно животное пребываеть въ бъдной правдивости своей и въ жалкомъ здравомъ смыслъ. Природа молчитъ или звучитъ безсвязно, ибо она-то и находится подъ безвыходнымъ самовластьемъ разума, въ то время, какъ человъкъ городитъ цълыя Магабараты и Урвазіи. Все сковано въ природъ желъзною необходимостью, она не усовершается, не домогается, не ждеть обновленья и искупленья, она только перерабатывается, «не въдая, что творитъ»,—и въ эту-то кабалу, въ этотъ домъ безъ хозяина, безъ добродътелей и пороковъ, толкаютъ человъка подъ предлогомъ излеченія?

Отнимите у людей сказки и бредни, библіи и апокалинсисы, въру въ пришествіе въчнаго міра и таковаго же братства,—и родъ человъческій, какъ Калигула, возжелаетъ пиъть едину главу и едину каротиду, чтобъ переръзать ее однимъ ударомъ бистурія. Посему и неудивительно, что всъ пророки и законодатели

ставили въ основу своей проповъди и закона фантазію; что всъ моралисты соединяются на томъ, что самый необходимый даръ есть даръ въры, а върить только въ то и надобно, чего доказать нельзя.

Необходимость фантазіи неотрицаема, и діло вовсе не въ основахь, не въ теодицеяхь, не въ догматахъ (и въ личномъ безуміи, главное совсёмъ не въ пунктъ номішательства; патологическое состояніе можеть быть одно и то же, воображаеть ли себя больной сверчкомъ въ щели или шавкой на дворѣ). Только поверхностные и сентиментальные наблюдатели могли негодуя удивляться, что человѣка третьяго дня травили львами и тиграми за то, что онъ не вѣрить въ громовержца, а вѣритъ въ Спасителя, вчера жгли за то, что онъ вѣритъ въ Спасителя, но не вѣрить въ завѣдующаго дѣлами его папу, а сегодня убивають французами за то, что онъ вѣритъ въ папу, какъ въ управителя Христова, но не вѣритъ въ него, какъ въ царя итальянскаго.

Посему-то я всегда и оправдывалъ самаго последовательнаго религіознаго инквизитора и гонителя—Максимиліана Робеспьера; онъ стоитъ гораздо выше Діоклетіана, Кальвина, Филиппа II и др., чему, конечно, обязанъ успехамъ философіи и гуманности въ XVIII вект. Те жгли своихъ противниковъ, онъ рубилъ головы людямъ не за то, что они не такъ верили, какъ онъ, а просто за то, что они не верили ни во что, кроме разума. Онъ очень последовательно казнилъ Анахарсиса Клоотса и его товарищей, понимая, что какъ только изъ подъ ногъ человека выдернутъ треножникъ мистики, такъ онъ и падетъ въ самое жалостное положеніе.

Все, что намъ дорого и изъ-за чего мы такъ обильно льемъ кровь ближняго, а иногда и свою, все имѣетъ глубокіе корни въ безуміи и не имѣетъ ихъ развъ его... Безконечность и безсмертіе, честь и слава, воля человѣческая и воля Божія, обѣ свободныя, одна подчиненная другой и объ другъ другу не мъшающія, несмотря на необходимость, въ коей обѣ движутся 1). Будто это можно понять, не сойдя съ ума?... Да и зачѣмъ воздерживаться, когда все зоветъ къ безумію, все жило и живетъ имъ.

Пусть же великое и покровительствующее безуміе, хранящее и утѣшающее, исправляющее и ведущее насъ чрезъ вѣка и океаны, пусть же оно и впредь сопровождаетъ насъ во вѣки вѣковъ, пока родъ человѣческій не поглотится геологическимъ переворотомъ. И пусть передь его торжественнымъ шествіемъ не-

¹⁾ Насчеть замѣчательнаго остро-безумнаго сочетанія совершеннаго произвола съ совершенной необходимостью, какъ о сильнѣйшемъ признакѣ, пишу особый аргументъ.

сется, какъ и прежде, то лучезарное, то въ облакахъ, то полное, то съ ущербомъ, свитило разума, пребывающее, какъ луна, все въ томъ же разстояніи отъ земнаго шара, какъ бы онъ ни торопился.

А посему, наставникъ и другъ, Семенъ Ивановичъ, воскликнемъ вмѣстѣ съ латинскимъ классикомъ, но относя слова его къ святому безумію рода человѣческаго: Tu urbes peperisti, tu homines dissipatos in societates convocasti! 1).

Т. Левіаванскій.

Карлъ Фогтъ, смѣясь, требовалъ отвѣта Левіаванскому, обвиняя его въ скрытомъ дензмѣ, на томъ основанін, что онъ своего бога спряталъ въ \hat{p} о-нарpъ, котораго вовсе нѣтъ. Но я побоялся, что одна и та же шутка утомитъ.

¹⁾ Не знаю, помнить ли теперь кто-нибудь небольшую повѣсть мою «Докторь Круповъ». Она была напечатана въ 1847 году въ «Современникъ и имѣла нѣкоторый успѣхъ. Нѣсколько лѣть тому назадъ, Круповъ явился во французскомъ переводѣ въ одномъ парижскомъ Revue. Двадцать лѣть спустя, въ 1867 году, меня просили прочесть что-нибудь въ близкомъ кругу друзей, собиравшихся то у насъ, то у извѣстнаго физіолога Шифа во Флоренци. Я вспомнить переводъ Крупова и прочель его. Слушатели были очень довольны, Шифъ настоятельно требоваль, чтобы я перепечаталь его. Одинъ итальянскій литераторъ просилъ тексть для перевода на итальянскій языкъ. Мой Круповъ, какъ Лазарь, снова ожиль. Перечитывая его, мнѣ пришли въ голову «рефлексій и контроверзіи» прозектора Левіаванскаго и я ихъ написалъ собственно для Шифа.

Мимовздомъ.

(Отрывокъ).

..... Ъхавши какъ-то изъ деревни въ Москву, я остановился дни на два въ одномъ губернскомъ городъ. На другое утро явилась ко мнъ жена одного крестьянина изъ нашей вотчины, который торговалъ тутъ. Она была въ отчаяніи, мужъ ея сидълъ шестой мъсяцъ въ острогъ, и до нея дошелъ слухъ, что его скоро накажутъ. Я разспросилъ дъло; никакой важности въ преступленіи его не было.

Я знавалъ когда-то товарища предсъдателя, честнъйшаго человъка въ міръ и большого оригинала; отправляюсь прямо къ нему въ уголовную палату; присутствіе еще не начиналось, мой старичекъ съ своимъ добродушнымъ лицомъ и съ синими очками на глазахъ сидълъ одинъ одинехонекъ, читая страшной толщины дъло. Мы съ нимъ не видались года три, онъ обрадовался мнъ, и я ему обрадовался, не потому, чтобы мы другъ друга особенно любили, а потому, что человъкъ всегда радуется, когда увидитъ знакомыя черты послъ долгаго отсутствія. Я сказалъ ему о причинахъ моего появленія. Онъ велълъ подать дъло; резолюція была подготовлена, я попросилъ его обратить вниманіе на нъкоторыя «облегчающія обстоятельства», онъ согласился въ возможности уменьшить наказаніе.

Поблагодаривши его, я не могъ удержаться, чтобы не сказать ему, дружески взявни его за руку:

- «Владиміръ Яковлевичъ, ну, а если-бъ я не пришелъ, да не попросилъ бы васъ перечитать дѣло, мужика-то бы наказали строже, нежели надобно».
- Что дѣлать, батюшка, отвѣчалъ старикъ, поднимая свои синія очки на лобъ,—совѣсть у меня чиста; я, не читавши всего дѣла, никогда не поднишу протокола, но, признаюсь, какъ огня боюсь отыскивать облегчающія причины.

-- «Ну, васъ нельзя обвинить ни въ снисходительности, ни

въ особомъ желаніи облегчить участь подсудимаго».

— Совстив напротивъ. Я двадцатый годъ служу въ этой палатъ, а всякой разъ, какъ придется подписывать строгій приговоръ, такъ мурашки по тълу пробътутъ.

- «Такъ отчего же вы не любите облегчающихъ обстоя-

тельствъ?»

- Ведутъ далеко, вотъ что; право, вы, нынѣшніе, все только вершки хватаете,—ну, вѣдь, вы чай служили тамъ гдѣ-ннбудь въ министерствѣ, а дѣла навѣрно въ руки не брали; но вамъ оно все темная грамота. Не хотите ли позаняться у насъ въ архивѣ, прочтите дѣла хотъ за два послѣдніе года, впередъ пригодится,—и судопроизводство узнаете, и людей тоже. Тутъ и поймете, что такое отыскивать оправданія и куда это ведетъ.
- «Благодарю за доброе предложеніе; однако прежде, нежели я перевду въ вашъ архивъ на нѣсколько мѣсяцевъ, скорѣе не прочтешь двухъ полокъ, объясните теперь еще болѣе непонятное для меня отвращеніе ваше отъ облегчающихъ обстоятельствъ. Хлопотъ, что ли, много, времени не достаетъ рыться въ каждомъ пѣлѣ?»
- Господи, прости мои прегръщенія, да что я, батюшка, въ вашихъ глазахъ турка или якобинецъ какой, что изъ лъни (замътьте, якобинцевъ во всемъ обвиняли прежде, но исключительно Владиміру Яковлевичу принадлежитъ честь обвиненія ихъ въ лъни) стану усугублять участь несчастнаго; говорю вамъ, далеко поведетъ.

— «Воля ваша, я готовъ согласиться, что я непростительно

тупъ, но не понимаю васъ».

— О... ол. охъ эти мит петербургскіе чиновники, портфельчикь эдакой сафьянной съ золотымъ замочкомъ подъ мышкой, а плохіе дѣльцы. Да помилуйте, возьмите любое дѣло, да начните отыскивать облегчающія обстоятельства, отъ одного къ другому, отъ другого къ третьему, такъ къ концу-то и выйдетъ, что виноватаго вовсе нѣтъ. Что же за порядки?

— «Тѣмъ лучше».

— Такъ это, по вашему, за все по головкъ гладить. Это гдънибудь въ Филадельфіи хорошо, гдъ люди другъ друга ъдять; какъ же въ благоустроенномъ обществъ виноватаго не наказать?

— «Да какой же онъ виноватый, когда вы сами найдете ему

оправданіе?»

— Ну, да эдакъ и всякаго оправдаешь, коли дать волю мудрованіямъ. Я развѣ затѣмъ тутъ посаженъ? Я стараго покроя человѣкъ, мое дѣло буквальное исполненіе; да и такъ не хорошо,—ну, какъ же видишь, что человѣкъ укралъ. Воръ есть, а

туть нойдеть... да онь оть голоду украль, да мать больна на отець умерь, когда ему было три года, онь по міру съ тахъ поръ ходиль, привыкъ броляжничать... и конпа нътъ; такъ вора и оставить безъ наказанія? Ніть, батюшка, собственное сознаніе есть. улики есть, —прошу не гитваться, ХУ томъ свода законовъ. да статейку. Вотъ оттого эти облегчительныя обстоятельства для меня ножъ вострый, мъщаютъ ясному пониманію пъла. Теперь я, знаете, понаторъль и попривыкъ, а бывало сначала, ей Богу, измучищься, такой скверной нравъ. Ночью прилетъ пъло въ голову, вникнешь, поразсудишь, не виновать да и только. точно на смъхъ уснуть не паетъ, кажется изъ чего улопотать, не то, что родной или другь, а такъ бродяга, мерзавецъ, бътлый... Поди ты, а сердце кровью обливается. Оправдай этого. оправдай другого, а тамъ третьяго... На что же это похоже, я себя на службѣ не замаралъ, честное имя хочу до могилы сохранить. Что же начальство скажеть, все оправдываеть, словно дуракъ какой-нибудь, да и самому совъстно. Я думаль, думаль, да и пересталъ искать облегчающихъ причинъ. Наша служба мудреная, не то что въ гражданской палатъ, довъренность засвидътельствоваль, купчую совершиль, духовную утвердиль, отпускную скрыниль, да и сни спокойно. А туть подумаещь, такой-то Еремьй, воть двё недёли тому назадь, туть стояль, говориль, а инеть теперь по Владимірской; такая-то Акулина идеть тоже, да и знаете того... на ногахъ... ну, и сдълается жаль. Понимаете теперь?

— «Понимаю, понимаю, добръйшій и почтеннъйшій Владиміръ

Яковлевичъ. Прощайте, этого разговора я не забуду».

— Пожалуйста, батюшка, по Питеру-то не разсказывай такого вздору, ну, что скажеть министръ или особа какая:—«Баба, а не товарищъ предсъдателя».

— «О, нѣтъ, нѣтъ, будьте увѣрены,—я вообще съ особами ни о чемъ не говорю».

Москва, май, 1846.

Долгъ прежде всего.

ПОВЪСТЬ.

«Я считаль бы себя преступнымь, если-бъ не исполниль и въ сей настоящій годъ священнаго долга моего и не принесъ бы Вашему Превосходительству напусерднъйшаго поздравленія съ наступающимъ высокоторжественнымъ праздникомъ».

Τ.

За воротами.

Сыну Михайла Степановича Столыгина бёло лётъ четырнадцать... но съ этого начать невозможно; для того, чтобъ принять участіе въ сынф, надобно узнать отца, надобно сколько-нибудь узнать почтенное и доблестное семейство Столыгиныхъ. Мнф даже хотфлось бы основательно познакомить читателей моихъ съ нимъ,

но не знаю, какъ лучше приняться.

Мит приходило въ голову начать съ историческихъ преданій ихъ знаменитаго рода. Я хотть слегка упомянуть, какъ Трифонь Столыгинъ усптв въ двт недъли три раза присягнуть, разъ Владиславу, разъ Тушинскому вору, разъ не помню кому,— и вств помно измънилъ; я хоттъ описать ихъ богатыя достоянія, ихъ села, въ которыхъ церкви были пышно украшены благочестивыми и смиренными приношеніями помъщиковъ, повидимому, не столь смиренныхъ въ свттскихъ отношеніяхъ, что доказывали полуразвалившіяся, кривыя, худо крытыя и подпертыя шестами избы; но боясь утомить вниманіе ваше, я скромно ръшаюсь начать не дальше какъ за воротами большаго московскаго дома Михайла Стенановича Столыгина, что на Яузъ. Ограда около дома каменная, вороты толстаго дерева, съ одной стороны калитка истинная, съ другой—ложная, для симметріи, въ ней вставлена доска, на доскъ сидитъ обтерханый старикъ, повидимому нищій.

Старикъ этотъ, впрочемъ, не былъ нищій, а дворникъ Михайла Степановича.

Иятьдесять второй годь пошель съ техъ порь, какъ красивый русый юноша Ефимка вышелъ въ первый разъ за эти ворота съ метлою въ рукахъ и горькими слезами на глазахъ. Дядя Михаила Степановича, объёзжая свои помёстья, привезъ его изъ Симбирска, не потому что ему особенно нуженъ былъ мальчикъ, а такъ, ему понравился добрый видъ Ефимки, онъ и рѣшился устроить его судьбу. Устроиль онъ ее прочно, какъ видите. Ефимка мелъ юношей, мелъ съ пробивающимся усомъ, мелъ съ окладистой бородой, мель съ просъдью, мель совсъмъ съдой и теперь мететъ съ пожелтъвшей бороной, съ ногами, которыя подгибаются, съ глазами, которые плохо видять. Одно сберегь онъ отъ юности-название Ефимки; впрочемъ страните этого патріархальнаго названія было то, что онъ дъйствительно не развился въ Ефима. По мъръ того какъ онъ свыкался съ своей одинокой жизнію, по мітріт того какъ страсть къ двору и къ улиціт у него дълалась спльнъе и доходила до того, что онъ вставалъ раза два, три ночью и осматриваль дворъ съ пытливымъ любопытствомъ собаки, несмотря на то, что вороты были заперты и двъ настоящихъ собаки снушены съ ивпи. — въ немъ пропадала и живость и развязность, кругь его понятій становился уже и уже. мысли смутнъе, тускиъе. Разъ, лътъ за двадцать до нашего разсказа, ему взошла въ голову дурь-жениться на кучеровой дочери; она была и не прочь, но баринъ сказалъ, что это вздоръ, что онъ съ ума сошелъ, съ какой стати ему жениться, — тъмъ дъло и кончилось. Ефимка потосковалъ, никому не говорилъ о томъ ни слова и сталъ попивать. Къ старости онъ сдълался кроткимъ, тихимъ звъремъ, страдавшимъ отъ холода и отъ боли въ поясницъ, веселившимся отъ сивухи и нюхательнаго табаку, который ему поставляль сосёдній лавочникь за то, чтобъ онь мель улицу передъ лавочкой. Другихъ сильныхъ страстей у него не было, если мы не примемъ за страсть его безусловной послушливости вежмъ, кто хотълъ приказывать, и безграничнаго страха передъ Михайломъ Степановичемъ.

Нельзя сказать, чтобы сношенія Ефимки съ Михайломъ Степановичемъ были особенно часты или важны; они ограничивались строгими выговорами, сопряженными съ сильными угрозами за то, что мостовая портится, за то, что тротуарные столбы гніють, за то, что за нихъ зацёнляются телёги и сани; Ефимка чувствовалъ свою вину и со вздохомъ поминалъ то блаженное время, когда улицъ не мостили и тротуаровъ не чинили по очень простой причинѣ, потому что ихъ не было.

Сношеніе другого рода, болье пріятное и торжественное, по-

вторялось всякой годъ одинъ разъ. Въ Свётлое Воскресеніе вся дворня приходила христосоваться съ бариномъ; причемъ Михайло Степановичъ, обыкновенно угрюмый и раздраженный, мёнялъ гнёвъ на милость и дарилъ своихъ слугъ ласковымъ словомъ—отчасти въ предупрежденіе другихъ подарковъ.

— А помнишь, говорилъ ежегодно Михайло Степановичъ Ефимкъ, обтирая губы послъ христосованья, помнишь, какъ ты меня возилъ на салазкахъ и дълалъ снъговую гору? Сердце прыгало отъ радости у старика при этихъ словахъ и онъ торопился отвъчать:

— «Какъ же, батюшка, кормилецъ ты нашъ, миѣ-то не помнить, оно, вѣдь, еще при покойномъ дядюшкѣ вашей милости, при Львѣ Степановичѣ было, помню, вотъ словно вчера».

— Ну, оно вчера не вчера, прибавлять Михайло Степановичъ, улыбаясь, а небось изтой десятокъ есть. Смотри же, Ефимка, праздникъ праздникомъ, а улицу мети, да пьяныхъ много теперь шляется, такъ ты, какъ смеркнется, вороты и запри. Что не крадуть ли булыжникъ?

— «Словно глазъ свой берегу, батюшка, и ночью выхожу разъ, другой поглядьть», отвъчалъ дворникъ,—и баринъ давалъ знакъ, чтобъ онъ шелъ съ краснымъ яйцомъ, даннымъ ему на обмънъ.

Этимъ періодическимъ разговоромъ ограничивались личныя сношенія двухъ ровесниковъ, жившихъ лётъ пятьдесятъ подъ одной крышей. Ефимка бывалъ очень доволенъ аристократическими воспоминаніями и обыкновенно вечеромъ въ первый праздникъ, не совсёмъ трезвый, разсказывалъ кому-нибудь въ грязной и душной кучерской, какъ было дёло, прибавляя: «Вёдь, подумасшь, какая память у Михайла-то Степановича, помнитъ что,—а, вёдь, это сущая правда, бывало меня заложитъ въ салазки, а я вожу, а онъ-то знай кнутикомъ погоняетъ, ей Богу, а сколько годовъ подумаешь», и онъ, качая головою, развязывалъ онучи и засыпалъ на печи, подложивши свой армякъ (постели онъ еще не успёлъ завести въ полвёка), думая вёроятно о суетё жизни человѣческой и о прочности нёкоторыхъ общественныхъ положеній, напримёръ, дворниковъ.

Итакъ, Ефимка сидёлъ у воротъ. Сначала онъ медленно, больше изъ удовольствія, нежели для пользы подгонялъ грязную воду въ канавё метлой, потомъ понюхалъ табаку, посидёлъ, посмотрёлъ и задремалъ. Вёроятно, онъ довольно долго бы проспалъ, въ товариществе дворной собаки плебейскаго происхожденія, черной съ бёлыми иятнами, длинною жесткою шерстью и изгрызаннымъ ухомъ, котораго сторонки она приподнимала врозь, чтобъ сгонять мухъ, если бы ихъ обоихъ не разбудила женщина среднихъ лётъ.

Женщина эта, тщательно закутанная, въ шляпкѣ съ опущеннымъ вуалемъ, давно показалась на улицѣ; она медленно шла по противуположному тротуару и съ безпокойнымъ вниманіемъ смотрѣла, что дѣлается на дворѣ Столыгина. На дворѣ все было тихо, казачекъ въ сѣняхъ пощелкивалъ орѣхи, кучеръ возлѣ сарая чистилъ хомутъ и курилъ изъ крошечнаго чубука, однако и этого довольно было, чтобъ отстращать ее; она прошла мимо и черезъ четверть часа явилась на томъ тротуарѣ, на которомъ спалъ Ефимъ. Собака заворчала было, но вдругъ бросиласъ со всѣми собачъими изъявленіями радости къ женщинѣ, она испугалась ея ласкъ и отошла, какъ можно скорѣе. Осмотрѣвши еще разъ, что дѣлается на дворѣ, она рѣшиласъ подойти къ Ефиму и назвать его.

— «А-сь», пробормоталь Ефимъ, «чего вамъ?» Опъ не былъ такъ счастливъ, какъ его пріятель съ раздвоеннымъ ухомъ, и не узналъ, кто съ ними говоритъ.

«Ефимушка, продолжала незнакомка, вызови сюда Кирилловну».

- «Настасью Кирилловну, а на что вамъ ее?» спросилъ дворникъ, что-то зацинаясь.
 - «Да ты меня развѣ не узнаешь?»
- «Ахъ, ты, мать пресвятая Богородица», отвѣчалъ старикъ и вскочилъ съ лавки, «глаза-то, какіе стали, матушка... Экъ я кого не спозналъ, простите матушка, изъ ума выжилъ на старости лѣтъ, такъ ужъ никуда не гожусь».

«Послушай, Ефимъ, мнѣ нѣкогда, коли можно, вызови Настасью».

— «Слушаю, матушка, слушаю, отчего же нельзя, — оно все можно, я сейчасъ для тебя-то сбъгалъ бы, — да вотъ, мать ты моя родная, и старикъ чесалъ пожелтълые волосы свои, — да какъ бы то есть Титъ-то Трофимовичъ не свъдалъ?»

Женщина смотръла на него съ состраданіемъ и молчала; старикъ продолжалъ:

— «Боюсь, охъ боюсь, матушка, кости старыя, лѣта какія, а, вѣдь, у насъ кучеръ Ненпадисть, не приведи Господь, какая тяжелая рука, такъ въ конюшнѣ Богу душу и отдашь, христіанскій долгь не исполнишь».

Старикъ еще не кончилъ своей рѣчи, какъ изъ воротъ выскочила старушонка худощавая, подслъпая, вся въ морщинахъ, съ съдыми волосами.

— Ахъ, матушка, не извольте слушать, что вамъ старый сычь этотъ наиѣваетъ, пожалуйте ко мнѣ, я проведу васъ, — вѣдь, изъ окна матушка узнала, походку-то вашу узнала, такъ сердце-то и забилосъ, ахъ, молъ, наша барыня идетъ, шепчу я

сама себѣ, да на половину къ Анатолію Михайловичу бѣгу, а тутъ попался казачекъ Ванюшка, преядовитой у насъ такой, шпіонишка мерзкой, что, спросила я, баринъ-то спитъ?—Спитъ еще — чтобъ ему тутъ право, не при васъ будь сказано. Все это она такъ проворно говорила съ пресильной мимикой, что Марья Валеріановна не усиѣла раскрыть рта п, наконецъ, ужъ перебила ее вопросомъ:

«Настасьюшка, да здоровъ ли онъ?»

— Ничего, матушка, ну только худенькой такой. Какое и житье-то! Вёдь, аспидъ-то нашъ, на то и взялъ ихъ, чтобъ было надъ кёмъ зло изливать, человъконенавистникъ, ржа, которая, на что желёзо, и то поёдомъ ёстъ. У Натоль же Михайловича, изволите знать какой нравъ, весь въ маменьку, не то что наше холопское дёло, выйдешь за дверь да самого обругаешь вдвое, прости Господи, ну, а они все къ сердцу принимаютъ. Марья Валеріановна утерла наскоро слезу и шеннула:

«Пойдемъ же, Настасьюшка».

Настасья строго наказала Ефимкъ, если Титъ подошлеть казачка спросить, съ къмъ она говорила за воротами и съ къмъ взошла, сказать со швеей моль, съ Ольгой Петровной, что живеть у Покровскихъ воротъ. Послъ этого, она повела Марью Вадеріановну черезъ дворъ на заднее крыльцо, потомъ по темной лъстницъ, которую врядъ ли мели когда-нибудь послъ отстройки пома. Л'встница эта шла въ маленькую каморку, отведенную Настасьь; эта каморка была цёль ея желаній, предметь домогательствъ ея въ продолжении пятнадцати лъть. Ни у кого въ дом'є не было особой комнаты, кром'є у Тита. Михайло Степановичъ, наконецъ, дозволилъ занять ее, съ условіемъ не считать ее своею, никогда въ ней не сидъть, а такъ покамъстъ положить свои пожитки. Въ этой маленькой комнатѣ стоялъ небольшой деревянный столь, окрашенный временемь, на немъ покоился покрытый полотенцемъ самоваръ, въ сосъдствъ чайника и двухъ опрокинутыхъ чашекъ. На стънъ висъли двъ головки, рисованныя чернымъ карандашемъ, одна изображала поврежденную женщину, которая смотрёла изъ картины, страшно вытаращивъ глаза, вивсто кудрей у нея были черви, —должно думать, что цвль была представить Медузу. Другая представляла какого-то жандарма въ каскъ, въроятно выходившаго изъ воды, судя по голому плечу, лице у него было отвратительно правильно, носъ въ родѣ іонійской колонны, опрокинутой волютами внизъ, голову онъ держалъ кръпко на сторону, разумъется, этотъ жандармъ былъ-Александръ Македонскій.

Но передъ этими картинами, нарисованными дѣтской рукой, остановилась Марья Валеріановна и не могла болѣе удерживаться. Она закрыла глаза платкомъ и Настасья плакала ото всей души, приговаривая:

— Да, это онъ, мой голубчикъ, въ именины подарилъ.

«Ну, какъ кто взойдеть сюда, Настасьюшка, что тогда дълать?»

— Не извольте безпоконться, матушка, фискала - то нашего дома нёть. Вишь, староста пріёхаль, да обозь сь дровами, что ли, пришель, такъ онъ и пошель въ трактиръ принимать; самый вредный человёкъ и преалчной, никакой совёсти нёть, чаю пары двё выпьеть съ французской водкой, какъ слёдуеть, да потребуеть бутылку бёлаго, рыбы, икры; какъ чрево выносить, небось седьмой десятокъ живеть, да, вёдь, что, матушка, какой неочестливой и сына-то своего приведеть и того угощай. Ну, да онъ угодить еще подъ красную шапку, сынъ-то озорникъ. Покуда старой-то песъ живъ, такъ все шито и крыто, а какъ Богъ по душу пошлеть, мы все выведемь, и какъ синепькая у кучера пронала...

Длинная рѣчь in Titum осталась неоконченною. Молодой человѣкъ лѣтъ тринадцати, стройный, милый и блѣдный отъ внутренняго движенія, бросился, не говоря ни слова, на шею Марьи Валеріановны и спряталъ голову на ея груди; она гладила его

волосы, смѣялась, плакала, цѣловала его...

«Ну, привелъ же Богь, привелъ же Богь, говорила она. Да, дай же посмотръть на тебя...» и она всматривалась долго, съ тъмъ упоеніемъ, преданнымъ, святымъ, съ какимъ можетъ смотръть одна любовь матери. Она была счастлива, онъ такъ хорошъ, черты его такъ невинно чисты и открыты, она молилась ему.

«Дружокъ ты мой, какой ты худенькой, говорила она ему, здо-

ровъ ли ты?»

— «Я здоровъ, маменька, отвѣчалъ молодой человѣкъ, я только

боюсь, что папаша узнаеть, спросить меня?»

— И, батюшка, вмѣшалась няня, что это ужъ такой умникъ и не умѣете держать отвѣтъ. Правду сказать, это только вашъ панаша воображаетъ, что его въ свѣтѣ никто не проведетъ, а его вся дворня надуваетъ.

Молодой челов'явъ не отвъчаль, но сдълаль движеніе, которое дълають всъ нервные люди, когда ножь скрипить по тарелкъ.

II.

Дядюшка Левъ Степановичъ.

Кажется, что и хорошо я началъ мой разсказъ, а опять приходится отступить, далеко отступить, пначе не объяснишь сцены,

пропсходившей въ маленькой комнаткъ Настасьи.

Начнемъ-те тамъ, гдъ оканчиваются воспоминанія Ефимки: онъ возилъ молодого барина въ салазкахъ при жизни «дяденьки». Дяденька Левъ Степановичъ уже потому заслуживаетъ, чтобы начать съ него, что, несмотря на всю патріархальную дикость свою, онъ первый ручной представитель Столыгиныхъ. Этимъ онъ обязанъ слѣпой любви родителей къ его меньшему брату. Степушку никогда бы не ръшились они отправить на службу, отдать въ чужія руки; Левушку, напротивъ, родители не жалъли и, какъ только онъ кончиль курсъ своего воспитанія, то есть, научился читать по русски и писать вопреки всёмь правиламъ ореографіи, его отправили въ Петербургъ. Послуживши лътъ десять въ гвардін, онъ перешель въ гражданскую службу, былъ совътникомъ, быль впослёдствін президентомъ какой-то коллегін, и въ большей близости съ къмъ-то изъ временщиковъ. Патронъ его, долго умѣвшій искусно удержаться въ силѣ въ классическое время паденій и усп'яховъ, воцареній и низверженій, посл'я Петра I и Екатерины II, потерялъ, наконецъ, равновъсіе и исчезъ въ своихъ малороссійскихъ вотчинахъ. Помощникъ и ставленникъ его, Левъ Степановичъ, премудро и во время умѣлъ отдѣлить свою судьбу отъ судьбы патрона, премудро успълъ жениться на племянницъ другого временщика, которую тотъ не зналъ куда девать, и, наконецъ, что премудрже всего вмъстъ. Левъ Степановичъ, получивъ аннинскую кавалерію, вышелъ въ отставку и отправился въ Москву для устройства имфнія, уважаемый всфми, какъ честный, добрый, солидный и дёловой человёкъ.

Не надобно думать, чтобъ въ его удаленіи былъ одинъ разсчеть или дипломатія; причина столько же сильная звала его воротиться къ болѣе родной средѣ. Въ Петербургѣ, несмотря на успѣхи по службѣ, ему все было что-то неловко, точно въ гостяхъ; ему захотѣлось покоя въ почетномъ раздольи помѣщичьей жизни, захотѣлось пожить на своей волѣ; родители его давно померли, Степушка былъ отдѣленъ, имѣнье, доставшееся Льву Степановичу, было одно изъ богатѣйшихъ подъ Москвою, версть сотню по Можайкѣ отъ города. Какъ же не ѣхать ему было въ свои березовыя и липовыя рощи, въ свой старый отцовскій домъ, гдѣ подобострастная дворня и испуганное село готово было его встрѣтить съ страхомъ и трепетомъ, поклониться ему въ землю

и полойти къ ручкъ?

Въ Москвъ онъ остался недолго, заложилъ на Яузъ, вмъсто деревяннаго дома, каменныя палаты и убхаль въ Липовку, изрёдка набзжая присмотрёть за постройкой. За хозяйство Левъ Степановичъ принялся усердно; онъ и на службъ своего имънья не разстроилъ, а, напротивъ, къ родовымъ тысячъ душамъ прикупиль тысячи полторы; но теперь, не вдаваясь въ агрономическія разсужденія, онъ разомъ сдълался смышленымъ пом'віцикомъ съ той снаровкой, съ которой изъ лейбъ-гвардіи канитановъ сталъ въ годъ времени дъловымъ совътникомъ. Удвоивая доходы, онъ улучшиль состояние крестьянъ. Онъ и хлъбомъ поможеть, и овса на носъвъ дасть, и корову или лошадь дасть взамъну падшей, ну, да послъ держи ухо востро. Вдругъ никто не думаеть, не гадаеть, баринъ съ старостой и съ десятскими на дворъ. «Ей ты, Акулька, покажи-ка горшки для молока», не вымыты, туть бабъ и расправа. «А ты, Нефедъ, покажь-ка соху, да и борону, выведи лошадь-то», словомъ поучаль ихъ, какъ неразумныхъ дътей, и мужички разсказывали долго послъ его смерти «о порядкахъ стараго барина», прибавляя, «точно, бывало, спуску не даеть, ну, а только уминца быль, все зналь наше крестьянское дъло досконально и праваго не тронетъ; то есть, учитель былъ».

Дворовыхъ онъ держалъ безъ числа и мъры. У него были мальчики, единственно употребляемые днемъ на то, чтобъ чистить клътки соловьевъ, а ночью ходить по двору, чтобъ собаки не лаяли близъ господскаго дома. У него были девочки, которыхъ все назначение состояло въ томъ, чтобъ зимой стирать воду съ оконницъ, а лътомъ носить уголья и тазики для варенья. Нельзя сказать, чтобъ такое количество прислуги его вводило въ особенно важныя траты; все, начиная съ самыхъ личностей, было домашнее, рожь и гречиха, горохъ и капуста, и не одинъ кормъ... Умреть корова, выдёлають кожу, сапожникъ сошьеть портному сапоги, въ то время какъ портной ему кроить куртку изъ домашняго сукна цвъту маренго-клеръ и широкія панталоны изъ небъленаго холста, которымъ были обложены рабочія бабы. Притомъ у Льва Степановича былъ неотъемлемый талантъ воспитывать дворню, таланть, совершенно утраченный въ наше время; онъ вселялъ съ юныхъ лътъ такой страхъ, что даже его фаворить и долею лазутчикъ, камердинеръ Титъ Трофимовъ, гроза всей дворни, не всегда обращавшій вниманіе на приказы барыни, сознавался въ минуты откровенности и сердечныхъ изліяній, что ни разу не входилъ въ спальню барина безъ особаго чувства страха, особенно утромъ, не зная, въ какомъ расположении Левъ Степановичъ. Дивиться нечему. Выгоды и почетъ барскаго фавера очень не даромъ доставались, Титу особенно, потому, что онъ часто попадался на глаза. Левъ Степановичъ былъ человъкъ

характерный, сдерживать себя не считаль нужнымь, и, когда утромь онъ выходиль къ чаю съ красными глазами, сама Мареа Петровна долго не смѣла начать разговоръ. Въ эти «характерныя» минуты сильно доставалось Титу,—побъетъ его бывало, да и пошлетъ къ барынѣ: «Поди, говоритъ, покажи ей свою рожу и скажи, вотъ молъ, какъ дураковъ учатъ, людей дѣлаютъ изъ скотовъ». Для Мареы Петровны, въ ея скучной и однообразной жизни, подобные случаи служили развлеченіемъ, даже она находила своего рода удовольствіе въ униженіи гордаго и высокомѣрнаго Тита.

Дъйствительно, развлеченій въ ея жизни было мало, особенно свътскихъ! Дътей имъ Богъ не далъ. Пыталась она и ворожить, п заговариваться, п нить всякую дрянь, и къ Тройцъ-Сергію ходила пъшкомъ, п Титову сестру посылала въ Кіево-Печерскую Лавру, откуда она ей принесла колечко съ раки Варвары мученицы, но дътей все не было. Нельзя сказать, чтобъ Левъ Степановичъ особенно былъ оттого несчастенъ, однако онъ сердился за это, какъ за безпорядокъ, и упрекаль въминуты досады свою жену довольно оригинальнымъ образомъ, говоря: «У меня жену Богъ даровалъ глупъе таракана; что такое тараканъ? нечистота! а дътей выводить». При этомъ видно было гордое сознаніе, что онъ своей стороны, себя, въ этомъ не винить, -- да и въ самомъ дълъ, безъ вопіющей несправедливости мудрено было винить Льва Степановича, взявъ во внимание хоть одно разительное сходство съ нимъ поваровыхъ дътей. Главное, что сердило Льва Степановича, это отсутствіе цъли въ хозяйствъ и устройствъ имънія. «Я, говорплъ онъ, денно и нощно хлопочу, и запашку удвоилъ, и порядокъ завелъ, и лъсъ берегу, и денегъ не трачу: а подумаю на что, самъ не знаю; точно управляющій братнина сына, а тотъ возьметь все, да и спасибо не скажеть, я его знаю, по матери пошелъ, баба продувная была, и въ немъ хамовой крови довольно. Оно, конечно, это мой долгъ, на то я и поставленъ Богомъ въ помъщики, чтобы хозяйничать, на томъ свътъ съ меня спросится; все же лучше, если бы быль настоящій наслёдникъ!»

И Левъ Михайловичъ грустно качалъ головою, сидя на жесткихъ креслахъ, обитыхъ черной кожей, приколоченной мъдными гвоздочками. Мареа Петровна горько плакивала отъ подобныхъ разговоровъ и за свътскія лишенія прибъгала къдуховнымъ утъщеніямъ.

Возлѣ самаго господскаго дома, иждивеніемъ Льва Степановича, была воздвигнута каменная церковь о трехъ предѣлахъ. Спальня выходила окнами къ колокольнѣ; ири первомъ благовъстѣ Мареа Петровна посиѣшно одѣвалась и являлась ранѣе всѣхъ въ храмъ Божій. Левъ Степановичъ приходилъ позже и то по большимъ праздникамъ и въ воскресные дни. Мареа же Петровна явлулась при всѣхъ богослуженіяхъ, на похоронахъ, кре-

стинахь, бракосочетаніяхь. Левъ Степановичь становился впереди, подтягиваль клиросу и бдительнымь окомъ смотрѣль за порядкомь, самъ драль за уши шалившихъ мальчишекъ и черезъ старосту показываль, когда надо было креститься и когда класть земные поклоны. Онъ быль любитель и знатокъ богослуженія, онъ на домъ къ себѣ призывалъ молодого діакона и мѣсяца три всякій день училъ кадить и дѣлать возгласъ, поднимая орарь съ полуоборотомъ на амвонѣ; діаконъ дѣйствительно такъ мастерски дѣлалъ возгласъ и полуоборота, что можайскіе купцы пріѣзжали любоваться и находили, что іеродіаконъ Савина монастыря далеко будетъ пониже липовскаго.

Монастырь этоть быль версть тридцать отъ усадьбы Льва Степановича. Онъ постоянно посылалъ туда не столько богатыя, сколько постоянныя приношенія,—возовъ десять прошлогодняго и нѣсколько сгорѣвшаго сѣна, овесъ, негодный на сѣмяна, сырыя и почернѣвшія дрова. Мареа Петровна, съ своей стороны, дѣлала приношенія тоже болѣе цѣнныя по усердію, нежели по чему иному; она посылала въ монастырь розовую и мятную воду, муравыный спиртъ, сушеную малину (иноки, не зная, что съ ней дѣлать, настаивали ее пѣннымъ виномъ), нѣсколько банокъ грибовъ, въ уксусѣ искусно уложенныхъ такъ, что съ которой стороны ни посмотришь, все видно одни бѣлые грибы, а какъ ложкой ни возьмешъ, все вынешь или березовикъ или масленокъ. Иноки иногда посѣщали благочестивый домъ богоприбѣжнаго помѣщика и всегда находили радушный пріемъ Мареы Петровны, которая любила ихъ и какъ-то боялась.

Другихъ гостей почти никогда не являлось у Столыгиныхъ. Кром'т ихъ двоихъ, еще проживали у нихъ дядя Мароы Петровны съ своей женой. Ъхавши изъ Петербурга, Левъ Степановичъ пригласилъ къ себъ дядю своей жены, не главнаго, а такъ дядюстарика, оконтуженнаго въ голову во время турецкой кампанін, вслъдствіе чего онъ потеряль память, умъ и глаза. Настоящій дяда, не зная, куда его дёть, намекнулъ Льву Степановичу, который хотя уже тогда и быль въ отставкъ, но все же не смъль поперечить особъ. Слъпой старикъ былъ женать на молдаванкъ, у которой въ дом' лежалъ раненый; она была не первой молодости и, несмотря на большой римской носъ и на огромные орлиные глаза, отличалась великимъ смиреніемъ духа. Ее Столыгинъ употреблять на пріемъ талекъ, холстины, оръховъ, на чищеніе ягодъ, сушение травъ, варение грибовъ. Мареа Петровна, призръвая родственниковъ, была ув френа, что этимъ загладитъ всф свон грѣхи, а можетъ, сдѣлаетъ доступною и свою молитву о дарованія д'єтей. Обращеніе, сложившееся между хозяевами и гостями, было простое, патріархальное. Мароа Петровна называла

старика дядей, но жену его не только не называла теткой, но говорила ей «ты» и въ иныхъ случаяхъ позволяла цѣловать у себя руку. Левъ Степановичъ говорилъ обоимъ «ты» и обращался съ ними такъ, какъ слѣдуетъ обращаться съ людьми, вполнѣ зависящими отъ насъ,—съ холоднымъ презрѣніемъ и съ оскорбительнымъ выказываніемъ своего превосходства. Онъ ихъ трактовалъ, какъ мебель или вещь, не очень нужную, но къ которой онъ привыкъ.

Утро слъпой обыкновенно проводиль въ своей комнатъ во флигелъ, гдъ курилъ сушеной вишневой листъ, перемъщанный съ венгерскими корешками. Въ часъ, дъвка, приставленная за нимъ, надъвала на него длинный синій сюртукъ, повязывала бълый галстухъ и приводила въ столовую. Здёсь онъ дожидался, сидя въ углу, торжественнаго выхода Льва Степановича. Горе бывало старику, если онъ опоздаетъ, тутъ доставалось не только ему, но и Танькъ, служившей при немъ корнакомъ, и молдаванкъ. Старику повязывали на шею салфетку и сажали его за столъ, гдъ онъ смиренно дожидался, пока Левъ Степановичъ ему пришлетъ рюмку настойки, въ которую онъ ему подливалъ воды. За столомъ старикъ не смълъ ничего просить, да не смълъ ни отъ чего и отказаться; даже больше двухь стакановъ квасу (хозяева пили кислыя щи, но для дяди съ теткой приносили людского квасу, кислаго какъ квасцы) ему не дозволялось пить. Подадуть ли пыню. Левъ Степановичъ выръжеть лучшую часть, а корки положить ему на тарелку. Мароа Петровна дълала тоже съ зрячей молдаванкой, прибавляя, что это сущій вздоръ и почти грѣхъ думать, что Богь такъ создалъ дыню, что одну закраинку можно употреблять въ снёдь.

Въ ръдкія минуты, когда Левъ Степановичъ былъ веселъ. слѣпой старикъ служилъ предметомъ всѣхъ шутокъ и любезностей Льва Степановича. «А, добро пожаловать», кричаль онъ, «добро пожаловать, отецъ Ксенофонтій! — Эй, Васильичъ (такъ называлъ онъ дядю), не видинь, что ли, отецъ Ксенофонтій идеть тебя благословить».—«Не вижу, государь мой, не вижу», отвъчаль слёной. «Ца воть съ правой-то стороны»—и онъ носылаль Тита благословлять старика и тотъ ловилъ его руку. Левъ Степановичъ хохоталъ до слезъ, не догадываясь, что самое забавное въ этой комедін состояло въ томъ, что выжившій изъ ума старикъ съ тою остротой слуха, которая обща всёмъ слёнымъ, очень хорошо зналь, что отецъ Ксенофонтій не входиль и представляль только для удовольствія покровителя, что обмануть. Но верхъ наслажденія для Столыгина состояль въ томъ, чтобы накласть на тарелку старику чего-нибудь скоромнаго въ постный день, и когда тотъ съ спокойной совъстью съъдаль, онъ его спрашиваль, что это ты на старости лътъ, въ Молдавіи, что ли, въ турецкую нерешелъ, въ какой день утираешь скоромное. У старика дѣлались спазмы, онъ плакалъ, полоскалъ ротъ, дѣлался больнымъ,—это очень забавляло Отолыгина.

Иногда Левъ Степановичъ будилъ въ старикъ что-то похожее на чувство человъческаго достоинства, и онъ дрожащимъ голосомъ напоминалъ Льву Степановичу, что ему грътно обижать слъща и что онъ все-таки дворянинъ и преміеръ-маіоръ по чину.

— «Ваше высокородіе, отв'ячаль Столыгинъ, у котораго кровь бросалась въ лицо отъ такой дерзкой оппозиціи, да ты бы 'яхаль въ полкъ, — ну, я теб'я пришелся не по нраву, прости великодушно, а ужъ переучиваться мнѣ поздно, мнѣ не подъ лѣта; да и что же, я тебя не на веревочкъ держу, ступай себ'я въ Молдавію, въ женино имънье».

— Левъ Степановичъ, робко прибавляла Марфа Петровна, вѣдь, какъ бы то ни было, онъ мнѣ дяля и вамъ сроиственникъ.

— «Вотъ? Въ самомъ дълъ? возражалъ еще болъе разъяренный Столыгинъ. Скажите, пожалуйста, новости какія! А знаешь ли ты, что если бы онъ не былъ твой дядя, такъ у меня не только бъ не сидълъ за столомъ, да и подъ столомъ».—Испуганная маюрша дергала мужа за рукавъ, начинала плакать, прося простить неразумнаго слъпца, не умъющаго цънить благодъяній. У старика текли по щекамъ тоже слезы, но какъ-то очень жалкія, онъ походиль на безпомощнаго ребенка, обижаемаго грубой и пьяной толпой.

Послѣ обѣда баринъ ложился отдохнуть. Титъ долженъ былъ стоять у дверей и, когда Левъ Степановичъ ударитъ въ ладоши, подать ему графинъ кислыхъ щей. Иногда въ это время Титъ бѣгалъ въ дѣвичью и приказывалъ по именному назначенію той или другой горничной налить ромашки и подать барину, что «де на животѣ не хорошо», и горничная съ какимъ-то страхомъ бѣжала къ Агафъѣ Ивановнѣ. Агафъя Ивановна, ворча сквозъ зубы, сыпала воночую траву въ чайничекъ. Мареа Петровна никогда не навѣщала мужа во время его гастрическихъ припадковъ; она ограничивала свое участіе развѣдываніемъ, кто именно носила ромашку, для того, чтобы при случаѣ припомнить такую услугу и такое предпочтеніе.

Левъ Степановичъ, запивши кислыми щами или ромашкой сонъ, отправлялся побродить по полямъ и работамъ и часовъ въ шесть являлся въ чайную комнату, гдѣ у стѣны уже сидѣлъ на большихъ креслахъ слѣпой маіоръ и вязалъ чулокъ, единственное умственное занятіе, которое осталось у него. Иногда старикъ засыпалъ, Левъ Степановичъ, разумѣется, этого не могъ вынести и тотчасъ кричалъ горничной: «Танька, не зѣвай», и Танька будила старика, который, проснувшись, увѣрялъ, что онъ и не думалъ спать, что онъ и по ночамъ плохо спить отъ поясницы.

Послѣ чая, Столыгинъ вынималъ довольно не новую колоду картъ и игралъ въ дураки съ женою и молдаванкой. Если онъ бывалъ въ хорошемъ расположеніи, то середи игры разсказывалъ въ тысячной разъ отрывки изъ аристократическихъ восноминаній своихъ; какъ покойникъ графъ его любилъ, какъ ему довѣрялъ, какъ совѣтывался съ нимъ; но притомъ дружба дружбой, а служба службой. «Бывало задастъ такую баню, и бумаги веѣ по полу разбросаетъ и раскричится. Ну, иной разъ и чувствуешь, что правъ, да и не отвѣчаешь, надо дать мѣсто гнѣву. Онъ же у насъ териѣть не могъ, какъ отвѣчаютъ; тогда было жутко, а теперь съ

благодарностью вспоминаю».

Всего же болбе любиль онъ останавливаться съ большими подробностями на томъ, какъ графъ его посылалъ однажды съ бумагой къ князю Григорью Григорьевичу... «Утромъ всталъ я часовъ въ пять. Тить, тогда мальчишкой быль, не разъёдался еще какъ теперь, что гадко смотръть, ну, только и тогда былъ предънивой и преглупой. Вхожу я въ передню, насилу его растолкалъ, чтобы скоръй за парикмахеромъ сбъгалъ. Парикмахеръ пришелъ, причесалъ меня... Тогда носили вотъ такъ, три пукли одна надъ другой; я надълъ мундиръ и отправляюсь къ князю. Вхожу въ передню, говорю офиціанту, что вотъ по такому дълу отъ графа къ его свътлости присланъ. Офиціантъ посмотрълъ на меня, видить съ двумя лакеями прівхалъ-п говоритъ: «раненько изволили пожаловать, князь не встаетъ раньше десяти, а въ десять я, молъ, камердинеру доложу». А можно, говорю я ему, где-нибудь обождать? «Какъ не можно, комнать у насъ довольно. Вотъ пожалуйте въ залу». Я взошелъ, люди полы метутъ, да пыль стираютъ, я сълъ въ уголокъ и сижу. Часика такъ черезъ два, вышелъ секретарь ли, камердинеръ ли и прямо ко мнъ. «Вы отъ графа?»—«Я, батюшка, я»,—«Пожалуйте за мною къ его свътлости въ гардеробную». Вхожу я, князь изволить въ пудермантель сидьть и одинъ парикмахеръ въ шитомъ французскомъ кафтанъ причесываетъ, а другой держитъ на серебряномъ блюдъ помаду, пудру и гребенки. Князь, взявши бумагу, такимъ громкимъ ласковымъ голосомъ мнѣ и молвили:

— «Благодари графа, я сегодня доложу объ этомъ дѣлѣ. Мнѣ графъ говорилъ о тебѣ, что ты дѣловой и усердный чиновникъ,

старайся впередъ заслужить такой отзывъ».

— Свътлъйшій, моль, князь, жизнь свою предпочитаю поло-

жить за службу.

— «Хорошо, хорошо, сказалъ князь и изволилъ со стола взять табакерку, золотую, государыня тебѣ жалуетъ въ поощреніе». Какъ это онъ изволилъ сказать, у меня слезы въ три ручья. Я хотѣлъ было руку поцѣловать, но онъ отдернулъ. Я его въ плечо, князь

взглянулъ на меня, да пальчикомъ парикмахеру показалъ, — да оба такъ и вспрыснули отъ смѣха. Я ничего не понимаю, что за причина. А дѣло-то было просто, цѣлуя свѣтлѣйшаго въ плечо, я весь вымарался въ пудрѣ. Князь потомъ за ея величества столомъ разсказывалъ объ этомъ, ей-Богу». И во всемъ лицѣ Льва Степановича распространялась горлая радость.

Но большей частію, вм'єсто аристократических разсказовь и восноминаній, Левъ Степановичь угрюмый и «гн'євный», какъ выражалась молдаванка, притъснялъ ее и жену за игрой всевозможными мелочами, бросалъ, сдавая, карты на полъ, дразнилъ молдаванку, съ бъщенствомъ критиковалъ каждый ходъ и такъ добивалъ вечеръ до ужина. Въ десятомъ часу Левъ Степановичъ отправлялся въ спальню, зам'єчая: «ну, слава Богу, вотъ день-то и прошелъ», какъ будто онъ ждалъ чего-то, или какъ будто ему

хотълось поскорте скоротать свой вткъ.

Передъ спальней была образная, маленькая комната, которой восточный уголъ былъ уставленъ большими и драгоцѣнными иконами, въ кіотѣ краснаго дерева. Двѣ лампадки горѣли безпрестанно передъ образами. Левъ Степановичъ всякой вечеръ молился иконамъ, кладя земные поклоны или, по крайней мѣрѣ, касаясь перстомъ до земли. Потомъ онъ отпускалъ Тита. Титъ, пользуясь единственнымъ свободнымъ временемъ, отправлялся на село къ Исаю рыбаку или къ обручнику Никифору, всего же чаще къ старостѣ, который на мірской счетъ покупалъ для дворовыхъ спвуху. Титъ бралъ съ собою кого-нибудь изъ лакеевъ, особенно же Митьку цирюльника, отлично игравшаго на гитарѣ.

Долго жилъ такъ доблестный помъщикъ Левъ Степановичъ, Богъ знаетъ, для чего устранвая и улучшая свое имѣнье, усугубляя свои доходы и не пользуясь ими. Домъ его съ селами и деревнями составлялъ какой-то особенный міръ, разобщенный со всѣмъ остальнымъ міромъ, чертою, проведенной генеральнымъ межеваніемъ. Даже «Московскія Вѣдомости» не получались въ Липовкъ. Войны раздирали Европу, миры [заключались, троны падали; въ Липовкъ все шло нынче какъ вчера, вечеромъ игра въ дурачки, утромъ сельскія работы, та же жирная бужанина подавалась за объдомъ. Титъ все также стоялъ у дверей съ квасомъ, и никто не только не говорилъ, но и не зналъ и не желалъ знать всемірныхъ событій, наполнявшихъ собою весь свѣтъ.

Но такъ какъ всему временному есть конецъ, то пришелъ конецъ и этому застою, и притомъ очень крутой. Однажды послъ объда, Левъ Степановичъ, употребивши довольно разсольника съ потрохами, жирной индъйки и разныхъ сдобныхъ и слоеныхъ пирожковъ и смочивъ все это кислыми щами, перешелъ въ гостиную закусить объдъ арбузомъ и выпить княжевишной наливки.

Освъживщись арбузомъ и разгорячившись наливкой, онъ въ самомъ лучшемъ расположении пуха пошелъ въ кабинетъ уснуть. Но какъ нарочно въ залѣ засталъ Настьку, говорившую въ дверяхъ передней съ извъстнымъ намъ музыкантомъ и цирюльникомъ Митькой. Левъ Степановичъ былъ чрезвычайно ревнивъ во всемь, что касалось до горничныхъ. Ему что-то померещилось не совсёмъ хорошее въ выраженіи Митькина лица. Онъ закричалъ страшнымъ голосомъ и схватилъ въ углу стоящую палку. Митька, горячая голова, какъ веб артисты, ударился бъжать. Столыгинъ за нимъ, со всёмъ грузомъ индейки, потроховъ, подъ квасомъ и арбузомъ; Митька отъ него, онъ за нимъ, Митька на чердакъ по узенькой дъстницъ, Столыгинъ сунулся было, но увидёль, что судьба его не создала матросомь. На крикъ барина собжалась вся дворня. Багровый отъ гнбва, сбиваясь въ словахъ и буквахъ, баринъ велълъ поймать Митьку, гиъ бы онъ ни быль, и посадить въ колодку, пока онъ ръшить его судьбу; отдавши приказъ, онъ усталый и запыхавшись удалился въ кабинеть.

Случай этотъ распространилъ ужасъ и безпокойство въ домѣ, въ людскихъ, въ кухнѣ, на конюшиѣ и, наконецъ, во всемъ селѣ. Агафья Ивановна ходила служить молебенъ и затеплила свѣчку въ дѣвичьей передъ иконой всѣхъ скорбящихъ заступницы. Молдаванка, сбивавшаяся во всѣхъ чрезвычайныхъ случаяхъ на поврежденную, бормотала сквозъ зубы «о царѣ Давидѣ и всей

кротости его», какъ передъ громовымъ ударомъ.

Титу не пришлось долго Митьку искать; онъ сидёлъ боснкомъ въ питейномъ домѣ, уже выпивши на сапоги сивухи, и

громко кричалъ:

— «Не хочу служить аспиду такому, хочу царю служить, въ солдаты пойду, у меня нѣтъ ни отца, ни матери, за народъ послужу, а ужъ я ему не слуга, и назадъ не пойду, а силой возьметъ, такъ грѣхъ надъ собой совершу, ей Богу, совершу».

«Митрій, Митрій, ты не горлань, говориль ему Титъ, и такого вздора не ври; барина рука длинная, она тебя вездѣ достанеть, а ты лучше ступай со мной, а не то, вѣдь, и руки свяжемъ, на то барской приказъ».

Красноръчіе Тита побъдило, наконецъ, Митьку и онъ, протестуя и говоря, что завтра же гръхъ совершить, пошелъ, прибавляя:

— «Нътъ, Титъ Трофимовичъ, вязать меня не нужно, я не воръ и не собака, чтобы меня на веревкъ водить, —мы дойдемъ и безъ веревки». На дорогъ Митъка во весъ голосъ пълъ «Ай, барыня, барыня!» съ тъми богатыми варіантами, которыми изобилують всъ передни.

Неумытный Тить, посадивъ своего друга въ колодку, побъжалъ къ дверямъ съ кислыми щами. Въ иять часовъ Мареа

Петровна присылала узнать, проснулся ли баринъ; Титъ молча помахалъ рукой и приложилъ налецъ къ губамъ. Въ шесть пришла сама Мароа Петровна къ дверямъ. «Кажется, еще не изволили просыпаться», доложиль Тить. Мароа Петровна тихо отворила дверь и такъ вскрикнула вдругъ, что Тить опрокинулъ кувшинъ съ кислыми щами. Закричать было немудрено. Старый баринъ лежалъ, растянувшись, возл'в кровати, одинъ глазъ былъ прищуренъ, другой совершенно открытъ съ тупымъ и мутно стекляннымъ выраженіемъ; роть былъ перекошенъ и нѣсколько капель кровавой пъны текло по губамъ. Съ минуту продолжалась совершенная тишина, но вдругъ, откуда ни возьмись, хлынула въ комнату вся дворня; грозный Тить не препятствоваль, а стояль какъ вкопанный. Мареу Петровну вынесли въ обморкъ и положили ей подъ дожечку образъ, въ которомъ были мощи св. Антипія; молдаванка вб'єжала въ комнату съ какимъ-то неестественнымъ хныканьемъ и, поскользнувшись въ лужт кислыхъ щей, чуть не сломила ногу.

Тить, какъ болъе сильный характеръ, первый пришель въ себя и снова тъмъ повелительнымъ голосомъ, которымъ отдаваль барскіе приказы лѣтъ двадцать, сказаль: «Ну, что тутъ зъвать! Сенька, втащи сюда корыто да воды. А ты, Ларивонъ, сбъгай-ка за батюшкой. Да нѣтъ ли у васъ, Агафъя Ивановна, мъднаго пятака на правой глазъ-то ему надобно положить»... И все пошло какъ по маслу.

Освобожденный арестантъ Митька, безъ малъйшаго злопамятства, приготовлялся, какъ записной грамотей, ночью читать взашуски псалтырь съ земскимъ и пономаремъ, просилъ только молдаванку дать ему табаку позабирательнъе на случай, если сонъ клонить будетъ.

Дворня была испутана. Она доставалась человъку неизвъстному; къ нраву стараго барина примънились, теперь приходилось вновь начинать службу и какъ, и что будеть, и кто останется въ Липовкъ, кто поъдеть въ Питеръ, на какомъ положеніи, все это волновало умы и заставляло почти жалъть покойника.

Черезъ два дня, послѣ необыкновенныхъ напряженій, написалъ Титъ, будущему обладателю слѣдующее письмо:

> «Все Милостивъйшій Государь, Государь батюшка и единственный заступникъ нашъ Михайло Степановичъ.

«По приказанію Ея Превосходительства тетушки вашей, а нашей госпожи Мароы Петровны. Преемлю смѣлость начертать Вамъ, батюшка Михайла Степановичъ сіп строки, такъ какъ по большему огорченію они сами писать силъ не чувствуютъ Богу

же угодно было посётить ихъ великимъ несчастіемъ утратою ихъ и нашего отца и благодётеля о упокоеніи души коего должны до скончанія дней нашихъ молить Господа и Дядюшки вашего нынѣ въ бозѣ представившагося Его Превосходительства Льва Степановича, изволившагося скончатся въ двадцать третье мъсяца число, въ 6 часовъ по полудни. Онагоже тъ́лу выносъ завтрашняго числа.

«Такъ какъ мы по извъстности ваши, то батюника и все милостивъйшій Государь, могите призръть насъ яко сироть отца лишенныхъ и неоставить милосердіемъ вашимъ недостойныхъ подданныхъ а мы чувствуемъ какъ обязаны усердствіемъ Вашему здоровью до конца нашей жизни, что покойному дядюшки такъ и вамъ все едино, какъ вся дворня такъ и выборный Трофимъ Кузминъ съ міромъ.

«Прибывая Ни жайщій рабъ вашъ Тить—если изволите помнить что при покойномъ Дядюшкъ камардинеромъ находился».

Село Линовка, 1794 года Іюня 25 дня.

ПТ.

Нъжный братецъ покойнаго дядюшки.

Михайлъ Степановичъ былъ сынъ брата Льва Степановича, Степана Степановича. Въ то время, какъ Левъ Степановичъ посвящалъ дни свои блестящей гражданской дѣятельности, получалъ высокіе знаки милости и цѣловалъ свѣтлѣйшее плечо, карьера его меньшаго брата разыгрывалась на иномъ поприщѣ, не столько громкомъ, но болѣе сердечномъ.

Любимецъ родителей, баловень и «нѣженка», какъ выражалась дворня, онъ постоянно оставался въ деревне подъ крыломъ материнскимъ. Въ двънадцать лъть старуха няня мыла его еще всякую субботу въ корыть и приносила ему съ села лепешки, чтобы онъ хорошенько позволилъ промылить голову и не кричалъ бы на весь домъ, когда мыльная вода попадала въ глаза. Лътъ четырнадцати, признаки ранняго совершеннольтія начинали ясно оказываться въ отношеніяхъ Степушки къ дѣвичьей. Матушка его, не слышавшая въ немъ души, не токмо не препятствовала развитію его раннихъ способностей, но даже не безъ удовольствія смотръла на удаль сынка и исподволь помогала ему, что при ея средствахъ и гражданскихъ отношеніяхъ къ довичьей не представляло непреоборимыхъ трудностей. Нѣжныя чувства, питаемыя съ такого нѣжнаго возраста, вскорѣ поглотили всего Степушку; любовь, какъ выражаются поэты, была единственнымъ призваніемъ его, онъ до кончины своей быль віренъ избранному пути буколико-эротическаго помѣщика.

Степушка не долго пользовался покровительствомъ родителей. Ему было семнадцать лѣтъ, когда онъ лишился матери, года черезъ три спустя умеръ его отецъ. Смерть родителей и честное преданіе ихъ тѣла землѣ не доставили Степану Степановичу столько безпокойствъ и сердечныхъ мукъ, какъ пріѣздъ брата; онъ вообще не отличался храбростью, брата же онъ особенно бо-ялся. Не зная, что дѣлать, онъ совѣщался съ своими подданными и не могъ безъ содроганія вздумать, какъ они будутъ дѣлить дворовыхъ, къ числу которыхъ принадлежала и дѣвичья. Онъ взялъ нѣкоторыя мѣры, всѣхъ горничныхъ велѣлъ запереть въ поваровой комнатѣ, оставивши на лицѣ только такихъ, которыя имѣли значительныя недостатки въ лицѣ, сильную шадровитость, косые глаза. Левъ Степановичъ все понялъ, обдѣлилъ брата, закупивъ его пустыми уступками, предоставилъ ему почти весь прекрасный полъ и, благословляемый имъ, уѣхалъ назадъ.

Проводивши брата, Степанъ Степановичъ принялся, съ своей стороны, за устройство имѣнъя. Онъ купилъ двухъ музыкантовъ и приказалъ имъ учить дворовыхъ дѣвокъ пѣть. Хоры составились хоть куда, учители играли одинъ на торбанѣ, другой на кларнетѣ. Въ праздничные дни стоняли послѣ обѣдни крестьянскихъ дѣвокъ и бабъ на лужекъ передъ домомъ для хороводовъ и пѣсней. Степанъ Степановичъ, откушавши, выходилъ въ сѣни, въ халатѣ на распашку, окруженный горничными, тутъ онъ садился, горничныя готовили чай и обмахивали мухъ павлиновыми перьями. Благодѣтельный помѣщикъ угощалъ гостей цареградскими стручками, пряниками, брагой и грошевыми серьгами, иногда самъ участвовалъ въ хороводахъ, но чаще засыпалъ подъ конецъ; чай имѣлъ на него очень сильное вліяніе, хотя онъ и подливалъ французской водки, чтобы ослабить его дѣйствіе.

Матеріальной частью хозяйства Степанъ Степановичъ, какъ всё сентиментальныя натуры, заниматься не любилъ; староста и поваръ управляли вотчиной; до барина доступъ былъ не легокъ, кому и случалось съ нимъ молвить слово, остерегался проболтаться, баринъ все разсказывалъ горничнымъ. Случилось разъ, что крестьянка, съ большими черными глазами, пожаловалась барину на старосту. Степанъ Степановичъ, не давая себѣ труда разобрать дёла и вёчно увлекаемый своимъ нёжнымъ сердцемъ, велѣлъ старосту на конюшнѣ посѣчь. Староста обмылся пѣпничкомъ и кротко вынесъ наказаніе, не думая оправдываться, несмотря на то, что онъ въ дѣлѣ былъ правъ; тѣмъ не менѣе желаніе мести сильно запало въ его дунгу. Спустя недѣлю, другую, староста черезъ повара доложилъ барину, что де, несмотря на барское приказаніе, такая-то баба сильно балуется и находится въ очень близкихъ отношеніяхъ съ своимъ мужемъ, возвративъ

шимся съ работы въ городѣ. Поступокъ этотъ, такъ грубо неблагодарный, глубоко огорчилъ Степана Степановича и онъ велѣлъ бабу назначить безъ очереди въ работу. Похудѣвъ, состарясь черезъ годъ, она на себѣ носила доказательства, что приказъ былъ исполненъ въ точности. Иослѣ этого примѣра никто, кромѣ горничныхъ, не смѣлъ лѣлатъ оппозицю старостѣ и повару.

Веселая сельская жизнь Степана Степановича стала скоро извъстной въ околодкъ; явились сосъди, одни съ цълью его женить на дочери, другіе обыграть, третьи, болъе скромные, познакомились потому, что имъ казалось пить чужой пуншъ пріятнъе своего. Онъ поддавался всему, весьма въроятно, что его бы женили и обыграли, но нъжное сердце его спасло. Посъщая одного изъ своихъ сосъдей, онъ увидълъ у него горничную, такъ сердце у него и опустилось... Онъ прівхалъ домой разстроенный, влюбленный, да какъ! Всть пересталъ, а пить сталъ вдвое больше. Подумалъ онъ, подумалъ, видитъ, что такой страсти переломить невозможно; опостылъла ему дъвичья, и, если онъ дозволялъ себъ кой-какія шалости, то больше, чтобы не отставать отъ привычекъ, нежели изъ удовольствія.

Присталъ Степанъ Степановичъ къ сосъду, чтобы тотъ продалъ Акульку; сосъдъ поломался, потомъ согласился съ условіемъ, чтобы Столыгинъ купилъ отца и мать,—я, говоритъ, христіанинъ и не хочу разлучать того, что Богъ соединилъ. Степанъ Степановичъ на все согласился и заплатилъ ему три тысячи рублей; по тогдашнимъ цънамъ на такую сумму можно было купитъ пять Акулекъ и сталько же Дуняшекъ съ ихъ отцами и матерями.

Сельская Брунегильда поняла, именно по суммъ, заплаченной за нее, ширь своей власти и въ полгода привела своего господина въ полнъйшую покорность. Померкло влінніе повара, слабла сила старосты. Отепъ Акулины Андреевны былъ слѣданъ пворецкимъ. мать ключницей, да она и имъ потачки не давала, а пержала ихъ въ страх в и повиновенін, п всего этого было ей мало, ей хот пось открыто и явно быть пом'вщицей, она стала питать династическіе интересы. И года черезъ два Степанъ Степановичъ побхаль въ четвером встной колымат в покойнаго родителя своего въ церковь и обв'тичался съ Акулиной Андреевной. Бракъ ихъ, не такъ. какъ бракъ Льва Степановича, не остался безплоднымъ. Въ съняхъ господскаго дома, когда новобрачные воротились, сперва подошли къ ручкъ и поздравили новую барыню ея родители, а нотомъ кормилица въ золотомъ повойникъ поднесла песятимъсячнаго сына; бракъ ихъ былъ благословенъ заблаговременно. Грудной ребеновъ этотъ, Михайло Степановичъ, котораго Ефимка возилъ на салазкахъ, а онъ его кнутикомъ подгонялъ.

Послѣ свадьбы баринъ сдѣлался призракъ. Акулина Андреевна приняла бразды правленія сильной рукой. Она съ глубокимъ политическимъ тактомъ взяла всѣ мѣры, чтобы упрочить свое самовластіе; но какъ всегда бываетъ, взявши всѣ мѣры, она всетаки упустила изъ виду одну изъ возможныхъ причинъ переворота, и на ней-то все оборвалось. Мало знакомая съ врачебной наукой, она не только не ограничивала, но развивала въ Степанъ Степановичъ его страсть къ наливкамъ и сладкимъ водкамъ; она не знала, что человѣческое тѣло только до извѣстной степени противодѣйствуетъ алкоголю. Лѣтъ черезъ семь послѣ бракосочетанія, синій Степанъ Степановичъ, отекшій отъ водяной, полунѣмой отъ паралича, отдалъ Богу душу, — около того времени, когда Левъ Степановичъ отдѣлывалъ свой домъ на Яузѣ.

Получивъ въсть о смерти брата, Левъ Степановичъ, въ цервыя минуты горести, попробоваль опровергнуть бракъ покойника, потомъ законность его сына, но вскоръ увидълъ, что Акулина Андреевна взяла всё мёры еще при жизни мужа и что седьмую часть ей выдълить во всякомъ случат придется, и сыну имъніе предоставить, да еще заплатить протори. Больно было Льву Степановичу, но онъ покорился несправедливой судьбъ и, какъ настоящій практическій человікь, тотчась придумаль иной образь дъйствія. Онъ написалъ къ вдовъ письмо, полное родственнаго участія, звалъ ее въ Москву для окончанія діль и для того. чтобы показать ему наслёдника его брата, а можеть и его собственнаго, печься о которомъ онъ считалъ священной обязанностью, ибо Богомъ и закономъ назначенъ ему въ опекуны. Весьма въроятно, что Акулина Андреевна не повезла бы своего сына по письму дяди, но послъ смерти Степана Степановича люди стали что-то грубо поговаривать, а иногда даже и перечить съ такимъ видомъ, что Акулинѣ Андреевнѣ показалось безопаснѣе переѣхать въ Москву. Левъ Степановичь плакалъ при свиданіи съ Мишей, благословиль его образомь и взяль на себя всё хлопоты по опеке п по управленію имфніемъ.

Акулину Андреевну провести было не легко; но ее устранилъ совершенно неожиданный случай. Своей седьмой частью она прельстила одного поручика изъ ординарцевъ при московскомъ главнокомандующемъ, и сама прельстилась его ростомъ, его дебелой и свиръпой красотой, совершенно противоположной аркадскому покойнику. Акулина Андреевна не могла удержаться, чтобы не выйти за него замужъ. Роли перемънились. Поручикъ съ четвертаго дня началъ ее бить и ужъ Акулина Андреевна на этотъ разъ стала пить подслащенныя наливки. Левъ Степановичъ сильно покровительствовалъ поручику и выхлопоталъ ему прибыльное мъсто по коммиссаріатской части, гдъ-то на Черномъ моръ.

Левъ Степановичъ требовалъ, чтобы илемянникъ его остался въ Москвѣ для полученія приличнаго его званію воспитанія. Мать не хотѣла оставить его; но поручикъ прикрикнулъ и уговорилъ ее, основываясь на томъ, что мѣсто получилъ по ходатайству Столыгина и что его дружбу надо беречь на черный день.

TV'

Троюродные братья.

Мишѣ было лѣтъ десять. Воспитаніе его не было сложно; простое, деревенское воспитаніе того времени, оно ограничивалось съ физической стороны—развитіемъ непобѣдимаго пищеваренія, съ нравственной—укорененіемъ вѣрнаго взгляда на отношеніе столбоваго помѣщика къ дворовымъ и крестьянамъ. Воспитаніе это не столько было отвлеченно и книжно, какъ практично, и потому самому имѣло несомнѣнный успѣхъ. Десятилѣтній мальчикъ былъ окруженъ толпой оборванныхъ, грязныхъ и босыхъ мальчишекъ, которыхъ опъ тѣснилъ, билъ и на которыхъ жаловался матери, бравшей всегда его сторону.

Одинъ болѣе свободный товарищъ его игръ былъ сынъ сельскаго священника, отличавшійся бѣлыми волосами, до того рѣдкими, что не совсѣмъ покрывали кожу на черепѣ, и способностью въ двѣнадцать лѣтъ выпивать чайную чашку сивухи, не пьянѣя. Онъ иногда обижалъ Мишу, не дозволялъ ему себя тотчасъ поймать въ горѣлкахъ, обгонялъ его въ запуски, самъ ѣлъ найденныя ягоды. Мишу это оскорбляло и Акулина Андреевна не могла оставаться равнодушной къ такому нарушенію приличій; она обыкновенно подзывала къ себѣ поповича и поучала его слѣдующимъ образомъ: «Ты, толоконной лобъ, ты помни, дуракъ, и чувствуй, съ кѣмъ я тебѣ позволяю играть; ты, вѣдь, воображаешь, что Михайло-то Степановичъ дьячковъ сынъ».

Матушка попадья, бывало, какъ услышить подобное слово, тотчасъ, не вступая въ дальнъйшее разбирательство дъла, поймаетъ сына за бъдные волосенки, какъ-то приправленные на маслъ, приносимомъ для лампады Тихвинской Божіей матери,—и довольно удачно представляетъ, будто безпощадно деретъ его за волосы, приговаривая: «Ахъ, ты грубіянъ эдакой, поганый, вотъ истинно дурья порода. Простите, матушка Акулина Андреевна, изволите сами знать, какой умъ въ нашихъ дътяхъ, въ срамъ и запустъніи живуть; а ты благодари, дуракъ, барыню, что изволить обучать», и она наклоняла его масленную голову и сама кланялась. Миша послъ подтруниваль надъ пріятелемъ, но поновичъ, съ досадой улыбаясь, говорилъ: «Въдь, все вретъ, матьто, такъ для барыни въ угоду горячку поритъ, примъръ дълаетъ».

Левъ Степановичъ недолго продержалъ у себя племянника; при его была постигнута, онъ его разлучиль съ матерыю и могъ распоряжаться, какъ хотёль, имёніемь. Онъ думаль отдать Мишу въ пансіонъ; но двоюродная тетка Льва Степановича выпросила его къ себъ воспитывать съ своимъ сыномъ, который, говорила она, быль одинъ и скучаль. Льву Степановичу не очень хотълось, но онъ побаивался княгини и согласился. Побаивался онъ ее потому, что она сильно любила болтать и имфла большія связи въ Петербургъ; что она могла ему сдълать болтовней и связями, не знаю, да и онъ не зналъ, а трусилъ. Княгиня была богата, пержала большой помъ и занималась пѣланіемъ визитовъ. При сынь нахолился французъ гувернеръ, рекомендованный самимъ Вольтеромъ Шувалову, Шуваловымъ княгинъ Дашковой, Дашковой нашей княгинь. Онъ безусловно управляль воспитаниемъ. Гувернеръ не былъ глупый человъкъ, какъ вст французы, и не умный человъкъ, какъ всъ французы; онъ имълъ всъ забавные недостатки своей страны: лгаль, остриль, быль дерзокъ и не золь, высокомъренъ и добрый малый. Онъ смотръль съ улыбкой превосходства на все русское, отроду не слыхаль, что есть нѣмецкая литература и англійскіе поэты, зато зналъ на намять Корнеля и Расина, всв литературные анекдоты отъ Буало до энциклопедистовъ, онъ зналъ даже древніе языки и любилъ въ ръчи поразить интатомъ изъ Георгикъ или изъ Фарсалы.

Само собою разумжется, что нашъ гувернеръ былъ поклонникъ Вовенарга и Гелвеція, упивался Жанъ-Жакомъ, мечталъ о совершенномъ равенствъ и полномъ братствъ, что не мъщало ему ставить передъ своей звучной фамиліей Дрейякъ смягчающее «де», на которое онъ не имътъ права. Онъ съ улыбкой сожальнія говориль о католицизмь и вообще о христіанствь и проповъдывалъ какую-то религію собственнаго изобрътенія, состоявшую изъ поклоненія закону тяготьнія. Безъ тяготьнія, говориль онъ, морща лобъ отъ усилій, быль бы хаось и атомы разлетьлись бы; тяготъніе поддерживаеть велиній порядокъ, въ которомъ раскрывается великій художникъ. При развитіи этихъ глубокихъ и ясныхъ истинъ, онъ никогда не забывалъ прибавить, что поэтому Платонъ и называлъ Бога геометромъ, а Ньютонъ снималъ шляну, когда произносиль имя Божье. Сверхъ своей религіи тяготвнія, которою онъ быль совершенно доволень, онъ упорно не хотель суда на томъ свете и язвительно сменлся надъ людьми, върившими въ адъ, хотя противъ безсмертія души онъ не только ничего не имълъ, но говорилъ, что оно крайне нужно для жизни.

Ученье съ де-Дрейякомъ шло весело и легко. Онъ могъ всегда говорить безъ различія времени, предмета, возраста и пола, а потому его ученики отлично выучивались, сначала слушать по-

французски, а потомъ говорить. Воспитаніе почти въ этомъ и состояло.

Миша сначала погрустилъ въ домѣ княгини и, утирая слезы, поминалъ о Липовкѣ. Онъ очень хорошо замѣтилъ, что первая роль не ему принадлежитъ, онъ былъ «братецъ», онъ былъ «cher cousin», въ то время какъ князь былъ самимъ собою. Различіе это Миша равно видѣлъ и въ обращеніи княгини, и въ обращеніи гостей, и еще болѣе въ обращеніи дядьки. Старикъ безъ возраженія исполнялъ приказы князя, а Мишѣ часто говорилъ, что ему нѣкогда, что онъ можетъ послать кого-нибудь помоложе. Самолюбивый мальчикъ, глубоко оскорбленный всѣмъ этимъ, дулся, сидѣлъ въ углу, смотрѣлъ изъ-подлобья. Дрейякъ это относилъ

къ дикости, другіе вовсе не замъчали.

Видя безуспъшность своихъ протестацій, Миша вдругь стблался шелковый, ласковъ, веселъ, привътливъ. Черезъ нъсколько мъсяцевъ, онъ былъ любимецъ Дрейяка. Сама княгиня не могла надивиться, какой онъ не глупой мальчикъ, «точно можно сказать, c'est un miracle ce qu'en a fait мой Дрейякъ, онъ совсъмъ sauvage быль, ну, и теперь эдакой дурнушка, а право премилой мальчикъ». Въ словъ дурнушка выражалось сознание матери, что ея сынъ не такъ уменъ, не такъ даровитъ и она торопилась утбшиться его красотой. Молодой князь не любилъ учиться, онъ быль разстянь и зтваль за уроками; добрый, очень добрый, раскрытый всякому чувству и благородный по натуръ, онъ быль вяль, и умъ его дремаль еще безпробудно, да и не знаю, просыпался ли въ последствін когда-нибудь. Лень и невниманіе князя поощрили Мишу и Миша бросился на занятія со всёмъ усердіемъ, которое даетъ зависть и затаенное желаніе превосходства. Дрейякъ чуть не плакалъ, видя, какъ ловко Миша цитируетъ мъста изъ Кандида, изъ дъвы Орлеанской, изъ Жана Фаталиста...

Мало по малу воспитание молодыхъ людей пришло къ концу. Они писали французскія записочки правильнѣе русскихъ. При всей своей лѣни, даже князь зналъ довольно хорошо греческую миоологію и французскую исторію, больше въ то время не требовалось; тогда у насъ еще не выдумывали своей литературы, о русскихъ журналахъ и не снилось никому, развѣ одному Новикову; русской исторіи тоже еще не было открыто. Знали только, что царствоваль мудрый правитель Олегъ, о которомъ сама императрица изволила писать пьесу, знали еще, благодаря Вольтеру, нѣкоторыя невѣрныя подробности о царствованіи Петра І. У княгини было таки небольшое собраніе русскихъ книгъ, сочиненія Сумарокова, «Россіада» Хераскова, «Камень вѣры» Стефана Яворскаго и томовъ сорокъ записокъ вольнаго экономическаго общества, но молодые люди никогда не развертывали этихъ книгъ.

Княгиня свезла дътей въ гвардію и сама поселилась въ Петербургъ. Служба тогда была легкая. Изръдка приходилось налёть мундирь, въ кои веки доставалось нобывать въ карауле. это лаже нравилось какъ разнообразіе. Остальное время, кром'є родственныхъ визитовъ, визитовъ къ важнымъ людямъ, объдни по воскресеньямъ въ помовой перкви княгининаго брата и скучнаго объда у самой княгини, было въ полномъ распоряжении молодыхъ людей. Князь раповался мунциру, рановался волъ, пылко бросался на всъ наслажденія, на всъ удовольствія; отроду не останавливавшійся ни на чемъ и отроду ни на чемъ не останавливаемый, онъ часто обжигался, быль обмануть, ссорился, и при всемъ этомъ былъ славный товарищъ и лихой малый. Столыгинъ былъ скромите: онъ глялълъ на своего товарища съ какимъ-то снисхожленіемъ, порицая внутри все, что дёлалось. Изъ всёхъ исторій Столыгинъ выходилъ чистымъ, такъ мастерски онъ умълъ себя держать. Князь любилъ его, върилъ въ его дружбу, признавалъ его превосходство и съ дътскимъ простосердечіемъ прибъгалъ во всякомъ трудномъ случат къ Мишт за совътсмъ.

Князь былъ хорошъ собою, румяный, нѣжный, отрочески мужественнаго вида, съ легкимъ пухомъ на губахъ, съ чистымъ голубымъ взглядомъ, онъ нравился особенно сангвиническимъ дѣвицамъ и молодымъ вдовамъ. Столыгинъ, бравшій не столько красотою, сколько дерзкою рѣчью, любезностью и злословіемъ, не могъ простить своему другу его высокій ростъ, его красивыя черты и старался всякой разъ затьмить его остротами и колкостями.

Они занялись исключительно волокитствомь; оть боярскихь палать до швеи иностраннаго происхожденія и до отечественныхь охтенокъ, ничего не ускользало оть нашихъ молодыхъ людей. Къ тому же князь успѣлъ раза два проиграться въ нухъ, надавать векселей за страстную любовь, побить какихъ-то соперниковъ, упасть изъ саней мертво пьяный, словомъ сдѣлать все, что въ тѣ счастливыя времена называлось службою въ гвардіи.

Когда Столыгинъ замѣтилъ, что, несмотря на все его краснорѣчіе, князь рѣшительно береть верхъ у женщинъ, онъ сталъ его подбивать ѣхать въ Парижъ. Дѣйствительно, только этого рукоположенія и не доставало нашимъ друзьямъ.

Сначала, какъ водится, княгиня не хотъла пустить, потомъ сама имъ выпросила отпускъ. Надзоръ за дътьми снова былъ порученъ Дрейяку, усиъвшему въ антрактъ образовать еще двухъ русскихъ помъщиковъ греческою миоологіей и французскою исторіей. Тогда еще существовали пространство и даль, не такъ, какъ теперь, мъсяца два тащились они до Парижа.

...Улицы кипъли народомъ, тамъ-сямъ стояли отдъльныя групны, что-то читая, что-то слушая; крикъ и пъсни, громкіе разговоры, грозные возгласы и движенія—все показывало ту лихорадочную возбужденность, ту удвоенную жизнь, то судорожное и
страстное настроеніе, въ которомъ былъ Парижъ того времени;
казалось, что у камней бился пульсъ, въ воздухъ была примъшана электрическая струя, наводившая душу на злобу и безпокойство, на охоту борьбы, потрясеній, страшныхъ вопросовъ и
отчаянныхъ разръшеній, на все, чъмъ были полны писатели XVIII
въка. И все это выговорилось, заявилось, выказалось путникамъ,
прежде нежели запыленный и тяжелый дормезъ остановился у
отеля въ улицъ Сентъ-Оноре, и двое кръпостныхъ слугъ стали
отстегивать пряжки у вожжей...

И вотъ, Михайло Степановичъ, напудренный и раздушенный, въ шитомъ кафтанѣ, съ крошечною шпажкой, съ подвязанными икрами, весь въ кружевахъ и цѣпочкахъ, остритъ въ Версалѣ, какъ острилъ въ Петербургѣ; онъ толкуетъ о тьерсъ-эта, превозноситъ Неккера и пугаетъ смѣлостью опасныхъ мнѣній двухъ старыхъ маркизъ, которыя отъ страха хотятъ ѣхать въ Берри, въ свои имѣнія. Его замѣтили. Нѣсколько колкостей, удачно

имъ сказанныхъ, повторялись.

— «Знаете, что меня всего болье удивляеть въ этомъ marquis hyperboréen, сказалъ разъ, сдавая карты, пожилой аббать съ сухимъ и строгимъ лицомъ, не столько умъ—умомъ насъ, слава Богу, не легко удивить—нътъ, меня поражаеть его способность все понимать и ни въ чемъ не брать участія; для него жизнь, кинящая возль, имъетъ тотъ же интересъ, какъ сказанія о Сезострисъ. Это какой-то посторонній всему».

«Скиоъ въ Аоинахъ», замътилъ какой-то ученый.

— «Совствы нтть, возразиль аббать,—у скина было бы чтонибудь свое, дикое, а онъ съ виду и съ ртчи похожъ на меня съ вами. Признаюсь вамъ, я могъ бы ненавидть такого человтка, если-бъ я не жалтьть его. Это болтзненное произведение образования, привитаго къ корню, не нуждавшемуся въ немъ. Будьте увтрены, что у него нтть будущности».

«Помилуйте, изъ него выйдеть отличный дипломать, онъ даже

лицомъ похожъ на Кауница».

«Въ самомъ дёлё нохожъ», подхватила пожилая дама, старавшаяся скрыть свои годы,—и гиперборейской маркизъ былъ забыть.

Нока Столыгинъ занималъ собою гостиныя, князь усивлъ отбить маленькую актрису у сына какого-то посла, подраться съ нимъ на шпагахъ, обезоружить его, простить и въ тотъ же вечеръ ему спустить пятьсотъ червонцевъ. Но маленькая актриса была очень мила и очень благодарна своему рыцарю.

Путешествіе князя и Столыгина окончилось прежде, нежели они предполагали, виною этого былъ Дрейякъ. Де-Дрейякъ, котораго прислуга въ трактиръ звала мсье ле-Шевалье, одобрительно и не безъ запнихъ мыслей улыбался «успѣхамъ человѣчсства и торжеству разума надъ предразсудками»; но онъ, какъ всь благоразумные люди, больше успъха любиль безопасность и больше торжества ума и разума-нокой. А туть вышелъ вотъ какой случай. Погола разъ была чупесная. Дрейякъ пошелъ гулять утромъ; но только что онъ вышелъ на бульваръ, какъ услышаль за собой какой-то нестройный гуль; онь остановился и, спёлавъ изъ руки зонтикъ отъ свёта, началъ всматриваться: сначала онъ увидълъ облако ныли, блескъ никъ, ружей, наконецъ выръзалась нестройная, пестрая масса людей. Прежде, нежели Прейякъ что-нибудь поняль, высокій плечистый мужчина безъ сюртука, съ засученными рукавами, съ тяжелымъ желъзнымъ ломомъ, повязанный краснымъ платкомъ, поровнявшись съ нимъ, спросиль его громовымь голосомь: «Ты съ нами?» Прейякъ, блёдный и ужъ нъсколько незпоровый, не могъ сообразить, какое можеть имъть послъдствіе отказь и потому медлиль съ отвътомъ; но новый знакомецъ былъ нетерпъливъ, онъ взялъ нашего шевалье за шиворотъ и, сообщивъ его тълу движение, весьма непріятное, повторилъ вопросъ. Прейякъ, вмѣсто отвѣта, уронилъ трость; учтивая дама, почтеннаго размера, съ седыми космами, торчавшими изъ-подъ ченчика, подняла ее и, показывая болъс и болъе густъвшей массъ народа, замътила:

«Да это акапаристъ, аристократъ, посмотрите, какой набалдашникъ, золотой и съ ръзьбою, что вы толкуете съ нимъ, на фонарь его!»

- «На фонарь», сказали нѣсколько голосовъ спокойнымъ, подтверждающимъ тономъ, исполненнымъ наивнаго убѣжденія, что дѣйствительно его необходимо повѣсить на фонарь, что это просто аксіома. Человѣка три выступили было съ очень враждебнымъ намѣреніемъ, дѣло остановилось за веревкой. Мальчикъ лѣтъ двѣнадцати обѣщался тотчасъ принести. Дрейякъ воспользовался этимъ временемъ, чтобы сказать:
- Помилуйте, что вы? съ молодыхъ лътъ я нитался писаніями нашихъ великихъ писателей и примърами римской и спартанской республики.
- «Хорошо, очень хорошо», закричали нѣсколько человѣкъ, слышавшихъ только слово «республика».
- Я съ вами, продолжалъ ободренный ораторъ,—я принадлежу народу, я изъ народа, какъ же мнѣ не быть съ вами? И остановившаяся кучка двинулась впередъ грозно и мрачно, принимая новыя толпы изъ всёхъ переулковъ и улицъ и бра-

таясь съ ними. Долго спустя раздавался еще на бульварт ревъ, похожій на морскія волны, гонимыя втромъ въ скалистый берегъ, ревъ, иногда утихавшій и вдругъ раздававшійся торжественно и стращно.

Дрейяку удалось завернуть, подъ самымъ суетнымъ предлогомъ, въ переулокъ, выдучивъ счастливую минуту, когда все внимание его состлей обратилось на аббата, котораго толкали вперелъ три торговки: онъ налъ оттуда стречка и пришелъ домой полумертвый, съ потухшими глазами и съ изорваннымъ кафтаномъ. Дома онъ легъ въ постель, велёлъ налить какой-то тизаны и въ первый разъ признался, что дорого бы далъ, если бы быль на варварскихь, но покойныхь берегахъ Невы. Тизана помогла ему, онъ началъ приходить въ себя и собирался было прочесть въ Титъ Ливіи о народномъ возмущеній противъ Тарквинія старшаго, какъ вдругь раздался ружейный залиъ, прогремѣла пушка, еще разъ, и еще, —а тамъ выстрѣлы въ разбивку; временами слышался барабанъ и дальній гулъ, и гулъ, и барабаны, и выстрёлы, казалось, приближались. По улице бежали блузники, работники съ крикомъ: «а ла Бастиль, а ла Бастиль!» Передъ окнами остановили офицера изъ Royal Allemand, стащили съ лошади и повели. «О, Боже мой, Боже мой, пощади насъ и помилуй», бормоталь Црейякъ, измъняя закону тяготънія и забывая, что Платонъ Бога называлъ «великимъ геометромъ». Туть онъ вспомнилъ, что прислуга его называетъ шевалье, и это проклятое «де» передъ фамильей. «Всѣ люди, говорилъ онъ гарсону, который вошель, чтобы вынести чайникъ, равны, - всѣлюди братья и могуть отличаться только гражданскими доброд втелями, любовью къ народу и къ неотъемлемымъ правамъ человъка».

Михайлъ Степановичъ ходилъ смотрѣть взятіе Бастилін; Дрейякъ былъ увѣренъ, не видя его вечеромъ, что онъ убитъ и уже начиналъ утѣшаться тѣмъ, что нашелъ славную турнюру, какъ извѣстить объ этомъ княгиню, когда явился Столыгинъ, помирая со смѣху при мысли, какъ его версальскіе пріятели обрадуются новости о взятіи Бастиліи.

Дрейякъ объявилъ, что дольше въ Парижѣ не останется и, несмотря на всѣ споры и просъбы, опираясь на полномочіе княгини, отстоялъ свое мнѣніе съ тѣмъ мужествомъ, которое можетъ дать одинъ сильный страхъ; дѣлать было нечего, дѣти воротились. И маленькая француженка очутилась какъ-то въ то же время на Литейной и сильно хлопотала объ отдѣлкѣ своей квартиры и топала ножкой съ досады, что лакей Кузьма ничего не понимаетъ, что она говоритъ.

Разъ вечеромъ князь засталъ Михайла Степановича въ слишкомъ огненномъ разговоръ съ Mademoiselle Nina. Князь былъ не

въ духѣ, разсердился п обошелся колко, сухо съ Столыгинымъ. Столыгинъ и уступилъ бы, да на бѣду онъ взглянулъ на плутовскіе глазки маленькой француженки, — глазки помирали со смѣху и, щурясь, какъ будто говорили: «какая-жъ ты дрянь». Взглядъ этотъ подзадорилъ его. Ссора разгорѣлась. Князъ, не помня себя, выбросилъ Столыгина за дверь и разругалъ его такъ, что на этотъ разъ маленькая Нина ничего не поняла, а Кузьма все понялъ.

Они дрались. Дуэль кончилась почти ничёмъ. Столыгинъ ранилъ князя въ щеку. Это подражаніе цезаревымъ солдатамъ въ фарсальской битвѣ врядъ было ли случайно, зато оно и не прошло ему даромъ; раны на щекъ невозможко было скрыть. Княгиня узнала черезъ людей о дуэли и приказала Столыгину оставить ея домъ.

Такимъ образомъ, лѣтъ двадцати восьми отроду, Столыгинъ

очутился впервые на собственныхъ ногахъ.

Привычный къ роскоши княгинина дома, онъ такъ испугался своей бъдности, хотя онъ очень прилично могъ жить своими доходами, что сдълался отвратительнъйшимъ скрягой. Онъ дни и ночи проводилъ въ придумываніи, какъ бы разбогатъть. Одна надежда у него и была на смерть дяди, но старикъ былъ здо-

ровъ, почеркъ его писемъ былъ оскорбительно твердъ.

Онъ было принялся хозяйничать, дядя вручиль ему бразлы правленія послів его выбіда изъ дома княгини, но какъ-то неловко, — и зналъ-то онъ плохо сельское дъло, и время терялъ на мелочи. Но человъкъ этотъ, какъ говорятъ, родился въ рубашкъ. Къ нему повадился ходить какой-то отставной морской офицеръ, основываясь на томъ, что онъ служилъ вмёстё съ его вотчимомъ въ Севастополъ и зналъ его родительницу. Морякъ имълъ процессъ и зналъ, что черезъ связи Столыгина можетъ его выиграть. Столыгинъ объщалъ ему, чтобъ отдълаться отъ него, поговорить съ тъмъ и съ другимъ, и, разумъется, не говорилъ ни съ къмъ. Но морякъ привыкъ выжидать погоды, онъ всякой день сталъ ходить къ Столыгину. Ему отказывали, — онъ возвращался; его не пускали, — онъ прогуливался около дома и ловилъ Столыгина на улицъ. Наконецъ, Михайло Степановичъ, выведенный изъ теривнія, исполниль его просьбу. Офицерь быль безмірно счастливъ.

«Чѣмъ вы намѣрены заниматься?»—спросить его Столыгинъ, перебивая длинное и скучное изъявленіе флотской благодарности.

— «Искать частной службы, по части управленія им'вніємъ», отв'єчаль морякъ. Михайлъ Степановичъ посмотр'єль на него и почти покрасн'єль отъ мысли, какъ онъ до сихъ поръ не поду-

маль употребить его на дёло. Дёйствительно, человёкь этоть быль для него кладь.

Морякъ, какъ нарочно, отчасти уцѣлѣлъ для благосостоянія хозяйства Столыгина; онъ леталъ на воздухъ при взрывѣ какогото судна подъ Чесмой, онъ былъ весь пзраненъ, поломанъ и помятъ; но, несмотря на пристегнутый рукавъ вмѣсто лѣвой рукп, на отсутствіе уха и на подвязанную челюсть, эта хирургическая рѣдкость сохранила неутомимую дѣятельность, безпрерывно разлитую желчь и сморщившееся отъ худобы и злобы лицо. Онъ былъ исполнителенъ и честенъ, онъ никого бы не обманулъ, тѣмъ болѣе человѣка, которому былъ обязанъ важной услугой; но многимъ именно эта честность и эта исполнительность показались бы хуже всякаго плутовства.

Михайлъ Степановичъ предложилъ ему ^{*} бхать осмотрѣть его имѣніе. Морякъ отправился.

V.

Наслѣпникъ.

Столыгинъ ждалъ моряка съ часу на часъ со всёми его проектами и планами, когда вмёсто его пришло краснорёчивое письмо Тита. Онъ немедленно поскакалъ въ Москву. Въ Москве его ожидала новая радость, которой онъ не могъ и предполагать. Титъ Трофимовъ и староста, пріёхавшіе поклониться новому барину, извёстили его о смерти Мареы Петровны.

- А что, есть завъщаніе? спросиль съ нъкоторымъ безпокойствомъ Михайлъ Степановичъ.
- «Покойная тетушка письмо только изволила вашей милости оставить», отвъчаль Тить, вынимая бумажникъ.
- Ты бы съ этого и началъ, болванъ, замѣтилъ Столыгинъ, посиъщно вырывая изъ рукъ Тита письмо.

Лицо его просвѣтлѣло при чтенін, онъ видѣлъ ясно, что смерть такимъ сюрпризомъ подкосила стариковъ, что они не успѣли сдѣлать «никакихъ глупыхъ распоряженій».

- Кто при домѣ въ деревнѣ остался? За коимъ чортомъ вы оба пріѣхали? спросиль Михайлъ Степановичь.
- «Агафья Петровна, ключница, батюшка, и покойной тетушки дядюшка маюрь съ супругой».
 - Они-то первые и растащуть все. Да гдѣ же бумаги?
- «Въ кабинетъ покойнаго барина, дверь вотчинной печатью запечатана и десятской приставленъ въ калидоръ».
 - Я завтра собираюсь въ Липовку, будьте готовы.

- «Милости просимъ, батюшка, отвъчалъ, низко кланяясъ, староста.—Лошади дожидаются, моихъ тройка на вашемъ дворъ, да крестьянскихъ еще двъ придутъ подъ вечеръ въ Рогожскую».
- Хорошо, ступай. А ты, эй! Титъ! Сейчасъ съ Ильей Антинычемъ (такъ назывались остатки морского офицера, задержанные въ Москвъ въстью о кончинъ Льва Степановича) въ домъ все по описи прими, слышишь?

— «Слушаю, батюшка», отвъчаль Тить густымъ голосомъ.

На другой день баринъ и первый министръ его отправились въ подмосковную. На границѣ Липовской земли ждали Михайла Степановича дворовые люди и депутація отъ крестьянъ съ хлѣбомъ и солью. Староста и Титъ Трофимовъ, ѣхавшіе впереди въ телѣгѣ, остановили дормезъ и доложили Михайлу Степановичу, что этотъ большой камень и эта большая яма означаютъ границу его владѣній. Онъ вышелъ изъ кареты; подданные повалились въ ноги, старикъ, сѣдой какъ лунь, съ длинной бородой и съ лицемъ буонаротіевскихъ статуй, поднесъ хлѣбъ и соль. Михайло Степановичъ указалъ Титу, чтобы онъ принялъ хлѣбъ, и дребезжащимъ голосомъ сказалъ крестьянамъ, что благодаритъ ихъ за хлѣбъ, за соль, но надѣется, что они усердіе свое докажутъ на дѣлѣ.

- А что, на оброчныхъ есть недоимка?
- «Есть невеликое, батюшка, дфло», отвъчалъ староста.
- А ты чего смотрёлъ, у меня чтобы слово недоимка не было извъстно. Слышишь! Какой оброкъ платятъ, неслыханное дёло, дядюшка такъ попустилъ отъ старости. Я чай вамъ, православные, передъ сосъдями совъстно такъ мало платить.

«Они легко могутъ платить еще по десяти рублей съ тягла»,

замѣтилъ морякъ.

- Ещебы, подмосковные мужики. Видите, что люди говорятъ.
- «Какъ вашей милости взгодно будеть, какъ изволите, батюшка, установить, наше крестьянское дѣло сполнять», сказалъ буанаротьевской старикъ и мужики снова поклонились въ землю, благодаря за доброе намѣреніе лишить ихъ стыда такъ мало илатить.
- Объ этомъ я поговорю завтра. Собери утромъ на барской дворъ стариковъ.
- Это что за рожи? продолжалъ помѣщикъ, обращая привѣтствіе къ дворовымъ. Откуда это покойникъ набралъ ихъ, одинъ Титъ на человѣка похожъ. Кто это въ засаленомъ нанковомъ сюртукѣ, на-право-то?
- «Земской Василій Никитинъ, отвѣчалъ староста —то есть онъ, батюшка, по ревизіп записанъ Львомъ, да покойный дядюшка, взявши во дворъ, изволили Васильемъ назвать».

— Сюда отъ него виномъ пахнетъ. Дорогу къ кабаку вы не будете у меня знатъ:

Послѣ этой рѣчи онъ быстрыми шагами пошелъ по дорогѣ съ морякомъ, который шелъ возлѣ безъ фуражки. Староста и Титъ плелись, ифсколько отступя и не глядя другь на друга, а за ними дворовые, крестьяне, дормезъ и телъга. Никто почти ничего не говорилъ, на сердцъ у всъхъ было тяжело, неловко. Когда они шли по селу, дряхлые старики, старухи выходили изъ избъ и земно кланялись, дъти съ крикомъ и плачемъ прятались за вороты, молодыя бабы съ ужасомъ выглядывали въ окна. Опна собака какая-то, смёлая и даже разсерженная процессіей, выбъжала съ лаемъ на дорогу, но Тить и староста бросились на нее съ такимъ остервенениемъ, что она, поджавши хвостъ, пустилась во весь опоръ и успокоплась, только забившись подъ крышу последняго овина. Такъ достигли господскаго дома. Тутъ дожидались священникъ съ женою и съ сотами отъ пчелокъ своихъ, тощій, плішивой діаконь и причетники съ волосами, которыхъ расчесать не было возможности. Слепой мајоръ и молдаванка, повязанная бёлымъ платкомъ и закутанная въ черную шаль покойной благодьтельницы, встрытили въ сынкъ новаго обладателя Липовки.

Михайло Степановичъ учтиво обощелся со всѣми, но всѣмъ какъ-то стало жаль Льва Степановича больше, нежели прежде. Онъ попросилъ священника отслужить молебенъ съ водоосвященемъ и потомъ панихиду о покойникѣ; освѣдомился, говѣють ли крестьяне, и отправился въ запечатанный кабинетъ, сопровождаемый морякомъ. Онъ нашелъ все въ порядкѣ и деньги и ломбардные билеты. Говорятъ, что онъ нашелъ еще записку, въ которой дядюшка изъявлялъ желаніе отпустить на волю дворовыхъ, но онъ, справедливо замѣтивъ моряку, что, стало-быть, дядя раздумаль, если самъ не написалъ отпускныхъ, и что въ такомъ случаѣ отпустить ихъ было бы противно желанію покойника,—сжегъ эту записку на свѣчѣ.

На другой день Михайло Степановичь возвъстилъ маіору и его супругь, что, свято исполняя волю покойной тетушки, поручившей ему не оставить ихъ, онъ имъ жалуетъ двъ тысячи рублей. При чемъ онъ вручилъ билеть (по которому проценты были взяты). Потомъ онъ имъ объявилъ, что, сколько не желалъ бы, но не можетъ по разнымъ соображеніямъ оставить за ними комнаты и совътуетъ имъ перевхать въ Москву. «Кириллъ Васильевичу часто можеть быть, прибавилъ онъ, нужда въ докторъ, ему непремънно надобно жить въ городъ». Молдаванка хотъла было просить Михайла Степановича позволить имъ остаться, хоть въ людской избъ, но встрътивъ холодные глаза его съ рыжева-

тыми ръсницами, она не смъла вымолвить ни слова и пошла уклалывать свои пожитки.

Осмотрѣвши прочія имѣнія и повелѣвъ безпрекословно слушать во всемъ моряка, онъ уѣхалъ въ Цетербургъ, а черезъ нѣсколько мѣсяцевъ отправился снова за границу. Гдѣ онъ былъ, что дѣлалъ въ продолженін цѣлыхъ четырехъ лѣтъ? Трудно сказать. И что собственно его привязывало къ заграничной жизни?...

Когда онъ воротился въ Москву, морякъ подалъ ему отчеты. Другіе проживаются въ путешествіи, Михайло Степановичъ нашелъ во всемъ приращеніе, безъ всякаго труда, безъ всякихъ пожертвованій почти; онъ чрезвычайно мало давалъ моряку. Даже теперь, воротившись изъ путешествія, онъ отдёлался золотыми нортоновскими часами, которые купилъ по случаю и о которыхъ разсказывалъ моряку, чтобъ поднять ихъ цёну, что они при-

надлежали адмиралу Элфингстону.

Одинъ одинехонекъ жилъ Михайло Степановичъ въ огромномъ и запуствломъ домѣ на Яузѣ. Что-то страшно угрюмое было въ его существованіи. Онъ ни съ къмъ не знался, ръдко выбажаль, ничего не дълалъ, былъ скупъ до отвратительности и скрытно, прозанчески, дешево развратенъ. Каждую недёлю пріёзжалъ изъ Линовки морякъ и Столыгинъ оставлялъ его дня на два, подъ предлогомъ разныхъ дёлъ, а въ сущности изъ потребности живого человъка. Дворню свою онъ страшно тъснилъ. У него въ воображения все носился домъ княгини и онъ хотълъ достигнуть чего-то подобнаго, не тратя денегь; задача была невозможная, на всякомъ шагу онъ видёлъ, что ему не удается, бёсплся и вымещаль это на слугахъ. При всей своей скупости онъ серьезно имъніемъ не занимался, иногда только, безъ всякой нужды, онъ врывался въ управление моряка, распространялъ ужасъ и трепеть, бриль лбы, наказываль, браль во дворь, обременяль совершенно ненужными работами-тамъ дорогу велитъ проложить, туть сарай перенести съ мѣста на мѣсто... Иоказавши такимъ образомъ свою власть, онъ снова предоставлялъ моряку управленіе крестьянами.

Сверхъ моряка, являлся къ Столыгину раза два въ недёлю высокій, подслёный мёняла въ безконечномъ сюртукё; моргая глазами и пошевеливая плечомъ, онъ называль всё камни и всё вещи наизнанку, что вовсе ему не мёшало быть тонкимъ знатокомъ. Черезъ него Михайло Степановичъ помёщалъ свои деньги, за баснословные проценты. Мёняла, не удовлетворяясь куртажемъ за безносыхъ адонисовъ, за новые антики и старыя картины,—занимался въ свободное время пріятною должностью сводчика. Михайлѣ Степановичу не хотѣлось выступать ростовщикомъ, да не хотѣлось тоже и капиталъ оставлять на одни несча-

стные иять процентовъ, которые тогда платилъ ломбардъ, такъ онъ и прибъгалъ къ услугамъ мѣнялы. Несмотря на всѣ предосторожности его, мѣняла все-таки надулъ Столыгина. Завелся процессъ. Ни одинъ сенатскій секретарь, ни одинъ герой, посѣдѣвшій въ чернилахъ, вскормленный на справкахъ и сандаракѣ, не догадался бы никогда, чѣмъ окончится этотъ пропессъ.

Хожденіе по д'ылу было поручено Столыгинымъ знаменитому тогда въ Москвъ стрянчему, отставному статскому совътнику Валерьяну Андреевичу Трегубскому. У стрянчаго была дочь, скромная, запуганная отцемъ, дикая отъ одиночества и очень не дурная собою. Михайлъ Стенановичу она приглянулась, онъ любилъ эти скромныя волокитства, не вовлекавшія въ большія траты. Молодая дівушка, совершенно неопытная и подбиваемая безпрерывно кухаркой, шла, сама не зная какъ, прямо на свою гибель. Кухарка статскаго совътника, помогавшая Столыгину за біленькую бумажку и за золотыя серьги, которыя онъ обіщалъ, но все не приносиль, вдругъ испугалась могущихъ быть изъ этой связи послідствій и разъ вечеромъ, немного напившись, все разсказала отцу, разумівется, кромів собственнаго участія. Старикъ разомъ убідился въ справедливости доноса и въ томъ, что предупредить поздно, но поправить самое время.

Сказать по правдъ, новость эта больше обрадовала его, нежели опечалила; тъмъ не менъе онъ съ свиръпостью напаль на дочь, разбраниль ее, оттаскаль по обычаю праотпевь за косу. заперъ въ чуланъ, словомъ, спѣлалъ все, что требовала оскорбленная любовь родителя. Исполнивъ эту тяжелую, хотя и святую обязанность, онъ снова сдёлался, чёмь быль, -- стряпчимъ, и принялся дёлать повальный обыскъ въ комнатѣ дочери. Нашелъ онъ и записочки, и вещицы разныя, все пересмотрълъ внимательно, все перечиталъ раза два, три. Прочтенное явнымъ образомъ доставляло ему удовольствіе. Онъ взялъ нисьмо къ себъ. принялся самъ писать, нисалъ долго, подгибая третій палецъ подъ перо и наклоняя правый глазъ къ самой бумагъ. И перемарывалъ онъ, и перечитывалъ, и прибавлялъ, и сокрашалъ. наконецъ, удовлетворенный редакціей, онъ раза два до кашля понюхалъ табаку и принялся переписывать набъло. Переписавши, онъ взяль свѣчу и отправился къ дочери.

Бъдная дъвушка, оскорбленная, униженная, пристыженная, заплаканная сидъла въ углу. Старикъ на все на это считалъ какъ нельзя лучше.

— «Убила, говорилъ онъ ей, убила старика отца, съдины покрыла позоромъ»,

Дъвушка стояла ни живая, ни мертвая и шептала блъдными губами: «Простите, простите».

— «Поди сюда, закричать отецъ, возьми перо, пиши, туть ну же».

«Батюшка!»

— «Да ты еще не слушаться, опозорила отца, да и изъ повиновенія вышла, тебѣ говорять, пиши», и онъ диктоваль: «дочь статскаго совѣтника Марья Валерьяновна Трегубская».

Дъвушка писала въ лихорадкъ, въ безуміи; когда отецъ взялъ у нее перо, руки ея опустились, она упала на колъни передъ пустымъ стуломъ и прижала къ нему голову. Почтенный старецъ вышелъ, не говоря ни слова. Онъ думалъ, что ему больше придется ломаться. Онъ былъ даже нъсколько сконфуженъ лег-

кой побълой.

На пругой пень Столыгинъ получилъ отъ статскаго совътника плинное письмо. Онъ сообщалъ ему, что въсть о томъ, что Михайло Степановичъ, опутавъ коварными объщаніями, повергъ его почь въ гибель несчастія и лишилъ его последней опоры и послъпняго утъщенія, поразила его въ самое сердце; что онъ находить, наконецъ, положение жертвы его соблазна сомнительнымъ. А потому полагаеть, что онъ навърно свой поступокъ покроеть Божінмъ благословеніемъ черезъ бракъ, которымъ возвратить ей честь, а себъ спокойствіе совъсти, которое превыше всъхъ благъ земныхъ. Буде же (чего Боже сохрани) Михайлъ Степановичу это не угодно, то онъ съ прискорбіемъ долженъ будеть сему ділу пать гласность и просить защиты у недремлющаго закона и у высокихъ особъ, Богомъ и монархомъ поставленныхъ невиннымъ въ зашиту и сильнымъ въ обузданіе. Въ подкрѣпленіе же просьбы, сверхъ свидътельства домашнихъ, онъ съ душевнымъ прискорбіемъ приведетъ разные документы, собственною Михайла Степановича рукою писанные. Въ заключеніи, оскорбленный отецъ счелъ нужнымъ присовокупить, что преступная дочь его есть съ тымь вирстр его единственная наследница, какъ дома, что въ Хамовнической части, въ третьемъ кварталѣ, за № 99, такъ и капитала, имъющаго ей достаться, когда Господу Богу угодно будеть прекратить грѣшные дни его.

Михайло Степановичь задохнулся отъ гнѣва и отъ страха; онъ очень хорошо зналъ, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, ему представились траты, мировыя сдѣлки, грѣхъ пополамъ. О бракѣ онъ и не думалъ, онъ считалъ его невозможнымъ. Въ своемъ отвѣтъ онъ просилъ старика не вѣрить клеветамъ, увѣрялъ, что онъ ихъ разсѣетъ, говорилъ, что это козни его враговъ, завидующихъ его спокойной и безмятежной жизни, и главное уговаривалъ его не торопиться въ дѣлѣ, отъ котораго зависитъ честь его дочери.

Валеріанъ Андреевичь не даромъ лѣтъ сорокъ былъ стряцчимъ; онъ видѣлъ, что Столыгинъ выигрываетъ время, что, слѣд-

ственно, ему его терять не следуеть. Между разными делами, вверенными его хожденію, быль у него на рукахъ длинный, запутанный процессь о горныхъ заводахъ одного графа, находившагося въ большой силъ. Трегубской отправился къ нему и вдругъ, докладывая ему о теченіи дела, подобралъ нижнюю губу, опустилъ щеки, сделалъ пресмешной видъ и началъ капать слезами. Графъ удивился, встревожился, сталъ спрашивать; старикъ просилъ прощенія, извинялся своимъ нежнымъ сердцемъ и безмернымъ горемъ, наконецъ, разсказалъ всю псторію, показалъ письма Столыгина и просьбы дочери. Графъ, забывая вовсе ненужныя въ то время воспоминанія собственныхъ проделокъ, принялъ сердечное участіе въ горт несчастнаго старца и сказалъ ему, отпуская его: «Будь покоенъ, негодяю этому даромъ это не пройдетъ. Оставь письмо дочери у меня. Да кстати, апелляціонную записку по моему делу окончи поскорее». Старикъ успокоплся.

Черезъ нѣсколько дней предводитель дворянства пригласилъ къ себѣ Михайла Степановича по «экстренному и конфиденціальному дѣлу». Освѣдомившись о состояніи его здоровья и объ урожаѣ озимыхъ хлѣбовъ, предводитель спросилъ его, какъ онъ намѣренъ окончить неосторожный пассажъ свой съ дѣвицей Трегубской, присовокупляя, что ему велѣно посовѣтовать Михайлѣ Степановичу кончить это дѣло, какъ слѣдуетъ дворянину и христіанину. Стольгинъ пустился въ рядъ объясненій. Предводитель выслушалъ ихъ съ чрезвычайнымъ вниманіемъ и замѣтилъ, что все это совершенно справедливо, но что онъ тѣмъ не менѣе увѣренъ, что Михайло Степановичъ оправдаетъ довѣріе высокихъ особъ и поступитъ, какъ христіанинъ и дворянинъ; что, впрочемъ, онъ его проситъ дать себѣ трудъ прочесть письмо, полученное имъ по поводу этой непріятной исторіи.

Михайло Степановичъ прочелъ письмо и положилъ его на столъ, молча и съ измънившимся липомъ,

«Не угодно ли вамъ будетъ теперь, спросилъ его предводитель, подписать вотъ эту бумажку?» Столыгинъ взялъ перо. «Позвольте—позвольте, съ жаромъ замътилъ предводитель, въжливо вырывая изъ его руки перо, это перо не хорошо, вотъ это гораздо лучше». Столыгинъ взялъ лучшее перо и нъсколько дрожащей рукой подписалъ. Думатъ надобно, что первая бумага была очень красноръчва и вполнъ убъждала въ необходимости подписать вторую. Предводитель, прощаясь, сказалъ Столыгину, что онъ искренно и сердечно радъ, что дъло кончилось келейно и что онъ такъ прекрасно, какъ истинный патріотъ и настоящій христіанинъ, ръшился поправить поступокъ или лучше пассажъ.

Черезъ недѣлю Михайло Степановичъ былъ женатъ. Несмотря на то, что Москва классическая страна бракосочетаній, но

я увъренъ, что со времени знаменитаго кутежа, по поводу котораго въ лътописяхъ въ первый разъ упоминается имя Москвы, и до нашихъ дней, не было человъка, менъе расположеннаго и менъе годнаго къ семейной жизни, какъ Столыгинъ. Благодътельное начальство исправило эти недостатки отеческимъ вмъщательствомъ своимъ.

Трудно себъ представить хуже, нелъпъе и неловче положенія бъдной новобрачной. Перейдя, по распоряженію высшаго правительства, изъ затворничества, въ которомъ ее держалъ старый писарь, въ чужой домъ, въ которомъ не было въ ней нужды, въ которомъ ничего не перемънилось отъ ея появленія, положеніе ея собственно ухудшилось. Столыгинъ ее держалъ не какъ жену, а какъ кръпостную фаворитку. У ней не было ни одной знакомой, Столыгинъ запретилъ ей принимать какихъто родственницъ, раза два являвшихся изъ-за Москвы ръки позавидовать ея счастію; она сама не хотъла дълить досуги съ племянницей моряка, которую Столыгинъ хотълъ ввести по части супружеской тайной полиціи. Она никуда не вы взжала, иногда только Михайло Степановичъ предлагалъ женъ проъхаться въ каретъ одной, и тутъ кучеру и лакею давалась инструкція, какими улицами ъхать.

Нѣсколько лѣтъ оставалась она потерянной, оскорбляемой и безгласной. Существо доброе, готовое любить, готовое на всякую преданность, она отдавалась молча своей судьбѣ и, вспоминая страданія, выносимыя отъ отца, она думала, что такъ и надобно, что такое положеніе женщины на свѣтѣ.

Первый утъщитель, явившійся ей, быль малютка Анатоль, родившійся черезь годь посль ея свадьбы; впосльдствіи онь же и развиль, и воспиталь, и освободиль ее.

Рожденіе сына на нѣсколько степеней поправило положеніе Марьи Валеріановны. Столыгинъ былъ доволенъ сходствомъ. Онъ до того расходился въ первыя минуты радости, что съ благосклонной улыбкой спросилъ Тита: «Ты видѣлъ маленькаго?» и когда Титъ отвѣчалъ, что не сподобился еще этого счастія, онъ велѣлъ кормилицѣ показать Анатоля Михайловича Титу. Титъ подошелъ къ ножкѣ новорожденнаго и со слезами умиленія три раза повторилъ: «Настоящій папенька, вылитой папенька, папенькинъ портретъ».

Михайло Степановичь, очень довольный, туть же отдаль приказь, чтобы люди вставали, когда проходить кормилица съ маленькимъ бариномъ; а кормилицѣ, напротивъ, разрѣшилъ сидѣть даже въ своемъ присутствіи, чего, впрочемъ, она никогда не дѣлала, повинуясь инструкціямъ моряка. Кормилица была изъ Липовки. За двѣ недѣли до родовъ Марьи Валеріановны, приказалъ Столыгинъ моряку выслать для выбора двухъ, трехъ здоровыхъ, красивыхъ и недавно родившихъ бабъ съ ихъ дётьми. Морякъ выслалъ шесть, и мъра эта оказалась вовсе неизлишней; отъ сильнаго мороза и слабыхъ тулуповъ, двъ лучшія кормилицы, отправленныя на пятой день послё родовъ, простудились и такъ основательно, что потомъ сколько ихъ старуха штичница ни окуривала калганомъ и сабуромъ, все-таки водяная сделалась; у третьей на дорогъ съ ребенкомъ родимчикъ приключился, въроятно отъ дурного глаза и, несмотря на чистый воздухъ и прочія упобства зимняго пути, въ пошевняхъ онъ умеръ, не добзжая Реполовки, гиб обыкновенно липовскіе останавливались. Такъ какъ у матери отъ этого молоко поднялось въ голову, то она и оказалась неспособною кормить грудью. Остались три для выбора, согласно желанію Михайла Степановича. Изъ нихъ онъ самь съ повивальной бабкой избрали женщину, дъйствительно замѣчательную. Булучи третій годъ замужемъ, она еще не утратила ни красоты, ни здоровья и была то, что называется кровь съ молокомъ, со сливками даже, можно сказать. На организмъ, который не только безнаказанно, но такъ торжественно вынесъ бънность, работу, отца, мать, жнитво, мужа, двухъ снохъ, старосту, свекровь и барщину, можно было слепо положиться. Кормилипа на барскомъ дворъ въ два мъсяца сдълалась вдвое толще и румянъе. Такъ что свекровь, приходившая иногда изъ деревни, не могла безъ ненависти видъть ее, и всякой разъ бормотала. выходя изъ вороть: «Вишь разъёдась на барскихъ чаяхъ какая. Пай срокъ, воротишься домой, спустимъ жиръ... Погоди», Говорять, что простодушная старушка добросовъстно сдержала объшаніе.

Пля дворни малютка сдблался новымъ источникомъ гоненій и несчастій. Стукъ во время его сна, сквозной вътеръ, отворенная дверь. -- все это выводило изъ себя Столыгина. Что вынесла бъдная няня, та самая Настасья, которая послужила невольной причиной смерти Льва Степановича, мупрено себъ представить. Кормилицъ дозволялось иногда спать, Настасья должна была день и ночь быть на лицо. Она раздъвалась разъ только въ недълювъ банъ. Настасьъ было приказано, чтобы льтомъ въ пътской не было мухъ; она отвъчала за крикъ ребенка, за то, что онъ падаль, начиная ходить, за насморкь, который делался оть прорёзыванія зубовъ... И подите, изслёдуйте тайны серпца человёческаго, — Настасья любила до безумія ребенка, существованіемъ котораго отравлялась вся жизнь ея, за котораго она вынесла сколько правственныхъ страданій, столько и физической боли. Марья Валеріановна, сколько могла, вознаграждала ее и лаской, и подарками, но сама чувствовала, какую бёдную замёну она ей

даеть за лишенія всякаго покоя, за вѣчный страхь, вѣчную брань и вѣчное преслѣпованіе.

Пока ребенокъ быль звъркомъ, баловству со стороны Михайла Степановича не было конца; но когда у Анатоля начала развиваться воля, любовь отца стала превращаться въ гоненіе. Болъзненный эгоизмъ Столыгина, раздражительная капризность и избалованность его не могли выносить присутствія чего бы то ни было свободнаго; онъ даже собаченку, не знаю, какъ попавшуюся ему, до того испортилъ, что она ходила при немъ, повъся хвостъ и опустя голову, какъ чумная.

Марья Валеріановна, до тѣхъ поръ кроткая и самоотверженная, явилась женщиной съ характеромъ и съ волей непреклонной. Она не только рѣшплась защитить ребенка отъ очевидной порчи, но, уважая въ себѣ его мать, она сама стала на другую ногу. Эту оппозицію тотчасъ замѣтилъ Михайло Степановичъ и рѣшился сломить ее во что бы то ни стало.

Ияти-шести лѣтній Анатоль былъ свидѣтелемъ грубыхъ, отвратительныхъ сценъ, нервный и нѣжный мальчикъ судорожно хватался за платье матери и не плакалъ, а послѣ ночью стоналъ во снѣ и, проснувшись, дрожа всѣмъ тѣломъ, спрашивалъ няню: «папаша еще тутъ, ушелъ папаша?» Марья Валеріановна чувствовала необходимость положить предѣлъ этому и не знала какъ. Обстоятельства, какъ всегда бываетъ, помогли ей.

Въ гостиной стояла горка, на которой были разставлены всякія ненужности, взятыя у мѣнялы, для поощренія его. Анатоль, тысячу разъ игравшій этой дрянью, подошель къ горкѣ и взялъ какую-то фарфоровую куклу.

- «Не тронь!» закричаль отець. Анатоль посмотрѣль на него съ испугомъ, оставилъ куклу и черезъ двѣ минуты опять ее взялъ. Михайло Степановичъ подошелъ къ нему, схватилъ за руку и дернулъ его съ такой силой, что онъ грянулся объ полъ и разбиль себѣ до крови лобъ. Мать и няня бросились къ нему.
- «Оставьте его, это вздоръ, капризы», закричалъ отецъ. Няня пріостановилась въ недоумѣніи, но мать, не обращая никакого вниманія на слова мужа, подняла Анатоля и понесла его, говоря:
 - Пойдемъ, дружокъ мой, въ дътскую, папаша боленъ.
- «Да ты слышала, или нътъ, что я сказалъ? спросилъ Михайло Степановичъ,—оставь его».
- Ни подъ какимъ видомъ, отвѣчала оскорбленная мать, какъ можно оставить ребенка съ человѣкомъ въ припадкѣ безумія?
- «Это что значить?» спросилъ Столыгинъ, дрожа всймъ тъломъ отъ бъщенства.

— То, отвъчала Марья Валеріановна,—что есть всему мъра, и, если вы сошли съ ума, то мой долгъ положить предълъ вашему вредному вліянію на ребенка.

Михайло Степановичъ не далъ ей кончить, онъ ударилъ ее.

Анатоль взвизгнулъ и помертвълъ.

Марья Валеріановна, пришедши въ спальню, бросилась на колъни передъ образомъ и долго молилась, обливаясь слазами; потомъ она поднесла Анатоля къ иконъ и велъла ему приложиться, одъла его, накинула на себя шаль и, выславъ Настю и горничную зачёмъ-то изъ дёвичьей, вышла съ Анатолемъ за вороты, незамъченная никъмъ, кромъ Ефима. На дворъ смерклось: Марья Валеріановна почти никогла не выходила вечеромъ на улицу, ей было страшно и жутко; по счастью извозчикь, Бхавшій безъ съдока, предложиль ей свои услуги, она кой-какъ усълась на калиберъ, взяла на колъни Анатоля и отправилась къ отцу въ домъ. Сходя съ дрожекъ, она сунула извозчику въ руки цълковый и хотъла взойти въ вороты, но извозчикъ остановилъ ее, онъ думалъ, что она ему дала пятакъ, и сказалъ: «Нътъ, барыня, постой, какъ можно», и разглядъвни, что это не иятакъ, а пълковый, прододжаль тымь же тономь и нисколько не потерявшись, «какъ можно цълковый взять съ двоихъ, синенькую слъдуетъ получить, матушка». Она бросила ему какую-то монету и взощла въ ту несчастную калитку, изъ-за которой лётъ шесть тому назадъ, Богъ знаетъ подъ вліяніемъ какой чары, вышла на первое свиданіе съ челов'єкомъ, котораго судьба избрала на то, чтобы мучить ее цёлую жизнь.

Когда Михайло Степановичъ пришелъ въ себя, онъ понялъ, что переступилъ нѣсколько границу. «Ну, да что же дѣлать, думалъ онъ, у меня нравъ такой, пора въ самомъ дѣлѣ привыкнуть; сердитъ меня, какъ нарочно, et ensuite elle devient impertinente, я не могу своего сына воспитывать по моимъ идеямъ». Утѣшивши себя такими разсужденіями, онъ отправился въ гостиную, однако на лицѣ его было видно, что какъ ни убѣдительны они были, но совѣсть не совсѣмъ была покойна. Большая гостиная была пуста и мрачна, освѣщенная двумя сальными свѣчами. Онъ посидѣлъ на диванѣ—пусто, нехорошо.

— «Сенька!» закричалъ онъ и мальчикъ лѣтъ двѣнадцати, одѣтый казачкомъ, показался въ дверяхъ.—«Скажи Наськѣ, чтобы

привела Анатолія Михайловича».

Казачекъ вышелъ, но долго не возвращался; слышны были голоса, шопотъ, шаги. Титъ, блёдный какъ смертъ, стоялъ въ залѣ; Настасья съ заплаканными глазами ему объясняла что-то, Титъ качалъ головой и приговаривалъ: «Господи Боже мой, прости наши прегрѣшенія». Черезъ нѣсколько минутъ казачекъ взошелъ съ докладомъ:

- Анатолія Михайловича дома н'єть, ихъ барыня изволили взять съ собою.
 - «Что... о... о... о[.]»

Казачекъ повторилъ.

- «Что ты врешь, ношли Наську и Тита».—Наська и Тить взошли.
 - «Куда барыня пошла?» спросилъ Столыгинъ.
- Не могу доложить, отвъчала старуха, дрожа всѣмъ тѣломъ; меня изволили послать за водой, изволили надѣть желтую шаль,— я думала такъ, отъ холоду...
- «Молчи и отвъчай только на то, что я спрашиваю. Ну, а ты, старой разбойникъ, ты чего смотрълъ, Титъ Трофимовичъ, домоправитель? Кто пошелъ за барыней?»
 - Виноватъ, батюшка, Михайло Степановичъ, Богъ попуталъ

на старости лътъ, я не видалъ.

— «Виновать, батюшка! передразниль его Столыгинь, входившій болъ́е и болъ́е въ ярость,—позови, старый дуракъ, Кузьку и Оську, да дурака Ефимку и кучеровъ».

Люди переглянулись съ ужасомъ другъ на друга, они очень

хорошо знали, что значить приглашение кучеровъ...

На другой день утромъ Титъ, Настасья и двое лакеевъ валялись въ ногахъ у Маріи Валеріановны, утирая слезы и умоляя ее спасти ихъ. Столыгинъ велѣлъ имъ или привести барыню съ сыномъ или готовиться въ смирительный домъ и потомъ на поселеніе. Сѣдой и толстый Титъ ревѣлъ какъ ребенокъ, приговаривая:

- Сгубить онъ насъ, матушка, со свъта Божьяго сгонитъ.
- Марья Валеріановна, говорила Настасья, спаси ты насъ, заступница наша, или ужъ оставь меня здёсь.
- Я домой не пойду, прибавилъ старикъ,—я съ Каменнаго моста брошусь въ воду, одинъ конецъ.

Марья Валеріановна долго молчала, тяжело ей было, она еще разъ взглянула на эти растерянныя и отчаянныя лица, встала и сказала грустнымъ голосомъ:

- Такъ и быть, я спасу васъ. Я не могу допустить, чтобы онъ замучилъ васъ за меня. Я возвращусь теперь, можетъ, на свою собственную гибель, только молите же Бога, чтобы не на гибель малютки!
- Мать ты наша родная! говорилъ Титъ,—иверской Божіей матери отслужимъ молебенъ, всей дворней свъчу десятифунтовую поставимъ.

Марья Валеріановна явилась домой не какъ виновная и бъглая жена, а съ полнымъ сознаніемъ своей правоты и своего призванія быть защитницей сына. Она покойно и твердо объявила Стс-

лыгину, что возвратилась только для того, чтобы спасти совершенно невинных людей отъ его бъщенства, но что она рѣшилась не жертвовать болъе сыномъ необузданности такого отца.

— «Охъ, говорилъ Михайло Степановичъ, притворившійся больнымъ, — охъ, та сне́ге, зачѣмъ это ты употребляешь такія слова, мое ухо не привыкло къ такимъ выраженіямъ. У меня отъ заботъ, отъ болѣзни (онъ жаловался на аневризмъ, котораго у него, впрочемъ, не было) бываютъ иногда черныя минуты,—надобно кротостью и добрымъ словомъ остановить, а не раздражать, я самъ оплакиваю несчастный случай», и онъ остановился, какъ бы подавленный сильными чувствами.

Но на Марью Валеріановну его рѣчи болѣе не дѣйствовали. Весь prestige, окружавшій его, исчезъ, она чувствовала себя настолько выше, настолько сильнѣе его, что у ней начала разви-

ваться жалость къ нему.

Нослѣ этой исторіи Столыгинъ сталъ себя держать попристойнѣе. Марья Валеріановна съ сыномъ жила большую половину года въ деревнѣ; такъ какъ это значительно уменьшало расходы, то мужъ и не препятствоваль. Смерть добраго старика Валеріана Андреевича, случившаяся черезъ нѣсколько лѣтъ, снова запутала и окончательно разстроила жизнь, устроенную Маріей Валеріановной.

Онъ умеръ вскорт послт московскаго пожара. Старикъ оставался все время войны въ Москвт, довольно счастливо скупая, долею у французовъ, долею у казаковъ, разныя серебрянныя и золотыя вещицы. По выходт непріятеля, онъ подаваль просьбу о денежномъ вспоможеніи для поправленія дома, сожженнаго богопротивнымъ врагомъ во время нашествія галловъ и съ ними дванадесяти языкъ. Но, несмотря на то, что его просьба была совершенно несправедлива, онъ получилъ отказъ. Это его сильно огорчило, онъ помаячилъ еще годикъ, да и умеръ, оставивши Марьт Валеріановнъ домъ, золотыя и серебрянныя бездълушки и толстую пачку ломбардныхъ билетовъ.

Марья Валеріановна въ это время была въ Петербургѣ, куда Столыгинъ перевхалъ во время приближенія непріятеля. Домъ ихъ на Яузѣ сгорѣлъ. Морякъ отстраивалъ его медленно, потому что Столыгинъ скупился на деньги. Старикъ передъ смертью звалъ дочь проститься. Она поѣхала, но не застала его. Морякъ, имѣвшій уже свои инструкціи, распоряжался въ домѣ ея отца, какъ на кораблѣ, взятомъ въ плѣнъ. Марья Валеріановна молчала, но билеты ломбардные прибрала. Михайло Степановичъ не давалъ почти вовсе денегъ на воспитаніе сына, да и, сверхъ того, она хотѣла на всякой случай имѣть капиталъ въ своихъ рукахъ.

Это обстоятельство снова ее поссорило съ мужемъ. Переписка ихъ приняла горькій тонъ. Видя непреклонность жены, Столыгину пришла въ голову мысль воспользоваться разлукой ея съ сыномъ, чтобы поставить на своемъ.

Онъ писалъ моряку во всякомъ письмѣ, чтобы все было готово для его пріѣзда, что онъ на дняхъ ѣдетъ, и нарочно оттягивалъ свой отъѣздъ. Возвратившись, наконецъ, въ свой домъ на Яузѣ, онъ прервалъ всѣ сношенія съ Маріей Валеріановной, строго запретилъ людямъ принимать ее или ходить къ ней въ домъ. «Я долженъ былъ принять такія мѣры, говорилъ онъ, для сына; я все бы ей простилъ, но она женщина до того эгрированная, что можетъ пошатнуть тѣ фундаменты морали, которые я съ такимъ трудомъ вывожу въ сердцѣ Анатоля».

Разум'вется, ему никто не в'врилъ, кром'в моряка, да и тотъ бол'ве в'врилъ изъ дисциплины и подчиненности, нежели изъ уб'вжденія, и защищалъ Столыгина только сл'вдующимъ выразительнымъ аргументомъ. «Все же, в'вдь, какъ тамъ угодно, а она супруга Михайла Степановича, а Михайло Степановичъ, какъ бы то ни было, все же ея супругъ есть!..»

Поврежденный.

повъсть.

T.

...Въ одну очень тяжелую эпоху моей жизни, послъ бурь и утратъ и передъ еще большими бурями и утратами, встрътилъ я одно странное лицо, котораго слова и сужденія мнъ сдълались больше понятны спустя нъкоторое время.

Человъкъ этотъ попался мит на дорогъ, точно какъ эти мистическія лица чернокнижниковъ, пилигримовъ, пустынниковъ являются въ средневъковыхъ разсказахъ для того, чтобы приготовить героя къ печальнымъ событіямъ, къ страшнымъ ударамъ, впередъ примиряя съ судьбой, вооружая терпъніемъ, укръпляя думами.

Пъло было на Корниче.

Я приплыль на лодкъ изъ Ниццы въ небольшой городокъ; оттуда я собирался ъхать сухимъ путемъ, но лошади единственнаго ветурина только что воротились, надобно было имъ дать отдохнуть, по его словамъ, «два маленькихъ часа», что значило, по крайней мъръ, четыре очень большихъ. Мнъ было некуда торопиться и совершенно все равно, днемъ позже или раньше пріъду въ Теную. Я заказалъ себъ завтракъ и пошелъ бродить по берегу.

Какое счастіе, что есть на свъть полоса земли, гдъ природа такъ удивительно хороша и гдъ можно еще жить до поры до времени свободному человъку.

Когда душа носить въ себъ великую печаль, когда человъкъ не настолько сладиль съ собою, чтобы примириться съ прошедшимь, чтобы успокоиться на пониманіи, ему нужна и даль, и горы, и море, и теплый, кроткій воздухъ; нужны для того, чтобы грусть не превращалась въ ожесточеніе, въ отчаяніе, чтобы онъ не зачерствъль. Хорошій край нужнъе хорошихъ людей. Люди готовы сострадать, но почти никогда не умѣють; отъ ихъ состра-

данія становится хуже, они бередять раны, они не ловки. Сверхътого, люди бъсять или разсвивають; къ чему еще бъситься, къчему, съ другой стороны, бъжать отъ печали, это также робко и слабо, какъ глупо бъжать отъ наслажденій, когда они еще веселять.

Досадно, что я не пишу стиховъ. Ръчи объ этомъ крат необходимъ ритмъ, такъ, какъ онъ необходимъ морю, которое мърными стопами, вовъки не скончаемыхъ гексаметровъ, плещетъ въ пышный карнизъ Италіи. Стихами легко разсказывается именно то, чего не уловишь прозой... Едва очерченная и замъченная форма, чуть слышный звукъ, не совсъмъ пробужденное чувство, еще не мысль... Въ прозъ просто совъстно повторять этотъ ле-

петь сердца и шопоть фантазіи.

День былъ удивительный, жаръ только что начинался, яркое утреннее солнце освъщало маленькій городокъ, померанцовую рошу и море. Пригорокъ былъ покрытъ лѣсомъ маслинъ. Я легъ подъ старой, тѣнистой оливой, недалеко отъ берега и долго смотрѣлъ, какъ одна волна за другою шла длинной, выгнутой линіей, подымалась, хмурилась, начинала закипать и разливалась, пропадая струями и пѣной, въ то время какъ слѣдующая съ тѣмъ же важнымъ и стройнымъ видомъ хмурилась и закипала, чтобы разлиться. Намъ такъ чуждо все безкорыстное, такъ дешево все настоящее, что и въ вѣчномъ колыханіи природы человѣкъ невольно ждетъ чего-то—слѣдующей волны, развязки... Вотъ теперь, кажется, что-то да выйдетъ... Кажется, что теперь, а волна опять разлилась и шумитъ, шурстя камнями, которые утягиваетъ съ собой въ глубь, чтобы при первомъ вѣтрѣ выбросить пхъ снова на берегъ.

Волна моей жизни, думалось мнѣ, тоже перегнулась и течетъ вспять, я чувствую, какъ она отступаетъ, касается каменьевъ, дна и берега, какъ увлекаетъ меня назадъ, не обращая вниманія

ни на ушибы, ни на усталь, и нашептывая въ утъщеніе:

Погоди немного Отдохнешь и ты!

... Наша жизнь вовсе не наша, все дълается помимо насъ.

Человъкъ растеть, растеть, складывается и прежде, нежели замъчаеть, идетъ ужъ подъ гору. Вдругъ какой-нибудь ударъ будить его и онъ съ удивленіемъ видитъ, что жизнь не только сложилась, но и прошла. Онъ тутъ только замъчаетъ тягость въ членахъ, съдые волосы, усталь въ сердцъ, вялость въ чувствахъ. Помочь нечъмъ. Узелъ, которымъ организмъ связанъ и затянутъ—личность—слабъетъ. Жгучія страсти выдыхаются въ успокопвающія разсужденія, ликіе порывы въ благоразумныя отмътки,

сердце холодъеть, привыкаеть ко всему, мало требуеть, мало даеть, химическое сродство, гдъ можеть, утягиваеть составныя части въ минеральный міръ и замъняеть ихъ чъмъ-то мертвымъ, каменнымъ. Безличная мысль и безличная природа одолъвають мало по малу человъкомъ и влекуть его безостановочно на свои въчныя, неотвратимыя кладбища логики и стихійнаго бытія...

П.

... Когда я пришелъ въ гостиницу, на дворъ уже было очень жарко, я сълъ на балконъ. Передъ глазами тянулась длинной ниткой обозженная солнцемъ дорога, она шла у самаго моря, по узенькой наръзкъ, отибавшей гору. Мулы, звоня бубенчиками и украшенные красными кисточками, везли боченки вина, осторожно переступая съ ноги на ногу; медленное шествіе ихъ нарушилось дорожной каретой, почталіонъ хлопаль бичемъ и кричалъ, мулы жались къ скалистой стънъ, возчики бранились, карета, покрытая густыми слоями пыли, приближалась больше и больше и остановилась подъ балкономъ, на которомъ я сидълъ.

Почталіонъ соскочилъ съ лошади и сталъ откладывать, толстой трактирщикъ въ фуражкѣ національной гвардіи отворилъ дверцы и два раза привѣтствовалъ княжескимъ титуломъ сидѣвшихъ въ каретѣ, прежде нежели слуга, спавшій на козлахъ, при-

шелъ въ себя и, потягиваясь, сошель на землю.

Такъ сиять на козлахъ и такъ аппетитно тянутся только русскіе слуги, подумаль я и пристально посмотрѣлъ на его лицо; русые усы, сдълавшіеся свътлобурыми отъ пыли, широкій носъ, бакенбарды, пущенные прямо въ усы на половинъ лица, и особый національный характеръ всёхъ его пріемовъ уб'єдили меня окончательно, что почтенный незнакомець быль родомъ изъ какойнибудь тамбовской, нензенской или симбирской передней. Какъ ни философствуй и не клевещи на себя, но есть что-то шевелящееся въ сердив, когда вдругъ неожиданно встрвчаешь въ дальней дали своихъ соотечественниковъ. Между тъмъ изъ кареты выскочиль человёкъ лёть тридцати съ сытымъ, здоровымъ и веселымъ видомъ, который даетъ беззаботность, славное инщевареніе и не излишне развитые нервы. Онъ посадилъ на носъ верховые очки, виствшіе на шнуркт, посмотртль направо, посмотрёлъ налёво и съ дётскимъ простодушіемъ закричалъ спутнику въ каретъ:

«Чудо какое мѣсто, ей Богу, прелесть, вотъ Италія такъ Италія, небо-то, небо синее, яхонтъ? Отсюда начинается Италія!»

— «Вы это шестой разъ говорите съ Авиньона», замѣтилъ его товарищъ усталымъ и нервнымъ голосомъ, медленно выходя изъ

кареты. Это быль худощавый, высокій человікь, гораздо постарше перваго; онь почти весь быль одного цвіта, на немь быль світлозеленый пальто, фуражка изъ небіленаго батиста, подъ цвіть білокурымь волосамь, покрытымь пылью, слабые глаза его оттінялись світлыми рісницами и, наконець, лицо завялое и болізненное было больше изжелта-зеленоватое, нежели блітаное.

Печальная фигура посмотрѣла молча въ ту сторону, въ которую показывалъ его товарищъ, не выражая ни удивленія, ни

уловольствія.

«Въдь это все оливы, все оливы»,—продолжалъ молодой человъкъ.

— «Оливовая зелень прескучная и преоднообразная, возразиль свътлозеленый товарищъ,—наши березовыя рощи красивъе».

Ба, подумалъ я, да это старые знакомые, это Ноздревъ и Межуевъ, переложенные на новые нравы и ъдуще не въ Замани-

ловку, а въ Сенъ-Ремо.

Молодой человъкъ покачалъ головой, какъ будто хотълъ сказать: неисправимъ, хоть брось! и взглянулъ наверхъ. Лицо его показалось мнъ знакомо, но сколько я ни старался, я не могъ припомнить, гдъ я его видътъ. Русскихъ вообще трудно узнавать въ чужихъ краяхъ, они въ Россіи ходятъ по-нъмецки безъ бороды, а въ Европъ по-русски, отращивая съ невъроятной скоростью бороду.

Мит не пришлось долго ломать головы. Молодой человъкъ съ тъмъ добродущиемъ и съ той беззаботной сытостью въ выражении, съ которыми радовался оливамъ, бъжалъ ко мит и кричалъ

по-русски:

«Вотъ не думалъ, не гадалъ—истинно говорятъ: гора съ горой не сходится... Да вы меня, кажется, не узнаете? Старыхъ знакомыхъ забывать стали?»

— Теперь-то очень узнаю; вы ужасно перемѣнились: и борода, и растолстѣли, и похорошѣли, такіе стали кровь съ молокомъ.

«Іп corpore sano, mens sana, отвѣчаль онь, отъ души смѣясь и показывая рядъ зубовъ, которому бы позавидовалъ волкъ,—и вы перемѣнились, постарѣли... А что? жизнь-то кладетъ свои нарѣзки? Впрочемъ, мы четыре года не видались; много воды утекло съ тѣхъ поръ».

— Не мало. Какъ вы сюда попали?

«Ъду съ больнымъ...»

Это быль лекарь московскаго университета, исправлявшій нівкогда должность прозектора; літь пять передь тімь, я занимался анатоміей и тогда познакомился съ нимь. Онъ быль добрый, услужливый малой, необыкновенно прилежный, усердно занимавшійся наукою à livre ouvert, т. е. никогда не ломая себъ головы ни надъ однимъ вопросомъ, который не былъ разръшенъ другими, но отлично знавшій всъ разръшенные вопросы.

— A! такъ этотъ зеленый товарищь вашъ больной; куда же вы его пѣли?

«Это такой экземиляръ, что и въ Италіи у васъ не скоро сыщень. Вотъ чудакъ-то. Машина была хороша, да немного повредилась (при этомъ онъ показалъ нальцемъ на лобъ), я и чиню ее теперь. Онъ шелъ сюда, да чортъ меня дернулъ сказать, что я васъ знаю, онъ перепугался; ипохондрія, доходящая до маніи: иногда онъ цёлые дни молчить, а иногда говорить, говоритьтакія вещи, ну просто волосъ дыбомъ становится, все отвергаетъ, все, оно ужъ здакъ черезъ край; я самъ, знаете, не очень бабымъ сказкамъ върю, однакожъ все же есть что-то. Впрочемъ, онъ претихой и предобрый; ему вхать за границу вовсе не хотёлось. Родные уговорили, знаете, съ рукъ долой, ну да и языка-то его побаивались, - лакеи, дворники все на откупу у полиціи, поди тамъ оправдывайся. Ему хотьлось въ деревню, а имъніе у него съ сестрой неділеное; та и перепугалась коммунизмъ, говоритъ, будетъ мужикамъ пропов'єдывать, тутъ и собирай недоимку. Наконецъ, онъ согласился бхать, только непременно въ южную Италію, Magna Grecia! Отправляется въ Калабрію и вашъ покорный слуга съ нимъ въ качествъ лейбъ-медика. Помилуйте, что за м'єсто, тамъ, кром'є бандитовъ да поновъ, челов'єка не найдешь; я воть провздомь въ Марселв купиль себв пистолетьревольверъ, знаете, четыре ствола такъ повертываются».

— Знаю. Однакожъ, должность ваша не изъ самыхъ веселыхъ:

быть безпрестанно съ сумасшедщимъ.

«Въдь, онъ не въ самомъ дълъ на стъну лъзетъ или кусается. Онъ меня даже любитъ но своему, хотя и не дастъ слова сказать, чтобы не возразить. Я, впрочемъ, совершенно доволенъ; получаю тысячу серебромъ въ годъ на всемъ готовомъ, даже сигарокъ не покупаю. Онъ очень деликатенъ, что до этого касается. Чего-нибудь стоитъ и то, что на свътъ посмотришъ. Да, послушайте, надобно вамъ показать моего чудака».

— Богъ съ нимъ совсѣмъ. Кстати, вы не только другихъ не знакомъте, но и сами будьте осторожны, со мной вѣрноподданнымъ дозволяется только грубить, а не то, васъ, пожалуй, послѣ возвращенія изъ Италіи въ такую Калабрію пошлють, гдѣ ни поповъ, ни разбойниковъ нѣтъ. А, можетъ быть, и реддіо—такое зададутъ агреддіо.

«Ха, ха, ха—экъ языкъ-то, языкъ, все тотъ же, все съ ядомъ, все бы кусаться, вотъ небось этого не забыли—arpeggio. Не боимся мы, наше дъло медицинское; ну, позовутъ къ Леонтію Васильевичу, что же? Я скажу откровенно: помилуйте, генераль, на дорогѣ встрѣтиль человѣка, безъ живота лежитъ, не можетъ дальше ѣхать, ну, я ему лауданума съ мятой далъ, это обязанность званія, долгь человѣчества. Онъ, вѣдь, и пойметъ, что это вздоръ, ну, да умный человѣкъ, скажетъ: ну, впередъ будьте осторожны, я говорю для вашего собственнаго блага, это отеческій совѣтъ,—такъ и отпуститъ. Нынче у насъ какъ-то меньше смотрятъ за этимъ, ей-Богу; у Излера пресса лежитъ такъ, какъ Петербургскія вѣдомости, просто на столѣ лежитъ».

— И притомъ еще отборные нумера, не такъ, какъ здѣсь сплошь да рядомъ.

«Смъйтесь, смъйтесь, много небось вы здъсь выиграли февральской революціей?»

— У... у... да вы преопасный человѣкъ, вы ужъ разрѣшили эдакъ о мятежахъ и злоумышленникахъ говорить,—смотрите, до добра это не доведеть.

«Я притащу моего паціента,—ну, что вамъ въ самомъ дѣлѣ, черезъ часъ разъѣдитесь; онъ предобрѣйшій человѣкъ и былъ бы преумный».

— Если-бъ не сошель съ ума.

«Это несчастіе... вамъ, ей Богу, все равно, а ему разсъяніе и нужно и нолезно».

— Вы уже меня начинаете употреблять съ фармацевтическими цѣлями, замѣтилъ я, но лекарь уже летѣлъ по коридору.

Я не подчинился бы его желанію и его русской распорядительности чужою волею, но меня, наконецъ, интересоваль свътловеленый коммунистъ-помѣщикъ и я остался его ждать.

Онъ взошелъ робко и заствичиво, кланялся мив какъ-то больше, нежели нужно, и нервно улыбался. Чрезвычайно подвижные мускулы лица придавали странное и неуловимое колебаніе его чертамъ, которыя безпрерывно м'внялись и переходили изъ грустно печальнаго въ насм'вшливое, а иногда даже въ простоватое выраженіе. Въ его глазахъ, по большей части никуда не смотр'ввшихъ, была зам'втна привычка сосредоточенности и большая внутренняя работа, подтверждавшаяся морщинами на лбу, которыя вс'в были сдвинуты надъ бровями. Не даромъ и не въ одинъ годъ мозгъ выдавилъ черезъ костяную оболочку свою такой лобъ и съ такими морщинами, не даромъ и мускулы лица сдѣлались такими подвижными.

«Евгеній Николаевичь, говориль ему лекарь, позвольте вась познакомить. Представьте, какой странный случай, воть гдѣ встрѣтился—старый пріятель, съ которымъ вмѣстѣ кошекъ и собакъ рѣзали».

Евгеній Николаевичь улыбался и бормоталь:—«Очень радъ... случай... такъ неожиданно... вы извините».

«А помните, продолжалъ лекарь, какъ мы собаченкъ сторожа Сычева переръзали иневмогастрическій нервъ,—закашляла голубушка».

Евгеній Николаевичь сдёлаль гримасу, посмотрёль въ окно и, откашлянувь раза два, спросиль меня:

- «Вы давно изволили оставить Россію?»
- Пятой годъ.
- «И ничего, привыкаете къ здёшней жизни?» спросилъ Евгеній Николаевичь и покраснёль.
 - -- Ничего.
 - «Да-съ, но очень непріятная, скучная жизнь за границей». «И въ границахъ», прибавиль развязный лекарь.

Вдругъ, чего я никакъ не ожидалъ, мой Евгеній Николаевичъ покатился со смѣху и, наконецъ, послѣ долгихъ усилій, усиѣлъ настолько успокоиться, чтобы сказать прерывающимся голосомъ:

- «Воть, Филиппъ Даниловичъ все со мной спорить, ха, ха, ха... Я говорю, что земной шаръ или неудавшаяся планета, или больная; а онъ говорить, что это пустяки; какъ же послѣ этого объяснить, что за границей и дома жить скучно, противно», и онъ опять расхохотался до того, что жилы на лбу налились кровью. Лекарь лукаво подмигнулъ мнѣ съ такимъ видомъ превосходства, что мнѣ стало его ужасно жаль.
- «Отчего же не быть больнымъ планетамъ,—спросиль пресерьезно Евгеній Николаевичъ,—если есть больные люди?»

«Оттого, отвѣчалъ лекарь за меня, что планета не чувствуетъ; гиѣ нѣтъ нервовъ, тамъ нѣтъ и боли».

— «А мы съ вами что? Да для болъзни нервовъ и не нужно, бываетъ же виноградъ боленъ и картофель? Я того и смотрю, что земной шаръ или лопнетъ, или сорвется съ орбиты, полетитъ. Какъ это будеть странно, и Калабрія, и мы съ вами, Филиппъ Паниловичъ, все полетить и вашего пистолета не нужно будетъ». — Онъ снова расхохотался и въ ту же минуту продолжалъ съ страстной настойчивостію, обращаясь ко мнъ: «Такъ жить нельзя, въдь, это очевидно налобно, чтобы что-нибудь да сдълалось; лучше планеть съизнова начать; настоящее развите очень неудачно, есть какой-то фаутъ. При составъ, что-ли, или когда мѣсяцъ отдѣлялся, что-то не сладилось, все идетъ съ тѣхъ поръ не такъ, какъ слъдуетъ. Сначала болъзни были острыя; каковъ быль жаръ внутренній во время геологическихъ переворотовъ! Жизнь взяла верхъ, но болъзнь оставила слъды. Равновъсіе потеряно, планета мечется изъ стороны въ сторону. Сначала ударилась въ количественную нелъпость; ну, пошли ящерицы съ домъ величины, папоротники такіе, что однимълистомъ экзерциргаусъ покрыть можно, ну, разумъется, все это перемерло, какъ же такимъ нелъпостямъ жить? Теперь въ качественную сторону пошло,—еще хуже: мозгъ, мозгъ, нервы, развивались, развивались до того, что умъ за разумъ зашелъ. Исторія стубитъ человъка, вы, что хотите, говорите, а увидите—сгубитъ».

Послъ этой выходки Евгеній Николаевичь замолчаль. Подали завтракь, онъ очень мало бль, очень мало пиль и во все время ничего не говориль, кромѣ «да» и «нѣть». Передъ концомъ завтрака онъ спросиль бордо, налиль рюмку, отвѣдаль и поставиль

ее съ отврашениемъ.

«Что, спросилъ лекарь, видно скверное?»

— «Скверное», отвічаль націенть, и лекарь принялся стыдить трактиршика, бранить слугу, удивляться корыстолюбію людей, ихъ эгоизму, упрекаль въ томъ, что трактиршики беруть 35 процентовъ и все-таки обманывають.

Евгеній Николаевичь равнодушно зам'ятиль, что онъ не понимаєть, за что сердится лекарь, что онъ, съ своей стороны, не видить, отчего трактирщику не брать 65 процентовъ, если онъ можеть, и что онъ очень умно дѣлаетъ, продавая скверное вино, пока его покупаютъ.

Этимъ нравственнымъ замъчаніемъ кончился нашъ завтракъ.

III.

Поврежденный съ самаго перваго разговора удивилъ меня независимою отватой больного ума. Онъ былъ явнымъ образомъ «надломленъ» и, хотя лекарь увърялъ меня, что онъ во всю жизнь не имътъ ни большого несчастія, ни большихъ потрясеній, я плохо върилъ въ психологію моего добраго прозектора.

Мы побхали вмъстъ въ Геную и остановились въ одномъ изъ дворцовъ, разжалованныхъ въ нашъ мъщанскій въкъ въ отели. Евгеній Николаевичъ не показывалъ ни особеннаго интереса къ моимъ бесъдамъ, ни особеннаго отвращенія отъ нихъ. Съ докто-

ромъ онъ безпрестанно спорилъ.

Когда темныя минуты ппохондріи подавляли его, онъ удалялся, запирался въ комнать, рѣдко выходилъ, былъ желто-блѣденъ, дрожалъ какъ въ ознобѣ, а иногда, казалось, глаза его были заплаканы. Лекарь побаивался за его жизнь, бралъ глупыя предосторожности, удалялъ бритвы и пистолеты, мучилъ больного разводящими и ослабляющими нервы лекарствами, сажалъ его въ теплую ванну съ ароматической травой. Тотъ слушался съ желчной и озлобленной страдательностью, возражая на все и все исполняя, какъ избалованное дитя.

Въ свътлыя минуты онъ былъ тихъ, мало говорилъ, но вдругъ ръчь его неслась какъ изъ прорвавшейся плотины, перерываемая спазматическимъ смъхомъ и нервнымъ сжатіемъ горла, и нотомъ скошенная середь дороги, она останавливалась, оставляя слушавшаго въ тоскливомъ раздумьи. Его странныя парадоксальныя выходки казались ему легкими, какъ таблица умноженія. Взглядъ его дъйствительно былъ въренъ и послъдователенъ тъмъ произвольнымъ началамъ, которыя онъ бралъ за основу.

Онъ много зналь, но авторитеты на него не имъли ни малѣйшаго вліянія, это всего болѣе оскорбляло хорошо учившагося лекаря, который ссылался, какъ на окончательный судъ, на

Кювье или на Гумбольдта!

— «Да отъ чего миѣ—возражалъ Евгеній Николаевичь—такъ думать, какъ Гумбольдтъ. Онъ умный человѣкъ, много ѣздилъ, интересно знать, что онъ видѣлъ и что онъ думаетъ, но меня-то это не обязываетъ думать, какъ онъ. Гумбольдтъ носитъ синій фракъ,—что-же и миѣ носить синій фракъ? Вотъ, небось, Мопсею такъ вы не върите».

«Знаете-ли, говорилъ глубоко уязвленный докторъ, обращая ръчь ко мнъ, что Евгеній Николаевичъ не видитъ разницы между

религіей и наукой,—что скажете?»

— «Разницы нътъ—прибавилъ тотъ утвердительно, развъ то, что они одно и то же говорятъ на двухъ наръчіяхъ».

«Да еще то, что одна основана на чудесахъ, а другая на

умѣ, одна требуетъ вѣры, а другая знанія».

— «Ну, чудеса-то тамъ и тутъ, все равно, только что религія идеть отъ нихъ, а наука къ нимъ приходитъ. Религія такъ ужъ откровенно и говоритъ, что умомъ не поймешь, а есть, говоритъ, другой умъ поумиѣе, тотъ молъ сказывалъ вотъ такъ и такъ. А наука обманываетъ, воображая, что понимаетъ какъ;... а въ сущности, и та и другая доказываютъ одно, что человѣкъ неспособенъ знать всего, а такъ кое-что таки понимаетъ; въ этомъ сознаться не хочется, ну, по слабости человѣческой, люди и вѣрятъ, одни Моисею, другіе Кювье; какая повѣрка тутъ? Одинъ разсказываетъ, какъ Богъ создавалъ звѣрей и траву, а другой—какъ ихъ создавала жизненная сила. Противуположность не между знаніемъ и откровеніемъ въ самомъ дѣлѣ, а между сомнѣніемъ п принятіемъ на вѣру.

«Да на что же мит принимать на втру какія-нибудь патологическія истины, когда я ихъ умомъ вывожу изъ законовъ организма?»

— «Конечно, было бы не нужно, да въдь ни вы, и никто другой не знаетъ этихъ законовъ, ну, такъ оно и приходится върить, да помнить».

Въ мірѣ не было человѣка менѣе способпаго ладить съ нашимъ чудакомъ, какъ лекарь; онъ вовсе не былъ глупъ, но принадлежалъ къ числу тѣхъ свѣтлыхъ, практическихъ умовъ, умовъ подкожныхъ, такъ сказать, которые дальше разсудочныхъ категорій и общепринятыхъ мнѣній не только не идутъ, но и не могутъ идти. Онъ удивлялся, какъ я могъ иной разъ артистически наслаждаться разговорами Евгенія Николаевича и брать его сторону; я утѣшалъ его, говоря: «свой своему поневолѣ братъ».

«Однако, нъкоторые законы организма намъ извъстны», воз-

ражалъ защитникъ наукъ.

— «Какіе же, напримъръ?»

«Мало ли, я не знаю, — да чтобы далеко не искать — вотъ

вамъ общій законъ, все родившееся должно умереть».

— «Зачъмъ же? возразилъ Евгеній Николаевичь,—что за долгъ умирать? Да это и не законъ, это такъ, фактъ, внутренней необходимости никакой нътъ въ смерти; неужели вы думаете, что медицина не дойдетъ до того, чтобы продолжать жизнь до безконечности?»

При этомъ вопросъ и я, гръшный человъкъ, взглянулъ на него

почти такъ же, какъ докторъ.

— Я много встрівчать людей, замітиль я въ свою очередь, візрющихь и не візрющихь въ безсмертіе души, но вы нервый,

который не върите въ смертность тъла.

— «Какъ не върить, я не то говорю, — я только не вижу никакой серьезной необходимости въ смерти. Жить значитъ ъсть окружающее; если нища будетъ поддерживать химическій процессъ, онъ и продолжится. Если пища будетъ мъшать костямъ каменъть, хрящу дълаться костью, крови становиться гуще или жиже, нежели надобно, на что же умирать? Родившееся должно жить; оно умираетъ не потому, что родилось, а потому, что не ту пищу нужно. Слъдуетъ ли теперь изъ того, что мы плохіе повара, что смерть нельзя удалить на безконечное время? Жизнь лучше не проситъ, какъ продолжаться».

«Со стороны послушаешь, точно будто и дёло—сказалъ Филиппъ Даниловичъ.—А вотъ какъ намъ быть съ этимъ, если медицина дойдетъ до того, что людей будутъ лечить отъ смерти; а планета, которая по вашему сильно хиръстъ, совсъмъ зачахнетъ и умретъ. Странное будетъ положеніе, переъзжать придется на

луну, или прямо на Венеру».

Вопросъ этотъ нѣсколько смутилъ Евгенія Николаевича, онъ задумался, походилъ по комнатѣ и потомъ съ видомъ человѣка, доискавшагося до важнаго разрѣшенія, отвѣтилъ:

— «Tout bien pris, бользнь не такъ глубока, я, можетъ, ошибался; во-первыхъ, ужъ то хорошо, что бользнь спеціальнаяодинъ только родъ человъческій сю поражень. Да и родъ-то человъческій не весь боленъ. Это мъстная бользнь, эндемическая въ одной Европъ. Такъ, какъ холера идетъ съ береговъ Инда, чума съ береговъ Нила, желтая лихорадка съ устьевъ Миссисипи, такъ бользнь историческаго развитія идетъ изъ Европы. Какъ только люди коснутся этой проклятой земли, такъ ихъ мозгъ и поражается бользнію. Съ пелазговъ, съ грековъ начиная и до нашего времени. Англія разнесла заразу по всему земному шару. Чего, Австралія совсьмъ негодный материкъ, и тотъ не оставляють въ поков. Въ Африкъ жить нельзя европейцу, такъ по закраинъ поселились, — вотъ вамъ за холеру, да за чуму; это ужъ не зубъ за зубъ, а челюсть за зубъ».

— Вы такъ разсуждаете, сказалъ я ему, шутя и взявъ его за

обѣ руки...

— «Не обвиняйте меня, пожалуйста, не обвиняйте, возразиль онъ съ чувствомъ, и не шутите надъ моими мыслями. Я самъ шутилъ надъ Руссо, и знаю, какъ Вольтеръ ему писалъ, что учиться ходить на четверенькахъ поздно. Трудомъ тяжелымъ и мученическимъ дошелъ я до того, что понялъ, откуда все зло, понялъ, и самъ оробълъ; я никому не говорилъ, молчалъ, но когда страданія и плачъ людей становились громче и громче, зло очевиднѣе и очевиднѣе, тогда я пересталъ прятатъ истину. Мы погибшіе люди, мы жертвы вѣковыхъ отклоненій и платимъ за грѣхи нашихъ праотцевъ, гдѣ насъ лечить! Будущія-то поколѣнія, можетъ, опомнятся».

«Итакъ, à la fin des fins, выздоровление человъка начнется тогда, когда вмъсто прогресса люди пойдутъ всиять, съ цълью зачислиться со временемъ въ орангъ-утанги», сказалъ лекарь.

закуривая свѣжую сигару.

— «Приблизиться къ животнымъ пе мѣшаетъ, послѣ неудачныхъ опытовъ сдѣлаться ангелами. Всѣ звѣри разсчитаны по средѣ, въ которой жить должны, перестановки почти всегда гибельны. Рѣчная вода для насъ пріятнѣе и чище морской, а пустите въ нее какого-нибудь морского моллюска,—онъ умретъ. Человѣкъ вовсе не такъ богато одаренъ природой, какъ воображаетъ; болѣзненное развитіе его нервовъ и мозга увлекаетъ его въ жизнь ему несвойственную, высшую, въ ней онъ гибнетъ, чахнетъ, мучится. Гдѣ люди переломили эту болѣзнь, тамъ они успокоились, тамъ они довольны и были бы счастливы, если бы ихъ оставили въ покоѣ. Посмотрите на эти ряды поколѣній гдѣнибудь въ Индіи, природа имъ дала все съ избыткомъ, язва государственной и политической жизни прошла, болѣзненное преобладаніе ума надъ другими отправленіями организма утихло; всемірная исторія ихъ забыла, и они жили такъ, какъ людямъ

хороіно живется, такъ, какъ людямъ возможно жить, до проклятой Остъ-Индской кампанін, которая все перепортила».

«Впрочемъ, замѣтилъ лекарь, толца почти такъи у насъ живетъ».

- «Это было бы важнъйшее доказательство въ мою пользу, то, что вы называете толной, это-то и есть человъческій родъ; но толить не дають жить такъ, какъ она хочетъ, —вотъ бъда-то въ чемъ. Снизу кишить задавленное работой, изнуренное голодомъ населеніе, сверху вянеть и выбивается изъ силь другое населеніе, задавленное мыслію, изнуренное стремленіями, на которыя такъ же мало отвъта, какъ мало хлъба на голодъ бъдныхъ. А между этими двумя бользнями, двумя страданіями, между лихорадкой оть другой жизни и чахоткой оть сумасшедшихъ нервъ, между ними лучшій цвіть цивилизацій, ся балованныя діти, единственные люди, кой-какъ наслаждающіеся, кто же они? Наши помізщики средней руки и здѣшніе лавочники. Но природа себя въ обилу не даетъ... Она клеймить за измѣну не хуже всякаго палача... продолжалъ онъ, ходя по комнатъ, и вдругъ остановился передъ зеркаломъ.—Ну, посмотрите на эту рожу—ха, ха, ха, въдь это ужасно, сравните любого крестьянина нашего со мной, новая varietas, которую Блуменбахъ проглядълъ, «кавказско-городская», къ ней принадлежать чиновники и лавочники, ученые, дворяне и вст эти альбиносы и кретины, которые населяютъ образованный міръ, —племя слабос, безъ мышцъ, въ ревматизмѣ, и при томъ глупое, злое, мелкое, безобразное, неуклюжее-точь въ точь я, старикъ въ тридцать пять лътъ безпомощный, ненужный, который провель всю жизнь какъ крессъ-салатъ, вырощенный зимой между двухъ войлоковъ, --фу, какая гадость! Нътъ, нъть, такъ продолжаться не можеть, это слишкомъ нельно, слишкомъ гнило. Къ природъ... Къ природъ на покой, -- полно строить и перестраивать вавилонскую башню общественнаго устройства; оставить ее да и кончено, полно домогаться невозможныхъ вещей. Это хорошо влюбленнымъ дівочкамъ мечтать о крыльяхъ, von einer besseren Natur, von einem andern Sonnenlichte. Пора домой на мягкое ложе, приготовленное природой, на свъжій воздухъ, на дикую волю самоуправства, на могучую свободу безначалія».

«Такъ это уже просто въ разсыпную по лѣсамъ?» замѣтилъ Филиппъ Паниловичъ.

- «Люди всегда будуть жить стадами», отвѣтилъ докторально нашъ чудакъ.
- Евгеній Николаевичь—прибавиль я—а, в'єдь, какъ люди-то надують философію исторіи и ученіе о совершенствованіи, когда они вылечатся отъ хронической бользни historia morbus и начнуть жить мирными стадами?

— «Да, да, съ восторгомъ подхватилъ онъ — Кондорсе-то съ своей книжкой. ха! ха!»

И Евгеній Николаевичъ, раскраснѣвшійся въ лицѣ, съ жилами, налившимися кровью на лбу, вдругъ сморщился, сдѣлалъ серьезный видъ и упорно замолчалъ.

IV.

— Вы тамъ что ни толкуйте, Филиппъ Даниловичъ, а въ исторіи вашего больнаго есть какія-нибудь странныя событія, сказаль я разъ доктору, гуляя съ нимъ по мраморной террасъ у моря.

«Ну, да какъ не быть чего-нибудь, кто же до тридцати пяти лътъ доживалъ безъ какихъ-нибудь непріятностей».

— Какія же, однако, были у него непріятности?

«Я важнаго ничего не знаю. Вы сами видите, какой организмъ, нервы почти наружъ, всякая всячина его раздражаетъ, крови нътъ, отъ природы слабъ, пищеварение скверное, матери было за сорокъ лътъ, когда онъ родился, да еще по смерти отца, форсенсомъ полуживого постали. А тутъ петербургскій климать. богатство, англійская болізнь, глупое холенье довоснитали. Съ родными онъ никогда особенно близокъ не бывалъ; оно и не мудрено, онъ давно уже занимается бользнію земного шара, и излеченіемъ рода челов'вческаго отъ исторіи, а тіз думають, какъ бы побольше пенегъ слупить съ крестьянъ. Разумбется, хозяйство шло у него черезъ пень-колоду; сестра жила на его счетъ, и теперь на его счеть всю семью содержить, да это его и не заботить, благо конца нъть деньгамъ. Сначала, говорятъ, онъ жилъ покойно, занимался науками, не выходиль почти никогда изъ своей половины, пристрастился къ музыкъ, читалъ всякую всячину, только на службу никакъ не хотълъ. Потомъ говорили, какая-то дъвчонка обманула его и обобрала. Онъ все становился насмурнъе, тяжеле для окружающихъ, ипохондрія развивалась, они его и спровадили».

— Какая же это девчонка его обманула?

«У васъ такъ ужъ въ головѣ и вертятся Вертеръ и Шарлотта, письма, пистолеты, —мечтатели и вы страшные; успокойтесь, исторія эта очень проста, Шарлотта была сестрина горничная. Онъ презастѣнчивой и отроду не подходилъ близко къ женщинѣ, не знаю ужъ, какъ тамъ ихъ Богъ свелъ, только говорятъ, онъ ее любилъ, воображалъ, что чудо открылъ, кантатрису, а она какъ-то, сговорившись съ любовникомъ, обокрала его, —вотъ вамъ и весь романъ. Я видѣлъ ее передъ отъѣздомъ, такъ, неважная, а впрочемъ недурна, если-бъ мы дольше остались въ Петербургѣ, я, такъ и быть, приволокнулся бы за ней».

Больше я не могь ничего добиться отъ моего патолога; мнѣ было досадно, что онъ, такъ шграя, скользить по жизни, досадно, а, можетъ, и завилно...

Стройная, высокая генуэзска въ черномъ платъв и покрытая былымъ, длиннымъ, прикрвпленнымъ къ косв вуалемъ, шмыгнула мимо насъ, незамътно улыбнулась, прищурила глаза и быстро прошла. Ан che bellezza, che bellezza! закричалъ лекаръ. Она обернуласъ и поблагодарила его тъмъ граціознымъ, легкимъ, чисто итальянскимъ движеніемъ руки, которымъ они кланяются, и, какъ будто этого было мало, кивнула своей прекрасной головкой. Лекарь бросился за ней.

Я оставилъ его и пошелъ въ Stabilimento della Concordia.

Это самое изящное, самое красивое кафе во всей Европъ. Тамъ, бродя между фонтанами, цвътами, при гремящей музыкъ и ослъпительномъ освъщении, переходя изъ мраморныхъ залъ въ садъ и изъ саду въ залы, разкрытыя al fresco, середь энергическихъ, вороныхъ головъ римскихъ изгнанниковъ, середь безконечныхъ савойскихъ усовъ и генуэзскихъ породистыхъ красавицъ, я продолжалъ думать о поврежденномъ.

Вспоминая его рѣчи и разсказъ лекаря, я пошелъ къ одному изъ маленькихъ столиковъ въ саду и спросилъ граниту. Увидя меня, человѣкъ, сидѣвшій за ближнимъ столомъ, поспѣшно всталъ, выпилъ наскоро свою рюмку росоліо и собрался уйти. Это былъ слуга Евгенія Николаевича, который такъ по-русски тянулся на козлахъ.

- Для чего-жъ вы это идете? Я вамъ не мѣшаю, ни вы мнѣ.
- Помилуйте-съ, отвъчалъ Спиридонъ, снявши шляпу,—оно нашему брату не приходится, то есть съ господами.
- Вѣдь, вы теперь не въ Петербургѣ и не въ Москвѣ. Пожалуйста, надѣньте вашу шляпу и останьтесь, или я уйду.

Онъ остался и надълъ шляпу, но садиться не хотълъ никакъ.

- Да, въдь, вы сидъли же прежде меня, почемъ вы знаете, кто были ваши сосъди, можеть князья какіе-нибудь? спросилъ я.
- Это точно-съ. Но, въдь, вы русскіе, а тъ что же—тальянцы-съ.
- Voilà mon homme, подумалъ я, и потребовалъ у камеріера графинчикъ марсалы и двѣ рюмки.
- Что это вашъ Евгеній-то Николаевичъ здоровьемъ эдакъ разстроенъ; жаль его, такой, кажется, хорошій человѣкъ.
- Это-съ, нозвольте вамъ доложить, такихъ господъ нарѣдкость, самый душевной-съ характеръ. Какъ же не жаль-съ, оченно даже жаль; мыслями все разстроиваются... такой нравъ-съ. Все изволютъ къ сердцу брать и никакой отрады не имѣютъ. Бывало, когда имъ на душѣ не хорошо сдѣлается, сядутъ за кла-

викордъ, —то есть такъ играли, что не уступятъ любому музыканту въ александрынскомъ оркестъ. Господа, прекрасно одътые, барыни, настоящія, останавливались иной разъ на улицъ. Бывало, въ передней сидишь, сердце радуется, каково нашъто отличается. Иногда такъ жалобно играютъ, что даже истома возьметь, —отмънно играли. Ну, впрочемъ, какъ оставили музыку, такъ больше стали сбиваться, по нашему замъчанію.

— Да развѣ онъ совсѣмъ не игралъ дома послѣднее время?

— Больше двухъ годовъ-съ. Разъ Софія Николаевна, сестрица ихъ, бымши въ ихъ комнатъ, отворили клавикордъ и такъ взяли одну акорду: «Вечеркомъ красна дъвица». А Евгеній Николаевну только глухо сказали: «Зачъмъ это вы, сестрица, Боже мой». Да такъ, какъ пластъ и упали, потомъ сдълались спазмы, слезы и смъхъ-съ,—съ полчаса продолжалось. Дохтуръ говоритъ: нервы у нихъ такъ разстроены, не могутъ слышать музыки. Такъ съ тъхъ поръ нашъ домъ и замолкъ-съ. А имъ все хуже; въ лицъ много перемъны, старъютъ... Такъ жаль, что сказатъ нельзя, больше все молчатъ, а иногда слово одно скажутъ: «Ты усталъ чай, Спиридонъ, поди-ка да лягъ», такимъ трогательнымъ голосомъ и взглядъ такой добрый у нихъ сдълается, и видно самимъ-то имъ плохо, наболъло на сердцъ; вотъ тъ и богатства и все,—иной разъ доложить вамъ откровенно слеза прошибетъ.

— Мнъ Филиппъ Даниловичъ говорилъ, что у Евгенія Ни-

колаевича какая-то исторія была съ горничной.

— Дъло точно было-съ. И она, эта самая Ульяна, доводится митъ сродни, племянница, сестрина дочь. Наварила каши, чего сама не стоитъ,—а добръйшая душа была, ей-Богу-съ. Жаль, что баринъ тогда такъ къ сердцу приняли и огорчились. Просто дуру слъдовало проучить и все тутъ; и она благодарить стала бы потомъ, ей всего было лътъ восьмнадцать, какой умъ въ эти лъта, къ тому же баловство-съ.

— Да въ чемъ же дъло-то?

— Извольте видёть, Ульяна эта у Софіи Николаевны при комнатѣ находилась, и барыня ее жаловали, умница такая была. Былъ у насъ тоже-съ человѣкъ Өедоръ, человѣкъ пьющій, но впрочемъ играль на скрынкѣ отмѣню; только рука ужъ очень дрожала отъ горячихъ напитковъ, а чести былъ примѣрной. Вотъ Өедоръ этотъ возьми и обучи пѣсни пѣть Ульяну, голосомъ она брала-съ и на музыку препонятливая. Такъ это шло годъ, другой и никто подумать не могъ, что за катавасія выйдетъ. Баринъ нашъ слышали нѣсколько разъ, какъ Ульяна поетъ, и говорятъ сестрицѣ: вѣдъ, это кладъ, дайте ей, молъ, вольную, а я ее пѣвицей сдѣлаю. Вотъ извольте замѣтить, какая душа, не хотѣли, чтобы, обучимшись, крѣпостной осталась. Сестрица имъ въ глаза

смотрили: «сейчасъ, молъ, Енюша», и отпускную совершила. Учитель холилъ изъ нѣмповъ, иной разъ съ нами вступалъ въ разговоръ, шинель когла полаешь или что, пріостановится, не гордой, быль простой. —воть какъ вы теперь изволите примфромъ со мной разговаривать, -ну, говорилъ онъ, а помъщикъ вашъ въ музыкъ собаку съъль, мнъ у него учиться приходится и голось у фрейленъ Юльхенъ оченно прекрасенъ; да и глаза-то у нея не лурны, философъ-то вашъ знаетъ, габ раки зимуютъ. Ну. такъ, бывало, посмъемся иля балагурства, а то въ самомъ-то пълъ онь у насъ велъ себя, какъ красная пъвина, только къ неркви не быль прибъженъ и постовъ не соблюдаль. Однако, мы стали замьчать ужъ и промежь себя, что Евгеній Николаевичь очень руководствуются Ульяной. Ужъ и сестрина-то перепужались, что, моль, много води забереть. Но только она никому вреда никогла не дълала и смысла не имъла о томъ; такъ пътской, пустой нравъ. безъосновательной, - поеть себъ, бывало, день-деньской да конфеть накупить, а грубаго слова никто не слыхаль, со всёми преласковая была. Къ тому случаю у Евгенія Николаевича буль камердинеромъ Архинъ. Съ дътства при нихъ состоялъ, только быль года четыре помоложе, казачкомъ такъ поступилъ съ малольтства къ Евгенію Николаевичу на половину. И кто его знасть. какой человъкъ, не то что дурной, а безалаберной и нерегулярной. Пить пойдеть, весь домь поить по положенія ризь и съ себя все спустить, часы, жилетку, исподнее. Баринъ его жаловали очень, съ детства, напримеръ, росли вместе и, что ему давали, невероятно, они же забывчивы. Евгеній Николаевичь ему върили, какъ самому себъ. Вотъ этотъ самый Архипъ и сбиль съ толку Ульяну. Мудрено ли глупую дѣвку съ ума свести, а ужъ это до добра въ дом' никогда не доводить; на сторон' разв' мало есть, слава Богу, этого снадобья довольно, Петербургъ не клиномъ сошелся. Сначала все шло благополучно, вдругъ только случись такая бъда, что у насъ въ домъ отродясь не бывало: у барина изъ шкатунки пропало двѣ тысячи рублевъ. Евгеній Николаевичъ, изволите видать сами, какой человъкъ, самый безсчетный, они бы, можеть, и не догадались, но деньги-то сибдовало сестрицъ отдать, они ихъ и приготовили съ вечера, утромъ хвать-похвать, а денегъ нътъ. Поднялся въ домъ гвалтъ, Архинъ нашъ суетится, ищеть, платья швыряеть, волосы на себф рветь—денегь нфть. Баринъ-то и ничего, словно не его дъло, но Софія Николаевна расходилась, говорить, --это дело Өедьки музыканта, онъ все пьянъ, откуда деньги беретъ. Такъ-съ женское разсужденіе, видите—на вино эдакой кушъ укралъ. Взялъ я смѣлость и говорю: вы меня простите, барыня, а только Өедөръ человъкъ слабый, точно, но воромъ не будеть, я его съ малолетства знаю. Ты, говорить, молчи, да за себя отвѣчай, и Өедора отправили при запискѣ во вторую адмиралтейскую. Жаль мнѣ стало старика, такъ, мочи нѣтъ, сошелъ я въ людскую, да и говорю: ребята, если воръ дома, слѣдуетъ его сыскать и выдать, а стараго человѣка и невиннаго не приходится отдать на терзаніе, хоша на то и барская воля, но мы, въ очистку себя и его, вора поймать должны. Всѣ наши говорятъ въ одно слово, какъ не сыскать вора, коли дома. Ну, думаю, постой, не уйдешь ты, голубчикъ, отъ нашего глаза, а самъ ношелъ наверхъ и присматриваюсь часокъ-другой, такъ, какъ будто не мое дѣло. Вижу я-съ эдакъ въ Архипъ перемѣну, э, братъ, это не модель,—суетится слишкомъ Архипъ, ищетъ послѣ обѣда за диваномъ, изволите знать, у насъ что называются турецкимъ диваномъ, подушки по стѣнѣ. Что, молъ, ты это Архипъ хлопочешь? Да что, говоритъ, все эти проклятыя деньги, такая бъла.

— Да какъ же, молъ, деньгамъ попасть за диванъ?

А онъ мнѣ въ отвѣтъ: — Да вотъ, молъ, подите съ полоумнаго спрашивайте отчетъ, все побросаетъ, а потомъ ищи за нимъ, да еще чего добраго скажутъ, что кто-нибудь укралъ.

Посмотрѣлъ я ему въ глаза, вижу взглядъ не хорошъ, ну, думаю, была не была—то есть Өедора мнѣ было смерть жаль, да и на домъ похула не хороша,—я таки, не говоря худого слова, хвать его въ грудь, да и на полъ, тутъ я его колѣнкой прижалъ да и говорю: «ну, признавайся, мошенникъ, твое это дѣло, а другихъ не марай и за себя не губи». Онъ такъ оторопѣлъ, что ни слова. На этотъ шумъ выходитъ баринъ. Я ему докладываю: батюшка, молъ, Евгеній Николаевичъ, извольте меня на поселенье послать, какъ угодно, а деньгамъ вашимъ воръ никто иное, какъ Архипъ. — Да ты, братецъ, пъянъ, баринъ-то мнѣ въ отвѣть—оставь его, какъ воромъ называть?

— Нътъ-съ, говорю, воля ваша, а я не пьянъ и до квартальнаго надзирателя его не пушу. Что Өедора, невиннаго человъка, сестрица ваша отправила въ часть, это Богъ разсудитъ. А воръвашихъ денегъ вотъ.

— Баринъ эдакъ пріостановился, подумаль и такимъ тихимъ и грустнымъ голосомъ сказалъ: Архинъ, неужели въ самомъ дѣлѣ? Не выдержалъ Архинъ, въ три ручья залился, рванулся отъ меня и барину въ ноги. «Виноватъ, говоритъ, кругомъ виноватъ и зашираться не намѣренъ. Запутался я въ одномъ нечистомъ дѣлѣ, мнѣ приходилось въ острогъ идти или выкупиться, ну, лукавый подтолкнулъ меня. Готовъ я всякое наказаніе принять, а деньги ваши, Евгеній Николаевичъ, еще цѣлы». При этомъ онъ, въ азартѣ, расплаканный, вытащилъ изъ кармана ассигнаціи, завернутыя въ бумажку, и подалъ.

Баринъ все время не говорили ни слова, только взямии деньги, они вздрогнули и вышли вонъ. А Архинъ такъ и взвылъ: посажу себъ пулю въ лобъ, не хочу больше горе мыкать, лучшаго я не достоенъ. Господи, что я надълалъ, въдь деньги-то были завернуты въ Ульянино письмо.—сгубилъ я себя и ее.

«Спиридонъ», позвалъ баринъ изъ кабинета, —я взошелъ. А Архипъ такъ и остался на колъняхъ, расплаканный, индо самому мнъ жаль его стало. Баринъ стояли близъ дверей, прислонимшись къ стънъ, такой страшной, будто не живой, губы посинъли; они два раза хотъли что-то сказать, —и не могли, голоса не было, потомъ они такъ ручку приложили ко лбу, —плохо-съ имъ было. Собрались съ силами, наконецъ, и говорятъ такимъ глухимъ голосомъ: —«Спиридонъ, никто въ домѣ не знаетъ, что было. Такъ вотъ поди сюда, вотъ отпускная Архипа и еще отпускная —тутъ они остановились, однако такъ и не сказали — такъ ты имъ отдай, да устрой, чтобы сейчасъ изъ дому переъхали, только сейчасъ, не мъшкая, возьми, сколько надобно, денегъ изъ тъхъ. Да ты, Спиридонъ, сдълай это все помягче, понимаешь: ну, да хорошо, стунай», прибавилъ онъ, видя, что слова-то невыходятъ.

Ну, ужъ какъ бълная Ульяна плакала, у меня серпие напорвалось. И взять ничего не хотъла своего, у меня ничего, говорить, нъть собственнаго. Хоть бы взглянуть еще разъ на него, прощенья бы попросить, руку бы поцеловать. Ведь, какъ добръто онъ былъ ко мнѣ, какъ ласково смотрѣлъ,—пусть бы, кажется, побилъ меня, все лучше бы было. Ну, я говорю, послушай Уля, о томъ надобно было думать прежие, а теперь убирай-ка свои ножитки. Пока я съ ней хлопоталъ, привелъ полицейской Өедора и комиссаръ съ нимъ, говоритъ, сколько мы его не принимались съчь, не признается, видно деньги не онъ укралъ. Я посмотрълъ, Өедоръ въ лицъ не хорошъ. Комиссаръ говоритъ: барынъ слъдуетъ допросить другихъ, на кого есть подозрѣніе; она пошла къ братцу, что-то по-французски потолковали, вдругь она выходить въ залъ и говоритъ комиссару: «Представьте, какой случай, братъ мой нашелъ деньги, мнѣ право совъстно, что васъ даромъ обезпоконли». — «Помилуйте, это наша обязанность», говорить комиссаръ, а она ему красненькую, да Өедора приказала чаемъ напоить.

Я вечеромъ взошелъ съ докладомъ, баринъ сидёлъ за столомъ, опершись на обё руки. Увидёвши меня, онъ какъ съ испуга векочилъ, поднялъ руку и сказалъ: «Не нужно». Съ тёхъ поръ и помину не было объ этой исторіи. Тёмъ дѣло почитай и кончилось. Ну, только Өедоръ слегъ въ постель, да мѣсяца черезъ два и померъ. Невинную душу загубила Софья Николаевна. Наше крѣпостное дѣло, не приведи Богъ!

— Я не понимаю въ этой исторіи одного, какъ же Ульяна могла такъ сблизиться съ Архипомъ,—изъ вашихъ словъ видно,

что она Евгенія Николаевича любила.

— На еще какъ-съ. Вотъ теперь третій годъ пошелъ, какъ она выбыла изъ дома, безъ слезъ ни разу не говорила о баринъ и Архииъ ей совсёмъ опостылёлъ; онъ, вирочемъ, ушелъ въ соллаты охотникомъ, мы объ немъ не слыхали послъ. Все вътренность-съ и баловство. По нашему простому разсуждению, извольте видъть, Ульяна и не подумала, ей и въ голову не приходило, что она барину въ самомъ дълъ что-нибудь значить. Въдь, все же онъ быль баринь, не могла же она его не бояться, быть его ровней, не могла эдакъ вольной духъ имъть съ нимъ, какъ съ Архицомъ, они же по характеру всегда серьезны бывали. Изволите сами знать, мололость кипить, все бы смёхи да дурачества. Ну, Архинъ мелкимъ бъсомъ, бывало, разсынается, и плящеть, и на торбанъ играеть. и кроновскимъ пивомъ подчуетъ, и мороженымъ угощаетъ, всякой подъ Богомъ ходить, оно нехорошо потачку давать, но такъ къ слову, по человъчеству разсудить, такъ оно и понятно. Въ самый день нашего отъёзда, утромъ изъ рестораціи съ Сучка, гдё мы обыкновенно чай пивали, прибъгаеть за мной половой, говорить, барыня васъ требуеть какая-то. Что, думаю, за пропасть, однако пошелъ. Смотрю, Ульяна сидитъ и опять заливается слезами. Дяденька, говорить, уладьте, какъ хотите, мнѣ бы хоть взглянуть на Евгенія Николаевича, и что у нихъ за сердце, за жесткое, что гибваются такъ долго; меня, говорить, въ театръ въ хористки взяли, ему въдь я обязана, что пъть обучилъ. Хоть бы поблагодарить, слово одно сказать, камень точно на сердцъ. Да еще Василиса говоритъ, что и болъзнь ихъ все черезъ меня, жизнь миж не мила. Не хотълось мнв долго барина безпокопть, но вижу, она никакого интереса не имбеть, а сильно кручинится, думаю, что же, головы не сниметь. Вхожу въ кабинеть, Евгеній Николаевичь какъ обыкновенно сидять въ задумчивости, видъ ничего, добрый. Я эдакъ, немного позамямшись, говорю: да вотъ еще, Евгеній Николаевичъ, я осмълюсь доложить, такъ ужъ оченно меня просила... Вдругъ у нихъ глаза такъ сверкнули, лицо переменилось. Я поскоре за чемоданъ. Она потомъ, бъдняжка, въ людской спряталась, чтобы въ окно взглянуть, когда мы поъдемь, тутъ я Филиппу Даниловичу ее показывалъ...

— Я вамъ очень, очень благодаренъ, сказалъ я Спиридону; ну, пойдемте-ка въ наше Сгосе di Malta, да выпьемте послъднюю рюмку марсалы за здоровье бъдной Ульяны. Мнъ ее жаль, несмотря ни на что.

— Точно-съ, не наше дѣло чужіе грѣхи судить, и за ваше, сударь, здоровье, съ тѣмъ вмѣстѣ, прибавилъ Спиридонъ...

С. Еленъ, возлѣ Ниццы. Зимой, 1851.

Трагедія за стаканомъ грока.

Тебѣ, другъ мой Тата, дарю я этотъ разсказъ въ память нашего свиданія въ Неаполь.

28 сентября, 1863 г.

Очерки, силуеты, берега безпрерывно возникають и теряются, вплетаясь своей тёнью и своимъ свётомъ, своей ниткой въ общую ткань движущейся съ нами картины.

Этотъ мимоидущій міръ, это проходящее, все идетъ и все не проходитъ, а остается чѣмъ-то всегдашнимъ. Мимо идетъ, видно, въчное, оттого оно и не проходитъ. Оно такъ и отражается въ человѣкѣ. Въ отвлеченной мысли—пормы и законы; въ жизни—мерцаніе едва уловимыхъ частностей и пропадающихъ формъ.

Но въ каждой задержанной былинкъ несущагося вихря тъ же мотивы, тъ же силы, какъ въ землетрясеніяхъ и переворотахъ, и буря въ стаканъ воды, надъ которой столько смъялись, вовсе не такъ далека отъ бури на моръ, какъ кажется.

Ĭ.

Я искалъ загородный домъ. Утомившись одними и тъми же вопросами, одними и тъми отвътами, — я взошелъ въ трактиръ, передъ которымъ стоялъ стоябъ и на стоябъ красовался портретъ Георга IV—въ мантіи, шитой на манеръ той шубы, которую носить бубновый король, въ пудръ, съ взбитыми волосами и съ малиновыми щеками. Георгъ IV, повъшанный какъ фонарь и нарисованный на большомъ желъзномъ листъ, не только видомъ напоминалъ путнику о близости трактира, но и какимъ-то нетериъливымъ скрежетомъ петлей, на которыхъ онъ висълъ.

Сквозь сфии былъ виденъ садъ и лужайка для игры въ шары; я прошелъ туда. Все было въ порядкъ, то есть совершенно такъ, какъ бываеть въ загородныхъ трактирахъ подъ Лондономъ. Столы и скамы подъ трельяжемъ, раковины въ видъ

руинъ, цвѣты, посаженные такъ, чтобы вышелъ узоръ или буква; лавочники сидѣли за всѣми столами съ супругами (можетъ быть, не съ своими) и тяжело напивались пивомъ, сидѣльцы и работники играли шарами тяжести и величины огромнаго пушечнаго ядра, не вышуская изъ рта трубки.

Я спросиль стакань гроку, усаживаясь въ стойло подъ трельяжемъ.

Толстый слуга въ очень истертомъ и узкомъ черномъ фракѣ, въ черныхъ и лоснящихся панталонахъ, приподнялъ голову и вдругъ, какъ обожженный, повернулся въ другую сторону и закричалъ: «Джонъ—водки и воды въ 8-й №». Молодой, неловкій и рябой до противности малый принесъ подносъ и поставилъ передо мной.

Какъ ни быстро было движеніе толстаго служителя, но лицо его мнѣ показалось знакомо; я посмотрѣлъ,—онъ стоялъ спиной ко мнѣ, прислонясь къ дереву. Фигуру эту я видѣлъ; но какъ ни ломалъ себѣ голову, вспомнить не могъ; удрученный, наконецъ, любопытствомъ и улучивъ минуту, когда Джонъ побѣжалъ за пивомъ, я позвалъ слугу.

— Yes, Sir! отвъчаль спрятавшійся за дерево слуга, и, какъ человъкъ, однажды ръшившійся на трудный, но неотвратимый поступокъ, какъ комендантъ, вынужденный сдать кръпость,—онъ бодро и величественно подошелъ ко мнъ, нъсколько помахивая грязной салфеткой.

Эта величественность и показала мнѣ, что я не ошибся, что я имѣю дѣло съ старымъ знакомымъ.

... Три года тому назадъ останавливался я на нѣсколько дней въ одномъ аристократическомъ отелѣ на Isle of Wight. Въ Англіп эти заведенія не отличаются ни хорошимъ виномъ, ни изысканной кухней, а обстановкой, рамами, и на первомъ планѣ—прислугой. Офиціанты въ нихъ совершають службу съ важностію нашихъ дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ прежняго времени—и современныхъ камергеровъ при нѣмецкихъ заднихъ дворахъ.

Главнымъ Waiter'омъ въ Royal Hotel былъ человъкъ неприступный, строгій къ гостямъ, взыскательный къ живущимъ; онъ бывалъ снисходителенъ только къ людямъ привычнымъ къ отельной жизни. Новичковъ онъ не баловалъ и вмъсто ободренія—взглядомъ обращалъ назадъ дерзкій вопросъ, «какъ могутъ котлета съ картофелемъ и сыръ съ латукомъ стоитъ 5 шилл.?» Во всемъ, что онъ дълалъ, была обдуманность, потому что онъ ничего не дълалъ спроста. Въ градусъ поворота головой и глазами и въ тонъ, которымъ онъ отвъчалъ Yes, Sir, можно было до мелочи знатъ лъта, общественное положеніе и количество издерживаемыхъ денегъ господина, который звалъ.

Разъ, сидя одинъ въ кабинетѣ съ открытымъ окномъ, я его спросилъ: позволяютъ ли здѣсь куритъ. Онъ отступилъ отъ меня къ двери—и, выразительно глядя на потолокъ, онъ мнѣ сказалъ голосомъ, въ которомъ дрожало негодованіе:

— «Я, Sir, не понимаю, Sir, что вы спрашиваете?»

— Я спрашиваю, можно-ли курить здёсь? сказаль я, поднимая голось, что всегда удается съ вельможами, служащими въ Англіи за трактирнымъ столомъ.

Но это былъ не обыкновенный вельможа,— онъ выпрямился, но не потерялся, а отвёчалъ мнѣ съ видомъ Каратыгина въ Коріоланѣ:

— «Не знаю, въ мою службу, сэръ, этого не случалось, такихъ господъ не бывало—я справлюсь у говернора»...

Не нужно и говорить, что губернаторъ велѣлъ меня за такую дерзость конвоировать въ душный smoking room, куда я не ношелъ.

Несмотря на гордый нравъ и на постоянно бдящее чувство своего достоинства и достоинства Royal Hotel, главный Waiter сдѣлался ко мнѣ благосклоненъ, и этому я обязанъ не личнымъ достоинствомъ, а мѣсту рожденія, — онъ узналъ, что я русскій. Имѣлъ ли онъ понятіе о вывозѣ пеньки, сала, клѣба и казеннаго лѣса, я не могу сказать, —но онъ положительно зналъ, что Россія высылаетъ заграницу огромное количество князей и графовъ, и что у нихъ очень много денегъ. (Это было до 19 февраля 1861 г.).

Какъ аристократъ по убъжденіямъ, по общественному положенію и по инстинктамъ, онъ съ удовольствіемъ узналъ, что я русскій. И желая поднять себя въ моихъ глазахъ и сдълать мнъ пріятное, онъ какъ-то, граціозно играя листкомъ плюща, висъвшаго надъ дверью въ садъ, обратился ко мнъ съ слъдующей ръчью:

— «Дней пять тому назадъ я служиль вашему великому князю,—онъ прібзжаль съ ея величествомъ изъ Осборна».

- A!

— «Ея величество, His Highness, кушали лончь; вашъ эрчдюкъ очень хорошій молодой человѣкъ», прибавилъ онъ, одобрительно закрывая глаза,—и, ободривъ меня такимъ образомъ, поднялъ серебряную крышку, подъ которой не простывала цвѣтная капуста.

Когда я побхаль, онъ указаль мизинцемь дворнику на мой дорожный мъшокъ, но и туть, желая засвидътельствовать свою благосклонность, схватилъ мою записную книжку и самъ ее донесь до кеба. Прощаясь я ему подалъ гафкрону—сверхъ взятаго за службу; онъ ее не замътилъ, и она какимъ-то чародъйствомъ опустилась въ карманъ жилета, такой бълизны и крахмальной упругости, которыхъ мы съ вами не допросимся у прачки...

...Ба! — сказалъ я, сидя въ стойлѣ трактирнаго сада служителю, подававшему мнѣ спички; да мы старые знакомые!..

Это былъ онъ.

— «Да, я здівсь»—сказалъ Waiter,—и вовсе не былъ похожъ

ни на Каратыгина, ни на Коріолана.

Это быль человёкь, разбитый глубокимь горемь, въ его видь, въ каждой черть его лица выражалось невыносимое страданіе, человькъ этоть быль убить несчастьемь. Онъ сконфузиль меня. Толстое румяное лицо его, откормленное до арбузной упругости и полноты мясами Royal Hotel'я, висьло теперь неправильными кусками, обозначая какъ-то мускулы въ лиць; черные бакенбарды его, подбритые на поллиць, съ необыкновенно удачнымь выемомъ къ губамь, одни остались памятникомъ инаго времени.

Онъ молчалъ.

— Вотъ не думалъ... сказалъ я чрезвычайно глупо.

Онъ посмотръть на меня съ видомъ пойманнаго на дълъ преступника и потомъ окинулъ глазами садъ, деревянныя скамън, пиво, шары, сидъльцевъ и работниковъ. Въ его памяти очевидно воскресалъ богатый столъ, за которымъ сидъли русскіе эрчдюкъ и ея величество, за которымъ стоялъ онъ самъ, благоговъйно нагнувшись и глядя въ садъ, посаженный по кипсеку и вычищенный какъ будуаръ... воскресала вся столовая, съ ненужными вазами и кубками, съ тяжелыми, толстыми шелковыми занавъсами и его собственный безукоризненный фракъ воскресалъ, и бълыя перчатки, которыми онъ держалъ серебряный подносъ со счетомъ, приводившимъ въ уныніе неопытнаго путника...

А туть—гамъ играющихъ въ шары, глиняныя трубки, пле-

бейскій джинватеръ и въчное пиво draft.

— «Тогда, Sir, было другое время, сказалъ онъ мнъ, а теперь

другое!..»

«Waiter, закричалъ нѣсколько подгулявшій сидѣлецъ, стуча оловянной стопкой по столу, пинту гафанафъ, да скорѣе, please!»

Мой старый знакомый взглянуль на меня и пошель за пивомь; въ его взглядѣ было столько униженія, стыда, презрѣнія къ себѣ, столько помѣшательства, предшествующаго самоубійству, что у меня морозъ пробѣжалъ по жиламъ. Сидѣлецъ сталъ расплачиваться мѣдью, я отвернулся, чтобы не видѣть лишній пенсъ.

Плотина была прорвана,—ему хотѣлось сказать мнѣ что-нибудь о переворотѣ, низвергнувшемъ его изъ Royal Hotel'я въ «Георга IV».

Онъ подощелъ ко мнъ безъ моего зова и сказалъ:

- «Я очень радь васъ видъть въ полномъ здоровыи».
- Что намъ дѣлается!
- «Какъ это вамъ вздумалось прогуляться въ наши захолустья:»

- Домъ ищу.
- «Домовъ много, вотъ тутъ, пройдя шаговъ десять направо, да еще другой. А насчетъ того, что со мной случилось, это точно вамъчательно».
- «Все, что я заработаль съ малыхъ лёть, все ногибло, все до фардинга... Вы върно слышали о Тицерарскомъ банкрутствъименно тутъ-то все и погибло. Я въ газетахъ прочиталъ, сначала не повърилъ, бросился какъ поврежденный къ солиситору; тоть говорить: «оставьте всякое попеченіе, вы не спасете ничего, а только послъднее израсходуете, вотъ, напримъръ, мнъ за совътъ потрудитесь 6 шилл. 6 пенсовъ отдать». Ходилъ я, ходилъ по улицамъ-день цълый ходилъ; думаю, что-жъ туть пълать, со скалы да и въ море — самому утопиться да и дътей утопить; я даже испугался, когда ихъ встрътилъ. Слегъ я больнымъ. это въ нашемъ дълъ первъйшее несчастіе; черезъ недълю воротился къ службъ, разумъется лица нътъ, а внутри словно рана не даеть покоя.—Говерноръ раза два замътиль, что видъ у меня печальный, что сюпа, моль, не съ похоронъ вздять, гости не любять печальныя физіономіи. А туть середь об'єда я урониль блюдо, отроду подобнаго случая не бывало. Гости хохочуть, а содержатель вечеромъ отзываеть меня въ сторону и говоритъ: «Вы ужь себь поищите другое мьсто, — у насъ нельзя служить невоздержному человъку».—Какъ, говорю я,—я былъ боленъ.—«Ну такъ и лечитесь, а здъсь для таких в мъста нътъ». Слово за слово пошло крупно; онъ мн въ отместку ославилъ по вс мъ отелямъ пьянипей и буяномъ. Какъ ни бился, нътъ мъста. Переміниль я имя, какъ какой-нибудь ворь, и сталь искать хоть на время м'всто, — н'втъ какъ н'втъ; между т'вмъ все, даже серьги и брошка жены-ей ихъ подарила герцогиня, у которой она жила четыре года въ полжности Upperlady-maid—все пошло на крючекъ. Пришлось закладывать платье, — это у насъ первая вещь, безъ платья ни въ одно хорошее заведение не примуть. Служиль я иногда во временныхъ буфетахъ, и въ этой бродячей жизни совствы обносился. Я и самы не знаю, какъ меня принялъ хозяинъ Георга IV, — и онъ взглянулъ съ отвращеніемъ на свой старый фракъ... Кусокъ хліба могу для дітей заработать, и жена... она теперь... онъ пріостановился-она стираеть на другихъ, не надобно ли вамъ, Sir, воть карточка... она очень хорошо стираеть. А прежде никогда... никогда... она... ну, да что толковать, — где-же нищимъ выбирать работу. Лишь бы милости не просить, -- а только тяжело...»

Слеза, дрожавшая на рѣсницѣ, блеснула и капнула на его грудь, уже не покрытую жилетомъ изъ лубка или латуни събъюй эмалью.

— Waiter! кричали съ другой стороны. — «Yes, Sir!»

Онъ ушелъ и я тоже.

II.

Такой искренней, разрушающей боли я давно не видалъ. Человъкъ этотъ явнымъ образомъ подавался подъ тяжестью удара, разрушившаго его существованіе, и, конечно, страдалъ не меньше всъхъ падшихъ величинъ, прибиваемыхъ со всъхъ сторонъ къ англійскому берегу...

Не меньше?.. Да полно, такъ ли? Не больше ли въ десять, во сто разъ страдалъ онъ, чъмъ Людвигъ Филиппъ напр., жившій возлъ «Георга IV?»

Крупныя страданія, передъ которыми обыкновенно останавливаются цёлыя столітія, пораженныя ужасомъ и состраданіемъ, большею частью достаются крупнымъ людямъ. У нихъ бездна силъ и бездна врачеваній. Удары топора въ дубъ раздаются по цілому лісу, раненое дерево стоитъ себі, потряхивая верхушкой, а трава грядой падаетъ, подрізанная косой, и мы, не замічая, топчемъ ее ногами, идучи за своимъ діломъ. Я нагляділся на столько несчастій, что сознаю себя знатокомъ, экспертомъ въ этомъ дільі, и потому-то у меня перевернулось сердце при виді обнищавшаго слуги, у меня, видівшаго столько великих нищихъ.

...Знаете ли вы, что значить вездь, и особенно въ Англіи, слово нищій — beggar, — произнесенное имъ самимъ? Въ этомъ словъ заключается все: средневъковое отлученіе и гражданская смерть, презрѣніе толпы, отсутствіе закона, судьи... всякой защиты, лишеніе всѣхъ правъ... даже права просить помощи у ближняго...

...Усталый, оскорбленный, возвращался этотъ человъкъ въ свою конуру изъ «Георга IV», преслъдуемый своими воспоминаніями, съ своей открытой раной въ груди, — и тамъ его встръчала старшая горничная герцогини, сдълавшаяся по его милости прачкой. Сколько разъ, должно быть, безсильный, чтобъ наложить на себя руки, то есть покинуть дѣтей на голодную смерть, онъ пскалъ облегченья у единаго утѣшителя бѣдныхъ п страждущихъ, у Джина, у оклеветаннаго джина, снявшаго на себя столько бремени, столько горечи и столько жизней, которыхъ продолженіе было бы одно безвыходное страданіе, одна боль въ невилимой мглъ...

...Все это очень хорошо, да почему этотъ человъкъ не сталъ выше своего несчастія? Въ сущности быть напыщеннымъ лакеемъ въ Queen's Hotel или скромнымъ половымъ «Георга IV» разница не Богъ знаетъ какая...

— Для философа, но онъ былъ трактирнымъ слугой, въ ихъ числъ ръдко бываютъ философы,—я помню только двухъ: Эзопа п Ж. Ж. Руссо,—да и то послъдній въ молодыхъ лътахъ оставилъ свою профессію. Впрочемъ, спорить нельзя, гораздо было бы лучше, если бы онъ мого стать выше своей бъды, — ну, а если не мого?

Да зачѣмъ-же не могъ?

Ну, ужъ это вы спрашивайте у Маколея, Лингарда и пр..., а я вамъ лучше когда-нибудь разскажу о другихъ нищихъ.

— Да, я зналь *великих нищих*, — и потому-то, что я ихъ зналь, я и жалъю слугу въ «Георгъ́ IV», а не ихъ.

Скуки ради.

Ţ

Я съть въ вагонъ въ самомъ скверномъ расположени духа: тать въ путь, когда не хочется, скучно, тать на леченіе еще скучнъе; но чувствовать себя ко всему этому совершенно

здоровымъ... этого и выразить нельзя...

Быть не въ духъ, скучать, капризничать можно, когда ктонибудь этимъ огорчается, занимается, когда кто-нибудь развлекаетъ, а сидъть въ вагонъ и знать, что никому дъла нъть до этого, что никто не обращаетъ вниманія, это выше силъ человъческихъ.

Я попробоваль придраться къ сосъду за то, что у него дорожный мъшокъ великъ, и нарочно сказалъ ему: «вашъ чемоданъ мнъ мъшаеть». Дуракъ извинился и переложилъ, съ кротостью,

мѣшокъ на другое мѣсто.

Поэты говорять, что вынести они могутъ многое, но что имъ надобно пропъть свое горе. Пропъть кому-нибудь-пъть безъ уха слушающаго такъ-же трудно, какъ легко пъть безъ голоса... Ухато, уха пригоднаго у меня недоставало. Впрочемъ, подумалъ я. поэты для большаго удобства поють чернилами, — а я буду капризничать карандашемъ... Затъмъ, я вынуль изъ кармана только что купленный Memorandum и еще разъ окинулъ взглядомъ сосъдей. Ихъ было четверо — четыре въ четырехъ углахъ. Когда это они успъли заблться, сейчась насъ спустили изъ salle d'attente! Что за безобразныя рожи! Надобно правду сказать, родъ человъческій некрасивъ. Черезъ двъ станціи трое вышли и, едва я усибль броситься въ уголь, взощли трое другихъ, еще хуже,такъ и видно, что черенъ имъ жметъ мозгъ, какъ узкій сапогъ, что мысль ихъ похожа на китайскія ножки, на которыхъ ходить нельзя—слаба, мала, тъсна... А жиру вволю. Средній классъ во Франціи очень потолствль за последніе двадцать леть.

Впрочемъ, на какомъ же основаніи ждалъ я Аполлоновъ Бельведерскихъ въ случайномъ наплывѣ, который зачернывала же-

лѣзная дорога, chemin faisant, почти не останавливаясь!

Красота вообще ръдкость, есть цълые народы изъ меньшихъ братій, у которыхъ никакой нёть красоты, напр., обезьяны со своими ирландскими челюстями, молодыми морщинами и выдавшимися зубами; лягушки съ глазами на выкатъ и ртомъ до ушей... Да и часто ли встръчается красивая лошаль, собака? Одна природа постоянно красива, потому что мы на нее смотримъ изнали, съ благородной дистанціи, къ тому же она намъ посторонняя и мы съ ней не ведемъ никакихъ счетовъ, не имфемъ никакихъ личностей, смотримъ на нее, какъ чужіе, и просто не видимъ тъхъ безобразій, которыя намъ бросаются въ глаза въ человъческихъ лицахъ и даже въ звърпныхъ, имъющихъ съ нашими родственное сходство. А присмотришься къ лицамъ и, при всемъ ихъ безобразіи, не отвернешься. Лицо — послужной списокъ, въ которомъ все отмъчено, паспортъ, на которомъ визы остаются. И какъ это все умъщается между темемъ и подбородкомъ, все, съ малъйшими подробностями, нескромностями и обличеніями, все вываяно б'єдными средствами мышцъ, жира, оболочекъ и костей! Не даромъ мей Фанъ Муйденъ говорилъ: «чёмъ больше я рисую, тъмъ больше меня занимають лица, одни лица, головы, физіономіи; что за неисчерпаемое богатство оттънковъ выраженій» и невольныхъ испов'єдей, прибавиль я.

Рѣшительно, я слишкомъ строго осудиль тѣсные лбы, тѣснящіе черепа, толстые носы, глупые глаза, ненужные, усы, --все оттого, что былъ не въ духъ. Очень много уже бъдъ было со мной еще до вагона. Передъ самымъ отъёздомъ оторвалась пряжка у чемодана. Господи, какъ смѣшно, безпомощно стоитъ нашъ брать передъ такой бъдой... Если-бъ насъ между Расиномъ и Шиллеромъ немного учили шилу да иглѣ, взялъ бы да починиль, а туть комическое отчанніе и мрачныя разсужденія. Только что я успоконися на томъ, что безъ пряжки можно обойтиться, стонть запереть чемодань, -ключь пропаль! Сейчась быль здёсь, вотъ на этомъ столъ, какъ теперь вижу: перерывалъ, перебрасываль все, - ключа нътъ, и я, утомившись, съль на стулъ, самоотверженно скрестивъ руки на груди. Рази молъ, судьба, если

еще есть стръла.

Какое счастіе было въ старые годы, когда при ремнѣ, при ключь состояль камердинерь, и на немь можно было взыскать, зачёмъ перегорёлъ ремень и зачёмъ самъ потерялъ ключъ. Ничего не можетъ быть вредное для здоровья, какъ именно то, что нельзя вымъстить на комь-нибудь бъду, поди туть и берегись.

Лонже, знаменитый физіологь, Лонже de l'institut, ero авторитета не отведетъ никто, разъ подымался со мной въ Монпелье по улицъ, идущей вверхъ отъ медицинской школы. «Куда вы торопитесь, — сказаль онь мнь, останавливаясь: — не у всьхъ такія

легкія, какъ у васъ, я вотъ не могу перевести пуха. Погодите минуту, я вамъ разскажу, отчего я запыхаюсь: это очень любопытно. Вы, вфрно, знаете стараго дурака (здёсь онъ назвалъ одного академика, котораго имя такъ громко, что я не хочу обозначить его лаже предательскими заглавными буквами), il est tout ramolli, а все прездая бестія; меня онъ теривть не могъ и врадъ на меня всякую чушь: я долго спускаль ему, но, наконець, ръшплся ему дать урокъ. Какъ, говорю я ему, вы, негодный старикашка... и взяль его за плечо (при этомь онъ сдёлаль на мнё повтореніе манипуляціи,—я хоть и не ramolli, но чуть не вскрикнулъ), говорили то-то и то-то, на въ засъдании института, знаете ли что такихъ негодяевъ, клеветниковъ, какъ вы... А старикъ, перетрусивши, растерялся, началь извиняться, увфряль, что онь не то говориль, что онъ впередъ не будеть. Я бросиль его и выбъжаль внъ себя на улицу; вътеръ быль скверный, я пришель домой и на пругой день, monsieur, у меня слълалась pleurésie, monsieur, и вотъ отчего я задыхаюсь. Не будь этотъ уродъ такой поллый, я бы ему далъ пинка, два пинка, и этимъ вся первая буря разръшилась бы покойно и естественно, и у меня не было бы плерези и я не задыхался бы! Экой извергь!»

А ключей все нёть, что же я буду дёлать безъ нихь? "Sonner pour l'homme de charge trois fois", вставъ тихо и торжественно, подошель я къ звонку, жму три раза пуговку, — входить горничная.—Нёть ли, madame, веревки перевязать чемодань?—«De la ficelle, autant que monsieur voudra». Она приносить веревку, я шарю въ карманѣ, чтобы сыскать франкъ, и нахожу ключъ. — Фу, какъ глупо! Я съ ненавистью посмотрѣлъ на его бородку, на его дырочку, даже швырнулъ его на полъ, потомъ поднялъ и бросился въ омнибусъ. Мелкій дождь, начавшійся съ утра, продолжался.

Въ оминбусѣ, очень сальномъ и пропитанномъ особымъ, но сквернымъ запахомъ, который распускался во весь букетъ въ сырую погоду, были отмежеваны мѣстечки для тощихъ и почти безпозвоночныхъ французовъ. Втѣснившись кое-какъ и открывая окно, я сказалъ молодому человѣку, сидѣвшему противъ меня:

— «Какъ это странно, что въ Парижѣ такіе же скверные и неудобные омнибусы, какъ были лѣтъ двадцать тому назадъ; въ Лондонѣ, въ Швейцаріи вездѣ омнибусы гораздо лучше».

Молодой человъкъ сконфузился, даже покраснълъ.

— Да,—сказалъ онъ,—конечно, *этот* омнибусъ не изъ лучшихъ, но есть прекрасные другой компаніи; впрочемъ, обратите вниманіе на лошадей: какія лошади!

Пошади были посредственныя, но патріотизмъ великъ. Что вы сдѣлаете со страной, которая такъ упорно, такъ ревниво, такъ глупо, такъ упрямо въритъ, что она краса всей планеты, что Нарижъ «образцовый хуторокъ» человъчества и фонарь, зажженный на планетъ, по свъту котораго она гордо несется по своей орбитъ? Дъло вовсе не въ томъ, чтобы быть хорошимъ или счастливымъ, а въ томъ, чтобы въровать въ свое превосходство и счастье.

TI

Между тёмъ, мои сосёди—не въ омнибусё, а въ вагонѣ—поразговорились...

- Ну, что же скажете?
- Я боюсь одного, что Примъ—ип ambiteux и эгоистъ...
- Это можеть быть. Въ генералахъ нѣтъ никогда проку... Замѣтьте, у насъ всѣ генералы были реакціонеры: Ламорисьеръ, Шангарнье,—одинъ Шаросъ остался вѣрнымъ демократіи, но зато онъ былъ полковникъ, а не генералъ.
- Все же онъ будеть вынужденъ провозгласить республику, а это что-нибудь...
- Никогда не провозгласить, замѣтилъ третій уголъ нѣсколько хриплымъ голосомъ. Голосъ этотъ издавалъ сѣдой, подстриженный подъ гребенку, господинъ лѣтъ пятидесяти, съ лицомъ Пелисъе.
- Да на какой имъ чортъ республика? Одно слово, названіе. Испаніи надобно *либеральную власть*, порядокъ и свободу, а не республику. Я знаю Испанію.
 - А вы бывали тамъ?
- Да, т.-е. не то, чтобы въ самой Испаніи, но бывалъ въ Байонъ. Я работаю въ Маконахъ и по этой части бывалъ въ Байонъ.
- А я такъ думаю, что если *только Англія*, стоящая на дорогъ всякаго прогресса, не воспрепятствуеть, то испанцы провозгласять республику.
- Вы ошибаетесь самымъ глубочайшимъ образомъ. Испанецъ слишкомъ гордъ, чтобы быть безъ короля. Грандъ какой-нибудь, весь покрытый звъздами, какъ они представляютъ себя на фотографическихъ карточкахъ, перешедши спальней Эскуріала,— никогда не согласится быть простымъ гражданиномъ.
- Да, въдь, рано или поздно,—замътилъ нъсколько подавленный глубокими политическими знаніями говорящаго молодой человъкъ,—Европа будеть же республикой.
- Европа?.. Никогда,—замѣтилъ рѣшительно Пелисье, работавшій въ Маконахъ, и даже провелъ рукой, какъ будто срѣзывая всякую возможность.
 - Что же вы говорите,—а Швейцарія?

— Тутъ-то я васъ и ждалъ. Помилуйте, будто это республика? Я самъ бывалъ въ Женевъ, насчетъ Божоле. — чортъ знаетъ что такое. Вся Швейцарія клочекъ земли, да и то еще негодный; покрытый горами да скалами, и этоть клочекъ раздёленъ на двадцать, что ли, клочечковъ, изъ которыхъ каждый, милостивый государь, считаеть себя туда же самодержавнымъ, свободнымъ государствомъ, имбетъ свой судъ, свою расправу, и настоящее правительство не мъщайся... Въдь, это смъшно! Ни силы, ни приличія, ни войска: правительство не пользуется никакимъ уваженіемъ. Знаете ли кто презиленть швейнарскаго союза?.. Навфрное нътъ. Да и я не знаю. — вотъ вамъ и республика. Я люблю. чтобы правительство было правительствомъ, плавное, чтобы оно дъйствовало, l'action c'est tout. Гдъ же дъйствовать, когда каждый кантонъ кричить о себъ, тянетъ на свою сторону. Силы нътъ, воли нътъ. Я самъ люблю свободу, но надобно признаться: республика просто не идеть какъ-то къ современнымъ нравамъ, къ развитію промышленности и просв'єщенія.

— Позвольте! А Стверные Штаты?

— Я ихъ ненавижу, я... я ихъ теритъ не могу. Для меня люди, занимающеся однъми денежными выгодами, одной наживой—не люди. Разумъется, этимъ торгашамъ не нужно правительство: имъ достаточно конторы, факторіи. У нихъ нътъ души, сердце не бъется, нътъ этого elan, какъ у насъ. Ну, что же, заступились они за Польшу?

Молодой человёкъ, подавленный Пелисье, замолчалъ и взялъ

газету; я сдёлаль то же.

Папа зоветь протестантовь и католиковь на вселенскій соборь и совѣть, чтобы положить предѣль и преграду избаловавшемуся уму человѣческому; конгрессь мира въ Бернѣ кладеть прочное основаніе... Война готовится со всѣхъ сторонъ... Все мой Пелисье, работающій въ Маконахъ...

Цугъ. Въ высшее народное училище вызывается учитель чистой математики. Желающій обязанъ представить, сверхъ удостовъренія своихъ знаній, свидътельство о католическомъ въростовъренія

исповъданіи. Вотъ это хорошо.

Франція. Двѣ женщины—мать и дочь, обвиняемыя содержательницей пансіона, у которой онѣ жили на харчахъ, въ томъ, что онѣ, вопреки условія, взяли съ собой на работу съѣстные припасы (тѣ, которые онѣ имѣли право съѣсть), были, несмотря на честное поведеніе и крайнюю бѣдность, осуждены на три мѣсяца тюремнаго заключенія... И это не дурно... но скучно, однообразно. Великій Пелисье! Дѣйствительно республика не идетъ къ современнымъ нравамъ. Il faut de l'action!

TIT

- Все по глупости-съ,—оправдывается русскій челов'єкъ, когда ему решительно оправдаться нельзя.
- Ты, стало-быть, дуракъ! говорить ему на этой власть пмущій.
- Не всёмъ быть умнымъ, надо кому-нибудь быть «дура-комъ»,—отвъчаетъ онъ, если имущій власть безъ боя.

Хотя, собственно, настоятельной крайности въ дуракахъ нѣтъ, но, пожалуй, можно согласиться съ этимъ извиненіемъ. Только отчего же, въ свою очередь, нѣтъ такой ясно сознанной потребности въ умныхъ? Мудрено ли послѣ этого, что міромъ владѣютъ «нищіе духомъ»,—тамъ, какъ большинство, тутъ, какъ одинъ за всѣхъ.

Въ сущности, все дѣлается по глупости, только никто не признается въ этомъ, кромѣ русскаго человѣка, и всѣ ищутъ всегда п во всемъ умныхъ причинъ и объясненій и потому идутъ всякій разъ направо, когда слѣдуетъ идти налѣво,—и запутываются дальше и дальше въ безвыходныхъ соображеніяхъ и затемняющихъ объясненіяхъ.

Люди выбиваются изъ силъ, отыскивая тайныя пружины, спрятанныя причины, глубокіе замыслы, сокровенныя связи, злостныя цѣли, коварные планы, обдуманныя ковы, — всего этого вовсе нътъ и придумано послѣ. Міръ идетъ гораздо наивнѣе и проще, чѣмъ кажется сквозь призму критики и рефлексій.

Девять десятых вейх злодейств делаются по глупости и наказываются по двойной,—и это не особенность злодейств, а вообще вейх поступков, особенно крупных. Въ самых решительных событиях жизни умъ не участвует, или участвует, помогая глупости. Не по уму же люди, напримёрь, играють въ карты, въ карты по уму пграють одни шуллера,—оттого-то они и выпрывають всегда, пока ихъ кто-нибудь не поколотить по глупости. Не умомъ же собиралъ Спорженъ и легіонъ другихъ торговыхъ богослововъ въ Лондонъ тысячи занятыхъ англичанъ на слушаніе неимовърнъйшаго вздора, проповъдываемаго ими.

«Вы, —кричалъ Спорженъ въ *Crystal Palace*, —вы, ищущіе со вниманіемъ и за дорогую цёну ягненка для питанія вашего тѣла и часто обманутые корыстнымъ торговцемъ, мы вамъ предлагаемъ агнца, вѣчно свѣжаго, въ питаніе души вашей и предлагаемъ даромъ (онъ забылъ цѣну за входъ)...»

Гдъ же тутъ искра ума?

Гдъ искра ума въ гомеонатіи?

Гдё пскра ума въ Юмопатіи и всёхъ заклинателяхъ, вызывателяхъ?

Отчего весь мірь видить ясно, просто, что война величайшая глупость, и идеть ръзаться?...

Мупрено понять и мупрено-то именно потому, что глупо!

Свътъ стоитъ между недошедшими до ума и перешедшими его, между глупыми и сумасшедшими, и стоитъ довольно давно и прочно, если же и не устоитъ, такъ не умъ же будетъ въ этомъ участвовать, а безсмысленныя физическія силы.

Дъйствуютъ страсти, страхи, предразсудки, привычки, невъдъніе, фанатизмъ, увлеченіе, а умъ является на другой день, какъ квартальный послъ событія; производитъ слъдствіе, дълаетъ опись и въ этомъ еще останавливается на полдорогъ ограниченный, тамъ—впередъ идущими обязательными статьями закона, тутъ — опасностью далеко уйти по неизвъстной дорогъ, всего больше лънью, происходящей, можетъ быть, отъ инстинкивнаго сознанія, что дълу не поможещь, что вся работа все жет сводится на патологическую анатомію, а не на леченіе!

Отъ этой лѣни и небрежности мы всю жизнь бродимъ въ какомъ-то пріятномъ полумракѣ и умираемъ въ сумрачномъ мерцаніи. Всѣ мы ужасно похожи на докторовъ, довольствующихся знаніемъ, что они не знаютъ, что дѣлаютъ, но что снадобья хороши.

Мы повторяемъ, сто лътъ, двъсти лътъ, какой-нибудь вздоръ и чувствуемъ, что что-то неладно, да такъ и идемъ мимо, за недосугомъ, страшно озабоченные чъмъ-то другимъ.

Что же это за другое дѣло?..

Объ этомъ люди еще не подумали, а должно быть дъло нешу-точное!..

IV.

Повздъ остановился. Кто-то сталь отворять дверцы вагона; сначала взошель громкій сміхъ, вслідь за нимъ явился небольшого роста свіженькій старичекъ, почти совершенно плішивый, съ мягкими щеками, тонкими морщинами и очками, изъ-за которыхъ продолжали смінться сірые, прищуренные глаза. На немъ было два черныхъ сюртука: одинъ весь застегнутый, другой весь разстегнутый; онъ бросиль небольшой мінюкъ въ уголь и махнулъ рукой провожавшему его товарищу; тотъ, все еще смінсь, прокричаль: «Вы большой чудакъ, докторъ. Воп viyage, docteur!» и ушель.

Докторъ протеръ очки, устроился, протянулся, потянулся и приготовился соснуть, какъ вдругъ мой Пелисье разразился рядомъ ругательствъ и, бросая газету, обратился къ доктору и ко мнѣ, какъ къ старѣйшимъ по лѣтамъ, со словами:

— Это возмутительно, это чортъ знаетъ что такое: вотъ вамъ французскіе судьи, которымъ завидуетъ вся Европа. Представьте себѣ, этихъ арабовъ, людоѣдовъ, изверговъ, приговорили не къ гильотинѣ, не къ смерти, а къ каторжной работѣ. C'est trop fort; са n'a pas de nom.

Докторъ улыбнулся и прибавилъ:

- Я по профессіи за леченіе, а не за убійство.
- Да-съ, но позвольте: есть справедливость или нътъ? Есть казнь въ законъ или нътъ? Если есть, то послъ этого примъра кого же прикажете казнить?
- Что за бѣда,—замѣтилъ докторъ,—если послѣ этого никого не будуть казнить? Людоѣдство вещь печальная, но очень рѣдкая, кромѣ Африки, а казнятъ безпрестанно во всемъ образованномъ мірѣ и во всемъ необразованномъ. Вѣдь, коли на то пошло, все же больше смысла въ томъ, чтобы убить человѣка въ безуміи голода, для того, чтобы его съѣсть, чѣмъ убить его на сытыв желудокъ и для того, чтобы бросить въ яму и залить известью.
- Ну это радикаль, и въ самомъ дёлё чудакъ, подумаль я и сложиль газету.

На этотъ разъ сконфузился Пелисье. Онъ долго смотрѣлъ, вылучя глаза, на улыбающагося доктора и, наконецъ, вымолвилъ:

- Я васъ не понимаю; по вашему, этимъ дикимъ звърямъ такъ и позволить ъсть котлеты изъ убитыхъ лътей?
- Я этого не говорилъ. Да, сверхъ того, они навърно отказались бы отъ этихъ котлетъ, если бы у нихъ были бараньи. Когда человъкъ нъсколько дней не влъ, онъ ъстъ безъ спроса.
 - Голодъ не оправданіе.
- Нѣтъ, но облегчаетъ виновность, пока нѣтъ средствъ отучить голодныхъ отъ привычки ѣсть.
- A до т \dot{a} хъ поръ какъ же прикажете наказывать такихъ изверговъ?
- Какъ волковъ; вы сами называете ихъ дикими звърями, а наказывать хотите, какъ образованныхъ людей.
- Я никогда не слыхиваль ничего подобнаго, замѣтиль совсёмь сбитый съ толку Пелисье.—Послѣ этого страшно по улицѣ ходить; встрѣтится голодный и откусить палецъ.
- Полноте. Вѣдь, мы не въ Алжирѣ, а во Франціи. На что же централизація, цивилизація, полиція, юстиція, администрація? Развѣ мы не затѣмъ жертвуемъ волей, словомъ, умомъ, платимъ налоги, содержимъ духовное воинство и свѣтскую армію, чтобъ онѣ насъ защищали отъ голодныхъ, дикихъ, воровъ, безумныхъ людей и бѣшенныхъ собакъ? Если человѣкъ и умретъ гдѣ-нибудь на чердакѣ или въ подвалѣ,—то онъ падаетъ жертвой для поддержанія порядка. Ни въ чемъ торжество общественнаго строя

не выражается такъ мощно, какъ въ перенесеніи нуждъ до послёдняго предёла. И если у насъ умирающій съ голода похожъ на съюденнаго по иному способу, то онъ никогда не лишенъ духовной пищи и похожъ на тёхъ мучениковъ, которыхъ намъ представляють великіе художники,—снизу его обдираютъ, а сверху его зоветъ хоръ летающихъ ангеловъ, такъ что вы по лицу видите, что операція ему скоръ доставляетъ удовольствіе.

— Ну, а въ Алжиръ, чъмъ вы украсите, выкупите голодную

смерть? Тамъ наши французы и тъ дичають въ зуавовъ.

- Я въ такія тонкости не вхожу. Если ихъ религія не удерживаетъ, долгъ не удерживаетъ, пусть страхъ казни удержитъ.
- Пристращать висѣлицей умирающаго съ голода трудно, одно—embarras du choix,
 - А позоръ?
- Это еще мудренъе растолковать полудикимъ. Сегодня одного разстръливають за побътъ изъ какого-нибудь легіона, куда его взяли насильно съ обязанностью убивать кого попало. Завтра будуть въшать Фатиму за людоъдство,—толкуй имъ различіе. Для ихъ тупости, имъ все кажется, что они побъжденные и падають на полъ сраженія.
- Vous vous moquez du monde. Нашли, что защищать,—замътиль уже взволнованнымъ голосомъ Пелисье.
- Я согласенъ съ вами, отвъчалъ, смънсь, докторъ, что лучше было бы всей семьъ, проголодавши мъсяцъ и ничего не твши четыре дня, завернуть головы въ бурнусы и умереть. Да какъ имъ растолковать корнелевское qu'il mourût! Для того, чтобъ они поняли, надобно ихъ непремѣнно откормить, а откормить ихъ, они не станутъ теть состеднихъ дътей. Это логическій кругь! и веселый докторъ опять расхохотался. Посмотрѣли бы вы своими глазами на этихъ урабовъ, какъ ихъ называлъ одинъ солдатъ, которому я ръзалъ ногу.
- А вы бывали въ Алжиръ́?—спросилъ Пелисье, усталый и очень встревоженный болтовней поктора.
- Леть десять жиль тамъ полковымъ врачемъ сначала, потомъ въ лазарете. Кстати я вспомниль этого солдата, разскажу вамъ лучше пресмешной анекдотъ объ немъ. Старый солдатъ, онъ еще при Бюжо делалъ всякія экспедиціи, наконецъ-таки, потерялъ ногу. Долго лежалъ онъ въ лазарете и ужасно любилъ разсказывать свои похожденія. Прихожу я разъ въ палатку, фельдшеръ катается—хохочетъ. «Докторъ,—говоритъ,—сделайте одолженіе, попросите ветерана разсказать исторію, которую сейчасъ кончилъ».
- Eh bien, mon vieux,—говорю я, и сѣлъ возлѣ койки. Онъ поломался, какъ вызванная пѣвица.—Самая обыкновенная исто-

рія: это молопежь все хохочеть,—неопытность, ничего еще не вилъла. – Ну. па вы историо-то. – говорю я ему. – Это было уже давненько. Мы стояли близъ Орана; дъла никакого не было... Люди сильно скучали: продовольствіе было скверное. Капитану жаль насъ стало. Хотълъ позабавить солдатъ и велёль охотникамъ слёлать небольшую razzia на урабскую деревушку и тъмъ способомъ отогнать барановъ. Перевушка не то, чтобъ бунтовала. — такъ, не любила насъ, ну мы, разумвется, и усмирили. Урабы—это народъ коварный, лукавый; силой не взяли, а внутри хранили злобу. Недъли черезъ двъ они подстерегли опного изъ нашихъ, который барановъ отгонялъ, веревку ему на шею, да на большой дорогъ и повъсили. Капитанъ, разумбется, дълаеть рапорть полковнику. Полковникъ взбъсился; приказываетъ отыскать, во что бы ни стало, убійцу. Ну, гдѣ его сыщещь: всъ эти урабы на одно лицо, и не то, что наши, не выдають другь друга, -къ тому же, уйдеть въ горы, и поминай, какъ звали. Посылаетъ канитанъ меня и двопхъ солдатъ. «Приведите непремънно убійцу: хоть изъ земли достаньте». Походили мы день, другой, —ни слуху, ни духу. Съ пустыми руками возвращаться къ начальству неловко. Съли мы, эдакъ, на дорогъ и разсуждаемъ. Вдругъ намъ навстръчу спускается какой-то урабъ. Одинъ изъ товарищей-проказникъ былъ большой-и говоритъ: Богь намъ послаль его на выручку, да съ тъмъ бросился на ураба; за гордо его и кричать: «зачёмъ убилъ нашего солдата». Урабъ руками, ногами; мы его повалили, связали и представили. Капитанъ доволенъ, насъ съ убійцей къ полковнику, полковникъ самъ вышелъ: люблю, говоритъ, молодцы... Нарядили тотчасъ судъ. Привели нашего ураба. Полковникъ разсвиръпълъ, кричить на него: «зачёмь ты, собака, убиль фузильера?» Тоть ему отвъчаетъ, -- то-есть ничего не отвъчаетъ: онъ по французски ни слова не зналъ, а бормочитъ что-то, да руками разводитъ и показываетъ на небо.-«А, говоритъ полковникъ, такъ онъ еще запирается»,—взяль да и приговориль его къ разстрелянію. Ну, его и разстрёляли. - А ужъ потомъ какъ мы хохотали, - убилъто фузильера не онъ, а совствы пругой.

— Ну, господа, извините, одиннадцать часовъ, пора спать... и докторъ задернулъ лампочку, освъщавшую вагонъ.

V.

Въ казино, подъ пъніе чувствительнаго и разбитаго тенора, подъ говоръ играющихъ въ карты, подъ шелесть женскихъ платьевъ и шумъ бъгающихъ гарсоновъ, какой-то господинъ спаль за листомъ газеты. Надъ газетой было видно что-то въ родъ

лоснящагося страусоваго яйца и по немъ-то я узналъ защитника алжирскихъ людовловъ, вхавшаго со мной въ вагонв.

Когда докторъ проснулся, я вавелъ съ нимъ рѣчь и, между прочимъ, напомнилъ ему о томъ, какъ онъ встревожилъ Пелисье, «работающаго въ Маконахъ».

- У меня такая глупая привычка, сказалъ докторъ, и, несмотря на лъта, она не проходитъ. Меня сердитъ театральное негодованіе и грошевая нравственность этихъ господъ. Долею все это ложь, комедія, а долею того хуже: они сами себя уважаютъ за то, что не надълали уголовщины; имъ кажется достоинствомъ, что, выходя отъ Вефура, они не ъдятъ дътей и, получая десять процентовъ съ капитала, не воруютъ платки. Вы иностранецъ, вы мало знаете нашихъ буржуа риг sang.
 - Догадываюсь, впрочемъ.
- Я въ вагонъ разсказалъ алжирскую шалость, когда-нибудь я вамъ разскажу и не такія проказы парижанъ. Тутъ поневолъ забудешь Фатиму и ея голодную семью... Мнѣ, на старости лѣтъ, всего лучше идетъ роль того доктора, который ходилъ въ романъ Альфреда де-Виньи лечить разсказами своего нервнаго паціента отъ «синихъ чертиковъ». Жаль, что я не такъ серьезенъ, какъ мой собратъ.
- Я лечусь у васъ у одного, докторъ, къ тому же и у меня головныя боли безъ нервности и безъ всякихъ голубыхъ и синихъ чертей.

VI.

...7 часовъ утра. Проклятый дождь, не перестаетъ четвертый день, мелкій, англійскій, съ туманомъ... воздухъ точно распухъ. Здѣсь такой дождь не на мѣстъ—се́рдитъ.

И какая скверная привычка у кошекъ пъть ночью свои нъжности, истиная любовь должна быть скромнъе.

A, можетъ, докторъ столько же виноватъ въ моей безсонницѣ, сколько кошки и дождь.

Поразсказаль онъ мнѣ вчера удивительныя вещи. Какой шуть однакожъ человѣкъ, живеть себѣ припѣваючи, зная очень хорошо, что за картонными и дурно намалеванными кулисами совершаются вещи, отъ которыхъ волосы не стануть дыбомъ развѣ у илѣшивыхъ, у прежнихъ нашихъ помѣщиковъ и у юго-американскихъ охотниковъ по бѣглымъ неграмъ. Много онъ видѣлъ и много думалъ, его нѣсколько угловатый юморъ ему достался не даромъ. Когда другой докторъ, и именно Трела, былъ министромъ внутреннихъ дѣлъ, онъ его посылалъ по тюрьмамъ, гдѣ содержались побѣжденные работники, въ ожиданіи ссылки безъ суда. Онъ съ Корменей былъ въ Тюльерійскихъ подвалахъ,

въ фортахъ, и одинъ въ марсельскомъ Шато д'Ифъ. Въ декабрьскіе дни 1851 г. онъ попался, неосторожно перевязывая своему товарищу рану, нанесенную жандармомъ, и за это былъ приговоренъ къ Каенъ. Въ понтонахъ военнаго корабля, стоявшаго на готовъ въ Брестъ, его случайно нашелъ адмиралъ, у котораго онъ спасъ дочь, и выхлопоталъ ему дозволеніе ъхать въ Алжиръ. Его разсказъ я непремънно запишу, но не сегодня, сегодня я въ дурномъ расположеніи, скажешь что-нибудь лишнее, а это гръшно.

Пойду объдать въ маленькій ресторанъ напротивъ.

Надобно сказать, что здёсь объдають подъ скромнымъ названіемъ завтрака въ одиннадцатомъ часу — не вечера, а утра! И, можеть, это меньше удивительно, чёмъ то, что я ёмъ, какъ будто всю жизнь прямо съ постели садился за столъ. А говорять, что боленъ!

Меня одно лишаеть аппетита—это table d'hote, зат'ыть-то я и хочу идти въ небольшой ресторанчикъ. Мнъ за table d'hot'омъ все ненавистно, начиная съ крошечныхъ кусочковъ мяса, которые наръзываеть скупой за хозяина, напомаженный и важный оберъ-форшнейдеръ, до гарсоновъ, разодётыхъ, какъ будто они на чыхъ-нибудь похоронахъ или на своей свадьбъ, до огромныхъ кусковъ живаго, но попорченнаго мяса (дело на водахъ), одетыхъ въ нальто и поглощающихъ маленькіе кусочки, одітые въ соусъ... Мнё совсёмь не нужно знать, какъ ёсть этоть хулой. желтый, съ какой-то чернью на лицъ нотаріусъ изъ Ліона, ни того, что синяя бархатная дама въ критическихъ случаяхъ вынимаеть цёлую челюсть зубовь, жевавшихь когла-то пишу пругому желудку. А тутъ еще англичанинъ, который за десертомъ полощеть роть съ такими взрывами гаргаризаній, что кажется, будто въ огромномъ котлъ закипаетъ смола или какой-нибуль металлъ... Словомъ сказать, я ненавижу table d'hote. И въ ресторанъ тдятъ другіе, но они сами по себъ, а я самъ по себъ: а за table d'hote есть круговая порука, какое-то соучастіе, прикосновенность, незнакомое знакомство и въ силу его разговоръ и взаимныя любезности.

Два часа. День на день не приходится. Сегодня я и въ маленькомъ ресторанѣ почти ничего не ѣлъ. Стыдно сказать отчего. Я всегда завидовалъ поэтамъ, особенно «антологическимъ»: напишетъ контурчики, чтобъ было плавно, выпукло, округло, звучно, безъ малѣйшаго смысла: «Рододендронъ-Рододендронъ» — и хорошо. Въ прозѣ люди требовательнѣе и, если нѣтъ ни таланта, ни мысли, то требуютъ хоть какого-нибудь доноса. А мнѣ именно приходится написать такую «антологическую прозу».

Передо мной въ ресторанъ вошла женщина съ двумя дѣтьми въ траурѣ и съ ними высокій господинъ тоже въ черномъ.

Возл'є столика, за который я сёль, об'єдали четыре commis voyageurs изъ Парижа; они толковали свысока о казино и съ снисхожденіемъ о п'євицахъ, въ которыхъ ц'єнили вовсе не голосъ, — они говорили что-то другъ другу на ухо и разражались вдругъ громкимъ хохотомъ.

Слушать и смотръть на комми *сп négligé*, между собой—моя

страсть, но мит не долго пришлось питать ее.

- Ты плачешь? спросила женщина въ траурѣ; мальчикъ лѣтъ вооъми-девяти поднялъ на нее глаза, полные слезъ, и сказалъ: «нѣтъ, нѣтъ!» Мать взглянула на мужчину, улыбаясь,—она, видимо, извинялась за слёзы ребенка. Мужчина положилъ ему большой кусокъ чего-то на тарелку и прибавилъ: «будь же уменъ и ѣшь».
 - Я не хочу всть, -- отвечалъ мальчикъ.

— Мой другь, это глупо, —сказаль мужчина.

— Ты съ утра ничего не влъ, кромъ молока, — прибавила мать, и просила взглядомъ, чтобы мальчикъ влъ. Мальчикъ принялся за котлету, взглянувъ на мать съ невыразимымъ горемъ; крупная слеза капнула въ тарелку. Женщина и господинъ едълали видъ, что не замътили, и начали говоритъ между собой. Другой ребенокъ—гораздо моложе—болталъ, шумълъ и влъ. Мать погладила старшаго, онъ взялъ ея руку и поцъловалъ, задержавъ слезы.

«Башмаковъ не усивла она износить» — и маленькій Гамлеть

Господинъ велътъ подать какого-то особеннаго вина, чокнулся съ матерью и, наливая дътямъ, улыбаясь, сказалъ старшему:

— Не будь же плаксивой дъвочкой и выпей браво твое вино.

Мальчикъ выпилъ.

Когда они пошли, мать надёла на мальчика шарфъ, чтобъ онъ не простудился, и обняла его. Въ ея заботъ было раскаяніе и примиреніе съ собой,—она, казалось, просила прощенія, пощады у него и у него.

И, можетъ, она во всемъ права.

Но мальчикъ не виноватъ, что помнитъ другого, что ему хотблось доносить башмаки—и что новые его жали, такъ, какъ не виноватъ въ томъ, что испортилъ мнѣ обѣдъ.

Пойду въ казино искать доктора,—онъ, навърное, спить или читаетъ какую-нибудь газету.

11.7

- Скажите, докторъ, какъ вы при всемъ этомъ сохранили столько здоровья, свёжести, силъ, смёха?
- Все отъ пишеваренія. Я съ ребячества не помню, чтобъ у меня сильно животъ болёль, разві, бывало, объёшься несцёлыхъ ягодъ. Съ такимъ фундаментомъ не трудно устроить психическую діэту, особенно съ наклонностью смізться, о которой вы говорили. Человъкъ я одинскій, семьи нътъ. Это, съ своей стороны, очень сохраняеть здоровье и аппетить. Я всегда считаль людей, которые женятся безъ крайней надобности, героями или сумасшедшими. Нашли геройство-лечить чумныхъ, да подъ пулями перевязывать раны. Во-первыхъ, это всякій челов'якъ съ здоровыми нервами спълаеть, а потомъ, выждаль часъ, пругой перестанутъ стрълять, прошло недъли двъ-нътъ чумы, аппетитъ хорошъ, ну и кончено. А, въдь, это подумать страшно, на въки въчные, хуже конскринціи, — та все же имъеть срокъ. Я рано смекнуль это и решился, пока розы любви окружены такими безчеловъчными шинами, которыми ихъ оградилъ по наискому оригиналу гражданскій кодексь, я своего палисадника не заведу. Охотниковъ продолжать родъ человъческій всегда найдется много и безъ меня. Да и кто же мнъ поручилъ продолжать его и нужно ли, вообще, чтобъ онъ продолжался и плодился, какъ пески морскіе, —все это д'єло темное, а б'єда семейнаго счастья очевидна.
- Что вы на это ръшились—дъло не хитрое, хитрое дъло въ

томъ, что вы выдержали. Впрочемъ, тутъ темпераментъ.

— Темпераментъ — темпераментомъ... ну, однако, бе

- Темпераментъ темпераментомъ... ну, однако, безъ воли ничего не сдълаешь. Вы, можетъ, думаете, что монахи первыхъ въковъ были холоднаго темперамента? Все зависить отъ того, что приму играетъ, да отъ воспитанія воли.
- Однако, докторъ, вы върите, кажется, въ libre arbitre, это почти ересь?
- Libre arbitre, воля, все это слова. Я не вѣрю, а вижу, что если человѣкъ захочетъ стоять на столбу—простоитъ, захочетъ ѣстъ траву и хлѣбъ и ѣстъ одну траву да хлѣбъ, возлѣ жареныхъ рябчиковъ. А ими онъ хочетъ, волей или неволей, это все равно. Конечно, воля не съ неба падаетъ, а также изъ нервъ растетъ и воспитывается, какъ память и умъ, главное дѣло въ томъ, ито она воспитывается. Человѣкъ привыкаетъ попридерживать себя или распускаться, давать отпоръ внѣшнему толчку или пасовать передъ каждымъ. Всякій можетъ сдѣлаться правственнымъ Митридатомъ и выносить ядъ жизни, лишь бы оба пищеваренія были исправны.

— Какъ, ужъ два пишеваренія?

— Непремънно! Желудочное и мозговое. Безъ хорошаго мозговаго претворенія и съ хорошимъ желудкомъ далеко не убдешь. Безъ него нельзя понять, что съёдобно и что не съёдобно, что существенно и что нътъ, что необходимо и что безразлично, наконецъ, что возможно и что невозможно. Безъ здороваго мозга, мелочи и призраки забиають людей и портять имъ желудокъ. Мелочамъ конца нътъ, какъ мухамъ; прогналъ однъхъ — другія насъли, а призраки хуже мухъ: это мухи внутри, ихъ и прогнать нельзя, развѣ однимъ смѣхомъ. Но люди не понимающіе-больше люди угрюмые, серьезные — все беруть къ серицу, всти обижаются, ни черезъ что не умъють переступить, ни надъ чъмъ не ум'тють см'ться, см'тхъ просто ихъ оскорбляетъ. Года два тому назадъ умеръ одинъ изъ старыхъ товарищей моихъ, извъстный хирургъ, и умеръ оттого, что его не позвали къ принцессъ, сломавшей ногу. Въ началъ его болъзни я зашелъ къ нему. Пва часа битыхъ толковаль онъ мнъ, желтый, исхудалый, о своихъ правахъ на принцессину ногу и все повторялъ одно и то же на сто ладовъ. Человъкъ лътъ семидесяти, большая репутація, большое состояніе, —ну, что ему было такъ сокрушаться о принцессиной ногъ, сломить еще кто-нибудь изъ нихъ ногу или руку--онъ же теперь все сами кучерами ъздятъ -- пришлютъ и за нимъ. Я постарался навести его на другой разговоръ.-Куда, все свое говорить. А туть вошель мальчикь и подаль газету; больной взяль ее, что-то прочель, глаза его сверкнули, губы затряслись, и онъ, улыбаясь, ткнулъ нальцемъ въ газету и сунуль миж ее въ руку. Лента почетнаго легіона была дана хирургу, починившему ногу принцессы. Чтобъ бъдняка какъ-нибудь разс'вять, я ему говорю: «Погода сегодня славная, по'вдемте-ка въ Анверъ, у меня тамъ есть знакомый chef, отлично дёлаетъ бульябесъ и котлеты à la Soubize».-Что вы, говорить, смѣетесь надо мной, у меня желупокъ ничего не варитъ, а вы подчуете провансальской кухней? Это вы, cher ami, ужъ не утъщаете ли меня въ лентъ... ха, ха, ха!.. Нужно очень мнъ ленту, мнъ досадно, мнъ больно, что во мнъ оскорблены права, заслуги тридцатил ттней дъятельности... а лента... ха, ха, ха... хорошо выдумали; à la Soubize... чеснокъ-это почетный легіонъ провинціальныхъ cordon bleu!—и онъ расхохотался, увѣренный, что сдѣлалъ чрезвычайно ядовитый и удачный каламбуръ. Дёло пропащее: ни мозгъ, ни желудокъ не находятся въ исправности, какой же тутъ можетъ быть выходъ. Замътьте, мимоходомъ, патологическую особенность, что люди большей частью выносять гораздо легче настоящія біды, чімь фантастическія, и это оттого, что настоящими бъдами ръдко бываеть задъто самолюбіе, а въ самолюбіи источникъ бользненныхъ страданій. Наши братья, обыкновенно, мало обращають вниманія на душевную причину бользней, да если и обращають, то очень неловко, оттого и леченіе не идеть. Для меня типь докторскаго вмышательства въ психическую сторону націентовь составляеть серьезный совыть человьку, дрожащему и обезумышему отъ страха, не бояться заразы. Настоящій врачь, милостивый государь, должень быть и поварь, и духовникъ, и судья, — всы эти должности врозь нелышы, а соедините ихъ, и выйдеть что-нибудь путное, пока люди остаются непорослями.

- Итакъ, послѣ теократіи, іатрократія, вы не мѣтите ли, какъ вашъ предшественникъ, докторъ Франсія, въ генералъштабъ архіатры врачедержавной имперіи? Человѣкъ надѣлалъ мерзостей, его отдаютъ въ судебную лечебницу, и дежурный врачъ приговариваетъ его къ двумъ ложкамъ рициноваго масла, къ овсяному супу на недѣлю или, въ важномъ случаѣ, къ ссылкѣ мѣсяца на три въ Карлсбадъ. Осужденный протестуетъ, дѣло идетъ въ кассаціонный медицинскій совѣтъ и онъ смягчаетъ Карлсбадъ на Виши.
- Смъйтесь, сколько хотите, а что же, лучше, что-ли, запирать въ Мазасъ, посылать въ Каену и, вмъсто рициноваго масла, прописывать денежные штрафы? Но до пришествія царства врачебнаго далеко, а лечить приходится безпрерывно, и я на долгой практикъ испыталь, что знай себъ, какъ хочешь, терапію, безъ—какъ бы это сказать—безъ своего рода философіи...
- У васъ она есть, докторъ, это я еще въ вагонъ замътилъ, и преорпгинальная.
 - Худа ли, хороша ли, но я не нахожу надобности мѣнять ее.
 - Какъ же вы дошли до нея?
 - Это длинная пъсня.
 - Да, въдь, времени довольно до второго стакана.
- Вы подм'тили, что я люблю поболтать, и эксплуатируете меня.
- Лучше болтать, чёмъ играть цёлое утро и цёлый вечеръ въ домино, какъ наши сосёди.
- Эге, такъ вы еще не освободились отъ порицаній и пересудъ безразличныхъ дъйствій людскихъ. Не играй они въ домино, что же бы они дълали? Жизнь дала имъ много досуга и мало содержанія, надобно чъмъ-нибудь заткнуть время утромъ до объда, вечеромъ до постели. Моя философія все принимаетъ.
 - Даже алжирское людоѣдство?
- Оно только зацъпляется за европейское. Дошелъ я до моей философіи не въ одинъ день, да и не то, чтобы вчера. Первый разъ я порядкомъ подумалъ о жизни лътъ сорокъ тому назадъ,

шедши отъ Шарьера: фирма его и теперь дълаетъ превосходные хирургические инструменты, можеть, лучше англійскихъ, вы это на всякій случай зам'ятьте—прямо по Rue de l'Ecole de Médecine. въ окнахъ увидите всевозможныя шилы, ножницы. Отъ Шарьера я вышелъ часовъ въ пять, съ сильнымъ аппетитомъ и пошелъ Au boeuf à la mode, возл'в Одеона, да вдругъ среди дороги остановился и, вибсто Au boeuf à la mode, повернулъ въ Люксембургскій садъ. У меня въ кармант не было ни одного су! Какое варварство, что часть этого сана уничтожають: въдь. въ такомъ городъ, какъ Парижъ, такіе сады прибъжища, лодки спасенія для утопающихъ. Иной, безъ сада, походитъ по узкимъ переулкамъ, вонючимъ, непріятнымъ, да и пойдеть въ Сену, а туть по дорогъ садъ, воробъи летаютъ, деревья шумятъ, трава нахнетъ; ну, бъднякъ и не пойдетъ топиться. Вотъ тутъ-то въ саду, на пустой желудокъ, я и расфилософствовался. Ну, думаю, почтенные родители очень безцеремонно надули тебя въ жизнь; безъ твоего спроса и въдома втолкнули тебя въ какой-то омуть, какъ шенять толкають въ воду: «спасайся, какъ знаешь, а не то тони». Какъ я ни думалъ, вижу, выплывать надобно. Надобно затъмъ, зачъмъ и щенокъ барахтается, чтобы не идти ко дну, просто привыкъ жить. До этого случая нужда меня не очень давила. Прежде мнѣ изъ дому посылали немного денегъ. Отецъ мой умеръ года четыре тому назадъ, все поправлялъ какія-то брешп въ состояніи, слъданныя спекуляціями, и кончилъ свои поправки тъмъ, что ничего не оставилъ. У него былъ братъ, старый полковникъ, обогатившійся на войні и пиввшій деньги въ амстерчамскомъ банкъ, онъ помогалъ нашей семьъ и радовался моей карьеръ, говоря, что Наполеонъ уважалъ Ларе и Корвизара. Разумъется, онъ мысленно меня назначалъ въ полковые доктора. О пянъ я долженъ вамъ разсказать кое-что. Меньше меня ростомъ, съ огромной львиной головой, съдыми всклокоченными волосами и черными усами, которые онъ подстригалъ подъ щетку, онъ былъ отчаянный бонапартисть, никогда не давая себъ никакого отчета, что собственно было хорошаго въ имперіи. Подумать объ этомъ ему казалось бы святотатствомъ. После іюльской революціи онъ съ презрительной улыбкой говориль:

«Это все не то, это не надолго», пристегивая толстую трость съ бѣлымъ набалдашникомъ къ верхней пуговицѣ сюртука, застегнутаго по горло. «Мы этихъ barbouilleurs de lois, этихъ подъячихъ, адвокатовъ въ Сену бросимъ; люди безъ сердца, безъ достоинства; намъ надобно имперію, чтобы отомстить за 1814 и 1815 голы».

[—] И, замѣтилъ я, утратить тѣ небольшія свободы, которыя пріобрѣли на баррикадахъ.

«Что?—закричалъ дядя, и лицо его побагровѣло.—Что? Какъ, у меня въ домѣ!.. Что ты сказалъ?»

Я съ нимъ никогда не спорилъ и тутъ уступилъ бы, если бы онъ не взбъсилъ меня крикомъ, а потому я повторилъ сказанное.

«Кто ты такой?» кричаль полковникь, свирьно подходя ко мив и отвязывая налку оть пуговицы совершенно безуслышно, палка вертылась, какъ веретено, и все туже прикрыпялась къ пуговицы.—«Ты сынъ моего брата, или чей ты сынъ? Чей? Развратили мальчишку эти доктринеры. Неужели ты не чувствуешь кровавую обиду вторженія варваровъ въ Парижъ, des kalmuk, des keiserlich, и проклятый день Ватерлооской битвы?»

— Нътъ, не чувствую! — сказалъ я хладнокровно и совер-

шенно искренно.

Левъ отпрянулъ, отдулся и тъмъ голосомъ, которымъ командовалъ «en avant» своему отступившему полку подъ Лейпцигомъ, закричалъ: «Вонъ, вонъ изъ моего дома!»

Я вышелъ и съ тъхъ поръ отъ дяди ни гроша. Онъ только матери написалъ письмо, исполненное сожалънія (а отчасти и упрековъ), что она родила и воспитала изверга, который не принимаетъ Ватерлооскую битву за лично ему данную пощечину и не стремится ее отомстить. «Куда мы идемъ съ такой негодной молодежью?» заключилъ левъ. Мать моя могла что-нибудъ посылать иной разъ, но я не хотълъ: у нея самой едва въ хозяйствъ конпы сволились.

— Походилъ я въ салу на тошій желудокъ и всиомнилъ стараго фармацевта, искавшаго помощника. Я прямо къ нему, нанялся изъ-за объла и постели, стоявшей межну кухней и лабораторіей. Мъсяна четыре я вынесъ, но потомъ терпъніе лопнуло. Старикъ полуслівной, полуглухой, съ деньгами и безь наслідниковъ, дрожашими руками обвёшиваль на всёхь медикаментахь; ну, на какой-нибудь соли, которой униъ стоитъ двадцать сантимовъ, и на той украдетъ на полъ-сантима. Мнѣ было это очень противно н я, только скрын сердце, молчалъ. Наконецъ, старый отравитель говорить мий и разъ, и два: «Вы вишаете безъ всякаго разсчета, вы меня разоряете! Вы должны съ меня примъръ брать».—«Послушайте, почтенный père Philippe, я глупыя микстуры дёлать готовъ, а воровать на вѣсѣ не хочу, развѣ недовольно слишкомъ 50°/о, да taxa laborum»?—«А я, сказалъ старикъ, кашляя, задыхаясь и утирая грязнымъ платкомъ давно вертъвшуюся табачную каплю на концт носа, а я у себя въ домт хочу быть хозяиномъ и всякому студенту bon à rien не позволю делать дерзкія зам'вчанія». — «Особенно, зам'втиль я, когда они справедливы». Затъмъ я взялъ шляпу и, насвистывая пъсню, пошелъ вонъ. Это былъ второй урокъ философіи.

VIII.

- Третій урокъ образоваль меня по сердечной части.
- Тутъ-то я васъ и ждалъ.
- И совершенно ошибетесь. Въ моей жизни все было очень просто, и романъ мой меньше сложенъ, чёмъ всё повёсти, перемежающіяся по фельетонамъ газетъ. Года три послё того, какъ я бросилъ стараго отравителя, былъ я интерномъ въ Maternité и на пежурстве.
 - Помилуйте, докторъ, тамъ часто оканчиваются романы, но

ни одинъ, сколько я знаю, не начинался.

- А мой не только начался, но почти и кончился въ этомъ «арьергардю любви», какъ ее называла тете Обержинъ, съ которой я васъ сейчасъ познакомлю. Провозился я цёлый день и, усталый, какъ собака, бросился на диванъ, закуривъ трубку и взявъ книгу Сивьяля о болёзняхъ мочевыхъ путей. Едва я успёлъ заснуть и выронить трубку и книгу, кто-то дернулъ за колокольчикъ: «Это вы, бригадье?» кричу я ему, то-есть нашему сторожу или консіержу, котораго, шутя, мы называли «бригадье» за его необыкновенно военную и суровую посадку. Мы, смёнсь, говорили, что правительство его намёренно посадило консьержемъ въ Маternité для того, чтобъ отстращивать родильницъ и дёлать ихъ больше осторожными. «Я, говоритъ, я».
 - Что у васъ?
 - Пожалуйте сейчасъ въ № 21.
- Не дадуть проклятыя уснуть. Вы бы прикрикнули, бригадиръ; куда торопится, могла бы подождать до утра. А что *m-те* Оберженно тамъ?
 - Она-то и послала за вами.

Я вытеръ лицо мокрымъ полотенцемъ и побѣжалъ въ № 21. М-те Обержинъ сидитъ, по обыкновенію, разставивши ноги. Она столько учила своихъ паціентокъ сидѣть на больничныхъ креслахъ, что сама приняла эту посадку. За занавѣсью слышно, чтото охаетъ и стонетъ слабо, очень слабо. «Никакой силы нѣтъ, говоритъ шопотомъ тте Обержинъ, и ребенокъ неправильно лежитъ».—«А вотъ мы его научимъ шалить до рожденья», говорю я ей. М-те Обержинъ, старшая повивальная бабка наша, была отличнѣйшая женщина и со всѣми нами пріятель и товарищъ. Черезъ ея руки прошли не только нѣсколько поколѣній, нечаянно родившихся въ Парижѣ, но два, три вышуска интерновъ. Жирная, рослая, сильная, всегда готовая врать вздоръ, смѣшить и хохотать, никогда не заспанная и всегда готовая уснуть, она какъ нарочно была создана для своей должности. Смолоду, вѣроятно,

она не только принимала дѣтей, но страсти мало по-малу ушли въ жиръ и, если случались кой-какія бездѣлицы, то это ужъ, какъ hors d'oeuvre. Удивляться нечему, самыя наши занятія наводили на щекотливые предметы, да и потомъ ночи, цѣлыя ночи, просиживаемыя въ ожиданіи... Какъ живая, она передо мной, съ ся сѣрыми смѣющимися глазами, съ бѣлокурымъ усомъ на одной губѣ и клокомъ такихъ же волосъ на противоположной сторонѣ подбородка; этотъ клочекъ она любила крутить, какъ гусаръ, — славная была женщина!

Подхожу я къ кровати, отдернулъ немного занавъсъ и говорю:

— Извините, сударыня, я пришелъ подать вамъ нужную помощь! Молодая женщина закрыла лицо и рыдала.—Успокойтесь, говорю я ей, хлебните немного воды.

- Я очень страдаю,—отвъчала она едва внятнымъ образомъ,—
- Върю, върю, но это гораздо легче, чъмъ вы думаете, не вы первая, не вы послъдняя, du courage; дайте-ка вашу руку, эге, да у васъ порядочная лихорадочка, и я попросилъ т-те Обержинъ приблизить свъчу. Испуганное, болъзненное лицо больной какимъ-то гаснущимъ взглядомъ просило у меня помощи... и... и прощенія. Такого выраженія я никогда не видывалъ и даже смутился. Роды были тяжелы, мучительны, долги. Наконецъ, «рекрутъ», какъ т-те Обержинъ называла всъхъ новорожденныхъ мужскаго пола, хлебнулъ воздуха и запищалъ.
- Что, кисло и холодно? проговорила *m-те Обержинъ*, пошлепывая его и повертывая съ необыкновенной ловкостью пріучинься и кислымъ дышать.
- Ну,—прибавила она, обращаясь ко мнѣ,—что вы уставили глаза на родильницу, осматривайте, годный ли рекрутъ.
- Онъ-то годенъ, а вы посмотрите сами на больную: какъ свъча на дворъ, того и гляди потухнетъ при легчайшемъ вътеркъ.
- Да она и то чуть ли не умираетъ,—сказала *m-те Обержинъ* и сама взяла ея руку, чтобы узнать, какъ бъется пульсъ.

Мы сдълали, что могли, чтобъ задержать отлетавшую жизнь, наконецъ, она раскрыла глаза—слабые, мутные, долго вглядывалась и потомъ едва внятно спросила: «гдъ?»

Я взяль у *m-те Обержинъ* «рекрута» и поднесъ ей; она зарыдала и опять лишилась чувствъ. Умирающая, хрупкая, тщедушная женщина сильно потрясла меня. Видалъ я и прежде нея и родильницъ, и красавицъ. Какія красавицы лежали у насъ въ отель Дье; была одна креолка—фу!

Я невольно улыбнулся, думая, въ какихъ необычныхъ мѣстахъ докторъ мой изучалъ прекрасный полъ и его красоты.

- Словомъ, видалъ довольно, но ни одна не сдълала на меня такого внечатлівнія. Я почти не отходиль оть больной. Старуха наша все замутила и лня черезъ лва говоритъ миж. ущиничвъ въ плечо: «Въроломный Артюръ! И ты тупа же, хочешь фуражировать въ нашемъ аріеръ-гардъ, glaner на полъ битвы, между ранеными и убитыми — ха-ха-ха!» — И смъхъ, и слова непріятно польйствовали на меня, я какъ-то отшутился и ущелъ въ свою комнату; хотълъ позаняться, отдохнуть и, не знаю какъ, часа черезъ два очутился опять въ № 21. М-те Обержинъ спала на кушеткъ, окончивъ свою третью чашку кофе, въ который она прибавляла, чтобъ не сильно дъйствовалъ на нервы, бенедиктинской водки; я обрадовался ея сну, и на ципочкахъ подошелъ къ больной. Спала и она: если-бъ не легкое, едва уловимое дыханіе, можно бы положить въ гробъ. Я скрестилъ руки и смотръть, смотръть, что за чистыя линіи, что за профиль! Послѣ я випълъ что-то такое въ картинахъ Ванъ-Дика, въ головкахъ Андрея Дель-Сарто, — красота, вообще, сила, но она дъйствуеть

по какому-то избирательному сродству.

— Я магнитизмъ отрицаю, а, пожалуй, тутъ есть что-нибудь похожее на магнитизмъ. Красота и звукъ годоса-принадлежности чисто личныя и дъйствуютъ тоже совсъмъ лично; умъ, знаніе п все такое-мое и не мое, а черты мои, мой голосъ-совершенно мон. Мнъ всегда казалось, что, именно, по ихъ личности и перехолимости, они и лъйствуютъ такъ неотразимо на нашу страстную, т. е. тоже личную, сторону. Пока я стоялъ и смотрёлъ, т. е. все больше и больше подвергался вліянію магнитизма, т-те Обержинъ подкралась ко мнъ п говорить: Tu es donc bien pincé, mon petit chat? Придется мнъ тебъ помогать, коварный измънникъ! Я взялъ ея руку и въ какомъ-то азартъ отвъчалъ ей: «Помощи мнъ никакой неналобно, но я чувствую, что стою на краю пропасти!» Добрая женщина посмотръла на меня съ какимъ-то материнскимъ участіемъ и съ тъхъ поръ ни разу не заикалась объ этомъ. Больная поправлялась медленно. Тяжелая плита лежала на ея груди, и, по мёрё того, какъ грудь становилась крёпче, плита давила тяжелъе. Никто не приходиль навъстить бъдняжку, справиться, жива ли она: никто не писаль, не сделаль опыта что-нибудь прислать, какъ обыкновенно дълаютъ, варенья, конфекть. Между тыть, подощло время выписываться. Тревога и горе росли. Послъ долгихъ усилій, она миъ призналась, что ей, просто, некуда идти, что матери ея нътъ въ Парижъ, а что онъ оставилъ ее, «не по моей винъ», прибавила она, заливаясь слезами. Что туть было дёлать? Снасти ее надобно было, — я предложиль ей перебхать къ знакомой мий старушки. Не принять она не могла, иначе ей пришлось бы перебхать на улицу. Въ небольшомъ перечлкъ Латинскаго квартала вылечилъ я какъ-то случайно, долго пачкая, одну старушку; она была одинокая, вся въ ревматизмахъ, но умереть боялась ужасно. Она имъла ко мнъ собачью привязанность и была увърена, что я одинъ могу еще разъ вылечить отъ смерти. Она отдавала въ наймы довольно удобную и и свътлую мансарду. Ходить въ нее надобно было черезъ какой-то черчакъ, въ которомъ вѣчно висѣло сырое бѣлье и пахнуло щелокомъ, но на войнъ, какъ на войнъ, въ самой комнатъ было непурно. Перевезъ я тула мою ванинковскую головку и ея рекрута. Что же, въ самомъ дълъ, родился безъ отца, такъ и погибать? Вы, пожалуйста, не полагайте, что я хочу похвастаться особенной поблестью. — всё такого рода нодвиги подтасованы, по пристрастью къ матери, один безъ смысла любять ся дътей, пругіе ненавилять. Ванликовская головка никогда ни разу не поминала даже изпали объ отцъ ребенка. Я ни однимъ словомъ не заикался о моей любви. Она удивляла меня: въ ней все было полно такта, грацін, чуткости. Только въ Парижі, и притомъ въ прежнемъ, неперестроенномъ, не въ вновь крешеномъ, а въ старомъ полуязыческомъ Парижъ, встръчались такія чудеса: Я проводилъ съ ней вечера, читалъ ей Бальзака и Гюго: чуть ли это не было лучшее время моей жизни, въ родъ весенняго утра теплаго, свътлаго, но въ которомъ еще чувствуется свъжесть, да оно и прошло, какъ мартовское солнце.-Покторъ пріостановился.—Вы, върно, не ждете, что мы при развязкъ?

- Конечно, ивтъ.

— Прошло около мѣсяца. Маргарита, такъ звали ванъ-диковскую головку, настолько оправилась и окрыпла, что стала выходить въ хорошую погоду. Разъ возвращается она домой страшно разстроенная, на лицъ мертвая блъдность и цятна, руки дрожать. Я хотъть спросить, но, вглядъвшись, до того испугался, что не нашель словъ. Она бросилась къ люлькъ, взяла рекрута и зарыдала истерически. Теперь, думаю, будеть легче. И, въ самомъ дълъ, она черезъ двъ, три минуты взяла мою руку и сказала: «Я видъла его... онъ... онъ требуетъ, чтобы я малютку отдала въ восинтательный домъ; онъ прежде говориль это, съ этого началась наша ссора. Будто малютка можетъ мѣшать. Онъ его лаже не видалъ ни разу и говорилъ объ немъ такъ хололно, такъ равнодушно. Онъ негодяй!» вскрикнула она и прижала къ себъ рсбенка, какъ будто его вырывали у ней силой. Потомъ бросилась на колъни передо мной и, захлебываясь слезами, говорила: «Ты, ты меня не разлучишь съ нимъ, ты такъ добръ, о, я тебя знаю, я все оцінила, я оцінила твое молчаніе. Ты меня любищь, возьми меня, спаси мент и его, я буду тебя любить, не отнимай у меня ребенка!» И она положила его мнъ на колъни и рыдала, ухватившись объими руками за меня. Я взяль малютку, слезы катились изъ глазъ моихъ. Она встала, взглянула на меня, улыбнулась, да, улыбнулась съ какимъ-то торжествомъ и бросилась ко мнъ на шею. Я уложилъ ее въ постель, укрылъ и вышелъ на улицу,—я не могъ не выйти! Прощаясь, она мит сказала: «Ты мнъ прости, не сердись, въдь я сумасшедшая!» И вотъ я опять очутился въ пустынныхъ аллеяхъ Люксенбургскаго сада; свъжій ночной вітерь пронималь, но мит было не до того; я стль на скамью; что происходило во мнѣ, этого, я думаю, и Бальзакъ не могъ бы описать, а у него именно былъ талантъ описывать эти сложныя мулреныя блаженства, сбивающіяся на страданія, и страданія, сбивающіяся на блаженства. Пля меня было ясно, что въ ней говорило dépit, оскорбленная мать, она бългала отъ него ко мнъ, она пряталась за своимъ рекрутомъ, но горячія губы ея горъли на моей щекъ, но горячія слезы едва обсохли на ней, но она улыбалась мнт. и булто можно любить такого негодяя? Она его такъ называла. Когда я пришелъ къ ней, было уже утро. Ифло приняло плохой оборотъ. Лихорапочное молоко отравило ребенка, онъ кричалъ и бился въ корчахъ; выбившись изъ силъ онъ уснулъ, уснула и мать. Я взялъ ребенка на руки, —онъ все спаль, долго спаль; потянулся раза два и сталь тяжелье и холодиће. Тихо, тихо положилъ я его въ люльку, покрылъ и сълъ у изголовья матери. Она проснулась, — мое лицо, тишина; она бросилась къ люлькъ и съ крикомъ грохнулась безъ чувствъ на землю. На другой день она была въ бѣлой горячкѣ.

— И умерла?—спросилъ я.

— Нѣтъ, она выздоровѣла и потомъ ушла къ «отцу рекрута», выбывшаго изъ строя, — препятствій больше не было. Ей пе легко было покинуть меня, она писала мнѣ письмо—Ж. Зандъ такого не напишетъ—потомъ забыла, да и я потомъ забылъ.

IX.

И вотъ мы опять несемся, поправивши и укрѣпивши наши пищеваренія и кровотворенія, въ обратный путь, и я съ ужасомъ думаю, что въ Ліонѣ придется разстаться съ докторомъ: онъ поѣдетъ направо, я налѣво. Со мной цѣлая тетрадь, въ которую я внесъ половину его разсказовъ и, главное, его подстрочныхъ замѣчаній къ нимъ. Со временемъ и я издамъ «Слышанное и незабытое, записанное и напечатанное, — изъ воспоминаній другого».

Вы зачёмъ это записывали?—спросилъ докторъ.

— Такая мода теперь у насъ. Съ тъхъ поръ какъ судъ изъ письменнаго сдълался словеснымъ, мы все словесное записываемъ.

- И печатаете потомъ?
- Отчасти, отобравши плевелы.
- Какая же польза отъ этого? Совсемъ не нужно печатать такъ много.
 - Все для исправленія нравовъ.
- Книгами-то! Хорошо выдумали. Во-первыхъ, книгъ никто не читаетъ.
- А во-вторыхъ, любезный докторъ, книгъ читаютъ очень
- Ну, то-есть никто въ пропорціи къ вовсе неграмотному большинству, къ большинству едва грамотному, но не берущему никакихъ книгъ въ руки, кромѣ приходо-расходныхъ. А во-вторыхъ, хотѣлъ я сказать, людей совсѣмъ не надобно исправлять и переиначивать. Оно же и не удается никогда. Умнѣе станутъ, сами кое въ чемъ поисправятся, хотя все же останутся людьми, а такъ съ чего же? Для удовольствія моралистовъ? И то нѣтъ. Начни люди въ самомъ дѣлѣ исправляться, моралисты первые останутся въ дуракахъ, кого же тогда исправлять?

— Отчего же вы не можете допустить, что иной разъ человѣкъ, просто жалѣя другихъ, любя ихъ, старается ихъ испра-

вить по крайнему разумѣнію?

— Мудрено что-то. Не спрашивая человека, хочеть ли онь, можеть ли онъ измёниться, говорять ему: видишь молъ, какой ты негодяй, тебъ надобно сдълаться воть такимъ отличнымъ, како я, развившійся подъ другими условіями, въ другомъ нравственномъ климатъ, въ другомъ историческомъ кряжъ, достигай же по меня, и когда достигнещь, я тебя въ награду назову меньшимо братомъ и притомъ братомъ безкорыстнымъ, титулярнымъ, потому что наслъдствомь я буду все-таки пользоваться одинъ. Хороша любовь! Животныхъ люди считаютъ больше посторонними или ужъ очень дальними родственниками, и съ ними умнъе обходятся, или просто на просто ихъ тдять или пользуются ихъ глупостью, не стараясь исказить ихъ самобытности и характера, а скоръе признавая его. Иногда берутъ крутыя мъры, когда звёри на насъ смотрять, какъ мы на нихъ, и принимаютъ насъ тоже за събстной припасъ, но, вообще, откровенно пользуются ихъ особенностями и кабалятъ ихъ въ свою крѣпостную работу. Весь пріемъ не тотъ. Отъ лошади мы требуемъ, чтобы она была хорошей лошадью, и вовсе не стремимся стереть ея характеръ, воспитывая въ ней ея общеживотную натуру и стараясь изъ нея сначала образовать хорошаго звъря вообще, а потомъ ея спеціальность. Нёмцу же или англичанину толкують, что онъ прежде всего человтью, онъ и старается съ самаго начала не походить на себя. Животныхъ мы наблюдаемъ, а людямъ все внушаемъ,

ну и выходить вздоръ. Примъры на всякомъ шагу. Мы знаемъ, что кошка личной собственности не признаетъ, авторитетовъ еще меньше, что она ни къ полицейскимъ должностямъ, ни къ военной дисциплинъ собачьей страсти не имъетъ, и не ходимъ съ ней на охоту, не ставимъ ее сторожемъ при вещахъ, квартальнымъ при стадъ, а, напротивъ, соглашая ея эгопстическіе вкусы съ нашей потребностью, предоставляемъ ей удовольствіе охотиться но мышамъ, которыя намъ почему-то всегда мъшаютъ. Отчего же никто не исправляетъ кошки, не прививаетъ ей голубиныхъ добродътелей, не внушаетъ ей любовь къ мышамъ и пицамъ, не внушаетъ даже военнаго духа, вслъдствіе котораго загрызть мышей должно, но ъсть унизительно, а слъдуетъ послъ сраженія набрать побольше мышиныхъ труповъ и зарыть въ яму...

— Ха, ха, ха! Я, докторъ, и это запишу.

— И это будеть такъ же безполезно, развъ для препровож-

ленія времени.

- Вы мий напоминаете одного нашего генерала, который, разсуждая о революціонных движеніях 1848 года, говориль, что, по его мийнію, вся эта кутерьма была сділана для «изощренія въ стиль журналистовь».
 - Не помните ли вы его фамилію?
 - Нѣтъ.
- Экая досада, я записаль бы ее. Это умивншій генераль у вась послів Суворова; а вы хотілп надь нимь посмінться!

— Нътъ пророка въ своемъ отечествъ.

— Lyon Perrache—Lyon Perrache! Les voyageurs pour Amberieux Culos, ligne de Chambery, ligne de Genève! Changement de voiture.—Les voyageurs de l'Expresse—Arseille—Lyon continuent immédiatement.

Я вышель изъ кареты, люди выгружали багажъ. Я подошель еще разъ къ окну, докторъ протянуль объ ноги на мое мъсто и повязалъ себъ на голову фуляръ.

Экспрессъ двинулся.

Досадно, запруть меня тенерь въ ящикъ съ какими-нибудь часовщиками изъ Шо-де-фона, или съ ліонскими комми, «работающими въ шелкахъ», или, чего Боже сохрани, съ путешествующими дамами, которыя закроютъ всѣ окна, займуть всѣ мѣста необычайнымъ количествомъ ручнаго добра, который онѣ таскаютъ съ собой...

. . . Съ тѣхъ поръ, какъ поднялся вопросъ объ освобожденіп женщинъ отъ супружеской зависимости, онѣ вовсе не крюпки дома и ужасно легко отрываются отъ «ложа и стола», какъ выражается римское право. Встрѣчъ онѣ никакихъ не боятся, мы ихъ боимся. Сама природа, кажется мнѣ, спосиѣшествуетъ къ уравненію прекраснаго пола съ просто поломъ; Швейцарія, напр.,

окружаеть, по крайней мёрё, городскую часть женскаго населенія какимъ-то нимбомь, удаляющимъ всякую опасность временнаго перемирія и *entente cordiale* между враждебными станами.

Я зам'єтилъ это (въ другой форм'є) іхавшему со мной члену женевскаго большого сов'єта. Онъ не то чтобъ очень доволень быль монмъ зам'єчаніемъ и совершенно неожиданно возразиль:

— Но зато, какъ онъ свъжи.

Въ этомъ неоспоримомъ достоинствъ устрицъ и сливочнаго масла искалъ онъ облегчающей причины.

Χ.

— Послъдній тунель и post tenebras lux.

Женеву я знаю съ давнихъ лътъ. Я ее слишкомъ знаю.

— Скажите; пожалуйста, какъ бы миъ сдълать, -говорила одна дама, соотечественница наша, не безъ угрызенія совъсти,—какъ бы сдълать, чтобы полюбить Швейцарію?

Задача была не легкая, несмотря на то, что есть множество причинъ, по которымъ Швейцарію слъдуеть любить.

— А вы куда ъдете?--спросилъ я ее.

— Въ Женеву.

— Какъ можно, вы ужъ лучше побзжайте въ другое мъсто

— Куда же?

— Въ Люцернъ, или что-нибудь такое.

— Неужели тамъ лучше?

— Нъть, гораздо хуже, но тамъ вы скоръе дойдете до раз-

рътенія вашей задачи.

Въ самомъ дълъ, въ Женевъ все хорошо и прекрасно, умно и чисто, а живется туго. Начнешь разсуждать, —ясно какъ дважды два, что въ наше съренькое время мало мъстъ лучше въ Европъ; а наймешь квартиру, —такъ и тянетъ куда-нибудь, лишь бы изъ Женевы вонъ.

Достоинствъ Женевы кто не знаетъ. Каподистрія въ тѣ веселыя времена, когда Европа танцовала свою исторію на кон грессахъ и вся пахла fleur d'orange'иъ и бѣлыми лиліями, сравнивалъ Женеву съ ладанкой, въ которой бережется кабардинская струя, напоминающая что-то Европѣ своимъ запахомъ. Каподистрія былъ правѣе покойнаго императора Павла I, называвшаго движеніе въ Женевѣ «бурями въ стаканѣ». Конечно, привыкнувъ брать за единицу мѣры пространство отъ Петербурга до Камчатки, Женева можетъ показаться не только стаканомъ, но и рюмкой,—но одной рюмки мохуса было дѣйствительно достаточно, чтобы во всей Европѣ поняли; что извѣстный мохусъ существуетъ. Въ ней, какъ въ фокусѣ, успленно и сокращенно

отражается все движеніе и всѣ движенія современной исторіи, съ тѣмъ преувеличеніємъ, которое имѣютъ Альпы на выпуклыхъ картахъ и капли подъ микроскопомъ.

Вы видите,—я далекъ отъ того, чтобы клеветать на рюмку, служившую вѣка цѣлые гаванью всѣмъ преслѣдуемымъ за грѣхъ мысли, бѣжавшимъ въ нее съ четырехъ сторонъ, на рюмку, изъ которой вышелъ Руссо и со дна которой Вольтеръ мутилъ Европу. Но что же мнѣ дѣлать, когда при всемъ этомъ чего-то въ ней не достаетъ

Наружно женевцы давно бросили свой отталкивающій піэтизмъ, свою канцелярскую, педантскую обрядность. Женева въ этомъ даже опередила Англію,—въ ней человѣкъ можетъ, не теряя честнаго имени, кредита, мѣста, уроковъ и приглашеній на обѣды, не явиться нѣсколько воскресеній къ предикѣ. Но за спавшей съ души коростой кальвинизма осталась постно сморщенная кожа. Эти формы безъ содержанія, эти рябины прошлой болѣзни уцѣлѣли вмѣстѣ съ сухой раздражительностью, съ пріемами прежней нетерпимости. Женева похожа на разстриженнаго патера, потерявшаго вѣру, но не потерявшаго клерикальныя манеры.

Кто-то сказаль, что въ каждомъ женевцѣ остается на вѣкивѣковъ слѣдъ двухъ простудъ, двухъ холодныхъ дуновеній бизы и Кальвина,—и кто бы ни сказалъ, это совершенно вѣрно, но онъ забылъ прибавить, что къ двумъ прирожденнымъ простудамъ прибавляются разные пограничные оттѣнки и осложненія: савойскіе—немного съ зобомъ внутри, французскіе—съ соир d'état'скими понолзновеніями и централизаціонными стремленіями. Все это вмѣстѣ составляетъ въ общемъ швейцарскомъ характерѣ, тоже больше свѣжемъ, чѣмъ любезномъ, особый оттѣнокъ женевскій, конечно, очень хорошій, но не то, чтобы чрезвычайно пріятный.

Женевецъ—гражданинъ и буржуа, гражданинъ раздражительный, буржуа агрессивный, нъсколько хищный и всегда готовый сдать сдачу — крупной, мъдной монетой дурного чекана. Между собой у нихъ расплата идетъ свиръпъе и быстръе, чъмъ съ нашимъ братомъ. Иностранца, особенно туриста, пока не замъчаютъ въ немъ наклонности къ осъдлой жизни, щадятъ, какъ хорошую оброчную статью и выгодный транзитный товаръ. Такихъ соображеній между жителями быть не можетъ. На другіе кантоны женевцы смотрятъ свысока, они нарочно не знаютъ по-нъмецки. Вообще надобно замътить, что у швейцарцевъ два, три, даже четыре патріотизма, и, стало-быть, столько же ненавистей. Есть патріотизмъ федеральный и есть кантональный; федеральный, въ свою очередь, раздвоенъ на романскій и германскій. Какъ

добрые родственники, граждане разныхъ кантоновъ любятъ собираться на семейные праздники, вмъстъ покушать и попить, пострълять въ цъль, попъть духовную музыку и послушать свътскихъ ръчей, послъ чего, какъ настоящіе родственники, они возвращаются по домамъ съ той же завистью и нелюбовью другъ къ другу, съ которой пришли, съ тъми же пересудами и взаимными антипатіями.

Въ германской Швейцаріи вы встрѣчаете на каждомъ шагу ту природную, наивную, англо-саксонскую грубость и безсознательную неотесанность, которая очень непріятна, но не оскорбительна, которая сердитъ, не озлобляя, такъ, какъ сердитъ неповоротливость осла, слона. Женевецъ, заимствуя у нѣмецкихъ кантоновъ это натріархальное свойство, усложняетъ его, переводя на французскій языкъ, не имѣющій столько емкости или выразительности по этой части, и, мало этого, онъ возводитъ простодушную, сосѣдскую грубость въ квадратъ преднамѣренной дерзостью и сознательнымъ sans façon. Онъ наступаетъ на ногу, зная, что это очень больно; онъ скорѣе потому-то и позволяеть себѣ это маленькое удовольствіе, что знаетъ.

То, что у нѣмецкаго нѣмца идетъ до приторности, чѣмъ онъ производитъ въ непривычномъ морскую болѣзнь и что называется словомъ, не переводимымъ ни на какой языкъ, словомъ Gemülhlichkeit,—это до такой степени отсутствуетъ въ женевцѣ, что вы отъ него бѣжите и безъ морской болѣзни. Къ тому же, женевецъ особенно скученъ, когда онъ веселъ, и пуще всего, когда разострится. Вѣроятно, во времена женевскихъ либертиновъ они были размашистѣе, смѣялись смѣшно и острили не тупымъ концомъ ума; но они выродились.

Такъ, какъ у женевцевъ следа нетъ немецкой задушевности. такъ у нихъ нътъ признака сельскаго, горнаго элемента, сохранившагося въ другихъ мъстахъ Швейцаріи; женевцамъ не нужно ни полей, ни деревьевъ, -- имъ за все и про все служитъ издали Mont Blanc и вблизи озеро. Если онъ хочетъ гулять за городомъ, у него есть на то пароходы съ фальшивящей музыкой и двигающимся рестораномъ. Богатые убзжаютъ въ загородные дома, но бъдное население женевское не имъетъ ничего подобнаго маленькимъ мъстечкамъ возлъ Берна, Люцерна, разнымъ Шенули, Гютчли, Ютли; есть кое-гдт несчастныя пивныя съ кеглями. вотъ и все. Впрочемъ, надобно и то сказать, женевцу некогда много вздить ins Grüne; все время, остающееся отъ промысла, онъ посвящаетъ дъламъ отечества, выбираетъ, выбирается, поддерживаеть однихъ, топить другихъ и постоянно сердится. Къ тому же его торговыя дёла именно и идуть бойко только въ то время, когда людямъ въ городъ душно. Главный промыселъ Женевы, такъ же, какъ и всей городской Швейцаріи, стада туристовъ, прогоняемыя горами и озерами изъ Англіи въ Италію и изъ Италіи въ Англію. Нашихъ соотечественниковъ, дѣлающихъ также свои два пути по Швейцаріи, и больше, чѣмъ когда-нибудь, не такъ дорого цѣнятъ, «не стоятъ столько», по американскому выраженію, какъ прежде, до 19 февраля 1861 г. Англичане и американцы комируются выше. Женева къ торговлѣ пространствами, вершинами и долинами, водами и водопадами, пропастями и утесами прибавляетъ торговлю временемъ и продастъ каждому путешественнику часы и даже цѣпочку, несмотря на то, что у всякаго есть свои 1).

Въ отправленіи своей коммерціи съ иностранцами, женевскій торговець является во всей своей оригинальности, онъ сердится на свою жертву за ея опыты самосохраненія и, мало что сердится, въ случать упорства, оскорбляеть бранью и крикомъ. Иностранецъ, который не поддается, въ глазахъ женевца что-то въродъ вора.

XI.

Чтобъ подражать въ болтовнѣ моему уѣхавшему доктору и быть истымъ туристомъ, я долженъ бросить, заговоривъ о женевцахъ, взглядъ на ихъ исторію. Дальше 1789 г. мы, разумѣется, не пойдемъ, скучно и не очень нужно. Рѣзче этой черты исторія на Запалѣ не проводила, это своего рода экваторъ.

Передъ этимъ годомъ генеральнаго межеванія, Женева жила набожной и скупой семьей, двери держала назаперти и безъ большого шума, но съ большой упорностью, молилась Богу по Кальвину и копила деньги. Опекуны и пастыри много переливали изъ пустого въ порожнее по части богословскихъ препираній съ католиками. Католики меньше болтали, больше интриговали и, когда отчаянные кальвинисты торжественно ихъ побили въ контроверзѣ, католики уже обзавелись землицей и всякимъ добромъ. Извѣстно, что католическіе клерикалы имѣютъ, при своей бездѣтности, то драгоцѣнное свойство хрѣна, что, гдѣ они пустятъ корни, ихъ выполоть трудно. Кальвинисты побились, побились, да такъ и оставили хрѣнъ въ своемъ огородѣ.

Въ тѣ времена въ Швейцаріи было много добродушно патріархальнаго; нѣсколько семействъ, перероднившихся, покумпв-

¹) Въ Женевѣ до того усовершенствовали теперь измѣреніе времени, что узнать, который часъ, если не невозможно, то чрезвычайно трудно. Какъ ни посмотришь, все разный часъ: одинъ циферблатъ показываеть парижское время (оно вѣрно отстаетъ au jour d'aujourd'hui), другое бернское (полагать надобно, совсѣмъ нейдетъ), наконецъ, женевское (по карманнымъ часамъ Кальвина на томъ свѣтѣ).

шихся другъ съ другомъ, насли кантоны тихо и выгодно для себя, какъ свои собственныя стада. Разные почтенные старички съ клюками, такъ, какъ они являются въ свять день послѣ объта потолковать нарасить не въ гётевскомъ Фаусть, а въ Фость Гуно, завълывали Женевой, какъ своей кладовой, распоряжаясь всёмъ и употребляя на себя всё рабочія силы своихъ племянниковъ, дальнихъ родственниковъ и меньшихъ братій. Къ роскоши они ихъ не пріучили, а работать заставляли до изнеможенія, «въ потъ, моль, лица твоего снискивай хлъбъ», все по писаніямъ. Метода эта къ концу XVIII въка перестала особенно нравиться племянникамъ, потому что дяди богатёли, а они исполняли писанія. Какъ дяди ни локазывали, что женевецъ женевцу розь, что одни женевцы-граждане, другіе-мъщане, а третытолько уроженцы, племянники не вфрили и начинали поговаривать, что они равны дядямъ. «Вы правы, мы всф равны передъ Богомъ, — отвъчали дяди, — а о суетныхъ, земныхъ различіяхъ, если они и есть, стоить-ли толковать!» — «Стоить и очень», отвъчали тъ изъ илемянниковъ, которыхъ старые скряги не совсъмъ сломали, и стали отлынивать отъ благочестиваго острога. «Вы люди свободные, толковали имъ дяди, не нравится дома, свъть великъ, ступайте искать хлъба, гдъ хотите, а мы васъ даромъ кормить не будемъ, а будемъ молиться за васъ Богу, чтобъ очистить души ваши оть навожденія общаго врага нашего».

— Ничего, думали про себя старички, пусть помаются, да поучатся, пусть поголодають, да перебъсятся, воротятся и опять

будуть работать на нивѣ нашей.

Взяли племяннички котомки и длинныя палки и пошли смотръть свътъ: кто съ запятокъ, кто съ козелъ, кто съ булавой швейцара въ рукъ, кто съ бурбонскимъ ружьемъ на плечъ, кто съ исторіей и географіей подъ мышкой, кто кондитеромъ, кто часовщикомъ, кто трактирнымъ слугой, кто слугой вообще; жены и сестры ихъ шли въ француженки, по части выкроекъ и воспитанія.

Тѣ, которымъ повезло, весело ѣхали домой и сами зачислялись въ дяди, но не всѣ остальные возвращались къ особенному удовольствію набожныхъ сродниковъ. Жившіе въ Вѣнѣ и въ Москвѣ, въ Неаполѣ и Петербургѣ, конфетчиками и буфетчиками, гувернерами въ Россіи или «свиццерами» въ Римѣ — еще ничего. Но другіе, встрѣтившіеся въ Парижѣ съ безпорядками, и притомъ не съ той стороны, съ которой были ихъ храбрые соотечественники, стрѣлявшіе ио народу изъ оконъ Тюльерійскаго дворца 10-го августа 1792 года, возвратились никуда негодными. Вмѣсто молитвенниковъ въ черныхъ переплетахъ съ золотымъ обрѣзомъ, они начитались гнѣвнаго рère Duchêne и мяг

каго «Друга народа». Старые родственники, сдѣлавшіеся еще закоснѣлѣйшими раскольниками, такъ и ахнули. «Ахъ, говорять,
вы богоотступники, мошенники, воть мы васъ!» — «Вы погодите
ругаться, благочестивые старцы, отвѣчають племянники, мы,
вѣдь, не прежніе, мы раскуснли васъ, pas si boeuf ¹), давайте-ка
прежде дѣлить наслѣдство, Liberté, Fraternité, Egalité ou»... Старики и кончить не дали. Давно отупѣвшіе отъ ханжества и стяжанія, они совсѣмъ рехнулись при видѣ такой черной неблагодарности племянниковъ. Страхъ на нихъ нашелъ такой, вспомнили площадь, на которой они поджарили и отляпали невинную
голову Серве,—ну, думаютъ, какъ «наши-то» съ безстыжихъ глазъ
ограбятъ, потузятъ да еще, пожалуй... Фу! какъ отъ бизы, такъ
морозъ по кожѣ и деретъ.

По счастью, Франція явилась на выручку. Первому консулу было какъ-то нечего дёлать, за неимёніемъ двухъ, трехъ тысячъ какой-нибудь арміп Sambre et Meuse для гуртового отправленія на

тоть свыть, онь вдругь отдаль следующій приказь:

Article I. Женевская республика перестала существовать.
Article II. Департаментъ Лемана началъ существовать. Vive la France!

Великая армія, освобождавшая народы, заняла Женеву и тотчасъ освободила ее отъ всѣхъ свободъ. Пользуясь досугомъ, старички стали забираться и прятаться все выше и выше, запираться все крѣпче и крѣпче въ неприступныхъ домахъ, въ узкихъ и вонючихъ переулкахъ... Другіе, посмышленнѣе, принялись укладываться, да, не говоря худого слова,... за Альпы, да за Альпы.

Хорошимъ людямъ все на пользу, — добровольное заключеніе и добровольное бъгство послужило старичкамъ какъ нельзя лучше. Оставшіеся, желая отмстить за порабощеніе отечества, принялись продавать непріятелю военные и събстные припасы по страшно патріотическимъ цѣнамъ. Во время имперіи никто не торговался (кромѣ Талейрана, и то только, когда онъ продавалъ свои ноты и мнѣнія). Недостало денегъ въ одномъ мѣстѣ, контрибуцію въ другомъ, двѣ контрибуціи въ третьемъ, ясно, что комиссаріатскіе Вильгельмы Телли въ убыткѣ не остались. Освобожденные, въ свою очередь, реакціей 1815 года отъ своихъ страховъ, эмигранты возвращались (точно также разжившись разными дипломатическими и другими аферами) къ затворникамъ, и давай другъ на другѣ жениться, для того, чтобъ составить плотную аристократію.

Какой вътеръ въялъ тогда, вы знаете: Байронъ чуть отъ него

¹⁾ Истое женевское выраженіе.

не задохнулся, Штейны и Канинги казались якобинцами, и Мет-

тернихъ былъ человикъ минуты.

Объявляя обратно первому консулу о томъ, что департаменть Лемана пересталъ существовать, а женевская республика снова начала существовать, священный союзъ резонно потребоваль, чтобы во вновь воскресающей республикъ ничего не было республиканскаго. Это-то старичкамъ и было на руку. Для либеральноучено-литературной наружности имъ за глаза было довольно м-мъ Сталь въ Конпетъ, Декандоля въ ботаникъ и Росси въ политической экономіи... Снова принялись они общипывать и брать голодомъ понурившихъ голову племянниковъ, снова завели богословские скачки и бъги съ католиками, которые еще больше накупили земель. Скряжническую жизнь свою старики выдавали за олигархическую неприступность, —мы, де, имфемъ наши знакомства при разныхъ дворахъ, а по другую сторону Pont des Bergues никого не знаемъ. Замкнутые въ горной части и лъпясь около собора, они не спускались внизъ, предоставляя черни селиться въ С.-Жерве. Какъ всегда бываеть, взявши всв меры, они не взяли самой важной: не строить имъ надобно было Pont des Bergues, не поправлять, а подорвать его порохомъ,—не подорвали.

По этому мосту прошла революція 1848 года.

Докторъ, умирающій и мертвые.

(Ницца, мартъ, 1869 года).

I.

Докторъ.

— Ну, что новаго, любезный гипербореецъ? Выраженія въ род'є «любезный гипербореецъ» принадлежали у доктора къ посл'яднимъ запоздалымъ листочкамъ старофранцузскаго древа по-

знанія добра и зла.

- Новаго ничего нѣтъ, кромѣ того, что въ журналахъ ваше правительство такъ честятъ, какъ этого съ 2 декабря не бывало. Да не зовите вы меня, Бога ради, гиперборейцемъ. Во-первыхъ, мнѣ отъ этого слова всякій разъ становится холодно, а во-вторыхъ, жутко: такъ и кажется, что мы живемъ во времена Монтескье, близъ отель Ледисьеръ, гдѣ останавливался le Grand Tzar hyperboréen!
- Все забываю, что по новымъ учебникамъ васъ слёдуетъ называть не гиперборейцами, а *тураниами*.

— Это все же лучше.

— Еще-бъ... тутъ, сверхъ моды, комплиментъ.

Конечно, не предумышленный!

— Въ этомъ-то и букетъ. Наши мудрецы выдумали это имя вамъ на смѣхъ, на зло, чтобъ васъ филологически обругать. Это была единственная помощь, которую Франція оказала Польшѣ. Нечего сказать, ловко придумали. Назвать васъ туранцами, имѣющими аріанскіе элементы, значитъ признать ваши притязанія на Азію и на Европу. Вотъ обидѣли-то. Въ одномъ мы съ вами никогда не спорили, — это въ томъ, что люди еще очень глупы. Какъ у васъ должны хохотать надъ нами. Все, что мы противъ васъ дѣлаемъ, вамъ же идетъ въ прокъ. Наша пенависть полезнѣе для васъ всѣхъ союзовъ. Мы вамъ не можемъ простить взятія Парижа, хотя себя никогда не упрекали за вступленіе въ

Москву; это еще понятно, но не удивительно-ли, что и нѣмцы, взявшіе съ вами Парижъ, тоже сердятся на васъ за это. Изъ нелюбви къ вамъ, Европа всклепала на васъ неслыханную силу, а вы и повѣрили ей. Англія до того болтала о вашихъ замыслахъ въ Индіи, что вы въ самомъ дѣлѣ пошли въ какую-то Самарканду... Гдѣ же здравый смыслъ?... Стоитъ петербургскому кабинету забыть на недѣлю Турцію; двадцать европейскихъ газетъ напомнятъ ему восточный вопросъ и поддразнятъ Константинополемъ и всевозможными сербами и булгарами. Въ отмщеніе за Польшу выдумали, что у васъ съ поляками нѣтъ славянскаго сродства, что вамъ, стало, и жалѣть ихъ нечего. Я завилую вамъ, мой милый монголъ.

— Вы таки придерживаетесь grattez un Russe.

— И скоблить ненадобно. Татарскія степи такъ и сквозять сквозь французскія обои et cela a son charme. Я это не въ вину вамъ ставлю; напротивъ, съ вами, т. е. съ удавшимися, оттого и легко, что ступай, куда хочешь, ни забора, ни запрета, ни надгробнаго креста, ни верстоваго столба; однъ пустоты, да размъры...

— Добавьте кое-гдѣ вѣхи, кое-гдѣ верблюды съ Европейской кладью второй руки, немного подсохнувшей, немного подмоченной... кругомъ спить какое-то многое множество непробуднымъ

сномъ.

- Спящіе еще проснутся. Вотъ мы такъ на яву бредимъ, это плохо; мозги такъ парализированы, что новой мысли прохода пѣтъ. Голова загружена, какъ мѣняльная лавка; все, что не идетъ вмѣстѣ, навалено рядомъ; чего не набито тутъ! Дѣйствительныя богатства и курьезная ненужная мебель, неудавшіяся машины восноминаній, заклинаній, прорицаній, химическіе сосуды и церковные снаряды, микроскопы, ороскопы, допотопные звѣри, нежившіе уродцы, мыльные пузыри, надутые утопіями, лопаются въ облакахъ архивной пыли... Кабы у насъ въ головѣ да ваши пустыри!... Вы извините меня, вы еще народъ лѣнивый, не умѣете ими пользоваться. Съ нашей дѣятельностью, съ нашей привычкой, мы чудеса бы настроили...
 - Если-бъ посчастливилось не наткнуться на дикихъ зв\u00e4ре\u00e4.
- Дикіе звіри выведутся, они отступають передъ образовапіемъ. Много ли у васъ осталось біловіжскихъ зубровъ?

Бѣда въ томъ, что наши дикіе звѣри, все звѣри высоко образованные.

— Это-то и хорошо. Опасно не то, когда звърь остается звъремъ, а когда онъ отъ образованія становится скотиной и бъется между двумя крайними типами—русскаго плута и кроткаго дурака. Цивилизація подчистила у насъ все дикое, по крайней

мфрф, засынала несочкомъ на землиней, изъ нихъ и образовался толстый пласть грязи, въ которомъ пропалаетъ всякое звижение и вязнуть всякія колеса. Кое-гив по этимь болотамь есть пошечки: но горе, если вы ступили возла: васъ затянеть съ годовой, и вы незамітно спідаетесь дягушкой, и вамъ покажется хорошо, какъ пома, въ этой вязкой глинъ: въ ней все есть: своя глупость и свой умъ, свои герои и свои геніи, свои интересы и заботы, Можеть, пренажъ и возможень, но поли, расчишай такія понтійскія болота. Исторія не крына земль. Если-бъ это было не такъ, цивилизація не перебзжала бы съ мъста на мъсто. Старые мозги труднее двигать, чёмъ города и народы; новый умъ на нихъ не дъйствуетъ. Особенно трудно двигать нравственныхъ людей, знающихъ, что они нравственны и честны. Подите, объясните какому-нибуль нединепріятному судьт, что глупо, закрывши книгу Кетле, прикидывать на своемъ безмънъ справедливости, сколько головъ каторжной работы вытягиваетъ какой-нибуль бѣшенный или отчаянный поступокъ. Эти господа опаснъе всъхъ дикихъ звърей витстъ. Будь у насъ въ 1848 году дикіе звъри на мъсто честнойщаго Ламартина и честнойщи съ товарищей его, не то бы было.

- Возвратились, докторъ, къ вашимъ баранамъ.
- Ужъ, конечно, въ этомъ случав не къ козламъ. Ха, ха, ха. Вотъ вы меня и сбили. О чемъ, бишь, рвчь-то шла? Какъ этотъ Ламартинъ попадется на языкъ, такъ нить мысли и потеряна. Ну, да оно и хорошо: я что-то заврался. Кстати... ну, т. е., оно не совсвмъ кстати, но такъ и быть, я лучше разскажу вамъ по поводу Ламартина пресмёшную вещь. Вы знаете, что осенью 1848 я былъ на югв Франціп. Какъ-то въ торговый день сижу я послё завтрака въ маленькомъ кафе и читаю; крестьянъ бездна, толкуютъ о выборахъ, о политикъ. Услышавъ, что я докторъ и изъ Парижа, одинъ высокій старикъ въ вязаномъ колпакъ, должно быть человъкъ солидный и съ авторитетомъ, подсълъ ко мнъ и сталъ разспрашивать меня о новостяхъ. Выслушавъ, онъ подвинулся поближе, чокнулся стаканомъ, утеръ носъ и, понизивъ голосъ, сказалъ мнъ, въ полслуха и глядя на меня испытующими глазами:
- У насъ поговаривають, что все дёло мутить одна особа... Самь-то дюкъ...

Я посмотрълъ на него.

- Hy, le duc Rollin очень хорошій человѣкъ, да его-то полюбовница, что ли, очень забрала силу и сбиваеть его.
 - Не слыхаль я, говорю ему, ни разу не слыхаль.

Старикъ хитро улыбнулся и прибавилъ:

— А мы воть и вдали живемь, да не только слышали объ

этомъ, ни и имя этой Иродіады знаемъ,—ее прозывають la Martine.

Не выдержалъ я и, какъ старика ин жаль было, расхохотался. Что мнѣ пуще всего понравилось, это названіе Иродіады Ла-Мартинъ. Иродіада, добро бы уже Нинонъ-де-Ланкло. Да-съ, милостивый государь, этотъ вопросъ былъ сдѣланъ не въ Рязани, не въ Казани, а въ какихъ-нибудь ста километрахъ отъ Марселя и Авиньона. И это въ то самое время, когда у тѣхъ же крестьянъ готовились спрашивать, нуженъ ли республикѣ президентъ и, если нуженъ, то кого они хотятъ въ президенты? Ну, какъ же послѣ этого не бросить весь политическій хламъ... А что вы давеча поминали о газетахъ?

- Старая пъсня, только голоса погромче. Винятъ правительство за все, за послабленія и за деспотизмъ, за разливы и за засухи.
 - То-то, чай, доволенъ, потираетъ себъ руки.
 - Ну, не думаю, ужъ очень бранятся.
- Что ему брань, когда отъ него ждуть урожая и теплой погоды? Религія правительства и страсть къ опект были-бъ цёлы. Въра во власть; вотъ въ чемъ все дъло и вся сила. Я разъ посадиль блоху въ голову одной старушкѣ, у которой лечилъ золотушныхъ внучатъ. Жаль, говорю ей, что наши короли утратили целебную силу лечить золотуху. Будь по старому, вмёсто того, чтобъ меня звать да на антеку тратиться, побъжали бы со внучатами до оперы, сегодняко роль ъдеть слушать Малибрань,... дътей посадили бы на столбики да на ступеньки. Онъ бы перелъ Figaro qua, Figaro là, погладилъ бы ихъ по головкъ и снялъ бы золотуху какъ рукой. Что вы, отвечаеть мне старушка, разве тогда короли были такіе, развѣ они ѣздили въ оперу; тогда какое житье-то ихъ было! Это, говорю я, извините, я не большой охотникъ до Людовика Филиппа, ну а все же ведеть онъ себя почище. Тѣ-то, матушка, были все страшные блудники, да норовили все съ насиліемъ, съ убійствомъ. Старушка только качаетъ головой. Я тогда молодъ былъ, языкъ-то чесался...
 - Ну, докторъ, я не замѣчаю, чтобъ и теперь пересталъ.
- Досада беретъ. Кричатъ себъ о рабствъ, о притъсненіяхъ, а сами-то такъ и наклевываютъ на него. Интегралъ, взятый отъ тридцати милліоновъ безконечно малыхъ бонапартистовъ, по неволъ, долженъ быть Наполеономъ. Поговорите четверть часа съ любымъ французомъ, о чемъ хотите, что его занимаетъ: о Рейнъ, о почетномъ легіонъ, о будущемъ его дочери, о притязаніяхъ его работниковъ; и вы возстановите по зубу, по косточкъ, по волоску, по чешуйкъ и допотопныхъ маршаловъ, и флецовыхъ архіереевъ, и легистовъ diluviei testes, и трепетныхъ мъщанъ либераловъ, и

весь кодексъ, писанный Камбасересомъ съ компаніей раскаявшихся якобинцевъ, и соир d'état, и вчерашній день. Отъ чешуйки до чешуйки, отъ илебисцита до илебисцита, отъ сенатскаго рѣшенья до сенатскаго рѣшенья—вы невольно дойдете до постояннаго соотвѣтствія правительства или полиціи съ темпераментомъ французовъ, такъ, какъ онъ выработался революціонными горячками, военными кровопусканіями à la Бруссе, романтическимъ постомъ и діэтой во время реставраціи, и жирнымъ разговѣньемъ при королѣ гражданинѣ и при пѣсняхъ Беранже.

- Вы хотите сказать, что Франція пибеть право на имперію такъ, какъ виновный на наказанье.
- Нѣтъ, не хочу и вамъ не совѣтую употреблять этотъ жаргонъ уголовныхъ палатъ и прокурорскихъ рѣчей. Какія тутъ наказанія, какія вины: простая логическая, фактическая послѣдовательность, идущая по пятамъ за событіями и дѣлами. Человѣкъ напился пьянъ, на другой день у него болитъ голова: это вовсе не наказаніе, а послѣдствіе. Откуда это, изъ какой нѣмецкой философіи откопали вы такое чудовище, какъ «право на казнь?»
- Докторъ, вы забыли вашихъ классиковъ: это сказалъ не нъмецъ, а Платонъ.
- «Божественный», такъ и видно, что не простой смертный. Онъ совътовать поэтовъ выгонять изъ своего воспитательнаго дома, возведеннаго въ образцовую республику; а, небось, не догадался дать имъ въ безвозвратныхъ провожатыхъ всёхъ идеалистовъ, любомудровъ. Я сколько ни принимался читать философскіе трактаты, изданные послѣ Вольтера и Дидро, все вздоръ. Они мнѣ всегда напоминаютъ философскій камень, худшій изъ всѣхъ камней, потому что онъ вовсе не существуетъ, а его ищутъ. Въ наукѣ ли, въ засѣданіи какомъ, если человѣкъ хочетъ городить пустяки, общіе взгляды, недосказанныя гипотезы, онъ сейчасъ оговоривается тѣмъ, что это только философское, т. е. не дѣльное воззрѣніе.
- Какія вамъ книги, докторъ! вы величайшій философъ безъ книгъ, вы все по зубу, да по косточкъ.
- А какъ же иначе? Геологи не беруть цѣлый Монбланъ въ лабораторію, а такъ, верешки, да осколочки. Мелочь-то, мелочь-то надобно обсудить, да понять; а крупное само дастся. Къ этому-то и ведетъ врачебная наука. Медицинская практика великое дѣло. Насъ зовутъ, когда машина совсѣмъ испортилась, такъ, какъ часы отдаютъ чистить, когда колеса свинтились да перетерлись; а съ нами не худо бы было совѣтываться прежде болѣзни, да и не объ однихъ завалахъ да почечныхъ разстройствахъ.

Если-бъ передъ революціями, вмѣсто того, чтобъ собирать адвокатовъ и журналистовъ, дѣлали консиліумы, не было бы столько промаховъ! Люди, видящіе сотни человѣкъ въ день не одѣтыхъ, а раздѣтыхъ,—люди, щупающіе сотни разныхъ рукъ, ручекъ, ручекъ, ручекъ, рученокъ и ручищъ, повѣрьте мнѣ, знаютъ лучше всѣхъ, какъ бьется общественный пульсъ. Публично на банкетахъ и собраніяхъ, въ камерахъ и академіяхъ, все театральные греки и римляне, что тутъ узнаешь? Посмотрите-ка на нихъ съ точки зрѣпія врача. Куда дѣпутся ваши Бруты и Фабриціи! Гнилаго зуба, мигрени достаточно, чтобъ ихъ свести ан naturel. Доктору все раскрыто; что больной не доскажетъ, то здоровые добавятъ; что и здоровые умолчатъ, стѣны, мебель, лица дополнятъ. Духовника боятся, съ нимъ и умирающій и всѣ другіе кокетничаютъ; съ докторомъ никто. Ему ничего не говорятъ на духу, но во всемъ исповѣдуются.

Подумайте, какіе медики нашли бы вамь пульсъ девяностыхъ головъ у нашихъ либераловъ сорокъ восьмого. Возьмите портреты тъхъ... Мирабо, Дантонъ felis leo... Мара собака, бульдогъ, Робеспьеръ felis catus... барсъ, кошка, да какая кошка! Черты, глаза, разъ замѣченные, остаются на вѣки въ мозгу. Гошъ, Марсо... въ этихъ лицахъ горитъ огонь, эти люди объяты страстью; они отдались, они вев туть, у нихъ нътъ дома, семьи, неба; у нихъ неразлъльная республика и отечество въ опасности, у нихъ все въ общемъ ураганъ, на трибунъ, на полъ битвы. Дантонъ погибъ за то, что на мигъ забылъ со своей молодой красавицей женой, что «отечество въ опасности». Робеспьеръ, усталый отъ казней, пріостановился на минуту, призадумался, пошель прогуляться въ поле, за городъ, и очутился безъ головы. Какъ въ такой горячкъ не надълать чудесъ, не разрушить міръ и не сотворить другой. Головы валятся, ряды солдать валятся, стіны валятся, а небосклоны становятся все шире и шире. Одно преступленіе за другимъ, одно безуміе за другимъ, и ихъ никто не замѣчаетъ изъза величія лицъ, изъ-за свъта событій. Всъ диссонансы, все свиржное, кровавое, темное, тонетъ въ яркихъ краскахъ восхоляшаго солниа.

— Докторъ, дайте вашу руку; я пульса щупать не буду.

[—] Вспомните теперь, напримѣръ, сводный портретъ временнаго правительства 48 года. Людямъ этимъ надобно было себъ сшить бѣлые жилеты съ отворотами à la Robespièrre, чтобъ ихъ приняли за якобинцевъ; одинъ крошечный Луи-Бланъ по человъчески одѣтъ, а тѣ—круглая шляпа, сюртукъ и по сюртуму трехцвѣтный шарфъ... вмѣсто «отцевъ отечества» вышли какіе-то квартальные на слѣдствіи. Впереди сухая фигура Ламартина... зачѣмъ онъ тутъ? Какого «падшаго ангела» пришелъ отпѣвать

или полымать старый Наринсъ? А туть эти не сами, а братья... Съ къмъ имбю честь говорить, съ вами или съ вашимь братомъ?-Съ моимъ братомъ, отвъчаетъ Гарнье Пажесъ јип., Кавеньякъ не Голефруа. Вы не полумайте, что я врагъ этихъ людей. Я ихъ почти всёхъ зналъ, кого лечилъ, съ кёмъ спорилъ, съ кёмъ соглашался. Честные люди, добрые люди; но люди, попавшіе не на мізсто, люди, ну знаете, люди безъ sacré feu, какъ выражается одинъ нъменкій потентать, пьющій съ нами воды. У иныхъ сердце было золотое: на золотое-то иля домашняго обихода, для жены, для пріятелей. Д'єти нашли брошенное безъ надзора ружье и храбро схватились за него, никакъ не думая, что оно заряжено, ружье выстрълило, они переполошились: сперва испугались инума, надзиратели какъ бы не услышали; потомъ испугались другъ друга, что выдалуть. Это не я! кричать одни. И не я,-кричать другіе. Ружье само выстрълило, кричатъ третьи. И въ голову ни одному не пришло, что старые надзиратели сами давно убъжали, и что наизирателей, кромѣ ихъ, совсѣмъ нѣтъ. Ну, какъ же имъ было тълать республики? Вы когда-нибудь на досугъ почитайте двъ книжки: изъ нихъ многому научитесь. Одна изъ нихъ называется «Буржскій процессъ», а другая «Донесеніе слідственной комиссін».

- Господи, какое русское заглавіе!

- Составленное Бошаромъ объ іюньскихъ дняхъ. Прочитавши ихъ, вы перестанете многому дивиться, а это очень важно. Человъкъ дивится только тому, чего не понимаетъ; а въдь сознаться надобно, какъ ни горько, намъ только остается, что кой-что покить.
 - И другимъ объяснить, докторъ.
- Это дёлается само собою. Вы зажигаете спичку для себя, а человёкъ посмотритъ который часъ... Кетати, дайте-ка посмотрёть и на свои. Поздно. Прощайте. Доброй вамъ ночи.

— И вамъ, докторъ, хорошаго сна.

II.

Умирающій.

Ι.

- Докторъ, а вы все время февральской революціи были въ Нарижѣ?
 - Все время.
 - Вотъ бы разсказали.
- Что я могу разсказать. Я никогда не браль прямого участія въ политикъ.
- Тъмъ лучше, вы-то и можете разсказывать, какъ безпристрастный свидътель.
- Я не говориль, что я не имъль своихъ пристрастій... Впрочемь, я какъ-то печально встрътился съ 24 февралемъ. Совершенная случайность, но она имъла на меня вліяніе, ее-то я вамъ и разскажу вмъсто исторической лекціп.
- ... Сильно не въ духѣ пробпрался я между каменьями баррикады. На моихъ рукахъ часъ тому назадъ умеръ старикъ, котораго я очень любилъ, очень уважалъ. Обстоятельства, при которыхъ онъ умеръ, перевернули всю внутренность мою. Нашего брата трудно удивить агоніей. Мы съ молодыхъ лѣтъ привыкаемъ къ смерти, нервы крѣпнутъ, притупляются въ больницахъ, на военныхъ перевязкахъ, во время заразъ; а смерть моего паціента такъ перетряхнула меня, что я нѣсколько дней не могъ съ ней справиться, потомъ махнулъ рукой, какъ человѣкъ машетъ на все, когда видитъ свое безсиліе.

Пока я искаль, куда поставить ногу между каменьями, гляжубъжитъ нашъ лаборанть изъ Hôtel Dieu, съ веселымъ лицомъ, безъ шляны, съ пукомъ какихъ-то листовъ. Увидъвъ меня, онъ прокричалъ мит:-Побъда, докторъ, побъда. Nous l'avons. Воть читайте, и знаете, кто набиралъ? Самъ Прудонъ, въ тинографіи «Реформы». Я сейчасъ оттуда, несу раздавать нашимъ! Прощайте!-Онъ было ударился бъжать, но наткнулся въ упоръ на двухъ всадниковъ, которые хотили тоже пробхать по разгороженному мъсту баррикады. Одинъ былъ въ кепи и кабанъ; другой въ круглой шляпъ, надвинутой на брови. Vive la République! закричалъ имъ во всю горловую мочь лаборанть и приставилъ пальцы къ носу. Военный схватился за рукоятку сабли, всадникъ въ круглой шляпъ остановиль его руку; оба пожали плечами. Лаборантъ громко и звонко хохоталъ. Всадники, словно, передумали, поворотили лошадей и тихо побхали назадъ. Военный показывалъ что-то пальцемъ вдали и объяснялъ: штатскій слегка качалъ головой. Исхудалое, мрачное лицо, мъстами почернъвшее какъ бронза,

умирающаго старика не выходило у меня изъ головы.

Прежде чтмъ продолжать, я васъ вотъ что спрошу: Вы втрно встртали въ Россіи послтинихъ могиканъ нашей революціп, непримиримыхъ, неисправимыхъ стариковъ девяностыхъ годовъ?

— Встръчалъ и не одного, и признаюсь вамъ, имъю къ нимъ

пристрастіе...

— Тъмъ лучше... я ихъ ставлю ужасно высоко. Такихъ людей больше нъть. Должно быть на людей бываетъ урожай, какъ на виноградъ. Кажется, условія тѣ же, а одинъ годъ изъ десяти вино лучше, говорять, отъ кометы. Въ Англіи комета на людей была во время Кромвеля, а у насъ въ концъ XVIII въка. И замътъте, что люди этихъ двухъ стиз похожи другъ на друга. Пуритане, доканчивавшіе свой въкъ въ Швейцаріи и Голландіи, сильно сбивались на старыхъ якобинцевъ, только что одни все говорили по Исаію и Езекінду, а другіе по Тациту и Плутарху. Въ началъ моей практики, нашихъ стариковъ еще было много; теперь чуть ли не вей ушли, да и пора: новая Франція для нихъ чужая. Они страдали, были въ тягость другимъ, были просто не на мъстъ. Дъло въ томъ, что они въ сущности были моложе внучать. Тъ все ихъ учили уму-разуму, а старики учились дурно. Какъ сохранили эти люди свъжесть души, своего рода наивность и въру? это потерянный секретъ. Я, бывало, смотрю и дивлюсь, какъ съдой, пожелтълый старикъ, едва двигающій ноги, а туда же, какъ влюбленный мальчикъ, хранитъ свою святыню, пубетъ свои завътныя на памяти и свои завътныя слова, отъ которыхъ въ семьдесять, въ восемьдесять лётъ ихъ глаза горятъ и голосъ дрожить; привычные утописты, они върили въ свой практическій смысль и, отпавши все общему ділу, серьезно считали себя эгоистами. Ихъ жиденькіе наслёдники скучали съ ними, думали, что они позирують; а этоть поднятый тонъ происходиль просто оттого, что душа ихъ была поднята и привыкла гордо хранить свое убъжденье въ тяжелое время.

... Теперь я долженъ вамъ сказать нѣсколько словъ о жизни человѣка, со смерти котораго я началъ мой разсказъ. Умершаго паціента моего звали по крещенью и метрикѣ Лукасомъ Ральеромъ, но по собственному усовершенствованію гражданиномъ Тразеасъ - Гракхомъ Ральеромъ. Лѣтъ двадцати онъ попался въ тюрьму по дѣлу «послѣднихъ римлянъ»; это было въ 1796, какъ вы знаете. Судъ, приговорившій Рома и Гужона съ товарищами къ гильотинѣ, испугался ихъ великаго самоубійства и на скорую руку объявилъ Тразеаса-Гракха, вмѣстѣ съ множествомъ людей, захваченныхъ для уголовнаго согря de ballet, невинными. Ральеръ вовсе не хотѣлъ быть оправданнымъ, а самъ явиться обвините-

лемъ: съ этой цълью онъ писалъ судьямъ записки съ разными нъжностями, въ родъ: «убійны республики, изверги и измънники рода человъческаго»: но его не слушали, —жертвъ было больше не нужпо. Ральера вытолкали противъ воли изъ тюрьмы. Онъ бросился въ журнализмъ и метилъ своимъ перомъ за смерть Рома и его друзей, à la sequelle corrompue de l'infâme Cabarus. Бараса и Таліена онъ не подорваль, а самъ посидёль еще раза два въ тюрьмъ и чуть не отправился въ одну изъ депортацій, которыя пъдались тогда на томъ разсчетъ, на которомъ давали элексиръ Леруа. для героическаго очищенія общественнаго организма. Призалумался мой Тразеасъ-Гракхъ, видя, какъ всякій день «Наполеонъ больше и больше просвъчивалъ сквозь Бонапарта», и, наконецъ. какого-то нивоза an. VIII или IX, взяль паспорть во имя «единой и нераздъльной республики» и оставиль Францію. Паспорть этотъ онъ потомъ переплелъ въ сафьянъ, берегъ всю жизнь, пногда показывая близкимъ знакомымъ. Ральеръ отправился прямо въ Петербургъ. Въ оригинальномъ рѣшеніи этомъ помогъ ему опять-таки указующий персть du grand maître. Какъ-то вечеромъ въ 92 году Ральеръ сидълъ у Терони-де-Мерикуръ; туда пришелъ Ромъ и съ нимъ какой-то юноша. Юношу Ромъ воспитываль и любиль, какъ сына. Онъ говориль объ немъ съ восторгомъ, какъ о будущемъ представителъ безсмертныхъ началъ революдін въ Россіи. Мальчикъ этотъ долженъ быль получить тысячъ тридцать крестьянъ и клялся Рому ихъ освободить. Ральеръ сблизился съ нимъ. Мололой человъкъ много разъ звадъ Ральера въ Россію просв'єщать полуварваровъ; онъ різшился воспользоваться его приглашеніемъ.

Это было въ конив парствованія Павла. Прежде, чемь Ральеръ отыскалъ le citoven comte Strogonoff, онъ однимъ добрымъ утромъ встретиль на улице Павла. Заметивъ что-то якобинское въ покроф его кафтана, онъ осмотрълъ его съ головы до ногъ и велёдъ узнать, кто онъ такой? Узнавъ, что онъ гражданинъ французской республики, Тразеасъ-Гракхъ по имени, императоръ туть же велёль отставить одного генерала, олного полковника, двухъ таможенныхъ приставовъ и десятокъ квартальныхъ, за допущение въ столицу такого Тразеаса-Гракха. Ральера схватили, свезли въ крѣпость. Черезъ часъ въ крѣпость явился оберъ-полиціймейстеръ; черезъчасъ и пять минуть—тройка съ фельдъ-егеремъ. Оберъ-полиціймейстеръ объявилъ, что государь приказаль его отправить на житье въ Пермь, и потомъ сталъ допрашивать его, зачёмъ онъ пріёхалъ, какого званія п проч. «Справедливёе было бы, замътилъ Ральеръ, сперва спросить, а нотомъ ссылать». Полиціймейстеръ испугался, писарь записалъ. Ральера усадили въ кибитку, адъютантъ проводиль до заставы, и они

помчались... На другой день они были километровъ за триста отъ Петербурга, когла нагнала ихъ пругая тройка, скакавшая во весь опоръ. Альютанть, сильвшій въ ней, кричаль фельпъегерю, чтобъ онъ остановился, и биль яминка, чтобъ тоть обгоняль. Подскакавши, онъ соскочиль съ телъги, велълъ Ральеру выйти и объявиль ему слудующее отъ имени императора: государь находить замічаніе французскаго полланнаго Ральера совершенно вфриымъ, относить къ глупости и нерадфийо по службф оберъ-полиціймейстера, что онъ сперва не допросилъ его, въ силу чего приказываеть выслать означеннаго Ральера за границу, давъ ему сто червонцевъ на дорогу. Ральеръ отказался отъ ненегъ н помчался тъмъ же порядкомъ въ Петербургъ: на заставъ его уже ждалъ третій адъютанть съ третьимь приказомъ Павла. «За отказъ отъ денегъ слъдовало бы иностранца Ральера строжанще наказать, но, такъ какъ онъ показываеть столько-же безкорыстія, сколько первое замізнаніе разсупительности, предложить ему на выборъ: вхать въ ссылку въ Сибирь, или опредълиться въ женское учебное заведение учителемъ французскаго языка съ обязанностью носить армейскій працоршциій мунлиръ». Онъ не пофхалъ и заказаль себф мунциръ. Послф смерти Павла Ральеръ побрался до Строгонова. Онъ тотчасъ сообщилъ ему проектъ преобразованія Россіи, основанный на уничтоженіи крѣпостнаго состоянія, дворянства, чиновъ, привилегій, на превращеній церквей въ школы, а аршиновъ въ метры.

Строгоновъ находилъ его проектъ замѣчательнымъ, но преждевременнымъ. Ральеръ напулся и воспользовался первой войной съ Франціей, чтобъ убхать въ Молдо-Валахію. Тамъ онъ проповъдывалъ Рома и монтаньяровъ дътямъ какого-то владътельнаго принца, обучалъ ясскихъ аристократовъ французскому языку и пѣнію марсельезы. Изъ Яссъ онъ побхалъ въ Польшу, къ какому-то магнату, князю и поклоннику Робеспьера: въ его дом' онъ встрътилъ спроту француженку, ея красота тронула моего героя, онъ предложиль ей руку и сердце на томъ условіи, чтобъ въ церкви не вѣнчаться. La belle enfant разсудила, что чѣмъ менѣе цѣпей, тъмъ лучше, и согласилась. Черезъ три года она его бросила. уфхавъ съ сыномъ поклонника Робеспьера, оставляя въ знакъ памяти новорожденнаго; черезъ тринадцать лѣтъ она сама, брошенная магнатомъ, поселилась въ Парижъ и упросила Ральера отпустить къ ней le cher fils для воспитанія въ la belle France. Въ Парижѣ она умерла, обобранная до нитки какимъ-то высокимъ итальянскимъ баритономъ и двумя тощими аббатами. Сынъ остался въ школъ.

Наконецъ, послѣ всѣхъ скитаній и Ральеръ, какъ настоящій Французъ, все-таки очутился въ Парижѣ послѣ 1830 года, смягченный возстановленіемъ *трехъ цвътовъ*. Онъ свысока смотрѣль на конституціонную монархію и былъ увѣренъ, что новая измѣна Мотье (онъ иначе не называлъ Лафайета) и «узурпація» старшаго сына Филиппа-Эгалите непрочны, и что республика настоящая, la bonne et la vraie, за илечами. Но видно интриги Бараса и Кабаргосъ пережили ихъ, и Ральера, замѣшаннаго въ дѣло Барбеса и Бланки, усадили въ Mont Saint Michel. Ему было тогда уже за шестъдесятъ.

... А profos къ Mont Saint Michel, я помню въ старые годы, въ Версали или въ Сенъ-Клу, въ комнатъ Маріи Амеліи, висълъ превосходный видъ Mont Saint Michel. Для меня всегда было странно, почему она выбрала именно этотъ видъ, а не что-нибудь другое... морское и гористое, ну Сенъ-Мало, что-ли? Какъ будто пріятно засыпать съ такими memento власти передъ глазами и просыпаться, думая: а вотъ нашъ добрый соцѕіп Пакье еще вчера законопатиль въ это птичье гнѣздо на скалѣ двѣ-три безпокойныя головы; а Барбесъ тамъ сидитъ столько - то; мой мужъ можетъ выпустить ихъ всѣхъ, онъ добрый человѣкъ, но затрудпяется въ выборѣ и, чтобъ не сдѣлать несправедливости, не выпускаетъ никого...

— А мий кажется, докторъ, она вовсе этого не думала, а просто смотръла, да любовалась на волны и камни. Такъ, какъ люди, ъдящіе страсбургскіе пироги, не думаютъ о разныхъ непріятностяхъ, причиняемыхъ гусямъ для ожиренія ихъ печени.

— J'aime ça... вы правы; и это уже чистый туранизмъ: въ самомъ дѣлѣ, ей и въ голову, вѣроятно, не приходило, что за этими стѣнами томятся люди, она все на чаекъ смотрѣла.

Итакъ, снабдивши старика ревматизмомъ во всъхъ суставахъ, правительство лътъ черезъ шесть возвратило, сколько его осталось, «семь в и обществу». Старика взяль къ себ вего сынъ, который уже успълъ сдълаться большимъ дъльцомъ и извъстнымъ нотаріусомъ въ Парижъ. Я лечилъ у него въ домъ и меня призвали къ старику. Старикъ очень привязался ко мнъ, ему не съ къмъ было души отвести, а я слушалъ его съ любовью. За то, могу васъ увърить, ръдко кто знаетъ больше меня подробностей о процессъ Рома и Гужона. Молодой Ральеръ, Изидоръ, быль не глупый, не злой человъкъ, даже либеральничалъ, но при этомъ онъ все же былъ больше нотаріусъ, чёмъ что-нибудь другое. Ему и въ голову не приходило становиться на дорогъ реакцін: онъ сторонился передъ ней, пожимая плечами и предоставляя исторіи самой вырабатываться, какъ знаетъ. Къ тому же онъ былъ въ ложномъ положенін. Онъ ничего не имълъ, кромъ кой-какихъ знаній и того пятна, которое въ глазахъ честныхъ и умфренныхъ людей положилъ на него нераскаянный старикъ.

Мъсто свое, тепло насиженное со всей кліентеліею тестя, онъ получиль въ приданное за женой. Жена его во всю жизнь имъла одинъ капризъ: ей вздумалось выйти замужъ за Изидора. Ральеръ былъ хорошъ собой, какъ-то удачно чесался à la Louis-Philippe и могъ танцовать отъ 10 вечера безъ устали до 5 утра. Капризъ былъ не силенъ, но отецъ сначала поперечилъ; тогда она ръшила во чтобъ ни стало поставить на своемъ и поставила. Это была чистая парижанка средняго круга, не хуже, не лучше тысячи другихъ. Она была правильно красива, имъла видъ образованія, большой эгонзмъ, бездну тщеславія и совершеннъйшую пустоту внутри. Мужу она не позволяла ни на минуту забывать, что она ему вмъстъ съ своей персоной, сладкой и холодной, какъ метіпуше гизѕе, съ своей правильной любовью, безъ излишествъ и отказовъ, принесла очень «хорошее общественное положеніе».

Мысль поселить старика у нихъ въ дом'в принадлежала ей, она смертельно боялась, что онъ на волъ скомпрометируеть опять ея Изидора и его общественное положение. Матеріально она ему все приготовила, обчистила его и пріодъла. Она, понимая, что между старикомъ и ею не было ничего общаго, высказывала темъ сильнъе свои чувства. Мнъ приходилось не разъ внутренно улыбаться, когда т-те Матильдъ, провожая послѣ обѣда прищуренными глазами старика, уходившаго къ себъ, опираясь на костыль, подъ предлогомъ трубки, говорила миж: «Какъ это мило имжть въ домж такого почтеннаго старика, vénérable vieillard; я такъ люблю, когда «рара» за столомъ, это такъ трогательно, такъ патріархально. Старикъ съ почтенными сѣлинами такъ же необходимъ для семейной картины, какъ дътскія бълокурыя головки. Жаль, что у папа такіе нехорошіе принцицы, но онъ жилъ въ ужасное время, когда все было ниспровергнуто, и тронъ, и алтарь. Мнъ, знаете, просто страшно, когда онъ говорить о религіи и овсемъ такомъ, я стараюсь просто не слушать. Это такъ прекрасно имъть религію, неправда ли?» Нотаріусь не перечиль ей, не перечилъ и отду. Онъ сидълъ весь день и часть вечера въ своемъ студіумъ, искалъ законы, писалъ черновые и принималъ разныхъ княгинь и маркизъ въ первую минуту зачатія подложной духовной, исправленнаго брачнаго контракта, и безъ шума откладывалъ плоды своихъ совътовъ въ разныя желъзныя дороги. Старику было не по себъ у нихъ, онъ не шелъ ни къ кабинету сына, ни къ гостиной его жены, скучалъ, слабълъ, становился мрачнъе и, мнъ кажется, жалълъ Mont Saint Michel. Pasa два ему хотълось уйти куда-нибудь на свободу и цокой, но жена нотаріуса и слышать не хотівла; она рішительно находила неприличнымъ имъть старика отца на сторонъ. «То положение, которое занимаетъ (и съ такимъ достоинствомъ) мой Изидоръ, говорила она,-положение, которое создать и упрочить стоило жизни моему облиому отиу, обязываеть ко многому; оно требуеть des ménagements и великій такть новеденія. Это не капиталь, съ котораго рента ростетъ, какъ трава, нока мы снимъ; тутъ все зависитъ отъ нравственнаго крепита. Что же вы думаете — хорощо, когда пальцемъ укажутъ на рара, прибавляя, что это отепъ Изидора, и туть пойлуть всё эти комментаріи, разсиросы: отчего онь не ужился у своего сына, и какъ онъ его отпустилъ, върно его сноха выжила? Къ тому же нашъ добрый старикъ, онъ опасенъ внѣ пома съ своими илеями съ того свъта и фразами изъ Сhevaliers de la maison rouge Июма. Его посадять, если не опять въ тюрьму, то въ сумасшений номъ. За нимъ налобно смотреть какъ за ребенкомъ, и я со всей охотой, со всей преданностью дълаю все это пля отна моего Изинора». Жена плакала, Изидоръ принимался умолять старика; старикъ угрюмо соглашался п шелъ къ себъ читать по новому изпанію Монитера девяностыхъ годовъ процессъ Рома, дълая на маржахъ отмътки, поправки и собираясь торжественно уличить въ криводущій редакторовъ, изъ которыхъ ни одного не было въ живыхъ.

TT.

Пока старикъ собиралъ неопровержимыя доказательства, что гарантій, паваемыя закономъ всякому преступнику, не были взяты въ уважение при процессъ послъднихъ римлянъ «и великихъ патріотовъ», онъ получилъ первое предостереженіе. У него отнялись рука и нога. Немного сиустя, какъ всегла бываетъ, когда судьба или ея представители хотять прекратить человъка или журналъ, второе предостережение. Я намекнулъ т-те Ральеръ, что положение не безъ опасности; она вскочила съ какимъ-то ужасомъ. — «Боже мой! я всегда этого боялась». — Разсудите, замътилъ я: семьнесять шестой гонь. — «Нѣть, нѣть, вы этого, докторъ, не поймете, онъ кончить тако»; и она побъжала къ мужу въ какомъто истерическомъ раздраженіи.

Прівзжаю я разъ къ старику утромъ и застаю его очень печальнымъ и неспокойнымъ.

- Мнъ, говорить онъ, съ вами надобно особо поговорить.
- Къ услугамъ вашимъ, у меня времени довольно.
- Посмотрите сперва, не подслушиваеть ли кто?
- Я посмотрълъ: разумъется, никто не подслушивалъ.
- Теперь заприте дверь и сядьте ко мит поближе. Вотъ въ чемъ дѣло, я думаю, почти увъренъ...
- Ваше положеніе, зам'єтнить я, не безъ опасности (старикъ презрительно улыбнулся); но живуть и не такіе больные годы цълые у насъ теперь въ Hôtel Dieu.

Ральеръ строго посмотрѣлъ на меня изъ-подъ нависшихъ бровей:

- Извините, сказалъ онъ, у меня нътъ достаточно силъ и времени, чтобъ дослушать эту, въроятно, очень интересную исторію о вашемъ паціентъ. Вы, покторъ, кажется человъкъ умный и меня немного знаете: не можете же вы думать, что я не умфю покориться неизмённымъ законамъ естества? Я пожилъ довольно. слишкомъ довольно. Меня занимаетъ совстмъ другое. Съ того дня, когда великій учитель мой Ромъ прижалъ меня къ своей груди и сказаль миб: «Храни эти чувства»; я ихъ храниль во всёхъ обстоятельствахъ моей трудной, скитальческой жизни. Съ ними я хотъль бы отойти. Пока машина псправна, я ничего не боюсь; ну, а сломается (онъ указаль нальцемъ на свой высокій, покрытый морщинами лобъ), —что же я сдълаю? Изидоръ хорошій человъкъ, но слабый, и не туда направленъ умъ... Матильда женщина добрая, хорошая мать, но женшина не своболная отъ фанатическихъ предразсудковъ и, еще меньше, отъ мнфнія пустыхъ людей. Послъ перваго случая со мной, я какъ-то послъ объда возвратился онять въ столовую; дверь въ гостиную была отворена, тамъ сидёлъ молодой откормленный аббатъ; Матильда съ жаромъ говорила съ нимъ и наливала ему въ рюмку ликеру. Аббатъ слегка качалъ головой и то закрывалъ глаза, то поднималъ ихъ къ небу. Увидя меня, Матильда сконфузилась, да сконфузился и я; показалъ ей пальцемъ, чтобъ она меня не замѣчала, и ушелъ къ себъ.
- ... Черезъ нѣсколько минутъ я подхожу къ окну. Аббатъ стоялъ на тротуарѣ и дружески толковалъ съ нашей Бабетой.
- Вы знаете?
- -- Какъ же не знать.
- Аббать благословиль ея и подариль ей какую-то медальку. Эге, да это комплоть, подумаль я, и комплоть противь меня. Они хотять загнать въ папское стадо потерянную овцу. Дѣло лестное, овца недюжинная... Но они считають безъ хозяина... меня смертью не испугаешь.—Старикь началь сердиться и повторяль:—нѣть, нѣть, вѣдь, я не принцъ Беневентскій, я никогда не примирялся съ конкордатомъ,—нѣть, я не принцъ Беневентскій!—И, выбившись изъ силъ, онъ заснулъ середь рѣчи. Во снѣ больной, вѣроятно, продолжаль ту же нить мыслей... Раскрывши глаза, онъ сказалъ мнѣ:—Докторъ, вы честный человъкъ, вы не были равнодушны ни ко мнѣ, ни къ великимъ началамъ революціи. Могу ли я считать на васъ, что вы не оставите меня въ послѣднія минуты, что вы будете здѣсь... возлѣ моей кровати, что вы не допустите къ моему одру чернаго таракана (Caffard).

- Здёсь я буду, сказалъ я ему, за это я вамъ отвёчаю и сдёлаю все человъчески возможное, чтобъ желаніе ваше исполнилось. Но теперь успокойтесь; вамъ необходимо отдохнуть, вы очень взволнованы. Вечеромъ я опять заёду. Больной взялъ меня за руку и, сколько могъ, сжалъ ее, чтобъ поблагодарить.
- Не безпокойтесь объ устали; скоро я буду имъть досугъ для того, чтобъ отдохнуть отъ всего. А теперь дайте мит воть эту шкатулку, что стоить на комодъ.

Я подаль; онъ съ уваженіемъ отперъ, вынуль изъ нея черепаховую табакерку, портретъ въ этюн и еще что-то въ кожаномъ мізнечкі.

— Табакерка Рома, его портретъ, дѣланный ученикомъ измѣнника Давида, «барона Давида», и шейный илатокъ Гужона, покрытый его кровью... Это всѣ мои сокровища. Я съ ними не разлучался съ 96 года; я ихъ завѣщаю вамъ, докторъ, берегите ихъ и оставъте при мнѣ до тѣхъ поръ, пока не потухнетъ мое зрѣніе.

Старикъ отеръ слезы. Да, признаюсь вамъ, и не одинъ старикъ. Я опять старался его успоконть, но угомонить его было трудно; онъ не отпускалъ меня и держалъ то за руку, то за сюртукъ.

— Ну, спасибо вамъ; что я безъ васъ могъ бы сдълать въ моемъ положенін противъ заговора, въ которомъ участвують всь? Вчера Бабета приносить мит изображение казни одного великаго мученика и говорить мит: «Я пришинлю это изображение къ вашей занавъси; это облегчить васъ и заставить подумать о спасенін души вашей. Когда мой отецъ быль очень боленъ, ему бабушка положила такое изображение на подушку и ему стало легче». — Бабета, сказаль я ей, искренно жалбю, что вашь родитель кончилъ жизнь въ мракт предразсудковъ. Я этого казненнаго человъка уважаю: онъ твердо умеръ за свои убъжденія, убитый судейскими Барасами и римскими военно-судными комиссіями; но, когда вы приносите его изображеніе какъ лекарство или колдовство, я прошу васъ удалиться съ нимъ: у меня въ комнати не мъсто знакамъ фанатизма, ниспровергающимъ право ума человъческаго и гармонін законовъ природы... На мон слова Бабета отвъчаеть мнъ: «Ужъ хоть бы Богь передъ смертью раскрылъ ваше сердце. Я вамъ изъ жалости говорю: вы кончите безъ покаянія и попадете въ адъ, словно вы не крещеный».--М-те Куртилье, говорю я ей, человъкъ отвъчаеть за свою старость и смерть, пока не сошель съ ума. Что касается до Бога и ада, это вопросы нерфшенные и вовсе меня не занимающіе, какъ выходящіе изъ круга нашей діятельности.—«Такъ вы еретикомъ и пойдете туда», прибавила она, ворча и убираясь вонъ, Это все аббать ее научиль; іезуиты везді ищуть себі агентовь и соглядатаевь.

Старикъ уснулъ, бормоча что-то о Лойолъ... а я на цыпочкахъ вышелъ вонъ, тихо, тихо притворивши дверь.

III.

Прямо отъ старика я прошедъ въ ступію нотаріуса. Въ канцелярін быль величайшій безпорядокь. Ни одного ожидающаго, зъвающаго, скучающаго посътителя на лавкахъ, ни одного писца на своемъ мѣстѣ. Самого Изилора не было въ кабинетѣ. несмотря на то, что это быль пріемный чась. Я им'єю непреодолимое отвращение къ конторамъ, канцеляріямъ и всякимъ мастерскимъ и людскимъ бюрократіп, и самое ненавистное для меня въ нихъ, это ихъ бездушный порядокъ, ихъ запыленное и потертое однообразіе; потому я почти обрадовался, увиля анархію Изидоровой готовальни. Молодой клеркъ стояль на столъ и читаль громко газету; около него собрадись всё писцы, положивъ перья свои за ухо, въ томъ родъ, какъ ружья берутъ отъ пождя. Одинъ старшій письмоводитель, старичекъ крошечнаго роста, съ сморщившимися мелкими складочками, которыя придавали ему видъ печенаго яблока, сидълъ поодаль. Беззубый, въ красномъ парикъ, подобранномъ подосками всёхъ рыжихъ пвётовъ, отъ темно-бураго до красно-желтаго, онъ постоянно жевалъ какія-то зернышки и журилъ молодыхъ писарей. Теперь онъ для сохраненія уваженія къ своему общественному положенію сиділь одинь на своемь мъстъ и говорилъ шамшая: «Шалунъ, перестань читать; здъсь не кафе. Перестань, сорваненъ. Сейчасъ воротится самъ и увилить...»

Мое появление остановило чтение и смъхъ.

— Что у васъ за mardi gras сегодня?

— Вы, докторъ, развѣ не внаете, что творится на свѣтѣ, замѣтилъ стоявшій на столѣ, соскочилъ на полъ и подаль мнѣ торжественно газету. — Я вамъ совѣтую ѣхать домой, вы вѣрно найдете приглашеніе. Тюльерійскій дворецъ занемогъ.

— Перестанешь ли ты, проклятый болтунь. Совсфиь отъ рукъ отбился; воть, докторъ, что значить подрывать авторитеты, замбтиль старикъ, сердясь, какъ сердятся нянюшки на ръзвыхъ дътей.

Я взяль газету, съ утра дъло банкета разыгралось и приняло огромные размъры. Оппозиція требовала отдать министровъ подъ судь. Гизо шпыняль надъ ней, президенть камеры бросиль петицію подъ столь, а тонъ журналовъ и оппозиціи поднимался, грозилъ. На улицахъ, на нерекресткахъ собирались группы.

— И воть, докторъ, эдакой праздникъ doyen d'âge не позволяеть намъ праздновать, болталъ клеркъ.—Върно нашъ рѐге

Бонкокъ, подхватилъ другой, въ половинѣ съ Гизо въ какихънибудь акціяхъ и боится потерять. Какъ нашъ Бертранъ совсѣмъ оборвется со своимъ Роберъ Макеромъ...

— Кто, кто, Роберъ Макеръ? спрашивалъ не на шутку раз-

сердившійся и испугавшійся старикъ.

— Будто вы не знасте, рèге Бонкокъ: Фредерикъ Леметръ. Снова взрывъ смѣха, и вдругъ все умолкло, вошелъ Изидоръ. Онъ хотѣлъ быстро пройти въ кабинетъ, но, увидя меня, остановился и, мягко указывая рукой на дверь, пропустилъ меня впередъ. Тамъ онъ устало опустился въ большое сафъянное кресло, указалъ мнѣ на другое и, пробормотавъ:

— Что за день! что за день! спросиль объ отцъ.

— Я не скрою отъ васъ, отвъчалъ я, —больной плохъ. Всего хуже то, что онъ поддерживаетъ себя въ тревожномъ состояніи, въ раздраженіи; на это быстро потратятся очень сочтенныя сплы его.

— Какъ такъ?

Я разсказаль ему, что счель нужнымь. Нотаріусь всталь, прошелся раза два по комнать, потомь остановился передо мной

и, скрестивши руки на груди, сказалъ:

— Ей Богу, голова идеть кругомъ, есть отъ чего съ ума сойти. Кажется, я привыкъ ко всякаго рода самымъ запутаннымъ положеніямъ, но это слишкомъ; все разомъ— и нѣтъ времени сообразить... Тутъ разваливается цѣлый общественный строй отъ упрямства двухъ стариковъ; уличный безпорядокъ и шумъ грозитъ Богъ знастъ чѣмъ. Дома умираетъ отецъ, котораго я люблю, но котораго несчастный ригоризмъ, совсѣмъ не принадлежащій нашему времени, ставитъ меня въ страшнѣйшую алтернативу. Я съ вами, докторъ, буду откровененъ, мы люди нашего вѣка; вы не можете думать, чтобъ у меня были какіе-нибудь предразсудки... Между нами будь сказано, я полагаю, что во всемъ домѣ одна Бабета въ самомъ дѣлѣ имѣетъ дѣтскую вѣру и держится церкви; но тутъ одно проклятое обстоятельство... Если я могу его устранить, я сдѣлаю все такъ, чтобъ кончина старика была тиха и покойна; только сладить трудно.

— Въ чемъ же дѣло?

— Какъ въ чемъ, любезный докторъ? Слухъ о тяжелой болъзни отца разнесся, не могу же я сказать тогда, что онъ кончилъ скоропостилсно, не успълъ исполнить обряды. Его прошедшее, его мнънія слишкомъ извъстны, чтобъ они захотъли смотръть сквозь пальцы. Будь это просто такъ кто-нубудь, я ноъхалъ бы къ Афру, прекраснъйшій и прелюбезнъйшій человъкъ. Я сладиль бы съ нимъ въ четверть часа; по туть онъ упрется: почитатель Рома, нераскаянный якобинецъ, умеръ безъ отреченья,

безъ примпренья,—онъ для примъра другимъ, для угрозы, не позволитъ его хоронитъ съ должной церемоніей.

— Что же, отецъ вашъ этого-то и хочетъ.

Нотаріусь подняль голову наверхь, какъ это дёлають лошади въ упряжи.

- Въ мосиъ общественномъ положении это безусловно невозможно—безусловно. Есть обязанности, которымъ слѣдуетъ подчинять самыя справедливыя стремленія сердца. У меня дѣти, я долженъ объ нихъ думать, и это далеко не все: мое положеніе, мое достояніе, это дело, ввѣренное мнѣ женщиной, ихъ матерью, я его именно потому долженъ хранить какъ святыню, что съ меня нельзя требовать никакого отчета. Понимаете теперь?...
 - Нътъ, не понимаю.
- Вамъ хорошо, вы одни и васъ зовутъ, когда тѣло нездорово; отъ васъ хотятъ только физической помощи. Наши паціенты посложнѣе, отъ насъ требуютъ не одного знанія, но неукоризненной нравственности, огромнаго такта въ поведеніи и самаго строгаго соблюденія приличій. Ну, какъ же имя, особенно женское, аристократическое, пойдетъ въ мою студію послѣ гражданскихъ похоронъ моего отца? Вы не подозрѣваете чудовищную силу предразсудковъ въ нашемъ обществѣ! На словахъ мы всѣ кощунствуемъ; а на дѣлѣ—величайшіе трусы. Незаконнорожденному, подкидышу скорѣе простять его рожденіе, чѣмъ отцу, который бы не окрестилъ своихъ дѣтей. Да что тутъ толковать, я душевныя немощи знаю столько, сколько вы тѣлесныя. Отца я люблю, уважаю, хотя и не дѣлю его эксцентричностей, и сдѣлаю все, что могу—nul n'est tenu à l'impossible.
 - Я всталъ.
- А что? Отецъ не говорилъ вамъ, что онъ писалъ свою волю? Вы понимаете, добавилъ нотаріусъ, подымая плечи, я не за наслъдство боюсь: оно, кажется, состоитъ изъ Ромовой табакерки и его портрета.
 - Ими вашъ отецъ распорядился, онъ ихъ завъщалъ мнъ...
- Спорить изъ-за наслъдства, надъюсь, мы не будемъ, замътилъ онъ съ невыразимо сдержанной улыбкой. Нътъ, я насчеть письменнаго заявленія о похоронахъ.
 - Можетъ и инсалъ, замѣтилъ я, желая его помучить. Туча пробѣжала но лицу нотаріусу.—Онъ вамъ читалъ? — Нѣтъ.

Лицо нотаріуса прояснилось; мы разстались.

17.

... На другой день весь Парижъ былъ на ногахъ, били раннель; все шло и двигалось. Министерство Одилона Барро было смыто мгновенно, какъ глина и грязь первой волной. Правительство уступало, никто не зналъ куда итти, и всѣ шли скорыми шагами. Пріемный часъ мой проходилъ; ни одного больного: въ такіе дни, я всегда замѣчалъ, всѣ бываютъ здоровы. Въ 49 году, 13 іюня сдѣлало перерывъ въ холерѣ. Я хотѣлъ выйти взглянуть, взялъ уже шляпу, вдругъ колокольчикъ и самъ Изидоръ іп propria persona явился передо мной. Онъ никогда не бывалъ у меня.

— Я къ вамъ заёхалъ, говоритъ онъ, на минуту, чтобъ сказать что пъло я почти уланилъ, и легче чъмъ думалъ. Вотъ что намъ помогло... и онъ указалъ пальцемъ на улицу, по которой шли колонны вооруженныхъ людей, громко покрикивая: Vive la réforme! A bas Guizot.—Духовенство сконфужено до высочайшей степени, бонтся революціи, какъ огня, и со страху кокетничаеть съ нами. Если наша возьметь, а въ этомъ почти нетъ сомнънія все сойпеть съ рукь безъ хлопоть. «Успокойтесь, сказалъ мнъ самъ архіерей, я поговорю съ вашимъ священникомъ и постараюсь убъдить его. Если состояніе больного препятствуеть. мы охотно возьмемъ на себя спасение его души. Церковь volentem ducit, nolentem trahit. Скажите вашей доброй супругь, что я молюсь за него и чтобъ и она молилась; скажите, что я посылаю ей пастырское благословеніе и очень ціню, что въ нашъ суетный въкъ она прибъжна къ храму Господню. Вклады ея мнъ извъстны и такъ же то, что ен мъсто въ церкви ръдко бываеть пусто въ воскресные дни». Онъ очень, очень милый человѣкъ.

— A хорошо, сказаль я ему, что вашъ батюшка не будеть присутствовать на своихъ похоронахъ.

— Вы не къ памъ ли? Мой экипажъ у вашего подъезда, я васъ довезу.

— Благодарю васъ, мнъ хочется пройтись.

— Ходить теперь не совсѣмъ удобно: il y a trop de peuple souverain на улицахъ. До свиданія.

... Утромъ я засталъ старика въ забыты. Жизнь отступала тихо, надежды не было никакой. Мнъ говорили, что онъ слышалъ шумъ на улицъ, раппель спрашивалъ: что такое? узналъ марсельезу, билъ тактъ и двигалъ губами; потомъ опять заснулъ. Я поъхалъ къ двумъ-тремъ больнымъ, съълъ котлету и воротился въ сумеркахъ къ старику. У дверей больного стояла добрая Ба-

бета и горько плакала. Этотъ агентъ римской церкви и алгвазилъ ордена Игнатія Лойолы любила старика и жалѣла его отъ чистаго сердца.

- Докторъ, говорила она мнѣ, онъ отходитъ; не берите на вашу душу часть грѣха, уговорите его, пока время есть, покаяться и примириться съ святой церковью. У него, вѣдь, было золотое сердце, онъ любилъ насъ, бѣдныхъ и безъ всякой гордости, сколько могъ, всегда помогалъ. За что же, помилуйте, за что же его праведная душа должна итти въ адъ? Неужели вы такой безчувственный, что вамъ не жаль?
- Бабета, успокойтесь, chère enfant, душа его въ адъ не пойпеть: сами же говорите, что она праведная.
- Безъ отпущенія никакая не войдеть въ рай, говорила она, и бѣдная заливалась слезами. Во время моего отсутствія у старика былъ еще ударъ. Сынъ сидѣлъ возлѣ на креслахъ и, все что-то обдумывая, глядѣлъ на потолокъ. Онъ во время моего отсутствія привелъ въ порядокъ бумаги отца. Я, осмотрѣвши больного, сказалъ Изидору, что остаюсь по обѣщанію до послѣдняго дыханія старика, что надежды нѣтъ никакой и что это вопросъ нѣсколькихъ часовъ, больше или меньше...

Изидоръ замѣтилъ, что онъ ничего письменнаго насчеть распоряженій не нашелъ.

Старикъ только минутами приходиль въ себя и то не совсѣмъ. Разъ, всмотрѣвшись въ меня, онъ узналъ, обрадовался и сказалъ:

— А вы слышали марсельезу на улицѣ и барабанъ? Ихъ оправпаютъ! съ торжествомъ прибавилъ онъ.

Въ комнатъ было совершенно тихо; вдругъ брякнулъ залиъ и за нимъ опять тишина. Старикъ раскрылъ мутные глаза, прислушался и сказалъ:

— Вандемьеръ; я не върю корсиканцу.

Это быль знаменитый залиь на бульварь. Часа черезь два народное море заревьло по улицамь. Изидорь пошель узнать, что дълается. Старикь много разь раскрываль глаза, будто припоминаль что-то... Изидорь возвратился взволнованный. Онъ мнъ сказаль, что строять баррикады и покрикивають: «Да здравствуеть республика!» Мнъ хотълось сообщить это умирающему и въ минуту, когда онъ снова услышаль шумь и барабань, я сказаль ему:

— Республика, республика.

— Une et indivisible, повторилъ онъ слабо, но внятно.

Затъмъ началась послъдняя борьба жизни. Сынъ подошель къ кровати, опустился на колъни и взялъ старика за руку. Бабста тихо вошла въ комнату и плакала, удерживая рыданья; Мотильды, по нашему обычаю, не было въ комнатъ. Изидоръ сдълать какой-то знакъ, Бабета бросилась вонъ и забыла затворить дверь. Послѣ сильнаго вздоха, больной открылъ большіе глаза, видно было, что сознаніе на минуту возвратилось. Онъ узналъ опять меня и сына. Толпы народа шумѣли больше прежняго; старикъ указалъ головой и потомъ обвелъ глазами комнату, и вдругъ, какъ ужаленный змѣей или преслѣдуемый звѣремъ, вскрикнулъ; лицо его исказилось отъ ужаса, онъ вырвалъ руку у сына и, усиливаясь спрятаться подальше въ постели, указывалъ мнѣ въ противуположную сторону.

— Черный! черный! проговориль онь, и голова его склони-

лась, рука повисла, пульса не было.

Я взглянулъ на то мъсто, на которое онъ указалъ. Въ дверяхъ, не входя въ комнату, стоялъ аббатъ, за нимъ Матильда; Бабета держала свъчу. Сынъ показалъ, что все кончено, и покрылъ глаза платкомъ. Аббатъ развернулъ маленькую книжку, которая у него была въ рукахъ, и сталъ въ носъ бормотать полатыни...

Привыкнувшій ко всему, этого я не могь выдержать, и глядя

въ упоръ на Изидора, сказалъ ему:

— Это уже изъ Лукреціи Борджіа, только постановка не удалась, поторопились! Я закрылъ покойнику глаза, поцъловаль его лобъ; на лицъ его осталось выраженіе гнѣва и отвращенія, можеть, умирая, онъ и меня считалъ однимъ изъ заговорщиковъ, однимъ изъ негодяявъ!

Съ плитой на сердцѣ вышелъ я на улицу и встрѣтилъ, какъ вамъ сказалъ, лаборанта и двухъ всадниковъ.

III.

Мертвые.

Τ.

— Вчера, началь докторъ, разставшись съ вами,—я долго рылся въ бумагахъ и нашель тамъ, наконецъ, старую газету, которую искалъ. Статья клерикальнаго журнала и моя назидательная бесёда съ Марастомъ хорошо замкнутъ мой разсказъ о старомъ якобинцѣ.

Докторъ развернуль листъ и прибавилъ: – Позвольте прочесть, я ужасно люблю эту статейку.

— Сдълайте одолжение.

— Чего стоитъ одно заглавіе: «Le catholicisme est-il démocratique et républicain?» Католическая церковь не можетъ быть связана ни съ какой формой земной и проходящей власти; она связана съ небомъ и властью, которая не проходитъ. Католическая церковь не враждуетъ съ свободой, она сама основана на высшемъ изъ всёхъ освобожденій, на освобожденіи отъ гръхопаденія; она не враждуетъ съ равенствомъ, призывая малыхъ, спрыхъ и неимущихъ рядомъ съ сильными міра сего; она не враждуеть съ братствомъ, называя братомъ во Христѣ каждаго христіанина и повелѣвая любить ближняго и врага. Нечестивыя стѣны, отдълявшія жизнь гражданскую отъ жизни церкви, разлетаются какъ прахъ въ такіе великіе дни, въ которые гласъ Божій смѣшивается съ гласомъ народнымъ. И вотъ почему для насъ не было ничего удивительнаго въ томъ, что вожди народнаго движенія послѣ побѣды пришли къ алтарю воздать Богу богово и нашли архинастыря возносящаго къ небу теплыя молитвы о народѣ и народныхъ властяхъ. Domine fac salvam Rempublicam раздалось

въ то же время во всехъ церквахъ великаго града.

«Да, времена, въ которыя мы живемъ, глубоко знаменательны, и еще на дняхъ мы видъли торжественное зрълище, которое сильно потрясло насъ и надолго запечатлълось въ сердцахъ нашихъ. Елва бушующее народное море отступило съ львинымъ ревомъ своимь въ берега, какъ на Монмартрскую пажить Господню постучался новый гость, сопровождаемый неутышнымъ сыномъ, опиравшимся на руку подруги своей. Она-то примирила почившаго старца съ темъ, который принимаетъ всякое раскаяніе и прощаеть всякій грѣхъ за ревность о дѣлѣ ближняго. Хоронили по вежмъ правиламъ католическаго культа Люкаса Ральера, отна извъстнаго въ Парижъ нотаріуса и легиста. Родившись въ тъ несчастныя времена, когда легкомысліе Аруэта и върующее певъріе Жанъ-Жака считались наукой, а ненависть къ церкви любовью къ народу и образованію, Ральеръ въ молодыхъ годахъ дерзко закрыль себъ врата церкви. Гордость полъ-въка воспрешала ему сознаться въ своей ошибкъ, и только въ послъдніе дни, благодаря кроткому вліянію добродотельной жены своего сына, старецъ смирился передъ Искупителемъ, и церковь поспъшила принять духъ его съ миромъ. Отецъ Амарантъ произнесъ нъсколько (но какихъ) словъ на текстъ: «Онъ сказалъ вертоградарю, что не пойдеть на работу, — и пошель»... — Да, заключиль краснорычивый аббать С.-Сульпиція: усопшій гражданинъ работаль въ вертоградѣ Христа, зане работалъ для страждущихъ... Ты былъ нашъ, враждуя на ны. Мы ждали тебя долготерпъливо и дождались, гряди же, какъ невъста Ливанская на пріуготовленное ложе... А мы повторимъ отъ всей души п всего помышленія литію архинастыря... И еще помонимся о державномъ народъ французскомъ писпросимъ благословенія Господня на нашу христолюбивую республику, на ея градоначальниковъ, военачальниковъ и представителей. Народъ, сильно тронутый словами Амаранта, разошелся съ крикомъ: Vive la République! Vive l'église».

П.

- ... Мѣсяца три спустя, мнѣ было нужно повидаться по очень важному дѣлу съ Марастомъ. Я былъ съ нимъ хорошо знакомъ и помѣщалъ время отъ времени обозрѣнія медицинскихъ книгъ и отчеты о засѣданіяхъ Медицинской Академіи въ «National'ѣ». Это былъ медовый мѣсяцъ его президентства; добраться до президента было не легко. Пріѣзжаю въ первый разъ,—отказываютъ; пріѣзжаю во второй—лома нѣтъ.
 - А какъ вы думаете, гдъ онъ?
 - Въ Собраніи.
 - Я сейчасъ оттуда, его тамъ нътъ.
 - Стало, уфхалъ.
 - Очень въроятно, а когда онъ воротится?
 - Да вамъ который часъ назначенъ?
- Никакого; мив нужно видъть Мараста по дълу, я докторъ такой-то. Одинъ huissier съ цънью позвалъ другаго huissier съ цънью; это былъ важите и, слъдственно, грубъе: высокій, плъшпвый, рыхлый подагрикъ, павшій на ноги, въ замшевыхъ сапогахъ, съ тъмъ театральнымъ величіемъ, за которымъ человъкъ прячеть совершенную пустоту своего ремесла, онъ объявилъ, глядя не на меня, а куда-то въ уголъ, что у Monsieur le Président надобно письменно просить свиданія и прибавилъ:
- Если-бъ президентъ всёхъ принималъ, ему надобно было бы 48 часовъ въ сутки, да и тёхъ, можетъ, не хватило бы. Хотите бумаги и чернилъ? вотъ все, что нужно, прибавилъ онъ и указалъ маленькимъ пальцемъ на столъ. Я вынулъ изъ кармана свою карточку и написалъ на ней: «Мит васъ нужно по дёлу; меня къ вамъ не пускаютъ. Я прійду завтра въ девять утра узнать, когда васъ можно видёть?» Huissier улыбнулся и не могъ удержаться, чтобъ не сказатъ: это не дёлается такъ.

На другое утро та же исторія. Huissier говориль, что онъ карточку положиль съ другими, что приказа никакого не было. Шутка эта стала мив надобдать.

- Позовите кого-нибудь изъ секретарей, сказалъ я, немного приподнявъ голосъ.
 - Ни одного еще нѣтъ.
- Зачёмъ нётъ; долженъ быть дежурный; что за безпорядокъ. Я сажусь здёсь и буду ждать часъ, два; а потомъ, прошу покорно замётить, что, если не прійдеть секретарь, я не возвращусь, а послёдствіе этого вы возьмете на себя.

Подагрикъ, нѣсколько огорошенный, отправился во внутреннія комнаты, беззвучно ступая по паркету съ осторожностью слона, идущаго по льду. Черезъ минуту онъ воротился съ чернымъ фракомъ, видимо заряженнымъ на всякую дерзость; онъ еще издали, для тону громко сморкаясь, спросилъ:

— Гдѣ онъ? que diable, и срѣзался. Я его зналъ корректоромъ въ «Насіоналѣ» и вмѣстѣ съ нимъ ноправлялъ мои статьи.

- Зачёмъ, говорю я ему, Марасть играетъ въ прятки и поставилъ какихъ-то гиппопотамовъ съ цёпями въ свою охрану. Мнё его нужно видёть по дёлу, которое столько же интересуеть его, какъ меня.
- Видёть теперь президента невозможно; у него Ламартинъ и Гарнье Пажесъ, побзжайте домой; я черезъ два часа пришлю вамъ отвътъ. Черезъ два часа, даю честное слово. Вы слышали, что затъваютъ Косидьеръ и Луи-Бланъ?
- He слыхалъ, но не хочу у васъ отнимать времени. Итакъ, черезъ два часа...

Эксъ-корректоръ сдержалъ слово. Хоть не черезъ два часа, но въ тотъ же день явился ко мнѣ, гремя палашемъ и шпорами, зацѣпляясь каской за двери, драгунъ и подалъ огромный пакетъ, въ которомъ лежала крошечная бумажка, и на ней: «Г. президентъ проситъ васъ пріѣхать завтра въ 11 часовъ утра, время его утренней закуски».

Когда я на другой день вошель въ пріемную залу, тамъ стояли сид'єли, ходили, говорили, молчали обычныя лица вс'єхъ офиціальныхъ переднихъ. У дверей во внутреннія комнаты красовались часовые изъ національной гвардіи съ ружьями у ногъ, лакей въ ливреяхъ сновали взадъ и впередъ, какіе-то офицеры главнаго штаба проб'єгали въ такомъ вооруженій и такъ озабоченно и быстро по залѣ, какъ будто сейчасъ начнется канонада, и непріятель уже занялъ Монмартрскія высоты. Н'єсколько челов'єкъ въ нечищенныхъ пальто и ярко красныхъ шейныхъ платкахъ сильно ораторствовали; полагаю, что эти представители демократическаго равенства сословій были просто шпіоны, которыхъ Марастъ захватилъ съ собой изъ Hôtel de Ville. Словомъ, это была пріемная временщика, Меттерниха, при цар'є-народ'є; но пріемная не обходившаяся, не обтершаяся; словно въ ней пахло краской и двери скрип'єли на петляхъ.

Офиціанть громко назваль меня по фамиліи и пригласиль въ столовую. Въ углу большой залы быль накрыть столь на четыре прибора, ломившійся оть тяжелаго серебрянаго плато. У окна стояль Паньеръ, я подошель къ нему и едва успѣль, улыбаясь, сказать: tempora mutantur, какъ двери отворились à deux bettants и, предшествуемый главнымъ huissier, сопровождаемый

секретаремъ и офиціантами, вошелъ Марастъ. Часовые брякнули на караулъ; щегольски одѣтый, въ небрежномъ утреннемъкостюмѣ, раздушенный, съ пышно-взбитыми сѣдыми волосами, Марастъ былъ свѣжъ и румянъ, какъ американское яблоко; въ лицѣ его, отъ природы очень красивомъ, была какая-то фосфоричность отъ упоенія собою. Онъ слегка извинился передо мной и, указавъ рукой на стулъ, прибавилъ:

- Мы, любезный докторь, переговоримь за котлеткой, если

вы думаете, что дело не повредитъ пищеваренію.

Офиціантъ торжественно снялъ какую-то крышку и передаль ее другому, который торжественно понесъ ее на другой столъ. Я взглянулъ на Паньера и подумалъ: съ какимъ бывало веселымъ аппетитомъ ужинали мы съ нимъ въ небольшой столовой третьяго этажа, у издателя «Насіоналя», и какъ интересно болтали съ милой, умной М-те Marast, которой, видно, не по этикету было являться такъ рано...

О дълъ мы переговорили.—«Romanée gelée», сказалъ хозяинъ, тихо и ни къ кому не обращаясь; и въ ту же минуту выросъ, какъ изъ-подъ земли, мажоръ д'омъ, у котораго въ рукахъ была бутылка, покоившаяся на боку въ тростниковой колыбели.

— Знаете, докторъ, кого я часто поминаю и кого ужасно жаль: это нашего папа Ральера. И какъ странно, что онъ умеръ въ ту самую минуту, когда воскресала республика, которой онъ такъ ждалъ, которую такъ любилъ. Славный былъ старикъ, и какъ бы онъ былъ счастливъ; мъсяцъ бы пожить какой-нибудь. Это былъ удивительный человъкъ, прибавилъ онъ, обращаясь къ Паньеру, вы его знали?

- Очень, отвъчаль Паньеръ.

— Такихъ-то людей, непоколебимыхъ и сильныхъ, намъ теперь очень, очень нужно.

— Будто? замѣтиль я, улыбаясь.

Едва уловимое движение пробъжало по лицу Мараста.

-- Л вы знаете подробности о его кончинъ и похоронахъ?

— Ничего не знаю, кром'т того, что онъ умеръ въ ночь 24 февраля; что же особеннаго?

Я передалъ ему вамъ извъстныя подробности, не забылъ даже упомянуть и о статьъ въ клерикальномъ журналъ.

По мѣрѣ того, какъ я разсказывалъ, фосфоричность Мараста псчезла, онъ безпокоился, дѣлалъ видъ мигрени и, наконецъ, нетерпѣливо кроша двумя пальцами хлѣбъ, сказалъ:

— Вы мит позвольте замітить, любезнійшій докторъ, мит кажется, что вы напрасно такъ обвиняете Изидора Ральера. Вы дійствительно не вошли въ его положеніе; я его знаю очень хорошо за прекраснаго человіка и преданнаго республиканца...

Я улыбнулся.

- Я говорю, *что я его знаю*, сказаль, нѣсколько прищуривая глаза, Марасть.
- Въ нашемъ царствъ всеобщей подачи голосовъ позвольте мнъ имъть мое смпренное мнъніе.
- У васъ взглядъ непрактическій, докторъ. Исполненіе религіозныхъ обрядовъ большинства народа до нѣкоторой степени обязательно для всѣхъ. Здѣсь не можетъ быть рѣчи о притѣсненіи совѣсти, это дѣло декорума. Зачѣмъ человѣку высокомѣрно выдѣлять себя въ какое-то оскорбительное а рагtе... Это очень хорошо понималъ человѣкъ, котораго авторитетъ трудно отвести: Робеспьеръ. Онъ говорилъ, что атензмъ—аристократія.
- И выдумаль свою церковь, въ которую вербоваль гильотиной; да и то не навербовалъ...
- Вы знаете, что я гильотину не оправдываю, но все же его религія была лучше атензма Геберта.
- Какъ кому, это дёло вкуса: а послёдній крикъ умирающаго Ральера у меня въ ушахъ.
- Что же, вы думаете, что мы могли бы, какъ въ 93, закрыть церкви, дѣйствительно насилуя совѣсть огромнаго большинства французовъ? Хороши мы были бы, если-бъ съ самаго начала затронули такую опасную струну съ народомъ, который надобно всѣми средствами пріучить къ республикѣ, воспитать къ свободѣ и пониманью права.
- Вы были не совсёмъ того мнёнія о немъ три мёсяца тому назадъ, въ вашихъ энергическихъ premiers Paris.
- Три мѣсяца немного времени, а посмотрите, сколько у меня прибавилось сѣдыхъ волосъ. Перо публициста и дѣятельность государственнаго человѣка могутъ имѣть общую цѣль; но они далеки, какъ практика и теорія; а эту даль только тотъ можетъ нзмѣрить, кто самъ окунулся въ омуть дѣлъ.

Затъмъ Марастъ быстро всталъ и пригласилъ меня въ кабинетъ. Когда мы проходили въ двери, часовые опять взяли на караулъ. Въроятно, Марасту это не было непріятно; имълъ же онъ, въроятно, право сказатъ имъ, чтобъ они стояли смирно и не дурачились.

Ему было совъстно и досадно; онъ подалъ Паньеру и мнъ сигары и, потрепавъ меня дружески по плечу, сказалъ ему:

- Что намъ дёлать съ нашимъ неисправимымъ эскуланомъ, вотъ enfant terrible съ сёдыми волосами?
- Скажите, спросилъ я, смѣясь, гражданинъ Паньеръ, давно ли это нашъ президентъ сдѣлался изъ вольтеріанцевъ клерикаломъ и проповѣдуетъ церковные обряды?

- Что вы дурачитесь, докторъ! Ну, какой туть клерикализмъ; а вотъ, вамъ, что за охота говорить при секретарѣ. Онъ очень хорошій молодой человѣкъ, но въ душу не заглянешь, а въ нашемъ положеніи надобна осторожность и осторожность; да туть офиціанты еще. Неужели вы не понимате, что мое общественное положеніе, которое только и держится на нравственномъ вліяніи...
- И священное депо, ввъренное вамъ, сказалъ я, невольно вспоминая фразеологію Изидора.
- Да, да, депо, ввъренное самимъ народомъ мнъ и моимъ товарищамъ, накладываетъ на меня обязанности, и, во-первыхъ, не лозволяетъ мнъ ссориться съ духовенствомъ.
- Я не подумать объ этомъ за столомъ, сказалъ я, откланиваясь.

Марастъ любезно проводилъ меня за двери. Часовые брякнули на караулъ.

25 марта, 1869 г., Ницца.

IV.

Эпилогъ.

- Мнѣ, докторъ, хочется вамъ повторить вопросъ, который сдѣлалъ какой-то математикъ, прослушавши очень внимательно симфонію: Что же это доказываетъ?
- И музыканть не умёль ему, вёроятно, ничего отвётить. Не легко и миъ, а все-таки я думаю, что моя симфонія, или Marche funèbre, доказываеть кое-что; доказываеть хоть бы, наприміть, и то, что Франція совсімь не такая уже революціонная страна, какой себъ представляли ее иностранцы и мы сами. Мы взбалмошные консерваторы и капризные рутинисты. Мы часто стоимъ на одномъ мъстъ съ видомъ скораго марша и отстунаемъ съ крикомъ атаки. Малъйшій вътеръ колышетъ и рябитъ наше море, но на вершокъ, не больше. Девяностые годы захватили глубже, такъ мы восемьдесять леть иятимся, чтобъ войти въ старое, узкое и жесткое русло. Революціонная пьеса доиграна, но костюмы намъ понравились и мы мирно ходили въ нихъ по улицамъ, какъ дъти въ мундирахъ. Входъ за кулисы только легокъ въ театрахъ. Нигдъ не хранятъ лучше семейныя тайны и физическіе недостатки, какъ у насъ. Насъ ужасно трудно застать въ расплохъ. Что мудреннаго узнать англичанина, не дающаго себъ труда играть роль; или нъмца, довъряющаго свои чувствованія знакомому по table d'hôte'y. Раскусите-ка насъ.

Мы для ближайшихъ знакомыхъ дѣлаемъ туалетъ, и такія неглиже всегда по модѣ и къ лицу. Бываютъ иногда «дурные четверть часа», когда все, спрятанное подъ манишками, выступаетъ наружу; тутъ и ловите. Пропустили—ваша бѣда. Я самъ дожилъ до сѣдинъ, плохо понимая, что дѣлается вокругъ, и потомъ въ три дня выучился больше, чѣмъ во всю жизнь, и выучился на всю жизнь.

- Вы говорите?...
- Разумбется, объ іюньскихъ дняхъ.
- Вы соціалисть?
- Я докторъ медицины.
- Это не мъщаетъ.
- Мъщаетъ, и очень. Быть разомъ больнымъ и врачемъ—дъло илохое. Одилонъ Барро говорилъ, что законъ не знаетъ Бога; а ужъ врачъ и подавно не долженъ имъть никакой религіи; иначе онъ неодинаково будетъ относиться къ больнымъ.
 - Вольно вамъ соціализмъ считать религіей?
- А какъ же? Можетъ онъ когда-нибудь и выростеть изъ стихаря, даже есть объщающіе зачаточки; но это еще неръшенное дъло; великая революція имъла не меньше его зачатковъ, а такъ и состарълась на своихъ цивическихъ литургіяхъ и политическихъ процессіяхъ. Все тъ же идолопоклонники и иконоборцы; только иконы другія; а средства защиты и нападенія, какъ встарь, чисто богословскія, основанныя на въръ во что-нибудь невъроятное, подтверждаемой доказательствами, ничего не доказывающими, и силой, доказывающей, что разсужденіемъ ничего не сдълаешь, а кулакомъ очень много.
- Ничего подобнаго нѣтъ въ современной борьбѣ капитала съ работой; какія тутъ литургіи, да крестные ходы?
- Помилуйте, да тутъ все литургія, кромѣ самого предмета. Одни хотятъ увѣрить другихъ, что эти другіе... не имѣютъ права на необходимое, тогда какъ они сами имѣютъ лишнее, и дивятся, какъ тѣ не понимаютъ, что въ этомъ-то и состоитъ свобода. Другіе укоряютъ въ грабежѣ тѣхъ, которые также безсовнательно имѣютъ деньги, какъ укоряющіе ихъ не имѣютъ. Гдѣ же тутъ логика? Одно богословіе, примѣненное къ земнымъ предметамъ. Иконоборды канитала и его идолопоклонники такъ и стоятъ на своемъ диспутѣ, все больше и больше отравляя его и поддразнивая другъ друга.
 - Куда же это приведетъ?
- Туда, куда приводять всё религіозныя пренинанія: не къ оклу, а къ прови.
 - И будто это такъ неминуемо?

- Я не фаталисть, но, кажется, миновать трудно. Одинъ станъ ростеть не по днямъ, а по часамъ; другой свиръпъеть, и оба не понимаютъ другъ друга...
 - Надобно посредниковъ.
- А гдъ же ихъ взять? Примирившихся и непримиримыхъ бездна, но примирителей нътъ. Примирившеся резонеры всего хуже; что они примутся объяснять, то остается на въки мутнымъ и безжизненнымъ, какъ замерзнувшая лужа. Это наша язва. Вы ее найдете почти во всъхъ журналахъ. Мишле говоритъ о томъ, какъ схоластика и монашеское воспитание образовали целую породу дураковъ. Журнализмъ, парламентаризмъ, неудавшіяся революцін и революціонное похм'єлье выростили въ наше время слой умниковъ, заговаривающихъ всякое дѣло до безсмыслія. Они все объясняють, все понимають; но всякій жизненный вопросъ выходить изъ ихъ мозговой реторты, какъ зеленый листъ, опущеный въ хлоръ, блёднымъ, увядшимъ. Ихъ неистощимая верва, запугивающее умничаные однихъ, дёловая наторёлость другихъ дълають изъ нихъ казовый конецъ нашего времени; и это большое несчастіе. Это не дилетанты, а адвокаты всего на свътъ. Ихъ задача состоитъ въ томъ, чтобъ одержать верхъ въ преніи, выиграть дёло; а въ чемъ оно, имъ все равно.

... Я прерываю философствованіе моего доктора, или лучше, не продолжаю его потому, что и тутъ, какъ почти во всемъ, обстоятельства нагнали насъ и опередили...

Разсказъ доктора о гражданинъ Ральеръ я писалъ въ началъ марта 1869 г. Черезъ нъсколько мъсяцевъ, гроза, давно собиравшаяся, разразилась безъ ударовъ и потрясеній. Удушливая тяжесть атмосферы Парижа и Франціи измънились. Равновъсіе, устроившееся отъ начала реакціи послъ 1849 г., нарушилось окончательно.

Явились новыя силы и люди.

ПРИЛОЖЕНІЯ.

Изъ римскихъ сценъ.

Однимъ септябрьскимъ днемъ грустныя думы рядомъ съ туманной, сырой погодой навели на меня спльную нечаль. Чтобъ разефяться, я вздумаль читать, но кинга выпадала изъ рукъ на второй страницъ... Перебравь нъсколько, мий попалась, наконець, такая, которая поглотила меня до глубокой почи, -- то быль Тацить. Задыхаясь, съ холоднымь потомъ на чель, читаль я странниче повъсть, --- какъ отходиль въ корчахъ, суловогахъ, съ ръчью предсмертнаго бреда въчный городъ. Не личность цезарей, не личность ихъ окружавшихъ влевретовъ поражала меня, -- страшная личность навода римскаго далеко покрывала ихъ собой. Мелькомъ и съ чрезвычайнымъ хладнокровіємъ говорить Тацить о гоненій христіанъ, на которыхъ Неронъ сложиль извъстный пожаръ. До того назареевь даже не гнали. Я зналь, что въ то время апостоль Павель быль въ Римъ; это дало миъ повоть раскрыть Апостольскія Дъяція, и, рядомъ съ мрачнымъ, окровавленнымъ, развратнымъ, сибдаемымъ страстями Римомъ, предстала мить эта бъдная община голимыхъ, угнетенныхъ проповъдниковъ Евапгелія, сознавшая, что ей вручено пересозданіе міра; рядомъ съ распадающеюся весью, которой все достояніе въ воспоминаній, въ прошедшемъ, —святая хранилищница благой въсти. въры и надежды въ грядущее. Я долго думалъ о времени, предварившемъ ихъ встръчу. Есть особое состояние трепета и безпокойства, мучительнаго стремленія и боязни, когда будущее, чреватое цілымъ міромъ, хочеть развернуться, отръзать все былое, но еще не разверзалось; когда сильная гроза предвидится; когда ея пеотразимость очевидна, но еще царитъ тишина,---настоящее тягостно въ такія міновенія, ужась и стремленіе наполняють душу. трудно поднимается грудь, и сердце, нолное тоски и ожиданія, бъется сильнісь. Этотъ трепеть передъ будущимъ неизвъстнымъ, но близкимъ, это отрицаніе вебхъ узъ, которыми сросся человъкъ съ былымъ и существующимъ, это мучение неизвъстности, мучение предчувствия и необладания хотълось миъ уловить въ тогдашиемъ состояніи умовъ, не страданіе города, а отчаянный

крикъ человъка—и врачеваніе его словомъ Евангелія. Здѣсь предлагастся отрывокъ изъ тогда нашеанныхъ сценъ. Лициній—мой герой, онъ еще не имѣсть понятія объ ученіи Христовомъ, но вѣяніе духа современности раскрыло въ немъ вопросы, на которые, кромѣ Евангелія, не было отвѣта. Отсутствіе религін, пеудовлетворительность философіи, наконецъ, очевидное разрушеніе Рима сломили его для того, чтобъ онъ воскресъ новымъ человъкомъ. Мевій—благородная, прекрасная, античная патура, но не принадлежавшая къ тѣмъ организаціямъ, которыя шагають за предѣлы понятій своего вѣка. Въ Лициніи предсуществуєтъ романтическое воззрѣніе, Мевій классикъ со всѣмъ реализмомъ древняго міра.

Иу посмотри, посмотри, Лициній, около себя», — сказалъ юный философъ Мевій другу своему, указывая на видь съ холма:-«неужели ты не чувствуень теплое, живое зыханіе природы и неужели это дыханіе матери не сограваеть тебя? О, космось! мое сочувствие къ теба велико, я поклоняюсь тебъ потому, что ты не хочешь поклоненія; ты все содержишь и все свободно въ тебъ. Итица, червякъ, звърь, —каждый воленъ, каждый чувствуеть себя дома, на мъстъ, всъмъ хорошо. Какое блаженство существовать, существовать и понимать, что существуещь, —въ этомъ безконечное наслаждепіс: существовать, любить-два великія начала и два великія окончанія природы, положивъ въ основу ей Венеру. Но послушай, Лициній, ин одной морщины не свель съ твоего чела этотъ видь; что за странная грусть носелилась въ тебъ, давно ди въ твоей груди обитали свътлые образы? И нерестаю узнавать тебя. Теперь даже, когда вся природа около насъ дышеть пробрам вобративний в принадаеть в принадает сать изъ инхъ огонь, ты онивъ, какъ чужой, какъ насынокъ въ родительской храминъ, стопшь мрачный и сосредоточенный въ себъ.

Противоположность двухъ друзей была разительна. Одушевленныя черты Мевія, распростертыя руки, какъ бы раскрывшія объятія всему, и свѣтлое чело, и ясный взглядь, разливавшійся на все окружающее, дѣлали его похожимъ на греческаго бога, полнота и гармонія, юность и избытокъ жизни громко говорили его чертами. О такомъ лицѣ думаль Платонъ, когда сказаль, что есть нѣчто изящиѣе тверди небесной, усынанной звѣздами,—очи, разразсматривающія эту твердь. Блѣдное, нѣжное и худое лицо Лицинія, бользненно-страдальческое выраженіе, скрещенныя на груди руки и глаза, свѣтищіяся какъ-то лихорадочно и пезависимо отъ окружающаго, однимъ своимъ свѣтомъ говорили совсѣмь иное; казалось, душа, смотрящая такъ,—бездонная пронасть, въ которую утягнвается вся природа и пронадаетъ безвѣстно; блѣдное и холодно-влажное чело его носило клеймо думъ тягостныхъ, безътьънсь и холодно-влажное чело его носило клеймо думъ тягостныхъ, безъться вся природа и пронадаетъ безвѣстно; блѣдное и холодно-влажное чело его носило клеймо думъ тягостныхъ, безъться вся природа и пронадаетъ безвѣстно; блѣдное и холодно-влажное чело его носило клеймо думъ тягостныхъ, безъться вся природа и пронадаетъ безвѣстно; блѣдное и холодно-влажное чело его носило клеймо думъ тягостныхъ, безъться вся природа и пронадаетъ безвѣстно;

отходныхъ и мученій нестернимыхъ.
Опъ отвъчалъ Мевію: «Я не виноватъ, что природа на меня не такъ дъйствуетъ, какъ на тебя, я завидую тебъ, но перепять не могу; такъ, со слезою на глазахъ, я смотрю на дътскія пгры; пхъ безотчетная радость, звонкій смъхъ, совершенное поглощеніе игрой понятно, но оно невозможно, когда выйдешь изъ того возраста. Я, съ своей стороны, дивлюсь тебъ, какъ такой дешевой цѣпой ты сыскалъ миръ душѣ и наслажденіе; что птицѣ, червяку хорошо—не спорю: животныя—дѣти, у которыхъ нѣтъ совершеннолѣтія, нѣтъ ума, пѣтъ вопросовъ; бѣдные, обманутые, они беззаботно живутъ, не подозрѣвая, что виѣстѣ съ груднымъ молокомъ сосутъ отраву. По

на этомъ дѣтекомъ праздникѣ Пзиды человѣкъ—чужой. Сверхъ этихъ глазъ, ссть у него другіе, и опи видятъ, чего бы не надобно видѣть, и въ душѣ тѣснятся вопросы, на которые плохо отвѣтили мудрецы всѣхъ вѣковъ. Я изучилъ ихъ и бросилъ; один слова и уловки. Скажи миѣ, объяснили ли они цѣлъ человѣка, для чего онъ? что послѣ? что прежде?»

Мевій. Цёль! Да жизнь—воть и цёль, мнё это ясно; ты ищешь какой-то другой цёли, виб человёка, виб природы. По какому праву?

Лициній. Оно законно. Я выстрадаль себѣ это право, оно запечатлёно морщинами на моемъ челъ. Ты легко удовлетворяещься, мой другъ, но такое примирение не для всъхъ: у нихъ въ груди зарождается демонъ, котораго не убаюкаемь эпикурейскою пъснью. Жизнь-цъль жизни! Да что миъ въ ней? Я принимаю только тъ дары, которыхъ требую. Жизин я не просилъ... Я вдругь проспудся изъ небытія; кто разбудиль меня, —не знаю, по моей воли не было. Мпъ втъспено тяжелое бремя жизни-этой странной борьбы, не имъющей конца, борьбы безпрерывной, утомительной. Въ груди дежитъ сознание моей правственной свободы, моей безконечности, а я со везхъ сторонъ ограниченъ, упиженъ тъломъ. Я пногда возвращаюсь къ религіознымь вымысламь и върю, что людей создаль возмутившійся дерзкій Титанъ. Онъ затъялъ беззаконное смъщение вещества и ума, а мы страдаемъ, искупая нельность, певозможность такого смышенія. Именно нельность-она очевидна: вложить духъ, разумъ въ безволосую обезьяну и оставить ее обезьяной. чтобъ вся жизнь была страданіе отъ двухъ противоположныхъ влеченій, одного, не имъющаго силы подпять на небо, другого-не имъющаго силы стянуть на землю! Это аристофановская проція!

Мевій. Одно слово. Зачёмъ ты такъ дёлишь духъ отъ тёла, п точно ли опи непримиримые враги, и мёшаеть ли тёло духу, не оно ли чрево, изъ котораго духъ развился?

Лициній. Какъ не мъщаетъ? Да кто же меня приковалъ ко времени и пространству, къ этимъ двумъ цънямъ, ежеминутно бряцающимъ на монхъ рукахъ и ногахъ? Мой духъ хотълъ бы обнять всю вселенную, разлиться по ней безпредъльнымъ и вольнымъ, а онъ сидитъ въ этихъ костяхъ, въ этой оболочкъ мяса. Я колодинкъ, котораго пересылаютъ куда-то, не сказавши ему за что; время влачить скованнаго съ свирѣпой быстротой п само, кажется, не въдаетъ куда, не внемлеть слезамъ, степанью, не даетъ остановиться, кто на дорогъ упалъ, того трупъ -хищнымъ птицамъ, и мимо. Духъ оскорбленный, униженный борется, по тълу дана сила грубая и дикая, которую не сломишь. Духъ понимаеть свою свободу отъ временнаго, да время не понимаеть ея. Оно идеть безотвътно, тупо, однообразно. Могу ли я продолжить мигь восторга? Могу ли я сжать мигъ горести? Ибть. Ј кого во власти клепсидра? У случая, у судьбы. Судьба—слово безъ смысла. II чтобъ эта жизнь была цёль. Коли она цёль, за ней инчего, понимаешь ли-ничего! Я сдълаюсь прошедшее, жизнь промчится по монмъ костямъ, раздавить ихъ, и я не почувствую боли. Лучшее [?] царство Илутона, чтобъ я исчезъ, какъ звукъ лиры въ безконечномъ пространствъ если я не ввченъ, Мевій, такъ и міръ умреть когда-нибудь, одряхлівши, истощивъ свои силы, и не оставить следа и будеть-ничего. Памяти не оставить по себѣ, потому что некому будетъ помнить.

Мевій. Въ этомъ можешь быть обезпечень; для вселенной нѣтъ смерти. Космосъ есть, —ты понимаешь ли, что въ этомъ словъ заключена въчность? Это значитъ: міръ быль и будеть, потому что онъ есть. Онъ живетъ, обновляясь поколъніями.

Апципій Да, онь, какъ Хроносъ, ножираєть своихъ дѣтей, бросая обглоданныя кости, чтобъ мы могли угадать свою судьбу. Когда я быль въ Египтѣ, я носѣтилъ опвы, этотъ стовратный городь Гомера. Дворцы, столбы, аллен сфинксовъ, грифы стоятъ, на скалахъ спдятъ страшные Мемноны, обелиски, испещренные цѣлыми рѣчами гіерогинфовъ, стерегутъ ворота, въ которые ишкто не входить, и говорятъ что-то каменной рѣчью, которую никто не слушаетъ и никто не понимаетъ теперь. Тишниа страшная—ни одного человѣка, и пустыя зданія, формы беземысленныя, оттого что содержаніе выдохлось, черены чего-то умершаго! Куда ушелъ народъ, толинвшійся тутъ, работавшій? ушель— да куда? Гдѣ этотъ Пантеонъ или та Сюаса махіма, куда стекаеть прошедшее—люди, царства, звъри, мысли, дѣянія? Хроносъ съ ненасытной жадностью безпрестанно ѣстъ, но у него нѣть внутренностей, все, что онъ проглотитъ, исчезаеть, и оттого опъ не сытъ и безпрестанно гложетъ.

Мевій. Ты послѣ спросишь, зачѣмъ сегодия волна нанесла кучу неску на берегь, а завтра смываеть его и какъ его отыскать въ морѣ. Все существующее существуеть во времени, въ этомъ надо убѣдиться однажды навсегда. Одна жизнь вѣчна. Когда ты бродилъ по онвамъ, зачѣмъ не взглянулъ вверхъ, ты увидѣлъ бы прекраспаго нестраго орикса; зачѣмъ ты не видалъ ни одного изъ красивыхъ цвѣтовъ, качавшихъ яркими и благо-ухающими вѣнчиками изъ-за трещинъ колониъ и упавшихъ капителей, между которыми ползла, извиваясь и блестя чешуей, зиѣл? Гдѣ тутъ занахъ смерти, пустоты: жизнь человѣческая перешла, жизнь природы, разлитая новсюду, осталась. Царства, дѣла рукъ человѣческихъ—падутъ; жизнь вѣчно юная цвѣтетъ на ихъ развалинахъ. Что за дѣло, куда ушли египтяне, чего жалѣть ихъ? Развѣ они въ продолженіе своей жизни не наслаждались по своему, не имѣли минутъ блаженства и спльныхъ ощущеній, развѣ они не любили, не трецетали отъ радости, развѣ жизнь не подносила свой кубокъ наслажденій и къ ихъ устамъ?

Лициній. А несчастные, задавленные обложками, присутствовавшіе при гибели родины,—твмъ много ли отпущено было наслажденій?

Мевій. Ихъ участь была горька, но туть ненавистная тебъ смерть явилась благодътельнымь геніемь, успокоила ихъ въ могилъ, замънивши новыми покольніями такъ, какъ замъняетъ траву, скошенную на лугу. Ты слишкомъ много придаешь важности человъку, это правится гордости: онъ не больще, какъ листъ на деревъ, какъ песчинка въ горъ.

Лициній. Счастливъ ты, удовлетворяющійся такими объясненіями. Изтъ, я считаю жизнь каждаго человъка важите всей природы. Человъкъ носитель беземертнаго духа, къ которому природа только рвется. Каждая слеза, каждое страданіе человъка отзывается въ моемъ сердцъ. Безчувственно жертвовать какому-то отвлеченному нонятію о жизни людьми, не жалъя ихъ. Варвары, приносящіе на жертву людей, закалають ихъ, по крайней мъръ, своимъ богамъ. Я съ нъкотораго времени боюсь произносить это слово, оно утратило великій смыслъ свой въ нашихъ устахъ. Для насъ богикакой-то сонь, облекающій въ образы иден и мысли. А что прежде была религія? Зачьмь я не могу дътски въровать, зачьмъ я родился въ развратный въкъ, върующій въ одно сомивніе? Что мив дали философы? Ни одного полнаго ръшенія, ни одной достовърности. Они лишили только нокоя мою душу, приведя ее въ въчное колебаніе. Фетишизмъ даваль больше положительнаго, нежели разъвдающій духъ нашихъ учителей. Подконавшись подъ пьедесталы боговъ, свергнувъ, осмъявъ ихъ, что они поставили на эти пьедесталы? Скентическій взглядъ и удостовъреніе, что мы ничего не знаемъ? Нътъ, еще кое-что: стоическую правственность и ясной взглядъ.

Мевій. Ты всегда вдаешься въ крайности и требуешь несправедниваго. Что они поставили на ньедесталы, съ которыхъ сияли Олимпійцевъ, помилуй, они поставили II у съ, великій закопъ, великую энергію всего развитія, они поставили живую душу міра, —многіе хотя и не понимаю, для чего показывали бытіе боговъ.

Лициній. И въ томъ числь нашъ Цицеронъ. И печего сказать, хорошо написаль онь въ ихъ пользу, не хуже, какъ за Архія поэта. И я такъ же, какъ ты, не могу понять, для чего они доказывали, --для пзощоенія въ діалектикъ, въроятно. Доказывать можно только то, въ чемъ можно сомивваться. Негжели голось мощный, звучащій въ груди, не говорить громче всёхъ философовъ? Что вышло изъ философскихъ доказательствъ? Холодный, безчувственный депзиъ, съ ихъ богами мы чужіе, нътъ связи между нами; одинъ Платонъ изъ вевхъ провидълъ, какъ мало удовлетворяеть такое признаніе боговъ. Я чувствую, что человъкъ долженъ быть связань съ божествомъ, въ немъ успоконться, любовью возноситься къ нему. Какъ?-не знаю, не понимаю какъ, отъ того-то я и страдаю; я ищу, жажду, и все-камень, все слова, все мертвое, до чего пи коснусь. У одного Платона и его учениковъ есть что-то, намекъ, приводящій въ трепеть вею душу. Думаль-ли ты когда нибудь, что значить Логосъ? Тайна, тайна и мы умремъ, пе разгадавъ ее. Пусть явится, кто-бъ онъ ин былъ, и откростъ миъ эту тайну, —я общиму его поги, облобызаю прахъ его сандалій. Предчивствие мое меня мучить, знать, что не знаешь, ужасно. Логось, Логось профорикосъ, въ этомъ словъ для меня заключено все — идея, событіе, гісроглифъ, связь міра и бога—и не могу попять. (Молчитъ).

Нослушай, Мевій, что-то великое совершается. Этимъ путемъ міръ дальше идти не можеть: онъ своими когтями разорваль свою грудь и пожираетъ свои впутренности; на такой пищъ долго не проживешь. Бродять вопросы, никогда не являвшіеся прежде. Если бы можно было приноднять завъсу—хоть для того, чтобъ взглянуть и умереть... (Задумывается и

Morriume).

Мевій. Мечтатель, милый мечтатель, люблю слушать его рвчь; она им'ветъ какую-то магическую силу, какъ музыка, какъ лунцый св'ють.

(Анциній садится на холмъ и не принимаєть, повидимому, никакого участія въ разговоръ Мевія съ подощедшимъ патриціємъ).

Патрицій. Я сейчась оть Пизона.

Мевій. Много было?

Патрицій. Да вев наши.

Мевій. Эпихарись была?

Патрицій. Была и говорила, какъ вдохновенная богами пноія. Великая женщина! Имя ся пойдеть до поздитайшаго потомства, окруженное лучами славы. Странно, женскую руку избрали боги участвовать въ великомъ дъль, для котораго такъ долго не находилось достаточно кръпкихъ рукъ мужчины.

Мевій. Что новаго о цезарь?

Патрицій. Каждое дыханіе Нерона—злодъйство. На-дняхъ рабы убили какого-то сенатора. Отцы присудили всъхъ рабовь его, жившихъ у него въ домѣ и виѣ дома, казпить. Ты знаешь, на это есть прямой законъ. Неронъ, когда ему подали дѣло ¹), сказалъ: «Безумно иѣсколько сотъ человѣкъ казнить въ то время, какъ подозрѣніе падаеть на двухъ - трехъ изъ окружавшихъ.»—«Императоръ», вскричало нѣсколько голосовъ, «законъ требуетъ ихъ казни».—«А я», возразилъ Неропъ, «требую казни этого закона, потому что онъ беземысленъ».—Видишь-ли, какъ онъ пренебрегаетъ закономъ и какъ льститъ подлымъ рабамъ. И сенатъ поддался, но ропталъ больше, нежели когда-либо.

Мевій. Онъ безпрестанно пщеть случая унизить патриція и отцовъ. Давича я встрѣтиль недалеко отъ вновь строющагося дворца похороны. Чын, ты думаешь? Тигрь околѣль у него въ звѣринцѣ, онъ велѣлъ его хоронить, какъ сенатора, завернувши въ латиклаву. Плебен толпами шли за трупомъ гадкой кошки, съ рукоплесканіями и хохотомъ; тутъ какой-то ободранный разбойникъ взлѣзъ на камень и кричаль: «божественный цезарь, доверши благое дѣло; ты посадилъ тигра въ сенать, посади же отцовъ въ звѣринецъ». — Толпа съ восторгомъ слушала эти нечестивыя рѣчи.

Патрицій. Подлое отродье подлыхъ корней. Плебей никогда не быль римляниномъ, — это ложныя дъти Италіи. Мевій, сегодия приходи непремънно къ Латерину, у него совъщаніе; всъ поняли, что пора приступить къ дълу, еще нъсколько дней — и заговоръ непремънно будеть открыть. Отъ быстроты зависить уснъхъ. Мы утромъ для того сходились, но было какъ-то смутно и безтолково. Латеринъ поссорился съ Инзономъ. Ты знаешь его — воплощенный Брутъ, а Инзонъ туда же мътитъ въ цезари. Луканъ, который въ Неронъ ненавидить соперника-поэта больше, нежели тирана, хотълъ выпить чашу вина за здоровье новаго цезаря, Латеринъ и Эпихарисъ чуть пе растерзали его. Инзонъ надулся; тутъ, какъ на смъхъ, Сульпицій-Асперъ сталь требовать въ раздачу тъмъ преторіанскимъ когортамъ, которыя пристануть къ намъ, какихъ-то полей близъ Рима. Инзонъ испугался за земли, находящіяся въка во владъпіи Калпурніевъ безъ всякихъ правъ, надулся вдвое и уъхаль къ себъ на дачу, а Луканъ на него сочинилъ уморительное двуствиніе, — однако, у Латерина будуть всъ.

Мевій. Латеринъ—всликій гражданинъ. Когда я смотрю на его открытое чело, на его спокойный, величественный и грустный видъ, онъ миъ представляется однимъ изъ полководцевъ временъ нашей славы. Римъ не погибъ, если могъ создать еще такого гражданина. Ну, а что касается до Пизона и...

Патрицій. Всякій знаеть, да они намъ нужны. Что мы сдълаемь безъ Низоновыхъ сестерцій? А, сверхъ денегь, его происхожденіе глубоко

і) Историческій фактъ.

А. И. Герценъ, т. І.

оцънено даже плебеями. Онъ—имя. Да, кстати, я было забыль сказать, не знаю почему, пало подозръние на старика пафлагонца—раба Пизона, знаешь, что играль на флейтъ, будто онъ доноситъ. Пизонъ велъль его отравитъ и еще двухъ.

Мевій. Что-жъ, онъ узналъ павърное?

Патрицій. Эти вещи доказывать и узнавать мудрено. Онъ предупредиль... если они не успъли донести что-нибудь важное, и лишиль себя трехъ рабовь безь пользы, если они уже едълали доносъ. Это обстоятельство заставляеть еще болъе торопиться. Мнъ есть еще дъла, и такъ сегодия ночью у Латерина.

Мевій. За мной діло не станеть, моя жизнь принадлежить Ряму, я буду уміть принести ее на жертву; а странно на душі: віра и недовіріе, страхь и надежда. Да неужели это не сонь, что разь, два сядеть солнце и въ третій взойдеть надъ освобожденнымъ Римомъ и онь, какъ фениксъ, воскреснеть въ лучахъ прежней славы, пробудится отъ тяжелаго дихорадочнаго сна, въ которомъ грезиль чудовищныя событія? И такъ скоро?

Лициній (ветаетъ и подходить къ нимъ). Сонъ! И я скажу теперь мечты! Домь падаеть, столбы покачнулись, скоро рухнуть, а вы хотите поддержать его; чъмъ? руками? — васъ раздавигъ, а здание все-таки унадетъ. Убить Нерона-дъло возможное, ножемъ легко переръзать нить жизни; но трудно вызвать изъ могилы мертваго. Я участвоваль въ заговоръ, вы знаете, и пойду сегодня и буду дълать, что другіе хотять; но въра мол остыла. Римъ кончилъ свое бытіе, убійствомъ его воскресить нельзя; явится другой Перонъ. И вотъ уже есть желающій, Пизонъ, —этотъ ограниченный человъкъ, сильный только деньгами и предками, протягиваеть дерзкую руку. Мив жаль Латерина, жаль вась, жаль эту голубицу 1), назначенную летать по подпейесью въ Элладь и залетвящую въ горящий домъ. Не то жаль, что вы погибнете, а жаль, что вы втупе употребляете вашу въру... Что хотите? Возкресить Римъ? Зачъмъ? Онъ быль нельлъ, римляне былл хороши. Не законь, начертанный на доскахь, покориль ему мірь, а другой законъ, который онъ сосать съ модокомъ. Истянный Римъ быль построенъ не изъ камня, онъ быль въ груди гражданъ, въ ихъ серднахъ; а теперь его нъть, остался его остовъ, каменныя стъны, каменныя учрежденія. ІІ въ этомъ трупъ, уже загинвшемъ, тлъеть какая-то болъзненная, лихорадочная, упорная искра жизни. Одряхлъвшій Римь одинь ходить не можеть, а вы, добрые люди, хотите отнять вожатаго у кальки, чтобъ онь упаль въ первую канаву. Для кого вы работаете, на кого обопретесь? На плебеевъ что ли? Да они васъ ненавидять. Было время, плебей считалъ патриція за отца. Хорошо восинталь отецъ сына: онъ его ограбилъ, замучилъ на тяжкой работв, прогналь изъ дома, раба приняль на его мъсто, ръзаль мясо его на куски за долги, морилъ въ тюрьмъ, ругаясь надъ нимъ, спрашивалъ, глядя на закорузлую руку, -- не четвероногій-ли онъ? 2). Онъ и въ самомъ дъть едълался звъремъ. Посмотрите вы на провожаднаго барса, выходящаго иногда погулять на илощади, послушайте его ревъ; цезари поняли его характерь, они ему голодному, вмъсто хлъба, бросаютъ трупы гладіаторовь, и

¹⁾ Эпихарисъ.

Острота Сципіона Африканскаго.

звърь, упоенный зрълищемъ крови, рукоплешеть. При первомъ шагъ онъ васъ растерзаетъ на части, и нечему дивиться. Вы сейчасъ бранили плебеевъ за то, что они ругались надъ сенатомъ, а сенать развъ нъсколько стольтій не ругался надъ ними? На илебеевь обопрется пезарь, не вы, а вы обопретесь, можеть, на натриціать. Хорошь и этоть кроколиль, не имбющій зубовъ, сибдаемый нечистыми страстями, умирающій въ рукахъ рабовъ, сгипетскихъ новаровъ и нагихъ невольницъ! Въ основъ своей Римъ носилъ зародышъ гибели. Время казни настало. Онъ богами посвященъ! Ремъ, облитый кровью, встать, онь требуеть наслёдія, отчета; онъ не забыль, что его заръзаль родной брать изъ корысти. Онь одичаль въ преисподней, безумье блестить въ его глазахъ, лишенныхъ свъта прсколько врковъ, у него въ груди одно чувство-месть! Онъ, какъ Протей, является въ тысячь формъ: онъ Калигула, онъ Клавдій, онъ Неронъ, онъ ибкогда кололь булавкой въ языкъ Цицерона и таскалъ его окровавленную голову по илощади, онъ быль Катилина, онъ выводить теперь сенаторовъ на арепу и заставляеть бороться съ подлыми гладіаторами и онь же-чернь, рукоплескающая около арены... Онъ-огонь, прокравшійся всюду и сожигающій со встхъ сторонъ ветхое зданіе, воздвигнутое на его размозженномъ черепь... Когда-инбудь пожаръ кончится, тогда тишина наляжеть на эту полосу, будуть объ Римъ говорить, какъ о Кароагенъ, о Вавилонъ. Звъри поселятся, имъ ловко норы устранвать въ развалинахъ, стан хищныхъ итицъ придстять добдать несъбденное Хроносомъ. Поторжествують животныя надение человька; нъть, еще хуже, они будуть жить, какъ дома, въ берлогахъ своихъ на великомъ римскомъ форумъ.

Мевій. Остановись, наконець, дерзновенный! Что за ужасное воображеніе—слъдъ беззаконныхъ, преступныхъ мечтаній. Римлянинъ не долженъ слушать такую ръчь, полную отравы. Погибнуть лучше съ върою въ Римл.

нежели дать мъсто въ груди ядовитымъ иъсиямъ фурій.

Лициній. Мит самому досадно: больше сказалось, нежели я хотвль. И, видишь ли, долго молчаль; грудь отъ этого стала полна, ей надобень быль истокъ, она не могла дольше хранить жгучія истины; мит горько, Мевій, что я дерзкой рукой тронуль твое сердце гражданина. Но не брани меня, плачь обо мит; потерявши многое, у васъ осталась въра въ Римъ, для меня и Римъ пересталь быть святымъ. А я люблю его, но не могу не видъть, что стою у изголовья умирающаго. Если-бъ можно было создать новый Римъ—прочную, общирную храмину изъ незажившихъ остатковъ! Но кто мощный, великій, который вольетъ новую кровь въ наши жилы, юную и алую, который огнемъ своего генія сплавить въ одну семью патриціать и плебевъ, согрѣетъ ихъ своею любовью, очистить своей молитвой и, наполнивъ своимъ духомъ, всъхъ гордою стоной поведетъ въ грядущіе въка? Но и Зевсъ, сойдя на землю, не сдълаетъ этого.

Мевій. Другь, такія слова еще ужаснье; бышеные звуки твоей филининки возбудили гивь, а эти слова... послушай (съ отчаяніемь):

скажи, что памъ дълать, что намъ дълать?

Лициній. Наконець-то ты увидёль весь ужась настоящаго... Что дёлать? Въ этомъ-то вся задача сфинксовъ. Во всё времена, отъ троглодитовъ до прошлаго поколенія, можно было что-нибудь дёлать. Теперь дюлать нечего. Да, печего, и это худшая кара, которая можетъ пасть на

пюдей, хуже Спанфовой, хуже Танталовой. Бѣдные, несчастные! Фатумъ призвалъ насъ быть страдательными свидѣтелями позорной смерти нашего отца и не далъ никакихъ средствъ помочь умирающему, даже отнялъ уваженіе къ развратному старику. А, между тѣмъ, въ груди бъется сердце, жадное дѣяній и полное любви. Ни Эсхилу, ни Софоклу не приходило въ голову такого трагическаго положенія. Можеть, придутъ другія поколѣнія, будетъ у нихъ вѣра, будетъ надежда, свѣтло имъ будетъ, зацвѣтетъ счастье, можетъ. Но мы—промежуточное кольцо, вышедшее изъ былого, не дошедшее до грядущаго. Для насъ темная ночь—ночь, потерявшая послѣдніе лучи заходящаго солнца и не нашедшая алой полосы на востокѣ. Счастливые потомки, вы не поймете нашихъ страданій, не поймете, что нѣтъ тягостнѣе работы, нѣтъ злѣйшаго страданія, какъ ничего не дълать! Душно!

(Лициній закрываеть руками лицо. Мевій, глубоко взволнованный,

молчитъ).

FORUM APII.

Кружокъ обдерганныхъ плебеевъ окружаетъ какую-то женщину; ее поставили на возвышение.

Голоса. Сама, сама ты видъла?

Женщина. Братья мон, свидътельствуюсь богами—видъла; святого-то мужа, какъ преступника, вели въ цъпяхъ, поселяне его провожали. А онъ кротко, спокойно, просто все поучалъ своей въръ.

Голоса. Что жъ онъ говориль, что?

Женщина. Онътакъ утъщительно говорилъ, такъ хорошо, не могу всего пересказать. Говорилъ онъ, что пора каяться, что новая жизнь началась, что Богъ послалъ Сына своего спасти міръ, спасти притъспенныхъ и бъдныхъ. Мы плакали, слушая его. Потомъ онъ взялъ моего маленькаго, посмотрълъ на него ласково и сказалъ: «Ты увидишь уже сильнымъ царство Христово».

Голоса. Слышите! слышите! Говорять, и слъпые стали видъть, и

мертвые воскресають!

1838 г. Владимірь на Клязьмѣ.

Маріи Р.....¹).

.....Итакъ, вы думаете, что все-таки печатать, несмотря на то, что одна повъсть едва начата, а другая не кончена.. Оно въ самомъ дълъ лучше: не напечатанная рукопись мъщаетъ, это что-то неудавшееся, слабое, письмо, пе дошедшее по адресу, звукъ, не дошедшій ни до чьего слуха.

Нозвольте же вамъ и посвятить эти поблекшіе листья, захваченные на полдорогъ суровыми утренниками. Новаго вы въ нихъ не найдете ничего; все вамъ знакомо въ нихъ, и оригиналы блъдныхъ копій, и молодой смъхъ былого времени, и грусть пастоящаго, и даже то, что пропущено между строкъ.

Примите же ихъ, какъ принимаютъ старыхъ друзей послъ долгой разлуки, не замъчая ихъ недостатковъ, не подвергая ихъ слишкомъ строгому суду.

Лондонъ, 31 декабря, 1853.

Примпъч. издат.

¹⁷ Это посвященіе относится къ четыремъ разсказамъ: «Докторъ Круповъ», «Мимоъздомъ», «Долгь прежде всего и «Поврежденный», изданнымъ отдъльно подъ заглавіемъ: «Прерванные разсказы».

Между четвертой и пятой частью.

Два первые тома Былого и Думъ составляють такой «отръзанный ломоть», что мнъ пришло въ голову между ними и слъдующими частями поставить небольшую кладовую для стараго добра, съ которымъ по ту сторону берега нечего дълать; она можеть служить въ родъ pièces justificatives

или обвинительныхъ актовъ.

Общихъ статей, въ родъ Писемъ объ изучении природы, Дилетантизма въ наукъ и пр., разумъется, въ этой книгъ нътъ 1), нътъ также
п повъстей. Я выбралъ только тъ статьи, которыя имъютъ какое-нибудь
отношеніе къ двумъ вышедшимъ томамъ Былого и Думъ. Тутъ на нервомъ планъ Записки одного молодого человъка; какъ чертежи сравнительной анатоміи или лафатеровскіе профили, они показывають наглядно
пзмъненія, вносимыя въ физіономію мысли и слова двадцатью такими
годами, которые я прожилъ между записками молодого человъка, набросанными въ 1838 въ Владиміръ на Клязмъ, и думами пожилого человъка, помъченными въ Лопдонъ на Темзъ.

Досадно, что у меня нътъ цензурныхъ пропусковъ и всего досаднъе, что пътъ цълой тетради между первымъ напечатаннымъ въ От. Зап. отрывкомъ и вторымъ. Я помню, что въ ней былъ нашъ университетскій курсъ и что тетрадь оканчивалась соборной поъздкой нашей въ Архангельское киязя Юсупова, описаніемъ объда и ппра возлъ оранжереи, который про-

должался еще дни два возлъ Пръсненскихъ Прудовъ.

Затьмъ я помъстиль нъсколько полемическихъ статей, во всей ихъ правдль и кривдль, въ костюмъ сороковыхъ годовъ и во всей тогдашней

односторонности.

Много воды утекло съ тъхъ поръ, какъ мы боролись съ православной покорой славянофпльской, и быстро текла вода съ 1848... Все сдвинула она, все подмыла... многое совсъмъ снесла. Наша религія независимости не такъ исключительна и ревнива, какъ была, и недавно еще намъ казалось издали, что великороссійская любовь къ отечеству перестала быть ненавистью къ другимъ...

25 января, 1862 г. Orsett House, Westbourne Terrace.

¹⁾ Я сдѣлать исключеніе для двухъ статей: По поводу одной драмы и Капризы и раздумье, обѣ имѣютъ тѣсное отношеніе къ личнымъ опытамъ и событіямъ, имѣвшимъ сильное вліяніе на меня, на насъ.

Примъчанія.

Стр. 1. «Легенца о святой Феодоръ» была впервые напечатана въ декабрьской книгъ «Русской Мысли» за 1881. голъ Е. С. Некрасовой по поллинной тетради Герцена, найденной ею въ 1872 году среди книжнаго хлама на рынкъ подъ Сухаревой башней въ Москвъ. Эта толстая въ переплетъ тетрадь, находяшаяся теперь въ рукописномъ отдъленіп Румянцовскаго музея, содержить, кромь «Легенды», объ помъщаемыя ниже «Встръчи», а также «Отдъльныя мысли» и «Отдъльныя замъчанія о русскомъ законодательствъ», и цълый рядъ выписокъ изъ Гёте, Данте и др. Здъсь же находилась утраченная теперь статья Герцена о зодчествъ, которая въ тетрали выръзана; уцълъли только послъднія строки ея, и подъ ними помъта: «Владиміръ, 12 февр. 1838». Вся тетрадь пасана въ Вяткъ и во Владиміръ; на первой ея чистой страниць, наверху, рукою Герцена написано: 6 марта 1836. Вятка (!). — «Легенда», какъ показываетъ помътка въконцъ ея, была написана во время ареста Герцена, въ Кругицкихъ казармахъ, въ Москвъ, въ февралъ 1835 года, и (въроятно, съ поправками) переписана въ эту тетрадь-вся собственноручно - въ Вяткъ, въ мартъ 1836 г. Текстъ, напечатанный Е. С. Некрасовой, исправленъ здъсь по подлинной рукописи.

Стр. 4. Симеонъ Метафрастъ жилъ въ X въкъ и писалъ житія мучениковъ и святыхъ, поэтому онъ и является первоначальнымъ авторомъ сказанія о

св. Өеодоръ.

Стр. 4. Константинъ VII Багрянородный былъ императоромъ византій-

скимъ съ 912 по 959 годъ.

Стр. 5. Діадохъ Провлъ — греческій философъ-неоплатоникъ V въка, придавшій неоплатонизму законченныя формы.

Стр. 5. Аполлоній Тіанскій, неопивагорейскій философъ, магъ и теургь, современникъ Христа, своими путешествіями, прорицаніями, такъ называемыми чудесами и проч. возбудивній повидимому, среди своихъ современниковъ большое вниманіе и умершій въ-Эфесъ на 100 году жизни. Ему воздоигались храмы во многихъ городахъ Малой Азіи и Греціи и въ честь его чеканились медали.

Стр. 5. Сераписъ—египетскій Богь ада и умершихъ (Озприсъ — Аписъ). Поклоненіе ему было распростравено не только въ Египтъ, но и въ Римъ.

Стр. 9. Констансъ (Константъ), третій сынъ Константина Великаго (323—350), получившій отъ отда Излирію, Италію и Африку съ титуломъ цезаря. Вступинъ въ борьбу со своимъ старшимъ братомъ, Константиномъ II, погибъ во время возстанія на западъ.

Стр. 10. Ринальдо-Ринальдини— дегендарный втальянскій разбойникъ, герой романа нѣмецкаго писателя Хр.-Авг. Вульпіуса «Rinaldo Rinaldini (1797), переведеннаго почти на всъ новъйшіе языки и сдълавшагося прототимомъ многочисленныхъ разбойничымхъ романовъ, а самъ Ринальдо сдълался синонимомъ романтическаго разбойника.

Стр. 21. Объ помъщенныя здъсь «Встръчи» находятся въ той подлиной тетради Герцена, о которой сказано выше, въ примъчаніи къ «Легендъ о св. Оеодоръ». «Первая встръча» была написана въ брутицкихъ казармахъ въ декабръ 1834 г. и переписана въ тетрадь въ іюнъ 1836 г. въ Вяткъ Первоначальное ея заглавіе было: «Германскій путешественникъ»; это заглавіе зачеркнуто въ тетради и сверху написано: «Первая встръча». Дъло въ томъ, что въ началь 1836 г. Герценъ, очевидно, задумаль написать рядъ очерковъ

полъ заглавіемъ «Встрѣчи»: введеніе. которымъ начинается «Вторая встръча». и должно было служить предисловіемъ ко всей этой серін очерковъ. «Что могу я прислать для печати? - писаль Герценъ друзьямъ изъ Вятки.—1-е. «Встръчи»: это три статьи, изъ коихъ одна вамъ извъстна-«Германскій путешественникъ» (поправленный) и лвъ пругія: «Человъкъ въ венгеркъ», въ коемъ описана моя встръча въ Перми съ однимъ весьма несчастнымъ и весьма сильнымъ человъкомъ; третья — « Швелъ» («Мысль и Откровеніе») (Анненковъ, Идеалисты 30-хъ годовь, стр. 15). Третій очеркъ до насъ не дошель, а «Чедовѣкъ въ венгеркъ» именно и есть «Вторая встръча», «Первую встръчу» Герценъ поздиве еще разъ переработаль и въ обновленномъ вилъ вставилъ -отак одиски одного молодого человъка», напечатанныя въ «Отеч. Зап.» 1840-41 гг.: здѣсь «германецъ» замѣненъ полякомъ Трензинскимъ, полъ видомъ котораго выведенъ, по мижнію Н. Страхова, двоюродный брать автора — «Химикъ» «Былого и Думъ». «Первая встръча» переписана въ тетради вси рукою Герцена, «Вторая» — чужой, въроятно женской, рукой, но съ собственноручными поправками автора. Оба очерка были напечатаны въ первый разъ Е. С. Некрасовой въ «Русской Мысли», 1882 г., янв. и дек.; текстъ ихъ здъсь исправленъ по подлиннику.

Стр. 24. Лун-Бенжаметь Франкерь (1773—1849), французскій математикъ, большинство сочиненій котораго переведено на русскій языкъ и долго служило распространенными учебными по-

собіями и руководствами, Стр. 26. Карлъ Нодье (1780—1844), французскій беллетристь и филологъ.

Стр. 26. Баронъ Анахарсисъ (собственно, Жанъ-Батистъ) Клоотсъ (1755—1794) объъздилъ Европу, всюду проповъдуя всеобщую демократическую организацію всъхъ народовъ по образцу древнихъ греческихъ республикъ, но при общемъ братствъ всъхъ національностей. Онъ былъ гильотинированъ по настоянію Робеспьера.

Стр. 27. Жакъ-Ренэ Геберъ (у Герцена: Эбертъ), французскій революціонеръ (1755—1794), прозванный «отцомъ Дюшеномъ» по названію издававшейся имъ газеты «Père Duchesne». Содъйствовалъ гибели жирондистовъ и проповъдывалъ культъ разума. Гильотинированъ по настоянію Робеспьера, какъ компро-

метировавшій дізло революція своими крайностями.

Стр. 32. Морганъ, леди Сидней (1785—1859), англійская писательница, прославившаяся своей книгой «Италія» (1821 г., 2 тома).

Стр. 32. Вольфгангъ Менцель (1798—1873), нъмецкій писатель, пріобръвшій въ 30-хъ и 40-хъ годахъ печальную славу гнуснаго доносчика на писателей «Молодой Германіи» (Гейне, Бёрне, Гуцкова и др.), которыми и былъ по достопнству заклейменъ.

Стр. 33. Анри Ларошъ-Жакленъ (1772—1794), глава вандейцевъ. Былъ убитъ въ бою съ республиканскими вой-

сками

Стр. 33. Мальзербъ (у Герцена: Малербъ), Кретьенъ Гильомъ (1721—1794), ревностный роялисть, бывшій министромъ внутреннихъ дѣлъ при Людовикъ XVI и смѣло защищавшій послъдняго во время его процесса въ конвентъ. Былъ гильотинированъ.

Стр. 34. Саади—величайшій персидскій поэть (1184—1291), паписавшій «Гюлистань» (Садь розь) и «Бостань» (Садь плодовь). Низами—великій персидскій поэть XII въка, написавшій «Дивань» и 5 большихь поэмь, считающихся въ Персіц доныпь недосягаемыми педеврами. Низами—основатель персидскаго романтическаго эпоса.

Стр. 34. Іоганнъ-Генрихъ фонъ-Даннекерь (1758—1841), нъмецкій скульпторъ, бывшій въ дружбъ съ Шиллеромъ и первый изваявшій его бюстъ въ натуральную величину, находящійся въ веймарской библіотекъ.

Стр. 35. «Беллерофонъ» назывался англійскій корабль, на которомъ въ 1815 году былъ увезенъ на островъ св. Елены Наполеонъ I, находившійся тамъ подъ присмотромъ мѣстнаго англійскаго губернатора Гудзона Лоу (или Лова, какъ пишетъ Герценъ).

Стр. 35. Генералъ Максимиліанъ Ламаркъ (1770 — 1832) участвовалъ въ наполеоновскихъ войнахъ, а съ 1828 г., состоя депутатомъ, прославился какъ одинъ изъ лучшихъ оппозиціонныхъ ораторовъ, отстаивавшихъ законъ и народныя права.

Стр. 37. Подъ 9-мъ апръля подразумъвается 9-е апръля 1835 г., когда Герценъ, отправляясь изъ Москвы въ ссылку, имълъ прощальное свиданіе со своей двоюродной сестрой (впослъдствіи женой) Наталіей Александровной За-

харьиной въ Крутицкихъ казармахъ («Крутинахъ»).

Стр. 42. Лонгвудомь назывался домъ. въ которомъ жилъ Наполеонъ I на ост-

ровь св. Елены,

Стр. 44. «Это было 22-го октября, 1817 г.» печатается по рукописи Герцена, найденной въ его перепискъ съ невъстой; впервые и печатана была Е. С. Некрасовой въ статьт: «Юношескіе литературные труды Герпена» («Съв. Въстникъ , 1895 г., № 9); въ рукописи Герцена стоить заголовокъ, приведенный адъсь; въ нисьмъ же, при которомъ статья посыдалась невъсть, она названа фантазіею.

Стр. 44. Эммануилъ Сведенборгъ (1668-1772), шведскій мистикъ, утверждавшій въ своихъ сочиненіяхъ, что неоднократно удостонвался видёній Бога

и божественныхъ откровеній.

Стр. 47. «Записки одного модолого человъка» и продолжение ихъ (въ тексть-глава III: «Годы странствованія»стр. 69-97) подъ заглавіемъ «Еще изъ записокъ одного молодого человъка» были напечатаны въ «Отеч. Запискахъ» 1840 г., № 12 (томъ ХШ) и 1841 г. № 1 (томъ XIV).

Стр. 50. Августъ Коцебу (1761-1819), плодовитый нъмецкій писатель. писавшій драмы, комедін и пр. Убить студентомъ Карломъ Зандомъ, какъ до-

Стр. 52. Жанъ-Франсуа Мармонтель (1723 - 1799), французскій писатель, пользовавнійся въ свое вреия большимъ успъхомъ, благодаря живости языка и романтичности мысли. ('собенно славился его романъ «Инки» (Les Incas).

Стр. 54. Ломондъ — авторъ весьма распространенной въ свое время французской грамматики, выдержавшей въ подлинникъ болъе 40 изданій и переве-

денной на русскій языкъ.

Стр. 54. Августъ Лафонтенъ (1758-1831), илодовитый и популярный въ свое время нъмецкій романисть. Его романы проникнуты мъщанско-морально-сантиментальнымъ направленіемъ.

Стр. **55**. «Инсьмовникъ» Ник, Гавр. Курганова (1726—1796) выдержалъ 11 изданій (1769—1837) и служиль какъ бы энциклопедіей для средней публики и грамотнаго люда во второй половинъ XVIII, а въ глухихъ мъстахъ и до второй половины ХІХ въка.

Стр. 55 Титъ Алексвевичъ Каменецкій (1790-1844) быль съ 1815 по 1824 г. профессоромъ географіи и статистики въ Московскомъ университетъ. Составленное имъ «Руковолство къ географіи» питло значеніе лучшаго учеб-

ника въ свое время.

Стр. 55. Ив. Андреев. Геймъ (1759-1821) быль 40 льтъ профессоромъ Московскаго университета, гдъ преподаваль географію, исторію, наменкій языкъ и греческія и римскія древности. Онъ издаль на нъмецкомъ языкѣ рядъ учебныхъ книгъ по географіи и статистикъ.

Стр. 58. Шарль Бате (1713-1780). французскій эстетикъ, бывшій профессоромъ красноръчія, въ Парижь п проповъдовавшій подражаніе прекрас-

ному въ природъ.

Стр. 58. Жань-Франсуа Лагарпъ (1740—1803), французскій писатель и притикъ, важивищий трудъ котораго

«Cours de littérature»

Стр. 58. Николай Буало-Лепрео (1636) -1711), французскій поэть и критикъ, авторъ «Сатиръ», одъ, посланій, эпиграммъ и поэмы «Art poetique», которая, служа кодексомъ условныхъ правилъ поэзін («ложно - классицизма»), имъла громалное вдіяніе на всю поэзію XVIII BEKA.

Стр. 58. Подъ родственницей изъ города Меленовъ, Владимірской губ., Герценъ здъсь обозначаетъ свою родственницу Татьяну Петровну Пассекъ, которая фигурируеть также и въ «Быломъ и Думахъ» подъ именемъ «Корчевской кузины».

Стр. 60. Жанъ- Пьеръ Флоріанъ (1755-1794), французскій писатель, писавиній басни, насторали, романы («Нума Помпилій») и проч. Почти всь его сочиненія въ свое время были переве-

дены на русскій языкъ.

Стр. 64. Графъ Филинпъ-Анри Сегюръ-д'Агессо (1753—1830), французскій историкъ, писавшій рядъ историческихъ сочиненій, въ томъ числь «Histoire ancienne», «Histoire romaine»

Стр. 66. Фонтенель (1657-1757), французскій писатель, написавшій много драмъ, комедій, оперъ, басенъ и проч.

Стр. 69. Подъ именемъ города Малинова на следующихъ страницахъ Герценъ нарисовалъ Вятку, гдъ провелъ въ ссылкъ 1835-38 годы.

Стр. 70. Карлъ Розенкранцъ (1805 – 1879), нъмецкій философъ, одинъ изъ наиболъе талантливыхъ и разностороннихъ учениковъ Гегеля, хотя и значительно отступившій отъ него вліво. Написаль очень много сочиненій по философіи, логикъ, психодогіи, исторіи начки и литературы и пр. Его психологія, о которой говорить здісь Герценъ, вышла въ 1837 году. Въ 1844 г.

онъ издалъ «Жизнь Гегеля».

Стр. 70. Алексъй Леонтьев. Ловецкій (1787-1840), врачъ и профессоръ минералогін и зоологін въ Московскомъ университеть и физіологіи и патологіи въ московской медико-хирургической академіи, издавшій нісколько оригинальныхъ и переводныхъ сочиненій по своей спеціальности.

Стр. 72, Плано-Карпини, францисканскій монахъ, путешествовавшій въ XIII въкъ въ азіатскихъ степяхъ и путевыя записки котораго очень важны для знакомства съ жителями тогдашней Азіп.

особенно татарами,

Стр. 72. Дюмонъ-Дюрвиль, Жюль-Себастьянъ-Сезаръ, французскій контръадмиралъ (1790-1842), совершивъ 3 кругосвътныя путешествія. сдълалъ много географическихъ открытій. Его «Путешествіе вокругъ свъта» переведено и на русскій языкъ (1835, 1843 и 1850 гг.). Погибъ во время крушенія поъзда на жельзной дорогь между Парижемъ и Версадемъ.

Стр. 73. Въ выноскъ къ этой страниць говорится о повъсти извъстнаго беллетриста и этнографа В. И. Даля

«Бъдовикъ».

Стр. 84. Квигу «Mémorial de St.-Helène» (1821 — 23 гг.) издалъ графъ Эмманюэль-Огюстень Ласказъ (1766-1842), который быль личнымъ другомъ Наполеона I и сопровождалъ его на островъ св. Елены, гдъ и писалъ, подъ диктовку Наполеона, означенную книгу —нъчто въ родъ мемуаровъ Наполеона. Стр. 81. Альбрехтъ Тэеръ (1752—

1828), славившійся въ свое время нъ-

мецкій агрономъ.

Стр. 88. Шпрудель-мпнеральный источникъ въ Карлебадъ, выдъляющій изъ себя обильный осадокъ углекислоты.

Стр. 90. Христіанъ Раухъ (1777— 1857), извъстный нъмецкій скульпторъ, основавний въ Берлинъ школу скульптуры, изваявшій бюсты Гёте, королевы Луизы прусской и др.

На стр. 90-96 повторяются уже ранъе (стр. 26-35) изложенныя въ разсказъ «Первая встръча» подробности о свиданіи «германскаго путешественника» (здъсь Трензинскаго) съ Гёте.

Стр. 93. Жанъ Жуанвиль (1224-1318), французскій историкъ, другъ и 1802) «Душенька».

совътникъ Людовика IX, сопровождавшій его въ первомъ крестовомъ походъ и написавшій «Histoire de St. Louis».

Стр. 95. Парацельсъ (1493—1541), швейцарскій врачь, естествоиспытатель и профессоръ въ Базель, основатель фармацевтической химіи пользовавшійся большой славой и авторитетомъ въ

Стр. 102. Джорджъ (у Герцена ошибочно названъ Чарлсомъ) Фоксъ (1624 —1691), основатель религіозной общины квакеровъ, былъ сперва сапожникомъ въ Ноттингемъ. За распространение своихъ религіозныхъ идей подвергался частымъ гоненіямъ и пресльтованіямъ.

Стр. 105. Первая часть романа «Кто виновать?» была первоначально напечатана въ «Отеч. Запискахъ» 1845 г., № 12 (томъ 43-й, отдъль I, стр. 195-245). Йодъ ней стояла дата: 1842. Затьмь вь тъхъ-же «Отеч. Зап.» 1846 г., № 4 (томъ 45-й, отдълъ I, стр. 155 — 192) быль напечатань «Эпизодь между первою и второю частью»: «Владиміръ Бельтовъ». Вполнъ романъ былъ приложенъ къ № 1 «Современника» 1847 г., а затемъ имълъ 4 отдъльныя изданія: въ Лондонъ 1859 г. п въ С.-Петербургъ 1866, 1871 (не поступало въ продажу, такъ какъ было задержано) и 1891 (въ «Семейной библіотекъ», №№ 13 и 14).

Стр. 108. «Нъсколько выраженій я вспомнилъ (опи напечатаны курсивомъ)» -это замъчаніе Герцена («курспвомъ») относится къ заграничн. изданію 1859 г.

Стр. 108. Фульгэмъ — пригородная мъстность близъ Лондона, гдв въ 1859 г. жиль Герценъ на дачъ Паркъ-Гоузъ.

Стр. 114. Христофъ-Вильгельмъ-Гуфландъ (1762—1836), нъмецкій врачъ, лейбъ-медикъ прусскаго короля и профессоръ берлинскаго университета. Изъ его многихъ сочиненій особенную популярность имъло «Макробіотика или искусство продлить человъческую жизнь» переведенное и на русскій языкъ проф. II. Заблоцкимъ.

Стр. 156. «Новая Элонза» — романъ Жанъ-Жака Руссо. Фоблазъ — герой крайне скабрезнаго романа Луве де-

Куврэ.

Стр. 164. Жанъ-Батисть Массильйонъ (1663 — 1742), епископъ клермонскій, прославившійся своими пропов'єдями, переведенными и на русскій языкъ.

Стр. 165. Здысь приводятся выдержки изъ славившейся въ началъ XIX в. поэмы Иппол. Өсд. Богдановича (1743Стр. 169. «Paul et Virginie» («Поль и Виргинія »)—знаменитый въ свое время ромавъ Берпардена де-Ссиъ-Пьсра (1737—1814), переведенный неоднократно и на русскій языкъ.

Стр. 169. Себастьянъ ле-Претъ де-Вобавъ (1663—1707), французскій маршалъ, знаменитый въ свое время инженеръ, проглавившійся устройствомъ крыпостей, ихъ обороной и ссадой.

(тр. 177. Шарль Боннэ (у Герцена — Боннетъ), естествоиспытатель и фи-

лософъ (1720-1793).

Стр. 178. Іоганнъ-Бернгардъ Базедовъ (1723—1790), нъмецкій педагогъ, послъдователь Руссо и Коменскаго, требовавшій паглядности въ воснитаніи и произведній реформу въ воспитательномъ твлъ.

Стр. 178. Людвигъ-Геприхъ Инколап (1737—1820), игмецкій писатель и педагогъ. Съ 1769 г. былъ воспитателемъ цесаревича Навла Петровича, а впослъдствій президентомъ Спб. академін наукъ.

Стр. 178. Мальтъ-Брёвъ-французскій ученый первой половины XIX в., написавиній много географическихъ со-

чиненій.

Стр. 178. Наскаль Паоли (1726—1807), знаменитый корсиканскій патріотъ, много лътъ боровшійся за незави-

симость острова Корсики.

Стр. 178. Пьерт-Шарль Левекъ (1736—1812), французскій историкъ, по рекомендаціи Дидро Екатеринъ II ставшій учителемъ спб. калетскаго корпуса. Кромъ другихъ историческихъ сочиненій, паписалъ «Histoire de Russie», вышеличо въ 1812 г. 4-мъ паданіемъ.

Стр. 180. Каспаръ Гаузеръ—загадочная личность. Въ 1828 г. онъ былъ найденъ близъ Нюренберга при запискъ, въ которой было только сказано, что онъ родился въ 1812. Гаузеръ былъ лишенъ самыхъ элементарныхъ представленій о чемъ-либо, такъ какъ ничему не былъ обученъ и съдътства, по его разсказу, жилъ въ подземной тюрьмъ. Въ 1833 г. онъ былъ убитъ неизвъстно къмъ и личность его навсегда осталась неустановленной.

Стр. 180. Любимъ Матеи (Aimé Matthei), врачъ, получовшій медицинское образованіе въ Лейдень, а затымъ, какъ доцентъ, преподававшій физіологію въ

Россіи. Ум. въ 1792 г.

Стр. 185. Азапсъ—малонавъстный французскій философскій писатель начала XIX. въка. Стр. 196. Офренъ—французскій актеръ XVIII въка, игравній на сценъ парижекаго театра «Comedie Française».

Стр. 234. Докторъ Франческо Антомарки (1780—1838) лечилъ въ 1818—21 гг. Наполеона I на островъ св. Елены и отказался подписать протоколъ вскрытія тъла Наполеона, такъ какъ, помивино Антомарки, императоръ умеръ не отъ рака, а отъ господствующей на островъ лихорадки. Онъ издалъ въ 1823 г. книгу «Les derniers moments de Napoléon». Во время польскаго возстания 1831 г. Антомарки управлялъ больничными заведеніями Варпиавы.

Стр. 246. Джіовання. Батисто Рубини (1795—1854), знаменитый въ свое время итальянскій півецъ-теноръ. Полина Віардо-Гарсіа (род. 1821)—знаменитая півніца, пзвістная также и своей многолітней дружбой съ ІІ. С. Тургеневымъ.

Стр. 267. Евтропій—римскій историкъ, жившій въ IV в. по Р. Х. Былъ императорскимъ секретаремъ въ Византій и составиль по достовърнымъ источникамъ очеркъ римской исторіи отъ основанія Рима до 364 г. по Р. Х. въ 10 книгахъ («Breviarium ab urbe con-

dita

Стр. 281. Перепечатывая въ 1862 г. свои автобіографическія «Записки од» ного молодого человъка». впервые появившіяся двумя частями въ «Отеч. Зап.» (декабрь 1840 г. и авг. 1841 г.), Герцевъ писалъ въ предисловіи: «Досадно, что у меня пътъ цензурныхъ пропусковъ, и всего досадиве, что нътъ цьлой тетради между первымъ напечатаннымъ въ «Отеч. Зап.» отрывкомъ п вторымъ. Я помию, что въ ней былъ нашъ университетскій курсъ и что тетрадь оканчивалась соборной поиздкой нашей въ Арханчельское князя Юсупова, описаніемъ обида и пира возль оранжереи, который продолжался еще для два всэль Прысненскихъ Прудовъ». Упоминаемая адъсь тетрадь содержала, очевидно, ту автобіографическую повѣсть «О себь», которую Герценъ писаль въ 1838 г. во Владиміръ и о которой опъ не разъ говорить въ своихъ письмахъ къ невъсть и друзьямъ за это время. Въ январъ 1838 г. онъ въ письмъ къ невъсть такъ излагалъ планъ этой повъсти: «Первая часть — до 20-го іюля 1834 года. Туть я дитя, юноша, студенть, другь Огарева, мечты о славъ, вакханалів — и все это оканчивается грустной, но гармоничной нашей прогулкой на кладбище (она уже написана).

Вторая начнется моей фантазіей «22 октября». Въ началъ марта онъ сообщаетъ: «Написалъ VIII главу въ свою жизнь и написаль очень хороню, и ужъ, конечно, не логадаешься о чемъ: о любви къ Люд. И.; вообще идетъ прекрасно (я пишу по твоему приказу). Палье описана самая черная эпоха, отъ 9-го іюля 1834 г., до 20-го, но halte là». Однако, онъ на этомъ не остановился; 30 марта онъ пишетъ: «Да, это поэма юности, п она хороша. Въ ІХ главь описана стиденческая оргія и прогулка». Е. С. Некрасова («Юношескіе литер. труды Герцена», «Съв. Въстн.», 1895 г. № 9. стр. 118-119) правильно указала на то, что эта ІХ глава сохранилась въ восноминаніяхъ Т. Пассекъ: это-отрывокъ, напечатанный въ Г томъ ея записокъ полъ заглавіемъ «Послъдній праздникъ дружбы». Пассекъ предпослала этому отрывку следующія вступительныя слова: «Въ последнихъ числахъ мая 1833 г. одинъ товарищескій вечеръ завершиль этотъ отдель ихъ юности,.. Изъ заметокъ, найденныхъ мною въ бумагахъ Валима (т. е., В. В. Пассека) и одного изъ его товарищей, вотъ что сказано объ этомъ вечерѣ». Въ слогь отрывка и во мноонты скинажения скинацадто скиг узнать Герцена. Е. С. Некрасова, кажется, справедливо полагаеть, что копія, которую воспроизвела Пассекъ, представляла собою исправленную редакцію IX главы; такъ, замъчаніе о необходимости изучать картиниую галлерею въ одиночествъ и притомъ въ течение многихъ дней вставлено, повидимому, уже послъ декабря 1839 г., когда Герценъ пришелъ къ этому выводу послъ неудачной попытки въ одинъ пріемъ ознакомиться съ Эрмитажемъ (объ этомъ онъ писаль жень изъ Петербурга въ дек. 1839 г.).

Стр. 281. Упсальскій баронъ—Ни-колай Христофоровичь Кетчеръ.

Стр. 282. «Видите-ли у камина худощавато молодого челозика»—т. е. Алексъя Николаевича Савича.

Стр. 282. «Овъ держалъ за пуговицу молодого человика», т. е. Н. Сазонова.

Стр. 283. «Одинъ съ длиниыми волосами и прелестнымъ лицомъ a la Schiller и прихрамывающій a la Byron» —Никодай Михайловичъ Сатинъ.

Стр. 283. ...«другой съ прекрасными задумчивыми глазами, съ иъсколько театральными манерами»,—Вадимъ Васильевичъ Иассекъ.

Стр. 283. «Молодой человькъ, въ съромъ халатъ, на диванъ.—Никъ, т.е. Николай Илатоновичъ Огаревъ

Стр. 283. ...«худощавый юноша съ выразительнымъ, умиымъ взоромъ», Саша, т. е. Александръ Ивановичъ Герцевъ,

Стр. 284. Кардиналь Джузеппе Мецпофанти (1774—1849) отличался необыкповенной способностью къязыкознанию: онъ говориль на 58 языказъ, а читаль и понималь разговоръ на втрое большемъ количествъ языковъ,

Стр. 285. Подъ именемъ «Никъ» обозначенъ ближайшій другь Герцена, Ник. Плат. Огаревъ.

Стр. 290. «Сашей» названъ здъсь

самъ авторъ.

Стр. 292. Повъсть «Сорока-воровка» была первоначально напечатана въ «Современникъ» 1848 г., № 7 (томъ IX), а впослъдствіи перепечатана въ литературномъ сборникъ «На нъсколько часовъ» (Спб., 1867, т. II). Черновая редакція этой повъсти помъщена въ «Русской Старинъ» 1889 г., № 4. Фабула повъсти была разсказана Герцену пзъстнымъ московскимъ актеромъ М. С. Щепкинымъ, которому авторъ и посвятилъ повъсть.

Стр. 295 — 296. «Оріит et Champagne»—французскій водевиль того времени.

Стр. 297. Рашель, Элиза, знаменитая французская актриса (1810—1858). Сестра ея—Юдивь (Iudith) была весьма малоизвъстной и педаровитой актрисой.—Не менъе знаменита, по гораздо ранъе Рашели, была и актриса Аниа Марсъ (1779—1849), долго бывшая любимицей публики при первой имперіи. Ея «Признанія» переведены и на русскій языкъ (1860 г.).—Алланъ и Плесси были французскія актрисы, игравшія съ успѣхомъ въ 30 и 40-хъ годахъ въ Петербургъ, въ Михайловскомъ театръ.

Стр. 311. Повѣсть «Докторь Круповъ» была первоначально напечатана въ «Современникъ» 1847 г., № 5 (томъ III, отд. I). Затъмъ первая глава этой повъсти была перепечатана, подъ заглавіемъ «Левка» въ пзданномъ А. И. Сувориной п Е. I. Лихачевой литературномъ сборникъ для дътейвсъхъ возрастовъ «Для чтенія» (Спб., 1867).

Стр. 321. Баронъ Христіанъ Вольфъ (1679—1754) былъ профессоромъ философіи и естествознанія въ университеть въ Галле, но въ 1723 г. былъ изгианъ оттуда за вольнодумство, а въ

1740 г. вновь возвращень въ Галле и заняль кафедру математики и естествознанія. У него учился и Ломоносовъ, который перевель на русскій языкъ его Теоретическую физику» (Спб., 1746; 2-е пад. 1760). Раціоналистическая философія Вольфа пользовалась большой славой и господствовала въ Германіи до Канта, Пстръ Великій совътовался съ Вольфомъ объ учрежденіи въ Петербургъ академіи наукъ.

Стр. 336. Матвъй Яковл. Мудровъ (1772—1831), врачъ и профессоръ (съ 1808 г.) терапевтической клиники въ московскомъ университетъ и патологіи въ московской медико-хирургической академіи. Организоваль и устроиль клиники при московскомъ университетъ. Устинъ Евдоким. Дядьковскій (1784—1841), врачъ и профессоръ московскаго университета (съ 1812 г.) и московской медико-хирургической академіи (съ 1826 г.). Былъ извъстенъ, какъ хорошій врачъ и ученый.

Стр. 336. Михаилъ Григор. Павловъ (ум. въ 1840 г.) былъ въ 20-хъ и 30-хъ годахъ профессоромъ сельстаго хозяйства въ московскомъ университетъ, издаватъ журпалы: «Мисмозина», «Атеней» и «Русскій Земледълецъ». Павловъ много сдълалъ для развитія въ Россій философскихъ идей, распространяя и популяризируя въ своихъ сочиненіяхъ идеи Шеллинга.

Стр. 358. Подъ «княземъ Григоріемъ Григорьевичемъ» здъсь, очевидно, подразумъвается фаворитъ Екатерины II, графъ Григ. Григ. Орловъ, пользовавшійся огромнымъ вліяніемъ при дворъ и достигшій высшихъ почестей, но съ 1772 г. уступившій свое мъсто Потемъпину.

Стр. 364. Брунегильда—франкская (Австразія) королева VI в., отличав-

шаяся своей жестокостью.

Стр. 367. «Георгики»—стихотворенія Виргилія, посвященныя земледылю. Фарсала» («Pharsalia»)—эпическая поэма Лукана (I в. по Р. Х.). Лука Вовенаргь (1715—1747), французскій моралисть, главное сочиненіе котораго «Réflections et maximes» переведено и па русскій языкъ.

Отр. 368. «Кандидь»—философскій романъ Вольтера, «Орлеанская Дѣва» («La pucelle d'Orlean»)—его-же сатирическая и скабрезная поэма. «Жакъ-фаталисть» — скабрезно-философскій ро-

манъ Дидро.

Стр. 388. Корниче (La Corniche) славящаяся красотами природы береговая дорога въ Ривьеръ, тянущаяся у скалистаго берега Средиземнаго моря отъ Ниццы до Генуи.

Стр. 392. Magna Grecia — Великая Греція—общее названіе всъхъ древнихъ греческихъ колоній въ ложной Италіи, впослъдствіи употреблившееся, какъ на-

званіе всей южной Италіи.

Стр. 392—393. Леонтіемъ Васпльевичемъ звали извъстнаго генерала Дуббельта (1792—1862), бывшаго съ 1835 г. начальникомъ штаба корпуса жандармовъ, а съ 1839 г. управляющимъ И отдъленіемъ. Дуббельтъ въ свое времи былъ предметомъ общаго ужаса въ видуего дъятельности, безконтрольной и безапеляціонной.

Стр. 393. Ив. Ив. Излеръ—извъстный въ 40-хъ и 50-хъ гг. петербургскій антрепренеръ-увеселитель.

Стр. 407. «Трагедія за стаканомъ грока» напечатана впервые въ сбор-

никъ: «Еще разъ» 1866 г.

Стр. 409. Осборнъ—льтияя резиденція англійской королевской семьи на островъ Уайть.—Дончь—завтракъ у англичанъ

Стр. 414. Статья «Скуки ради» была напечатана подъ псевдонимомъ І. Ніомскій (отъ швейцарскаго города Ніонъ, гдъ жилъ Герценъ льтомъ 1868 г.) въ «Недълѣ» за 1868 г. № 48 и за 1869 г. №№ 10 и 16. Она составляеть начало статьи, напечатанной въ «Сборникъ посмертныхъ статей» какъ самостоятельное произведеніе подъ заглавіемъ «Докжаръ, умирающій и мертвые» п перепечатываемой въ настоящемъ изданіи пиже.

Стр. 417. Генералъ Хуанъ Примъ (1814—1870) послъ низверженія королевы Изабеллы (1868) былъ испанскимъ министромъ-президентомъ и подготовиль избраніе въ испанскіе короли итальянскаго принца Амедея, но еще до прибытія послъдняго въ Испанію былъ убить неизвъстными липами.

Стр. 417. Генералъ Ламорисьеръ (1806—1865) былъ однимъ изъ усмирителей ионьскаго (1848) возстанія рабочихъ въ Парижъ.—Генералъ Шангарнье (1793—1877), легитимистъ, жившій во время 2-й имперіи внъ Франціи, но въ 1870 г. явившійся участвовать въ войнъ съ Пруссіей. — Полковникъ Шаррасъ (1810—1865), республиканецъ и знатокъ стратегіи, написавшій замѣчательныя исторіи войнъ 1813 и 1815 гг.—

Маршалъ Пелисье (1794—1864), бонапартистъ, бывшій главнокомандующимъ французской арміей въ Крыму (1854— 55) и за взятіе Севастополя получившій титулъ герцога Малаховскаго.

Стр. 417. Маконъ—главный городъ французскаго департамента Соны и Луары, славящійся своимъ виномъ. Господинъ, выведенный здъсь Герценомъ и охарактеризованный имъ, какъ «работающій вз Маконах», очевидно, тамоний винотоговенъ.

Стр. 418. Божоле—мъстность во Франціи между ръками Луарой и Соной, гдъ приготовляется высоко цънимое вино, выбозимое оттуда ежегодио въ

большомъ количествъ.

Стр. 419. Подъ «Юмопатіей» Герценъ разумьеть здъсь тоть уснъхъ, которымъ пользовался въ 60-хъ годахъ англійскій спирить и медіумъ Юмъ,

имъвний много поклонниковъ.

Стр. 422. Маршалъ Бюжо (1784—1849) былъ въ 1848 г. начальникомъ парижскаго гаривзона и былъ смъненъ 24 февраля письменнымъ приказомъ Дуп-Филиппа, не позволившаго ему бомбардировать Парижъ. Ранъе былъ губериаторомъ и командующимъ войсками въ Алжиръ.

Стр. 424. Вефурь-владълецъ мод-

наго ресторана въ Парижъ.

Стр. 424. Лун-Мари Кормененъ (въ текстъ ошибочно вапечатано: Корменей), франц, публицистъ и юристъ (1788—1868), дъягельно участвовавшій въ выработкъ конституціи 1848 г., а съ 1855 г. бывшій членомъ франц. Института. Онъ написаль выдержавшія въ 10 лѣтъ 25 паданій «Lettres sur la liste civile», «Livre des orateurs» (18 паданій), «Административное право» и др.

Стр. 429. Докторъ Гаспаръ-Родригъ Франціа или Франсіа (1756—1840), ставъ съ 1814 г. диктаторомъ Парагвайской республики и отличаясь необыкновенной жестовостью, правилъ крайне деспотически и надолго отръзаль Парагвай отъ всякихъ сношеній съ дру-

гими странами.

Стр. 432. Жанъ Спвьяль (1792— 1867), извъстный въ свое время хирургъ, изобрътатель литотринсіи.

Стр. 444. Миханлъ Серве (1511—1553), врачъ и богословъ, жившій въ Женевъ. Онъ открылъ легочное кровообращеніе, но въ своихъ сочиненіяхъ отрицалъ троичность Бога и др. догмалы, за что, по настоянію Кальвина, и былъ сожженъ.

Стр. 450. Франсуа-Жозефъ-Викторъ Бруссе (1772—1838), французскій медикъ, основатель спстемы леченія посредствомъ успленныхъ кровопускацій

(бруссензмъ).

Стр. 457. Бланки, Луп-Огюстъ, извъстный французскій революціонеръ (1805 — 1881), почти половину своей жизни просидъвшій въ тюрьмахъ за свою агитаторскую дѣятельность. —Другой видный франц. революціонеръ 1848 г., быль Арманъ Барбесъ (1810—1870). «Барбесовское дѣло», о которомъ влѣсь говорится, была предпринятая Барбесомъ попытка возстанія, 12 мая 1839 г., за что онъ былъ приговоренъ сперва късмерти, а затъмъ къ пожизненному тюремному заключенно.

Стр. 459. «Chevalier de la maison rouge»—историческій романъ Ал. Дюмаотца изъ эпохи первой французской революціи, — «Монитеръ» — офиціальная газета французскаго правительства (съ

1793 по 1874 г.).

Стр. 460. Принцъ (правильнъе: князь) Веневентскій, титуль, пожалованный Наполеономъ I его министру иностранпыхъдълъ Талейрану, который во время революціи отрекся отъ католицизма, а при имперіи снова къ нему вернулся.

Стр. 461. Жакъ-Лун-Давидъ (1748—1825), славившійся въ свое время французскій живописецъ, бывшій главой классической школы въ живописи. Во время революціи онъ быль привержененъ Марата и Робеспьера, что не помъщало ему при имперіи Наполеона І превратиться въ придворнаго живописца и получить баронскій титуль. При реставраціи быль изгнанъ изъ Франціи Лучнія его картины: «Смерть Марата» «Клятва Гораціевъ», «Велизарій» и др.

Стр. 463. Роберъ Макеръ—типъ мошенника, выведеннаго на нарижскую спену.

Стр. 463. Дени-Огюстъ Аффръ состояль съ 1840 г. парижскимъ архіепископомъ. Убитъ во время іоньскаго возстанія 1848 г., взойдя для умиротворенія народа на баррикады.

Стр. 465. Одилонъ Барро (1791—1873) политическій дъятель, бывшій министромъ при Лун-Филиппъ и Наполеонъ III. Былъ либераломъ при Лун-Филиппъ, но при республикъ и второй имперіи сталъ реакціоперомъ.

Стр. 467. Въ драмъ Виктора Гюго «Лукренія Борджіа» есть аналогичная сцена, на что и сдълано здъсь указаніе.

Стр. 467. Арманъ Марастъ (1800—1852) быль въ 40-хъ годахъ публицистомъ и, избранный въ 1848 г. въ члены временнаго правительства французской республики, явился представителемъ буржуазныхъ питересовъ. Былъ предсъдателемъ учредительнаго собранія и участвовалъ въ составленіи республиванской конституціи. Остался извъстенъ своими интригами протавъ чистыхъ республиканцевъ.

Стр. 470. Маркъ Коссидьеръ (1809—1861), французскій политическій дѣятель, участвовавшій въ 30-хъ и 40-хъ годахъ во всѣхъ республиканскихъ заговорахъ и возстаніяхъ въ Парижѣ, а 24 февраля 1848 г. сталъ префектомъ полиціп въ Парижѣ. Впослѣдствіи бѣжалъ въ Англію и издалъ свои мемуары.

Стр. 476. Помъщаемый здъсь отрывовъ напечатанъ внервые Т. П. Нассевъ въ ея воспоминанияхъ «Изъ дальнихъ дътъ», т. И, стр. 71. Этотъ отрывовъ представляетъ собою первую половину 2-ой сцены «Лицинія» по сценарію Герцена, помъщенному выше. «Лициній» былъ написанъ во Влади-

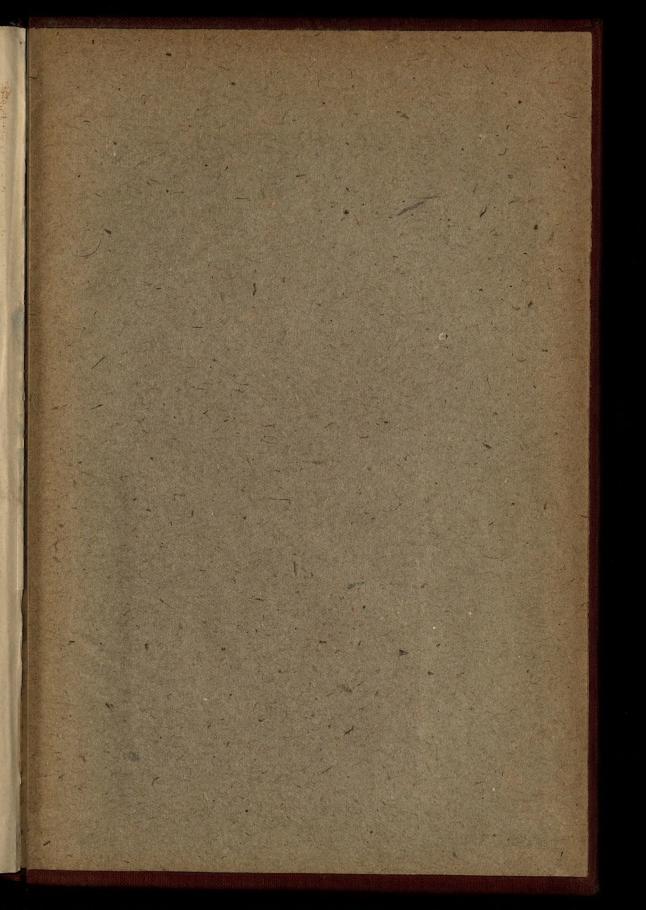
мірѣ въ концѣ 1838 и началѣ 1839 г.—
написанъ нятистопными ямбами, и, вѣроятно уже позднѣе, по возвращеніи въ
Москву, передоженъ въ прозу—согласно
шутливому совѣту Бѣлинскаго, какъ объ
этомъ разсказываетъ Герценъ («Вылое
и Думы», т. І, гл. 16).

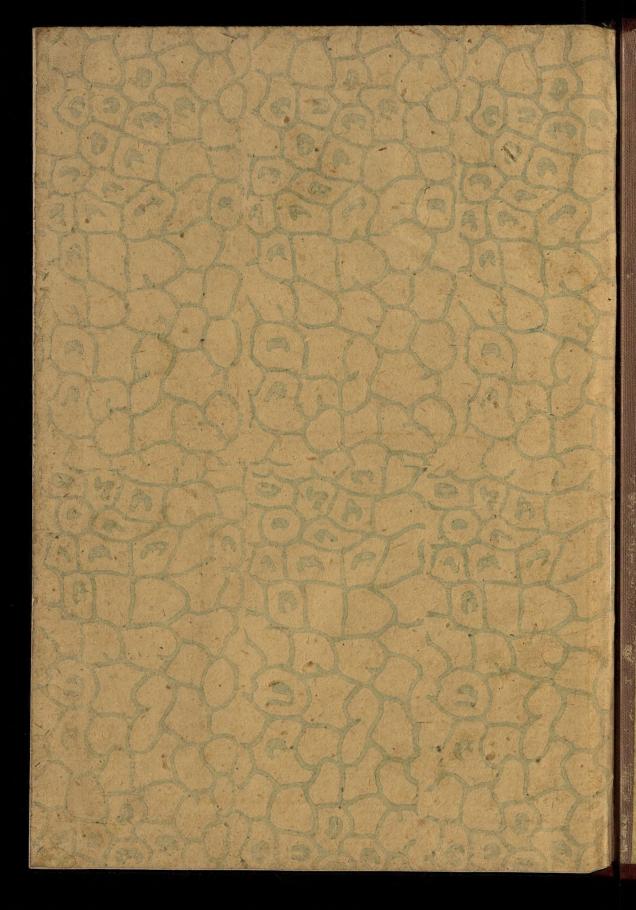
Стр. 485. Посвященіе «Маріп Р.» относится къ Маріп Каспаровив Ревъхель, урожденной Эрпъ, съ которою Герценъ подружился еще въ Вяткъ, во время своей ссылки 30-хъ годовъ, и которая впослъдствіи, ставъ близкимъ другомъ не только Герцена, но и его жены, вмъсть съ ними уъхала за границу въ 1847 году. Она часто фигурируетъ въ перепискъ Герцена и его исвъсты (VII томъ).

Стр. 486. Тетрадь воспоминаній Герцена, о пропажь которой онъ здъсь сожальеть и въ которой онисана его повздка съ друзьями въ подмосковное имъніе ки. Юсупова—Архангельское—внослъдствіи нашлась и была напечатана. Т. П. Нассекъ въ І томъ ея воспоминаній (см. прим. къ стр. 271), откуда и воспроизведена въ настоящемътомъ на стр. 281—291.











1PK'
193

1905 T. 1